

Жан Монне

Реальность
и политика



КУЛЬТУРА ПОЛИТИКА ФИЛОСОФИЯ



Московская школа
политических
исследований



Jean Monnet

Автор благодарит Франсуа Фонтена
за оказанную помощь, за его доброжелательность,
проницательность и неутомимое упорство,
без которых ничего нельзя достичь.

«Мы создали коалиции государств,
мы объединяем людей»

Jean Monnet

Mémoires

Fayard

Жан Монне

Реальность
и политика

Мемуары

Перевод с французского
В. Божовича



Московская школа
политических исследований

Москва 2001

ББК 84.4 Франция

М 56

Культура политика философия

Серия основана в 2000 году Московской школой
политических исследований и издается под общей редакцией
Ю.П. Сенокосова

*Издание осуществлено в рамках программы «Пушкин»
при поддержке Министерства иностранных дел Франции
и Посольства Франции в России*

*Ouvrage réalisé dans le cadre du programme
d'aide à la publication Pouchkine avec le soutien
du Ministère des Affaires Etrangères français
et de l'Ambassade de France en Russie*

Автор портрета Жана Монне — Патрик Флот

Монне Жан

М 56 Реальность и политика. Мемуары. — М.: «Московская
школа политических исследований», 2001. — 664 с.

Имя Жана Монне (1888–1979) — архитектора Европейского сообщества — неизвестно российскому читателю. Оно отсутствует даже в «Большом энциклопедическом словаре». Между тем, это был выдающийся человек, благородство и ум которого помогли народам Европы преодолеть послевоенную ненависть к Германии и заложить основы нового мира. Его «Мемуары», впервые переведенные на русский язык, будут интересны всем, кому небезразличны будущее России и ее стремление стать цивилизованным партнером современного Европейского Союза.

ББК 84.4 Франция

© Божович В., перевод, 2000

© Editions Fayard, 1976

© Московская школа

политических исследований, 2001

ISBN 5-93895-009-0

Часть первая
СИЛА ТЕРПИТ ПОРАЖЕНИЕ

Глава 1

Перед лицом опасности. Тотальное единство (1940)

Пределы сотрудничества

Утром 10 мая 1940 года ясное небо стояло над всей Европой. Солнечная и жаркая погода установилась как-то вдруг. Это и был тот момент, которого все ждали вот уже несколько недель, мы — с тревогой, немцы — с нетерпением: сияющее небо благоприятствовало налетам немецкой авиации и наступлению танковых дивизий. Уже ранним утром в Лондоне, где я тогда находился, из обращения Александра Пароди стало известно, что немцы вторглись в Бельгию и Нидерланды. Направляясь в свой офис, расположенный на Ричмонд Террас, я, как всегда, пересекал парк Сент Джеймс. У подъезда я встретил генерала Исмея*, отдел которого располагался в том же здании. «Что вы об этом скажете?» — спросил я. — «Именно на это мы и надеялись», — ответил он.

И тут я вспомнил о страшном разговоре, который произошел у меня с Эдуардом Даладьё на несколько недель раньше. Я тогда сказал премьер-министру, что, по моему мнению, немцы, если они решат наступать, нанесут удар в том месте, где кончается линия Мажино, то есть, как раз на бельгийской границе. «Вот и генералы мне то же самое говорят, — ответил он задумчиво. — Этого они и ожидают». Я не понимал этой стратегии, как не понимал и того, почему наши основные силы находились на столь большом расстоянии от

* Во время войны он был военным советником британского правительства.

места, где, по всем предположениям, неприятель должен был атаковать. Бельгии не суждено было стать ловушкой для немецкой армии, которая сразу же, без промедления, стала наступать на Седан. Оставив генерала Исмея во власти его иллюзий, я поднялся в свой кабинет, в офис Франко-британского координационного комитета. Здесь у нас были собраны все данные об экономическом соотношении сил Союзников и немецкого Рейха, позволявшие предвидеть перспективы длительного глобального столкновения с неясным исходом, столкновения, в котором организация и воля, в сочетании с временем и пространством, будут в конечном счете решать судьбу армий.

Комитет работал с ноября 1939 года. Я возглавлял его в соответствии с совместным решением французского и английского правительств. Методы работы и цели, предложенные мной и принятые Даладье и Чемберленом, не очень отличались от тех, которые были разработаны в союзнических исполнительных комиссиях, где я трудился во время войны 1914–1918 годов; именно убеждение в том, что перед нами встали идентичные задачи, побудило меня вступить на тот же путь и привлечь некоторых из моих старых сотрудников, оставшихся моими друзьями. Нужно было объединить и сочетать все силы свободного мира, чтобы противостоять натиску тоталитаризма. Эту задачу, подсказанную здравым смыслом, никто не ставил под сомнение, — вот только не подумали, как ее решить.

Трудно себе представить, до какой степени слово «союз», оказывающее столь ободряющее воздействие на народы, лишается практического содержания, когда мы доверяемся традиционным механизмам сотрудничества. Я убедился в этом на собственном длительном опыте во время первой мировой войны, когда победа наших армий долгое время оставалась под вопросом, пока Союзники сражались вместе, но не как единая организованная сила. Потребовались два года упорной работы и смертельная угроза безжалостной подводной войны, чтобы соединить наши ресурсы и создать пул морских перевозок. Эти решения, обеспечившие экономическое превосходство Союзников и снабжение их армий, в ко-

нечном счете, хотя и неявным образом, сыграли такую же решающую роль, как и героизм солдат на поле боя. На этот раз государственных руководителей убеждать было легче, потому что понятие «тотальной войны» было навязано нам врагом. У немцев это понятие существовало на национальном уровне. Тотальность же на уровне межсоюзнических отношений, казалось, не имела смысла; во всяком случае, эту задачу было трудно конкретизировать. Каждый из гражданских и военных механизмов той или другой страны был более или менее приспособлен для того, чтобы вести *свою* войну. Правительства действовали обособленно перед лицом общей угрозы, размеры и близость которой невозможно было не замечать.

Будучи убежден, что единственная возможность победить в этой войне, равно как и в предыдущей, состоит в объединении материальных ресурсов и производственного потенциала наших стран, я все яснее понимал, что необходимое объединение должно с самого начала иметь иные масштабы. Франция и Англия 28 марта 1940 года взяли взаимные обязательства не вести сепаратных переговоров о перемирии и после наступления мира действовать сообща в целях послевоенного восстановления. Но какими могли быть внутренние механизмы этой солидарности? В чем именно могла бы выражаться общность судеб, способная устоять против неизбежных испытаний?

Механизмы более тесной координации и кооперации, которые мы стремились запустить, были слишком медленными. Потребовалось не меньше четырех месяцев, чтобы убедить соответственно французскую и английскую администрации предоставить нам суммарный баланс наших воздушных сил, необходимый для того, чтобы побудить Соединенные Штаты увеличить производство авиационных двигателей. В это утро 10 мая я с особой тревогой глядел на очистившееся от тумана лондонское небо. Потом я узнал, что в этот самый момент над Парижем раздался вой сирен.

Терпеливая координационная работа наших комитетов имела бы смысл только в том случае, если бы мы стали хозяевами времени. Но пока инициатива принадлежала вражес-

кой стороне. Психологическое преимущество неожиданности сочеталось у немцев с превосходством в вооружениях. Сможем ли мы в этих условиях сохранить уверенность, волю и отразить их натиск? Весной 1940 года история мчалась со скоростью танков и, чтобы обуздать ее бурный натиск, необходима была смелая инициатива, способная поразить воображение людей и смести материальные и психологические препятствия, мешавшие единству Союзников. Только решительные действия, которые связали бы воедино усилия и судьбы обоих народов, могли бы изменить ситуацию и открыть путь в будущее.

Мои друзья из Франко-британского комитета имели возможность лучше других оценить опасность грозившего нам тупика, — и особенно четко это осознавал Артур Сальтер, который вместе со мной участвовал в работе *Combined Allied Boards** между 1916 и 1918 годами и присутствовал при прекращении этой работы с наступлением мира. И теперь он стремился к тому, чтобы наши замыслы приобрели институционную форму; это обеспечило бы им легитимность и долговременность. В политических кругах Англии раздавались призывы к более тесному союзу, однако во Франции менее четко различали опасность и не столь охотно ее признавали. У меня был случай обсудить этот вопрос с Невиллом Чемберленом, тогда — английским премьер-министром. Мой собеседник был согласен со мной, признавая в принципе необходимость союза вплоть до слияния двух народов. Но как и в какой момент надо действовать, было покрыто туманом; должен признаться, что и у меня не было ответа на эти вопросы.

Сами события подстегнули наше воображение и помогли найти путь к действию. Когда во второй половине мая первые крупные сражения показали одновременно и уязвимость французской армии, и малочисленность английского паземного контингента, проявилась и не менее опасная слабость морального духа Союзников. Их коалиция была лишена души. Народам не позаботились показать ясные цели вой-

* Совместных союзнических комиссий.

ны. Однако, чтобы объединить усилия, надо иметь общую цель. Необходимость отразить угрозу нацистского господства должна была стать очевидной для всех, кто дорожит свободой. Но людям не хватало острого сознания нависшей над ними смертельной опасности. Слишком долго каждый народ, как и каждый индивид, в глубине души надеялся, что именно его несчастье минует или что он выпутается из него собственными силами.

В начале июня эвакуация английских войск из Дюнкерка стала тяжелым испытанием для англо-французского союза. Неужели осуществится замысел Гитлера — в военном и психологическом плане разобщить Союзников? В роковой день 10 мая я писал Уинстону Черчиллю, ставшему премьер-министром: «Если Англия и Франция станут искать стратегические возможности противостоять врагу поодиночке, если они позволят себя разобщить, то цель нацистов будет достигнута». Однако ситуация еще оставляла надежду на организованное сопротивление.

6 июня в новом личном письме Черчиллю я предложил объединить военно-воздушные силы обеих стран (ранее мне не без труда удалось добиться, чтобы нам постоянно предоставляли сведения о них). «Прилагаемый баланс, — писал я премьер-министру, — убедительно показывает, что если военно-воздушные силы наших стран не будут действовать как единое целое, нацисты неизбежно добьются господства в небе Франции, после чего бросят все свои эскадрильи против Англии. Союзные самолеты, действующие сейчас в небе Франции, по численности в несколько раз уступают немецким. Но если мы соединим воздушные силы наших стран, то соотношение с немцами будет один к полутора. Поскольку было доказано, что при равном соотношении сил мы одерживаем верх, то и в этом случае мы можем надеяться на победу. Короче, наша победа или поражение могут зависеть от немедленного решения объединить наши силы, чтобы и наши самолеты, и наши пилоты действовали как единое целое; если для этого потребуется создание единого командования, то этот вопрос, по моему мнению, должен быть рассмотрен — и рассмотрен без промедления».

Единый парламент, единая армия

Единая сила... Но когда Черчилль прочел это письмо, было уже поздно — слишком поздно и для авиации, и для целых наземных корпусов, которые, день за днем, час за часом, исчезали, неизвестно куда. Парадоксально, но по мере того, как самые логичные решения, самые простые согласования ускользали из-под нашей власти, мы начинали ставить перед собой все более масштабные задачи, стремясь восстановить политический контроль над ситуацией, которой мы уже не владели в военном отношении. Когда уже стало бесполезно надеяться на взаимодействие генеральных штабов, заговорили о государственном слиянии. Когда немцы подошли к Парижу, надо было думать о том, чтобы спасти Лондон как центр союза. Франция могла быть захвачена врагом, но оставалась Французская империя. Надо было решить вопрос, во имя чего мы будем сохранять единство и сражаться, если, как казалось, самое главное уже потеряно? Мы с Артуром Сальтером решили всеми средствами отстаивать наш смелый проект, который, в силу развития событий, становился и обоснованным, и необходимым.

13 июня мы завершили текст на пяти страницах, где рассматривались различные варианты развития событий, и все они приводили к заключению: только полное единство Франции и Англии давало шансы на конечную победу. В английский текст этой записки, озаглавленной «*Anglo-French Unity*» («Англо-французское единство»), я внес только одну поправку: вместо «Paris may fall at once» («Париж может вскоре пасть») я написал: «Paris has fallen» («Париж пал»). За несколько мгновений целая глава в истории Франции стала писаться в прошедшем времени. Надо было срочно созидать новое будущее. «Даже если французские войска, — говорилось в записке, — будут отступать все дальше и дальше, даже если они вообще не смогут держать фронт, даже если борьба будет продолжаться лишь на отдельных островках отчаянного сопротивления, Франция сможет совместно с Англией продолжать войну. Даже если случится худшее и немцы займут всю территорию Франции, то, во всяком случае, ее флот

и ее авиация смогут сражаться вместе с Англией, а значительная часть наземных сил со своим вооружением сможет отплыть от наших берегов и соединиться с английскими войсками. В этом случае наши страны смогут продолжить сражение вплоть до того момента, когда неизмеримое превосходство в ресурсах приведет обе союзные империи и Соединенные Штаты к победе над врагом».

«Наши страны смогут продолжить сражение...» Мы понимали, насколько уязвимо такое предположение в узко военном смысле. Чтобы перегруппировать и слить армии, надо было вернуть им веру в будущее. «Этот план, — писали мы, — сможет осуществиться, если в сегодняшнем сражении, а также после него, обе страны будут действовать и бороться как единый народ». Таким образом, нам казалось первостепенно важным, чтобы: а) Франция продолжала выступать в качестве воюющей стороны; б) французские ресурсы были сохранены для продолжения борьбы за пределами метрополии; в) Соединенные Штаты вступили в войну; г) не был допущен захват нацистами Британских островов. В заключение нашей записки мы высказывали некоторые практические пожелания: «Следовало бы выступить с впечатляющей декларацией двух правительств об общности интересов обеих стран, об их совместных обязательствах восстановить опустошенные войной регионы, о том, что на время войны создаются единый кабинет министров и объединенный парламент».

Но тогда, 13 июня, мы не думали, чтобы существовала необходимость немедленно формулировать слишком четкие предложения. Документ не предназначался для немедленного обсуждения в британском кабинете. Он был задуман как способ повлиять на государственных деятелей, а дальнейший ход зависел бы от обстоятельств. Но обстоятельства сложились таким образом, что у нас не осталось времени для обсуждения документа, а ухудшение военной обстановки убедило нас, что надо немедленно переносить его на самый высокий политический уровень. Однако трудности возникли уже в тот момент, когда я попытался заинтересовать нашими идеями Черчилля. «Я веду войну, — ответил он мне, — а вы являетесь с разгово-

рами о будущем». Он был погружен в сиюминутную борьбу и надеялся восстановить военное положение если не во Франции, то хотя бы на Ла-Манше. Но после конференции в Туре, где впервые зашел разговор о возможном сепаратном перемирии, после падения Парижа, британские руководители стали думать о том, чтобы получить от Франции гарантии дальнейшего участия в войне, и наш проект приобрел актуальность в глазах некоторых из них.

Тогда-то мне и нанес визит секретарь Черчилля Десмонд Мортон, с которым мы находились в дружеских отношениях. «Я пришел, чтобы дать вам один совет, — сказал он. — Вы стремитесь, как я понимаю, убедить Черчилля вынести ваш проект на обсуждение кабинета министров. Но я не думаю, что вам удастся этого добиться самому, — хотя бы потому, что вы не являетесь французским премьер-министром. Такой уж характер у Черчилля. Если бы вы были французским премьером, он бы вас выслушал. Однако он примет во внимание мнение человека, занимающего высокое положение в британском правительстве. Например, лорда Чемберлена, которого он очень уважает. Если Чемберлен ему скажет: «Господин премьер-министр, я бы хотел, чтобы этот вопрос был вынесен на обсуждение совета министров», то Черчилль ответит: «Согласен, лорд канцлер», и вопрос будет хотя бы обсужден».

Я понял разумность совета Мортона и тут же отправился к начальнику канцелярии лорда Чемберлена, Орасу Уилсону, с которым был знаком. «Вы, вероятно, знаете о моих попытках убедить Черчилля в необходимости союза между Францией и Англией?» — спросил я его. — «Я в курсе», — ответил он. — «Мне кажется, что наступил момент такой союз заключить, поскольку мы вступили в новую фазу, — продолжал я. — Франция в беде, Англия под угрозой. В этой ситуации наши страны не могут действовать порознь, и нельзя говорить нашим народам, что они должны сражаться, только чтобы сражаться. Англичане и французы должны быть убеждены, что у них есть общий долг: защищать свободу от тоталитаризма. И тогда они поймут, что нужно продолжать борьбу».

бу, будь то в Африке или Англии, и что поражения не будет, потому что оба народа будут стоять вместе до конца. В этом суть нашего предложения о союзе». — «Что вы хотите, чтобы я сделал? — спросил Уилсон. — «Вы могли бы поговорить с Чемберленом, чтобы он убедил Черчилля». — «Я это сделаю. Речь ведь идет о единстве, о полном единстве? Это значит — единое правительство, единый парламент, единая армия?» — «Именно так». — «Тогда я сделаю все, что от меня зависит. Увидимся сегодня вечером».

Это было в пятницу 14 июня 1940 года.

В полночь мы встретились втроем — я, Орас Уилсон и Дэвид Маргессон, влиятельный член консервативной партии, который, со своей стороны, пытался — увы, безуспешно — сделать сторонником нашего проекта руководителя Форин Оффиса лорда Галифакса. Но Уилсону удалось убедить Чемберлена переговорить с Черчиллем, который, как мы и надеялись, решил поставить вопрос в повестку дня завтрашнего заседания совета министров. Я также узнал, что постоянному секретарю Форин Оффиса господину Вэнситарту было поручено подготовить проект решения. На следующее утро я бросился на поиски Вэнситарта. Был уик-энд, и нам с трудом удалось его разыскать за городом. В конце концов, вместе с ним, Муртоном, Сальтером и Плевеном, который был моим помощником в Лондоне, мы подготовили проект декларации о создании единого союза. Каждый француз и каждый англичанин должны были пользоваться в объединенной стране всеми гражданскими правами. Предусматривалось создание единой таможни и общей валюты. Ущерб, понесенный каждой из стран, должен был возмещаться общими усилиями. Этот текст был передан Черчиллю.

Государственный деятель, видевший свою задачу в том, чтобы защищать существование Британской империи, Черчилль внутренне встал на дыбы, прочтя текст, который призывал британскую нацию открыть новую страницу истории и свернуть с проторенной дороги. Но, поскольку речь шла о возможности изменить ход событий, он счел своим долгом вынести документ на обсуждение совета министров в тот же день. Там, к его большому удивлению, уважаемые им полити-

ки от разных партий тепло встретили проект и сразу стали обсуждать его практические последствия. По-видимому, романтик, таившийся в Черчилле, был захвачен таким энтузиазмом и такой открытостью. Он решил продолжить обсуждение и принять окончательное решение на следующий день.

Однако тем временем события во Франции развертывались стремительно. Мы узнали об этом в тот же вечер из уст генерала де Голля, государственного секретаря по военным вопросам в правительстве Рейно. Прибыв в Лондон для переговоров, де Голль сразу вызвал меня на квартиру, предоставленную в его распоряжение Жаном Лораном, его начальником канцелярии. «Моя официальная миссия, — сказал он мне, — состоит в том, чтобы обсудить с английской стороной проблему транспортировки наших войск в северную Африку и в Англию. Но приехал я не только для этого. Вам, именно вам, я сообщаю, что решил остаться здесь. Во Франции сейчас делать уже нечего. Будем с вами действовать здесь». Мы договорились продолжить разговор за обедом у меня, с участием его адъютанта, лейтенанта де Курсея, и Плевена.

Де Голль, встреченный моей женой, сначала замкнулся в молчании, весьма тягостном для хозяйки дома. Чтобы рассеять такую атмосферу, в ожидании моего прихода, Сильвия спросила, сколько времени займет исполнение его задания. И услышала в ответ: «Я прибыл не для исполнения задания, мадам, а для того, чтобы спасти честь Франции».

Едва вырвавшись из Бордо, куда переехало французское правительство и где царили пораженческие настроения, он, действительно, не надеялся исправить положение во Франции. Поэтому он скептически воспринял наш проект. Я постарался его убедить, что столь необычный жест со стороны английского правительства мог бы изменить состояние умов, придать смелости Полю Рейно и побудить его переехать со своим правительством в Северную Африку. Мало надеясь на успех, де Голль, тем не менее, согласился поддерживать своим авторитетом подготовленный нами демарш.

Его мнение для Черчилля могло оказаться весомым. Оба государственных деятеля впервые встретились в Лондоне неделю назад и произвели друг на друга большое впечат-

ление. Это было в воскресенье 9 июня. Перед этим Жан Лоран позвонил мне из Парижа. «Де Голль хочет прилететь в Лондон, — сказал он мне, — он обеспокоен отсутствием контактов у нас с англичанами. Надо дать им понять, что у нас все-таки есть силы и способность действовать. Де Голль может это сделать лучше, чем кто-либо другой. Можете ли вы подготовить его встречу с Черчиллем?» Я тут же принялся за дело, так как и сам был крайне встревожен тем, что наши страны, не успев как следует наладить контакты, при первых же признаках бури стали отдаляться и дрейфовать каждая в свою сторону. Предложение о союзе придало бы французам мужества и решимости продолжать борьбу, что бы ни случилось. Однако нужно было убедить англичан, что их призыв будет услышан и что где-то, в недрах французского государства, еще сохранился дух сопротивления. Де Голль был известен своей волей к борьбе; Поль Рейно ввел его в правительство в качестве противовеса пораженческим тенденциям. Было очень важно, чтобы человек с таким характером подтвердил волю французов, в которой здесь уже начали серьезно сомневаться.

Я как сейчас вижу де Голля, входящего в мой кабинет во Франко-британской комиссии. Плевен также присутствовал при встрече. Я почувствовал, что эти два человека понимают друг друга и испытывают взаимную симпатию. Мы услышали от де Голля крайне пессимистический рассказ о состоянии духа французских руководителей, особенно военных. По прибытии в Лондон он был поражен спокойствием британцев и тем, что они, как ему показалось, не сознают нависшей угрозы. Однако он быстро понял, что, по крайней мере в руководящих кругах, люди уже не питают иллюзий относительно возможного развития событий. Черчилль, с которым он встретился сразу же после нашей беседы, не очень-то его обнадежил относительно английской военной помощи терпевшим разгром французским армиям. Но он заверил де Голля, что Англия никогда не откажется от борьбы. Де Голль был уязвлен таким эгоизмом и одновременно ободрен такой решимостью. Разве предпринял бы он новое путешествие в Англию, когда во Франции все уже было потеряно, если бы не

поверил в британскую волю к победе, воплощением которой был Черчилль? Суждения де Голля и Черчилля друг о друге весьма характерны. «Он создан для грандиозных дел», — сказал де Голль. «Это человек моего масштаба», — сказал Черчилль. Вскоре они снова увиделись в Туре, на последнем межсоюзническом совете, в ходе которого французское правительство заговорило о возможности сепаратного перемирия с немцами.

Итак, на следующее утро его второго визита в Лондон у де Голля была назначена встреча с Черчиллем за завтраком. Если бы было нужно еще убеждать Черчилля в необходимости скорейшего провозглашения союза, то де Голль мог бы это сделать. Мы рассчитывали, и не без оснований, что оба деятеля сумеют оценить величие жеста как в абсолютном плане, так и в плане его эффективности в ближайшее время. Но было ясно, что и тот, и другой, в силу своего происхождения и мистической веры в национальный суверенитет, отвергнут многие пункты проекта. Мы же, напротив, считали, что речь идет о важнейшем акте, который — я и сегодня в этом убежден, — мог бы изменить ход событий.

Воскресенью 16 июня было суждено — увы! — стать днем упущенных возможностей. А ведь в Лондоне наше предприятие так хорошо началось. После того, как в Форин Оффисе де Голль выполнил свое поручение, Вэнситтарт пригласил нас приехать к нему для завершения работы над текстом, который в принципе был принят накануне английским кабинетом. Де Голль попросил меня связать его по телефону с Бордо, и состоялся его первый разговор с Полем Рейно. «Готовится нечто весьма важное с английской стороны, дабы оказать помощь Франции», — сказал де Голль. — Я не могу выразиться более определенно, но прошу вас не принимать никаких важных решений до того, как вам станет известно содержание английского послания». — «Каждая минута на счету», — ответил Рейно. — У нас будет решающее заседание совета министров сегодня во второй половине дня. Я могу немного отсрочить его начало, но не позже чем до пяти часов. Действуйте быстро и энергично. Этот жест должен быть до-

статочно значительным, чтобы переломить существующую тенденцию к немедленным переговорам с Германией». — «Он именно таков», — сказал де Голль.

Де Голль, Плевен, Вэнситтарт и я использовали все оставшееся до полудня время, чтобы придать тексту форму торжественной декларации с учетом драматической атмосферы, царившей в Бордо. Затем Вэнситтарт вручил один экземпляр лорду Галифаксу, который потребовал, чтобы документ был направлен в совет министров с соблюдением необходимых формальностей. Это тоже была для нас головная боль. Чтобы документ был принят к обсуждению на совете министров, он должен быть подан в красной папке — *red binding*. Однако Форин Оффис в воскресенье был закрыт, весь обслуживающий персонал отсутствовал. После долгих поисков мы нашли один *red binding*, который нам подошел, хотя и был белого цвета.

У де Голля и французского посла Шарля Корбена состоялась встреча с Черчиллем в Карлтон Клабе. Что касается Вэнситтарта, Мортон, Плевена и меня, мы отправились обедать ко мне домой на Маунтстрит. У нас были основания для оптимизма. Но внезапное беспокойство овладело мной, когда я услышал, как Мортон сказал Вэнситтарту: «Получили ли вы ответ на телеграмму, отправленную сегодня утром?» Хотя это вроде бы меня и не касалось, я спросил: «На какую телеграмму?» — «Посланную в ответ на запрос, полученный нами сегодня ночью от французского правительства. Они запросили срочное письменное подтверждение согласия на переговоры с немцами, которое им дал устно господин Черчилль в Туре в прошлый четверг». — «И что же вы ответили?» — «Военный кабинет заседал только что. Он напомнил о нерушимых обязательствах, принятых на себя Францией, но, разумеется, мы не могли запретить Рейно осведомиться у немцев об их условиях перемирия, однако при обязательном условии: французский флот должен находиться «out of reach of the enemy»*. — «Как! — сказал я, — утром вы посылаете телеграмму, дающую согласие на переговоры о сепаратном перемирии, а вечером собираетесь принимать

* «Вне досягаемости для врага».

воззвание о нерушимом союзе? Это неправильно! Я не могу этого понять».

Мои гости были расстроены. При всем своем эмпиризме, британцы не могли объяснить столь противоречивые демарши, в которых, несомненно, проявилось общее смятение умов. «Вы правы, — сказал Мортон, — нужно остановить эти телеграммы, иначе французское правительство не станет и слушать наши предложения о союзе». По прямой телефонной линии, которая у меня была с *Cabinet-Office**, мы смогли соединиться с британским послом в Бордо сэром Рональдом Кэмпбеллом. Тот уже отнес телеграмму Полю Рейно, который имел, таким образом, на руках две английские карты противоположного содержания и мог на вечернем заседании по своему желанию пойти с любой из них: либо ухватиться за английское согласие на сепаратное перемирие, хотя и на жестких условиях, — но такой ход сразу использовала бы партия поражения, — либо опереться на предложение о полной солидарности между союзниками, — но придет ли такое официальное предложение вовремя? Это была слишком рискованная игра в покер.

Было решено, что Кэмпбелл снова пойдет к Рейно, чтобы приостановить действие телеграммы (точнее, телеграмм) относительно перемирия, поскольку стало известно, что последуют новые послания, ужесточающие условия перемирия с английской стороны. Действовать надо было срочно, ведь у нас оставалось всего несколько часов, чтобы избежать непоправимого. В этот момент секретарь Мортон сообщил ему, что де Голль и Корбен уже пришли в его офис и что заседание совета министров должно начаться с минуты на минуту. Мы тут же отправились на Даунинг Стрит 10. Офис Мортон примыкал к залу, где происходили заседания совета министров; к нам то и дело заходили министры, предлагавшие те или иные изменения в тексте. Эти изменения не касались существа документа и не снижали его торжественного звучания. Черчилль действовал с исключительной лояльностью: он не скрыл от коллег свои собственные возражения, но призвал

* Секретариат Совета министров.

их, несмотря ни на что, принять этот документ, который должен был оказать огромное воздействие на умы.

«Пусть никто не скажет, — заявил он, — что в столь решающий момент нам не хватило воображения». Я как сейчас вижу: вот он выходит после заседания, в темном костюме в полоску, с сигарой во рту, и обращается к нам в легком, небрежном тоне, — и становится ясно, что вот так, с чувством превосходства, он смотрит на все, происходящее в мире.

Тем временем Плевен переводил текст обратно на французский. В шестнадцать тридцать де Голль связался с Рейно и сообщил ему, что декларация высылается. Рейно не мог ждать и попросил его продиктовать ему текст в присутствии Кэмпбелла и Спирса*. Эти последние рассказывали впоследствии, как светлело лицо премьер-министра по мере того, как он записывал следующие пункты декларации:

«В грозный час истории современного мира правительства Соединенного королевства и Французской республики заявляют о своей непоколебимой решимости сохранять нерасторжимое единство для совместной защиты справедливости и свободы против стремления подчинить их бесчеловечной системе, превращающей людей в автоматы и рабов.

Оба правительства заявляют, что Великобритания и Франция впредь будут не обособленными нациями, но единым Франко-Британским Союзом.

Конституцией Союза будут предусмотрены совместные органы по обороне, внешней политике и экономическим проблемам.

Каждый французский гражданин немедленно получает британское подданство, а каждый британский подданный становится французским гражданином.

Обе страны, как единое целое, будут восстанавливать разрушенное войной везде, где это будет необходимо, и ресурсы обеих стран будут использоваться совместно для этой цели.

* В мае 1940 года Спирс был личным представителем Черчилля при французском премьер-министре Поле Рейно. С июля 1940 года по декабрь 1941 года — главой британской миссии при Свободной Франции.

На время войны создается единый военный кабинет министров и все военные силы Великобритании и Франции на суше, на воде и в воздухе будут находиться под его командованием. Его местоположение будет определяться наибольшим удобством управления. Произойдет официальное слияние двух парламентов. Нации, образующие Британскую империю, уже создают новые армии. Франция сохранит в боевой готовности свои войска на суше, на море и в воздухе. Союз обращается к Соединенным Штатам с призывом усилить экономическую мощь Союзникам и участвовать в общем деле всеми своими материальными ресурсами.

Союз будет действовать всей своей мощью против сил врага, где бы ни происходило сражение.

Так победим».

Когда де Голль кончил диктовать, Рейно с понятной пунктуальностью спросил, одобрен ли текст самим Черчиллем. Де Голль заверил его в этом своим словом чести. Тогда Черчилль, присутствовавший при разговоре, сам взял трубку и сказал Рейно: «Держитесь твердо! Де Голль вылетает немедленно и доставит вам текст... Мы с вами должны увидеться в ближайшее время... Предлагаю завтра утром в Конкарно... Я прибуду с Эттли, командующим военно-морскими силами, начальником генерального штаба и нашими лучшими экспертами. Вы, со своей стороны, пригласите нескольких хороших генералов... До свиданья!»

Я проводил де Голля до его самолета. Что касается нашей группы, то мы должны были на следующее утро девятичасовым поездом прибыть для посадки на эскадренный миноносец вместе с английским правительством. Но в момент отправления нас проинформировали из правительства, что поездка отменяется, так как из Бордо пришло важное сообщение. Рейно подал в отставку. Черчилль уже сидел в поезде. Он вышел оттуда «*with a heavy heart*»*, как он пишет в своих воспоминаниях. Так же чувствовали себя мы все к вечеру этого злополучного дня.

* «С тяжелым сердцем».

Около десяти часов я смог поговорить по телефону с де Голлем. Уже на аэродроме, по прибытии в Бордо, ему стало известно, что президент республики Альбер Лебрен назначил Петена председателем совета министров. Он сказал мне, что, по его мнению, там (в Бордо) все кончено, и он возвращается в Лондон. Я не разделял его пессимизма, вернее, я ставил вопрос иначе. Поскольку французское правительство было еще свободно, надо было сделать все, чтобы оно перебралось в Северную Африку и продолжило войну в духе декларации о Союзе. Обстоятельства, в которых эта декларация была получена в Бордо, меня не обескураживали, даже напротив. Да, сторонники капитуляции сделали все от них зависящее, чтобы заблокировать решение совета министров. Да, военный министр Вейган, перехвативший сообщения де Голля, ускорил действия сторонников переговоров с немцами. Но все это только усиливало необходимость переезда в Северную Африку всех тех, кто желал продолжения войны совместно с англичанами, и прежде всего — министров и председателей обеих палат, являющихся носителями суверенитета.

Последняя попытка в Бордо

Сегодня можно считать, что я был слишком оптимистичен, хотя оптимизм не свойственен моему характеру. Я всего лишь упорен: разве можно утверждать, что такое-то необходимое действие невозможно, пока вы не попробовали его совершить? Именно такую мысль я и выразил в состоявшемся ночью разговоре с Черчиллем, которому я нанес домашний визит вместе с Бивербруком. «Возможно, — сказал я, — что Петен удержится у власти. Но ничто не потеряно окончательно, пока мы живы. Я все еще полагаю, что в Бордо можно что-то сделать, и я готов туда отправиться если вы предоставите мне такую возможность, желательно — с одним из членов вашего правительства. Могу ли я просить вас обратиться от своего имени к президенту Рузвельту, чтобы он срочно оказал давление на французское правительство?» На последнюю просьбу Черчилль ответил: «Я это сделаю». Однако он не хотел вступать в контакт с французским прави-

тельством прежде чем его официально не поставят в известность о происшедших там изменениях.

Но такое извещение не пришло, во всяком случае, по нормальным дипломатическим каналам. И только из выступления Петена по радио 17 июня в полдень Черчилль узнал о том, какой оборот принимают события в Бордо. Англичане восприняли такое поведение с горечью и беспокойством. В глазах Черчилля это было достаточным основанием, чтобы не брать на себя инициативу совместной декларации с новым французским правительством. По нашему же мнению, было тем более необходимо предложить альтернативу капитуляции, и мы подготовили, Вэнситарт, Плевен и я, проект телеграммы Петену с предложением французскому правительству переехать в Северную Африку и организовать массовую переброску туда же французских наземных войск под прикрытием французского и английского флотов. Черчилль, не желая поступаться своим достоинством, отказался послать такую телеграмму.

Тем не менее, он продолжал обдумывать ситуацию и утром в среду 18 июня приказал готовить короткое послание, в котором французскому правительству предлагались корабли, необходимые для эвакуации войск и снаряжения. Я предложил, чтобы один из членов военного кабинета отвез это послание в Бордо, и вызвался выехать вместе с ним для поддержки его действий; вместе со мной должны были поехать Плевен, финансовый атташе Моник и его помощник Маржолен. Черчилль решил послать две отдельные миссии: на одном самолете должен был лететь лорд Ллойд, министр колоний, на другом — мои друзья и я. В начале второй половины дня мы встретились с де Голлем, который вернулся в Англию накануне на предоставленном в его распоряжение британском самолете.

Де Голль не верил в успех нашей миссии. Эвакуировать войска было технически трудно. Англофобия царила в коридорах власти, вплоть до ближайшего окружения Поля Рейно, военный советник которого обвинил меня в «измене». Сам Рейно был странной личностью: еще вчера он проявлял энтузиазм по поводу проекта англо-французского Союза, а се-

годня, освобожденный от своих премьерских обязанностей, вновь стал легкомысленным и беспечным. Сказал же он де Голлю накануне вечером: «В конце концов, немцы — это всего лишь отвергнутые влюбленные». Быть может, он и в самом деле полагал, что унижительные условия, выдвинутые немцами, были результатом их безответной любви к Франции: в таком случае, они вскоре одумаются, и он вернется во власть. Разумеется, де Голль так не думал. Я же хотел подробнее разобраться в этой запутанной ситуации, зная, что твердое и простое решение тем успешнее пробивает себе путь, чем большая нерешительность царит вокруг.

Мы предложили де Голлю возобновить демарш вместе с нами. Он согласился, коль скоро мы считали это необходимым, но сам он не верил в успех. Для себя он уже принял другое решение и прислушивался только к своему собственному голосу, которому предстояло прозвучать в тот же вечер на «Би-би-си», где он произнес великолепные и пророческие слова: «Франция не одинока! За ее спиной обширная империя. Она может образовать блок с Британской империей, которая контролирует моря, и продолжать борьбу... Она может, как и Англия, широко использовать индустриальную мощь Соединенных Штатов... Эта война не ограничивается территорией нашей несчастной страны...» Но призыв 18 июня услышало лишь очень небольшое количество людей. Не зная, что он прозвучит вечером, мы улетели во Францию, чтобы попытаться утвердить там такую же волю к сопротивлению.

Черчилль предоставил в наше распоряжение гидроплан «Клер» с большой продолжительностью полета, бравший на борт до тридцати человек. Он был слишком велик для нашей маленькой группы, зато мог перенести на заморские территории членов французского правительства, которых мы надеялись убедить пойти на такой шаг: Лебрена, Рейно, Эррио, Блюма, Манделя, являвшихся носителями большей части суверенитета страны. Мы прибыли в Бордо в среду 19 июня, в полдень. Наш первый визит был к Бодуэну, министру иностранных дел. Мы с Плевеном знали его как человека, с

которым можно было вести открытый разговор и который пользовался большим влиянием на Петена.

Я сказал Бодуэну, что мы ознакомились с его выступлением по радио 17 июня, в котором он заявил: «Не может быть и речи о том, чтобы мы приняли условия, противоречащие чести или национальной независимости нашей страны. Если враг будет настаивать на таких условиях, Франция предпочтет продолжать сражение». Именно такое развитие событий, добавил я, кажется нам наиболее вероятным и потому следует принять соответствующие меры: руководство страны должно переехать туда, где оно будет недосыгаемо для врага. Мы особо подчеркнули готовность английского правительства облегчить и обезопасить переезд французского правительства. Бодуэн сказал, что он тоже думает об этом; на утреннем заседании совета министров было решено, что президент Республики, председатели Палаты депутатов и Сената и министры переедут в Северную Африку. Маршал Петен и сам Бодуэн останутся во Франции. Я выразил удивление тем, что он, министр иностранных дел, допускал возможность исполнять свои функции, находясь под иностранным господством. Но он сослался на свой долг и свои чувства.

В глубине души он уже не верил в способность Франции к сопротивлению. Тогда я спросил у него, читал ли он *Mein Kampf*. «Конечно», — ответил он. — «А не заметили ли вы, что Гитлер по-разному относится к Франции и Англии? Он хочет уничтожить Францию. Но не собирается покушаться на Британскую империю до тех пор, пока она не будет вмешиваться в европейские дела. Германская политика направлена на раскол между Францией и Англией. Однако для будущего Франции чрезвычайно важно, чтобы обе страны сохраняли единство. В этом смысл предложения о Союзе, которое вы получили». — «Это предложение не было отвергнуто», — ответил Бодуэн. — «Только стремительное развитие событий помешало нам ответить». — «Предложение остается в силе, — сказал я, — и послание, которое лорд Ллойд вскоре вам представит, это подтверждает». — «Мы внимательно его рассмотрим, и я уже обратился к газетам с просьбой его опубликовать».

В течение полутора часов я употреблял все свои силы на то, чтобы убедить человека, разум которого, казалось, раздирали сомнения. Но что-то глубоко укоренившееся удерживало его, и нам так и не удалось сдвинуть эту пешку, которая блокировала всю французскую позицию. Мы решили отправиться к Эррио. Нас сопровождал Эмманюэль Моник, который оставил яркий рассказ об этой встрече:

«Особняк, служивший резиденцией председателя Палаты депутатов, представлял собой удивительное зрелище. На второй этаж вела широкая каменная лестница. На ней, как в Версале во времена Короля-солнца, теснилась толпа придворных, — я хочу сказать, парламентариев, желавших узнать последние новости. Они целый день стояли или сидели на ступеньках, расспрашивали друг друга, обменивались самыми фантастическими слухами, курили без конца и повсюду оставляли окурки.

С трудом преодолев эту толчею и облака табачного дыма, мы вошли в довольно просторный вестибюль второго этажа. Здесь уже имели право находиться более важные персонажи: влиятельные парламентарии, бывшие министры. Это был, так сказать, салон Ой-де-Бёф, предназначенный для близкой «свиты» короля. Они беседовали друг с другом с подавленным и мрачным видом. Наконец нас ввели в столовую. Был обеденный час. Один за огромным столом, с салфеткой, заправленной за жилет, Эррио, подобно королю, обедал в присутствии публики, поедая кусок телятины с гарниром из щавеля. На стульях, расставленных вдоль стен, но не вокруг стола, молча сидели высокие сановники режима: президент Сената, бывшие председатели совета министров, бывшие министры. Они смотрели, как насыщается старый лев»*.

Он принял нас очень сердечно. Я изложил ему, почему, по нашему мнению, ему следовало покинуть Францию вместе с правительством и как мы могли бы этому содействовать.

* Emmanuel Monick. Pour memoire, p. 64.

Он ответил мне: «Меня в этом убеждать не надо. Я сам добился того, что сегодня утром совет министров принял такое решение. Но мы отправимся под французским флагом. Иначе быть не может. «Массилия» готова к отплытию». — «А если она не отплывет?» — спросил Моник. — «Тогда, — загремел Эррио, — будет еще одно заседание парламента, на котором я возвыщу свой голос, чтобы протестовать против несправедливого мира!»

Эта театральная атмосфера была мне противна. Выходя, я столкнулся с Леоном Блюмом, он обнял меня и стал вспоминать о «приятнейшем вечере», который он провел в нашем доме несколько лет тому назад. «Какая катастрофа!» — сказал он затем со слезами на глазах. — «Катастрофа наступает, только когда человек теряет себя», — ответил я.

Я встретился с лордом Ллойдом, которому предстояло увидаться последовательно с Лебреном, Петеном, Бодуэном и Эррио. Я поставил его в известность о моих действиях. С Плевеном и Моником мы отправились на поиски ресторана. Но все было переполнено в Бордо, ставшем импровизированной столицей страны, которую засасывал беспорядок. Постоянные жители города вели свой обычный образ жизни, рассеянно посматривая на суету политиков, военных и нахлынувших беженцев. Присев на скамейку в аллее Турни, мы перекусили сэндвичами. Затем мы снова увиделись с Эррио. Он был озабочен: ему только что сообщили, что погрузка на «Массилию», назначенная на сегодняшний вечер, отменена адмиралом Дарланом без объяснения причин. Заседание совета министров было назначено на следующее утро. Было ясно, что партия капитулянтов одержала верх. Моник, у которого было множество связей в административных кругах, подтвердил наше впечатление: ничего уже нельзя изменить и некого убеждать. Все, что мы могли еще сделать, это забрать в наш гидроплан тех, кто хотел покинуть этот гибнущий мирок, лишенный воли и будущего. Плевен случайно встретил на улице жену и детей; он имел счастливую возможность забрать их с собой. Рано утром мы покидали землю Франции. Когда мы пролетали вдоль берегов Шаранты, я мысленно перенесся в старый дом в Коньяке, где жила моя престарелая мать вместе

с моими сестрами. Мне суждено было их увидеть только через четыре года.

В этот день, несмотря ни на что, я продолжал верить в осуществимость нашего проекта. Перспективу слияния Франции и Англии я представлял себе без всякого романтизма. У меня не было никакой теории, и я не связывал эту акцию с каким-либо федеративным проектом. Только необходимость дать ответ на грозную ситуацию заставляла меня действовать. Непрерывное занятие государственными делами не было моим призванием, и нормальное развитие моей карьеры не располагало меня к тому, чтобы рассматривать международные дела под углом зрения национального суверенитета. И все же, одно мне было ясно: преклонение перед национальным суверенитетом очень часто оказывается препятствием для взаимопонимания между людьми, для общего действия и для прогресса общества.

В то время как я летел в Лондон с намерением убедить Черчилля, что Союз все еще возможен, так как Французская империя сохраняет волю к сопротивлению, в Бордо дух капитуляции окончательно уничтожил возможность осуществления нашего замысла. Наше поколение, таким образом, прошло мимо смелого проекта, который мог бы изменить ход войны, а после ее окончания — и состояние умов. «*One Parliament, one Cabinet, one Army*»* — это ослепительное прозрение, сформулированное Орасом Уилсоном, еще долго будет оставаться недостижимой перспективой. Вот почему, по прошествии времени, я думаю, что события этих июньских дней 1940 года оказали глубокое воздействие на мое понимание международных дел. Слишком часто мне приходилось сталкиваться с ограничениями, которые налагает метод координации: он облегчает обсуждение, но не приводит к решениям. Он не позволяет коренным образом изменить отношения между людьми и странами и сделать решающий шаг к объединению. В то же время, я понял, что поиски единства — даже если они ограничиваются материальными проблемами

* «Единый парламент, единый совет министров, единая армия».

производства, вооружения, транспорта — должны опираться, помимо административных решений, на всю политическую власть стран, ведущих совместную борьбу. Когда народам грозит общая опасность, нельзя обсуждать раздельно интересы, от которых зависит их будущее.

Это был урок, который я недостаточно усвоил во время первой мировой войны и во время работы в Лиге наций; урок, воспользоваться которым у нас не хватило времени и теперь, в момент первого натиска немцев. Но я твердо решил руководствоваться им впредь, как только возможность совместных действий появится снова. А поводов, чтобы действовать, в моей жизни всегда было достаточно. Главное — быть подготовленным к действию долгими размышлениями. Когда наступает момент, все решается просто, потому что уже не может быть места сомнениям. Во всяком случае, таков склад моего характера, так сформировала меня семейная среда, в моем родном Коньяке, где я родился 9 ноября 1888 года.

Глава 2 Детство в Коньяке

Город, открытый миру

В Коньяке общество четко разделялось на две категории: с одной стороны, негоцианты, с другой — все остальные, то есть, практически, — поставщики. Известно, что Буше, изготовитель стеклянной посуды из Коньяка, изобрел метод формовки бутылок вместо мучительного метода их выдувания с помощью легких. Хотя он совершил настоящий переворот в стекольном производстве и водочной торговле, в глазах местного общества он все равно оставался поставщиком.

Семейство Монне перешло в категорию негоциантов только при моем отце. Близость к земле еще живо ощущалась, и у меня перед глазами был пример крестьянских добродетелей — в лице моих дедушек и бабушек. Я не очень склонен восхищаться людьми моего поколения, и происходит это потому, что мне редко встречались среди них столь благородные и простые характеры. Мой дедушка со стороны отца был мелким землевладельцем из Шерва, в нескольких льё от Коньяка. Овдовев сравнительно молодым, он дожил до ста лет, так и не согласившись на наши уговоры покинуть родной клочок земли. Да и где бы он нашел лучший уголок для охоты и рыбной ловли? В девяносто четыре года он упал в реку, после чего пришел домой, переделся, выпил теплого вина и снова отправился на рыбалку. Он был всегда любезен с людьми, его приглашали на праздники, потому что он играл на скрипке. В последние годы жизни он учил читать свою семидесятилетнюю служанку. Он счастливо прожил

свою жизнь в Шерве, но понял, что два его сына найдут счастье в Коньяке.

Здесь, в городском колледже, мой отец был одним из лучших учеников. Он знал немецкий и вел успешную торговлю по ту сторону Рейна. Там он убедился, что коммерцией можно заниматься, не прибегая к помощи письменных контрактов. Очень скоро у него ничего не осталось от недоверчивости, характерной для жителей Шаранты. На человека у него был оптимистический взгляд, который я не смог унаследовать в полной мере, так как довольно быстро события убедили меня, что человеческая природа оказывается слабой и непредсказуемой, когда не действуют правила и государственные установления.

Моему отцу было тридцать шесть лет, когда он женился на дочери бывшего бочара из Эннеси, ставшего хозяином винного хранилища. Дедушка Демелль носил бородку и придавал большое значение соблюдению приличий. Он надевал праздничный костюм, отправляясь платить налоги. Как и все мы, он очень уважал свою жену, умную и рассудительную женщину. Они жили в маленьком домике, расположенном в центре старого города. Этот домик был для нас местом, где находились самые прекрасные и необходимые душе вещи. Вплоть до конца их жизни, которая, к счастью, была очень долгой, я, приезжая в Коньяк, первым делом навещал этих превосходных людей.

Моя мать унаследовала их моральные качества, среди которых на первом месте стояли чувство долга и чувство меры. Она смогла сделать их достоянием нашей семьи, несмотря на характер моего отца, склонного к фантазии, нетерпению и беспокойству. По сравнению с ним она казалась строгой, даже несколько авторитарной. Никто не мог бы сказать, насколько ей была свойственна фантазия. Ее роль состояла в том, чтобы поддерживать равновесие внутри нашей семьи, тогда как отец вовлекал нас в неустанную активность. В 1888 году, когда я родился, матери было девятнадцать лет. Вслед за мной появились на свет мой брат Гастон и сестры, Анриетта и Мари-Луиза. Когда я вспоминаю о своем детстве, я вижу вокруг себя много женщин: мужчины в Коньяке часто уезжа-

ли по делам. Мой отец уезжал то в Германию, то в Швецию, то в Россию, и тогда мои тетушки и кузины приходили, чтобы составить компанию моей матери. Когда отец возвращался, все они скромно удалялись.

Моя мать имела обыкновение рано вставать и наводить порядок, в семь часов утра ставни были уже открыты. А когда наступал вечер и зажигались лампы, все ставни закрывались. «А то нас увидят», — говорила она; нежелание выставляться, быть на глазах у других — характерная черта жителей Шаранты. В противоположность моему отцу, который мог мечтать, или проявлять свое дурное настроение, или же отправляться в путешествие, она была привязана к реальностям домашнего уклада и мягко приучала к ним и других членов семьи. Возможно, своим воображением я обязан отцу. А от матери я усвоил, что ничего нельзя построить, не опираясь на реальность. Она не доверяла идеям как таковым. Она желала знать, каково будет их применение.

Моя мать была набожна и очень терпима. Будучи католичкой, она очень уважала нашего друга, господина Барро, который по воскресеньям, оставив свой плуг, отправлялся в протестантский храм Сегонзака. «Это — человек Библии», — говорила она торжественно. Мой отец посвящал воскресенья благотворительной деятельности. Он занимался обществами взаимопомощи, которые в то время отвечали первым потребностям в организации страхования. Таким образом он осуществлял свое стремление к общественному благу. Что к этой цели можно идти через политику, ему никогда не приходило в голову.

Вот в такой обстановке я и вырос. Все занимались одним единственным делом, сосредоточенно и медленно. Но это дело открывало широчайшее поле для наблюдений и активного обмена идеями. Так я узнал о людях и международных делах больше, чем мне могло бы дать специальное образование. Мне нужно было только смотреть и слушать. Поэтому, когда окончив школу и защитив диплом бакалавра, я захотел заняться делами нашей семейной фирмы, отец охотно пошел мне навстречу.

Школу я не любил. Что-то мешало мне заучивать книжную премудрость. Когда меня хотели отправить в школу-интернат, находившуюся в Понсе, я заболел. И все же детство запомнилось мне как серьезная и дисциплинированная пора жизни. Очень рано ко мне пришло инстинктивное убеждение, ставшее жизненным правилом: размышление должно идти рука об руку с действием. Все вокруг меня были заняты делом. Отец и мать, которыми я восхищался, были постоянно деятельны, постоянно что-то задумывали и осуществляли. Я ясно видел, где я могу немедленно применить свои силы и мысли; так зачем же мне было отправляться на юридический факультет в Пуатье, если я мог сразу поступить в школу жизни и объездить весь мир?

«Объездить мир» — это литературное выражение не употребляли в Коньяке. Здесь говорили: «посетить клиентов». Если приходилось ехать в Сингапур или Нью-Йорк, это воспринималось не как привилегия, даваемая профессией, а как простая необходимость. Наше маленькое местное сообщество гордилось своей принадлежностью к торговле коньяком, но эта гордость была связана скорее с качеством товара, чем с мировым спросом на него. Мировой спрос только подтверждал качество напитка, рожденного и счастливым сочетанием природных условий, и прочными традициями, которые на протяжении двух столетий упорно поддерживали производители и торговцы. Продажа коньяка была необходимостью, и эта необходимость заставляла нас без всякого романтизма посещать самые экзотические страны. Поэтому наше профессиональное образование начиналось с изучения языка наших клиентов. Мне было необходимо выучить английский, и чем скорее, тем лучше. Мне предстояло расстаться не только с колледжем, но и с семьей, и с беспечностью детства. В шестнадцать лет я купил шляпу-котелок и осознал свою ответственность.

Эта ответственность была реальной, мой отец не считал меня слишком юным для того, чтобы приобщиться ко всем проблемам нашей фирмы. Он потребовал, чтобы я прошел стажировку в подземных хранилищах для вина и в бочарной мастерской, но на самом деле не там я получил свой самый

ценный опыт: я приобрел его за нашим семейным столом. По субботам мы принимали у себя наших поставщиков из деревни, снабжавших нас виноградным спиртом. Это были люди богатые, рассудительные, связанные с землей, подобно нашему другу господину Барро. Их связывали с моим отцом не только коммерческий интерес, но также дружба и взаимное доверие. Это доверие было заложено в основание фирмы, оно проявлялось даже в ее структуре: мы назывались «Обществом виноделов Коньяка», и люди, обедавшие по субботам за нашим столом, были нашими главными акционерами.

«Общество» было основано еще до моего отца, в 1838 году. Оно возникло по инициативе некоего Антуана де Салиньяк, объединившего несколько сотен мелких виноделов, которые не хотели подчиниться почти монопольному господству крупных фирм. В то время коньяк продавали англичанам в бочках. Когда в 1897 году моему отцу предложили стать во главе «Общества», он уже имел в Коньяке опыт и репутацию, которые и привлекли к нему акционеров. Они хотели доверить свое предприятие человеку новых взглядов в момент, когда в торговле происходили крупные перемены, связанные с тем, что коньяк стали разливать на месте и продавать в бутылках. Мой отец вложил в фирму капитал своих познаний, и на этикетке фирмы с изображением саламандры теперь стояло его имя — Ж.Г. Монне. Он доказал, что имеет на это право: его коммерческие поездки по Европе обогатили фирму и позволили ему на комиссионные построить себе дом в городе.

Этот дом, в глазах моей матери, был знаком того, что наша семья укоренилась, и она не желала, чтобы отец пускался в слишком амбициозные предприятия. Но когда она поняла, что ее муж, которого она очень любила, нуждается в активности, которая соответствовала бы силе его воображения, она согласилась оставить прежний дом и поселиться с семьей в большом торжественном здании «Общества виноделов». Именно там она и завела тот обычай гостеприимства, который вообще столь характерен для жителей Коньяка.

Если в субботу наш стол был накрыт для наших друзей-виноделов, акционеров «Общества», то в остальные дни мы принимали всех, кто посещал город по торговым делам.

Они приезжали из Англии, Германии, Скандинавии, Америки. Поскольку у каждой фирмы были свои посетители, а гостиницы в городе не было, приезжих дружески принимали в семьях. Впрочем, корни большинства влиятельных семей и их родственные связи находились вне города, о чем свидетельствуют и их фамилии: Эннеси, Мартелль, Хине... Происходил непрерывный обмен идеями и людьми, личные связи придавали коммерции человеческий характер. Вот уже целый век, как одна из улиц Коньяка носит имя английского экономиста и политического деятеля Ричарда Кобдена. Со временем новые поколения забыли это имя, и муниципалитет предложил дать улице новое название. Морис Эннеси добился, чтобы этого не делали. И Коньяк остался, если не ошибаюсь, единственным городом Франции, где чтут имя апостола свободной торговли, имеющей столь большое значение для современной Европы.

Прежде, чем узнать местное общество, с которым, впрочем, мы были мало связаны, я наслушался рассказов наших гостей из дальних стран об их родных местах, об их путешествиях, и у меня возникла привычка бессознательно сравнивать их проблемы с нашими. Мой отец, обладавший ненасытной любознательностью, расспрашивал их. У нас за столом говорили о мировых проблемах так же, как в других домах обсуждают муниципальные новости. Но мы делали это без всякой аффектации, не чувствуя, будто залезли на чужую колокольню: ведь мы знали, что наше процветание зависит от того, как развиваются события и меняются вкусы во всем мире. Наши заботы уводили нас далеко от Коньяка, но мы не теряли из вида то, что здесь производилось.

Мы не жалели времени, чтобы получить информацию, но у нас не было досуга, чтобы предаваться мечтам. Медленная Шаранта, текущая у подножия холмов, в которых вырыты винные погреба, несущая на себе барки, груженные бочками, не влияла на дух нашего дома. Коньяк Монне медленно старел в погребах, но сама фирма была молода и должна была действовать активно, чтобы отстоять свое место. Наша жизнь была нелегка. Большие и старые фирмы без труда на-

ходили рынки сбыта, поскольку их продукция была известна во всем мире. Малые торговые дома должны были изыскивать клиентов в удаленных уголках. Кроме того, в 1907 году стала ощущаться конкуренция виски, и на мировом рынке, и даже в самой Франции. Организации же экспортеров коньяка не существовало. Потребность в такой организации они почувствовали поздно. В моей молодости существовало одно-единственное негласное соглашение о цене на коньяк, и устанавливали его по обоюдной договоренности господ Эннеси и Мартелль. Но они заботились в основном о доходах десятков менее крупных фирм и даже отдельных производителей, хотя те ни в чем от них не зависели. Самостоятельность была правилом нашей торговли. Для моих родителей она же была и правилом жизни.

Мой отец, при всей его предприимчивости, никогда не думал о том, чтобы превратить наше «Общество виноделов» в наступательную профессиональную организацию. Как и большинство негоциантов, крупных и мелких, он заботился о сохранении, а не о переменах. С чем был связан успех мировых марок коньяка? С тем, что однажды установив свою репутацию, они уже ничего не меняли. Эннеси никогда ничего не менял. Другие пытались что-то менять, но у них не получалось. Мой отец говорил: «Любая новая идея — плохая идея». И он был прав, поскольку это касалось коньяка. Но он был не прав в общем плане. Я не разделял его мнения, но не был уверен, что смогу действовать лучше, чем он.

Впрочем, у меня и не было таких амбиций. Когда ребенком я играл в огромных погребах компании, мне там было просторно. Зачем мне беспокоиться о новых путях, если я призван всего лишь продолжать дело моего отца? Продолжать — это ведь немало! В больших компаниях по продаже коньяка было достаточно передавать полученное по наследству. Я же очень быстро убедился, что мы находимся в ином положении: мне было необходимо день за днем, шаг за шагом завоевывать на мировом рынке место для родительской компании. Я был хорошо подготовлен к тому, чтобы укреплять и развивать наше предприятие, и я бы очень удивился, если бы мне сказали, что в один прекрасный день мне при-

дется покинуть Коньяк. Мне и младшему брату предстояло помогать отцу, а затем придти ему на смену. Альтернативы не было. Зарабатывать на жизнь, продавая наш коньяк, было для меня первейшей необходимостью. Здесь нечего было обсуждать. И впоследствии мне потребовались длительные усилия, чтобы привыкнуть к общественной деятельности, то есть — заниматься делами других.

Когда позже я все же был вынужден вступить на это поприще, я открыл для себя совсем иной мир, где действовать было гораздо сложнее, чем подбивать торговый баланс в конце года. Но обстоятельства — в которых всегда присутствовала необходимость — вынудили меня оставить частные дела и вернуться к ним лишь после длительного перерыва. Я сделал это не из стремления к переменам и не из честолюбия. Я даже не уверен, что принятое в американском обществе чередование частной и общественной деятельности, является хорошей системой всюду и всегда. Если есть на этот счет полезное правило, то очень простое: выбери, где ты сможешь лучше сделать то, что тебе нужно сделать.

Если бы не война 1914 года и не необходимость принять в ней осознанное участие, я бы, наверное, никогда не расстался с семейной фирмой. Я не считал себя предназначенным для того, чтобы заниматься делами моей страны или делами других людей. Позже отец часто говорил мне: «Ты думаешь, что занимаешься большими делами, но будешь доволен, вернувшись в родной дом». Я действительно думал, что мог бы обеспечить процветание нашей компании, и когда несколько лет спустя после окончания войны мне представился случай, я этого добился, но совсем не теми методами, которые я применял в общественных делах. В Коньяке мне никогда не пришлось бы заниматься профессиональной организацией, слиянием производителей. Там передо мной такая задача не стояла.

Я был по-настоящему подготовлен только к одному: старательно исполнять то, что мне казалось несомненным, а что могло быть для меня более очевидным, чем пример отца, жившего только ради фирмы и дома, которые он создал, которые не оставляли ему времени на развлечения, но давали

все возможные радости? Если бы я захотел избрать другой путь, отец не стал бы противиться, но мы хорошо понимали, что его труд еще не завершен и нужно его поддержать объединенными силами всей семьи. Вот почему я не припоминаю, чтобы я мечтал о великих свершениях, и в возрасте, когда человек находит свое призвание, я убедился, что бесполезно говорить: «Я хочу сделать то-то и то-то». Для меня, во всяком случае, все происходит иначе. События захватывают меня и мои мысли и приводят меня к общим выводам относительно того, что должно быть сделано. А затем обстоятельства решают, в какой момент и какими средствами нужно действовать. Я умею долго ждать подходящих обстоятельств. В Коньяке умеют ждать. Это единственный способ получить хороший продукт.

Терпение — это, несомненно, та привычка, которую я приобрел в той среде, где прошло мое детство. Меня окружали уравновешенные и серьезные люди, отмеченные, быть может, печатью некоего англосаксонского пуританства. У них я научился слушать и взвешивать слова. Этой среде я обязан также своей открытостью и знанием мира, чем не могли похвастаться молодые французы моего поколения. У меня не было времени предаваться развлечениям, свойственным молодежи. В шестнадцать лет я уже был путешественником. У нас это было обычным делом. Об оригинальности никто не думал.

Жители Коньяка не были националистами в эпоху, когда вся Франция была охвачена национализмом. Я не могу сказать, что этот факт оказал влияние на мою последующую деятельность в европейских структурах. Я об этом совершенно не думал. В молодости у меня не было мысли о том, что мне предстоит заниматься международными делами. Но, конечно, уже тогда складывались условия, которые позволили мне, когда пришло время, организовать совместную работу людей, разделенных искусственными барьерами. Я никогда не делал различия между этими людьми. Для меня не составляло труда приспособиться к условиям работы. И приспособить их к своим задачам. Но это не значит, что все мне давалось легко.

Дальние путешествия

У нас в доме было правило: нечего обсуждать то, что должно быть сделано. Моя мать согласилась с тем, что в шестнадцать лет я отправился на два года в Англию. Я должен был изучить не только язык наших самых значительных клиентов, но также их обычаи, их манеру вести переговоры. Мне предстояло жить в семье виноторговца, нашего лондонского партнера. Там я мог наблюдать традиции британских деловых кругов, точнее, — поскольку я еще был слишком молод, чтобы играть активную роль, — проникаться их атмосферой.

Каждый день, вместе с господином Чаплином, моим хозяином, я отправлялся в его контору в Сити. Сити являлся в то время — как, впрочем, и сейчас — особым миром, достойным самого глубокого уважения. Сити — это не только квартал деловых контор и банков, это также особая среда, социально замкнутая, но профессионально открытая миру. Здесь озабочены тем, как идут дела в Шанхае, Токио, Нью-Дели или Нью-Йорке. Об этом говорят в офисах, в клубах, в пабах. Здесь, в конце концов, все перезнакомились между собой, вместе играя в гольф или в домино. А также во время поездок на поезде, который являлся общим транспортным средством для всех, независимо от занимаемой должности. Здесь существует тесное сообщество, внутри которого коммерческая конкуренция смягчается личными отношениями. Каждый занимается своими делами, но в то же время — это и дела Сити. Так что не говорят: «Я посылаю своего сына в такую-то фирму или в такой-то банк», а говорят: «Я посылаю его в Сити».

Конечно, мои родители послали меня не в Сити, но я там был и не мог не испытать воздействия этой мощной структуры. Здесь я понял, что такое коллективная деятельность: такого я не мог наблюдать ни в Коньяке, ни вообще во Франции. Разумеется, индивидуальная деятельность не исключалась. Но, в отличие от нас, здесь к ней не относились с предубеждением. Просто не допускали, чтобы она принимала слишком личный и головокружительный характер. Она имела шанс привести к успеху только в том случае, если служивала коллективной поддержки и действительно поль-

зовалась ею. И еще одной вещи я научился в этой среде: формировать собственное суждение о людях. В Сити составляют мнение о клиенте и придерживаются этого мнения независимо от того, хорошо или плохо идут дела. Его не лишают доверия. Такого я не видел больше нигде. На Уолл-Стрите, где много общего с Сити — в смысле организации и коллективной деятельности, — если ситуация становится плохой, деньги тут же изымают.

Английскую мощь тогда признавали повсюду, и она не могла не поразить молодого француза, который уже рассматривал эту страну и ее империю как естественное поле своей деятельности. Между Коньяком и Лондоном были прямые связи, не затрагивавшие Париж. Эти связи имели личный, часто семейный характер. Они не были подвержены превратностям политики. Было между странами сердечное согласие, или его не было, мы все равно поддерживали доверительные отношения с англосаксонским миром. Качество продукта, которым мы торговали, способствовало тому, что между покупателем и продавцом устанавливались отношения взаимного уважения, или, точнее, — уважения к качеству продукта. Коньяк был благородным напитком, а кроме того, разве его взлет не был связан с предприимчивостью нескольких шотландских или ирландских эмигрантов XVII века?

Итак, с самого детства, в эпоху, когда французское общество тонуло в провинциализме, я научился понимать, что мы живем в обширном мире и что мне предстоит иметь дело с людьми, которые говорят на других языках и имеют иные привычки. Наблюдать эти привычки и считаться с ними было для нас насущной необходимостью. Но это не сопровождалось чувством чуждости или зависимости. Мы, жители Коньяка, были на равной ноге с англичанами. В Париже люди больше поддавались их влиянию. А потому нам были не свойственны и защитные реакции гордости и национализма, которые пронизывали французскую политическую жизнь. В дальнейшем, в отношениях с другими народами, мне не приходилось бороться со своими комплексами, поскольку я не успел их приобрести.

Когда в возрасте восемнадцати лет я отправился в свое первое путешествие, отец мне сказал: «Не бери с собой книг. Никто не сможет думать за тебя. Смотри в окно, разговаривай с людьми. Обращай внимание на тех, кто рядом с тобой». Я отправился в Виннипег к нашим клиентам, суровым людям, живущим в суровом климате, среди природы богатой, но беспощадной к слабым. Эти люди ценили особую утонченность коньяка. Они требовали, чтобы он был высокого качества. Мы говорили о коньяке-напитке, но они мало интересовались Коньяком-городом. То, что происходило в Европе, не интересовало этих европейцев, переехавших на запад и повернувшихся спиной к старому континенту. Но их собственная борьба, их видение будущего, более широкого и богатого, чем наше, были главными предметами наших бесед. И я впитывал эти новые впечатления.

Когда я возвращался в Коньяк, мне приходилось иметь дело с другим типом людей, с теми, кто поставлял нам виноградный спирт, исходный продукт для производства нашего напитка. Эти виноделы обрабатывали один и тот же участок из поколения в поколение. Их богатство составляли несколько гектаров земли, занесенные в каталоги и кадастры. Для них речь шла не о том, чтобы осваивать новые земли, но, напротив, о том, чтобы разграничить землю на небольшие участки — для элитных виноградников, фруктовых садов, маленьких ферм. Их проблема состояла в том, чтобы завоевать как можно более широкие рынки для самой концентрированной в мире продукции. Это была наша общая задача, и для коммерсантов, и для производителей: открыть мировые рынки для местного продукта.

Как-то я отправился в Сегонзак, маленький городок недалеко от Коньяка, к господину Барро. Его виноградники расстились на обширной, слегка волнистой равнине. Не знаю, плавные ли очертания засаженных виноградом холмов, или климат, в котором уже чувствуется близость моря, или медленное течение реки — заставили путешественников издавна называть эти места «мягкой Шарантой». Господин Барро был на винограднике: одетый в старую куртку, он сам направлял свой плуг. Канада, ее леса, снега, трапперы словно

принадлежали иному миру. Однако именно этот иной мир интересовал господина Барро. Прежде чем я успел спросить его об урожае, он сказал: «Ну так расскажи мне о Виннипеге».

После моего возвращения из Англии отец послал меня в Америку, где я должен был посетить наших старых клиентов и расширить нашу торговую сеть. Для молодой фирмы, стремившейся заявить о себе, идея расширения была вполне естественна. Но то, что я обнаружил в Америке, было чем-то другим. Это называлось экспансией.

В 1906 году целинные земли еще занимали обширные пространства континента, и в Канаде освоение западных регионов было насущной задачей. Когда я был в Виннипеге, из окна своей гостиницы возле железнодорожного вокзала я видел, как прибывали на поезде скандинавские иммигранты. Это не были изгнанники или голодные, приехавшие за куском хлеба. Их привлекала перспектива весьма выгодной работы по освоению целины. Господствующим типом среди них был не спекулянт, а предприниматель. Впервые я встретил людей, для которых главным было не сохранение уже существующего, но неустанное расширение. Они не думали о пределах, они не знали, где пролегает граница.

В этой среде, охваченной непрерывным движением, я понял, что нужно избавиться от атавистического недоверия, ведущего к ненужным заботам и потере времени. В Шаранте не очень-то доверяют соседу и тем более требуют гарантий от вновь приехавшего. Тогда как здесь я обнаружил иной подход: инициатива каждого принималась как вклад в общее процветание. Меня поразили даже незначительные примеры такого доверия, становившегося принципом поведения для европейского иммигранта. Однажды в Калгари, в провинции Альберта, мне предстояло посетить скандинавских фермеров, к которым у меня было рекомендательное письмо. У кузнеца, который работал у дверей своей кузницы, я спросил, какие есть средства сообщения с нужным мне местом. Он ответил, что таковых не существует, и добавил: «Вы можете взять вот эту лошадь. Когда вернетесь, привяжите ее на том же месте». Такое доверие с его стороны было совершенно естественным, а мое удивление, выказав я его, конечно, оскорбило бы кузнеца.

Да, я был далеко от Коньяка и от стран, где действуют писанные законы. Безусловно, здесь должны были быть другие формы наказания для нарушителей порядка. Само понятие порядка было другим. К статическому равновесию старой Европы в моем сознании добавился динамизм мира в вечном движении. И то, и другое имело свои достоинства и свои объяснения. Но американская экспансия даже не нуждалась в объяснении. Она была спонтанной, как необходимость. Она принимала, в моем восприятии европейца, формы беспорядка, но очень скоро я перестал оценивать проблему в таких терминах. Я убедился, что нельзя двигаться вперед без некоторого беспорядка, или, во всяком случае, при сохранении видимости полного порядка.

Мне было восемнадцать лет, и я вел переговоры о больших поставках с компанией «Гудзон Бэй». Генеральный директор этой очень старой и мощной компании, господин Чипман, пригласил меня к себе домой, в Форт Селкирк. Нам были нужны меха, а трапперам нравился коньяк. Через несколько лет, во время войны, у меня появится возможность использовать мои доверительные связи с этими предприимчивыми людьми для организации снабжения Союзников.

Я объездил также Соединенные Штаты, от Нью-Йорка до Калифорнии. И везде у меня возникало впечатление, что там, где пространство не ограничено, там и доверие не дозируется. Там, где признается необходимость перемен, там признается и экспансия. Соединенные Штаты сохранили динамизм покорителей Дальнего Запада, который я ощутил еще в Виннипеге. Но здесь к нему добавилась организация. Я понял — организовывать перемены, это необходимо и возможно.

Именно этот контакт с Америкой пионеров определил мою склонность к историям о покорении Западных земель, к эпопее Pacific Railway* и приключениям Буффало Билла. Позднее, если я ходил иногда в кино со своими дочерьми, то лишь для того, чтобы посмотреть вестерн. К вестернам мы относились с энтузиазмом, но то, что для девочек было легендой, для меня также имело прелесть воспоминаний. Дети пра-

* Трансконтинентальной железной дороги к тихоокеанскому побережью.

вы, когда увлекаются этими картинами, полными упорства и отваги. Таковы главные черты характера американской нации, которая не перестает открывать себя и осознавать меру своих возможностей. Время превратило в символ покорение Запада, но оно было реальностью — и незабываемым уроком — для молодого путешественника-европейца начала века.

Я вернулся в Коньяк после долгих месяцев отсутствия, во время которого посетил наших коммерческих агентов и наших клиентов в самых удаленных уголках. Я тысячу раз объяснял своим собеседникам, и часто мне удавалось убедить их, что коньяк моего отца ничуть не хуже, а покупать его выгоднее, чем продукцию старых фирм, чья репутация опередила нашу. Для этого требовалось большое терпение и серьезность. Я не занимался туризмом, хотя, конечно, не мог не восхищаться разнообразием природы. В Скалистых горах я почувствовал вкус к длинным переходам, никогда впоследствии меня не покидавший. Не могу сказать, что такие переходы были для меня развлечением: напротив, это были моменты внутренней концентрации, необходимые для подготовки к действию. Но требовала ли деятельность по продаже коньяка столь серьезного отношения со стороны восемнадцатилетнего человека? Сидела ли у меня в голове, как у огромного числа юношей, мечта изменить ход вещей в мире? Нет, я был целиком погружен в мою сиюминутную активность. И был убежден, что для ее успешного завершения мне потребуется все мое время, весь мой опыт, все мое знание людей.

Сколько я себя помню, я всегда отдавал все силы для достижения цели, которая не подлежала обсуждению. Мне не хватает воображения для того, чтобы думать о том, что не представляется мне необходимым. В восемнадцать лет я должен был помогать отцу утвердить авторитет и процветание нашей фирмы. Мои намерения не выходили за эти пределы. Я, конечно, не мог бы сказать, насколько я надеялся преуспеть в этом деле и какие выгоды намеревался извлечь из своего успеха. Я не задавал себе подобных вопросов. Просто я старался, чтобы максимальное количество шансов было на моей стороне, и потому собирал информацию обо всем, что могло способствовать продвижению нашей продукции: при-

ходилось ехать далеко, потому что нам препятствовал политический кризис в центральной Европе, уменьшение процветания в Америке, рост накладных расходов в Лондоне. Я без конца расспрашивал путешественников. Стремился узнать людей и то, на что они способны, — все в точности так, как если бы я ворочал большими делами. Впрочем, какое значение могло иметь для каждого из нас установление различий между большими и маленькими делами? Есть дело, которым ты занимаешься, и этого достаточно.

Я обогащал свой опыт негоцианта — и свой человеческий опыт, что одно и то же, — на протяжении лет, когда путешествовал то снова в Англию, то в Швецию, то в Россию. Я ездил в Египет, где освоил иные формы ведения переговоров. Я сопровождал нашего греческого торгового агента в его переездах из деревни в деревню. Мы посещали оптовиков, которые усаживали нас, угощали кофе и занимались своими делами. Мы знали, что необходимо выждать какое-то время. Затем Шамах, наш грек, решал, что пора переходить к нашему делу. Он писал в записной книжке, какое количество товара, по разумному подсчету, наш клиент должен был бы у нас приобрести, и эта цифра никогда не оспаривалась. Он соблюдал ритуал. Позднее на Востоке я столкнулся с таким же отношением к времени, что заставляет усомниться в том, что Коньяк ближе к Нью-Йорку, чем к Шанхаю. В Китае надо уметь ждать. В Соединенных Штатах надо уметь возвращаться. Это две формы терпения, к которому коньяк, требующий времени для своего изготовления, весьма предрасполагает.

1914 год. Вивиани: «Вы должны попытаться...»

О всеобщей мобилизации я услышал на вокзале в Пуатье. Я оказался там по дороге из Англии в Коньяк. Мои соотечественники были охвачены таким пылом и таким возбуждением, которые очень отличались от решимости, проявленной англичанами в течение тех недель, которые привели, через ряд недоразумений, к нелепому столкновению. Я знал, какую массу материальных средств и какую волю к победе сумеет мобилизовать первая мировая империя, когда она по-

чувствует окончательную необходимость ответить на вызов. Во Франции все надежды возлагались на вождей и героизм армии. Когда я прибыл в Коньяк, мой брат уезжал в свой гусарский полк. Говорили, что война будет короткой, и главной заботой военачальников было двинуть войска к границе, как будто все должно было решиться в одном генеральном сражении. Я был освобожден от военной службы по состоянию здоровья, и поэтому дома меня не ожидала повестка. Однако я не мог оставаться в стороне. Я должен был служить, насколько это было в моих силах, и там, где я буду наиболее полезен.

И очень скоро я понял, что я должен делать: перед союзниками вставала сложнейшая проблема, к которой они не были готовы, — проблема координации военных усилий. То, что я ее осознал, произошло *потому что* я был молод, а не *вопреки* моей молодости. Ведь это была новая проблема, принадлежавшая уже XX веку, которую молодое, лишенное предрассудков сознание различало лучше, чем эксперты, воспитанные на понятиях XIX века. Эти эксперты не понимали, что составляющие военной мощи изменились, что отныне военная машина будет перемалывать все ресурсы страны и потребуются такие формы организации, о которых раньше не подозревали. Германия с ее громадной армией и колоссальным промышленным потенциалом казалась мне гораздо лучше подготовленной к такой войне, чем Союзники, которые вступали в борьбу порознь, чем неизбежно распяляли свои силы.

Я знал англичан, и работа с ними не представляла для меня трудностей. Совместное рассмотрение проблем экономического обеспечения войны казалось мне самоочевидной необходимостью; я был убежден, что мы к этому все равно придем, но был риск потерять много ресурсов и времени. Я хотел сделать что-нибудь, чтобы эта необходимость была осознана как можно скорее. Но я не знал, к кому обратиться. Я пробовал обсудить мои идеи с окружающими и понял, как трудно будет убедить людей, что в нынешних тревожных обстоятельствах не все учтено в высших эшелонах власти. Мой отец, например, терпеть не мог бесполезной гра-

ты ресурсов. Но в то же время считал нормальным, что Франция и Англия каждая по-своему решают, какие предпринять экономические усилия для ведения войны. Конечно, для него, как и для всех французов, союз с Англией был свят, он был условием нашего выживания. Но этот союз понимался как параллельные действия двух суверенных держав, двух армий, которые делят между собой военные задачи и, выполняя каждая свою миссию, идут к совместной победе.

Естественно, мой отец тоже так думал. Сердечное согласие между Англией и Францией было заключено недавно, сближение между ними имело пределы. Более того, две экономические системы были по-разному ориентированы: английская концепция свободной торговли плохо согласовывалась с французским протекционизмом. Разве тесная координация обеих систем не угрожала нарушить равновесие и той, и другой в момент опасности? Уже одно то, что придется инвентаризировать и объединить ресурсы, могло угрожать либеральной экономике, которая и в военное время оставалась неприкосновенным принципом. Однако то, что казалось естественным моему отцу, перестало быть таковым для меня. Во время моих путешествий я понял, что экономические процессы не являются стихийными, что их можно измерить и направить, а главное, что там, где организация, там и могущество. Эта истина стала вырисовываться уже в период предвоенного промышленного подъема, а в момент международного конфликта, принявшего новые формы, она стала самоочевидной. Непонимание, которое я встречал, тревожило меня и подстегивало мое желание быть услышанным.

События развивались стремительно, и первое немецкое наступление потрясло и наше экономическое равновесие, и нашу военную систему. Мы внезапно потеряли две трети продукции нашей черной металлургии и сталелитейной промышленности и половину угледобычи. Мы перестали получать доходы от капиталов, размещенных за границей. Серьезная опасность нависла не только над нашим внешнеторговым балансом: внутренние цены подскочили под давлением ажиотажных закупок. И тут мы заметили, что всегда зависели от заграничных морских перевозок. А ведь для военных нужд

была реквизирована только небольшая часть торгового флота. Зато британская экономика держалась лучше, так как территория метрополии не была оккупирована, а ее флот господствовал на море. Международная торговля продолжалась ценой некоторых нарушений блокады Германии, блокады, которая и введена-то была с опозданием, во всяком случае, в том, что касалось нейтральных государств. Но и в Англии реквизиция торгового флота была частичной. Отсюда — огромные траты на фрахт судов.

Признаки быстрого ухудшения ситуации были столь многочисленны, что у меня было более чем достаточно примеров, усиливавших мою решимость довести мою точку зрения до людей, имевших власть. Мой отец, хотя и начинал колебаться под воздействием моих доводов, повторял: «Даже если ты прав, не в твоём возрасте и не в Коньяке менять то, что решили руководители в Париже». Но я как раз и не намеревался сидеть в Коньяке, ожидая, когда меня призовут на нестроевую. Полученную отсрочку надо было использовать с толком, и я обдумывал, каким способом я мог бы выйти в Париже на людей, которые имели власть.

Друг нашей семьи, господин Фернан Бенон, хорошо знал премьер-министра Вивиани, вместе с которым некогда выступал в нескольких процессах. Это был человек, открытый для новых идей; он расспрашивал меня о моих путешествиях, а я получал у него информацию о местных делах. Главным образом ему я был обязан имевшимися у меня знаниями о внутренней политике, о деятельности различных администраций. Мне было нетрудно убедить его в обоснованности моих опасений по поводу того, что экономические усилия, связанные с войной, опираются на устаревшие методы. Он согласился представить меня Вивиани. Мы уже собирались выехать в Париж, когда правительство само переехало в Бордо. Теперь всего несколько километров отделяли меня от центра власти.

Моя семья по-прежнему полагала, что эти несколько километров являются дистанцией, непреодолимой в социальном отношении. Меня считали очень самоуверенным:

ведь я собирался перескочить через все ступени административной иерархии. Я не разделял этих сомнений, так как мне никогда не было свойственно уважать существующие власти только за то, что они власть. В моих глазах только их полезность оправдывала их существование. В таком важном деле, как укрепление связей между Союзниками, решение должно было приниматься на уровне правительства. Моя идея была такова, что только премьер-министр мог принять решение о ее реализации. Так почему же не обратиться прямо к нему? Речь шла не о тщеславии, а о простой эффективности. Я всегда действовал таким образом: сначала дать идее вызреть, затем искать человека, который обладает властью ее реализовать. Такие поиски предполагают наличие посредников, часто людей, занимающих скромное положение, но осознающих свою ответственность за принимаемые решения. В своих начинаниях я никогда не испытывал недостатка в таких людях, и я им глубоко признателен. Среди них Фернан Бенон был первым. Без его помощи мне, возможно, никогда бы не пришлось заниматься тем, что мой отец называл «чужими делами», то есть — общественной деятельностью.

Мы отправились в Бордо во вторую неделю сентября. Разворачивалась битва на Марне, и надежда возрождалась в лагере Союзников. Но урок был получен жестокий и все почувствовали на собственном горьком опыте, что пришел конец устаревшим военным и экономическим доктринам. Первоначальные неудачи подвергли серьезному испытанию франко-британскую солидарность. Необходимо было во что бы то ни стало найти новую форму организации, соответствующую долгому и трудному пути к победе.

Вивиани принял меня в своем кабинете. Этот человек, построивший свою карьеру на ловкости, обаянии и выдающемся ораторском таланте, проявил твердость в испытаниях, постигших страну. Переехав в Бордо, правительство не поддавалось панике, но, напротив, продемонстрировало, что оккупация врагом значительной части территории не означала разгрома. Вивиани сказал мне: «Кажется, месье, вы желаете сообщить нам интересные проекты. Я вас слушаю».

У меня не было проектов в прямом смысле слова, но было убеждение, из которого вытекала необходимость определенных действий. Я изложил Вивиани то, что знал о потенциале и решимости англичан:

«Англия, несмотря на разочарование, испытываемое нами в данный момент, будет все активнее участвовать в войне на континенте. Ей потребуются больше времени, чтобы стать воюющей нацией, но затем ее армия станет такой же сокрушительной силой, какой является ее флот. Но речь не об этом. Речь идет об экономической мощи Англии, которую мы не умеем использовать в полной мере. Наш союз будет простым сложением сил, пока мы не определим, какую ответственность берет на себя каждая сторона в соответствии со своими возможностями. В нынешней ситуации, несмотря на все старания обслуживающих организаций, имеют место растрата ресурсов и нелепое дублирование».

— У вас есть примеры? — прервал меня Вивиани.

— Коммерческие флоты не реквизируются. На то есть причины. Но разве необходимо, чтобы они конкурировали между собой, чтобы не было единых тарифов или хотя бы согласованных ставок за фрахт, обеспечивающих приоритетные перевозки? Сегодня вас беспокоит рост цен на овес. На самом деле не овес подорожал, возросла плата за его доставку.

— Что вы предлагаете?

— Надо создать общие органы, способные учесть ресурсы Антанты, распределить их и уравновесить нагрузки.

— Для этого существуют органы межсоюзнического сотрудничества, и они хорошо работают, — сказал Вивиани.

— Эти органы являются всего лишь передаточной инстанцией. Они не принимают решений. У нас начинается нехватка продуктов, надо собрать для наиболее рационального использования наши общие ресурсы, все ресурсы. Эта необходимость, как мне кажется, до сих пор не осознана. Солидарность должна быть тотальной; это значит, что каждый из союзников не может использовать, без согласия другого союзника, не только свои человеческие ресурсы, но также и свои продовольственные ресурсы, и свои суда.

— Я вас понимаю. Но и вы должны понять, что речь идет о двух правительствах, двух суверенных парламентах. И если каждая из предлагаемых мер должна будет одновременно проходить через их утверждение!..

— Я достаточно хорошо знаю англичан и уверен, что с ними можно достичь закрытого соглашения, если апеллировать к их честности и вести с ними доверительные переговоры. Они знают, какой страшный натиск выдерживают французские армии во имя нашей общей защиты. Они согласятся взять на себя дополнительную нагрузку там, где они сильнее, — в области производства и морских перевозок.

— Я согласен. Но такие переговоры будет трудно начать в момент, когда мы их просим увеличить количество дивизий на континенте. Вы, по-видимому, представляете себе, как это сделать. Вы должны попытаться. Я адресую вас к Мильерану, объясните ему то, что вы только что изложили мне».

Выйдя из кабинета Вивиани, я встретил Фернана Бенона в зале ожидания. Он мне сказал, что Вивиани, с которым я только что разговаривал, утром узнал о смерти очень близкого человека. Мы как раз находились возле могилы Монтеня. И я подумал, что философ оценил бы стоический дух политика, которого незаслуженно считали легкомысленным.

Глава 3 Общее действие (1914–1918)

Межсоюзническая *Исполнительная комиссия*

Я был послан в Лондон в ноябре 1914 года, в службу гражданского снабжения, которую возглавлял генеральный интендант Моклер. Эта служба, осуществлявшая связь между французской и английской сторонами, помещалась в «Trafalgar House» на площади Ватерлоо. В Англии даже случайность обладает чувством юмора.

Я имел возможность убедиться, насколько дезорганизована военная экономика не только в том, что касается отношений между нашими странами, но и в каждой из стран по отдельности. Это могло объясняться только иррациональной верой в то, что механизмы международной торговли могут сами по себе урегулировать любую ситуацию. Особенно боялись при этом нарушить свободу обмена и надолго разрегулировать систему, которая, при всех условиях, должна будет работать и после окончания войны. Даже когда стало ясно, что война будет долгой, всё никак не решались перейти от рыночной экономики к более рациональной форме организации. Только необходимость вынуждала то там, то тут включать механизмы государственного контроля над частной деятельностью. И я твердо решил, что в области, которая мне была доверена, я буду пользоваться всеми возможностями в этом направлении. Следовало действовать эмпирически, опираясь на конкретные случаи, и стараться доказать на их примере, что частная заинтересованность не может далее быть двигателем и регулятором в воюющей стране и что за-

щита одних только национальных интересов уже не отвечает требованиям военного союза.

В момент, когда я прибыл в Лондон, там существовала «Международная комиссия по снабжению». Это громкое название не соответствовало убогой реальности. Комиссия занималась снабжением армий продовольствием, но за исключением зерна, муки, мяса и сахара. Каждое правительство было свободно закупать то, что считало нужным. Дело ограничивалось взаимным уведомлением о произведенных или запланированных закупках. Цель таких уведомлений состояла в том, чтобы избежать конкуренции между Союзниками на внешних рынках и неизбежного в этом случае повышения цен.

Этот несовершенный механизм таил в себе, по моему мнению, большие возможности, а у меня пока не было другого поля деятельности. В «Комиссии» состояли представители двух союзных стран, им предстояло узнать друг друга и научиться совместно работать. Фактически мы находились в прямом контакте с административной организацией, созданной британцами для упорядоченных закупок на базе британских кредитов. Но то, что могло бы остаться бесплодным опытом, превратилось силой вещей в первый этап более прочной кооперации. Французское и английское интендантства, производившие закупки на австралийском и аргентинском рынках, вскоре договорились делать закупки совместно. На тех же основаниях они фрахтовали суда-холодильники нейтральных стран. Эти действия не были следствием какого-либо связного и рассчитанного вперед плана. Они были предприняты только под воздействием настоятельной финансовой необходимости.

Такой же необходимостью была продиктована совместная закупка зерна, ставшая отправным пунктом более широкого сотрудничества. Зерно было не только продуктом первой необходимости для армии и населения. Это была база для всей продовольственной системы и всего, что с ней связано. Стоило только Франции и Англии начать конкурировать между собой на заморских рынках, и вздувание закупочных цен и стоимости перевозок стало бы неизбежным.

И такая ситуация действительно возникла и была нами замечена в 1915 году. Но организация, созданная для ее предотвращения, оказалась недостаточно эффективной. *Joint Committee**, включавшая в себя французское интендантство, итальянское интендантство и английскую фирму «Росс Смит», закупала зерно для снабжения армии. Французское же правительство продолжало делать закупки для населения по другим каналам и использовало собственные средства перевозки. Устранение такого положения как раз и являлось одной из моих задач. Для ее решения я воспользовался своими хорошими отношениями с руководителями компании «Гудзон Бэй», с которыми имел дело за несколько лет до того. В течение первых месяцев я прилагал все силы, чтобы исправить положение, но оснований для удовлетворения у меня не было. Я разделял обеспокоенность английского *Board of Trade*** тем, что разные закупочные организации конкурируют между собой к выгоде канадских и аргентинских производителей зерна. Я настойчиво обращался во французское министерство торговли, представителем которого являлся. Мои усилия привели к заключению первого соглашения в ноябре 1915 года. Одним из побочных, но важных результатов моей настойчивости стало то, что министр Этьен Клемантель обратил внимание на молодого сотрудника в Лондоне, требовавшего все новых и новых полномочий для заключения более тесных договоров.

Этьен Клемантель принадлежал к числу людей, которые умеют найти в политике достойное применение своим способностям, подолгу оставаться на избранном месте и добиваться успеха, так что трудно сказать, является ли этот успех следствием или причиной их длительного пребывания во власти. В течение всей войны он занимал один и тот же пост, названия которого менялись, но который неизменно контролировал область внешней торговли и гражданского снабжения. Не имея политических амбиций, он в силу обстоятельств должен был постепенно расширять сферу своей ком-

* Смешанная комиссия.

** Министерство торговли.

петенции и включать в нее также промышленность, морские перевозки, а на какой-то период — и сельское хозяйство. Он это делал не из стремления к власти, зато его сотрудники могли оценить, насколько облегчалась их работа благодаря единому управлению обширной областью экономики.

Это был культурный человек, очень обходительный, со светлым умом и свободной речью. Его главным достоинством, с моей точки зрения, была способность выслушивать сотрудников и принимать необходимые решения, если он считал полученную информацию достаточной. В его лице я имел руководителя, который был готов поддержать мои идеи, если я сумею его убедить в их правильности. Ко мне он относился как к верному и требовательному советчику. Я попросил и добился, чтобы у нас была прямая телефонная линия. Таким образом между Лондоном и Парижем постепенно завязался постоянный диалог.

Я передавал протесты англичан по поводу того, что французские фирмы оплачивали перевозки по тарифам, достигавшим пятидесяти шиллингов за тонну в месяц, в то время как по заключенным соглашениям они не должны были превышать сорока шиллингов. Необходимость придти к более полному соглашению становилась очевидной. Мы зависели от решения британской стороны, которая осуществляла сорок восемь процентов наших перевозок. Однако в апреле 1916 года оценки британских служб были очень пессимистическими, дефицит перевозок грозил достигнуть трех миллионов тонн, что составляло пятнадцать процентов от общего импорта Соединенного Королевства.

Первой реакцией британского правительства было предупредить союзников, что предоставляемый в их распоряжение тоннаж перевозок не будет увеличен. Но вскоре лорд Керзон, министр иностранных дел, заявил, что вынужден частично сократить обещанную нам квоту на морские перевозки. В момент, когда мы собирались выступить с просьбой об увеличении квоты, такое заявление было для нас совершенно неприемлемо, и мне было поручено вести переговоры о его отзыве. Мне представился случай испытать надежность личных контактов, которые я успел установить в

Лондоне. Самым надежным звеном в этой цепи был Артур Сальтер, молодой чиновник Департамента транспорта, занимавший там (в силу обстоятельств и собственных талантов) ключевые позиции.

Сальтер был человеком моего возраста и так же, как я, рассматривал возникшие трудности как наши общие проблемы. Наша задача состояла в том, чтобы организовать совместные усилия Союзников в войне, затем, после окончания войны, — организовать мир на конференции в Женеве. Позже аналогичные проблемы возникнут в 1940 году, с началом второй мировой войны. Его понимание общественного служения (впоследствии изложенное им в «Мемуарах»*, написанных после долгих лет пребывания на разных высоких политических постах) было для меня образцом лояльности британской администрации. Эта администрация не была расположена рассматривать экономические вопросы под углом зрения государственного вмешательства, в равной мере — и коммерческие задачи под углом зрения международной кооперации. В мирное время это не входило в компетенцию властей. Есть ли в мире нация, более приверженная принципам либерализма и свободного выбора, чем англичане? Но, с другой стороны, какой народ, более, чем они, готов встать грудью против врага и пойти на все, чего требует необходимость? Именно в Англии раньше всех отдали себе отчет в том, какой опасности подвергнется экономика союзных государств, если мы волевым образом не перестроим торговый обмен в условиях международной блокады.

Запрет на торговлю с врагом, перевернув весь порядок снабжения, вынуждал искать иные источники. Подвергшаяся блокаде Германия, в свою очередь, пыталась установить блокаду Англии и Франции. Подводная война была смертельной угрозой для Союзников, гражданское и стратегическое снабжение которых в значительной степени зависело от британского флота. Перемещение торговых путей, опасение

* Lord Salter. *Memoirs of a Public Servant* (1960).

за надежность морских перевозок — все это способствовало спекуляции, вздуванию цен. Высокие цены и снижение покупательной способности населения вели к социальному брожению. Таким образом, было необходимо, чтобы государственные власти взяли на себя ответственность за организацию закупок жизненно необходимых продуктов. Преодолев свои колебания, Англия подала пример, создав «Королевскую комиссию по сахару», которая скупила весь имевшийся в продаже сахар в Америке, на Кубе и на Яве. Вскоре такая же операция была проведена с австралийским и аргентинским мясом. В обеих операциях решающую роль сыграли чиновники Департамента транспорта. Артур Сальтер контролировал механизм распределения фрахта, и руководствовался он отнюдь не только эмпирическими соображениями, устанавливая приоритеты: главным для него было соблюдение общих интересов. Мне было нетрудно его убедить, что лишение Франции части зафрахтованных ею британских судов нанесет удар по взаимопониманию Союзников и что, помимо непосредственного ущерба в снабжении, будет поставлено под вопрос дальнейшее сотрудничество. Он сделал так, что принятое решение было отсрочено, а я смог сообщить в Париж, что тревога отменяется, но что тем более необходимо срочно приступить к рассмотрению общих проблем кооперации между нашими странами.

Клемантель проявил понимание необходимости проведения конференции министров торговли и написал премьер-министру Бриану, что считает «чрезвычайно желательным установление между странами-союзниками единства взглядов, дабы обеспечить Антанте, в интересах каждой из входящих в нее стран, всех преимуществ в индустриальной и торговой сфере, как в настоящий момент, так и в будущем».

Это упоминание о будущем, в самый разгар войны, было связано с беспокойством деловых кругов, опасавшихся, как бы Англия, под прикрытием своей монопольной ответственности в области перевозок, не попыталась на длительный срок утвердить свое экономическое превосходство. Но мы,

готовившие эту акцию, твердо решили поддерживать такие решения, которые будут направлены на общие интересы, как сегодняшние, так и долгосрочные. Я уговаривал Клемантеля вести переговоры о более честном распределении усилий и о сотрудничестве, более тесном, чем простая солидарность двух стран.

Конечно, не все видели проблему в такой перспективе. Забота о национальной независимости была очень сильна во французском правительстве, где Лушёр, выражая точку зрения промышленников, заявил: «Пусть англичане предоставят нам обещанное количество судов, а мы распорядимся ими по своему усмотрению». Разумеется, мне ничего не удалось бы добиться, если бы я вел переговоры в таком духе. Но я был согласен, что надо принять меры предосторожности на будущее. Уже тогда я убедился, что надо стремиться к взаимному уравниванию интересов. Создать пул союзных судов и участвовать в совместном управлении им нам было выгоднее, чем получить эксклюзивные, но временные права на часть английского флота. Совместное управление всеми морскими перевозками позволяло установить постоянный обмен информацией и разъяснениями по всем вопросам транспортировки и снабжения. Такой метод кооперации в военное время мог бы сохраниться и в восстановительный период и помочь избежать слишком резких скачков, которых опасались руководители французской экономики.

Однако и два года спустя после начала войны проблема транспортного пула между союзниками все еще не могла обсуждаться напрямую. Эта проблема была слишком широкой и рисковала затронуть вопросы суверенитета, которые пока никто не был готов решать. Мы с Сальтером полагали, что первым тестом на кооперацию должна стать совместная закупка зерна, попытка организовать которую так и не дала удовлетворительных результатов. Вот уже год как практика разрозненных закупок поощряла конкуренцию и спекуляцию в международном масштабе. Необходимо было положить конец подобной ситуации. Здесь возникла возможность применить и испытать новый метод коо-

перации. Я убедил Клемантеля сделать решающий шаг, используя благоприятную обстановку: англичане хотели быстрых результатов, мы хотели создания долгосрочной организации.

Впрочем, текст соглашения был уже подготовлен и название для новой системы найдено. По моему замыслу, *Wheat Executive** должна была стать прототипом целого ряда межсоюзнических организаций для совместного управления поставками жизненно необходимых продуктов. Структура комиссии была простой: один представитель от Великобритании, один от Франции и один от Италии, вступившей в войну с 1915 года; в соглашении указывалось, что *Исполнительная комиссия* будет функционировать «по возможности подобно коммерческой фирме». В пределах предоставляемых ей финансовых ресурсов она будет обладать «всеми полномочиями, в целях удовлетворения потребностей Союзников, закупать и транспортировать злаковые, перечисленные в списке». Указывалось, что в случае возникновения разногласий внутри Комиссии, это не должно препятствовать ее работе, а спорные вопросы должны выноситься на рассмотрение соответствующих правительств.

Это был максимум того, чего можно было достичь в области кооперации между странами, которые, хотя и были союзниками в войне против грозного врага, но не создали даже единого военного командования. Три человека, составившие Комиссию, — Вильгрэн от Франции, Аттолико от Италии и Бил от Великобритании — были функционерами и не составляли коллегии, полномочной принимать собственные решения. Однако некоторые моменты уже предвещали возможность ее превращения именно в такой орган; и действительно, три представителя стали действовать так, как если бы они были единой инстанцией, действующей в общих интересах. Таким образом, 29 ноября 1916 года, когда соглашение было подписано Клемансо и лордом Рансимэном, председателем *Board of Trade*, остается для меня важной датой, отмечающей начальный этап длинного пути,

* Исполнительная комиссия по зерну.

на котором мне предстояло последовательно открывать огромные возможности совместной деятельности наших стран.

Действительно, *Исполнительной комиссии* предстояло дать первое практическое доказательство того, что люди, осознавшие общность своих интересов, способны договориться. Для этого необходимо, чтобы они говорили об одной и той же проблеме и чтобы у них была воля и сознание необходимости найти решение, приемлемое для всех. Вилыгрэн, Аттолико и Бил виделись каждый день, сообщали друг другу всю имеющуюся у них информацию о зерновых запасах и потребностях своих стран. Таким образом, у Союзников не было никаких оснований для сомнений или подозрений, будто партнеры что-либо от них утаивают. Была разработана единая программа закупок, ее осуществлял общий центральный орган. Впервые на мировом рынке был организован согласованный доступ к одному из базовых продуктов со стороны нескольких стран. Была установлена единая цена, и ограничения, если они были необходимы, распределялись между партнерами пропорционально.

Но главное новшество соглашения от ноября 1916 года состояло не только в его положениях, но особенно — в духе, который проявился и в его создании, и в его исполнении. Впервые в дипломатическом документе понятие «национального интереса» было подчинено понятию «общего интереса». «*Исполнительная комиссия*, — читаем мы в документе, — должна заботиться о том, чтобы централизация закупок зерна способствовала выгоде Союзников; той же цели должен служить весь тоннаж судов, используемых для перевозки зерна». Союзники, то есть три суверенных страны, участвовавшие в договоре, были представлены в *Исполнительной комиссии* тремя национальными делегатами. Поэтому надо было придумать новые методы работы, чтобы, в духе соглашения, в решающий момент действовать вместе, как один человек. Понятно, что люди, призванные осуществлять один из первых опытов коллегиального сотрудничества разных стран, связывали с этим большие надежды и стремились расширить сферу такого сотрудничества.

Беспощадная подводная война

Мы с Сальтером полагали, что *Исполнительная комиссия* была только первым шагом к разрешению проблемы транспортных перевозок во всем ее объеме. Но мы знали, что это была проблема совсем иного масштаба. Заставить морскую империю войти в транспортную организацию на началах равенства могла только серьезнейшая историческая необходимость. Судьбы Союзников решались на поле боя, соотношение сил определялось стратегами. Однако неопределенный исход сражений, застывшее равновесие на наземных фронтах заставили противника искать нашу ахиллесову пяту: он решил задушить нас, лишив жизненно необходимых продуктов. 31 января 1917 года объявленная Германией «беспощадная» подводная война заставила Союзников осознать свою глубокую экономическую солидарность.

В 1917 году военное положение Союзников ухудшается. Начатое в апреле наступление Нивелля заканчивается трагически: с 16 по 30 апреля французская армия потеряла сорок семь тысяч человек, добившись лишь незначительных тактических успехов; войска были утомлены, пали духом, в мае в некоторых частях произошли бунты. Рабочие стачки в Париже и Сент-Этьене свидетельствовали о моральном ослаблении в тылу. О том, как Петен старался навести порядок в армии, о стратегическом плане Фоша в 1918 году написано много рассказов и исследований. Но все авторы видят в громадном мировом конфликте только военную сторону, в то время как в него были вовлечены экономические силы величайших мировых держав. Именно в этой сфере противник и стремился одержать верх.

Немцы заявили, что их подводные лодки будут атаковать без предупреждения все суда, военные и торговые, принадлежащие как Союзникам, так и нейтральным странам. Конечно, они понимали, что беспощадная подводная война вовлечет в конфликт Соединенные Штаты, но это их мало беспокоило: американский нейтралитет не давал Германии никаких преимуществ из-за британского господства на море; немцы рассчитывали подавить силы Антанты до того, как

американцы успеют послать свой экспедиционный корпус в Европу. Немецкие морские эксперты прогнозировали, что, если подводные лодки Рейха будут топить каждый месяц количество судов общим водоизмещением в 600 000 тонн, то через шесть месяцев Англия должна будет признать свое поражение и война будет выиграна.

И им это почти удалось. В феврале, а затем в марте водоизмещение торпедированных судов составило более 550000 тонн; в апреле потери Союзников и нейтральных стран достигли 900000 тонн, а Великобритания потеряла за один только день 34000 тонн; в мае общий итог потерь был ниже: 574000 тонн; в июне он снова возрос: 665000 тонн; затем потери стали снижаться — в июле и особенно в августе. В общей сложности, за один только 1917 год водоизмещение потопленных судов составило 6 миллионов тонн. Последствия этого для снабжения были драматическими, ситуация становилась угрожающей.

Значительная часть территории Франции была оккупирована врагом, значительная часть ее рабочей силы мобилизована в армию, и чем дальше, тем больше страна зависела от поставок из-за границы. Ее производство зерновых уменьшилось на 60 процентов. Конечно, Северная Америка, Аргентина и еще более удаленная Австралия могли бы придти нам на помощь, но где найти необходимое количество кораблей? Тогда правительство сократило потребление. Были выпущены карточки на хлеб: по триста граммов в день на человека. Печенье и пирожные были запрещены. Производство макаронных изделий было сокращено на 90 процентов; кукуруза исчезла; все запасы зерновых были реквизированы.

Потребности Франции огромны. Ей необходимы чугунное литье, сталь для пушек, снаряды, корабли; минеральное сырье, древесина, уголь. И сахар тоже нужен. В декабре 1917 она срочно запросила у Соединенных Штатов десятки тысяч тонн бензина, необходимые армии для контрнаступления в следующем году. С 1917 года и особенно после немецкого наступления, начавшегося 21 марта 1918 года, военачальники рассчитывают на массовое прибытие американских войск: оно должно было бы укрепить моральный дух бойцов,

подорванный разгромом итальянцев под Капоретто, большевистской революцией, неудачами на западном фронте. В марте 1918 Фош посылает запрос: «Когда вы сможете перевезти американские войска? Сделайте максимум возможного, но я должен уже сегодня объявить, что они прибывают».

Отныне нерв войны — это корабли, их водоизмещение. Этим в первую очередь озабочены руководители Союзников, о чем свидетельствуют их переговоры и переписка. И тем не менее, умы были еще не готовы к принятию нашего проекта о пуле морских перевозок. Сопrotивление людей и обстоятельств возрастает пропорционально масштабам преобразований, которых вы стремитесь добиться. Это самый верный признак того, что вы вступили на путь перемен. Предложив распространить солидарность Союзников на сферу морских перевозок, мы затронули глубокие чувства британцев, привыкших чувствовать себя безраздельными хозяевами морей, а также естественный эгоизм населения Англии, опасавшегося, как бы не был урезан их рацион питания. Каждая страна думала прежде всего о своих собственных нуждах. В марте 1917 в Англии оставался запас зерна всего на восемь недель. Плата за фрахт росла вместе с потерями торгового флота. Через газеты Лондон и Париж обвиняли друг друга в нехватке продовольствия. Англичане писали о том, что французские порты забиты кораблями, простаивающими в ожидании разгрузки. Французы отвечали, что задержки с разгрузкой связаны с отсутствием вагонов, предоставленных в распоряжение английской армии.

От нас требовали, чтобы наши малочисленные службы день за днем проявляли чудеса изобретательности, в то время как я не переставал доказывать, что только целостная организация поможет нам принять вызов, брошенный немцами. Но эта простая идея должна была — как это часто случилось в моей жизни — пройти извилистый путь долгих и трудных переговоров, явно не соответствовавших сути дела, рассказ о которых мог бы внушить уныние. Однако отказ от предприятия по той причине, что оно встречает слишком много препятствий, является тяжелой и часто совершаемой ошибкой: наоборот, препятствия могут послужить теми шероховатостями, цепля-

ясь за которые, дело движется вперед. Чем глубже мы проникаем в природу каждого препятствия, тем очевиднее становится необходимость принятия общего решения. Я не сомневался, что все наши терпеливые шаги, маленькие каждодневные продвижения приведут к решающему сдвигу в момент наибольшей опасности, скорее всего, в заключительной фазе войны, когда для победы потребуется вся наша отвага.

Мои контакты с Клемантелем становились все более тесными, в его лице я нашел человека, способного вести масштабные переговоры, необходимость в которых назрела. Он верил в лояльность англичан и не драматизировал трудности, возникавшие в силу несходства характеров двух наших народов и ситуации, в которой они находились. Хотя он не был склонен идти на уступки англичанам, он проявил выдержку, когда в 1917 году Лондон решил урезать наши поставки в Англию, чтобы сократить расходы по перевозкам. Такое решение, касавшееся только предметов роскоши, казалось оправданным. Закупки шляпок, лент и драгоценностей выдвигали проблемы скорее финансового и морального, чем транспортного порядка. Но в Париже больше всего боялись безработицы и объясняли, что «забастовка в области модных изделий может повлечь за собой забастовку на военных предприятиях». Клемантель в течение долгих месяцев обсуждал пункт за пунктом список модных товаров, в то время как проблема морских перевозок становилась все тревожнее. Нейтральные судовладельцы требовали надбавки за риск, и французы платили. «Я считаю, что лучше быть обокраденным, чем убитым», — говорил Эррио, министр снабжения, вынужденный приехать в Лондон, чтобы преодолеть британские возражения. Но суть проблемы состояла в другом: после трех лет войны у двух стран сохранялись разные подходы к проблемам экономики.

Что оставалось от старого английского либерализма после того, как правительство Ллойд Джорджа потребовало от народа дисциплины и ввело строгое рacionamento продуктов? Однако, в тот момент, когда британские власти укрепляли систему контроля над внутренней и внешней торгов-

лей, во Франции наоборот усиливалось противодействие государственному контролю и установлению твердых цен, так как в этих мерах видели причину нехватки продуктов. Французский флот все еще не был реквизирован. Частные коммерческие интересы, особенно в Индокитае, активно противодействовали такой мере, и только в июле 1917 она была с большим трудом осуществлена А. де Монзи, помощником государственного секретаря по морскому транспорту. В общем, каждая из двух стран хотела действовать по собственному усмотрению. Ослабление солидарности происходило, как это часто бывает, в тот момент, когда судьба армий складывалась неблагоприятно для Союзников: неудача наступления Нивелля отдала надежду на создание единого командования. Хотя идея создания морского пула постепенно завоевывала сторонников в английском министерстве морских перевозок, где у меня было немало друзей, общественный климат в Англии в тот момент не очень способствовал столь широким переговорам, как того желало французское правительство, стремившееся обсудить и сиюминутные проблемы, и предпосылки для послевоенного устройства. Сначала нужно было восстановить атмосферу доверия.

С англичанами доверие устанавливается всегда на конкретной основе, а наши предложения по поводу общего пользования ресурсами и их разумного распределения казались им продиктованными скорее принципами справедливости, чем практической целесообразностью. Мне было поручено получить корабли для осуществления импорта товаров, необходимость которых я не мог точно обосновать. Я сообщил в Париж, что при отсутствии подробных программ и ясных, четких статистических данных французские министры, когда они вернутся в Лондон в октябре для завершения переговоров, окажутся не в лучшем положении, чем я. Необходимо силами нескольких министерств составить полный инвентарный список импортируемых товаров. Однако мы не имели удовлетворительной связи с де Монзи и его службами, и я не переставал настаивать на том, чтобы министр, от которого я зависел, поручил непосредственный контроль над ресурсами и кораблями. К этому я и подталкивал Клемантеля, как о

том свидетельствует следующее письмо, отправленное мной 10 сентября:

«Доверие, которое здесь испытывают к Вам, и позиции, завоеванные нашей страной в ходе последних переговоров, могут привести к созданию экономической дирекции стран-союзников, что дало бы Франции серьезные выгоды. Но я позволю себе напомнить, что для достижения такого результата необходимо, чтобы в ваших руках была сосредоточена вся внешнеэкономическая деятельность Франции, включая не только торговлю сырьем, но также и продовольственное снабжение и морской транспорт».

Моему пожеланию суждено было осуществиться несколько месяцев спустя, когда во главе правительства встал Клемансо. А пока что в такой жизненно важной области, как морские перевозки, я вынужден был действовать официально через посредство другого министерства и только в связи с транспортировкой хлеба, угля и с некоторыми другими срочными поставками, в то время как я хотел, чтобы именно морские перевозки стали главным центром межсоюзнической экономической организации и главным предметом долгосрочного урегулирования. Артур Сальтер вспоминает:

«Путь к этому новому успеху был подготовлен в первую очередь Жаном Монне, представителем французского министра экономики, Джоном Билом, председателем *Исполнительной комиссии*, и мной, занимавшим тогда пост директора *Ship Requisitioning**, что позволяло мне находиться в центре организации пула морских перевозок. Монне, которому в то время было не более тридцати лет, умел определять момент, наиболее подходящий для действия. Вкладом Била был его опыт как руководителя *Исполнительной комиссии*. Я разрабатывал главный вопрос о тоннаже и административные детали новой организации. В октябре 1917 года, во время дружеского обеда троим, — Жан Монне, Джон Андерсон, в то время секретарь министерства морского транспорта, и я — мы решили, что наступил подходящий момент для осуществления нашего замысла»**.

* Управление реквизицией морского транспорта.

** Lord Salter. *Memoirs of a Public Servant*, p. 113.

Пул транспортных перевозок

Действительно, мне казалось, что пришло время действовать. 12 октября 1917 года в Лондон прибыла высокопоставленная французская делегация во главе с премьер-министром Пенлеве. Фактически же именно Клемантель с помощью команды, которую мы сформировали на месте, в течение трех недель вел главные переговоры, ставшие для меня источником ценного опыта на все последующее время. Еще до начала переговоров я составил короткий меморандум, в котором проблема ставилась на такую основу, которая должна была получить поддержку со стороны наших друзей из *Department of Shipping**:

«Ситуация со снабжением стран-союзниц и особенно Франции сейчас настолько критическая, что она рискует поставить под вопрос исход войны.

Вот уже в течение трех месяцев Франция живет день за днем и даже час за часом, немедленно потребляя все поступающие продукты. В Париже и крупных центрах запасов хватает всего на один день, в армии — от одного до трех дней, во многих местах уже возникли трудности с мукой и начались волнения.

Союзники не могут продолжать войну в таких условиях и должны немедленно урегулировать этот вопрос в целом.

Такое урегулирование должно базироваться на следующих принципах:

1. Необходимо иметь программу, фиксирующую строго необходимое количество продуктов для каждой из стран-союзниц. Доставка этих продуктов должна иметь абсолютный приоритет.

2. Необходимое количество кораблей для этих перевозок должно находиться в распоряжении специально созданного для этой цели органа; Франция и Англия будут участвовать в создании такого флота в соответствии со своими возможностями.

* Департамент морских перевозок.

3. Ограничения в потреблении должны быть равными для обеих сторон».

Жесткость этой программы, тяжелые обязательства, которые она накладывала на Англию с учетом документально подтвержденного французского дефицита, — все это обеспокоило британский военный кабинет. В лице министра торговли Альберта Стенли мы снова, и уже не в первый раз, встретили трудного собеседника. Он старался обойти проблему, поставленную нами перед Великобританией, выдвигая американское участие в качестве предварительного условия. В общем, спор шел о том, будут ли Соединенные Штаты, как это предлагало французское правительство, приглашены оказать помощь в реализации англо-французского соглашения, или, в соответствии с английским контрпредложением, само это соглашение будет зависеть «от размера и характера участия Соединенных Штатов».

Чтобы понять позицию англичан, следует учитывать, что при сравнении потребностей импорта и возможностей перевозок выяснилась неосуществимость программ. Прежде, чем заключать официальное соглашение с Францией о реорганизации транспортных средств, англичане хотели знать размеры американской помощи. Такова была их логика. Но поскольку для членов нашей группы главной целью было создание максимального экономического единства между Францией и Англией, то, как мы считали, в переговорах с американцами наши страны должны выступать как единое целое. Такова была наша логика, которая встречала поддержку со стороны многих английских друзей. Мы решили твердо стоять на своем.

29 октября я составил по просьбе Клемантеля новый меморандум для британского правительства:

«Мы переживаем переломный момент войны. Перед Союзниками, и прежде всего перед Англией и Францией, которые вот уже три года сражаются как единый народ, встает необходимость собрать все силы, сосредоточить все возможности, чтобы добиться максимального эффекта.

Морские перевозки играют в настоящее время решающую роль в ходе войны. Для их осуществления Союзники

обязаны придти к единому пониманию мер, необходимых для того, чтобы, путем совместного использования совокупного тоннажа их флотов, обеспечить самые срочные поставки. Продолжение нынешней практики, когда каждый действует, хотя и ради общей цели, но сам по себе, грозит Союзникам чрезвычайно тяжелыми последствиями».

Так были впервые сформулированы главные направления действий, к которым обстоятельства заставляли меня неоднократно возвращаться на протяжении моей жизни. По правде говоря, у меня никогда не было чувства, что история повторяется, как не было ни времени, ни повода сверяться с прежними решениями, когда наступал кризисный момент и надо было срочно искать пути к объединению. Но возникавшие в разные эпохи ситуации, идентичные по своей природе, вызывали у меня идентичные реакции, выражавшиеся сходными формулами: «единство взглядов и действий», «понимание целого», «объединение ресурсов». Я видел, что в пору тяжелых испытаний Англия и Франция вели себя как «единый народ». Этот образ снова ярко возник в моем сознании двадцать пять лет спустя, когда у наших стран вновь оказался тот же враг и нам с Сальтером пришлось составлять декларацию о единстве, приведенную выше*. В 1940 году развал фронта потребовал от нас, чтобы мы перескочили через промежуточные этапы и сразу поставили перед собой главную политическую цель: чтобы во время войны и во время мира, юридически и фактически Франция и Англия соединились в одну нацию с единым гражданством. Конечно, в 1917 году я не предполагал, что подобные несчастья повторятся и потребуют принятия столь смелых решений. Я не думал тогда, что наступит момент, когда полное политическое объединение станет единственным путем к совместному существованию Союзников, а также их бывших врагов, и что с бывшими врагами объединиться удастся скорее — как это произошло с Францией и Германией в 1950 году. Я не старался проникнуть в тайны будущего, а главное — я не устанавливал *a priori*

* См. с. 16.

никаких ограничений необходимого Европе «единства взглядов и действий».

Во всяком случае, в тот момент, о котором я рассказываю, имелся вполне подходящий способ решения проблемы: я имею в виду уже испытанную нами форму *Исполнительной комиссии* — этой маленькой клеточки, способной к разностороннему развитию. В записке, направленной британскому правительству, об этом говорилось: «Тот же метод сотрудничества, необходимость в котором вызвана обстоятельствами, будет применяться к импорту всех товаров, жизненно необходимых для обеспечения фронта и тыла Союзников; приоритет той или иной категории товаров будет определяться в зависимости от обстоятельств».

Английский военный кабинет не захотел, чтобы переговоры велись на столь широкой основе. Он предложил нам через посредство *Исполнительной комиссии* немедленную помощь в поставке зерна. Французская делегация, к которой присоединились Пенлеве и Франклин-Буйон, председатель комиссии по иностранным делам, склонялась к тому, чтобы согласиться на такой компромисс. Тогда-то мы и смогли оценить твердость Клемантеля, который поддержал нас в стремлении добиться создания всеохватывающей организации. «Политика Союзников, — заявил он, — избегая одной катастрофы, готовит другую; нужна последовательная программа, регулярное исполнение которой гарантировало бы нас от подобных несчастных случаев». Выражение «несчастный случай» в ноябре 1917 года наполнялось зловещим смыслом. Все были ошеломлены разгромом под Капоретто. Перерыв в снабжении мог за несколько недель решить исход войны.

3 ноября начались переговоры в Форин Оффис. Клемантель первым изложил свой проект объединения возможностей и потребностей стран-союзниц. Он показал, что соглашение о создании пула морских перевозок есть сердцевина всех проблем. Бальфур, британский государственный секретарь по иностранным делам, заявил о своей согласии. Лорд

Роберт Сесил, министр по борьбе с блокадой, также поддержал французское предложение, прибавив аргумент, в действительности которого мне впоследствии не раз приходилось убеждаться при различных обстоятельствах: «Соединенные Штаты, — сказал он, — обращаются к нам с настойчивым советом: если только вы договоритесь между собой о том, что вам требуется, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы вам помочь. Давайте составим общую программу. Иначе мы рискуем, что Соединенные Штаты решат все по собственному усмотрению».

Но сэр Альберт Стенли, по-прежнему враждебный нашему проекту, выдвинул контраргумент: «Если мы представим перед американцами с готовой программой, они могут подумать, что все у нас идет хорошо». Такая позиция отражала намерение вести с Соединенными Штатами разрозненные переговоры в надежде добиться от них большего, если каждая из наших стран станет отчаянно добиваться своего. В любом случае стало ясно, что англичане хотят ограничить программу только продовольственными товарами. Внезапно я понял, что трехнедельные переговоры пойдут насмарку, если мы будем настаивать, чтобы англичане взяли на себя слишком обширные обязательства. На основании перевода одной из фраз Клемантеля они заключили, что мы ставим им условия. Лорд Роберт Сесил потребовал прекращения переговоров.

И тогда с каждой стороны стола участники переговоров повели себя как политики. Клемантель мгновенно перешел от словесных уловок к языку чувств — с той легкостью и искренностью, которые были частью его натуры.

«Я не понимаю, — сказал он. — Мы просим только того, что можно просить по справедливости. Мы пожертвовали всем, наша страна истерзана, но не жалуется. Она только просит, чтобы ее союзники разговаривали с ней как с равной».

Переводчиком с французской стороны был Поль Манту, историк, которому впоследствии предстояло играть большую роль в ООН. Переведя слова Клемантеля, он уже собирался встать, когда Бальфур жестом остановил его.

«Я не могу поверить, — сказал Бальфур, — что французское правительство хоть на секунду может подумать, буд-

то Англия собирается его покинуть и не оказать помощь, на которую Франция имеет право. Я не могу понять, почему Клемантель произнес столь горькие слова, тогда как, напротив, я его заверил, что Англия готова обеспечить бесперебойную поставку продовольствия во Францию».

После этого оставалось только найти достойное решение. И мы составили следующую декларацию:

«Правительства трех стран-союзниц констатируют, что у них нет кораблей достаточного водоизмещения, чтобы обеспечить все необходимые перевозки; они считают, что потребность в продуктах питания является самой насущной и может быть рассмотрена отдельно. Объем импорта продовольствия известен. Союзные правительства думают, что обеспечение тоннажа, необходимого для перевозок продовольствия, должно быть общей задачей для всех Союзников, включая и Соединенные Штаты. Но поскольку немедленное разрешение этого вопроса насущно необходимо, три правительства сделают все, что в их силах, чтобы мобилизовать необходимый тоннаж, с помощью Соединенных Штатов или без нее».

Отныне механизм был запущен. Начав действовать в одном, но решающем звене, он уже не должен был остановиться. Необходимо было создать орган для распределения фрахта под продовольственные перевозки. Но тот же орган сможет служить и тогда, когда дело дойдет и до другой продукции. В перспективе было создание всеобъемлющего пула, но времени терять было нельзя. Теперь и немедленно надо было встретиться с американцами и пригласить их усилить своим участием уже начатое дело.

Клемантель показался мне несколько разочарованным результатами конференции. И мне, молодому и считавшемуся нетерпеливым молодому человеку, пришлось его подбадривать. «Сегодняшний день, 3 ноября 1917 года, — сказал я ему, — знаменует поворот в экономической политике Союзников. Мы запустили механизм. И теперь только от нас зависит ускорение и институционализация процесса кооперации». — «Вы правы, — ответил он, — сегодняшнее соглашение — это только первый шаг. Встретьтесь с Сальгером и подготовьте предложения по созданию исходной союзнической организа-

ции по транспорту, а ее компетенцию мы будем постепенно расширять».

На бумаге такая организация уже существовала. Мы задумали ее несколько недель назад, во время делового обеда с Сальтером и Джоном Андерсоном, под названием «Союзнического комитета морских перевозок» (АМТС, если пользоваться аббревиатурой английского названия): эта организация была прямой наследницей *Исполнительной комиссии*, только переименованной. В нее должны были войти семь *исполнительных комиссий* по образцу старой: по хлебу, по маслу, по зерновым, по жирам, по сахару, по мясу, по нитратам. Но еще одна комиссия, по транспорту, была рассчитана на иные масштабы: она должна была контролировать все торговые суда, союзные и нейтральные, — их водоизмещение, маршруты, грузы. Для осуществления такого постоянного контроля необходима была мощная информационная сеть, и она была у Сальтера, который мог бы присоединить ее к АМТС, если бы нам удалось провести его назначение в качестве генерального секретаря. Более того, новая организация должна была бы постепенно привести к централизации всех программ по снабжению и их привязке к транспортным возможностям. Впервые столь масштабный информационный и экономический инструмент должен был начать действовать между несколькими странами, обязывая их обмениваться засекреченными данными. Можно было ожидать — и мы действительно на это надеялись, — что такая система окажется необходимой также и в восстановительный период, а затем, доказав свою эффективность, сохранится и в последующее время.

АМТС была сформирована только к марту 1918 года. Ее членами были Сальтер, Аттолико, американский представитель Раблз и я. Первый из вышеперечисленных в своей обстоятельной книге *Allied Shipping Control* («Союзнический контроль над морскими перевозками») описывает активную деятельность этой службы с ограниченными правами и ограниченными возможностями. Едва мы образовались, как в связи с резким ухудшением обстановки на нас посыпались

драматические обращения. Немецкое наступление, начавшееся 21 марта, лишило Францию угля из департамента Па-де-Кале и импорта, проходившего через северные порты. Где найти другие источники, в то время как нам уже не хватало восьми миллионов тонн водоизмещения? Наша обязанность состояла в том, чтобы предложить необходимое сокращение гражданских и даже военных поставок, — что некоторым казалось совершенно невозможным.

В этот момент транспортировка американских войск имела абсолютный приоритет. Соединенные Штаты объявили войну Германии еще 6 апреля 1917 года, но в конце марта 1918 их войска в Европе не превышали трехсот пятидесяти тысяч человек. Однако к моменту подписания перемирия их уже было во Франции более двух миллионов. Нужно было совершить транспортное чудо, чтобы с мая по октябрь по двести шестьдесят тысяч американцев переправлялись через океан ежемесячно, а в июле был поставлен рекорд в триста одиннадцать тысяч человек. Судостроительные верфи Соединенных Штатов начали поставлять нам суда только с лета. Зато тоннаж союзного флота возрос за счет немецких судов, реквизированных в американских портах, и за счет помощи таких нейтральных стран, как Дания, Швеция, Норвегия, Голландия, Бразилия. Иногда мы шли на то, чтобы переоборудовать суда для перевозки зерна в суда для транспортировки войск: в частности так мы поступили в марте-апреле с голландскими и американскими кораблями.

Конечно, не все было организовано идеально, случались сбои, так как отношения между людьми не всегда бывают однозначными. Даже когда достигнуто принципиальное согласие, бывают некоторые недоразумения и путаница. Их удается преодолеть, когда этого требует необходимость. В 1918 году немцы, несомненно, еще могли выиграть войну. Но так же не подлежит сомнению, что, с момента, когда были организованы единое военное командование и пул морских перевозок, поражение нам уже не грозило. Мы не знали точно, когда мы одержим победу, — так как было необходимо, чтобы американцы ввели в бой дополнительные силы, — но уже не было сомнений, что наступил решающий перелом.

Когда вы поднимаетесь на гору, то лишь в последний момент ощущаете, что победили. Но если вы не сделаете окончательного усилия, вам придется повернуть назад.

Если наша фактическая ответственность была очень велика, то наша административная позиция оставалась слабой. В конце 1917 года я был официально назначен главой лондонской миссии от французского министерства торговли и морского транспорта и делегатом от министерства снабжения. Я был представителем правительства во всех исполнительных комиссиях. Наша маленькая, но очень активная команда многим не давала покоя, нарушая служебную рутину и осаждая французские административные инстанции точными и срочными запросами. Поскольку нас было мало, нам требовалось разнообразное содействие от всех министерств и мы обращались к ним без соблюдения иерархии. Естественно, я наживал себе врагов, явных и тайных.

Самым могущественным из них был Луи Лушёр, военный министр, человек, очень подверженный влияниям со стороны французских деловых кругов; он при каждом удобном случае демонстрировал свою враждебность по отношению к тем методам кооперации с англичанами, которые защищал я. Он предпринимал маневры с тем, чтобы меня перевели из гражданских служб в военное интендантство, то есть в иную систему подчинения. Наш посол в Лондоне Луи Камбон обратился в Париж, без моего ведома, рекомендуя, чтобы меня оставили на прежнем месте, поскольку я был освобожден от военной службы по состоянию здоровья и был полезен там, где я находился. Это происходило в декабре 1917. А немного спустя Лушёр снова перешел в наступление, обратившись непосредственно к Клемансо: «Совершенно невероятно, что этот молодой человек, во-первых, не служит в армии, а во-вторых, занимает столь высокое положение в нашей гражданской администрации».

Премьер-министр вызвал меня в Париж. В своем кабинете на улице Сен-Доминик он встретил меня такими словами: «Ну-ка объясните, чем это вы там занимаетесь в Лондоне?» Я не ожидал такого приема, но очень спокойно рассказал ему о своей работе. Он меня выслушал, задал несколько

вопросов, затем встал и проводил меня до дверей. Не говоря ни слова, он помог мне надеть пальто. Я посоветовал Клемантелю подыскать мне преемника. Он был расстроен, но, в отличие от Лушёра, не стал делать вид, будто пользуется влиянием на «Тигра». Через неделю Клемансо вызвал меня снова. Он протянул мне бумагу. Я прочел: «Лейтенант Монне должен немедленно вернуться на свой пост в Лондоне». Это было решение, которое он провел через совет министров. В числе подписавших был и Лушёр. Премьер-министр снова подал мне пальто. Поскольку я старался избежать этого жеста с его стороны, он мне сказал: «Ладно, ладно. В нашем доме нет прислуги...»

Тем не менее, на меня и в дальнейшем предпринимались атаки; мне трудно сказать, были ли они следствием упорства моих противников или неумолимой работы канцелярской машины. Последняя тревога оказалась серьезной: мне предписывалось отправиться в армию для прохождения службы. Но Клемантель телеграфировал, чтобы я не покидал свой пост. Это было 11 ноября 1918 года. Война окончилась, и нам предстояло продолжать борьбу в мирных условиях.

Мир, основанный на организации

Итак, пул морских перевозок в силу обстоятельств, которые не были для нас неожиданными, стал жизненным центром военной экономики. Он мог сохранить такое же значение и в мирное время. Поэтому мы восприняли как важный сигнал формальное вступление американского правительства в нашу организацию. Это произошло 1 октября 1918 года во время четвертой сессии союзнического комитета по морскому транспорту, которая проходила в Ланкастер-хаузе и на которой Соединенные Штаты были представлены военным министром. В этот день Клемантель сказал мне:

«Американцы окончательно вошли в экономический альянс. Барух* полностью поддерживает наш проект объеди-

* Председатель американского управления по военной промышленности.

нения всех ресурсов стран-союзниц. Это подходящий момент для того, чтобы возобновить контакт с президентом Вильсоном, который позитивно отозвался на мое письмо от 6 декабря прошлого года».

Действительно, год назад Клемантель, по согласованию с Клемансо, направил президенту Вильсону письмо. Под сильным впечатлением от успешной деятельности *Исполнительной комиссии*, Клемантель увидел в этой формуле достаточно сильное оружие, чтобы использовать его в мирном наступлении:

«Следует публично и торжественно объявить Германии, — писал он, — что мы освободим взятые нами под контроль источники сырья только после того, как Германия освободит территории, захваченные силой. Таким образом мы покажем ей, что в наших руках находится грозное оружие».

Письмо заканчивалось такими словами: «Мирный пакт, предусматривающий экономические санкции против всякого государства, которое нарушит условия этого пакта, должен быть положен в самое основание Лиги наций».

Эти идеи сделали свое дело, и контроль со стороны Союзников за мировыми запасами сырья стал реальностью благодаря деятельности созданных нами в Лондоне *исполнительных комиссий*. Хотя угроза Германии и ее союзникам и не была сформулирована так, как мы предлагали (а мы предлагали, в качестве принуждения к миру, предупредить Германию, что она будет лишена доступа к сырью на столько лет вперед, на сколько месяцев она затянет войну), она все равно оказывала скрытое воздействие на моральное состояние немецкого правительства.

Однако мы хорошо понимали риск того, что Соединенные Штаты, да и Англия тоже, захотят отказаться от системы экономического контроля, как только наступят мир и безопасность. Огромные ресурсы Америки и финансовая мощь Британской империи позволяли им быстро вернуться к свободной торговле, быть может, не без расчета извлечь выгоду из ослабления и врагов, и союзников, потерпевших больший, чем они, урон в войне. Однако четыре года войны показали нам, насколько важна солидарность. Нас было немало — тех,

кто не хотел отказываться от этого урока; и мы предложили созвать международную конференцию по использованию источников сырья. Уже в апреле 1918 года Клемантель поручил мне обратиться к английскому правительству с письмом следующего содержания:

«Чтобы укрепить сотрудничество союзников в будущем и приспособить его к требованиям периода экономического восстановления, представляется необходимым совместно изучить новые задачи; в этой связи мы просим вас предпринять необходимые шаги с целью склонить американское правительство принять участие в межсоюзнической конференции, которую следует собрать как можно скорее».

Это предложение не было серьезно рассмотрено, и накануне окончания войны у победителей не оказалось никакой ближайшей программы. Франция уже сосредоточила свои усилия на выработке экономических условий установления мира и, как это будет видно из письма, направленного Клемантелем Клемансо и Вильсону 19 сентября 1918 года, выдвинула очень смелые принципы международного сотрудничества. Я же больше всего заботился о том, чтобы не распались налаженные во время войны механизмы и методы работы. Поездка, которую мы с Сальгером совершили в освобожденные районы на севере Франции, убедила меня, что реконструкция потребует очень больших усилий. 2 ноября я направил записку французскому правительству:

«Франция и Бельгия приближаются к заключению перемирия в явно худшем экономическом положении. Но отказаться в период реконструкции от принципов взаимопомощи и распределения сырья с учетом самых срочных потребностей — принципов, которые позволили Союзникам довести до победного конца борьбу с общим врагом, — значило бы похоронить все затраченные усилия и высокие цели войны».

«Мы переживаем в настоящее время, — писал я дальше, — искусственный период, основанный на драконовских мерах, принятых правительствами с тем, чтобы заменить государственными решениями естественные законы спроса и предложения. Такая система привела к фактическому объединению разных стран.

Таким образом, государственное руководство и объединение являются двумя важнейшими факторами в нынешней экономической ситуации, когда продукты и транспортные средства предоставляются не в соответствии с правом собственности, но в соответствии с соглашениями о праве на удовлетворение необходимых потребностей...»

Вместе с тем, я не недооценивал значение и привлекательность разумных соображений Вильсона о необходимости отмены экономических границ. Но я не мог себе представить, чтобы неизбежно медленный переход от военной экономики к мирной мог осуществиться без использования механизмов, уже позволивших ранее честно распределять общие тяготы и ресурсы.

Эти идеи мне было поручено изложить Гуверу, приехавшему в Лондон через две недели после заключения перемирия. Он не стал с ними спорить, но не захотел связывать себя обязательствами. Я понял, что прошел тот момент, когда американцы могли бы принять участие в деятельности наших союзнических комитетов, разделить наши взгляды на совместную работу, привыкнуть к нашим методам. В их глазах *исполнительные комиссии* выглядели как инструменты английского влияния на распределение мировых сырьевых ресурсов. Они предпочитали вести переговоры о частном урегулировании отдельных ситуаций, остроты которых они не отрицали. Так, 1 декабря полковник Хауз от имени президента Вильсона предложил создать Генеральную дирекцию по снабжению населения на освобожденных территориях, нейтральных и вражеских, и поручить ее руководство американцу. Фактически речь шла о том, чтобы не допустить включения немецкого торгового флота в союзнический пул морских перевозок.

Дискуссия по этому пункту приобрела большое значение: ведь речь шла о последнем шансе отстоять, хотя бы частично, наши воззрения, и мы думали, что у нас еще есть время восстановить солидарность с англичанами. 31 декабря лорд Ридинг передал нам ноту английского кабинета, в которой содержалось следующее знаменательное предложение:

«Необходимо установить экономическое равновесие посредством необходимых механизмов контроля, чтобы гарантировать, насколько возможно, по единым ценам доступ к сырьевым ресурсам для промышленников всех стран-союзниц, с учетом географического положения и особых обстоятельств».

Несомненно, мировая экономика и само дело мира выиграли бы много лет, если бы такие принципы получили общую поддержку и практическое применение. Мы решили, что достигли цели, когда 1 января 1919 года полковник Хауз сообщил, что президент Вильсон разделяет наши взгляды и назначает Гувера американским членом Высшего экономического совета. Но в то же самое время мы вновь потеряли завоеванные позиции, потому что американское правительство под давлением своих экспортеров совершенно выхолостило достигнутые соглашения. Список исключений сделал бесполезной всякую организацию. Крушение увлекло за собой и *Исполнительную комиссию*. Я оставил наши лондонские службы на попечение Мориса Фийю, моего школьного товарища, удрученно взиравшего, как разваливается дело, которое мы создавали с таким энтузиазмом. 18 февраля я получил от него телеграмму, сообщавшую, что американские представители заявили о выходе из *Исполнительной комиссии*, которая, по их словам, «не соответствует взглядам их правительства, желающего быстрее возвращения к довоенным принципам торговли».

На последнем собрании Высшего экономического совета, 4 апреля 1919 года, англосаксонская и французская позиции столкнулись в ходе драматической дискуссии между Барухом и лордом Сесилом, с одной стороны, и Клемантелем — с другой. Выдающийся американский бизнесмен заявил, что его правительство не согласно на общий контроль над сырьевыми ресурсами в мирное время. Британский министр возражал против установления опеки над Германией, так как экономическая свобода гораздо вернее обеспечит ее способность выплачивать репарации. Тогда Клемантель выступил со следующей декларацией:

«Надеяться восстановить мировое равновесие, опираясь только на закон игры спроса и предложения, значит

гнаться за химерой. Соединенные Штаты совершили тяжелую ошибку, сложив оружие сразу же после подписания перемирия. Разве мир, в соответствии с принципами самого же президента Вильсона, не должен был быть миром организованным?

Уже сейчас положение с морским транспортом является предвестием будущих трудностей. Одним махом мы восстановили свободу; но нынешний тоннаж недостаточен, затраты на фрахт растут. Рынок сырья напряжен. Для новых стран необходим финансовый порядок.

Опыт докажет, — сказал в заключение Клемантель, — необходимость международной организации, которая заложит основы для деятельности объединенных наций».

После заседания Клемантель сказал мне: «Это разрыв солидарности, ради которой мы столько трудились. Мы старались установить между Союзниками отношения алыгрудизма, бескорыстного сотрудничества, которые теперь надо было бы распространить и на бывших противников. Наступит день, когда придется начинать все заново». Таковы были слова этого великодушного человека, истинное место которого не оценили историки. Да и существовало ли для него место в послевоенной обстановке, когда суверенные нации вновь начали борьбу за восстановление своего влияния? Разве кто-нибудь мог теперь призывать к общим действиям во имя выживания? Какой политик мог погребовать — даже во имя общего блага — ограничения суверенитета, за сохранение которого была заплачена столь высокая цена? Бесполезно выяснять, кто несет ответственность за этот возврат к привычкам прошлого: естественный ход вещей тянул в старую колею. Потребуется еще много испытаний, прежде чем европейцы поймут, что у них есть только один выбор: объединение — или медленный упадок.

Понемногу *исполнительные комиссии* были разрушены. Я вернулся в Париж, где в это время проходила мирная конференция. Сэр Джозеф Маклей и Сальтер пригласили меня встретиться и обсудить возможность совместных действий в новых обстоятельствах, в которых, мы были уверены, вновь

потребуется наш опыт. В своих мемуарах Сальтер посвятил нашему опыту страницу, заслуживающую, чтобы ее процитировали. Меня часто спрашивали, каким методом я руководствовался в тех многочисленных международных акциях, к которым я был причастен. Так вот, как мне представляется, мой друг Сальтер сказал об этом наиболее точно:

«Работа не могла бы привести к успеху, если бы внутри рабочей группы не установилась атмосфера взаимного доверия. Участники международного комитета находятся в чрезвычайно сложном положении: они должны занимать интернациональную позицию в отношениях с собственным правительством и национальную — в отношениях с другими странами. От своих правительств они получают информацию (без нее они не смогли бы работать) о политике, которая еще только вырабатывается. Чрезвычайно трудно решить, какую часть этой информации можно сообщить партнерам. В той мере, в какой Союзники выступают в качестве конкурирующих сторон с разными интересами, такого рода информация ослабляет позиции вашей собственной страны. Но поскольку все они рассматриваются как партнеры, имеющие общие интересы, превалирующие над соперничеством, — подобная информация часто бывает жизненно необходима... Если каждая из четырех стран-участниц будет подходить к проблемам международного значения только со своей точки зрения, руководствуясь национальной политикой и всякий раз запрашивая разрешение у министерств и совета министров, совместная работа окажется невозможной. Возникнет противоборство четырех жестких и заранее выработанных линий...

Но если национальные точки зрения будут обсуждаться, пока они еще находятся в стадии формирования, если политические позиции придут в соприкосновение, пока они еще не завершены и способны к изменениям, достижение соглашений окажется более легким. В личном общении можно объяснить многие вещи, о которых невозможно написать в официальной бумаге или заявить на официальной встрече; так уже на первом этапе и в узком кругу могут быть намечены пределы взаимных уступок и определены политические подходы со стороны отдельных государств. Совершенно оче-

видно, какой деликатности, лояльности и доброй воли требует подобная работа. Все это возможно только при условии взаимного доверия и давнего сотрудничества немногочисленных участников. К счастью, все члены исполнительной комиссии по транспорту испытывали это взаимное доверие и их деловое сотрудничество перешло в личную дружбу».

Сальтер прав: дружеские отношения играли большую роль во всех начинаниях, к которым я был причастен. Но они объясняют не все, или, точнее, сами нуждаются в объяснении. Общая работа, стремление к общей цели предполагают взаимное доверие и укрепляют его. В дружбе, которой я никогда не был обделен, я вижу не причину, а следствие совместной деятельности. Причиной же является прежде всего взаимное доверие. Доверие естественным образом возникает между людьми, пришедшими к общему пониманию стоящих перед ними задач. Когда проблема становится общей и все заинтересованы в ее решении, тогда расхождения и подозрения исчезают, тогда часто рождается дружба. Но как сделать, чтобы проблема предстала в едином свете перед всеми участниками, чтобы стало ясно, что их интересы совпадают, несмотря на обстоятельства, разделяющие людей и народы? — Это мне еще предстояло открыть. Команды, которые мы сформировали во время войны и которые мы стремились сохранить во время мира и во имя мира, могли быть распущены в любой момент. Опасность вызвала их к жизни, победа вела их к распаду. Они сложились для противостояния врагу, смогут ли они включить в себя побежденных? Здесь дружбы было уже не достаточно, а опасность перестала нас сплачивать. Какие институты, какие международные законы смогут принять эстафету и утвердиться в качестве необходимых?

Глава 4 Лига наций (1919–1923)

Рождение надежды

В момент подписания перемирия мне как раз исполнилось тридцать лет. У меня была некоторая практика в частных делах, хороший опыт в делах общественных, точнее, хорошее знание порядков во французской, английской и американской администрациях, но я еще был недостаточно знаком с ритуалами политической жизни. В течение четырех лет защита от врага была первейшем делом, но она, конечно, не смогла погасить все разногласия и личные распри. Однако же, они не казались мне непреодолимыми: необходимость выживания чрезвычайно сплачивает людей. Поэтому меня не очень беспокоила борьба за влияние, происходившая внутри правительств. Я привык рассуждать в терминах экономической организации и международного сотрудничества. Однако сразу же после демобилизации я увидел, как в каждой из стран-союзниц стала восстанавливаться политическая система, в которой повторялись, как если бы военные годы были вынесены за скобки, законы и обычаи старой парламентской демократии. Я был с ними мало знаком, но то немногое, что я о них знал, повергало меня в недоумение: неужели идеологические установки и противоречивые интересы, приведшие Европу к войне, снова займут прежнее место, вытеснив организованное сотрудничество, родившееся перед лицом военной опасности? Несмотря на все трудности, с которыми мы столкнулись, работая в команде Клемантеля, и потому, что нам все-таки удалось эти трудности преодолеть, мы полага-

ли, что тот же путь не закрыт перед нами и сейчас, в годы, когда надо было все приводить в порядок. Разрушения были столь велики, источники сырья столь ограничены, а каналы коммерческого обмена так дезорганизованы, что неразумно было бы поспешно отказываться от методов, которые позволили поддерживать экономику в период войны. Как было показано выше, военные действия были еще в разгаре, когда мы, в 1917 году, осознали необходимость продумать предложения на будущее. Эта необходимость стала еще настоятельнее, когда приблизилась победа Союзников. В сентябре 1918 года мы с Клемантелем составили письмо к Клемансо и Вильсону, где излагались «экономические условия мирных переговоров». Из этого пространного документа я приведу только самый важный отрывок:

«Неотложной задачей для победивших демократий является образование экономического союза, который станет ядром экономического объединения всех свободных народов. Контуры будущего альянса уже наметились в работе межсоюзнических экономических советов, начавших функционировать в разгар войны с целью обеспечения совместных программ закупки и импорта сырья, для распределения кредитов в некоторых странах-производительницах и, наконец, для объединения тоннажа торговых флотов Союзников и его распределения с учетом самых срочных потребностей на основе равенства и справедливого несения тягот...»

Для меня уже стало ясно, что конец войны будет означать для наших союзников отказ от чрезвычайных экономических мер и возвращение к законам рынка. Парадоксально, но именно на таких основаниях собирались строить прочный и упорядоченный мир самые идеалистически настроенные политики нашего времени. Когда Клемантель бросил Роберту Сесилу и Бернарду Баруху свое последнее заклинание: «Разве мир, в соответствии с принципами самого же президента Вильсона, не должен быть миром организованным?» — он имел в виду Четырнадцать пунктов, в которых Вильсон в январе 1918 года определил цели войны, как их понимали Соединенные Штаты. Последний из этих Пунктов давал основания для великих надежд нашего времени:

«Нужно создать ассоциацию наций на основе пакта, содержащего взаимные гарантии политической независимости, территориальной целостности и равенства как для больших, так и для малых наций».

Были предусмотрены также свобода морей, устранение препятствий для торговли, сокращение вооружений. Это были благородные планы, но либеральная доктрина Вильсона, а также давление американских и английских деловых кругов — все это противоречило нашим установкам, и Клемантель не мог этого не видеть. Мне он сказал: «Тот самый г. Барух, чье имя во время войны было в Америке синонимом контроля над промышленностью, с подписанием перемирия автоматически вновь стал апостолом экономической свободы и конкуренции». Неужели организованный мир не станет, как мы надеялись, продолжением наших усилий и расширением системы *Исполнительных комиссий* на все страны, включая и победителей, и побежденных, и нейтральных, — с целью справедливого распределения ресурсов и предотвращения нищеты, грозящей миру? Сможет ли осуществиться великий политический замысел перестройки международных отношений, замысел, который, при всей своей смутности, уже начал осуществляться и в который мои друзья и я вложили свой опыт и свои идеи?

25 января в Париже собрался верховный совет государств для подписания мира; он образовал комитет, которому было поручено составить хартию Лиги наций. Вильсон, видевший в этом свою жизненную миссию, взял дело в свои руки, а его помощником был знаменитый полковник Хауз. Дружба, которая связывала президента Соединенных Штатов, сурового профессора-идеалиста, и его верного советника, предприимчивого и изобретательного техасца, делала их единым целым, — феномен, который я могу сравнить только с дружбой между Рузвельтом и Гопкинсом, другим президентом и его ближайшим советником, двадцать лет спустя: в обоих случаях возник теснейший союз взаимодополняющих умов, из которых один генерировал направляющие идеи, а другой целиком посвящал себя их реализации; постоянный обмен мыслями обеспечивал полное согласие людей, посвя-

тивших себя единой цели и единому действию. Вильсон был первым американским президентом, посетившим Европу, где его восторженно приветствовали народы, одержавшие победу в войне. Поселившись в отеле Крийон, он в течение нескольких месяцев властно проводил свою линию, не обращая внимания на интриги, которые плелись в Вашингтоне против его европейской политики. Комитет по созданию Лиги наций постоянно заседал в номере 315 отеля Крийон. Здесь, в окружении Роберта Сесила, Леона Буржуа, Бенизелоса и маршала Смутса, Вильсон за одиннадцать дней разработал проект пакта.

В это время, в течение нескольких недель, я занимался в Лондоне и Париже ликвидацией подчиненных мне служб и не участвовал в подготовке пакта. Авторы проекта не решились на создание, даже в зачатке, независимого международного органа власти. Практически все решал Совет и только на основе единогласия своих членов. Ассамблея могла лишь высказывать мнения, пожелания, рекомендации. Секретариат должен был помогать Совету. Было ясно, что такая организация не могла вырабатывать и осуществлять общие решения. Во всяком случае, к такому заключению я пришел впоследствии. Однако в то время я не думал над международными проблемами в терминах делегирования суверенитета. Да и никто так не думал, даже если на словах некоторые апеллировали к некоей власти, стоящей над нациями.

Власть, которой обладала Лига наций, мыслилась, в духе времени, как власть разума, основанная на общем согласии. Она, как тогда думали, будет действовать исключительно как моральная сила, опираясь на общественное мнение и обычаи, признанные большинством. Речь шла о поддержании порядка, установленного посредством договора. Основой Хартии было утверждение целостности и независимости наций; даже и не думая (как мы это делаем сейчас) о достижении мира посредством постепенного устранения границ, заботились о восстановлении старых исторических линий разделения или о создании новых, гарантируя их неприкосновенность. Осуществление гарантий было возложено на се-

кретариат Лиги наций, который был скован правом вето и которому не позаботились дать в руки инструменты принуждения для эффективного осуществления задачи. Таким образом, воплощение великих надежд зависело от той организации, которую предстояло создать. Мы не могли опереться на какой-либо прецедент, но чувствовали, что наша сила — в опыте межсоюзнических комитетов.

Видимо, этому опыту я и был обязан тем, что Клемансо и Бальфур призвали меня на пост помощника генерального секретаря — сэра Эрика Драммонда, английского дипломата сорока трех лет. Его деловые качества в сочетании с обходительностью и умением добиваться результата без лишнего шума обеспечили ему высокую репутацию в глазах руководителей Форин Оффиса — Грея, Асквита и Бальфура. Рассказывают, что после того, как были отведены другие, более именитые кандидаты, Клемансо сказал на ухо Бальфуру: «Что это за молодой человек всегда сидит позади вас?» — «Это мой секретарь». — «Он нам подойдет», — заметил Клемансо. — «Согласен», — ответил Бальфур. У нас с Драммондом сразу установились отношения доверия, и вместе с другим, американским, помощником Фосдиком мы обосновались в Лондоне, в старом здании Сандерленд Хауз, вдали от парижской дипломатической суеты, и принялись за работу.

Фосдик, которому вскоре пришлось нас покинуть, когда Соединенные Штаты вышли из пакта, оставил свидетельство об этом периоде в переписке, опубликованной недавно: «Мы едим и спим, не переставая думать о Лиге в настоящий момент и в будущем, — писал он жене. — Вчера Драммонд высказал уверенность, что ее роль будет неуклонно возрастать. Он думает, что, учитывая быстрое развитие в мире экономической взаимозависимости, время работает на нас и естественный ход вещей приведет к созданию мировой организации, даже если нынешняя попытка закончится неудачей. Мы с Монне были вынуждены внести в его точку зрения некоторые уточнения. Нынешнему поколению приходится бежать наперегонки с растущей анархией в международных отношениях; у нас остается очень мало времени, чтобы создать интернациональную властную структуру и выработать при-

вычку к совместной работе. Настоящая опасность состоит в том, что нации могут быть вовлечены в новый кризис раньше, чем научатся вести совместную игру; так бывает с футбольной командой, когда она встречается с самым сильным противником в начале сезона, не получив достаточного времени для тренировки».

«В свете общих интересов...»

Действовать надо было быстро. Я убеждался, что в пакте много лакун, не позволяющих исполнять самые важные решения, направленные на соблюдение мирного договора. Пакт оставлял открытыми множество вопросов; так, территориальные проблемы, связанные с Саарской областью и Силезией, проблемы национальных меньшинств и беженцев были переложены державами-победительницами на плечи Лиги наций, которая должна была не только предотвращать новые конфликты, но и разрешать старые, унаследованные от войны. Беспорядок царил невыносимый: в экономическом плане к материальным разрушениям добавлялась дезорганизация торговли и валютный крах в таких искусственно переделанных странах, как Австрия или Польша. Гуманитарные проблемы возникали в связи с тем, что миллионы беженцев бродили через не установленные границы. В результате задачи, которые были бы по плечу настоящему сверхнациональному правительству, внезапно достались организму, единственным постоянно действующим элементом которого был секретариат.

Последующие перипетии, которым суждено было развернуться в Лиге наций, выступления Бриана и Штреземана, спектакли вокруг трагедий Манчжурии, Эфиопии, немецкое перевооружение, заставили забыть о главной исторической задаче этой организации, которая действовала в условиях буквально разваливающейся международной системы; при этом все руководство Лигой наций находилось в руках трех держав-победительниц, по-разному понимавших задачу поддержания мира. Американцы, которые отправились за океан, чтобы положить конец далекой от них войне,

теперь мечтали о восстановлении спокойствия. Вильсон не стремился к извлечению выгод для своей страны и был искренне заинтересован в том, чтобы сделать новую войну невозможной. Для французов первоочередной задачей было обеспечение своей безопасности: Клемансо хотел прежде всего ослабить Германию. У англичан на первом месте стояли электоральные задачи, поэтому Ллойд Джордж добивался выплаты репараций. Однако ничего нельзя было решить — и судьба миллионов европейцев оставалась в подвешенном состоянии — без соглашения между тремя великими державами, Англией, Францией и Соединенными Штатами; впрочем, вскоре их осталось только две: Соединенные Штаты предпочли самоустраниться.

Нам было ясно, что секретариат должен был бы готовить и осуществлять такое соглашение скрупулезно, шаг за шагом, в столь разных областях, как демаркация границ или предотвращение эпидемий, угрожавших континенту. Для этого надо было наладить механизм для сбора информации, ее изучения, для многообразного и оперативного вмешательства. Но, не опираясь на силу власти, такой механизм мог действовать только убеждением. И я начал вырабатывать некую философию действия, первоначальные основы которой я изложил в конце мая в меморандуме, стараясь очертить контуры метода, постепенно подводившего меня к концепции Сообщества:

«Сотрудничество между народами будет установлено на базе лучшего знания друг друга и взаимопроникновения составляющих их элементов.

Очень важно лучше знать друг друга — это касается и правительств, и народов; тогда они смогут рассматривать стоящие перед ними проблемы не только со своей точки зрения, но и с точки зрения общих интересов. Эгоизм людей и народов имеет своим источником неполное знание возникающей проблемы, вследствие чего появляется стремление добиваться непосредственной выгоды только для себя.

Но если в этих условиях эгоистический интерес встречается не с другим эгоистическим интересом, но с осмыслением проблемы в целом, тогда есть все основания ожидать,

что заинтересованные стороны уладят свои разногласия и придут к честному решению. И они сделают это тем легче, что будут знать: их дискуссия разворачивается на глазах других правительств и народов, которые будут судить о них по их делам».

Ключ к решению заключался для меня в следующем правиле: «Рассматривать проблему в целом и в свете общих интересов». И если созданная нами организация Лиги наций, просуществовавшая без значительных изменений до 1939 года, не всегда имела силу для осуществления своих намерений, то объяснялось это тем, что в момент ее создания, в 1919 году, невозможно было выйти за рамки, которые ставила нам эпоха. Я не думал тогда о слабостях системы, предназначенной для того, чтобы изменить отношения между народами. Вопрос об общем руководстве не мог тогда ставиться так, как сейчас, поскольку восстановление суверенитета было ключевым словом для держав-победительниц.

Более того: и для французов, и для англичан наступивший мир должен был закрепить их господство. Отсутствие в Лиге наций Германии делало эту организацию в принципе ущербной. Но устрашающие опасности беспорядка вынуждали нас искать любые формы общей дисциплины и честного арбитража; такой подход вполне соответствовал эмпиризму Драммонда и моих друзей, ранее работавших со мной в межсоюзнических комитетах, а теперь приглашенных нами в секретариат.

Нам не пришлось менять наш стиль работы: главное было, добившись единства взглядов, выдвинуть предложения, выражавшие общие интересы и достаточно убедительные для политиков, обладавших властью. Такие люди существовали в мирное время, как и в военное, и я их находил всякий раз, когда чувствовал, что наступило время действовать; они брали на себя и груз политической ответственности, и выгоды в случае успеха. Подобно тому, как во время войны я вышел на Вивиани и Клемантеля, так и теперь я нашел Буржуа и Бальфура, имевших большое влияние в Париже и Лондоне. Я уже знал, что такие контакты устанавливаются просто и естественно, поскольку люди, находящиеся у власти, в

условиях нехватки времени и информации, нуждаются в новых идеях и стремятся реализовать их как можно лучше, при условии, что вся заслуга будет отнесена на их счет.

Леон Буржуа был выдающимся деятелем Французской республики, память о котором несколько затмили такие государственные вожди, как Клемансо и Пуанкаре; но на всех этапах борьбы за мир в течение первой четверти века его роль была весьма велика. В то время, когда я с ним познакомился, он как раз удостоился Нобелевской премии в связи со своей международной деятельностью. Он был председателем Сената и французским делегатом в Лиге наций, где последовательно защищал принципы, изложенные им в книге уже в 1910 году. Репутация радикала, растрепанная борода и цветистое красноречие — все это наложило печать старомодности на этого деятельного человека с ясным умом. Я помню, какое сильное впечатление произвела его речь на мирной конференции в феврале 1919 года, когда он потребовал создания международных военных сил при Лиге наций: «Если военная агрессия произойдет в опасных точках мира, — сказал он, — должно быть обеспечено ее немедленное пресечение». Франция предложила, чтобы военные контингенты от каждой страны находились в распоряжении постоянно действующего международного генерального штаба, которому было бы предоставлено право инспектировать армию и вооружения каждой страны. Буржуа неустанно защищал этот проект, но он был отвергнут американцами и англичанами. «Это означало бы, — заявил Роберт Сесил, — заменить национальный милитаризм интернациональным». Таким образом, опорой пакта о мире могла служить только добрая воля нескольких человек.

Доброй воли было более чем достаточно у самого Роберта Сесила, британского апостола Лиги наций. «Если народы по сути своей эгоистичны, алчны и воинственны, — говорил он, — никакие инструменты, никакие механизмы их не остановят». Но он верил в силу общественного мнения, как верил в нее и английский представитель Бальфур, коллега и друг Буржуа. Оба деятеля подавали пример сотрудничества, основанного на доверии, правда, при наличии отмеченного

выше кардинального разногласия относительно способов поддержания нового мирового порядка, а в этом разногласии и заключался зародыш поражения международной организации, лишенной реальной силы. Согласие между французским и английским делегатами было необходимым и достаточным основанием для всех принимаемых решений. Наша задача, сотрудников секретариата, состояла в том, чтобы облегчить такое согласие.

Теперь, на расстоянии, я лучше вижу в Лиге наций некоторые сверхнациональные черты, и прежде всего — в работе секретариата, где существовало глубокое взаимопонимание между людьми, каждый из которых обладал в своей стране многообразными связями, позволявшими влиять на решения национальных центров руководства. Позднее, с вступлением в Лигу наций Германии, такое взаимопонимание закончилось и возникла необходимость оформить личное доверие созданием соответствующих институтов. Некие формы делегирования власти должны были придти на смену системе, которая функционировала только благодаря авторитету и личному согласию нескольких персон. Такие преобразования произвести не удалось, и механизм окончательно застопорился именно в тот момент, когда на повестку дня стал самый жгучий, самый животрепещущий для общественного мнения вопрос о разрушении, который вполне можно было бы решить, приложив немного воображения и смелости. Но именно этих качеств и не хватило преемнику Драммонда.

Силезия и Саарская область: общий интерес

Секретариат был сформирован в Лондоне летом 1919 года, но только 16 января 1920 в Париже состоялось первое официальное заседание Совета Лиги наций. Создание этой международной организации было предусмотрено пактом о мире, который вступил в силу 10 января. На протяжении всего 1919 года мы внимательно следили за переговорами: на них обсуждались проблемы, которые предстояло решать нам.

Когда Союзники не могли придти к соглашению относительно какого-либо сложного вопроса, его оставляли на

рассмотрение Лиги наций, которой, таким образом, предстояло урегулировать наиболее конфликтные ситуации. Франция хотела аннексировать Саарскую область вопреки мнению Вильсона? Проблема признавалась международной и переходила по наследству к Лиге наций. Польша требовала себе порт на Балтийском море, а Англия была против? В результате с Данцигом тоже предстояло разбираться нам. Судьба немецких колоний вызывала споры? Пусть ею займется комиссия по подмандатным территориям. Чтобы представить себе значение этих проблем, вспомним, что в 1939 году Данциг послужил детонатором для начала войны, а Саарская область оставалась предметом раздора вплоть до 1950 года. Когда сегодня видишь, как судьба одного города или одного клочка земли может поставить под удар мир во всем мире, остается только недоумевать по поводу легкомыслия авторов Версальского договора, обладавших высшей властью, но предпочитавших переложить ответственность за самые тяжелые решения на плечи организации, которую еще только предстояло создать.

Мы уже понимали, что вся организация будет держаться на секретариате. Было мало шансов, что Совет из девяти суверенных государств или Ассамблея, куда входило сорок семь государств, смогут найти решение там, где Вильсон, Клемансо и Ллойд Джордж потерпели неудачу сразу после войны. Нам предстояло следить за установлением мира сначала на развороченном войной европейском континенте, затем — в других частях света, а было в нашей команде в 1919 году всего-то сто двадцать человек, и мы кочевали из Лондона в Париж, из Парижа в Женеву, где и обосновались, наконец, осенью 1920 года. Сальтер присоединился к нам и стал заведовать экономической и финансовой секцией. Аттолико, тоже наш товарищ по *Исполнительным комиссиям*, взял на себя секцию транзита. Пьер Комер и Поль Манту, прошедшие школу Межсоюзнического комитета, возглавили соответственно секцию информации и политическую секцию. Все они были кооптированы каждый отдельно, независимо от своей национальной принадлежности, и — вещь беспрецедентная — были свободны в своей работе от каких-либо обязательств по отношению к странам, гражданами которых являлись.

В то время я еще не думал настаивать на понятии новой международной власти или предлагать делегирование суверенитета. Я стремился только к усилению эффективности путем улучшения связей между правительствами и народами. С этой целью я предложил Тардье, французскому делегату на мирной конференции, чтобы в каждой национальной администрации имелись уполномоченные для контактов с секретариатом и, через него, — с уполномоченными других стран. «Это должно привести, — писал я, — к расширению взгляда на перспективы национальной политики. Развитие такой системы приведет к полной перестройке методов международных отношений». Конечно, это было бы несомненным прогрессом, но я ошибался, возлагая слишком большие надежды на свой проект. Связать между собой правительства, заставить сотрудничать администрации разных стран — намерение, конечно, хорошее, но оно заканчивается неудачей при первом же столкновении интересов, если нет независимого политического органа, способного взглянуть на дело с общей точки зрения и довести его до совместного решения. Мне предстояло убедиться в этом двадцать лет спустя. Если нам и удалось чего-то добиться в Женеве, секрет успеха был более простым. Важные соглашения достигались в том случае, если великие державы, в первую очередь Франция и Англия, приходили к выводу, что противостояние им невыгодно: тогда перед нами открывался путь к поискам решения. Лично мне довелось участвовать в разработке двух вопросов: разделении верхней Силезии и спасении Австрии, — и это необыкновенно обогатило мой опыт.

На базе угольных шахт Силезии вырос большой комплекс металлургической промышленности, источник благосостояния двух миллионов человек, одну треть из которых составляли немцы, и две трети — поляки. Поляки были в основном рабочими и крестьянами и зависели от собственников заводов и земель, которые были в подавляющем большинстве немцами. Обе национальные группы были теснейшим образом связаны между собой. Поляки требовали присоединения всего района к Польше, а немцы не желали

расставаться с территориями, которые давали четверть всей их угледобычи.

Авторы Версальского договора сначала хотели отдать всю территорию Польше. Но, уступая резким протестам Германии, решили, в соответствии с принципом самоопределения наций, провести плебисцит. Голосование прошло в марте 1921 года, и результат был в основном в пользу Германии. Но распределение голосов было таким, что единственным выходом оставалось разделение территории по этническому принципу. Большинство немецкого населения было сконцентрировано в городах индустриальной зоны на восточном краю района. Они были отделены от Германии зоной, заселенной в основном поляками. Берлин и Варшава захотели, не дожидаясь конца урегулирования, решить вопрос силой. Польская армия оккупировала весь район, а немцы ответили созданием воинских формирований из местных жителей. Войска союзников вынуждены были вмешаться.

Это было опасное столкновение, но оно осталось бы в ряду локальных конфликтов, каких тогда было немало по всей расшатанной Европе. Однако в данном случае за поверхностью кризиса скрывались англо-французские разногласия, грозившие придать ему интернациональный характер. Франция была на стороне своей союзницы Польши, в то время как Великобритания поддерживала Германию, желая ее экономического восстановления. В августе 1921 года Бриан и Ллойд Джордж согласились передать вопрос на рассмотрение Совета Лиги наций и обязались подчиниться его арбитражу. Такая ответственность была для нашей организации тяжелым испытанием. В самом деле, впервые секретариату предстояло провести расследование и вынести решение, которое заранее принималось как окончательное. А ведь оно затрагивало два миллиона человек и проблему суверенитета. Я решил посвятить все силы этому вопросу.

Полномочия, предоставленные нам Версальским договором и мандатом Совета, допускали самые различные интерпретации. Мы должны были принять во внимание волю, выраженную в голосовании населения, но также — географическое и экономическое положение региона. Речь шла о том,

чтобы прочертить границу между двумя государствами. Мы не могли пойти на создание отдельной территории, не подчиненной суверенитету ни той, ни другой стороны — как то предлагалось в проекте Международной федерации профсоюзов, возглавляемой Леоном Жуо, — хотя за такое решение говорили и география, и экономика. Верхняя Силезия считалась идеальным «индустриальным треугольником», столь же сбалансированным, как Рур, Лотарингия или Лимбург, для которых тридцать лет спустя придумали ЕОУС (Европейское объединение угля и стали). Но в 1921 году время для делегирования суверенитета общей верховной администрации, по-видимому, еще не пришло. Хотя то, чего от нас молчаливо ожидали, было что-то в этом роде: требовалось найти нечто похожее на общий статус для людей и производственных предприятий по обе стороны искусственной границы, которую, как ни парадоксально, нам же и надлежало прочертить. С самого начала было условлено, что этот статус будет действовать в течение пятнадцати лет.

Хотя проблема содержала неисчислимы технические трудности, в принципе она не казалась мне сложной. Надо было только руководствоваться простым принципом: выявить общие интересы и привести их в систему. Для польской железной руды был нужен немецкий уголь; польские рабочие нуждались в работе на немецких заводах. Люди и готовая продукция должны были свободно пересекать границу. Для этого надо было разработать систему конкретных мер, приемлемых и для Польши, и для Германии, с тем чтобы обе стороны соблюдали ее, а международная организация выступала бы в качестве арбитра с правом окончательного решения. Такой проект содержал в себе, как минимум, серьезное ограничение суверенитета в пользу общей руководящей инстанции, но, как я уже сказал, мы тогда не обращали внимания на такие отвлеченные понятия. Мы исходили из практических задач, но, разумеется, не случайно необходимые механизмы регулирования толкали нас в направлении более радикальных политических концепций, чем те, которые возобладали в последующие годы. Обстоятельства не способствовали продолжению линии, наметившейся в 1921 году, и мы были вынуждены не

столько противодействовать обострившимся стремлениям к суверенитету, сколько использовать их на пользу делу.

Как бы то ни было, усадить поляков и немцев за один стол для демаркации границы никак не удавалось. Пришлось возложить эту задачу на комиссию из представителей четырех государств, никак не замешанных в конфликте: Бельгии, Бразилии, Китая и Испании. Господа Хиюманс, Дакуна, Веллингтон Коо и Куинонес де Леон были делегированы своими правительствами и наделены самыми широкими полномочиями. Для обеспечения работы комиссии секретариат назначил меня и мне в помощь — Пьера Дени; мы с ним были друзьями со времен совместной работы в Лондоне, и нам еще предстояло снова сотрудничать в Лондоне, но уже в 1940 году. Потом он стал казначеем Свободной Франции. Пьер Дени был добросовестным и способным человеком. Мы вели наше расследование в величайшем секрете, нам помогал господин Ходак, генеральный секретарь чехословацкой Промышленной федерации. В методах нашей работы я следовал рекомендации Буржуа: «Исследование проблемы не должно превосходить переговоры; это должна быть совместная работа, состоящая в последовательном приближении к честному решению, приемлемому для всех заинтересованных сторон».

Требование «последовательного приближения» относилось не только к проблемам народонаселения, где надо было по мере возможности учитывать результаты плебисцита, но также к вопросам транспорта, распределения воды и электричества, обмена продуктами и валютой, социального обеспечения, профсоюзных прав и т. д. Я не знаю, как мы действовали, но это факт: три недели спустя после начала работы наш доклад лежал на столе Совета. Я думаю, нам было не досна, как и сотрудникам всех технических служб секретариата, которые работали с предельным напряжением, понимая, что в этом деле наша организация проходит первое серьезное испытание.

Доклад предлагал линию границы, которую следовало провести немедленно. Он также предусматривал пятнадцатилетний переходный период, принципы которого

были определены, и создание двух постоянно действующих органов: смешанной исполнительной комиссии, в которую входили бы по два представителя от польской и немецкой стороны, а председатель назначался бы Лигой наций, — и арбитражного суда в составе одного эксперта от немецкого правительства, одного эксперта от польского правительства и председателя — от Лиги наций. Я уделил особое внимание созданию арбитражного суда, видя в нем наиболее важный орган разработанного нами проекта объединенной власти: его решения не подлежали апелляции и были обязательны для прямого исполнения на территории обоих государств. Разумеется, речь шла всего лишь о проекте, который должен был утверждаться на Совете Лиги наций и подробно обсуждаться в ходе переговоров между Германией и Польшей.

Очень серьезные трудности возникли со стороны Кэ д'Орсэ, допускавшего ограничение суверенитета только по отношению к побежденным странам и полагавшего, что наш проект не приведет к достаточному ослаблению немецкого потенциала. Франко-английское соглашение, достигнутое на уровне Буржуа и Бальфура, могло быть поставлено под вопрос и со стороны Парижа, и со стороны Лондона. Но этого не произошло благодаря политическому чутью и благородству Бриана. Как представитель Франции он в тот момент председательствовал в Совете и добился того, что 12 октября 1921 года было принято предложение, укрепившее авторитет Лиги наций, с высокой трибуны которой ему предстояло обращаться к мировому общественному мнению во всем блеске своего красноречия. Но в то время, о котором я говорю, там еще не было принято произносить громкие речи. Лига наций еще была инструментом конкретного и практического действия, и секретариат на протяжении ближайших восьми месяцев служил ярким тому подтверждением: он давал советы и примирял полномочных представителей, работавших под председательством швейцарца Феликса Калондера, помогая им найти решение для множества конфликтных ситуаций. Германско-польское соглашение было подписано 15 мая 1922 года, оно включало в себя, не много, не мало, шестьсот шесть

статей, по объему превосходило Версальский договор и расценивалось как большое достижение.

Хотя работа секретариата была сопряжена с серьезными трудностями, поставленных целей всегда можно было достичь при наличии политической воли. Технические сотрудники просто творили чудеса во многих областях: упорядочение железнодорожного транспорта, таможенной службы, валютное урегулирование, защита национальных меньшинств. Им нужно было дать четкие и логичные установки — и они добивались решения, казалось бы, неразрешимых задач. Насколько я понимаю, иначе и быть не должно: я никогда не переоценивал технические препятствия.

Конечно, далеко не все отнеслись к соглашению положительно. Бурные дебаты проходили в Рейхстаге, который по этому случаю был задрапирован траурными полотнищами. Но и немцы, и поляки попросили, чтобы Калондер остался председателем смешанной комиссии. Прекрасный бельгийский юрист Кеканбэк возглавлял арбитражный суд вплоть до 1937 года и поддерживал его авторитет на высоком уровне, в соответствии с нашими программными установками, во многом опередившими свое время: «Независимость членов арбитражного суда... Решения Суда являются обязательными для судов и властей обеих стран... Они должны исполняться на тех же основаниях и с соблюдением тех же формальностей, что и аналогичные решения национальных органов власти». Такой подход открывал широкие перспективы, но это было замечено лишь много позже. В то время, о котором я говорю, политики думали не столько о подготовке преобразований, сколько о закреплении результатов войны. Статус Данцига, которым я тоже занимался, мог бы служить образцом моделирования международной администрации. Но тогда никто не думал о создании моделей. Надо было буквально выполнять то, что было записано в мирном договоре. Данциг был превращен в вольный город с верховным комиссаром во главе, и на этом все остановилось.

По той же причине урегулирование саарской проблемы, к которой я тоже приложил руку, оставило меня не удов-

летворенным: у него не было будущего. Да и могло ли быть будущее у территории, которая была отторгнута от Германии, отдана под международное управление, а все богатство которой — уголь — принадлежало Франции? Я написал Мильерану: «Саарская область не может оставаться независимой. Если население того пожелает, она рано или поздно вернется в состав Германии — вместе со всем своим углем». Я предложил провести референдум, как в верхней Силезии. Пуанкаре воспротивился. Франция получила, что хотела, а дальше он не заглядывал.

Более того, во главе международной комиссии по Саару был поставлен француз. Пришлось вводить в область французские войска. Намечалась политика экономического захвата ресурсов Саара Францией, политика, обреченная на провал, как и любая попытка установления господства, но упорно проводившаяся Парижем, поскольку она отвечала потребностям нашей промышленности. Это упорство, которое через тридцать лет поставит нас на грань кризиса, было результатом отсутствия воображения: там, где экономические интересы одного народа сталкивались с суверенитетом другого, мы упрямо стремились навязать насильственное решение. Даже принятое в рамках Лиги наций, решение об отделении Саара оставалось насилием над немцами. Мне пришлось вспомнить об этом в 1950 году, когда та же проблема пробудила те же рефлексy у нашей дипломатии — с риском увековечить рознь между Францией и Германией. Я убедился тогда, что необходимо подняться над противоречием и найти, наконец, новые политические формы, при которых интересы обеих сторон не выглядели бы несовместимыми и предмет раздора стал бы общим источником выгоды и для французов, и для немцев. Создавший ЕОУС «отважный акт» — выражение Робера Шумана — во многом отталкивался от половинчатого статуса Саара в 1922 году. Долгий опыт научил нас, что только радикальное изменение политического контекста может позволить решить затянувшуюся и запутанную проблему. Действительно, как мы увидим далее, с 9 мая 1950 года старый конфликт отойдет в прошлое.

Австрия: акция солидарности

Я многому научился в период работы в Лиге наций, но в памяти особенно четко запечатлелись несколько дел, которые стали для меня примером действий по организации мира. Особенно значимой моделью была верхняя Силезия; Саар — в гораздо меньшей степени. Экономическое спасение Австрии — еще одно значительное достижение Лиги наций, из которого я извлек важные уроки. Здесь передо мной раскрылось все значение солидарных усилий, необходимость связать между собой, в общей работе и при соблюдении равенства прав, тех, кто оказывает помощь, и тех, кто в этой помощи нуждается. Австрия была побеждена в войне, и без посторонней помощи у нее не было надежды подняться. В течение трех лет победители поддерживали и вели за руку эту маленькую республику с населением в шесть с половиной миллионов человек, из которых одна треть жила в Вене, непропорционально огромной столице, оставшейся стране в наследство от имперского прошлого. Ничего не предпринималось для того, чтобы страна могла существовать самостоятельно. Присоединение к Германии — выход, продиктованный отчаянием, — было ей запрещено Версальским договором. Инфляция, безработица погрузили страну в нищету и безысходность. В 1921 году Австрия оказалась перед лицом финансового краха, и Лига наций должна была найти выход.

На самом деле, речь шла о решении политического вопроса, имевшего серьезное значение для европейского равновесия и для будущего Лиги наций. Австрия была составной частью неразберихи, созданной в Восточной Европе Версальским договором, который предоставил нашей организации разбираться со всеми его ошибками. Я с самого начала сомневался, что происшедшее здесь дробление на множество самостоятельных государств может удержать равновесие в регионе. Но национальное соперничество, приведшее к такому положению, не давало что-либо изменить, поскольку вполне логичная идея федерации принималась каждой нацией лишь при условии, что именно эта нация будет играть доминирующую роль. Беседа с Бене-

шем* — помнится, это было во время прогулки на Монблан — показала мне, насколько ограничены возможности разумных решений в этой национально раздробленной части Европы. Я стремился доказать ему нелепость политической разобщенности этого большого региона, являющегося в экономическом отношении единым целым. «Ваши страны, — говорил я, — слишком малы. Вместо того, чтобы противостоять друг другу, им необходимо придти к свободному объединению». — «Я вижу здесь огромные препятствия», — отвечал он. — «Но вы же видите, что Австрия уже не та... Именно ваша страна должна была бы стать движущей силой объединения в федерацию». — «Никогда, — отрезал Бенеш. — Я бы предпочел, чтобы Австрия исчезла». Таково было настроение ума молодого политика, к мнению которого прислушивались в Женеве, но который уже вступил на трагический путь, где правят бал националистические страсти.

В 1921 году наша задача состояла в том, чтобы обескровленная Австрия не превратилась в жертву. Финансовый комитет и секретариат Лиги наций принялись за работу. Все исследования сходились на том, что, прежде чем прибегать к внешним займам, надо оздоровить валютную ситуацию в стране. Оздоровление сводилось к строгой экономии бюджетных расходов, выпуску внутреннего займа и созданию независимого центра эмиссии. Затем следовало рассмотреть возможность размещения на международном рынке облигаций под гарантию налоговых сборов и ипотек. Эта программа жесткой экономии была одобрена Австрией, но ее применение оставалось в области теории, пока существовало сомнение в политическом будущем страны. Кто в мире согласится предоставить займы государству, чье имущество отдано в залог державам, которые к тому же отказали ему в помощи? Проблема ипотек затормозила работу на целый год, и в один прекрасный день, в августе 1922 года, все заметили, что крона упала до одной пятнадцатитысячной своего золотого эквивалента. Был созван Совет, Буржуа встретился с Бальфу-

* Министр иностранных дел, затем премьер-министр Чехословацкой республики.

ром. Они сошлись на том, что «теперь надо добиться, чтобы проблема была рассмотрена в общеполитическом плане». Большого и не требовалось: секретариат взялся за работу с решимостью довести ее до конца. Сальтер, в качестве председателя финансовой комиссии, отправился в Вену. Там его глазам предстала трагическая картина: «Каналы снабжения не работают, магазины пусты, население всех классов — интеллектуалы с мировым именем, представители старой аристократии, некогда процветающие предприниматели — явно страдает от голода». Все это, заключает Сальтер, является соблазном для соседних государств, готовых вмешаться в дела страны, которую ожидают неизбежные смуты.

Тогда мне пришла мысль, что эту реальную угрозу внешнего вмешательства можно, в буквальном смысле, перевернуть и сделать источником позитивной коллективной акции. Нужно было направить на поддержку независимости Австрии те самые силы, которые могли бы уступить соблазну и воспользоваться кризисом. Надо было сыграть на том, что каждая страна боялась действий других. Коллективные гарантии были бы в этом случае наиболее успокаивающим решением для всех, а общая заинтересованность — самой прочной основой соглашения. Сальтер, так же как и я, хорошо запомнил дружеский пикник на берегу Женевского озера, когда я изложил Бейзилу Блекету, блестящему эксперту британского министерства финансов, свой проект, который сразу стал нашей общей линией. Каждый из нас, как обычно, пустил в ход свои связи с тем, чтобы привлечь на нашу сторону делегатов и сотрудников национальных администраций. Спустя несколько недель Комитет по Австрии, куда входили Великобритания, Франция, Италия и Чехословакия, в присутствии канцлера Австрии, представил свой доклад, который и был принят. Он содержал политическое введение, озаглавленное «Протокол о незаинтересованности». Четыре государства, подписавшие протокол, брали на себя обязательство «уважать политическую независимость, территориальную целостность и суверенитет Австрии, не стремиться к приобретению особых или исключительных эконо-

мических или финансовых преимуществ, которые могли бы прямо или косвенно повредить этой независимости». Австрийское правительство, со своей стороны, должно было принять очень строгие меры по внутреннему оздоровлению (закрытие нерентабельных государственных предприятий, сокращение количества чиновников, поднятие таможенных тарифов). Эти меры были условием финансовой помощи, предоставляемой в форме международных кредитов, гарантированных одновременно и внутренними доходами (таможенные сборы, налоги на табак), и государствами, подписавшими договор, взявшими на себя обязательство выплачивать третьим странам проценты по долгам, если они превосходят австрийские ресурсы. Контроль был возложен на генерального комиссара, назначаемого Лигой наций.

Такая система, сегодня ставшая привычной, поскольку была использована неоднократно в разных обстоятельствах, в то время рассматривалась как большое новшество. Это было первое серьезное начинание, направленное на европейское восстановление и рассчитанное на длительное время, а не просто на разовую благотворительную помощь. Принимая иностранную помощь, Австрия не только не поступалась своей независимостью, но усиливала ее благодаря международным гарантиям и внутренним реформам. Таким образом, шаг за шагом новые концепции пробивали себе дорогу. Конкретные и убедительные примеры, такие, как быстрое восстановление денежной системы Австрии и ее экономики, производили большое впечатление на старые административные системы и центры, управлявшие экономикой и финансами, в которых после войны, — во всяком случае, на первый взгляд, — мало что изменилось.

Несомненным знаком происходивших перемен было то, что даже такая цитадель консерватизма, как Английский банк, принял участие в операции. Сегодня даже трудно себе представить мощь и престиж этого учреждения в начале века. Во всем мире кредиты, более или менее, равнялись на Английский банк. Мы убедились в этом, когда наступило время выпускать австрийский заем и, несмотря на гарантии, произошла заминка в крупнейших банках Швейцарии, Парижа и

Нью-Йорка. Мне объяснили: «Дело в том, что Норман еще не определен. Если он вступит, вступят и остальные». Монтегю Норман был хозяином английской финансовой цитадели. Его все боялись. Рассказывали, что коллега Нормана, управляющий Польским банком, должен был сорок восемь часов дожидаться в его приемной. Это была его манера устанавливать дистанцию. Я встретился с ним, и мне удалось его уговорить. Он пригласил меня погостить у него, и мы стали друзьями. Объявленный заем в сто миллионов долларов был перекрыт в несколько раз.

Мир, основанный на равенстве

Система оповещения секретариата действовала надежно, и мы могли действовать, раз за разом, там, где возникала угроза равновесию: в Венгрии, Греции, Болгарии... Но были пределы нашим возможностям: ничего нельзя было предпринять без согласия великих держав или доброй воли их представителей в Женеве. Такие договоренности заменяли международное право. Эти законы-паллиативы были ненадежны и зависели от интересов участников, — так бывает всегда и везде, где действует система сотрудничества. Как же при такой системе мы могли создать устойчивый порядок? Мы пошли так далеко, как только было возможно, в определении общих правил экономического поведения на конференции в Брюсселе, задачей которой было «изучение финансового кризиса и поиски средств по предотвращению и смягчению его опасных последствий». Эта конференция состоялась еще в 1920 году и была первой в ряду подобных мероприятий Лиги наций. Ее тщательно готовила наша группа в составе Сальтера, Лейтона, Блекета, Бранда и меня, одушевляемая надеждой и памятью о нашем недавнем сотрудничестве в Лондоне. Мы не отказались от идеи организации мира и очень рассчитывали на эту конференцию (в ней участвовали тридцать девять государств, включая Германию, представлявших 75 процентов населения земного шара), чтобы заставить заработать некоторые механизмы, опробованные в *исполнительных комиссиях*. Однако теперь, с наступлением мира, исчезла при-

водившая их в движение сила необходимости. И единственным конкретным результатом первой мировой конференции по экономике стало создание при Лиге наций Организации по экономике и финансам, через которую Сальтеру удавалось проводить наши решения, как это было в случае с Австрией. Все остальное свелось к смелым рекомендациям (принятие мер против инфляции, упразднение квот и дискриминации в области цен, свободная циркуляция товаров и капиталов, а главное — солидарная ответственность в области финансов), которые могли бы позволить Европе избежать двадцати лет застоя и новой войны, если бы были своевременно подкреплены властными полномочиями.

Однако мы не чувствовали себя отвергнутыми или обреченными на неудачу. Мы добивались результатов в разрешении таких конфликтов, которые не уступали нынешнему Берлинскому кризису или ситуации в Ирландии; мы вводили новые принципы управления территориями, ликвидировали эпидемии. Мы развивали привычку к сотрудничеству между странами, которые до того признавали только отношения силы. Мы связывали большие надежды с будущим Лиги наций, а трудности нас только подбадривали. Только позже я понял, что мы недооценили эти трудности, или, точнее, недостаточно углубились в них: их общий корень лежал в области национального суверенитета, который и мешал в Совете выявлению общего интереса. Конечно, об этой общей заинтересованности, общей пользе говорилось на всех заседаниях, но затем о ней забывали, поскольку каждый думал прежде всего о последствиях, которые то или иное решение может иметь для его страны. В результате никто не стремился по-настоящему решить проблему и главная забота сводилась к тому, чтобы найти ответы, удовлетворительные для каждой из заинтересованных сторон. Поэтому работа всей организации оказывалась во власти старых, рутинных представлений о сотрудничестве.

Иначе и быть не могло при тех ограничениях, которые накладывала необходимость принимать все решения только единогласно. Такой порядок диктовался наилучшими намерениями. Мне припоминается такая сценка, одна из многих.

На Совете дискутируется вопрос о распределении в мире сырьевых ресурсов. Докладчик, представитель Италии маркиз Имперiale, предлагает проект решения. Английский представитель, лорд Бальфур, как обычно, кажется спящим. Когда очередь голосовать доходит до него, он встает и говорит попросту: «Правительство ее Величества против». После чего снова засыпает. Вопрос снимается с повестки дня. Именно так завершалось большинство дискуссий. И при этом никто не ставил под сомнение добрую волю Бальфура или его французского коллеги Буржуа, который — я сам это слышал — заявил в парламенте: «Не может быть и речи о том, чтобы превратить Лигу наций в сверхправительство или некое подобие конфедерации». Эволюция умов была ограничена определенными рамками.

Право вето является глубинной причиной и одновременно символом неспособности преодолеть национальный эгоизм. Но иногда оно выражает и более скрытые механизмы торможения. Английская политика стремилась к равновесию сил на континенте, Франция — к доминированию, Германия, если еще и не думала о реванше, то, во всяком случае, пыталась ослабить стягивавшие ее путы. Порок заключался в самом Версальском договоре: он был основан на дискриминации. Но с тех пор, как я стал заниматься общественными делами, я ясно понял, что равенство в отношениях между народами так же необходимо, как и в отношениях между отдельными людьми. Мир, основанный на неравенстве, не может дать ничего хорошего. И все-таки я продолжал надеяться, что этот порок можно будет устранить с помощью доброй воли. Но это все равно, что полагаться на удачу. Я никогда не забуду об эпизоде, когда Пуанкаре показал мне подлинное лицо воли к господству.

Мы занимались проблемой немецких репараций, которая, как нам казалось, была неправильно поставлена. Мы с Сальтером, Блекетом и Селье, директором Управления по размещению фондов, старались наполнить реальным содержанием лозунг: «Германия заплатит!» «Да, она будет платить, — говорил я Леону Буржуа, — но нельзя платить вечно

и неизвестно сколько. Я предлагаю заменить принцип неограниченного политического долга принципом ограниченно-го коммерческого долга: надо выпустить международный заем, а Германию заставить платить проценты по этому займу. Таким образом мы уйдем от силового франко-немецкого противостояния, превратив репарации в систему справедливых и разумных облигаций, которые смогут быть выкуплены гражданами любой страны». Леон Буржуа согласился со мной, как и его верная секретарша, что также имело немаловажное значение. Из всех даров природы мадемуазель Мийар была наделена только умом, но зато исключительным. Находясь в тени своего патрона, она играла активную и полезную роль, — подобную той, что играл полковник Хауз при Вильсоне, о чем я уже говорил. Буржуа был человеком широких и благородных взглядов, мадемуазель Мийар придавала им организационные, действенные формы. Она предложила устроить совещание на квартире у Буржуа, возле площади Сен-Сюльпис, с участием Мильерана, который наполовину уже был на нашей стороне, и Пуанкаре.

Когда Пуанкаре пришел, Буржуа и Тёли (бельгийский делегат в комиссии по репарациям) сказали ему, что хотели бы услышать его мнение по поводу проекта, который я ему изложу. Я изложил. «Если я правильно вас понял, месье, — сказал Пуанкаре, — вы хотите сократить размеры немецкого долга?» — «Не сократить, но зафиксировать. Нельзя говорить о долге, если не установлены его пределы. Я бы сказал, что речь идет о том, чтобы освободить Германию от груза, размеры которого не определены». Тут Пуанкаре поднялся, весь красный от гнева: «А вот этого не будет никогда, месье! Немецкий долг — дело политическое, и я намерен пользоваться им как средством давления». И словно для того, чтобы еще больше драматизировать ситуацию, он вынул из кармана отрывок из Версальского договора и стал потрясать им в воздухе.

Мне часто приходилось слышать, что с уходом Соединенных Штатов и президента Вильсона дух великодушия покинул Лигу наций. Действительно, Вильсон склонялся к тому, чтобы ограничить размеры немецкого долга; он способст-

вовал созданию новых форм управления, в том числе в Данциге, Сааре, в других местах; он повсюду боролся против экономического национализма; он мечтал о разоружении. Но факт остается фактом: он опережал развитие общественного мнения и в мире, и, прежде всего, в своей собственной стране. Его неудача не привела к поражению только что созданной Лиги наций. Как бы сильны ни были Соединенные Штаты, они в то время еще не могли равняться с Европой, которая пока оставалась центром мира. Организация, руководимая Англией и Францией, особенно когда эти сохранившие свой престиж государства действовали заодно, могла определять судьбы планеты. Но согласие давалось им с трудом, сказывалась традиция старого соперничества. Я понял, что разоружения не будет, когда стало ясно, что Англия хочет сохранить свой флот, а Франция — свою армию; а во всем остальном, пожалуйста, они были готовы подписать соглашение об отмене военных структур. Я отчетливо чувствовал, что в таком виде Лига наций не сможет продолжать свое существование, но я не терял надежды помочь ей измениться.

Глава 5

От города Коньяк до Польши, от Калифорнии до Китая (1923–1938)

Возвращение в Коньяк

Осенним днем 1923 года моя сестра Мари-Луиз приехала ко мне в Женеву. «У отца дела идут неважно, — сказала она мне. — Мы думаем, что тебе следовало бы вернуться в Коньяк и взять дело в свои руки». Я не очень удивился. Я знал, что последовавший за войной кризис, понижение цен и сокращение продаж затронули фирму Монне в большей степени, чем старые торговые дома. Но то, что сообщила мне сестра, внушало мне тревогу и не допускало колебаний. Раз отцу требовалась моя помощь, я вернусь в Коньяк и снова стану коммерсантом. В Лиге наций все шло своим чередом, преемственность обеспечивалась той командой, которая оставалась после меня, и общим законом: секретариат, как и любой организм, переживает своих создателей. В Коньяке, напротив, ход дел зависел от решений нескольких человек. Мировая конъюнктура, качество годового урожая винограда имеют большое значение, но главное — это деятельность людей, чья задача как раз и состоит в том, чтобы справляться со всеми трудностями. Мой отец был уже стар, и ему было трудно приспособливаться к новым временам.

Я не привык уклоняться от необходимости. Я покинул Лигу наций, где работа давала мне счастье и где я надеялся сделать еще немало полезного. Мой уход ни в малейшей мере не был продиктован разочарованием в деятельности этой организации. Как я уже сказал, я тогда не подозревал, до какой степени она окажется бессильной, но даже если бы я это

знал, я бы сделал все возможное, чтобы остаться на посту, где я мог бы способствовать установлению прочного мира. Но я-то как раз верил в будущее, и именно моя вера побудила меня оставить мой пост одному из моих помощников, Авенолью, до этого успешно работавшему в политической секции. Это была с моей стороны ошибка, о которой мне впоследствии пришлось пожалеть. Дальнейшие события показали, что Авеноль не обладал характером, необходимым для того, чтобы стать хорошим генеральным секретарем Лиги наций.

Однако другие продолжали, каждый на своем месте, наше общее дело. Верный Артур Сальтер в своей финансовой секции закладывал первые основания экономического союза, убежденный в будущем федерализма. Добросовестные и трудолюбивые Анри Бонне и Пьер Комер, один — в культурной секции, другой — в департаменте информации, создали модели, которые впоследствии служили образцом для всех международных организаций. Темпераментный и великодушный Альбер Тома придал работе Международного бюро по труду такой размах, который уже ничто впоследствии не могло остановить. Его физиономия бородатого пророка была популярна у трудящихся всего мира, на всех континентах. Более сдержанный, но не менее влиятельный Райхман стоял во главе секции гигиены, раскинувшей сеть своих агентств во все концы мира.

Я хотел бы еще на минуту остановиться на жизни и личности этого необыкновенного человека, дружба которого была драгоценна для меня. Мне кажется, что мало людей обладают таким чувством универсального, как Людвиг Райхман. На всех континентах, невзирая на границы, невзирая на политические режимы, он поддерживал плодотворные человеческие связи, с бескорыстием и готовностью истинной дружбы. Родившийся в Варшаве в 1881 году в семье выдающихся гуманистов, он стал известным врачом-бактериологом. Когда Лига наций начала борьбу против ужасных последствий первой мировой войны — эпидемий, он был призван создать секцию гигиены, которая была обязана своими необыкновенными успехами его самоотверженности и организационным талантам. Этот лидер, умевший увлекать за со-

бой людей, был моим другом. Мы еще встретимся с ним на страницах этой книги. Во время одной из своих поездок он был поражен огромными возможностями Китая и размерами его бедствий; он посвятил себя развитию этой страны и трудился там, пока начало второй мировой войны не вынудило его уехать в Соединенные Штаты. Все знают, как много он сделал для защиты детей во всех странах через созданный им UNICEF*. Он умер и похоронен в 1965 году в маленькой деревушке департамента Сарт, но дело, которому он служил всеми силами своего ума и сердца, продолжилось после его смерти. Райхман верил в человеческое великодушие и создавал организации для того, чтобы оно могло осуществиться.

Это была эпоха великих начинаний, или, скорее, предприимчивых умов. И если Франция не смогла мобилизовать коллективные усилия, которые помогли бы ей вступить в новый век и произвести модернизацию, до того как волна мирового кризиса не накрыла ее, то хотя бы отдельные личности получили тогда широкое поле деятельности. Я был в том возрасте, когда воображение достигает высшей точки, и моя потребность в творчестве смогла реализоваться в делах, которые по своим масштабам превосходили национальные границы. Торговля коньяком тоже выходила за национальные рамки, но все же я быстро убедился в ее узости и рутинности. Мне предстояло вернуться к ней, но уже обогащенному опытом больших международных акций, направленных на поддержание внутренней и внешней стабильности целых наций, поколебленных войной. И теперь мной продолжала двигаться потребность в восстановлении порядка, а не жажда коммерческой выгоды: выгода возникала как побочный продукт. Деньги приходили и уходили. У меня, возможно, был талант их зарабатывать, но уж точно не было таланта их сохранить.

В Коньяке я столкнулся с тяжелой ситуацией — и в материальном, и в психологическом отношении. Я готовился к

* United Nations International Children's Emergency Fund (Международный фонд Лиги наций для помощи детям).

мучительной борьбе — не против обстоятельств, а против дорогого мне человека и против его взглядов, заслуживавших всяческого уважения. Я убедился, что мой отец управлял фирмой без учета духа времени, требовавшего расширения продаж, а не поддержания качества. Под качеством он понимал священный обычай подолгу выдерживать коньячный спирт в бочках, в самых глубоких погребах, защищенных от света и именуемых в Коньяке «раем». Большие ценности и главные ресурсы нашей торговли были таким образом законсервированы. В течение долгого времени мой отец наблюдал за тем, как содержимое этих бочек старело и повышалось в качестве; он отказывался их продавать не потому, что стремился получить более высокую цену, но из сентиментального к ним отношения, из удовольствия хранить их как можно дольше. Фирма Монне была богата, но в то же время ей не хватало оборотного капитала, в то время как торговля все чаще выбрасывала на рынок слабо выдержанные коньяки.

Терпеливо, день за днем я вел борьбу против трогательного упрямства человека, не желавшего отказываться от того, что составляло смысл его жизни, но тем самым разорявшего свой дом. Дело могло кончиться банкротством фирмы, у которой была хорошая продукция и хорошая репутация: для этого достаточно было продолжать придерживаться старых взглядов и делать ставку на качество и редкость продукта. Уже многие торговые дома погибли из-за упрямства их основателей, которые делали ставку на немногочисленную и утонченную клиентуру. Я не хотел, чтобы дело моего отца кончилось точно так же, и потому, с риском причинить ему боль, я пошел против его убеждений. Я знал, что продукцию можно диверсифицировать по качеству, с тем чтобы охватить гораздо более широкий круг клиентов. В действительности, у нас уже не было выбора. Мой отец согласился пустить в продажу выдержанные коньяки, заменив их в бочках новым коньячным спиртом. Таким образом удалось возобновить торговый оборот в большом масштабе. Этот подъем совпал с увеличением котировок. Я думаю, что счастье всегда было на моей стороне, но не знаю, в какой мере оно зависело от моих усилий. На этот раз, в Коньяке, мне помогли обстоятельства.

Я воспользовался этим, чтобы реорганизовать наш торговый дом, управление которым, после смерти моего брата, перешло к моим кузенам. Я сохранил за собой несколько процентов капитала и получил свободу для других видов деятельности. Как раз в это время ко мне обратилась крупная американская инвестиционная фирма, «Блэр и К^о», только что открывшая французский филиал в Париже. Это был период большой активности на финансовых рынках, и могущественные инвесторы из Нью-Йорка раскидывали сеть своих организаций по всей Европе. Они выпускали ценные бумаги для индустриальных компаний или правительств, которые сами не обладали достаточным кредитом для развития своих инфраструктур. Эти частные компании специализировались на размещении общественных займов под гарантии правительств. Требовалось удостовериться в реальности этих гарантий: дело могло доходить до реорганизации некоторых налоговых или таможенных систем. А в случае, если речь шла о государствах, серьезно расшатанных войной и не успевших обрести устойчивость, могла возникнуть необходимость в укреплении и стабилизации национальной валюты. Инвесторы должны были вникать в суть проблемы, помогать советами, дабы ликвидировать бюджетные перекосы, получать доступ в центральные банки. «Блэр и К^о» были в состоянии осуществлять столь масштабные политические и финансовые мероприятия.

Злотый и лев

Генеральным директором «Блэр» был Элайша Уолкер, смелый бизнесмен с уже утвердившейся репутацией. С ним вместе мы учредили в августе 1926 года в Париже французское общество «Блэр и К^о. Форин Корпорейшн», и я стал его вице-президентом. Райхман, чья активность и влияние выходили далеко за пределы его деятельности в международных организациях здравоохранения, поведал нам об огромных трудностях своих польских сограждан. Слабость польской валюты, злотого, отражала отсталость страны, только что вышедшей из длительного средневековья, и не позволяла вар-

шавскому правительству рассчитывать на международный кредит. Первоочередной мерой было укрепить золотый путем долларового займа и влить иностранные капиталы через инвестирование в производственную сферу. В начале 1927 года Райхман связал меня с польским правительством, и я отправился на жительство в Варшаву. Вместе с молодым финансовым экспертом, рекомендованным мне Пьером Комером, мы поселились в отеле «Европейский» и приступили к интенсивной работе, вызывая большое удивление флегматичных жителей. Мой сотрудник Рене Плевен с трудом привыкал к расхождению во времени: нам приходилось по ночам сообщать в Нью-Йорк о переговорах, которые мы вели в течение дня.

Я думаю, что ладить со мной зачастую было нелегко, и мои сотрудники, к которым я предъявлял повышенные требования, с трудом привыкали к моим методам работы. Но очень быстро они бывали вынуждены признать, что эти методы с необходимостью вытекали из обстоятельств, которым и я подчинялся вместе с ними. Конечно, Рене Плевен не сразу понял, что, для того, чтобы эффективно поддерживать диалог между людьми, занятыми одним делом, но находящимися в разных полушариях, нам необходимо было жить одновременно и по нью-йоркскому, и по варшавскому времени. И, как многие другие, он не сразу соглашался переделывать по десять, двадцать раз какой-нибудь документ «второстепенного значения», формулировки которого были «довольно удовлетворительны». На самом деле, если хочешь добиться поставленной цели, для тебя не должно быть второстепенных вещей. Ничто не должно оставаться приблизительным, недоработанным из-за позднего времени или усталости. Плевену пришлось усвоить, что недостаточно написать письмо, надо еще убедиться, что оно отправлено и получено. Такие правила не должны казаться мелочными или второстепенными, из-за их несоблюдения весьма авторитетные и добросовестные люди удивляются: почему результаты не соответствуют их замыслам?

Я был очень доволен, что рядом со мной находился этот молодой человек двадцати шести лет, для которого уже тогда не было неразрешимых технических проблем и кото-

рый был необычайно восприимчив к гуманным аспектам нашей деятельности. Я сейчас же понял, что Плевен был очень расположен к общественной деятельности. Он был бескорыстен по натуре и рассматривал нашу финансовую миссию под самым широким, то есть политическим, углом зрения. Проблема стабилизации злого, действительно, очень волновала западные правительства. Я оказался на скрещении соперничающих влияний Лондона, Парижа, Берлина и Вашингтона, так как крупнейшие национальные банки стремились вмешаться, чтобы зафиксировать курс польской валюты на наиболее выгодном для них уровне. Эти банки были мощными и независимыми организациями, а их руководители — весьма значительными личностями. Господа Норман, Моро, Шахт и Стронг сталкивались в своих странах с серьезными монетарными проблемами, так что их позиции в основном совпадали. Но когда речь шла о малых европейских нациях, попавших в трудное положение, каждый хотел обеспечить финансовые интересы своей страны и установить свою финансовую опеку.

Норман полагал, что Английский банк должен решать польскую проблему сам, без чьего-либо участия. Я уже писал о том, с каким пренебрежением он обошелся со своим польским коллегой, но он бы действовал точно так же, если бы речь шла о представителе Бухареста или Белграда. К Французскому национальному банку он относился с умеренным уважением. За это его недолюбливал господин Моро, говоривший: «Он словно сошел с какого-нибудь полотна Ван Дейка. Со своей остроконечной бородкой и широкополой шляпой он напоминает приближенного династии Стюартов. Это империалист, желающий, чтобы Английский банк царил над миром». Я разделял мнение Моро и считал, что не следует предоставлять свободу действий Монтегю Норману с его комплексом превосходства. Как человек он был весьма обаятелен, и я стал его другом. Но я не мог допустить, чтобы он взял в свои руки стабилизацию злого с вытекающей отсюда возможностью решать политические вопросы, связанные с германо-польской границей. Стремление к господству задевает мои самые глубокие чувства. Поэтому, в согласии с Мо-

ро и Пуанкаре и пользуясь моими хорошими отношениями со Стронгом, я старался заинтересовать американский Федеральный банк, чтобы уравновесить английское влияние.

После долгих переговоров, которые я вел в Париже и Вашингтоне, удалось достичь соглашения, которое ставило польскую экономику на прочную основу, без политических требований, но с условием жестких мер по внутренней экономической реорганизации. Центральные банки совместно гарантировали курс злота, который был восстановлен благодаря международному займу, выпущенному и размещенному компанией «Блэр». Контракт на семьдесят миллионов долларов под залог таможенных сборов был подписан в конце года. Я живо помню заключительные переговоры, проходившие в кабинете президента. Пилсудский, затянутый в военный френч серого цвета с красной полосой, резко выступил против наших требований. Он считает неприемлемой процентную ставку 7,5. Мы встаем, готовые прервать переговоры. «Подождите», — говорит он. Мы садимся. «Послушайте, — говорит нам маршал, улыбаясь, — скиньте полпроцента ради Ванды». Ванда — это его дочь. Заем был подписан под 7 процентов годовых.

Поскольку в Соединенных Штатах важные дела не делаются без *lawyers* (адвокатов), мы обеспечили себя консультациями одного из самых блистательных нью-йоркских адвокатов — Джона Фостера Даллеса. Я познакомился с ним на мирной конференции, и мы подружились. Я высоко ценил его компетентность, которая пригодилась нам в Варшаве и потом во многих других случаях. Но особенно меня восхищали в нем сила характера и моральный авторитет, известные далеко за пределами его профессиональной среды. В Соединенных Штатах великий *lawyer* — это великий гражданин. Его репутация ширится сама собой и, даже если он активно не занимается политикой, может приобрести общенациональное значение. Видимо, к этому и был предназначен Джон Фостер Даллес, человек очень религиозный, убежденный, что свобода — важнейшая и необходимейшая принадлежность цивилизации. Я всегда знал его решительным, целеустремленным — таким его образ сохранился в истории, — и в

то же время великодушным, жизнерадостным человеком, преданным другом. Придет день, и мир увидит рядом с Эйзенхауэром его мощную фигуру, ставшую символом непреклонности и вызывавшую по отношению к себе противоположные страсти. Этот символический образ не был настоящим Даллесом. Человек, которого я знал и любил, был похож на других людей, только был крупнее и прямее, чем большинство других.

Несколько месяцев спустя, в январе 1928 года, я уже был в Бухаресте, где политическая и экономическая неустойчивость также привела к ослаблению национальной валюты, лева, так что румынское правительство не могло получить кредитов на европейских валютных рынках, несмотря на хорошие отношения с Парижем и Лондоном. Переговоры, которые я начал с Винтиле Братиану, закончились в феврале 1929 года подписанием соглашения с премьер-министром Юлиу Маниу, руководителем крестьянской партии; эта партия пришла к власти после двух правительственных кризисов, вызванных финансовой дезорганизацией, которой срочно требовалось положить конец. Размещение займа на укрепление лева было трудной задачей, так как даже американский валютный рынок, уже затронутый симптомами приближающегося мирового кризиса, не мог поглотить выпущенные долговые обязательства на сто миллионов долларов, хотя и гарантированные румынской Кассой государственных монополий, специально созданной нами для этой цели. В таких условиях заявил о себе в Бухаресте легендарный персонаж, международный искатель удачи, хозяин финансовой империи, основу которой он положил созданием спичечной монополии в своей родной Швеции, — Ивар Крюгер. Он предложил выкупить на тридцать миллионов облигаций займа в обмен на спичечную монополию в Румынии.

Я был знаком с этим внушавшим тревогу человеком богатырского сложения, с загадочным, нарочито бесстрастным лицом. Он нанес мне визит в парижском офисе фирмы «Блэр», на улице Франциска Первого; он сел в кресло и стал болтать о том, о сем, без видимой цели. В другой раз он при-

гласил меня позавтракать вместе. И на какой-то момент мне удалось проникнуть в его подлинную натуру. «Вы знаете, — признался он мне, — у меня есть компания «Крюгер-Толль», котирующаяся на нью-йоркской бирже. Я могу выпускать облигации и получать таким образом государственные монополии почти во всем мире. Я начну с того, что установлю спичечную монополию в Польше, а потом и в других странах». Его английское выражение звучало еще сильнее: «*And there is no end*»*. И в эту секунду я понял, что он плохо кончит. Могущество не бывает безграничным. Все имеет свои пределы, а последним пределом является смерть.

Я встретился с ним вновь во время румынского дела, когда он предложил нам в одиночку сделать такой вклад, который самые мощные банковские группы не могли получить на европейском и американском рынках. Переговоры продолжились в Париже, но не могли завершиться. Однажды он увидел, что мы готовы прервать переговоры, и тогда он сказал: «Предоставьте мне пять минут, и я дам вам окончательный ответ». Он отошел в угол кабинета и стал что-то писать карандашом на своем крахмальном манжете. Все ждали в глубоком молчании. Через несколько минут Крюгер вернулся к нам: «Господа, я согласен». Все облегченно вздохнули, и в этот момент никто не стал спрашивать о смысле его странного маневра. Но позже я ему сказал: «Мне было бы любопытно узнать, что вы могли писать на манжете». — «Очень просто, — ответил он, — я подсчитал, что если буду класть в каждую коробку на одну спичку меньше, то выйду из положения».

Вся империя Крюгера базировалась на таких вот быстрых и эмпирических спекуляциях, и никто, кроме их автора, не знал, насколько они реальны и обоснованы. В наши дни такую закрытость трудно себе представить. А тогда один человек мог морочить целый мир. Он был болезненно подозрителен, и это вызывало мое недоверие. «Никогда не пользуйтесь телефоном», — говорил он и проводил деловые встречи в такси. Но наступил день, когда он уже не мог скрывать чу-

* «И так без конца».

довищно фальшивый характер своего богатства, построенного на обмане. Он покончил с собой в Париже в марте 1932 года. Его гигантские предприятия рухнули одно за другим, повсюду вызывая ошеломление и потрясая весь финансовый мир. Ликвидация последствий такого крушения сама по себе была сложной международной задачей, которой я, находясь в Стокгольме, отдавал все свои силы в 1932 году.

Банкир из Сан-Франциско

В перерыве между организацией румынского займа и ликвидацией империи Крюгера я приехал в начале 1929 года в Нью-Йорк. В это время Элайша Уолкер, желая придать своему делу новый размах, искал партнера, который подходил бы ему по масштабу. В деловом мире все еще господствовало стремление к экспансии, своего рода эйфория, вопреки некоторым признакам (их смысл стал ясен лишь потом), свидетельствовавшим о том, что годам процветания приходит конец. На другом конце Соединенных Штатов внимание Уолкера привлекла другая яркая фигура, Амадео Джаннини, сын эмигрантов из Генуи, который, используя сбережения своих соотечественников в Калифорнии, создал самый большой на Западном побережье банковский альянс. Элайша Уолкер был сильной и цельной натурой, Джаннини был могуч и хитер. В шестьдесят лет его большой рост и седеющая львиная грива производили большое впечатление на окружающих, а его неизменная удачливость заставляла относиться к нему, как к волшебнику. Итальянские детишки бегали за ним на улице, так как считалось, что тот, кто прикоснется к нему, разбогатеет. Оба персонажа решили, что объединение их финансовых групп сделает их фигурами мирового масштаба. В то время не было закона, который запрещал бы объединение сберегательных и деловых банков. Так в мае 1929 года родилась могущественная «Корпорейшн Банкамерика-Блэр», президентом которой стал Уолкер. А я в должности вице-президента отправился в Сан-Франциско.

Создание альянса вызвало большой резонанс, и первые успешные операции, казалось, подтверждали наши ожида-

ния. Процветание сверкало последними вспышками, наши акции шли вверх. Однако после биржевого краха в октябре 1929 года их падение было столь же стремительным, как и взлет: с шестидесяти долларов они упали до шести. Здесь мы разделяли общую судьбу, но «Банкамерика-Блэр» ждали и другие серьезные испытания. В момент, когда осуществлялось слияние, Уолкер не провел бухгалтерской проверки. При ближайшем знакомстве с делами Джаннини выяснилось, что оценка его главной холдинговой компании «Трансамерика» была сильно завышена. Нужно было срочно наводить порядок, а так как Джаннини все время заводил разговор о своем желании удалиться от дел, Уолкер уговорил его взять для начала длительный отпуск и уехать куда-нибудь на другой континент. Джаннини обещал провести два года в Австрии и сдержал слово.

Уолкер стал президентом «Трансамерики», а меня назначил вице-президентом. Очень скоро мы убедились, что нужна полная реорганизация. В этой операции нам очень помог один адвокат исключительно высокой компетенции — Дональд Светленд, который стал моим другом и к помощи которого я прибегал впоследствии в разных обстоятельствах, особенно при организации крупных международных займов: его профессионализм, ясность ума и глубокое понимание сути дела гарантировали нас от ошибок. Я уже говорил о том, что мне часто приходилось в жизни выступать в роли спасательной команды, но должен признаться, что, ввязываясь в эту калифорнийскую историю, я не думал, что предпринимаю акцию по спасению. Однако дело обстояло именно так.

Мы работали изо всех сил, чтобы оздоровить предприятие и к 1932 году добились успеха, после чего решили выделить «Трансамерику» внутри нашей группы в качестве депозитного банка, не зависящего от других коммерческих интересов холдинга Джаннини. Но мы не учли энергию и хитрость старого волка, который вернулся в Калифорнию, мобилизовал двести тысяч своих акционеров, чьи мелкие вклады составляли его богатство, и отправился в турне, вопия со свойственным ему мастерством драматизации: «Акулы с Уолл-Стрита меня ограбили и хотят разорить порядоч-

ных людей из Калифорнии!» 13 февраля 1932 года общее собрание вкладчиков переизбрало его президентом. Он снова стал во главе своей империи. Мы с Элайшей Уолкером проиграли. Возможно, нам не повезло или не хватило ловкости. Одно было несомненно: банковская система, которую мы пытались оздоровить, а затем — обуздать, была больной системой. На протяжении одного года закрылись три тысячи банков. Вскоре был принят закон, делавший обязательным разделение депонирования и инвестиций. Но для этого потребовалось, чтобы на нас обрушился опустошительный кризис и чтобы президентом страны был избран такой справедливо мыслящий и решительный человек, как Рузвельт.

Я пережил этот кризис, о котором столько говорено. Рассуждая с сегодняшней точки зрения, я полагаю, что вызвавшие его причины были просты: в банковской системе был один недостаток, который и привел к целому ряду отрицательных последствий. У американцев существовало две формы хранения денег в банке: коммерческий депозит и *saving* под высокий процент, если деньги клались на известный период времени. Когда к концу 1929 года на нью-йоркской бирже началось падение акций, что немедленно отразилось на торговле, население бросилось в банки забирать свои вклады. Но эти деньги, одолженные под высокие проценты, были вложены банками в ипотеки, для которых в то время не существовало системы дисконта. Поскольку, и это понятно само собой, такое количество долговых обязательств было невозможно покрыть сразу, весь американский механизм кредитования оказался заблокированным снизу доверху. И так как банки мобилизовали коммерческие займы, чтобы выплатить сберегательные вклады, спираль кризиса раскрутилась и вышла из-под контроля. Чтобы затормозить процесс, правительство создало Банк реконструкции, получивший право учитывать ипотечные векселя. Потом пришел *New Deal**, который гарантировал банковские вклады и запретил банкам использовать сберегательные вклады для инвестиций. Как всегда, разумные реформы были предприняты лишь после

* «Новый курс» — программа президента Ф.Д. Рузвельта.

того, как произошли большие несчастья. Смогли бы мы избежать великого кризиса, если бы столь простые меры были приняты раньше? Ставить вопрос таким образом, значит игнорировать тот факт, что люди соглашались на перемены только под давлением обстоятельств, а обстоятельства становятся для них очевидными только тогда, когда приводят к кризису.

В Сан-Франциско я заработал, а затем потерял много денег. Только опыт научил меня превращать деньги в капитал. В сорок лет я все еще учился, — впрочем, я продолжал это делать в любом возрасте. В Стокгольме, куда я отправился затем, чтобы собирать обломки рухнувшей империи Крюгера, я увидел, к каким трагическим последствиям ведет в человеческих делах гигантомания и скрытность. В Шанхае, где я прожил три года, я открыл для себя новую цивилизацию, к возможностям и движущим силам которой мне едва-едва удалось прикоснуться. Когда речь заходит о Китае, надо проявлять скромность и не торопиться с выводами. Поэтому я ограничусь немногим. Я расскажу о тех китайцах, с которыми мне удалось познакомиться. Но сначала я поведаю личную историю, тесно переплетенную с моими общественными делами: речь идет о длительной и глубокой привязанности, которая осветила всю мою жизнь.

Инвестиции в Китае

Дело было в августе 1929 года в Париже. У меня в гостях была супружеская чета из Италии. Он был бизнесменом. Его жену я видел в первый раз, это была женщина необыкновенной красоты. Мы с ней забыли обо всех остальных приглашенных.

Мне кажется, что именно с этой первой встречи между нами возникла взаимная нерасторжимая любовь. Мне было сорок два года, ей — немного за двадцать. Вскоре мы решили идти по жизни вместе. Однако нам еще предстояло преодолеть немало препятствий. Сильвия состояла в браке по итальянскому закону, который не допускает развода. Я рассмот-

рел много вариантов, прежде чем мы решили: осуществить развод и заключить новый брак по советским законам. Мы приехали в Москву 13 ноября 1934 года, и все прошло как по маслу. Много лет спустя монсеньер Анри Донз, епископ Тарбский и Лурдский и большой друг нашей семьи, сочетал нас церковным браком в Лурде.

Первый год нашей совместной жизни прошел в Шанхае, который я посетил впервые в 1933 году. Райхман, человек с необыкновенными способностями и влиянием, простиравшимся на самые отдаленные сферы, открыл передо мной двери в неведомый мир — Китай. Сам он познакомился с этим миром, выполняя технические задания Лиги наций. Его достижения в области гигиены и образования были столь велики, что министр финансов, Т.В. Сун, попросил его в 1933 году приехать снова, уже в качестве советника китайского правительства. Действительно, Райхман уже успел завоевать большой личный авторитет в стране, которая его буквально заворожала. И он страдал, видя ее такой неорганизованной, плохо оснащенной и отданной на милость японской агрессии. Он вдвойне переживал вторжение в Манчжурию — и потому, что оно унижало его китайских друзей, и потому, что оно угрожала миру во всем мире. Само существование Лиги наций было под вопросом, и те, кто участвовал в создании этой организации, не могли допустить, чтобы она рухнула под напором фашизма в различных его разновидностях.

Райхман изо всех сил старался заложить в Китае прочную экономическую базу. Он добился, чтобы Сун назначил Сальтера своим советником в создании главного органа по реконструкции, «*National Economic Council*»*, который начал действовать с 1931 года и в котором создавались программы преобразований, охватывавших строительство дорог, сельское хозяйство, образование, здравоохранение и т. д. Эти программы были столь эффективны, что вызвали беспокойство Японии, начавшей ставить им палки в колеса везде, вплоть до представительства «Совета» в Женеве. Но Сун был начеку и

* «Национальный экономический совет».

оказывал программам всяческую поддержку, поскольку они были частью его борьбы с Японией. В этом плане он был не совсем согласен с руководителем правительства, своим шурином Чан Кайши, для которого приоритетной задачей была борьба с коммунистами, и в этой борьбе растрачивались военные и финансовые ресурсы Китая. Сун ушел в отставку в 1933 году, но оставался во главе Национального экономического совета. Мне доводилось с ним встречаться во время его поездок в Америку и Европу. По совету Райхмана он попросил в Женеве, чтобы меня послали в Китай с задачей разработать план реконструкции страны, который мог бы привлечь китайские и международные капиталы. Но Лига наций не решилась это сделать, ввиду возражений Японии, и я принял предложение в качестве частного лица.

Когда я прибыл в Шанхай, я убедился, что не понимаю китайцев, но что вообще проблема не в этом. Я оказался лицом к лицу с людьми, которые показались мне гораздо более умными и тонкими, чем жители Запада, — во всяком случае, весьма отличными от них. Это отличие делало их недоверчивыми, тем более что их гордость долго страдала от проявления силы и самоуверенной предприимчивости европейцев. Поэтому внушить им доверие было даже важнее, чем научиться их понимать. Я уже успел постигнуть секрет установления доверительных отношений, и это облегчило мне контакт с китайцами. А секрет прост: чтобы никогда не было расхождения между тем, что ты говоришь, и тем, что ты делаешь. Я думаю, это правило действует применительно ко всем народам, что бы там ни говорили ловкачи, — а в Китае, менее, чем где-либо, надо стремиться быть ловким. Когда вы установили доверие и договорились о том, что считать главным, все остальное становится просто и недоразумений не возникает. У меня появились китайские друзья, которые всегда давали мне хорошие советы и очень облегчали мою работу.

Первым советом, который я получил, был следующий: «Бесполезно пытаться разместить иностранные капиталы в Китае без согласия и участия китайцев». Безусловно, в прошлом слишком много европейских предпринимателей трети-ровали Китай как колониальную страну, и нынешнее прави-

тельство в своей националистической политике опиралось на стремление народа к независимости и достоинству. Но верно было и то, что невозможно было гарантировать оплату по займам, не подключая к финансовым операциям китайцев — в первую очередь, руководителей страны. Фактически все надо было создавать с нуля, так как в Шанхае, финансовой и денежной столице, были депозитные банки, в которых жители южного Китая хранили свои сбережения, но не было ни одного банка, который мог бы выступить в качестве эмитента займов. С учетом этих причин, одновременно технических и психологических, я полагал необходимым создать чисто китайский банк, который стал бы участвовать в эмиссии облигаций на западные рынки. Таким образом, заинтересованность китайцев в успехе операций, от которых зависела модернизация их страны, была бы равна заинтересованности других сторон. В июне 1934 года я добился участия большого числа китайских банков, включая мощный Банк Шанхая и Гонконга, в «China Finance Development Corporation», которая должна была привлечь долгосрочные капиталы в коммерческие и промышленные предприятия, общественные и частные.

«China Finance Development Corporation» добилась значительного успеха, главным образом там, где инвестиции были особенно значительными и срочными, — на железнодорожном транспорте. Я полагал, что прежде, чем инвестировать в промышленность, необходимо реорганизовать и развить транспортные средства в стране, парализованной самой своей огромностью, экономически раздробленной из-за недостатка и разрухи железных дорог. «Корпорейшн» получила кредиты в Европе и Китае на многие проекты, в том числе на строительство железной дороги Шанхай-Ханчжоу-Нинбо и другой — в провинции Сычуань; обе должны были служить для сообщения между побережьем и внутренними районами страны. Реализация программы была в разгаре, когда была прервана войной в 1939 году. Для осуществления модернизации Китая имелись необходимые человеческие, материальные и финансовые возможности как внутри страны, так и за ее пределами. Это была посильная задача, при условии создания необходимых инструментов планирования потреб-

ностей и мобилизации ресурсов. Такими инструментами были задуманный Сальтером Экономический совет и организованный мной Банк развития. Необходимыми условиями были также поддержка со стороны китайцев и определенный резерв времени.

Конечно, если мерить время по китайским масштабам, то можно сказать, что в стране начался процесс революционных преобразований, и те, кто находился в Китае в эру Сунь Ятсена, имели возможность убедиться в историческом значении происходивших перемен. Вся нация боготворила основателя республики, его роскошный мавзолей, воздвигнутый рядом с могилами династии Мин, стал местом паломничества. Каждую неделю в определенный час сотни миллионов китайцев отдавали дань памяти тому, кто освободил их от рабства. Портреты Сунь Ятсена висели повсюду, даже в глухих провинциях люди повторяли его заветы: независимость и полный суверенитет, полная демократия, общественное благосостояние. Экономический прогресс, индустриализация — таковы были лозунги народной партии, Гоминьдана. Когда я приехал в Китай, еще и десяти лет не прошло с того момента, когда Сунь Ятсен привез из Москвы коммуниста Бородина и сделал его своим политическим консультантом. Революционные дрожжи бродили повсюду. Но, одновременно с Бородиным, Сунь сделал своим военным помощником Чан Кайши, прошедшего японскую военную школу. Хотя Чан учился также и в Москве, он остался китайцем до глубины души. После смерти Суня он отстранил Бородину и стал во главе национальной революции. В 1927 году он установил свою власть в Пекине и начал борьбу против коммунистов, сохранявших контроль над рядом районов в провинции Шаньси. В дальнейшем, заключив невыгодное перемирие с японцами, он всеми силами стремился подчинить себе эти мятежные территории, площадью в сто тысяч квадратных километров.

Чан был непререкаемым вождем армии и страны, во всяком случае, той ее части, которая признавала власть Нанкина. Я знал, что ничего не смогу сделать без его согласия и добился возможности нанести ему визит в его загородном

доме на берегу Янцзы, где, вдали от столичных интриг, он вел простой, не без оттенка надменности, образ жизни. Он говорил только по-китайски, а его постоянным переводчиком была его жена, которая внимательно следила за его карьерой и публичным имиджем. Фактически, как мне предстояло убедиться, ее роль была чрезвычайно значительна. Я помню, как однажды она перевела мне высказывание своего мужа: «Генерал думает, что из вас мог бы выйти отличный генерал. Но он мог бы предъявить вам один упрек: вы слишком слабы в отношениях с друзьями». Из всех тогдашних китайских руководителей он был наиболее восточным, наиболее закрытым для внешних воздействий. Однако под влиянием своей жены он принял христианство. При этом его истинной моралью оставалось нео-конфуцианство, на основании которого он создал заповеди «нового движения жизни», получившие распространение во всей стране. В другой раз госпожа Чан сказала мне: «The general likes you. He says there is something Chinese in you»*. Из этого я мог заключить, что он со мной согласен.

Госпожа Чан была третьей дочерью баптистского пастора, господина Суна, все дети которого получили воспитание в Соединенных Штатах. Мэй Линь Сун имела диплом Уиллсли Колледжа. Высокая, красивая, она пользовалась большим влиянием на генерала. Она разделяла все опасности его бурной жизни и часто действовала от его имени. Ее старшая сестра была замужем за Куном, богатым аристократом, потомком Конфуция в семьдесят третьем колене, окончившим Йельский университет. Она произвела на меня большое впечатление не только своей красотой и умом, но в еще большей степени — властностью и ловкостью. Своего мужа она сделала министром финансов. Третья, самая красивая и темпераментная из сестер Сун, была женой Сунь Ятсена. Страстная партийная активистка, она продолжала дело своего покойного мужа и учителя; она принадлежала к левому крылу Гоминьдана и находилась в оппозиции к Чан Кайши. Став в молодости, в силу своего замужества, членом револю-

* «Генералу вы нравитесь. Он говорит, что в вас есть что-то китайское».

ционного правительства, она сохранила это место до настоящего времени, являясь вице-председателем Республики при председателе Мао Цзедуне. А ее непреклонная сестра, госпожа Чан, разделила судьбу своего мужа, престарелого генералиссимуса, удалившегося в изгнание на остров Формозу. Эти поразительные женщины взнуздали судьбу, именно в их руках были власть и авторитет в стране, когда я там находился.

Их брат, Т.В. Сун, был высоким, массивным, очень умным, как и в сестрах, в нем чувствовалась порода. Он был западным человеком по поведению и складу ума, образование, полученное в Гарварде, сделало его открытым современным идеям. За несколько лет он впервые дал Китаю организованный бюджет, единую валюту, национальный банк. Обширные связи, установленные им во всем мире, сделали его одной из ключевых фигур своего времени. Ни одно мероприятие в Китае не осуществлялось без его согласия и без выгоды для его семьи. «China Corp.» имела в числе главных акционеров семейство Сун и его приближенных. Понятие «общественной собственности» еще не отделилось от династических традиций, длительное движение к демократии было еще в самом начале.

Если мне было легко договариваться с Т.В. Суном, человеком западной культуры, то искусство переговоров с китайскими деловыми людьми традиционного типа требовало длительного обучения. Прошло немало времени, прежде чем я понял, что в Китае не следует ждать ответа на вопрос — ответ надо угадывать. Незнание этого закона чуть было не сорвало проект «China Corp.», для которого, как уже было сказано, я объединил усилия шанхайских банков. Когда было достигнуто общее соглашение, я решил завершить его подписанием окончательного документа. Надо было назначить дату подписания. Я начал с посещения господина Чэна, возглавлявшего крупный «Bank of China». В то время его авторитет и влияние были непререкаемы, и мы уже неоднократно встречались с ним для обсуждения этого дела. Конечно, я не делал ему прямого предложения, но наступил завершающий этап, и ему предстояло ответить да или нет. «Господин Чэн, — сказал я ему, — мы предлагаем, чтобы подписание состоялось

через десять дней, если вы не против». — «Ах, — сказал он, — как раз в этот день свадьба моей дочери». Я предложил другую дату, но, к сожалению, ему надо было лечь в больницу. На сколько времени, он сказать не мог.

Я ушел с чувством, что он больше не был расположен создавать Корпорацию. Я пошел к старому китайцу, господину Ли Юиню, который говорил по-французски и иногда подсказывал мне, как надо разговаривать с его коллегами. Я рассказал ему о своей встрече с Чэном и спросил, что он об этом думает. Господин Ли посмотрел на меня с удивлением: «Послушайте, мне казалось, что вы понимаете Китай, ведь вы здесь не со вчерашнего дня. Разве господин Чэн сказал вам нет? Ну так вы не понимаете китайцев. Господин Чэн не даст вам окончательного ответа, пока вы не придете к нему три раза подряд. Иначе это было бы невежливо. Поэтому вам надо придти к нему снова и задать тот же вопрос. В конце концов, раз он не сказал нет, он скажет да, надо только попросить три раза». Все так и произошло, и Банк был создан. Этот урок не пропал для меня втуне, ибо есть немало китайского в характере многих англичан, французов и вообще европейцев.

В Шанхае я жил на территории французской концессии, напминавшей Коньяк — плюс присутствие китайцев. Французы, как бы далеко они ни уезжали, обладают способностью приносить с собой дух провинциального городка. Трамваи, лотереи, рестораны — все было окутано провинциальной атмосферой. Предприятий было очень мало. Зато через улицу начинался англо-американский квартал, где кипела деловая активность, сияли вывески больших импортно-экспортных фирм, склады ломились от запасов хлопчатых тканей, а на Янцзы стояли флотилии судов. Надо всем возвышалось здание «Bank of China» господина Чэна. Конечно, французский капитал присутствовал повсюду, но был невидим, а управляли им предприимчивые китайцы и англичане. Здесь, в Шанхае, я официально пребывал в качестве руководителя фирмы «Monnet—Murnane and Co». Эту фирму мы создали в Нью-Йорке вместе с одним моим другом, умелым дельцом, который в то время работал главным образом с

«China Finance Development Corporation». В январе 1936 года я понял, что мое пребывание будет более полезным в Нью-Йорке, и мы покинули чарующий мир Китая, так и не проникнув в его глубины: ведь на это потребовалось бы несколько жизней.

В Нью-Йорке я был занят вместе с Мюрнаном разными делами, о которых мало что помню. Можно сказать, что мне надоело заниматься международными финансами, которые десять лет тому назад так привлекали меня своим размахом и разнообразием. Теперь мне казалось, что их механизм однообразен, а поле деятельности ограничено. Мое внимание было поглощено опасностями, нависшими над Европой и угрожавшими миру во всем мире. Бессилие Лиги наций, не способной решать самые простые задачи и готовой санкционировать самые отвратительные акты агрессии, показало мне, что наши усилия были недостаточны. Международный арбитраж капитулировал перед насилием. Величайшие экономические возможности, которые мы привели в действие, оказались не в состоянии победить бедность и несправедливость. Повсюду царил страх. Я не знал, что еще можно сделать, чтобы остановить сцепление событий и защитить свободу, но я был готов приносить пользу там, где это было возможно.

Глава 6

Оружие для Союзников (1938–1940)

С миссией у Рузвельта

Однажды в сентябре 1935 года, когда мы с Мюрнаном обедали на Лонг-Айленде, Фостер Даллес сообщил нам о декрете против евреев, который Гитлер только что обнародовал в Германии. «Человек, способный на такое, — сказал я своим друзьям, — способен развязать войну. Дух дискриминации и господства не знает границ». Этот эпизод остался у меня в памяти, потому что в этот момент я понял, что нацизм несет с собой войну, как тайфун — гибель и разрушение. Немного позже произошел другой случай, в котором я также увидел зловещее предзнаменование. Я был в Нью-Йорке с бывшим канцлером Брюнингом. Это было в марте 1936 года. В «New York Times» мы прочли, что Гитлер занял левый берег Рейна. Бывший немецкий политик тут же прокомментировал это событие: «Союзники должны войти в Германию, иначе рано или поздно будет война». И он добавил: «Если вы не отреагируете, Гитлер решит, что ему все дозволено, а германская армия поверит, что он всегда прав». Это были мудрые слова, но события стали развиваться иначе. Англичане не захотели принимать мер, а французы не решились действовать без них.

Я в то время не занимался политикой, но благодаря путешествиям и разнообразным контактам имел возможность видеть происходящее лучше, чем многие государственные деятели, чье восприятие искажено информационными службами и их собственным оптимизмом или стра-

хом перед лежащей на них ответственностью. Достаточно было открыть глаза, чтобы стала ясна вся мера материальной и моральной неготовности союзников. Как и в 1914 году, мне не составляло труда определить, в чем состояла слабость демократических стран и на что в данном случае надо было направить усилия. Велось много публичных дискуссий относительно той или иной формы национальной обороны. Например, были стратегические концепции относительно роли танков в современной войне, и будущее показало, что танков у нас было достаточно. Но мы не сумели их эффективно использовать — так, как предлагал генерал де Голль. А вот в области авиации наше отставание было реальным и угрожающим. Об этом предпочитали помалкивать, в то время как Гитлер и Геринг гордо объявляли о рождении Люфтваффе. В 1937 году у них уже была тысяча истребителей-мессершмитов, превосходящих в скорости все французские и английские самолеты. В том же году в Париже докладчик от комиссии по обороне заявил в сенате: «Немецкая авиация способна безнаказанно пересекать французское воздушное пространство».

В начале 1938 года я встретился с министром обороны Даладье у общих друзей, куда меня привел Пьер Комер. Даладье был очень порядочным и гуманным человеком, к которому я испытывал дружеские чувства. И если он оказался не на высоте исторических событий, то не мне его в этом упрекать. Кто мог похвастаться, что предвидел катаклизм, который готовился нацистским зверем — против всех, против всего мира? Единственная ошибка Даладье, которую он разделял с большинством западных правительств, состояла в том, что он слишком поздно понял: Гитлер не остановится никогда. Но когда он это наконец осознал, то стал со всей решительностью готовить страну к обороне. Я был свидетелем, как, начиная с января 1938 года, он предпринимал отчаянные усилия, чтобы ликвидировать наше отставание в воздухе; в этом ему помогал молодой министр авиации Ги Лашамбр, столь же скромный, сколь и настойчивый. Американский посол в Париже, Буллит, с глубокой обеспокоенностью следил за событиями, которые угрожали свободе не только Фран-

ции, но и всего Запада. Он помнил о моей деятельности во время войны 1914–1918 годов, о мерах, которые мы предпринимали для восстановления равенства сил на море. Поэтому он прибегал к моим консультациям относительно того, как ликвидировать нынешнее неравенство в воздухе, которое мы оба считали угрожающим.

Осознав размеры опасности и величину препятствий, он убедил меня использовать мой прошлый опыт и войти в состав группы, начавшей разработку проблемы. В течение весны 1938 года мы подготовили доклад «О создании индустриального потенциала авиастроения за пределами страны, вне досягаемости для противника». Однако по этому докладу никаких мер не принималось вплоть до Мюнхенского кризиса в сентябре, после которого дело сдвинулось с мертвой точки. Сразу по возвращении с этой конференции, которую, в отличие от многих своих соотечественников, испытавших чувство облегчения, он пережил как унижение, Даладье пригласил меня на завтрак вместе с Ги Лашамбром и Буллитом. «Если бы у меня было две или три тысячи самолетов, — сказал он, — Мюнхена не было бы». Тогда-то я узнал, что по докладу, который генерал Вюймен направил министру авиации 26 сентября, Франция располагала всего шестьюстами боевых самолетов, уступавших по своим качествам мессершмитам, и лишь семнадцать из них могли считаться современными боевыми машинами. Даладье ехал в Мюнхен с уверенностью: «Немцы могут разбомбить Париж в любой момент». В этот день, 3 октября, Даладье принял решение срочно командировать меня к Рузвельту.

Буллит тут же послал хозяину Белого дома каблогранму: «Ситуация настолько серьезна, что я должен доложить о ней вам в ходе прямой встречи. Человек, назначенный для рассмотрения вопроса о самолетах, Жан Монне, — мой давний и близкий друг, к которому я испытываю братское доверие». 13 октября он уже был в Вашингтоне и телеграфировал мне оттуда: «Президент вас ждет. Приезжайте незаметно». 19-го я прибыл в Нью-Йорк и прямо оттуда направился поездом в Гайд-парк, семейный дом Рузвельтов на берегу Гудзона,

где президент проводил несколько дней своего отпуска. Дом представлял собой старое патрицианское жилище, где царила величайшая простота. Там было много детей, а для приезжего гостя всегда находилось место за столом.

Первая встреча с Рузвельтом не имела протокольного характера, но, тем не менее, произвела на меня сильное впечатление. Президент принял меня в своем кабинете; это была самая маленькая комната в доме, но Рузвельт привык в ней работать, еще когда был ребенком. Сидя за большим столом, президент радушно протянул руки мне навстречу и извинился, что не может встать. Он был в инвалидном кресле на колесах, а его ноги находились внутри какого-то аппарата. Его болезнь никак не отражалась на силе его ума и способности широчайшего охвата национальных и мировых проблем. Опасности, нависшие над Европой, Рузвельт рассматривал как угрозу демократии не только в Старом, но и в Новом Свете. Поэтому он принимал в своем доме незнакомого француза, о котором он знал только одно: у этого иностранца были идеи относительно того, как совместными усилиями противостоять общему противнику.

Гитлер в то время еще не был объявлен врагом американского народа — это произойдет лишь три года спустя, — но Рузвельт уже тогда считал его таковым. Мне рассказали, что за несколько дней до моего визита он был поражен яростной речью Гитлера на партийном съезде в Нюрнберге. По мнению Рузвельта, Мюнхен открывал путь войне. Он был полон решимости не допустить, чтобы его страна была вынуждена когда-либо отступить перед угрозой, как это сделали Франция и Англия. Для этого Соединенные Штаты должны были иметь подавляющее военное превосходство. И он уже включил в работу все свое окружение. А ключом ко всем проблемам была в это время мощная авиация. Рузвельт был убежден, что если бы у Соединенных Штатов летом 1938 года были пять тысяч самолетов и возможность производить десять тысяч ежегодно, Гитлер не посмел бы действовать так, как он действовал. Конечно, президент признавал, что вынужден считаться с изоляционистским течением в Соединенных Штатах и что в случае военного кон-

фликта *Neutrality Act** серьезно затруднит поставку самолетов Франции и Англии. Но, добавил он, мы встретились как раз для того, чтобы преодолеть это препятствие.

«Мы подсчитали, — сказал президент, — что немцы могут выпускать сорок тысяч самолетов в год, Великобритания с Канадой — двадцать пять тысяч, и Франция — пятнадцать тысяч. От двадцати до тридцати тысяч, которые обеспечат решающее превосходство над Германией и Италией, должны быть найдены здесь, в Соединенных Штатах». Произнося эти цифры, Рузвельт одновременно записывал их на бланке Белого дома. В конце разговора я попросил его оставить мне этот листок в качестве сувенира. Без малейшего колебания он протянул мне бумагу, даже не спросив, что я собираюсь с ней делать. Это свидетельство столь необыкновенного доверия к посетителю, которого он видел первый раз, к сожалению, исчезло вместе со всем моим архивом, сожженным моими близкими в Коньяке во время немецкой оккупации.

Мы перешли с Рузвельтом к обсуждению возможности производства в Штатах военных самолетов, предназначенных для продажи в Европу в условиях, когда начавшаяся война приведет в действие американское эмбарго на поставку оружия. Президент сделал следующие расчеты: «Возможно построить три завода, работающих в три смены по восемь часов, что позволит выпускать по пять тысяч самолетов в год. Что касается эмбарго, то его можно обойти, построив сборочные заводы в Канаде». Рузвельт нарисовал карту северо-восточной американско-канадской границы и показал мне место недалеко от Монреаля, где эти заводы могли быть построены. Такая точность свидетельствовала о значении, которое он придавал этой проблеме, и убедила меня в том, что с таким собеседником нет и не может быть никаких недоразумений в определении предмета разговора, — а это и есть главное, если не единственное, условие взаимопонимания.

* Совокупность американских законов, принятых между августом 1935 и маем 1937 года, запрещавших поставки оружия любой стране, находящейся в состоянии войны.

Прежде чем мы расстались, Рузвельт позвонил Моргенту, секретарю Казначейства, с тем, чтобы тот немедленно принял Буллита и меня. Мы вернулись поездом в Вашингтон, и в субботу 22 октября у нас состоялся обед с Моргенту. Он оказался солидным человеком, хорошим работником, но несколько трудным в общении. Его главным качеством, обеспечившим ему место в истории нашего времени, была полная преданность Рузвельту: он исправно выполнял все его указания на посту, который занимал на протяжении двенадцати лет. Кроме того, всем своим существом Моргенту был предан борьбе с нацизмом, желая вырвать его с корнем (вплоть до того, что после победы предлагал превратить Германию в чисто аграрную страну, не способную угрожать соседям). Моргенту был расположен помогать европейским демократиям, но он буквально подскочил, когда я объяснил ему цель своего приезда: «Французское правительство хочет сделать заказ на поставку первой партии самолетов в размере тысячи шестисот машин на сумму, которая, по моим расчетам, должна составить восемьдесят пять миллионов долларов». — «Насколько я знаю, — заметил Моргенту, — ваше правительство не располагает внешними вкладами, которые позволили бы ему выплатить такую сумму в течение года». Но Буллит предложил выход: «Четыре миллиарда золотом покинули Францию за последние четыре года. Часть этих капиталов осела в Соединенных Штатах, и американское правительство могло бы помочь разыскать их в соответствии с трехсторонним договором от 1936 года: для этого вы могли бы издать декрет о контроле над валютными сделками и об обязательном декларировании иностранных авуаров». — «Хорошее предложение», — сказал Моргенту. Затем он обратился ко мне: «Но вы должны быть готовы к тому, что вам придется посадить в тюрьму тысячу ваших граждан. Если вы не побоитесь это сделать, ваша страна выйдет из положения. Иначе нечего и говорить об инвестициях в авиационную промышленность или куда-либо еще».

В последующие дни американское казначейство занималось подсчетами. В Соединенных Штатах находилось около одного миллиарда долларов французского капитала; из

него пятьсот миллионов были «плавающими» и могли быть мобилизованы. Таким образом, валюты было достаточно, чтобы обеспечить операцию, от которой, быть может, зависело выживание Франции. Одновременно я добывал информацию об имеющихся типах военных самолетов и о возможностях разместить заказы. И здесь снова Моргентау помог мне получить доступ в самые закрытые сферы, установить контакты с морскими офицерами, — ибо в то время военная авиация рассматривалась как слабый придаток к американским военно-морским силам. Результаты моего исследования, которые я сообщил Даладье сразу по возвращении в Париж 4 ноября, были довольно обнадеживающими. При условии, что мы ограничимся двумя типами уже существующих самолетов, американская промышленность могла поставить нам требуемое количество бомбардировщиков и истребителей уже в 1939 году. Причем первые самолеты могли поступить уже в апреле, если заказы пройдут до конца текущего года. Ободренный такой перспективой, Даладье был готов реквизировать «плавающие» капиталы. Однако со времени моего отъезда ситуация изменилась: вот уже три дня, как хозяином министерства финансов стал Рейно.

Мне всегда было трудно составить себе представление о Рейно, которого я видел в разных ситуациях: отважным — и нерешительным, ответственным — и легкомысленным, изобретательным — и консервативным. Вероятно, суть его активного темперамента лучше всего проявлялась в его ясном, сильном красноречии, с помощью которого он надеялся повлиять на события. Завзятый патриот, он не скупился на призывы к духу сопротивления и к универсальной совести; эти призывы находили отклик во Франции и, быть может, в еще большей степени — у наших союзников. Но когда речь заходила о реальном осуществлении призывов — в данном конкретном случае, о том, чтобы воспользоваться американским предложением, — он начинал колебаться и ссылаться на то, что у нас, мол, не хватает валютных резервов и нельзя растрачивать наш золотой запас. Его лозунг был: «Защищать франк — значит защищать Францию». А мобилизовать сбегавшие за границу капиталы ему не позволяли его либераль-

ные убеждения. Наши военные, со своей стороны, утверждали, что французские модели военных самолетов лучше американских, а левые партии — что надо дать работу нашей промышленности. Но Даладьё не уступал. 9 декабря в присутствии Ги Лашамбра и Рейно он попросил меня вновь отправиться в Вашингтон в сопровождении военного специалиста, полковника Жакена, чтобы оформить заказ на поставку тысячи самолетов до июля 1939 года. Относительно оплаты он сказал, что это его дело. Я должен был настаивать перед американцами на высоких технических показателях машин, как того требовали наши военные.

К сожалению, образцы машин, которые соответствовали требованиям наших военных, были еще засекречены и начальник генерального штаба воздушных сил, генерал Арнольд, категорически отказался нам их показать. Я бросился к Моргентау, которому было поручено президентом курировать проблему поставки вооружений за границу. Он бы отделался от этого деликатного задания, если бы не знал, какое значение придавал Рузвельт этим долгосрочным планам: недаром хозяину Белого дома подробно докладывали о ходе выполнения моей миссии. Поэтому Моргентау пришел к президенту и сказал: «Если ваша установка состоит в том, что Англия и Франция — это наша первая линия обороны, то представьте Монне технику соответствующего качества. В ином случае, скажите ему, что он может возвращаться домой. Прикажите Арнольду показать самолеты и сошлитесь на государственные интересы». Дело было 21 декабря. К середине января генерал Арнольд все еще не уступал. «Если президент Соединенных Штатов желает, чтобы эти образцы были показаны французам, — сказал он Моргентау, — пусть он больше не рассчитывает на беззаветную преданность командующего его авиацией». Но Рузвельт проявил твердость. Он считал нормальным, чтобы каждый откровенно высказывал свою позицию, но последнее слово было за президентом. Такова была американская государственная система, и Рузвельт действовал в соответствии с ней. Какое-то время отводится на дискуссию, а потом принимается решение — и теперь все действует заодно. 16 января Рузвельт решил, что в нашем деле

такой момент наступил, и послал генералу Арнольду письменный приказ, которому тот вынужден был подчиниться.

Но наши трудности на этом не кончились. 23 января пресса сообщила, что образец нового самолета американской армии, D.V.7, разбился под Лос-Анджелесом во время испытательного полета. На борту был один француз. Действительно, Жакен и его помощник, капитан Шмидлен, посетили заводы Дугласа после того, как получили разрешение ознакомиться со знаменитым секретным бомбардировщиком. Шмидлен поднялся на борт. Вероятно, во время полета американский пилот, задетый его замечаниями, слишком резко послал машину, которая вошла в штопор. Каким-то чудом Шмидлен отделался переломом ноги. Среди тех, кто устремился к нему на помощь, был и Жакен, который в порыве эмоций заговорил с ним по-французски.

Изоляционисты узнали об этом, и поднялась буря негодования в сенате и во всей стране. Рузвельт вынужден был объясняться перед конгрессом и перед журналистами. Он избрал такую линию защиты: «Да, мы продаем самолеты французам. Это очень выгодно для нашего самолетостроения, которое пребывает в спячке, а теперь воспрянет благодаря этим заказам». Он и в самом деле обнаружил одну из причин своего интереса к моей миссии. Помимо непосредственной помощи, которую американское правительство соглашалось оказать европейским демократиям, оно делало ставку на европейские заказы, ибо только они могли подтолкнуть развитие американского военного производства, хиревшего в созданной изоляционистами атмосфере мнимой безопасности.

Таков был тактический план Рузвельта: выдвигать в качестве аргумента необходимость солидарности между свободными народами, но также — и американскую выгоду, так чтобы постепенно солидарность стала всеобъемлющей, а выгода — обоюдной. Этому плану он следовал неотступно, осторожно и упорно, подталкивая еще не готовую страну к выполнению исторической миссии огромного масштаба. Именно поэтому мы с ним поняли друг друга с первой же минуты. Заказ, который мне наконец удалось оформить, включал продажу шестисот современных самолетов, с твердой гарантией

поставки еще полутора тысяч в 1940 году. Тем самым американское самолетостроение получило толчок и стало расти, без шума, без преждевременных дебатов в конгрессе, и со временем превратилось в мощный арсенал для Союзников. Но об этом Рузвельт еще не мог сказать публично. Ему нужно было сначала преодолеть в сенате препятствие под названием *Neutrality Act*, а затем терпеливо перевоспитывать весь народ. Насколько трудна была эта задача, Рузвельт мог убедиться 31 января, когда на встрече с сенатской комиссией по обороне, объясняясь по поводу всей этой истории с самолетами, он произнес знаменательную фразу: «Граница Соединенных Штатов проходит по Рейну». Шокированные сенаторы взбудоражили общественное мнение, и президент вынужден был заявить, что не произносил такой фразы. Однако заслуживающие доверия свидетели утверждают, что она была произнесена.

В марте я вернулся в Париж и к своим делам. Но я по-прежнему разделял озабоченность тех, кто был уверен, что война приближается и что ее ход и исход будут зависеть от превосходства в воздухе. Как и в 1914 году, я был глубоко убежден: в конфликтной ситуации всегда есть решающее звено, от которого зависит победа или поражение. Это звено совсем не обязательно находится там, где идет самое кровавое сражение. Господство на море стало определяющим фактором в 1917 году. Такую же роль теперь предстояло сыграть воздушным силам. Решающему моменту предстояло наступить в неопределенном будущем, после жестоких сражений, потому что, к несчастью, мы не приняли своевременных мер, чтобы остановить агрессора.

Я знал также, что наше упущение придется исправлять долго, так как оно стало результатом определенной тактики, которую нельзя изменить сразу, даже после того, как нам откроется реальное положение дел. В 1916 году мы смогли победить опасность беспощадной подводной войны. Сумеем ли мы на этот раз вовремя избежать уничтожения армий, разрушения французских и английских городов? Я в этом сомневался. Как будто впад в оцепенение, военные ру-

ководители видели неравенство сил и не предпринимали ничего. «С нашей авиацией, сможем ли мы защитить нашу территорию?» — спрашивал французский министр авиации у своего начальника штаба в начале 1939 года. «В малой степени», — отвечал тот. И тут же добавлял, что не знает, как распорядиться с дополнительными самолетами, поскольку у него нет ни ангаров, ни пилотов. Я не мог не поражаться контрастом между подобными настроениями — и той решительностью, которую в это же время проявляли американские руководители. Выражение «в малой степени» было не из их лексикона. Мне было ясно, что машина, которая на моих глазах сдвинулась с места, будет медленно, но верно набирать ход и в один прекрасный день сокрушит все препятствия. Для европейских демократий было жизненно важно продержаться до этого дня.

Я теперь хорошо знал все колесики этой машины, я видел уже достигнутые результаты, среди которых главным было установление связей. Налаженные мной связи были почти невидимы и не совпадали с какой-либо постоянной административной структурой. Но они охватывали людей, преданных президенту и пользовавшихся его доверием. Официальные должности этих людей не всегда были пропорциональны их реальному влиянию и тем поручениям, которые им давал Рузвельт. Ими, как и их руководителем, двигала решимость защитить демократию и свободу в Соединенных Штатах и во всем мире, — поскольку в их глазах это были две стороны одной медали. Вот почему для них было естественно поддерживать инициативы такого иностранца, как я.

Великий государственный деятель — это тот, кто умеет надолго вперед определить свои приоритеты и в нужный момент дать ответ на еще не определившиеся ситуации. Будет ли Америка вынуждена вступить в войну? — Рузвельт этого еще не знал в 1939 году, как не знал и того, получит ли он в следующем году мандат на третий президентский срок. В чем у него не было сомнений, так это в том, что восемьдесят четыре процента населения и, вероятно, столько же среди его непосредственного окружения высказывались против участия в войне, которую европейцы готовились начать между собой.

В июле попытка аннулировать *Neutrality Act* провалилась в сенате. Поэтому он вынужден был хранить в молчании свое глубокое убеждение, что опасность, нараставшая по ту сторону Атлантики, непосредственно угрожала демократии во всем мире и что его страна должна была быть готовой к любому повороту событий. Никогда, быть может, роль президента Соединенных Штатов не была столь велика, а он сам — столь одинок. Я знал Рузвельта как открытого и гуманного человека именно в те годы, когда на его плечах лежала вся ответственность за судьбу свободного мира.

Франко-британский Совет

В последние дни августа 1939 года, когда война стала неизбежной, французское правительство попросило меня вновь отправиться в Соединенные Штаты вести переговоры о поставках для нашей армии трех тысяч самолетов и десяти тысяч моторов. Хотя я прекрасно понимал срочную необходимость таких поставок, на этот раз у меня были серьезные сомнения в целесообразности нового поручения. Опыт двух предыдущих миссий убедил меня, что мы достигли предела того, что нам могли в данный момент дать американская администрация и американская промышленность. Необходимо было какое-то время, чтобы и та, и другая могли приспособиться к стремительному развитию событий, за которыми не успевали и сами европейцы. Все новые и новые требования с нашей стороны превосходили существующие возможности американского самолетостроения, даже если не учитывать аналогичные заказы со стороны англичан и крупные программы, которые Соединенные Штаты начали осуществлять в целях своей собственной защиты. Кроме того, я понимал, что нельзя рассчитывать на твердую поддержку Рузвельта, пока ему не удалось решить проблему с *Neutrality Act*, — что он не замедлит сделать, как только ему перестанут мешать.

Я привел эти доводы Даладье и Лашамбру 3 сентября, подчеркнув новый аспект ситуации, имевший в моих глазах первостепенное значение: отныне следовало говорить не о французских нуждах и заказах, но о совместных усилиях

стран-союзниц. Полностью я изложил свои мысли в записке, которую в тот же день вручил премьер-министру. Что касается частного случая с самолетами, то об этом я написал Ги Лашамбру: «Как только *Neutrality Act* будет аннулирован, но никак не раньше, американскому президенту следует предложить программу, предполагающую быстрое увеличение выпуска самолетов в два или три раза. Эта программа должна будет осуществляться при активном англо-французском участии, как то было четко оговорено во время моих бесед с господином Рузвельтом». В заключение я предлагал, чтобы был создан «Франко-Британский Совет по авиации», который вел бы каждодневный учет французских и английских денежных резервов, а затем руководил бы всеми закупками. О необходимости такого денежного баланса, являющегося условием любого эффективного действия, нам еще предстояло долго говорить.

Моя записка Даладье имела более общий характер. Самая неотложная забота, удерживавшая меня в Париже в момент, когда происходила мобилизация человеческих и материальных ресурсов Союзников, была выражена в самом названии этого документа: «Организация франко-английского снабжения во время войны». Записка начиналась с напоминания об опыте прошлой войны, в особенности о той опасности, которая нависла над Союзниками в разгар немецкого подводного террора в результате нескоординированности их снабжения и транспорта: «Все наши страны, и Франция, и Англия, и Италия, страдали от недопоставок необходимых продуктов. Проблема состояла в том, чтобы перераспределить этот дефицит и направить те ресурсы, которые удалось получить, на удовлетворение самых необходимых нужд, а также — обеспечить получение ресурсов на возможно более выгодных условиях». Далее я описывал, как постепенно создавался Межсоюзнический совет и его исполнительные органы. «Не будет преувеличением сказать, что в 1917–1918 годах снабжение армии и населения не могло бы быть обеспечено без организации, наделенной почти диктаторскими полномочиями, без согласия Англии и Франции объединить свои ресурсы и действовать сообща с целью реального осуще-

ствления принятых решений... Этот урок, — писал я в заключение, — должен был бы убедить французское и английское правительства, что и в нынешних условиях следовало бы принять такие же решения и создать такие же организации, и сделать это немедленно».

Мои доводы оказались убедительными, так как под их воздействием 20 сентября Даладьё написал британскому премьер-министру Чемберлену письмо, в котором говорилось: «Я не сомневаюсь, что вы, как и я, озабочены тем, чтобы не повторилась ошибка прошлой войны, когда нашим странам потребовалось три года, чтобы создать межсоюзническую организацию, которая позволила обеспечить снабжение в 1917–1918 годах и частично преодолеть военные трудности, в особенности — осуществить перевозку американских войск через океан в 1918 году». Правда, между нашими правительствами существуют соглашения о сотрудничестве, отмечал Даладьё. Но он хотел быть уверен, что эти соглашения действительно осуществляются. И с этой целью он поручил мне составить общий доклад. «Я буду вам признателен, — писал он британскому премьеру, — если вы сообразовываете открыть доступ господину Жану Монне, пользующемуся моим полным доверием, во все ваши службы по импорту основных товаров, а также в департаменты казначейства, морского транспорта, авиации, снабжения...» И дело быстро пошло на лад, как если бы в умах произошел большой сдвиг по сравнению с годами прошлой войны. Так оно, вероятно и было, если говорить об умах. Что же касается привычек, то это должно было показать будущее.

26 сентября я уже был в Лондоне, где сэр Эдвард Бриджес, секретарь английского военного кабинета, распахнул передо мной все двери. Меня сопровождал делегат министерства обороны Рене Мейер. В первый, но не в последний раз ему приходилось выслушивать то, что я не уставал повторять всем моим собеседникам: «Первым делом, следует подготовить и ежедневно обновлять баланс потребностей и ресурсов обеих стран. Для этого необходимо создать, по взаимному соглашению, франко-британский исполнительный орган, поль-

зующийся доверием обоих правительств; он будет готовить решения, которые затем будут приниматься совместно министрами обеих стран во время регулярных встреч». Когда я прихожу к определенным выводам и мне нужно передать их моим собеседникам, я не боюсь повторять одними и теми же словами одни и те же мысли, какими бы простыми они ни казались: да и зачем усложнять дело, если мне самому оно представляется столь простым и очевидным? Я никогда не стремился разнообразить выражения, поскольку слова имеют один-единственный смысл. Я не вижу возможности и не испытываю потребности менять слова. По-моему, гораздо правильнее предлагать людям одни и те же формулировки. Мою бабушку с материнской стороны прозвали «Мария-повторялка». Я думаю, дело в том, что у нее было несколько простых идей, за которые она держалась.

Но когда я повторял во время переговоров, во время частных и общественных мероприятий: «Сначала необходимо составить общий баланс», — я, возможно, формулировал некое общеобязательное правило действия. Опыт убедил меня, что я привел в действие процесс, и очень сложный, и очень неудобный для всех. Люди часто пренебрегают простыми идеями именно потому, что эти идеи им мешают. Общий баланс потребностей и ресурсов должен был бы быть первым условием всякого управления, но это последняя вещь, которой административные органы решают заняться. Поэтому я знал, что придется прибегнуть к авторитету руководителей правительств и заручиться доверием нескольких людей, занимающих ключевые административные посты, чтобы создать и привести в движение межгосударственные механизмы, работа которых, после долгих переговоров, завершится тем, что будет составлена балансовая таблица, уместящаяся всего на одном бумажном листе, — откуда ее английское название: *baance sheet*. Эти *balance sheets* отмечают этапы моей деятельности: состояние флотов в 1916 году; состояние военно-воздушных сил в 1940; оценка соотношения сил между странами Оси и Союзниками в 1942; оценка французской экономики в 1945; оценка экономики стран Шестерки в 1950. И уже из этих оценок сам собой вытекал соответствующий способ действия.

В эти кризисные моменты баланс, как правило, выявлял глобальный дефицит — и проблема состояла в том, чтобы, как я писал Даладье, распределить этот дефицит. Отсюда вытекала необходимость создания органов, наделенных властью распоряжаться ресурсами в общих интересах. Эти органы действовали наперекор привычкам государственных администраций, однако было нетрудно доказать, с балансом в руках, что другого выхода не существовало. Более того, многомесячная работа над составлением баланса породила в недрах самих этих администраций сознание необходимости взаимодействия, необходимости обмениваться всей информацией от министерства к министерству и от страны к стране. Так что команды, готовые к действию, уже существовали, когда приходило время действовать. Такова действенная сила балансовых таблиц, этих колонок цифр, чрезвычайно напоминающих своей простотой большую расчетную книгу моего отца, в которой он научил меня разбираться, когда мне было шестнадцать лет.

Я встретил полное понимание со стороны моих английских собеседников, когда предложил им создать совместные организации, дабы избежать взаимной конкуренции при закупках в Соединенных Штатах; затем следовало составить постоянно обновляемый баланс ресурсов и потребностей обеих стран в самолетах и других военных материалах. Прежде чем идти дальше, я решил убедиться, путем частной переписки с сэром Эдвардом Бриджесом, что мы правильно друг друга поняли и что речь, действительно, идет о совместной организации на основе равенства и ничто не воспрепятствует подписанию формального соглашения между главами правительств; такая предосторожность не мешает, когда готовишься вступить с англичанами в совместное предприятие. Когда я вернулся в Лондон 17 октября, все позиции были согласованы до запятой. Чтобы избежать ошибок предыдущей войны, я сделал так, что англичане приняли отдельный пункт, согласно которому общий тоннаж морского транспорта (французского, британского или нейтрального), находящегося в распоряжении Союзников, предназначался для осу-

ществления совместной программы импорта. Более того: в случае недостатка общих ресурсов сокращение союзнических программ должно было справедливо распределяться между двумя странами. Таким образом, тот результат, которого мы достигли в 1918 году, становился отправной точкой нашей работы в 1939.

Соглашение, заключенное между Даладье и Чемберленом 18 октября, содержало механизм действия пяти постоянных исполнительных комитетов (по снабжению, по вооружению и сырью, по нефти, по самолетам, по морскому транспорту). Задачей этих комитетов было учесть потребности и наличные ресурсы, «обеспечить в интересах обеих стран наилучшее использование сырья, средств производства и т.д., справедливо распределить между двумя странами ограничения, могущие возникнуть в случае необходимости сокращения программ»; наконец, они должны были разработать общие союзнические программы импорта, которые будут осуществляться совместным закупочным органом. Эти исполнительные органы должны были подчиняться франко-британскому Координационному комитету, состоящему из восьми членов, избранных из числа ответственных работников исполнительных комитетов. На уровне министерств все сооружение венчал «Франко-Английский Совет», собирающийся от случая к случаю, а внутри него — экономическая секция, которую еще предстояло создать. Таким образом, Координационный комитет, действующий постоянно и имеющий в своем распоряжении технический аппарат, обладал реальной властью. Местом его пребывания был избран Лондон, поэтому все согласились, что председателем будет француз. Месяц спустя на эту должность, с согласия обоих правительств, был назначен я. И одна английская газета рискнула написать по этому поводу: «Привет господину Монне! Он первый федеральный чиновник Нового мира».

Безусловно, это была новация, особенно в гражданских административных традициях, и я хотел, чтобы она послужила прецедентом. Я добился, что Даладье и Чемберлен подтвердили мой необычный статус в формулировках, которые я сам им подсказал и которыми я воспользовался впоследствии

в других обстоятельствах. «Примите во внимание, — писали мне два премьера, — что председатель Координационного комитета является союзным функционером. Ни в коем случае не выступая в качестве арбитра, вы должны направить все свои усилия на сглаживание расхождений во взглядах и на принятие совместных решений, становясь на союзническую, а не на национальную точку зрения». Заменяв выражение «союзническая точка зрения» на «точка зрения сообщества», мы получим наилучшее определение роли председателя Европравительства, и это — не просто случайное совпадение.

Мое первое задание состояло в том, чтобы составить список всех союзнических заказов, для которых требовались суда определенного общего водоизмещения; сформулировать программу импорта до марта 1940 года; а также определить размеры производства самолетов и оружия на этот период. Иначе говоря, я должен был представить картину основных потребностей и ресурсов обеих стран, у которых были разные правила государственного управления, разные системы мер и весов, а главное — отсутствие привычки сообщать партнеру даже те неполные данные, которые они имели о собственной экономике. Но я не задавался вопросом, насколько трудная предстоит работа и удастся ли довести ее до конца; просто я знал, что она необходима. Для этой работы у меня были замечательные сотрудники. Моими непосредственными помощниками были Рене Плевен и Пьер Дени, во главе исполнительной комиссии по вооружениям и сырью стоял Рене Мейер, по снабжению — Жан Лоран, который через несколько месяцев возглавит кабинет генерала де Голля и сыграет важную роль в создании Свободной Франции.

Наша команда казалась малочисленной по сравнению с возлагавшимися на нее задачами, но в действительности вполне им соответствовала: речь шла о том, чтобы заставить различные службы раскрыть технические данные, хранившиеся в их досье и необходимые нам для обоснования политических действий. Такие технические данные, как мне известно по опыту, где-то хранятся, но те, кто ими обладает, делают все возможное, чтобы сохранить их в тайне и сделать непонятными. Чтобы извлечь их на свет, одной власти недостаточно.

Нужно создать для этого психологические, практические условия, найти общий язык и с теми, кто этими данными обладает, и с теми, кто принимает решения, с теми, кто владеет всеми цифрами, и с теми, кто готов отдать судьбоносный приказ. Заставить технического специалиста выложить все, что он держит «в заглазнике», настолько трудно, что я понимаю государственных руководителей, которые отказываются от такой работы и предпочитают действовать наугад. Именно такая блокировка приводит, при всех добрых намерениях, к большинству ошибок. Вот почему в угрожающих ситуациях, когда ошибка может иметь роковые последствия, нельзя допустить, чтобы решение было искажено отсутствием базовых данных, характеризующих реальное положение вещей. Я появился в нужный момент и предложил простой метод, который был принят без возражений, потому что политики бывают очень довольны, если кто-то помогает им выйти из затруднительного положения, предоставляя им пожинать лавры успеха.

Вот такой механизм мы и запустили с помощью наших исполнительных комиссий, опирающихся на национальные администрации, где мы сразу же позаботились о создании межминистерских комитетов. Как только механизмы были налажены, я снова смог уделять преимущественное внимание проблеме самолетов, которая имела решающее значение для будущих сражений. Противник давал нам передышку, поскольку сам был занят накоплением ударных сил, и у нас еще было время, чтобы наверстать отставание. Но было необходимо срочно навести порядок в наших отношениях с американским правительством и американской авиастроительной промышленностью.

Серьезные проблемы возникали из-за того, что неудержимо множились торговые инициативы между Парижем и Лондоном, с одной стороны, и Соединенными Штатами и Канадой — с другой. Возникла опасность, что созданные нами координационные комитеты не смогут сдержать всех покупателей, вырвавшихся на оперативный простор и вступивших между собой в конкурентную борьбу за государственных и частных поставщиков. Эта борьба была помехой также и для американской армии, которой тоже надо было разместить за-

казы для своих собственных нужд. Рузвельт был раздражен этими беспорядочными действиями. Он хотел лично контролировать переговоры с одним единственным квалифицированным партнером. Между тем 4 ноября 1939 года было принято решение об отмене *Neutrality Act*. Президент ожидал, что наша сторона, столь долго проявлявшая признаки нетерпения, теперь без промедления направит к нему миссию на высоком уровне. 16-го числа я прибыл в Лондон, чтобы рассмотреть эту проблему с сэром Орасом Уилсоном, влиятельным советником Чемберлена; мы договорились о слиянии английских и французских закупочных служб под председательством английского делегата Артура Пёрвиса с французским делегатом Жаном Блок-Лэне в качестве помощника. Пёрвис был шотландским промышленником, жившим в Канаде и успешно руководившим важными частными предприятиями, что помогло ему, уже в новом качестве, оказывать большую помощь военным усилиям Союзников вплоть до своей гибели в 1941 году во время очередной миссии.

Таким образом, время не было потеряно зря, поскольку начало деятельности миссии Пёрвиса совпало с назначением Рузвельтом комитета советников, который позволял президенту непосредственно контролировать американские поставки Союзникам, минуя администрацию казначейства и военные организации. Это не означало, однако, будто Моргентау был отстранен от этих дел; напротив, именно он и был автором такого решения, сам оставаясь верным помощником Рузвельта в осуществлении плана помощи Союзникам. Таким образом, столь прямые контакты на столь высоком уровне открывали нам самые широкие перспективы для работы. 23 ноября Ги Лашамбр, Буллит и я собрались у Даладье. «Нам необходимо добиться полного превосходства в воздухе, — сказал премьер-министр, — и для этого Союзники должны закупить в Соединенных Штатах десять тысяч самолетов. Первая партия должна поступить в начале 1940 года, а остальные — до весны 1941. Я знаю, что американские конвейеры уже работают с полной нагрузкой. Но существуют автомобильные заводы, которые можно перепрофилировать в авиационные». У Даладье было масштабное и точное пони-

мание проблемы; возможно, оно пришло к нему с опозданием в несколько лет, но разве могли мы сказать осенью 1939 года, что бороться уже слишком поздно? В конце концов, будущее показало, что война была выиграна отчасти благодаря американским автомобильным заводам, а толчок в этом направлении был дан первыми заказами Союзников.

Рузвельт: самолеты для Европы

Рузвельт отнюдь не был шокирован тем давлением, которое на него оказывалось. Он прекрасно представлял себе единство свободного мира и долг солидарности со стороны Соединенных Штатов даже там, где они не несли юридических обязательств. Единственное, что он требовал, это чтобы не нарушалось внутреннее равновесие американской экономики и чтобы внешние закупки не взвинчивали цены и не мешали обеспечению американской армии. И он четко высказывался на этот счет в беседах с Союзниками. В остальном, после снятия эмбарго, дела по заказам и по иностранным инвестициям находились в руках частных компаний — так, во всяком случае, считалось формально, хотя на самом деле негласно все контролировалось Белым домом. Были ли у Франции нужные финансовые средства, чтобы участвовать в этой гигантской программе? «Ради самолетов, — говорил Даладьё, — я найду необходимые деньги, даже если мне придется продать Версаль». Чтобы начать большие переговоры, я предложил послать Плевена.

Твердая решимость Даладьё не встретила такой же поддержки со стороны Чемберлена, который в ответ на настойчивое письмо французского премьера велел передать такую телефонограмму: «Премьер-министр согласен с необходимостью добиться превосходства в воздухе. Но полагает, что оно может быть получено за счет производства самолетов в Англии и доминионах. Кроме того, Англия не имеет необходимых валютных запасов». Этот ответ отражал свойственную англичанам иллюзию, с которой нам приходилось сталкиваться вновь и вновь: Англия, мол, сама справится с трудностями, а для этого ей нужно попридержать свое золото. Таков был ло-

зунг Лондона, их монетаристский взгляд на войну. Казначейство выдвинуло принцип: «Не тратить более ста пятидесяти миллионов фунтов в год, что бы ни случилось». Я был готов к этим трудностям и даже не пытался уговаривать англичан, которые готовы принимать во внимание только практические результаты. Если бы французская миссия удалась, они присоединились бы к ней. (Действительно, прошло немного времени, и нас поддержал один из лучших британских экспертов, полковник Гринби.) 14 декабря Плевен отправился за океан на пароходе по непредсказуемому маршруту: война вынуждала нас к таким путешествиям, весьма утомительным, а временами и опасным. Он прибыл в Нью-Йорк 21 декабря и сразу же встретился с Моргентау. Их переговоры происходили в обстановке строжайшей секретности.

Дело в том, что в Америке начиналась президентская избирательная кампания, и такие люди, как национальный герой полковник Линдберг, развертывали по всей стране агитацию за изоляционизм. Линдберг посетил Европу незадолго до Мюнхена, и превосходство Люфтваффе над воздушным флотом Союзников произвело на него сильное впечатление; ему удалось убедить часть американской общественности, что лучше держаться в стороне от европейских проблем. Рузвельт вынужден был считаться с этим сильным умонастроением своих соотечественников и вел переговоры с Союзниками без ведома госдепартамента и министерства обороны. Но Плевен убедился, что его благоприятная к Союзникам позиция не изменилась; была достигнута договоренность о поставке восьмисот самолетов в октябре 1940 года, для чего требовалось еще раз удвоить производство моторов. За это надо было заплатить миллиард долларов, разделив сумму поровну между Францией и Великобританией. Плевен вернулся в Париж в конце января, чтобы столкнуться с уже привычными для нас трудностями, повторяющимися с однообразием ритуала: возражения финансовых служб, скептицизм военных, не говоря уже о контраступлении, которое готовил в Соединенных Штатах несговорчивый генерал Арнольд.

И снова Поль Рейно, поддержанный на этот раз британским министром финансов сэром Джоном Саймоном, за-

явил, что такие расходы опустошат казну Союзников. Снова возникла та же идея: экономика наших стран должна быть готова выдержать длительную войну и выйти из нее с нетронутыми резервами. Тогда Даладье заговорил о том, чтобы отделаться от Рейно. Что касается возражений военных, то они были столь же убедительными: «Весьма вероятно, что противник отложит свое наступление на 1941 год, и тогда американские модели окажутся устаревшими». — «Еще более устаревшим будет решение не иметь самолетов вовсе», — ответил им Плевен. Однако у меня был подготовлен другой и еще более сильный аргумент. Дело в том, что в начале января я попросил, чтобы составленный нами, с учетом договоренностей Плевена, баланс союзных военно-воздушных сил был дополнен аналогичным балансом, по оценкам английских секретных служб. Судя по всему, французские и английские секретные службы до сих пор не обменивались подобными сведениями, потому что потребовались специальные приказы обоих премьер-министров, чтобы представители этих служб встретились в Лондоне. Оценки с той и с другой стороны полностью совпали. Из них вытекало, что в апреле 1940 года по количеству бомбардировщиков немцы превосходили Союзников вдвое, а по количеству истребителей соотношение было три к двум. С учетом ритма текущего производства Союзникам потребовалось бы пять месяцев, чтобы ликвидировать отставание по истребителям и два с половиной года — по бомбардировщикам.

Я имел, наконец, в руках эту самую балансовую таблицу — лист бумаги размером 54 на 40 см, покрытый цифрами и выражавший со всей арифметической ясностью трагедию неравной борьбы. Выводы из него я сделал в следующем меморандуме:

«Представленный доклад показывает:

1. Наличие у Германии огромного ударного потенциала, который может быть в любой момент направлен против нас.

2. Масштабы нашего отставания: возможно, оно сокращается, но для его ликвидации потребуется время.

3. В случае направленного против нас удара наши народы, среди горя и страданий, смогут черпать силы и муже-

ство в сознании того факта, что огромный промышленный потенциал Америки всегда будет служить нам поддержкой и опорой.

4. Как будем мы, правительства, смотреть в глаза своим народам, если не сможем поручиться, пусть и с опозданием, что даже в случае разрушения наших заводов мы сможем получать все необходимые средства защиты?

5. Производственные возможности Соединенных Штатов в настоящее время, по-видимому, загружены до предела. Нам необходимо создать там дополнительный потенциал, который начнет давать продукцию уже в этом году и сможет быть использован нами по мере необходимости в последующие годы».

Таковы были соображения, подсказанные мне тремя колонками цифр, на подготовку которых потребовались месяцы работы. Я не очень хорошо разбираюсь в цифрах, но у меня всегда были эксперты, которые могли, не без приказов и настояний с моей стороны, сделать выводы из их соотношения. В конце концов все решает одна итоговая цифра, которая стоит справа внизу и подводит итог балансу: она-то и подсказывает, как надо действовать. Мне было достаточно знать, что баланс самолетов — не в нашу пользу. Если такое положение сохранится, нам предстоит наверняка терпеть поражение в грядущих сражениях, причем не только на поле боя, но также и в экономическом состязании и особенно в моральном противостоянии. Следовательно, соотношение надо было уравновесить, а еще лучше — перевернуть. Отставание надо было превратить в превосходство, в силу все тех же военных, экономических и психологических причин. Нужно было, чтобы противник знал, что мы создаем мощный дополнительный потенциал, находящийся вне пределов его досягаемости; что наши народы черпают в этом основания для надежды, а Соединенные Штаты — для веры в нашу решимость. Меморандум заканчивался цитатой: «*Where there no vision, the people perish*»*.

* Там, где не хватает воображения, народ погибает».

Эту широту взгляда я и старался внушить таким людям, как Даладье и Чемберлен, которые осуществляли каждодневное руководство, будучи скованы в своих действиях мальгузиански настроенными министрами финансов, военными, лишенными воображения, и общественным мнением, жившим иллюзией «странной войны». Врагу, одержимому стремлением к мощи и господству, необходимо было противопоставить материальную и моральную силу сопротивления, опирающуюся на широкую перспективу во времени и пространстве. В конце зимы 1940 года еще позволительно было надеяться, что такое сопротивление мы сможем оказать на нашей земле и в нашем небе. Но уже в этот момент наш оптимизм мог базироваться только на уверенности в американской поддержке. Эта поддержка была нам необходима при любом развитии событий, но ситуация уже была настолько серьезна, что следовало готовиться к худшему. Меры, которые я рекомендовал обоим главам правительств, были направлены в первую очередь на усиление военного потенциала. Но я уже осознавал необходимость более масштабных акций политического характера, которые выражали бы общую волю Союзников: связать себя единой судьбой. В начале этой книги я рассказал о том, как развивались события весной и как драматически они завершились в июне. В свете этих событий, в свете того, к чему привели наши усилия, деятельность Франко-Британского Комитета на протяжении последних месяцев может показаться смехотворно ничтожной. И однако именно тогда были заложены незыблемые основы совместного сопротивления великих демократий.

Чемберлен, на которого я старался влиять через Ораса Уилсона, прислушался к моим аргументам и положил конец английским возражениям против покупки американских самолетов. 5 февраля Высший военный совет принял рекомендации миссии Плевена, при этом решающую роль сыграла составленная нами балансовая таблица. Однако пришлось потратить еще три недели драгоценного времени прежде, чем решение Высшего совета претворилось в реальные действия, что свидетельствовало о неких структурных трудностях, которые, по моим постоянным наблюдениям, возникают каж-

дый раз, когда англичанам и французам приходится искать общую точку зрения. У французов торможение связано с поисками формулировок во время подготовки и подписания договора. У англичан оно продолжается и после подписания и выражается в бесконечных спорах и уточнениях. Да, действительно, Даладье и Чемберлен подписали договор по важнейшему вопросу: о мобилизации в пользу Союзников огромного американского арсенала. Но для одного речь шла об обязательстве действовать немедленно и сообща, а для другого — лишь о совместном рассмотрении возможных действий. Не без труда мы уговорили обоих участников поддержать нашу программу покупки восьми тысяч американских самолетов.

Вторая миссия Плевена прибыла в Вашингтон только 4 марта, встретив неизменную активную поддержку Моргентаву и такое же недоброжелательство генерала Арнольда, не желавшего, чтобы Союзникам поставлялись самолеты последней модели, а именно их мы стремились получить, так как они могли вести бой на равных с мессершмитами 109. Снова повторился тот же сценарий. Моргентаву пошел к Рузвельту и попросил его о поддержке. Президент созвал начальников генеральных штабов и, как рассказывает Арнольд, «глядя на меня, заявил, что он знает офицеров, которые ведут свою особую линию, например, на Гуаме». Арнольд, действительно гнул свою, отличную от президентской, линию, хотя и не на Гуаме: он вел кампанию в сенате и в прессе против того, что Союзникам предоставляется приоритет в заказах. Рузвельт неумолимо проводил свою общественно-разъяснительную работу: «Эти заказы, — говорил он, — являются важным фактором экономической активности в Соединенных Штатах и особенно — в области самолетостроения. Они означают процветание и безопасность».

И это было правдой. Второй раз за один год происходило удвоение производства авиационных моторов. А именно здесь было узкое место американского авиастроения. Теперь должно было последовать двукратное увеличение рабочих мест. Были заложены основы и дан разбег целой отрасли американской промышленности, которая после того как Соединенные Штаты выйдут из своей добровольной изоляции,

должна была совершить гигантский рывок вперед. Разумеется, когда в мае началось немецкое наступление, результаты наших усилий казались незначительными и запоздалыми: всего несколько сот американских самолетов смогли вступить в бой с немцами в небе Франции. Зато в сражении за небо над Лондоном их уже было больше и они помогли переломить ход войны на западном фронте. В ходе этой героической воздушной битвы значительная часть самолетов погибла вместе со своими экипажами, но на смену им шли другие. В ночь 3 июня Рейно напрасно умолял Рузвельта, чтобы «тучи самолетов» пересекли Атлантику и помогли «отразить дьявольские силы, нависшие над Европой». Но наступит час, и эти «тучи самолетов» появятся благодаря тому, что в свое время мы стимулировали их производство, когда американская нация еще не ведала об опасности. Я знал, что мы находимся в начале длинного пути, но механизм налажен и уже не остановится. Ответственные люди были объединены общей волей, общим опытом и общими связями. Мы были готовы к развитию событий, готовы ими воспользоваться. Ни в коем случае мы не должны были позволить нас сломить. Этот урок был мной твердо усвоен весной 1940 года.

Координационный комитет занимался отнюдь не только проблемой самолетов, хотя она и была, на мой взгляд, самой важной. Задача снабжения тоже лежала на нас. Мы располагали всеми источниками информации, и уже с начала февраля я стал рассматривать возможность составления генерального баланса всего, что требовалось для обороны Союзников. Такая всеобъемлющая балансовая таблица была необходима для ведения войны. Я попросил, чтобы службы разведки предоставили нам все имеющиеся у них сведения о состоянии немецкой армии и о потенциале Германии в производстве оружия всех родов. «Нам необходимо получить, — писал я, — такую картину фактического положения вещей, из которой можно было бы сделать неоспоримые выводы». Я всегда верил в убедительность фактов, но для этого их надо изложить с неотразимой доказательностью. Я знал, что потребуется несколько месяцев на то, чтобы наши военные, и англ-

лийские, и французские, дали целостную инвентарную опись своих собственных сил. Как бы невероятно это ни показалось, я был почти уверен, что подобной описи не существовало в природе, за исключением составленного два месяца назад баланса военно-воздушных сил. При таком отсутствии информации любой стратегический план и любой план производства и закупок становились произвольными. Ожидая, пока поступят необходимые «фактические данные», я уделял много времени проблемам морских перевозок и обеспечения углем. Все приготовления делались в расчете на длительную войну.

Но Гитлер распорядился иначе. В апреле он захватил Норвегию, и это должно было бы послужить важным предупреждением. 10 мая вторжение немецких армий в Бельгию ошеломило весь мир, кроме, как я писал выше, генерала Исмея и всех наших великих стратегов, надеявшихся взять противника в окружение. Прорыв под Седаном выбил их из седла, поскольку никаких мер на этот случай у них предусмотрено не было. Враг ворвался в наш дом. Так неужели мы и дальше будем держать наше золото в подвалах, а нашу армию вдали от фронта? Неужели Париж и Лондон будут продолжать вести две отдельные войны с двумя военными министерствами и двумя экономическими администрациями? Неужели останемся двумя разделенными странами, каждая со своей судьбой? С некоторых пор я перестал надеяться на положительное решение этих болезненных вопросов. Я понимал, что наши меры по координации оказались не на уровне нависших угроз. Мы делали то, что могли, добросовестно и упорно, и это было необходимо и полезно при любом повороте событий. Но мы не были готовы к тому, что они станут развиваться с такой быстротой. На первых этапах нашей деятельности у нас было все, кроме одного — времени.

Последняя попытка

Первые ошеломляющие успехи молниеносного немецкого наступления не поколебали, а, напротив, укрепили мою уверенность, что война будет выиграна союзниками благодаря превосходству в вооружениях. Я старался увидеть буду-

шее войны в глобальных масштабах, исходя из следующих предпосылок: ресурсы Франции и Англии с учетом их колоний; пространство, которое они занимали в мире; мощная поддержка Соединенных Штатов, на которую мы могли рассчитывать до тех пор, пока не отказались от борьбы. Такой глобальный подход укреплял мою уверенность в успехе и побуждал меня продолжать работу в ранее избранном направлении. Гитлер торопился, потому что пространство и время работали против него. Во всяком случае, коль скоро мы не смогли подготовиться к отражению молниеносного натиска, наша задача состояла теперь в том, чтобы на недоступной для вражеских ударов территории восстановить наш потенциал, который превосходил бы потенциал Германии. Не следовало надеяться на чудо; ни отчаянные попытки в одночасье повернуть ход событий, ни панические призывы к американскому вмешательству не могли сделать то, чего добиться могли только мы сами в результате методической организации, колоссальной энергии и упорной работы из месяца в месяц.

Теперь во главе стран-союзниц стояли новые фигуры. Во Франции Поль Рейно сменил Даладье, а в Англии Уинстон Черчилль возглавил военный кабинет вместо Чемберлена. Таким образом, люди, запятнанные мюнхенским унижением, были отодвинуты на второй план. На авансцену вышли два персонажа, общими чертами которых были красноречие, страстный патриотизм, и которые, оба, символизировали дух сопротивления и резко выступали против мюнхенской «капитуляции». На этом сходство кончалось. Никто не мог сравниться с Черчиллем, настоящим воином, легендарным воплощением старой Англии. Власть была его наследственным даром, она выражалась в его могучем темпераменте, но при этом он был истинным демократом. Существовало ли для него что-нибудь за пределами интересов его страны? Не думаю. Но в его сознании, как и в сознании многих его соотечественников, интересы Великобритании совпадали с интересами большинства населения планеты. Британия правила на море повсюду, где развевался вымпел ее флота. У меня были хорошие отношения с Черчиллем, но, по его представлениям, мое влияние не должно было выходить за пределы моих функ-

ций, а они не имели политического характера. Он уважал Власть, как уважал и мои полномочия, но они не имели для него властного значения. И мне часто приходилось прибегать к окольным путям, чтобы привлечь его внимание.

В качестве председателя Координационного комитета я прямо зависел от него — и от Рейно в одно и то же время. 20 мая я направил обоим премьерам письмо, в котором повторял основные аргументы, склонившие на мою сторону их предшественников; я надеялся, что и с новыми руководителями мне постепенно удастся добиться того же. Начав осуществлять высшую государственную власть, они должны будут убедиться, что события не оставляют им особой свободы выбора и что дискуссии о бюджетном равновесии или приоритетах национального вооружения должны отступить на второй план.

«До сих пор, — писал я, — Франция и Англия направляли свои главные усилия на закупку самолетов в Соединенных Штатах. Но теперь, когда нам грозят массированные бомбардировки основных военно-промышленных центров и заводов во Франции и Англии, надо принять срочные меры для скорейшей организации в Соединенных Штатах как можно более масштабного производства типов оружия и боеприпасов, наиболее нам необходимых для продолжения войны. Такие меры сейчас облегчаются не только возросшим желанием Америки оказать нам помощь, но и развертыванием ее собственной программы вооружений. Если мы окажемся в состоянии безотлагательно сформулировать наши запросы, Соединенные Штаты направят свои усилия по увеличению военного производства прежде всего на ту продукцию, которая необходима нам в первую очередь, и мы, таким образом, будем иметь практический результат уже через несколько месяцев.

Заботы о сохранении валютных резервов потеряли свою актуальность после событий истекшей недели. Для нас сейчас гораздо важнее использовать наши доллары для наращивания военной силы, чем держаться за них с риском потерпеть поражение. Кроме того, практически невероятно, чтобы в нынешней ситуации Америка отказала нам в поставках, даже если мы окажемся не в состоянии заплатить наличными.

Производственный потенциал Соединенных Штатов почти безграничен. Он превосходит не только потенциал Германии, но и потенциал обеих стран-союзниц вместе взятых, особенно после того, как наши страны стали подвергаться вражеским бомбардировкам. Америка способна к очень быстрому наращиванию производства, в чем мы могли убедиться во время прошлой войны, когда постройка кораблей подскочила от менее чем двухсот тысяч тонн до более чем трех миллионов тонн в год. В обстановке нынешней войны Соединенные Штаты могут стать главным источником снабжения для Союзников, а рост американской военной индустрии — важнейшим фактором нашей победы. Но чтобы такой рост произошел, необходимы экстренные меры. Я предлагаю, чтобы в ближайшее же время была составлена общая программа».

Я сразу же получил запрашиваемое согласие и 24 мая сообщил Пёрвису по телеграфу, чтобы он рассмотрел с Моргантау возможности развертывания в Соединенных Штатах мощной промышленной базы для производства оружия и боеприпасов, как это уже было сделано ранее в отношении самолетов. Возможно ли увеличение выпуска зенитных и противотанковых орудий, а также тяжелых танков, при уже существующих производственных мощностях, или нужно будет осуществлять конверсию других заводов? И какие в этом случае будут сроки? Но события развивались в ускоренном темпе: через несколько дней английская армия, отступившая к Дюнкерку, с большим трудом эвакуировалась с континента. На суше Альянс фактически перестал существовать. В моральном плане он был поколеблен взаимными обвинениями. Разве не этого добивался Гитлер?

Его пропаганда исказила обстоятельства эвакуации из Дюнкерка, так что в глазах многих французов она стала чуть ли не символом британского эгоизма. Но я могу засвидетельствовать, что в эти драматические дни наши союзники проявили дух солидарности. 2 июня Сильвия, прочитав в газетах, что в Лондон прибыл эшелон с французскими солдатами, позвонила мне по телефону: «Мы должны пригласить на завтрак нескольких из этих ребят...» В своем большинстве

это были офицеры. Трое из них, которых мы приняли у себя, казались персонажами из фильма «Великая иллюзия», который произвел на нас большое впечатление несколько лет тому назад: один из них был евреем, один аристократом и один мелким буржуа. Сальтер и Плевен, которые тоже сидели за нашим столом, могут подтвердить, что эти офицеры ни в чем не упрекали англичан: «Их эвакуация была хорошо организована, — рассказывали они, — а у нас не было никакой организации. Наши солдаты цеплялись за английские лодки, которые и так были перегружены. Мы видели, как наших отталкивали, и это была трагическая картина...» Мы с Сальтером и Плевеном решили, что должны сделать все от нас зависящее, и отправились к Черчиллю.

Он сочувствовал человеческим страданиям, но в этот ужасный час он действовал как военачальник, руководствующийся строгим планом. «Эвакуация наших войск должна закончиться сегодня в полночь», — сказал он нам. — «Но на берегу остаются более двадцати пяти тысяч французских солдат...» — «Мы сделали все, что было в наших силах. Мы перебросили туда все наличные плавсредства, включая парусники и лодки...» У Черчилля была верховная власть, руководство военными действиями на суше и на море было в его руках. Мы сумели его убедить, и он внес изменения в свои приказы. Эвакуация из Дюнкерка была продолжена, несмотря на крайнюю усталость английских моряков и благодаря их героизму. 4 июня к 14 часам 23 минутам, когда был достигнут предел возможного, двадцать шесть тысяч французских солдат были перевезены в Англию.

Тогда, 4-го июня, я все еще верил в возможность воссоздать совместную линию обороны, но для этого было необходимо, чтобы каждая из двух стран не искала путей спасения только для себя. Я предложил Черчиллю, чтобы Англия на своей территории подготовила армию саперов для создания оборонительных сооружений, в то время как французский экспедиционный корпус вернется в метрополию, где мы уже начали подготовку к его полному перевооружению. 6 июня, в письме, о котором я уже упоминал на первых страницах этой книги, я снова подчеркнул необходимость совме-

стных действий: «В то время как Германия сосредотачивает все свои силы на достижении поставленных целей, самая большая опасность для нас состоит в том, что наша сила сопротивления недостаточна, потому что рассредоточена... Самое важное решение, диктуемое нам обстоятельствами, — это немедленное объединение и совместное использование воздушных сил обеих стран». Последние балансы, имевшиеся в нашем распоряжении, показывали, что наши объединенные воздушные силы имели бы соотношение с немецкими самолетами 1 к 1,5. Если же французские и английские воздушные силы будут сражаться по отдельности, подчиняясь разным командным центрам, то численное неравенство обречет их на неизбежное поражение.

Разумеется, время для столь коренной реорганизации было уже упущено. Более того, генеральные штабы не могли даже учесть, насколько глубокие трещины разрушали нашу оборонительную систему. Но одно мне было совершенно ясно: нарушение союзнической солидарности было бы одновременно и причиной, и следствием наших неудач. Такое нарушение было равно опасно, где бы оно ни происходило — в сознании людей или на полях сражений. Его необходимо было остановить, пока это было еще возможно, а для этого существовал только один путь: некое смелое решение, которое поразило бы воображение народов, стоявших на грани отчаяния. Такое решение созревало у меня в голове, когда я работал над постепенной и, как я уже тогда понимал, недостаточной координацией военных усилий Союзников. Теперь оно приобретало новое значение: если раньше мы с моими английскими друзьями мечтали о более тесном объединении наших стран, может быть, в форме федерации, то теперь речь должна была идти о полном слиянии, ибо только так мы могли противостоять тирании и отстаивать свободу. Франция и Великобритания должны были связать себя единой судьбой — в войне и после ее окончания.

В моменты крайней опасности все становится возможным, при условии что вы сами готовы действовать и имеете ясный план. Объединить два народа — это простая

идея, но разум ей сопротивляется, пока все идет нормально. Однако в экстремальной ситуации необходимость подсказывает: счет идет на часы. В начале книги я рассказал об этих решающих часах, потому что они были кульминацией в борьбе за единство людей. Общее гражданство англичан и французов могло бы стать беспрецедентной реальностью, адекватной тому историческому вызову, который был брошен нашим народам. Людей, обладавших властью принять такое решение, можно было бы легко убедить, так как они видели, что все рушится вокруг. Но для этого надо было сделать так, чтобы идея дошла до них. Тут-то и должно было выясниться, насколько действительны те искренние и доверительные отношения, которые мы так долго устанавливали в ходе каждодневной работы.

У меня было много английских друзей, которые мне доверяли, потому что привыкли к тому, что в ходе нашей совместной работы я ничего от них не скрывал. Они прислушивались к моим словам в те дни, когда уже никто ничего не слышал. Артур Сальтер, Десмонд Мортон, Орас Уилсон употребили все свое влияние на Чемберлена, Вэнситарта, Черчилля, чтобы донести до них предложение некоего француза, не имевшего никакого политического мандата. Впрочем, Черчилль не сразу воспринял и оценил предлагавшуюся ему идею, но лишь после того, как она была горячо поддержана его коллегами, соответствовавшими ему по рангу. Он честно в этом признался в своих мемуарах: «Моя первая реакция была неблагоприятной. Я выдвинул несколько вопросов и замечаний, но не получил на них удовлетворительного ответа. Тем не менее, вопрос был поставлен на обсуждение в военном кабинете, в конце длинного вечернего заседания. Я был несколько удивлен тем энтузиазмом, с каким серьезные политики разных партий, люди серьезные и опытные, поддержали это колоссальное и сложнейшее предприятие, все последствия которого никак не были учтены. Но я не стал упорствовать, а, напротив, присоединился к этому благородному порыву, укреплявшему нашу решимость и поднимавшему ее на высокий уровень бескорыстия и смелости».

Французское правительство в Бордо узнало все это лишь в последнюю минуту. Выше я рассказал, как Рейно был убежден простым телефонным звонком де Голля, который сам был настроен довольно скептически. Но я могу засвидетельствовать, что в тот день, 16 июня, де Голль, несмотря на свой скептицизм, поддержал идею полного государственного слияния Франции и Англии.

Продолжать борьбу

Я думаю, теперь нам известно все об этих июньских днях 1940 года. Здесь нет ничего таинственного. В государственных делах не должно быть секретного аппарата, множества эмиссаров, хитросплетения интриг, — всего, что им сопутствует в реальности и еще более — в легендах. Самые важные вещи, как правило, просты, особенно если вы хотите, чтобы они были таковыми. Конечно, задние мысли и подозрительные махинации тоже имеют место. Но я их всегда игнорировал, и мне это было только на пользу. Однако в Бордо я оказался в удушающей атмосфере, заговоры плелись повсюду. Я там пробыл, о чем уже рассказывал, всего несколько часов и с облегчением улетел с друзьями в Англию на гидроплане, который должен был бы переправить все французское правительство в Северную Африку. В Лондоне я вновь обрел атмосферу спокойной решимости, не поколебленной потерей союзника. Пелена иллюзий рассеялась, но за ней открылось лицо народа, чья моральная сила осталась неизменной, народа, который не нуждался в иллюзиях, чтобы верить в свою непобедимость: ему было достаточно его гражданской смелости. Французов, прибывавших в большом количестве, чтобы продолжать борьбу, здесь принимали с трогательной теплотой.

Андре и Амели Орре, занимавшиеся у нас хозяйством, остались с нами. Когда они узнали об обращениях Петена к французам, они плакали и не хотели выходить на улицу. «Нам слишком стыдно...» — говорили они. Наконец Амели отправилась в мясную лавку и вернулась оттуда еще более потрясенная: «Представляете себе, что он мне сказал? Он

мне сказал: «Да здравствует Франция!»». Сильвия и Элле Бонне ехали в автобусе. Старый английский джентльмен в черном галстуке, услышав, что они говорят по-французски, подошел к ним и сказал: «Не печальтесь так о Франции, медам, все вернется». И добавил: «Я потерял сына под Дюнкерком». Такое достоинство мы встречали повсюду, вернее, мы его угадывали — ведь каждый старался не выставлять напоказ свои личные беды. Наш большой друг Боб Брэнд хранил глубоко в душе свое несчастье: он потерял единственного сына. Только однажды он нам сказал: «Не думайте, что это меня ожесточило». Это было его единственное признание. Жизнь продолжалась для этого народа, против которого теперь сосредоточились все силы разрушения. Однажды ночью, когда после воздушного налета мы возвращались домой из бомбоубежища, консьерж сказал нам с сожалением: «*You missed it, we had a very nice cup of tea*»*.

Я был разочарован неудачей своих попыток побудить французское правительство продолжить борьбу, но я не жалел о пережитом опыте. Вся моя последующая деятельность была бы обременена чувством невыполненного долга, если бы я не отправился туда сам и не убедился бы лично в растерянности и бессилии людей, на которых мы не должны были бы полагаться. Этот опыт не ставил под вопрос цель, к которой я стремился, он только требовал, чтобы я заново продумал пути к этой цели. Целью оставалось объединение сил стран-союзниц, включая и ресурсы Французской империи. Пути же пролегли теперь не через центральное правительство, ставшее, так сказать, добровольным пленником врага, но через назначенные военным правительством местные власти на заморских территориях.

Такие люди, как Ногес в Северной Африке и Миттелозе в Сирии, обладали полномочиями от законного правительства, которое было еще свободным в момент их назначения. Ногес заявил, что будет продолжать борьбу. 19 июня де Голль телеграфировал ему: «Нахожусь в Лондоне в официальном и прямом контакте с британским правительством.

* «Вы опоздали, мы тут выпили по чашечке отличного чая».

Предоставляю себя в ваше распоряжение, готов сражаться под вашим командованием, либо выполнять любые другие поручения по вашему усмотрению». Ни у него, ни у меня в эти дни не было сомнений относительно того, какую линию следует проводить. Французская империя, объединившаяся с Британской империей и «без ограничений использующая мощную индустрию Соединенных Штатов», как сказал де Голль в своем обращении по Би-би-си, — таков был единственный, но верный шанс: гитлеровское стремление к мировому господству должно было разбиться об эту материальную мощь и о нашу моральную стойкость. Но для этого надо было организовать союз, добиться для него самой широкой поддержки и придать ему необходимую легитимность.

Первые шаги де Голля делались именно в этом направлении, и сразу по возвращении в Лондон у меня с ним было несколько бесед. Но вскоре я понял, что его намерения не вполне совпадали с тем, что можно было вывести из его призывов. Обращаясь к Ногесу и выражая готовность встать под его начало, он вынашивал идею создания французского Национального комитета, действующего в Лондоне согласованно с британским правительством. Он не скрывал своего намерения возглавить этот Комитет, который должен был стать в глазах Союзников и всех свободных людей законной французской властью в противовес правительству Петена, лишившемуся свободы действий.

Де Голль получил от Черчилля согласие английского правительства признать Национальный комитет в качестве единственной французской власти, от имени которой он, генерал де Голль, будет обращаться к французам. Таким образом, не будет промежутка между разрывом отношений с правительством в Бордо и образованием Национального комитета в Лондоне: оба решения будут опубликованы Форин Оффисом одновременно, 23 июня. Мне стал известен текст декларации, с которой де Голль собирался выступить в тот же вечер по Би-би-си: «Национальный комитет примет под свою юрисдикцию всех французских граждан, находящихся в настоящее время на британской территории, и будет осуществ-

лять руководство всеми военными и административными органами, которые существуют или будут существовать в этой стране».

Я мог понять это стремление поскорее заполнить вакуум французской власти, поскольку правительство Бордо в глазах свободного мира должно было считаться лишившимся своих прав и полномочий. Но в то же время я считал преждевременным фиксировать ситуацию, которая сама по себе еще не определилась и центр развития которой не обязательно находился в Лондоне. Как будет воспринят на территориях, лежащих за морями и океанами, призыв, исходящий из уст одного человека, говорящего от имени Комитета, созданного в Лондоне под эгидой английского правительства? Кто сразу поверит в его полную независимость? Кто из колониальных чиновников, этих полномочных наместников, кто из числа моряков согласится исполнять приказы, исходящие от некоей инстанции, которая, возможно, связана с британскими интересами? Все еще было возможно, но все зависело от руководителей на местах, сильных и сознающих свою власть, остающимися фактическими носителями республиканской легитимности; они были вправе игнорировать приказы правительства, лишившегося самостоятельности, от них зависело, сохранят ли верность Республике огромные территории и многочисленные флоты. И поскольку в Северной Африке, в Ливане, на Востоке, на морях ситуация еще не определилась, я думал тогда, 23 июня, что один человек, как бы он ни был уверен в своей исторической миссии, не мог представлять в своем лице борющуюся Францию.

Де Голль с честью выступил против унижительного перемирия, но разве не могли и другие вожди, обладавшие мощными орудиями сопротивления, занять такую же позицию? И действительно, Ногес собирался послать в Бордо резкую телеграмму, обвиняющую правительство в том, что оно «объективно недооценило способность к сопротивлению Северной Африки». Он требовал от Вейгана, чтобы тот пересмотрел свои приказы относительно выполнения условий перемирия. Нам трудно объяснить, почему де Голль сначала

заявил о своей готовности стать под командование Ногеса, а через несколько дней предложил тому же Ногесу войти в возглавляемый им, де Голлем, Национальный комитет. Как он собирался согласовать свое новое предложение с известным ему недоверием генерала Ногеса по отношению к Англии? Это недоверие в дальнейшем привело к тому, что Ногес стал отвергать все, что исходило из Лондона...

Я не стал скрывать от де Голля свои сомнения относительно того, как он понимал продолжение борьбы. Я высказал пожелание, чтобы менее драматизированная и персонализированная позиция позволила бы ситуации развиваться и в иных направлениях, которые, как я чувствовал, еще не были закрыты. Однако, видя, что мои доводы не услышаны и что принятые генералом решения будут объявлены по радио вечером, я решил в этот же вечер написать ему письмо, чтобы более весомо выразить то, что и так было ему известно. Вот это письмо, которое Пьер Дени по моей просьбе отнес де Голлю прямо в студию Би-би-си:

«Дорогой Генерал!

После нашей встречи у меня состоялся разговор с сэром Александром Кейдоганом, и я повторил ему то, что уже говорил Вам, а также бригадиру Спирсу:

Я считаю, что было бы крупной ошибкой пытаться конституировать в Англии организацию, которая могла бы рассматриваться во Франции как власть, созданная на иностранной территории и под покровительством Англии. Я полностью разделяю ваше стремление помешать Франции выйти из борьбы; я уверен, что глава государства, председатели обеих палат и некоторые члены правительства должны были бы переместиться в Северную Африку и вместе с генералом Ногесом создать там бастион французского сопротивления.

Я продолжаю верить, что еще и сегодня решение генерала Ногеса продолжать сопротивление позволяет сплотить всех тех во Франции, кто готов продолжать борьбу, и сохранить верность торжественным обязательствам Франции перед Союзниками. Центром Сопротивления может стать Се-

верная Африка, то есть французская территория, управляемая начальниками, получившими назначение в нормальных условиях от правительства, которое в то время не находилось под вражеским контролем; в этом случае, я уверен, наши действия встретят широчайший отклик во Франции и во всех французских колониях. Но не из Лондона в данный момент должен исходить импульс возрождения. В этом случае он произведет на французов впечатление движения, инспирированного Англией и подчиненного ее интересам; и по этой причине он обречен на неудачу, которая затруднит последующие попытки в этом направлении.

Вышеизложенными соображениями я поделился с сэром Александром Кейдоганом, а также сэром Робертом Венситгартом и послом Франции. Как и вы, я преследую единственную цель: разбудить энергию Франции и убедить ее не смиряться с поражением. Я хочу, чтобы вы полностью представляли себе мою позицию.

Прошу вас, господин генерал, принять заверения в моем глубоком уважении.

P.S. Разумеется, создание Комитета, который будет помогать найти место в борьбе любому французу, желающему сражаться вместе с Англией, — дело чрезвычайно полезное. Как я уже заявлял Спирсу и вам, я нахожусь в вашем распоряжении для обсуждения этого вопроса».

Я все еще продолжал надеяться, что лондонский Комитет не возьмет сразу же на себя слишком высокие функции и не приведет к закреплению раскола между силами французского сопротивления в Лондоне, с одной стороны, и на заморских территориях — с другой. Однако призыв де Голля сопровождался коммюнике британского правительства, в котором Комитет признавался представителем всех независимых французов, сохранивших решимость продолжать войну и выполнять международные обязательства, взятые на себя Францией. Это коммюнике тоже было результатом спешки. Британский кабинет не успел его обсудить. Потом спохватились и остановили его публикацию. Я предложил де Голлю встретиться еще раз, надеясь убедить

его оставить открытым вопрос о формах участия Франции в войне. Де Голль, со своей стороны, тоже желал со мной встретиться, чтобы убедить меня, что судьба Франции и его, де Голля, судьба отныне связаны неразрывно. На следующий день я получил от него письмо:

«Дорогой друг,

в эти решающие часы было бы нелепостью, если бы мы с вами стали упорствовать в разногласиях, поскольку в сущности мы оба хотим одного и того же и, объединившись, могли бы многое сделать.

Приходите ко мне в любой момент. Мы сумеем договориться».

Действительно, мы встречались много раз. Но наших хороших личных отношений оказалось уже недостаточно, чтобы преодолеть разногласия относительно дальнейших действий в условиях нарастающей опасности. Англия готовилась выдержать чудовищный натиск, и исход борьбы был неясен. Англичанам и не англичанам, собравшимся защищать этот последний оплот свободы, хватало мужества и чувства чести. Но речь шла о вооружениях и других военных ресурсах. По сравнению с этим вопросом индивидуальные судьбы и даже судьбы отдельных наций отступали на второй план. В последующие недели, как только появилась надежда, что сражение за небо Англии может быть выиграно, что не все потеряно, а следовательно, все еще может быть исправлено, стало ясно, что вся энергия должна быть направлена на то, чтобы противопоставить врагу объединенную силу Союзников и превосходство в вооружениях. В ожидании того момента, когда к нашей борьбе присоединятся силы всего свободного мира, необходимо было, чтобы в полную мощь заработал самый крупный в мире военно-промышленный комплекс. И об этом была моя единственная забота.

Об этом у нас с де Голлем состоялся откровенный разговор, в ходе которого он также изложил мне свое понимание своей исторической миссии. Мы не могли понять друг друга. Он упрекнул меня в том, что я отдаляюсь от тех нервных центров, где он собирался действовать во имя того, чтобы Фран-

ция внесла свой вклад в победу. Но эта победа, возразил я ему, не может быть завоевана одним только героизмом и величием характера. Кто-то должен заботиться о том, чтобы обеспечить необходимые и недостающие материальные условия. И я буду среди этих людей и отправлюсь туда, где смогу внести наибольший вклад в военную победу. В моем решении нет ничего субъективного.

Мы расстались. Вернее, разошлись пути, которыми каждый из нас шел к общей цели, и у нас уже не было случая встретиться, во всяком случае, в Лондоне. Мне суждено было увидеть генерала де Голля только три года спустя, в Алжире, когда все, кто примыкал к Свободной Франции, снова оказались перед трудным выбором: опять с чрезмерной остротой встал вопрос о личности лидера, и вновь интересы борьбы заставили сделать выбор в пользу единства. И здесь я оказался полезен, поскольку сохранил независимую позицию, что позволило мне дать де Голлю некоторые советы и оказать некоторые услуги, совершенно лишённые, как он сам это признал, личной заинтересованности с моей стороны. В конечном счете, он с уважением отнесся к моему выбору, как и я с восхищением относился к его решимости. Я знаю, какая душевная сила потребовалась ему, потомственному военному, чтобы отказать от повиновения вышестоящим начальникам, даже если они отдавали возмутительные приказы. Он один среди офицеров своего ранга решился на это, и его пример имел огромное ободряющее значение для тех французов, которые в обстановке моральной капитуляции все же решились продолжать борьбу вместе с Союзниками.

Что же касается меня, то я не переживал никакого нравственного конфликта: я понимал, что для противостояния нацизму необходимо объединение всех сил демократических государств; факт капитуляции Франции здесь ничего не менял и только требовал наращивания усилий. Война будет долгой, в этом уже не было сомнений, но к победе вел все тот же путь — путь самого полного альянса. Только один, чисто формальный момент требовал моего решения: исчезла необходимость во франко-английском Координационном комитете. И мне пришлось его распустить. 2 июля

я направил маршалу Петену письмо, имевшее чисто формальное значение:

«Господин Председатель Совета министров, письмами от 20 ноября и от 2 декабря 1939 года премьер-министр Франции и премьер-министр Англии попросили меня принять пост председателя франко-английского Координационного комитета, цель которого состояла в том, чтобы координировать экономические усилия в войне со стороны Франции и Великобритании, а также руководить деятельностью франко-английского Комитета по закупкам в Америке.

Вследствие недавних событий стало ясно, что деятельность франко-английского Координационного комитета, равно и других союзнических организаций, как здесь, так и в Соединенных Штатах, должна прекратиться, и, следовательно, у меня нет иной альтернативы, как уведомить вас о моей отставке».

Господину Черчиллю я направил такое же заявление, со следующей припиской:

«До сих пор я действовал как представитель Союзников на службе двух стран одновременно. Я глубоко уверен, что в нынешних условиях не только будущее Англии, но и освобождение Франции зависит от победоносного продолжения войны вашей страной. Поэтому я хочу заверить вас, что был бы счастлив, если бы британское правительство дало мне возможность быть ему полезным и тем самым продолжать служить интересам моей страны.

Таким образом, я отдаю себя в распоряжение британского правительства для выполнения тех задач, которые оно сочтет целесообразным мне поручить».

Моим последним действием в качестве председателя Комитета была каблограмма в Нью-Йорк, Блок-Лэне, с указанием от французского премьера прекратить все переговоры и подписание любых контрактов от имени Франции, с последующим, если возможно, расторжением уже заключенных контрактов или перезаклучения некоторых из них на иной основе. «Если не последует иных распоряжений, — писал я, —

я думаю, следует передать английскому правительству *все* контракты по различным видам вооружения, ранее заключенные нами и подтвержденные обменом нотами между генералом Вейганом и послом Англии».

16 июля я получил следующий ответ от Черчилля:

«Дорогой господин Монне,

я принимаю вашу отставку с поста председателя франко-английского Координационного комитета в соответствии с вашим письмом от 2 июля.

Я с удовольствием принимаю к сведению ваше желание служить британскому правительству, а тем самым — и подлинным интересам вашей страны. Я посоветовался с министром без портфеля о том, как наилучшим образом использовать вашу обширную компетенцию и ваш опыт. Оба мы подумали, что будет лучше всего, если вы отправитесь в Соединенные Штаты, чтобы продолжить там, в сотрудничестве с начальником британской Комиссии по закупкам, те же самые усилия по организации американских поставок, которые дали столь ценные результаты, когда вы были председателем франко-английского Координационного комитета.

Преданный вам

У. Черчилль»

Это было именно то, к чему я стремился. Даже если мой мандат не отличался четкостью, или, вернее, именно в силу его нечеткости, я смогу продолжить ранее начатую работу и донести до сознания руководящих кругов Америки всю опасность ситуации, сложившейся в Европе, и размеры угрозы, которая нависнет и над ними, если не остановить нацистов в их стремлении к распространению тоталитарного режима. Я знал, что моя задача одновременно и облегчается, поскольку последние события грубо обнажили реальное положение вещей и развеяли утешительные иллюзии, и делается одновременно более трудной в силу того, что крах Франции вызвал в Соединенных Штатах волну разочарования и усиление изоляционизма. Я был счастлив, вновь встретив Первиса в Вашингтоне; я знал, что без труда установлю с ним

эффективное сотрудничество, — чего, собственно, и ждало от меня английское правительство. Более того, я надеялся возложить на него все административные обязанности, а самому целиком заняться терпеливой разъяснительной работой, к которой внутренне уже приготовился.

Прежде чем проститься с моими сотрудниками в Лондоне, я подвел итог нашей работе в документе, который я завершал таким абзацем:

«Наш враг не в состоянии создать арсеналы оружия вне досягаемости для бомбардировщиков. А вы можете это сделать. Вы не сможете победить, не получив превосходства, или хотя бы механического равенства в воздухе. Этого нельзя добиться силами одной Великобритании. Следовательно, надо, не теряя ни дня, работать над пополнением воздушного флота, и от этого, без преувеличения, будет зависеть, что нас ждет впереди: победа или поражение».

Глава 7

«Программа во имя победы» (Вашингтон, 1940–1943)

Люди на службе свободе

Мы с Сильвией отправились в Америку морским путем. Во время стоянки нашего клипера на Бермудах английский таможенник с подозрением разглядывал мой французский паспорт. Я показал ему письмо о моем назначении, подписанное Черчиллем. Недоверие перешло в растерянность. *«It just doesn't make sense, — сказал он, — for a Franchman to hold a british job at this point»**. Со своей точки зрения этот человек был прав. Мое административное положение было странным даже в большей степени, чем он предполагал. Вместе с Пёрвисом, моим недавним сотрудником, нам предстояло решить, какой пост я теперь буду занимать по отношению к нему. Я был уверен, что никаких проблем не возникнет, при том доверии, которое царило между нами, и при том огромном поле деятельности, которое нам предстояло охватить. Пёрвис был канадцем, я — французом, но нам обоим предстояло стать лояльными британскими чиновниками. Благодаря своим высоким моральным и интеллектуальным качествам, Пёрвис приобрел большое влияние на всех уровнях вашингтонской администрации. Мне же предстояло играть политическую роль. Мне был известен механизм принятия решений в Соединенных Штатах — его мотор, трансмиссии, а также тормоза. Я знал потребности Англии и мог ручаться за ее решимость.

* «Совершенно невероятно, чтобы в данный момент француз пахотился на английской службе».

По прибытии я понял, что потребуется большая работа для того, чтобы люди по обе стороны Атлантики, говорящие на одном языке и стремившиеся к солидарности, пришли к единому пониманию войны и ее колоссальных потребностей. Из своего бомбоубежища на Даунинг-стрит Черчилль посылал патетические обращения к Рузвельту, который получал их на своей яхте и отвечал заверениями в симпатии. Но что иное он мог бы предпринять в тогдашней ситуации? Даже отправка пятидесяти старых эсминцев в обмен на английские базы ставила перед президентом Соединенных Штатов серьезные конституционные и психологические проблемы; чтобы их разрешить, требовались время и мужество. Его частые отлучки, казавшиеся проявлением беспечности, на самом деле были продиктованы стремлением сосредоточиться. Когда он принял меня в Белом доме, я почувствовал его беспокойство. «Когда в Англии начинается время туманов?» — спросил он меня. Он не думал, чтобы что-нибудь другое могло помешать высадке немцев. Повсюду я встречал такой же пессимизм. И я решительно заявлял о своей уверенности, что англичане готовы физически и морально противостоять вторжению. У меня не было сомнения в том, что нацисты не смогут выиграть войну. Я думал только о том, какими путями следует идти к победе. Если англичане проиграют битву за Лондон, надо будет думать о том, как выиграть битву за Атлантику. Постепенно мне открывалось, до какой степени Америка к этому не готова.

Несмотря на то, что был принят *Selective Service Act**, позволявший поставить под ружье восемьсот тысяч человек (из шестнадцати миллионов подлежащих мобилизации), в состоянии боеготовности было только пятьдесят пять тысяч солдат и ничтожное количество самолетов. Все остальное существовало только на бумаге. Однако содержащиеся в этих бумагах плановые расчеты увеличивались, по мере того как росла опасность. За несколько дней до майского наступления немцев Рузвельт запросил у конгресса миллиард долларов на национальную оборону и производство пятидесяти тысяч

* Закон о частичной воинской повинности.

боевых самолетов. Через месяц программа возросла до трех миллиардов долларов. После того, как прошло первое удивление, общество стало привыкать к этим астрономическим цифрам и более или менее приняло тезис, что военные усилия Соединенных Штатов должны соответствовать их мощи. Неизбежно встал вопрос: насколько эти усилия совместимы с оказанием помощи Англии? Этот спор о приоритетах, с которым я столкнулся по приезду, казался мне абсурдным по двум причинам. Во-первых, военные заказы Союзников были и оставались тем рычагом, который поднимал все американское производство. Во-вторых, и это казалось мне бесспорным, надо было не выбирать между двумя направлениями, а объединить их. Защита Англии и защита Америки были связаны между собой неразрывно.

Несмотря на неподготовленность Соединенных Штатов и неопределенность ситуации, я не был настроен пессимистически, потому что видел, что проблема была поставлена и обсуждались возможности ее решения. Чтобы понять Америку, необходимо учитывать, что решение проблем там всегда проходит стадию чрезвычайно открытой дискуссии. Мнения всех компетентных людей выслушиваются без формализма. Затем принимается решение, принимается обязательно, так как никто не может и подумать, будто проблему можно оставить нерешенной, никто не собирается вести дискуссию ради дискуссии. Решение больше не обсуждается, но, хорошее оно или плохое, исполняется всеми. Осенью 1940 года я ничуть не был удивлен бурной борьбой идей за и против изоляционизма, которая развернулась по всей стране — в конгрессе, в комитетах, в прессе, внутри правительства. Я понимал, что идет процесс вызревания и что в результате будут приняты великие исторические решения, в которых нуждается страна. Рузвельт внимательно прислушивался к общественному мнению, наблюдал, участвовал, не делая резких движений, готовый в нужный момент завершить спор решением.

За несколько месяцев до избирательной кампании президент должен был считаться с сильным изоляционист-

ским течением, и предвыборная осторожность, видимо, удерживала его от демонстративных жестов, которых ждали Союзники. Но помимо этого, как я думаю, его поведение определялось более глубокой установкой политика: никогда не вносить раскол в свою страну. Какими бы ни были его личные взгляды и как бы велика ни была его способность убеждать, решения, которые предстояло принять, были слишком важны и требовали единодушия. Он внимательно изучал результаты опросов и видел, как они регулярно менялись в желательную для него сторону. В сентябре 1940 года шестьдесят семь процентов американцев думали, что их страна в конце концов вступит в войну. Конечно, если бы пришлось голосовать, восемьдесят три процента высказались бы против этого, что легко объяснялось отсутствием прямого вызова со стороны Германии и даже конкретных представлений о том, что же такое нацистская агрессия. «Никто не думает на нас нападать и никто не в состоянии это сделать, — проповедовал Линдберг, разъезжая по всей стране. — Нам нечего бояться вторжения, если только сами американцы не спровоцируют его спорами между собой и вмешательством в европейские дела». Большинство американцев были за оказание помощи Англии, но *short of war*, согласно ходячему выражению: «не вступая в войну». По этому пути и мог продвигаться Рузвельт, что он и делал, передавая Англии эсминцы и большое количество вооружений и боеприпасов со складов американской армии. Но, следуя своему политическому инстинкту, он поспешал медленно, под бдительным присмотром своих противников, которые знали не хуже него, что, балансируя на грани *short of war*, в один прекрасный день можно втянуться в войну. Этот день должен был наступить, но к нему надо было подойти незаметно и в силу необходимости.

Меня не тревожило сопротивление, которое имелось в умах американцев, я был уверен, что оно будет слабеть по мере того, как эхо от европейской катастрофы будет доходить до сердца страны. Большую тревогу вызывало у меня сопротивление, которое я встречал в экономических структурах и в привычках американской администрации. Пёрвис показал

мне весьма разочаровывающие результаты исследования, которое я попросил его провести еще в последних числах мая. Возможности производить для Англии пушки, танки и корабли оказались крайне ограниченными, если только не планировать постройку новых заводов, а это означало бы отсрочку на двенадцать-восемнадцать месяцев. Американские промышленники сомневались в оправданности риска долгосрочных инвестиций в военную индустрию. К этому добавлялось упорное непонимание со стороны англичан, казалось бы, очевидных преимуществ поставок из Соединенных Штатов, находящихся вне досягаемости для бомбардировок. В Лондоне были нацелены на ближайшие задачи и отдавали приоритет поставкам американского оборудования, которое позволило бы быстро производить на месте, без валютных затрат, те типы британских вооружений, которые рассматривались здесь как самые лучшие.

Однако размещение военных заказов в Соединенных Штатах, будучи надежной гарантией продолжения войны и ее победоносного завершения, заморозило бы поставку машин, производящих машины. Кроме того, оставались в силе возражения министерства финансов, по-прежнему желавшего сохранить валютные резервы. Короче говоря, в отношении путей организации обороны, в умах царила изрядная путаница — в противоположность твердой решимости правительства и английского народа защитить свою страну. Подобное же противоречие между намерениями и действиями наблюдалось и в американской администрации. Было очевидно, что мы опаздываем с налаживанием механизма, необходимого для победы в войне.

Существовал хороший способ разрешить эти проблемы и кажущиеся противоречия: надо было сформулировать их простыми словами и ввести в широкий процесс обсуждения, о котором я говорил выше. В этом и должен был состоять в Вашингтоне мой вклад в военные усилия. Мне было нетрудно найти людей, готовых выслушать меня и превратить в решения те проекты, которые мы выработали вместе. Старые друзья помогли мне приобрести новых сторонников; все они

принадлежали к группе советников Рузвельта. Эта группа создавалась на неформальных началах, а связующим цементом было взаимное доверие ее участников. Среди фигур, сыгравших большую роль в это время, я назову в первую очередь Феликса Франкфуртера, члена Верховного суда. Австриец по происхождению, он выучил английский в возрасте двенадцати лет и блестяще окончил школу права в Гарварде, где позже сам и преподавал, после того как оставил карьеру практикующего «законника». Он сформировал не одно поколение юристов, многие из которых затем оказались вместе с ним в команде Рузвельта в эпоху «Нового курса». И вот теперь он поддержал своим высоким авторитетом борьбу против тоталитаризма; вскоре, помимо общего идеала, нас связала крепкая дружба, и я мог целиком и полностью рассчитывать на его помощь.

«Джастис» Франкфуртер — так здесь называют судей — не имел, конечно, официального поста в окружении президента, но мог входить в его кабинет, когда ему было нужно. Рузвельту не был свойствен формализм европейских государственных деятелей, и мне не нужно было представлять верительные грамоты, чтобы поговорить с ним: он понимал, что я не стану просить о встрече без серьезных причин, да я и не злоупотреблял такой возможностью. Проблемы престижа не играли никакой роли в этих кругах Вашингтона; здесь думали только о работе, которая в то время состояла преимущественно в том, чтобы готовить к войне страну, жившую в условиях мира. Франкфуртер, как и другие, не имел в этом никакой личной заинтересованности. Он не стремился занять политический пост, а те, кто взял на себя официальные функции — Стимсон, Макклой, Гарриман, Дин Ачесон, — рассматривали себя, скорее, как солдат, мобилизованных на государственную службу. Их основная специальность состояла в служении праву. Я познакомился с ними и проникся уважением к ним, когда они были еще юристами-практиками, представителями той специфически американской профессии, в которой компетентность и профессиональная техника находятся на самом высоком уровне. Влияние и материальные выгоды, связанные с этой профессией, неотделимы от

бескорыстия: во всяком случае, именно бескорыстие требовалось этим людям для того, чтобы оставить свои кабинеты ради работы с президентом.

Стимсон служил тридцать лет тому назад в качестве военного министра при другом президенте, республиканце Тафте. Он тоже окончил школу права в Гарварде, имел высокую репутацию в качестве юрисконсульта, был лишен политического темперамента и не стремился к политической карьере. Жесткий и волевой, он считался человеком с трудным характером, но свои обязанности военного министра он выполнял с такой самоотдачей, что у него не было недостатка в преданных помощниках. Мой друг Джек Макклой состоял при Стимсоне в должности помощника госсекретаря и, подобно своему шефу, был, что называется, адвокат-боец. На тридцать лет моложе Стимсона, он был такой же яркой личностью, обладал такой же моральной цельностью и горячим патриотизмом. Его открытость и сердечность завоевали ему не только уважение, но и любовь. У него была трудная молодость, они с матерью были стеснены в средствах, и ему приходилось работать, чтобы оплачивать свое юридическое образование. Его блестящий ум обеспечил ему репутацию блистательного «законника», а его человеческие качества привели его на политическую арену, когда он почувствовал, что свободе грозит опасность. Как и Стимсон, Макклой был республиканцем, но с энтузиазмом служил президенту-демократу Рузвельту. Несомненно, именно любовь к свободе подвигла этих выдающихся людей на то, чтобы поставить и свою карьеру, и свою компетентность на службу пока еще малопопулярному делу, но которому предстояло стать — они в это верили — делом всей нации. Будучи окружен столь сильными личностями, Рузвельт в полной мере осуществлял свою функцию: принимать окончательное решение. Даже его самый близкий помощник, Гарри Хопкинс, которого я узнавал все ближе и ближе, по мере того как возрастало его влияние на американскую политику и на ход войны, даже и он никогда не выходил из своей роли лояльного сотрудника и надежного исполнителя. Но в данном случае речь шла о столь исключительном и поразитель-

ном сотрудничестве, что в дальнейшем я позволю себе остановиться на этом подробнее.

Между всеми этими людьми происходил непрерывный обмен информацией и идеями. Мы вместе обедали — часто в нашем доме на Foxhall Road, — мы постоянно перезванивались, обменивались записками, в любое время дня и ночи. В наших дискуссиях принимали участие военные: генерал Бёрнс, лейтенант-полковник Оренд, которого в армии держали под подозрением из-за его связей с нашей группой; он не имел должности, ничем не командовал, зато всем было известно о его влиянии на решения Белого дома.

В Вашингтоне я приобрел привычку доверительного общения с выдающимися журналистами, такими как Уолтер Липман и Джеймс Рестон; их можно было подключать к самым важным обсуждениям, где их опыт оказывался чрезвычайно полезным, при этом ни у кого не возникало ни малейшего подозрения, что они могут злоупотребить полученной секретной информацией. Впрочем, секретная часть наших совещаний имела гораздо меньшее значение, чем публичные дебаты, которые постепенно подвигали общественное мнение в нужном нам направлении: к признанию необходимости вступления Америки в войну.

Роберт Шервуд, сотрудник Хопкинса, оставил свидетельство об этой эпохе в своей прекрасной книге «Рузвельт и Хопкинс»: «Француз Жан Монне, оставаясь за кулисами, пользовался большим влиянием в Вашингтоне. Этот деловой человек со спокойными и взвешенными манерами видел, как его страна рухнула под тяжестью ужасного поражения; он понимал, что Великобритания находится в двух шагах от гибели, — и все это произошло потому, что промышленники и военные не захотели, или не смогли осознать, что современная война — это война тотальная. Монне не уставал убеждать всех в необходимости максимально увеличить производство оружия. Его позицию хорошо выражала одна фраза, которую он любил повторять: “Лучше, если десять тысяч танков окажутся лишними, чем если не хватит одного”». Таким был взгляд со стороны на меня и мою позицию. К сказанному я могу добавить, что тогда, в конце 1940 года, как раз в количе-

стве танков мы были далеки от того, чтобы ликвидировать наше отставание.

Мы с Пёрвисом объясняли руководителям в Лондоне, что американцы предпримут необходимые усилия в увеличении выпуска вооружений только под сильным давлением и что наиболее действенной формой такого давления, как многие здесь считают, были бы четкие запросы о поставках. Такие запросы могли бы прояснить ситуацию в положительном или отрицательном плане, но в любом случае мы бы сделали из этого определенные выводы. Именно с этой целью в Вашингтон прибыл директор программ в английском министерстве по снабжению, сэр Уолтер Лейтон, имея при себе внушительный список заказов: речь шла о комплекте вооружений для десяти вновь создаваемых дивизий и девяти тысячах самолетов в добавление к четырнадцати тысячам, заказанным ранее. Было ясно, что у Англии не было трех миллиардов долларов, чтобы оплатить эти заказы по принципу *cash and carry**, которым все еще продолжали руководствоваться. Но мы решили поломать установленный финансистами порядок определять потребности в соответствии с имеющимися ресурсами; было бы абсурдом следовать этой логике, когда речь идет о спасении свободного мира: для достижения такой цели всегда можно найти необходимые финансовые средства. Главное — проявить волю и оказать воздействие на умы людей, поставив перед ними великую цель.

Такой же позиции придерживался и британский министр авиации лорд Бивербрук, благодаря энергии которого английская авиационная промышленность стала постепенно превышать те пределы производства, которые были ей опасно предписаны. Бивербрук был очень сильной личностью, он внушал уважение прессе, а дружба с Черчиллем позволяла ему играть важную роль в военном кабинете. Он разделял нашу концепцию *over all production*** , как и Эдвин Плауден,

* Плати и забирай.

** Глобальное производство.

генеральный секретарь министерства авиации и выдающийся администратор, с которым в дальнейшем мне не раз доводилось встречаться как с другом и партнером по переговорам. Лейтон пользовался поддержкой двух вышеназванных лиц, и его миссия, казалось, должна была увенчаться успехом, особенно после того как 30 октября Рузвельт заявил в Бостоне, что он готов удовлетворить английский заказ на двадцать шесть тысяч самолетов и что он хочет превратить Соединенные Штаты «в самую сильную в мире авиационную державу». Три дня спустя Рузвельт был переизбран президентом, изоляционизм приказал долго жить. Однако наши проблемы нельзя было решить одним махом. Даже при наилучших намерениях движение по открывшемуся пути было затруднено отсутствием необходимых механизмов. Надо было изменить слишком административно-формальные отношения между Англией и Соединенными Штатами, придумать более прямые и основанные на доверии методы сотрудничества. Время напряженных переговоров, вроде тех, которые вел Лейтон, должно было закончиться. В письме к Сальтеру, который был в Лондоне главой комитета по англо-американским торговым поставкам, я постарался сделать выводы из изменившейся ситуации и подготовить наших английских друзей к новым масштабам в обеспечении военных усилий:

«Цель, которую мы ранее перед собой поставили, теперь в основном достигнута: начала осуществляться расширенная программа самолетостроения, предусматривающая дополнительный выпуск тысячи пятисот самолетов в месяц с конца 1941 года; выпускаются самолеты такого типа, чтобы они могли использоваться как в американской, так и в английской армии. Заложена база для массивных поставок вооружений. Америка согласилась поставить вооружения, необходимые для оснащения десяти английских дивизий. Таким образом, производство английского вооружения заложено теперь в американские военные программы.

Все это было сделано, но сделано слишком медленно и в недостаточных масштабах.

Мы в каком-то смысле «приспосабливаемся» к военным и промышленным ситуациям и начинаем действовать в

них административными методами, как если бы война была нормальным способом существования и нам предстояло бы и дальше вести такой образ жизни. Попытки отсидеться за линией Мажино и английские программы снабжения, составившиеся в 1939 году в расчете на 1942, — яркие и драматические проявления такого менталитета... Между тем, война — это катастрофическое положение вещей, которому необходимо срочно положить конец. В Лондоне, вплоть до самых высоких сфер, никак не могли понять, что объем английской промышленности, если и позволит стране продержаться, не позволит ей выиграть войну. Наступил момент полностью поменять наши подходы и отнестись к Соединенным Штатам как к партнеру, готовому снабдить Англию всем необходимым, дабы она «довела работу до конца».

Мы вступили в новую фазу войны, поскольку она теперь затрагивает и Соединенные Штаты. Защита Англии теперь воспринимается американцами как защита Америки. Более того, они готовы сделать для Англии все, чего она потребует. Правда, в настоящий момент они не хотят вступать в войну, но придет момент — я думаю, уже в следующем году, — когда они будут к этому готовы. Однако американское правительство хотело бы этого избежать, и если бы Англия смогла сама выиграть войну при всемерной помощи Соединенных Штатов, но без активного участия последних в военных действиях, то это стало бы величайшим триумфом международной политики Рузвельта...»

В заключение я предлагал линию действия в ситуации, которая, по-видимому, созрела для этого:

«Именно Англия должна заговорить первой, заявить ясно, чего она ожидает от Соединенных Штатов, — и сделать это как можно убедительней... Сейчас нужно направить президенту и его администрации полный реестр того, в чем Англия нуждается для победоносного завершения войны <...>. Финансовый *gap** — а таковой будет, и весьма значительный, — надо предоставить закрыть Рузвельту таким способом, который он сам изберет. Я убежден, что, если дело объяснить

* Дефицит, расхождение.

соответствующим образом, Соединенные Штаты, в конце концов, просто подарят Англии необходимые ей вооружения. Все жители Америки единодушно и даже с гордостью поддержат такое политическое решение».

В этом письме от 15 ноября уже можно проследить основные направления мысли, которым мы следовали и которые привели к важнейшим решениям в 1941 году: найти срочное, пусть даже и мнимое, решение финансовой проблемы; составить общий баланс потребностей и ресурсов; при этом приоритет надо было отдать потребностям, что предполагало изменение ментальности, характерной для Великобритании; нужна была также вера в возможность направить американскую промышленность в нужную сторону. Все эти трудности удалось быстро преодолеть с помощью оперативных решений — знак того, что заложенные в основу идеи достигли необходимой зрелости. Прежде всего, соглашение о *ленд-лизе** позволило выйти из финансового тупика. После этого можно было прямо взглянуть в лицо дефициту военных ресурсов и оценить без головокружения колоссальные потребности, выявленные с помощью новой балансовой таблицы. После того как Америка фактически стала на сторону Союзников, предстояло найти новые формы диалога с Англией; этому помогло посещение Хопкинсом Лондона и плодотворное дружеское сотрудничество, установившееся между Черчиллем и Рузвельтом. Наконец, логика событий заставила американскую экономику переориентироваться на военное производство: срочная необходимость диктовала смену приоритетов. Так был открыт путь к «Программе во имя победы»: против европейских и азиатских диктатур двинулась самая мощная военная машина, какую когда-либо знал мир. Всеми своими силами я способствовал тому, чтобы такая машина была создана и приведена в действие. А для этого нужна была несгибаемая воля группы людей, сплотившихся вокруг носителя власти и ответственности, обладавшего невиданными возможностями и опиравшегося на широкую поддержку общественного мнения.

* Отсроченная оплата.

Арсенал для демократий

В начале декабря Рузвельт отправился в двухнедельное путешествие на своей яхте «Tuscaloosa» по Карибскому морю. Он взял с собой нескольких сотрудников и, казалось, на время забыл о трудных проблемах, среди которых на первом месте стоял долларовой дефицит Британии, требовавший срочных и энергичных мер. Все английское имущество на территории Соединенных Штатов было направлено на погашение долга, но этого было явно не достаточно. Надо было найти какой-то окольный путь, чтобы миновать правило *cash and carry*, но такой маневр мог придумать и отстоять только президент. Это была сфера его ответственности, он это знал и, как нам было известно, рассматривал несколько формул. Его колебания вызывали тревогу у Черчилля, решившего послать ему 8 декабря драматическое письмо, которое было доставлено гидропланом прямо на борт президентской яхты. Это письмо, очень длинное и возвышенное по мыслям, не содержало ни жалоб, ни даже призыва к американскому военному вмешательству. Черчилль указывал на общность судеб двух стран перед лицом опасности и соглашался, чтобы Англия и далее несла тяжесть сражений на поле боя, если Америка будет поставлять оружие, самолеты и возьмет на себя защиту конвоев. «Вы можете быть уверены, — писал он в заключение, — что мы покажем себя способными выносить страдания и жертвовать жизнью ради общего дела. Что касается остального, мы с полным доверием полагаемся на вас и на ваш народ, уверенные, что вы найдете пути и средства, к которым грядущие поколения, по обе стороны Атлантики, отнесутся с одобрением и восхищением».

Под сильным впечатлением от письма, Рузвельт перечитывал его снова и снова, размышляя о «путях и средствах». Этот вопрос был не столько техническим, сколько психологическим: надо было представить его таким образом, чтобы и конгресс, и общественное мнение одобрили решение, уже принятое президентом в глубине души, — безвозмездно предоставить Англии всю необходимую ей помощь. Выходом оказалась идея *ленд-лиза*, такая же простая, какой будет позд-

нее идея плана Маршалла. Но чтобы такие идеи появились на свет, в душе руководителя, как и в душе его народа, исключительная сила должна соединиться с исключительным великодушием. К этому следует добавить гениальную способность Рузвельта облекать свои решения в убедительную для общества форму. Так, сразу же после своего возвращения из отпуска, он стал пропагандировать перед американским общественным мнением безвозмездный дар англичанам под видом предоставления в длительную аренду военных материалов (которые на самом деле никогда не будут оплачены).

Он сказал своим соотечественникам: «Предположим, у моего соседа загорелся дом, а у меня есть очень длинный пожарный шланг. Не стану же я ему говорить: «Сосед, пожарный шланг обошелся мне в пятнадцать долларов. Я вам предоставляю его, если вы заплатите мне пятнадцать долларов». Нет, я отдам ему шланг, а деньги получу, когда пожар будет потушен. «Эта гениальная притча попала прямо в цель: был дан мощный толчок сознанию людей и тем дебатам о *ленд-лизе*, которые вскоре начались в конгрессе и по всей стране. «У огромного большинства американцев, — продолжал Рузвельт, — не может быть сомнения, что наилучшей защитой для Соединенных Штатов будет успех Великобритании в отражении нависшей над ней опасности». Я был рад услышать, как президент категорически осудил табу, с которыми я боролся на протяжении многих лет. «Никогда в истории великая война не была проиграна из-за недостатка денег. То, что я в данный момент хочу устранить, это суеверное отношение к доллару».

Отныне союз двух великих демократий был скреплен и ничто более не мешало стране, которая оказалась в лучшем положении, использовать все свои возможности, чтобы усилить страну, которая была под ударом. «Соединенные Штаты, — сказал я однажды моим друзьям, — должны стать огромным арсеналом, арсеналом для демократий». Феликс Франкфуртер прервал меня: «Прекрасная формула, но обещаю мне больше ее не употреблять». — «Почему?» — «Потому что я надеюсь вскоре найти ей великолепное применение». Несколько дней спустя, 29 декабря, мы слушали вместе знаменитую радиопередачу «Разговоры у камелька». В ней

Рузвельт сказал: «Мир с нацистами возможен только ценой потери нацией своего достоинства... Такой вынужденный мир был бы не миром, а временным перемирием, за которым неизбежно последовала бы колоссальная гонка вооружений, являющаяся самой разрушительной экономической войной из всех, какие знала история. Залезая под одеяло, мы не спасемся ни от опасности, ни даже от страха перед опасностью. Мы должны производить оружие и корабли, направив на это всю нашу энергию и все наши ресурсы... *Мы должны стать великим арсеналом для демократий*». Оказывается, после нашего разговора Франкфуртер отправился в Белый дом и вставил эту фразу в речь президента, которую готовил Хопкинс. Кто-то заметил: «Речь идет о демократиях, значит ли это, что Россия не сможет воспользоваться *ленд-лизом*?» На что было отвечено: «Неважно. Формула слишком удачна, чтобы обращать на это внимание».

Первое большое препятствие было преодолено. Пока только на словах, и потребовалось еще три месяца юридических и политических баталий, чтобы решение приобрело силу государственного акта. Но и слова, когда они являются выражением решимости президента, имеют значение международного обязательства и могут оказывать опережающее действие. Рузвельт искусно пользовался этой магической властью в мире, где решения нескольких лиц означали жизнь или смерть для миллионов мужчин и женщин. Поэтому его выступления были событиями, которых ждали, на которые надеялись или которых опасались. Шервуд, принимавший участие в подготовке выступления президента 29 декабря, рассказывал, что в эту ночь немцы подвергли Лондон одной из самых свирепых бомбардировок за всю войну, чтобы нейтрализовать воздействие послания надежды, которое пришло к англичанам из Вашингтона. *Ленд-лиз* означал, как психологически, так и фактически, поворотный момент в войне, и позднее я получил тому не совсем обычное подтверждение. Один американский солдат, заброшенный с парашютом в Нормандию в 1944 году, был встречен как освободитель на ферме, где, к своему удивлению, он увидел на стене календарь с датой 11 марта 1941 го-

да. «Вы отстаёте от времени», — сказал он своим хозяевам. — «Мы перестали отрывать листки календаря, — ответили ему, — в тот день, когда узнали по радио о том, что закон о *ленд-лизе* принят. Для нас это был день, когда Германия проиграла войну». Такую историю нельзя выдумать, и я верю тому, кто мне ее рассказал. Эти нормандские фермеры слушали радио из Лондона, и они, конечно, слышали фразу из обращения Черчилля к американскому народу: «Дайте нам инструменты, и мы закончим работу».

Теперь для нас пришло время приступить к решению второй важнейшей задачи: сконцентрировать усилия американской промышленности, превратить ее обособленные центры в единый арсенал. Теперь надо было наметить задачи не по отношению к имеющимся финансовым ресурсам, а по отношению к реальным потребностям войны, с тем, чтобы подавить неприятеля. Для Великобритании такой подсчет означал переворот в умах, но в Соединенных Штатах дело обстояло иначе. Здесь никогда не боялись думать сначала о том, что надо сделать, а уже потом — можно ли это сделать: *a priori* признавалось, что то, что необходимо, то и возможно. Поэтому в меморандуме, составленном мной уже в конце ноября, я установил следующий порядок приоритетов:

1. Определить объемы необходимых поставок.
2. Определить, какое именно оружие необходимо.
3. Только затем рассматривать вопрос, как это оружие произвести.

Последний вопрос требовал промышленного решения, но он меня не беспокоил. Я не придерживался наивной точки зрения, будто американский промышленный потенциал безграничен. Но я знал Соединенные Штаты и был уверен, что возможности американского производства не используются в полной мере. И, что еще важнее, я верил, что этот энергичный народ способен создать новые возможности, отвечая на вызов времени. Старая логика требовала, чтобы мы сначала обратились к промышленникам и спросили, что они в состоянии производить. Но большинство промышленников этого не знало и могло узнать лишь на опыте, получив гарантированные заказы и начав процесс расширения производства.

Что такой процесс потребует трансфертов, ограничений гражданского производства, не подлежало сомнению, но дело президента было подготовить к этому общественное мнение.

Какое именно оружие следовало производить — это была проблема стратегическая, и решать ее должны были военные. Зато первый пункт требовал общего взгляда, и ответ на него могли дать только мы с Пёрвисом, потому что общий объем поставок вытекал из баланса ресурсов и потребностей, для которого только у нас имелись если и не все исходные данные, то, во всяком случае, метод и опыт, позволявшие эти данные собрать. Я не сомневался, что новая балансовая таблица, которая должна была сопоставить суммарные данные Германии, Италии и Японии с такими же данными Англии и Соединенных Штатов, выявит серьезный дефицит, и я надеялся, что это стимулирует воображение правительства и народа и побудит их согласиться на неизбежное сокращение гражданского производства.

Первый шаг состоял в том, чтобы определить размеры британского дефицита, и Пёрвис занимался этим в Лондоне до конца года. Англичан испугало огромное расхождение между глобальными потребностями, необходимыми для победы в войне в течение двух ближайших лет, и теми программами, которые они сами для себя составили. Они отказывались представить столь негативное сальдо даже не столько из страха напугать американцев, сколько из опасения, что, приняв на себя заполнение разрыва, те перестанут поставлять британской промышленности сырье и машины для производства машин: это было все то же представление о мире как о чем-то законченном, где усиление одного союзника неизбежно влекло за собой ослабление другого... Таким образом, мы вынуждены были сами составить баланс, избрав при этом самую жесткую альтернативу, зная, что американская администрация нуждалась в шоковом воздействии. Рузвельт ждал, чтобы его действия были подкреплены самыми высокими требованиями: он, не дрогнув, принял цифру в десять миллиардов долларов, необходимых, чтобы оказывать помощь Англии вплоть до июня 1942 года. Как и мы, он знал, что такой рывок осуществить невозможно, во всяком случае,

в столь короткий срок, но столь грандиозная задача в каком-то смысле придала ему силы. Цифра, на которой он остановился и которая служила для первых прикидок по *ленд-лизу*, составила семь миллиардов долларов. В октябре конгресс проголосовал за предоставление необходимых для этого дополнительных шести миллиардов.

Цифры, содержащиеся в наших расчетах, ярко высветили слабость прежних программ, на которых Великобритания основывала свои надежды на успешное продолжение войны. Так, шестьдесят кораблей, которые Соединенные Штаты должны были поставить к концу 1942 года, превратились, после принятия закона о *ленд-лизе*, в тысячу двести, а общий тоннаж возрос с четырехсот тысяч до шести миллионов тонн. Поставки самолетов, особенно тяжелых бомбардировщиков, должны были быть удвоены и составить пятьдесят тысяч машин на два ближайших года. Программа по танкам тоже была удвоена, по пулеметам — увеличена в четыре раза. Мы были далеки от того, чтобы иметь «тысячу лишних танков», о чем я якобы говорил, но мы серьезно приблизились к параметрам, которых требовала навязанная нам противником тотальная война. Отсюда становится ясным значение американской программы и то деморализующее влияние, которое она оказала на нацистов. Выразительная фраза Черчилля: «The most unsordid act in the history of any nation»* — уже не кажется преувеличением перед лицом этих цифр.

Однако мы не могли закрывать глаза на то, что на всем протяжении 1941 года будет сохраняться опасный дисбаланс, и балансовая таблица была его показателем, но никак не лекарством от него. Я знал из опыта, что требуется четыре месяца, чтобы получить правдивый баланс, два месяца — чтобы составить программу, а затем восемнадцать месяцев — чтобы внедрить ее в полный цикл производства. Именно поэтому я всегда торопился и торопил других. Все мои записи того времени пестрят словом *now****, да к тому же еще и подчеркнутым.

* «Самый великодушный акт в истории наций».

** Немедленно.

От нашей быстроты зависели бесчисленные человеческие жизни. «Если *gap* («разрыв») 1941 года может быть ликвидирован, — писал я Рузвельту в начале января, — война окажется короче на целый год». Действительно, большинство поставок по новым заказам могли придти только в 1942 году. Бомбардировщики, выпущенные в Соединенных Штатах в 1941 году, были заказаны еще в начале войны; наши усилия, которые мы затратили в то время и которые могли показаться бесполезными после капитуляции Франции, теперь приносили свои плоды и помогали Англии выстоять. Точно так же, и наши сегодняшние усилия завтра послужат завоеванию победы.

Те несколько месяцев, которые мы потратили, пытаясь согласовать британские потребности с американскими возможностями, и особенно — умственный пастрой гражданских и военных администраций обеих стран, показали мне, что системы связей, налаженных *British Purchasing Commission**, ныне превратившейся в *British Supply Council*** , уже не отвечали назревшим требованиям тотального альянса. Конечно, американское правительство из осторожности долго делало вид, будто стоит в стороне от военных усилий англичан, которые, со своей стороны, сохраняли собственное достоинство и просили только технической помощи. На этой стадии наши технические службы, с их активностью и компетентностью, вполне обеспечивали переговорный процесс. Однако можно было только удивляться, что политические взаимоотношения между руководителями двух держав, объединенных таким количеством связей, оставались в рамках протокола и дипломатической переписки. Черчилль писал Рузвельту, с которым у него еще не было случая встретиться лично, откровенные и уважительные письма со странной подписью: «Бывшее лицо морского флота». Конечно, именно Рузвельт придумал в шутку этот прозрачный псевдоним, которым английский премьер пользовался всю войну. Если не считать этой маленькой фамильярности, между двумя лидерами не было никаких личных отношений.

* Британская комиссия по закупкам.

** Британский комитет по снабжению.

В декабре 1940 года скоропостижно умер английский посол в Вашингтоне лорд Лотиан. Этот дипломат, обладавший возвышенным умом и изысканными манерами, был прекрасным посредником, весьма облегчавшим начавшее устанавливаться доверие между руководителями двух стран. С его кончиной и тот, и другой потеряли общего друга. Как раз в это время мы узнали, что Рузвельт направляет в Лондон Хопкинса для того, чтобы на месте оценить обстановку и установить прямые контакты с английским правительством. Мне было ясно, что это было равнозначно тому, как если бы сам Рузвельт отправился в Лондон в лице своего ближайшего помощника; таким образом, при соблюдении необходимых психологических условий, контакты между двумя высокими руководителями могли стать более тесными и подняться на новый уровень.

В политических кругах Вашингтона, где все часто встречались между собой, я познакомился с Хопкинсом, но сначала между нами не было никаких личных контактов. Он жил в то время в Белом доме, в квартире, специально отведенной по указанию Рузвельта для его ближайшего сотрудника, который не имел официальной должности и не получал зарплаты, поскольку по состоянию здоровья ушел с поста министра торговли. Впрочем, практически он этот пост никогда и не занимал. Уже многие годы он был самым влиятельным советником президента Соединенных Штатов. В момент, когда Рузвельтом был объявлен «Новый курс», Хопкинс занимался социальными проблемами. В его лице президент имел человека выдающегося ума, прямого и преданного. В Белом доме Хопкинс то появлялся, то исчезал, что было связано с колебаниями его здоровья, которые затрагивали только его физическое состояние, но не влияли на силу его ума.

Его окружало всеобщее уважение, и это было связано не только с его особым положением при президенте, но также, и главным образом, с тем, как он пользовался своим влиянием, — скромно, бескорыстно и на пользу делу. Мне редко приходилось видеть, чтобы два интеллекта и два характера до

такой степени сливались между собой. Рузвельт был натурой открытой и щедрой, с постоянно работающим воображением. Хопкинс был сдержанным, внешне холодным, часто язвительным. Физически он казался хрупким. Но те, кто имел с ним дело, знали его как человека, заряженного сконцентрированной энергией, страстного и бескорыстного. У него с Рузвельтом было достаточно общего, чтобы между ними могла возникнуть крепкая дружба, и достаточно взаимодополняющих качеств, чтобы вместе они составили мощную движущую силу на вершине государства.

Рузвельт обычно выражался общими, расплывчатыми фразами, Хопкинс подхватывал их и превращал в четкие действия. Этот так называемый интеллеktуал, вышедший из команды, формировавшей «Новый курс», был в действительности человеком организации и конкретных решений. Или, во всяком случае, он стал таковым, чтобы помогать президенту, которым он искренне восхищался и для которого в этот период великих потрясений его присутствие в любой час дня и ночи стало жизненной необходимостью. Конечно, не было недостатка в людях, которые высказывались критически об этом столь исключительном доверии. Уэндел Уилки, неудачливый соперник Рузвельта, рассказывал, что однажды тот сделал ему признание: «Вы удивляетесь тому, что рядом со мной все время находится этот едва живой персонаж. Но, может быть, когда-нибудь вы окажетесь здесь, на моем месте. Вы будете смотреть на дверь напротив, и каждый раз, как она будет открываться, вы будете спрашивать себя: «Ну а этот-то чего от меня хочет?» Вы увидите, до какой степени одинок президент Соединенных Штатов, и вы оцените присутствие такого человека, как Гарри Хопкинс, который не просит ничего, кроме возможности быть вам полезным».

Служить, в понимании Хопкинса, означало переводить в реальный план мысль и воображение Рузвельта, всегда устремленные к универсальному. Овальная кабинета Белого дома был выражением личности его хозяина: это был маленький морской музей с экспонатами, уводившими к далеким горизонтам, в отдаленные уголки земного шара, который был известен президенту в мельчайших подробностях, как геогра-

фических, так и политических. Хопкинс же, которому еще не доводилось бороздить океаны, прекрасно ориентировался в административных лабиринтах и успешно проводил сквозь них масштабные замыслы президента. Никто не ставил под сомнение передаваемые через него приказы Рузвельта: всем было известно, что Хопкинс никогда не использует в собственных целях столь щедро делегированную ему власть. Фактически, он был начальником генерального штаба американской державы.

Именно в этом качестве готовилось принять Хопкинса английское правительство, и встречи с различными министрами и руководителями администрации были организованы так, чтобы он мог получить самую полную информацию. Я был немного удивлен, что в столь критический момент *alter ego* президента отправился в дипломатический вояж с миссией, которую легко мог выполнить государственный секретарь, тогда как главным пробелом в государственной политике оставалось отсутствие прямых и постоянных контактов между первыми лицами обеих стран. Но поскольку, по видимому, было еще не время Рузвельту и Черчиллю устанавливать между собой тесные личные связи, к чему оба они явно стремились, все указывало на то, что именно Хопкинсу предстояло завязать доверительный диалог между двумя берегами Атлантики. Я поделился своими соображениями с Феликсом Франкфуртером. Я сказал ему: «Хопкинс только потратит время в разговорах с Бевинем и прочими. Он должен сконцентрироваться на Черчилле». — «Вы готовы сами ему об этом сказать?» — «Конечно».

Несколько дней спустя «мистер Джастис» устроил нам встречу у себя. Я изложил свою позицию Хопкинсу: «Я видел, как делаются дела в Англии. Поверьте, вся сила власти сосредоточена там в руках Черчилля. Он-то и есть военный кабинет. Все станет намного проще, если вы установите между Черчиллем и Рузвельтом доверительные отношения». Хопкинс не мог скрыть, что его удивляет моя настойчивость именно в этом пункте, и я понял, что у него было предубеждение против Черчилля: его раздражала легенда, окружавшая английского премьера.

10 января 1941 года Хопкинс прибыл в Лондон и тотчас же явился на Даунинг Стрит 10. «С этого момента, — пишет Черчилль в своих мемуарах, — между нами завязалась дружба, которая сохранилась неизменной при всех превратностях и катаклизмах. Он был самым верным и самым выдающимся посредником между президентом и мной». Не позже 14 января он послал президенту каблогранму: «Я вам чрезвычайно признателен за то, что вы направили ко мне человека столь исключительных качеств и пользующегося столь широким и полным доверием с вашей стороны». В тот же день Хопкинс писал президенту: «Английское правительство — это Черчилль. Он один решает вопросы высшего стратегического значения. Я хотел бы всемерно подчеркнуть: здесь это единственная личность, с которой вам необходимо установить полное согласие». Миссия Хопкинса продолжалась целый месяц, насыщенный переговорами с Черчиллем в дневное и в ночное время, и обозначила прорыв в истории англо-американских отношений. Единство двух стран было наконец закреплено на самом высоком уровне.

На Хопкинса произвела большое впечатление невозможность англичан под непрерывными бомбардировками. Во время аудиенции Хопкинса в Букингемском дворце представители королевской фамилии вместе со своим гостем спокойно спустились в бомбоубежище, где продолжали обсуждать вероятность того, что в недалеком будущем немцы сделают попытку высадиться на Британских островах. Отныне Хопкинс употребит все свое влияние, чтобы усилить помощь Англии: теперь это станет для него уже не проблемой цифр, но делом, связанным с сохранением человеческих жизней. Этот опыт убедил его в том, что я был прав, когда говорил ему о несокрушимой решимости английского народа и правительства, и с этого времени он стал слушать меня более внимательно. Однажды он зашел к нам домой, и мы провели вечер в семейном кругу. Когда он собрался уходить, я спросил: «Быть может, вы хотели обсудить со мной какие-то вопросы?» — «Нет, нет, — ответил он, — я просто хотел познакомиться с вами поближе». Доверие и дружба, которые установились между нами, впоследствии очень облегчали мою работу.

В Вашингтоне считали нормальным, что я появлялся и действовал в любое время и везде, где мог быть полезным, и никто не спрашивал, не выхожу ли я за границы — по правде говоря, очень эластичные — моих полномочий как члена *British Supply Council*. Я подавал идеи и был очень доволен, если их принимали. Я никогда не пытался вмешиваться в те области, которые выходили за пределы моей компетенции, но многими среди них я мог бы заинтересоваться, если бы не взял себе за правило заниматься только одной вещью зараз. Мне казалось естественным постараться убедить Черчилля, Рузвельта, Хопкинса, поскольку от них зависел наиболее прямой путь к решению вопроса, — так же, как это было двадцать пять лет назад с Вивиани, Мильераном и Клемансо. Для меня не вставал вопрос: подсказывать ли специальному посланнику президента линию поведения? Я думал не о том, что рискую вызвать его неудовольствие, а о том, чтобы дать ему правильный совет. Точно так же, предложить президенту какие-то мысли для его выступления, поработать над их формулировками не казалось мне ни нелепым, ни бесполезным, какими бы ни были результаты моих попыток. Всем было известно, что я не искал личной выгоды, не стремился занять какой-либо пост, и это позволяло мне быть настойчивым и требовательным. Мои усилия не всегда увенчивались успехом и очень редко — с первого раза. Мне было достаточно знать, что успех возможен, — и это, безусловно, так и было. Еще одним подтверждением моей правоты стал эпизод с Рузвельтом, происшедший несколько дней спустя после того, как он произнес фразу об «арсенале для демократий».

Поскольку я был французом, ко мне редко обращались за советом, но к моему мнению в Вашингтоне прислушивались более, чем к мнению любого другого француза: тех, кто принадлежал к Сопротивлению, в Соединенных Штатах было мало, и они интриговали друг против друга; те, кто представлял Виши, не пользовались доверием. Я не встречался ни с теми, ни с другими. Я видел, что помощь Англии была приоритетной задачей для Соединенных Штатов и что тем самым судьба Франции временно отодвигалась на второй план.

Хотя я не отказался от надежды, что Французская империя вернется в войну и займет свое место рядом с союзниками, такая перспектива становилась все более сомнительной, ввиду той пропаганды, которая велась внутри Франции, и того уныния, которое там царило. Все, кто стремился к свободе, видели в Англии главную надежду и стремились защитить ее в первую очередь. Надо было, чтобы Франция получила сильную поддержку со стороны Америки.

В конце декабря 1940 года я написал памятную записку Рузвельту, который готовил свое годовое послание конгрессу. «В настоящее время, — писал я, — Франция подвергается сильному давлению со стороны немцев, желающих ее присоединения к «новому порядку в Европе», ее отказа от своих баз в Северной Африке и от своего флота. Вплоть до сегодняшнего дня им не удалось добиться этих столь для них существенных целей. При поддержке и, вероятно, под давлением общественного мнения Петен отказывается пойти на уступки. При этом он вынужден также учитывать позицию представителей французского правительства в Северной Африке, Вейгана и других, заявивших, что будут сопротивляться любому вторжению на их территорию. Эти две силы, несомненно, черпают мужество в сопротивлении англичан, но последняя их надежда связана с Соединенными Штатами. Какова же позиция Соединенных Штатов и их президента по отношению не только к Англии, но к Европе в целом, а значит, и по отношению к Франции как жизненно важной части Европы? Вот о чем спрашивают себя мужчины и женщины во Франции, равно как и руководители в Северной Африке».

Молчание Рузвельта в ответ на этот вопрос могло быть плохо истолковано. Однако он уже готовился сказать то, чего от него ждали люди во всем мире. В своей записке я продолжал: «Невозможно переоценить значение такого заявления и отклик, которое оно получит не только здесь, но и в Англии, и в странах Оси, и во Франции... Необходимо, чтобы повсюду стало известно о позиции Соединенных Штатов в отношении тоталитарного «нового порядка», который Гитлер стремится навязать Европе посредством принуждения и страха. Никакой новый европейский порядок не может быть уста-

новлен без согласия французов... Ваше выступление может оживить их волю к сопротивлению, подчеркнув связь между безопасностью Соединенных Штатов и их отказом признавать любой «новый порядок», основанный на силе».

Послание Рузвельта от 6 января 1941 года, известное под названием «Декларации о четырех свободах», получило широкий резонанс. Рузвельт обещал людям мир, в котором они будут пользоваться свободой слова и совести и будут освобождены от нужды и страха. «Такое мироустройство, — говорил президент, — является прямой противоположностью так называемому «новому порядку», тирании диктаторов, навязанной с помощью бомб. Такому «новому порядку» мы противопоставляем более высокую концепцию мирового порядка, основанного на морали». Это обещание делалось не ради формы. «Я прошу у конгресса, — завершал свое послание Рузвельт, — ассигнований, необходимых для увеличения производства разных видов оружия, предназначенного для воюющих народов, ставших жертвой агрессии. Самая большая и самая срочная необходимость для нас состоит в том, чтобы превратить нашу страну в арсенал, кующий оружие и для них, и для нас самих».

Подавляющее превосходство

Только 26 мая 1941 года Рузвельт решился объявить в стране «всеобщее чрезвычайное положение». Это означало конец мнимой «свободы предпринимательства» (*business as usual*) и позволяло правительству определять приоритеты в области производства вооружений за счет гражданской продукции и потребительских товаров. Я уже давно понимал необходимость такой меры, если Соединенные Штаты хотели помочь Англии и одновременно обеспечить свою собственную защиту. Но главная проблема, как я ее видел, заключалась в другом: до какого предела Америка должна была мобилизовать свои силы, чтобы подавить противника? На этот вопрос никто не мог ответить, для этого не хватало объективных данных, а американские военные тем временем не спеша экипировали двухмиллионную армию, явно не доста-

точную, чтобы атаковать немцев в Европе. Однако я не сомневался, что развитие событий неизбежно вынудит Соединенные Штаты вступить в войну в 1942 году. В этот момент военные потребуют вооружений, которые не смогут быть им предоставлены ранее, чем через шесть месяцев, а то и через год. Значит, надо было заранее позаботиться обо всем необходимом. Теперь, когда было объявлено чрезвычайное положение, у нас были развязаны руки, чтобы привести в действие развернутую программу, нацеленную на победу в войне. С 28 мая мы с Макклоем принялись за подготовку инструкций, которые Стимсон должен был направить во все инстанции, с тем чтобы подготовить исчерпывающую балансовую таблицу англо-американских военных потребностей в сопоставлении с немецкой военной мощью.

В одной из многочисленных групп советников, созданных Рузвельтом, мое внимание привлек блестящий экономист, недавно покинувший Рокфеллеровский фонд, чтобы помогать правительству в подготовке к войне, которая, как считал этот экономист, была неизбежна. Стейси Мэй был в расцвете сил, исполнен энтузиазма, и я решил, что именно он способен построить то грандиозное сооружение из цифр, которое было нам необходимо, чтобы сделать четкие выводы. Как нам удалось убедить военных заполнить обширные опросные листы, в которых каждый пункт представлял собой государственную тайну, — это наш секрет, помогавший мне и в дальнейшем добиваться успеха во многих других начинаниях. Секрет этот настолько прост, что, как правило, никто о нем не догадывается: суть в том, чтобы правильно поставить вопрос и разыскать того, кто на него честно ответит, — а такой человек всегда где-нибудь да найдется. Но, чтобы этого добиться, надо много потрудиться: «просто» не значит «легко». Эту задачу я взял на себя. Стейси Мэй сопоставил цифры и пришел к первым общим оценкам, масштабы которых могли ошеломить, но только не тех людей, которые понимали, что усилия Соединенных Штатов еще далеки от того, что необходимо.

Наступил период, который американцы называют *hctic days* («лихорадочные дни»): размышления завершены — начинается действие. Мысль правительства должна была со-

средоточиться на единственной задаче: сколько и чего надо произвести, чтобы к концу 1942 года получить материальный перевес над немцами? Ответ мы получили только после того, как Стейси Мэй закончил гигантскую работу по инвентаризации, которую он вел в Лондоне в течение лета. Он вернулся оттуда с полным балансом на шестидесяти страницах — одним из самых секретных документов, какие только существовали во время войны; если бы он попал в руки немецкой военной разведки, то она получила бы исчерпывающие данные о том, какую продукцию могли и намеревались произвести Союзники. Но поскольку в то время ни одна секретная служба не интересовалась безобидным экономистом, он в конце августа спокойно вернулся без всякой охраны, как нормальный пассажир, со своим сверхсекретным документом под мышкой. Содержание документа, когда с ним ознакомились в Вашингтоне, вызвало горестное изумление.

Редко бывает, чтобы балансовая таблица поступила так вовремя и так хорошо выполнила бы свое назначение носителя информации и стимулятора к действию. Когда выяснилось, что американское производство вооружений было ниже, чем в Англии и в Канаде, что сравняться с этими странами Соединенные Штаты смогут только к концу 1942 года и что самыми слабыми местами нашего производства являются бомбардировщики и танки, — наступило глубокое разочарование. «Эти данные ясно показывают, — писал я своим друзьям, — что усилия, которые мы прилагаем в настоящее время, не соответствуют ни нашим целям, ни нашим потенциальным ресурсам, ни даже тем возможностям, которые в данный момент у нас имеются. Мы пока еще не заслужили права именоваться арсеналом для демократий». В действительности, никто тогда не мог определить уровень военного производства, соответствующий стратегии, которая тоже еще не была определена. Против кого придется сражаться через год? После нападения Гитлера на СССР 22 июня проблема приобрела другие параметры.

Неадекватность политики нацистов достигла крайних пределов. Ее крах не вызывал сомнения, но было неясно, когда он произойдет. Ночью я разбудил Сильвию словами:

«Война выиграна!». Она обрадовалась, решив, что произошло чудо. Конечно, ее радость была преждевременна. Я в своей жизни не встречался ни с чудесами, ни даже с незаслуженными удачами, а только с обстоятельствами, более или менее благоприятными для действия. Любая удача требует действий, и только действия придают ей реальность. Война была выиграна, потому что огромные жертвы, огромная работа позволили Союзникам, к которым теперь присоединился и Советский Союз, не потерять контроль над событиями. В сентябре Рузвельт послал Хопкинса на встречу со Сталиным, который принял представителя президента как лидера государства. Хопкинс, осуществлявший руководство всеми операциями по *ленд-лизу*, предложил материальную помощь Соединенных Штатов, в которой СССР очень нуждался. Этот великодушный жест предполагал известное сокращение американской помощи Англии, но и Англия, в свою очередь, почувствовала некоторое ослабление немецкой хватки.

Какова была огневая мощь Красной Армии? Американский генеральный штаб имел об этом слабое представление, но я имел случай убедиться, что информация, которую секретные службы добывали с таким трудом, могла иногда быть получена с помощью простого здравого смысла. Эксперт по советским проблемам, господин Картер, сказал мне однажды: «Я могу вам сказать, сколько танков производят русские...» — «Мы, действительно, хотели бы это знать, но каковы ваши источники?» — «Это очень просто. Моя секретарша, мисс Мур, знает русский язык и читает экономическую информацию, публикуемую в Москве. Она заметила, что статистика о производстве сельскохозяйственных тракторов внезапно перестала публиковаться. Ясно, что заводские конвейеры теперь полностью переключились на производство танков, и можно подсчитать их количество».

8 августа 1941 года в одном из заливов Ньюфаундленда состоялась Атлантическая конференция, на которую Рузвельт и Черчилль прибыли каждый на своем крейсере. Это была их первая встреча. Конференция мало продвинула проблему военного производства, несмотря на все усилия при-

существовавшего на ней Бивербрука. Однако обсуждение стратегии, необходимой, чтобы победить Германию (уже стали всерьез говорить о «втором фронте»), позволило службам, занятым планированием вооружений, исходить в своей работе из более определенных предпосылок. И на этот раз тоже нам не пришлось долго искать человека, способного взять на себя техническую сторону проблем, которые мы формулировали на политическом уровне. Им стал работавший в команде Стейси Мэя мой друг Боб Нейтен, у которого за неотесанной внешностью скрывались неиссякаемые интеллектуальные возможности; он создавал системы измерений национального дохода, получившие широкое применение в мире после окончания войны. Он взял в охапку весь огромный массив цифр, содержащихся в балансе, и сделал из него выжимку на одной странице: там содержалось все то, что Рузвельту надо было знать. Опираясь на эти простые и красноречивые данные, Рузвельт, вместе с генералом Маршаллом, принял 25 сентября важнейшее решение: он подписал официальное одобрение *Victory Program*) «Программа во имя победы») для армии и флота; эта программа означала гигантское увеличение американской мощи, необходимое для активного вступления в войну.

После того как было принято это политическое решение, оставалось вычислить размер нагрузки, которую Соединенные Штаты могли выдержать с учетом национального богатства, финансового равновесия и сырьевых ресурсов. Для определения такой задачи у англичан есть удобный и выразительный термин: *feasibility study**. Этим в октябре и ноябре занимался опять-таки Боб Нейтен, выполнивший огромную работу, от которой зависела мобилизация американской экономики. Меня восхищает, хотя и не очень удивляет тот факт, что столь небольшое количество людей (а иногда и вообще всего один человек, причем не из самых уполномоченных и известных) способны оказать решающее воздействие на исторические события. Как и все, я знаю, что великие события выявляют великие таланты, но не всегда они находятся там, где при-

* Изучение возможностей.

нято думать, и носят те имена, которые у всех на устах. Стараясь рассказать о событиях, участником которых я был, я не хотел бы упустить случай засвидетельствовать мое уважение и признательность людям, положительно повлиявшим на ход вещей. Без их компетенции или энтузиазма не удалось бы разрешить ту или иную запутанную ситуацию, изобрести такой механизм, о котором никто и не помышлял, или наладить взаимодействие между двумя изолированными системами. Боб Нейтен, Стейси Мэй или полковник Оренд принадлежали к числу таких людей. Точно так же, невозможно переоценить роль, сыгранную Артуром Пёрвисом в интеграции союзных сил. В этот поворотный момент войны его, увы! уже не было с нами. Самолет, в котором он возвращался из Англии, разбился в Шотландии 20 августа. Я помню, что он предчувствовал свою смерть и его последние лихорадочные заметки были как бы его завещанием. Томми Брэнд, который был в Лондоне нашим преданным помощником, собрал эти записки, чтобы продолжить дело нашего друга. Основную часть своего труда Пёрвис успел завершить: он проследил, как в работе «Британской комиссии по закупкам» вырабатывалось взаимопонимание между Лондоном и Вашингтоном.

И в самом деле, только с декабря 1941 года англичане и американцы стали по-настоящему понимать друг друга, опираясь на одни и те же данные, и пришли к выводу, что у них нет иного пути, кроме совместных, полностью скоординированных и беспрецедентных по размаху усилий. В сознании ответственных руководителей, как гражданских, так и военных, последние препятствия были сняты. Все проекты были зафиксированы на бумаге, а «Программа во имя победы» была признана «осуществимой». Однако Рузвельт не мог взять на себя инициативу объявления Соединенных Штатов воюющей страной и мобилизации ее экономики. 7 декабря атака на Пёрл-Харбор положила конец этой тягостной неопределенности. Но если, действительно, потребовались столь ошеломляющие события и столь грозная опасность, чтобы американские армии вступили в сражение и чтобы начала осуществляться «Программа во имя победы», позволительно задать себе вопрос: в каком положении оказались бы Соединенные

Штаты, если бы такой необходимый для принятия решений инструмент не был уже создан? В то время как американский народ, вместе с остальным миром, возмущался вероломным нападением, мы в Вашингтоне были готовы к тому, чтобы немедленно привести в действие гигантский арсенал Соединенных Штатов.

Расчеты Боба Нейтена показывали, что осуществление «Программы во имя победы» потребует ста пятидесяти миллиардов долларов к весне 1944 года, причем три четверти этой суммы нужно будет израсходовать уже в сентябре 1943. Это означало, что нагрузка на экономику должна удвоиться, расходы на вооружение — составить половину национального дохода (раньше это была всего лишь одна пятая), а гражданское потребление — быть жестко урезано. Службы генерала Маршалла переводили эти цифры в перечень типов оружия, которое необходимо было произвести; лишний раз мне пришлось убедиться, что военные мыслили оборонительными категориями и имели узкий взгляд на войну. Их планы на 1942 год совершенно не предполагали достижения решающего превосходства, которое одно только могло подавить силу и моральное состояние врага. 10 декабря, через три дня после Пёрл-Харбора, я поставил в известность Рузвельта, что программы вооружения, составленные генеральным штабом на 1942 год, могли быть, по моим оценкам, повышены на пятьдесят процентов. Мне легко удалось убедить в этом Бивербрука, который сопровождал Черчилля на переговорах с Рузвельтом и Хопкинсом в Белом доме, во время встречи, получившей кодовое название «конференции в Аркадии».

Следуя моим данным, Бивербрук назвал цифры, которые показались фантастическими американским экспертам: производство в 1942 году сорока пяти тысяч танков вместо двадцати пяти тысяч, истребителей — двадцати четырех тысяч вместо пяти тысяч, в три раза больше противотанковых пушек и т. д. Только Рузвельт, выслушивая эти предложения, и бровью не повел. «Все это не стоит и обсуждать», — говорили ему эксперты. — «Речь идет не о том, что мы *можем* сделать, а о том, что мы *должны* сделать», — отвечал он. Я узнавал в его позиции и в его решениях ту же самую философию

действия, которую выработал и я, хотя и в других условиях. Как не замедлили показать события, философия, которая исходит из того, что необходимо, гораздо реалистичнее той, которая исходит из того, что возможно.

6 января 1942 года Рузвельт обнародовал в своем послании конгрессу широкомасштабную «Программу во имя победы». «Превосходство Соединенных Штатов в наземных вооружениях и в кораблях, — сказал он, — должно быть подавляющим, подавляющим настолько, чтобы страны Оси навсегда потеряли надежду померяться с нами силами...». Президент объявил на весь мир цели военного производства: оно должно было выпустить шестьдесят тысяч самолетов различных типов в 1942 году, сто двадцать пять тысяч — в 1943; танков соответственно — сорок пять и семьдесят пять тысяч; кораблей — общим водоизмещением в восемь миллионов тонн... Короче, это были самые высокие цифры, которые он только мог почерпнуть из наших докладов. Не умолчал он и о последствиях программы: «Производство в нашей стране должно будет подняться намного выше его нынешнего уровня, даже если это приведет к перераспределению работы для миллионов наших сограждан». В этот день, больше чем в любой другой момент моей жизни, я испытал удовлетворение от того, что и мне довелось способствовать решению, которое должно было изменить ход событий.

Если слово «удовлетворение» означает, что какая-то вещь сделана достаточно хорошо, то мне оно не подходит: ведь всегда есть большая дистанция между решением и исполнением. Я знал, что Рузвельт нарочно завысил планку, чтобы добиться психологического эффекта, к которому и мы стремились. Теперь надо было добиться исполнения путем долговременной организационной работы. В то время еще не было компьютеров и нужна была огромная сеть для консультаций между армией; администрацией, промышленностью и профсоюзами. В центр этой сети Рузвельт поместил Дональда Нельсона, человека кипучей энергии, из тех, кого называли *all outer* (то есть сторонников *all out production* — «производства до крайнего предела»). Нельсон и его *War*

*Production Board** вскоре создадут самое мощное военное производство, какое когда-либо существовало. К такому производству давно призывал старый Бернард Барух, который тоже извлек уроки из опыта предыдущей войны.

С этого момента, под воздействием людей из «Нового курса» и либеральных предпринимателей, Соединенные Штаты начали осуществлять тотальную мобилизацию своей экономики, добиваясь результатов, которых диктаторским режимам никогда не удавалось достичь. Этот парадокс был отмечен выдающимся нацистским мастером военного планирования Альбертом Шпеером: «Один из самых удивительных аспектов этой войны, — пишет он в своих мемуарах, — состоит в том, что Гитлер хотел избавить свой народ от испытаний, на которые Черчилль и Рузвельт пошли без колебаний». Шпеер объясняет это тем, что нацистский режим боялся нарушить общенациональный консенсус. В этом, быть может, заключается одна из причин его поражения. Что касается меня, то я уверен: Черчилль и Рузвельт победили потому, что в своих странах и во всем мире они взывали к самым глубоким чувствам свободолюбия, которые оправдывают любые жертвы.

В ноябре 1941 года у нас родилась вторая дочь, и мы решили дать ей имя, которое выражало бы атмосферу надежды, окружавшую ее рождение. Назвать ее Франс или Виктуар? Мы выбрали Марианну: в этом имени соединилось все, ведь это символ Республики, которая должна возродиться на нашей родине, когда придет час свободы.

Конечно, еще много препятствий было на нашем пути. Американские военные, заполучив арсенал, для создания которого в столь больших размерах они не сделали ничего, теперь не очень-то хотели делиться своими богатствами. Как член *British Supply Council* я вынужден был драться, чтобы вырвать для Великобритании справедливую часть от того, что было создано для общей борьбы — в том числе и моими усилиями. Эти трения отражали неясность стратегических планов на протяжении всего 1942 года, вплоть до принятия решения об операции *Torch* — высадке в Северной Африке.

* Управление военного производства.

Отъезд полковника Оренда, слишком благосклонного, как считали его начальники, к нашим пожеланиям, его замена генералом Соммервелом, весьма неудобным партнером, недостаток координации между английскими и американскими службами, отвечавшими за военную продукцию, — все это заставило меня вернуться к моей постоянной идее, которая в 1914 году привела меня в Лондон, а потом, в 1939 году, в Вашингтон: охватить общие проблемы единым взглядом, соединить и сочетать ресурсы Союзников, защищаться общими усилиями, короче, — сделать так, чтобы у нас была одна война и одна победа. Рузвельт и Черчилль только что создали *Combined Chiefs of Staff** для решения стратегических вопросов. Казалось очевидным, что в плане производства оружия, самолетов, кораблей надо создать такого же типа орган и соответствующий административный аппарат.

Когда встречаются очевидность и необходимость, не остается места для колебаний и промедлений. Борьба за то, что станет называться *Combined Production and Resources Board*** , продолжалась до начала июня. Я использовал те же самые аргументы, а в некоторых случаях те же самые записки, с помощью которых убеждал Даладье и Чемберлена в 1939 году. А если вы вспомните, что тогда я опирался на опыт Высшего экономического совета 1916-го года, то вы убедитесь в последовательности моих усилий. Зачем менять их направленность, если вокруг меня повторяются те же самые позиции и те же самые ошибки? Меняются только обстоятельства, в соответствии с которыми приходится изыскивать новые формы организации. Те формы, которые я предложил Литлону, сменившему Бивербрука, и Хопкинсу, которые они донесли до Черчилля и Рузвельта и которые, после множества перипетий, были приняты обоими руководителями, отличались от прежних по своей структуре, но для меня это было в принципе то же самое. О принципиальной направленности я уже сказал достаточно, а детали построения *Combined Board* мало что добавляют к моему рассказу, равно как и подробности перипетий, похожих

* Объединенный генеральный штаб.

** Объединенный комитет по производству и ресурсам.

на те, через которые я прошел в вашингтонских кругах, чтобы продвинуть инициативы, казавшиеся мне необходимыми.

Теперь уже ничто не могло остановить колоссальный механизм по производству оружия, запущенный ценой таких усилий. Эти усилия я и хотел описать, чтобы продемонстрировать, как несколько решительных людей, действуя солидарно, могут сплотить народы, оказавшиеся, каждый в отдельности, перед лицом одной и той же опасности. Даже там, где потребность в единстве кажется очевидной, оно не возникает само собой. Следовательно, нужна организация, которую необходимо не только создать, но и поддерживать. Однако я вижу большое различие между периодом, когда организация задумывается и создается на пустом месте или на месте царящего беспорядка, — и периодом, когда нужно ее поддерживать и ею управлять. Как только «Программа во имя победы» вышла из стадии замысла, долгой, смутной, полной превратностей, — она стала общим делом и непреложным долгом всех американцев. Я состоял в различных комитетах и следил за ее выполнением. Мне пришлось еще раз вмешаться в момент кризиса последних месяцев 1942 года, когда обнаружилось, что требования американской армии ставят под вопрос снабжение англичан жизненно необходимой продукцией. У нашего *Combined Board* уже не хватало сил противостоять влиянию генерала Соммервела, и англичане, в ответ на нашу просьбу, послали в Вашингтон Литлтона. Он провел весьма решительные переговоры, в результате которых военные усилия англичан и американцев стали отныне развиваться в полном согласии.

Если в первой половине года ход военных действий был не в пользу Союзников, то затем положение изменилось: нарастала волна американской военной продукции, и огромная Красная Армия героически встала на пути нацистской экспансии. В период между январем и маем 1942 года мы потерпели поражение от Роммеля в Ливии, пали Сингапур и Рангун, немцы захватили Крым; немецкие субмарины курсировали вдоль побережья Соединенных Штатов. Общее водоземное измещение наших потопленных кораблей составило шесть-

сот тысяч тонн. В августе немецкая армия достигла Сталинграда. Но он стал последним пунктом ее продвижения. Вскоре начался откат: Эль-Аламейн, высадка Союзников в Северной Африке, Гуадалканал.

Производство военных самолетов в 1940 году было ничтожным, а когда в день победы подвели общий баланс, оказалось, что их число за годы войны составило колоссальную цифру — триста пятьдесят тысяч. С конвейеров автомобильных заводов, до этого находившихся в кризисе, сошло без перебоев сто тысяч танков. Верфи, бездействовавшие в период депрессии, спустили на воду двадцать четыре тысячи судов. За годы войны было произведено также два миллиона семьсот тысяч пулеметов, четыреста тридцать миллионов тонн стали... Что экономика одной страны могла всего за несколько месяцев взять такой разбег, — факт поразительный для всякого, кто не думает, будто мощь Соединенных Штатов дана им от природы. Конечно, природными чертами американцев являются организованность и стремление ко все новым достижениям. Но это не значит, что им не требуются усилия и дисциплина. Чтобы их активизировать нужна инициатива энергичных и ответственных людей. Я по собственному желанию оказался среди этих людей, и я счастлив, что иногда мне удавалось подтолкнуть их к необходимым действиям.

Я хотел бы привести высказывание Джона Мейнарда Кейнса, активно участвовавшего во всей этой деятельности в качестве экономического советника британского правительства. Позднее он писал своему другу Эмманюэлю Монику:

«Когда Соединенные Штаты вступили в военный конфликт, президенту Рузвельту представили план производства самолетов, который все американские специалисты сочли фантастическим. Однако Жан Монне осмелился заявить, что он недостаточен <...>. В конце концов, президент поддержал эту точку зрения. Он потребовал от американского народа усилий, которые сначала казались невозможными, но впоследствии поставленные задачи удалось реализовать полностью. Это важнейшее решение, возможно, сократило войну на целый год»*.

* Emmanuel Monick. Pour memoire, p. 67.

Глава 8

Единство французов во время войны (Алжир, 1943)

Политическая миссия

С высадкой Союзников в Северной Африке, 8 ноября 1942 года, началось освобождение Франции. После того, как стало ясно, что союзные страны располагают почти неограниченным запасом мощных вооружений, Рузвельт и Черчилль должны были сделать выбор между несколькими смелыми планами, предложенными им стратегами. Общественное мнение с нетерпением ожидало начала прямых военных действий против Германии. Русские не переставали требовать открытия второго фронта, который ослабил бы натиск Вермахта против их страны. В конце концов, летом 1942 года было принято решение нанести фланговый удар во французской Северной Африке, которая должна была стать плацдармом для последующих операций. Этот план оказался в меру смелым; осуществленный под руководством генерала Эйзенхауэра, он позволил оценить боеспособность и организованность американской армии, игравшей в операции главную роль.

Операция держалась в секрете до последнего момента. Из предосторожности американцы скрыли свой проект от находившихся в Лондоне французов, опасаясь их болтливости, и это, разумеется, не понравилось де Голлю. Точно так же, были сведены к необходимому минимуму предварительные контакты с французскими властями в Северной Африке, так что даже те, с кем на протяжении нескольких месяцев велись переговоры о возможной высадке, были удивлены, когда она началась. Тем не менее, эффективная организационная под-

готовка среди наших сторонников в Алжире была проведена; этим занимался Роберт Мёрфи, опытный дипломат, специалист по французской Северной Африке: он не ограничивался ролью наблюдателя, но активно направлял события, со свойственным ему знанием людей и склонностью к сложным и опасным предприятиям. Он сделал все, чтобы держать ситуацию под контролем. Его многочисленные агенты на местах были готовы действовать, их поддерживали французы-патриоты в разных слоях местного населения — среди колонистов, чиновников, военных, служивших в вишистской армии. Однако в последний момент его планы сорвались, и войска Союзников встретили при высадке большее сопротивление, чем ожидалось.

Я не буду останавливаться на перипетиях этой операции: о них многократно рассказывали их непосредственные участники, они описаны историками час за часом в многочисленных работах (их насчитывается не менее тридцати). К тому же, тогда я знал об этом только то, что сообщали американские газеты. Должен сказать, что в их многочисленных статьях и материалах реальная драма была перемешана с легендами. Так что из всего, что они писали, можно было составить лишь смутное представление о по меньшей мере тревожном развитии событий. Судите сами: с момента высадки прошел месяц, а ситуация, казалось, застыла, о ней сообщали в одних и тех же неопределенных выражениях, которые вызывали наше возмущение. Генерал Дарлан по-прежнему представлял верховную гражданскую власть в качестве «временно замещающего» маршала Петена, а генерал Жиро, специально доставленный из Франции Робертом Мёрфи с согласия Рузвельта и Эйзенхауэра, получил всего лишь должность командующего французскими силами. Назначенные правительством Виши проконсулы Шатель и Буассон, отдавшие приказ стрелять по формированиям Свободной Франции, и Ногес, приказавший оказывать сопротивление американским войскам, образовали «Имперский совет». Законы Виши оставались в силе, а противники режима не только не были освобождены из тюрем, но их количество увеличилось. Генерал Кларк, начальник штаба при Эйзенхауэре, подписал с Дарланом до-

говор, весьма выгодный последнему: французские войска, находившиеся под командованием Дарлана, должны были получить снаряжение для восьми дивизий и девятнадцати эскадрилий, тысячу четыреста самолетов и пять тысяч танков.

Между тем, на основании депеш, которые Мёрфи, личный представитель президента, направлял Рузвельту, мы с Маккломом могли получить менее фантастическое представление о положении вещей, чем то, каким оно представало в то время и каким по-прежнему предстает в современных версиях. Да, действительно, командующие вишистских войск оставались на местах и американцы, которых они попытались сбросить в море, подтвердили их полномочия. Но мы слишком хорошо знали Эйзенхауэра и понимали, что у него были серьезные основания действовать именно таким образом. В этом офицере, проявившем исключительные организационные таланты, отвечавшие требованиям современной войны, мы уже тогда видели качества выдающегося политика — жесткость и человечность. Военное командование на том уровне, на каком он его осуществлял, требовало соблюдения правил дипломатии, отчего Эйзенхауэр и мог показаться более слабым, чем его энергичные помощники — Кларк, Бредли, Паттон. Просто на нем лежал большой груз ответственности. Общественное мнение ценило его по достоинству, оно чувствовало его харизму и знало, что он дорожит человеческими жизнями. В Северной Африке он выполнял опасное задание. Весь мир следил за действиями его армии, являвшейся авангардом сил Сопrotивления. Однако он столкнулся с непредвиденными трудностями, на них я должен остановиться, чтобы стали понятны некоторые последующие события, в которых я принимал участие.

Нельзя сказать, чтобы операция *Torch* осуществлялась большими силами. 8 ноября на побережье французской Северной Африки, протяженностью в две тысячи километров, высадилось всего сто десять тысяч человек. Чтобы нейтрализовать все расположенные здесь военные базы, включая и Тунис, потребовалось бы пятьсот тысяч человек. Тунисские военные базы были потеряны сразу же, и немцы не замедлили там укрепиться. Во многих местах, особенно в Марокко,

спорадическое сопротивление, оказанное французскими войсками, серьезно встревожило Союзников. У Эйзенхауэра не было средств для завоевания и удержания Алжира и Марокко, которые, согласно планам, должны были стать его дружественной опорой, источником человеческих и иных ресурсов для продвижения в глубь континента. Вот почему так важен был успех политической миссии, и Эйзенхауэр заранее уведомлял президента, что «африканская операция слишком рискованна, чтобы осуществлять ее только военными средствами».

Политика, которую ему предстояло проводить, была целиком подчинена военным требованиям. Эйзенхауэр пришел не для того, чтобы «освободить» французскую Северную Африку. Речь шла всего лишь о том, чтобы она не была оккупирована немцами или не оказалась под властью, враждебной Союзникам, а эта задача была решена в Алжире уже несколько часов спустя после высадки. Эйзенхауэр должен был позаботиться, чтобы порядок царил хотя бы на линиях его коммуникаций, а еще лучше — заручиться активной поддержкой населения, состоявшего из полутора миллионов европейцев и восьми миллионов мусульман. Он добился того, что гражданские и военные власти встали на его сторону, и отложил на потом выяснение моральных вопросов. А население, которое в своем большинстве рассматривало эти власти как правомочные, последовало за ними, испытывая облегчение от перехода в лагерь Союзников: таким образом, не оставалось сомнений, что вся Северная Африка решительно вступила в сражение против нацизма. Другой вопрос — возвращалась ли она тем самым в лоно республиканской законности.

Генерал, решавший непосредственные задачи труднейшей тунисской кампании, мог не обращать внимания на моральную сторону сложившейся ситуации. Но я этим моральным аспектом как раз и должен был заняться вплотную, ибо от него зависело, будет ли достигнуто единство французов в антифашистской войне, а затем — в восстановлении Франции. Каждый раз, когда я мог помочь сплочению людей, я это делал, повинаясь непосредственному порыву, без политических

расчетов и личных амбиций, которые я в принципе не отрицаю у других людей, но которые лично для меня означали бы лишние сложности. Жизнь научила меня, что единение может быть результатом только простого и объективного подхода. Французы, способные сражаться, были разделены внутренними распрями, и это затрудняло возвращение Франции в антифашистскую войну. Был риск, что политика Союзников усилит эти противоречия, и хотя я понимал эмпирическую необходимость такой политики в данных условиях, я видел свою задачу в том, чтобы способствовать объединению всех французов, готовых участвовать в освобождении своей страны.

С тех пор, как стала работать «Программа во имя победы», я не сомневался, что разгром нацистской Германии был делом нескольких месяцев. Пора было позаботиться о моральном и материальном восстановлении Европы, для равновесия которой была необходима единая Франция. У меня не было никаких причин сомневаться в отношениях к нам Рузвельта и Черчилля. Они взяли на себя самые твердые обязательства по обеспечению независимости Франции после окончания войны. И если бы Америка не имела таких намерений, зачем ей тогда вообще было вступать в войну? Однако было ясно, что для достижения победы американцы не будут слишком щепетильны в выборе временных союзников, а присоединение к ним Дарлана было, с точки зрения военных, важнейшим достижением, поскольку ему подчинялась французская армия, расположенная в Северной Африке. Политическое руководство страны отнеслось к этому компромиссу с большой осторожностью: уже 17 ноября Рузвельт заявил, что Дарлан — это «временное решение»; что же касается будущего, то здесь демократические убеждения американцев толкали их к другой крайности: они хотели полностью сохранить для французского народа возможность выбора вплоть до того момента, когда он сможет этот выбор осуществить путем свободного голосования. А до того времени никто не имел права выступать как выразитель французского суверенитета и претендовать на роль правительства.

По правде говоря, наша информация не позволяла нам судить о том, как французы в декабре 1942 года пред-

ставляли себе свое будущее, — кроме того, что они ждали освобождения и были готовы, в подавляющем большинстве, присоединиться к борьбе Союзников там, где это было возможно. У меня не было надежных данных, на которых я мог бы основывать свои выводы, но я считал, что лучше руководствоваться простой идеей, чем тонуть в противоречивой информации, поступавшей к нам из Франции, Англии и Алжира. И мы постарались найти такую простую линию. Незадолго до Рождества я резюмировал наши идеи в сохранившейся у меня записке, которая позже была опубликована в составе архива Франкфуртера, затем — вместе с бумагами Хопкинса в качестве документа, выражавшего мысли Рузвельта и повлиявшего на их формирование.

В этой записке были сформулированы три принципа. Во-первых, набор и экипировка значительной французской армии в Северной Африке. Эту армию предполагалось поставить под командование такого заслуживающего доверия генерала, как Жиро; она должна была войти в состав союзнических сил, а затем, после освобождения Франции, находиться в подчинении французского правительства. В текущей ситуации, тот факт, что она будет сражаться бок о бок с американцами, носителями надежды на Освобождение, должен был стать очень сильным психологическим фактором. Возрождение французских военных сил подкрепило бы надежды людей и сплотило бы их морально.

Второй принцип состоял в том, что французский народ сохраняет право решать, когда для этого придет время, какое правительство ему нужно: «Никакая французская политическая власть не должна существовать вне Франции и не может быть там создана. Чрезвычайно важно, чтобы эта позиция была совершенно ясна». Легитимность Дарлана, на которую он ссылается, ни в коем случае не может служить конституционной базой для создания французской власти в Северной Африке. Режим Петена, созданный в атмосфере отчаяния и страха, не может считаться легитимным. Именно де Голль символизирует волю французов продолжать антинацистскую войну.

Этот анализ естественным образом приводил к третьему принципу: французского правительства больше не суще-

ствуется, сохраняются только локальные власти, которые выполняют местные гражданские и административные функции при том условии, что им придется отчитаться перед будущим французским правительством. Из этого вытекало, что Дарлан не является политическим главой французских заморских территорий, но временно представляет французские интересы на этих территориях, присоединившихся к войне на стороне Союзников. Из этого можно было также заключить, что сформированный де Голлем в Лондоне комитет будет располагать в период войны лишь ограниченными полномочиями на освобожденной французской территории. Надо было с самого начала пресечь требования государственного признания, исходившие как из Лондона, так и из Алжира. На наш взгляд, первостепенная задача состояла в том, чтобы дать возможность французам воспользоваться средствами борьбы, которые им мог предоставить арсенал демократических стран, с тем чтобы усилить армию освобождения, сгладить разногласия внутри сражающейся Франции и обеспечить присутствие нашей страны среди победителей.

Такова была линия, в правильности которой мне удалось убедить Франкфуртера и Хопкинса — самых авторитетных советников Рузвельта в этой области; отношения с Францией определялись Белым домом, а государственный департамент и Корделл Халл были от них совершенно отстранены. Конечно, в то время я рассчитывал на то, что победа близка и что избранную линию удастся выдержать в течение года, вплоть до освобождения Франции. Последующие события вынудили меня несколько смягчить эту линию, не изменяя конечной цели: сплочение французов и их присутствие после войны в числе победителей. Позиция Рузвельта окажется более жесткой: он продолжал придерживаться принципа локальных властей долгое время после того, как миновала необходимость организации совместного участия в продолжительных сражениях.

Свой меморандум я вручил 23 декабря 1942 года. В день Рождества Дарлан был убит. Его место занял Жиро, облеченный полномочиями Имперским советом, куда входили проконсулы, по-прежнему занимавшие свои посты; Жиро имено-

вался несколько необычно — «гражданский и военный главнокомандующий». До этого Пейрутон, бывший министр внутренних дел в правительстве Петена, но смещенный Лавалем, был вызван Дарланом из Южной Америки, чтобы занять пост генерал-губернатора Алжира. Ничто не изменилось в администрации, унаследованной от режима Виши, по-прежнему оставалась неясность относительно легитимности приказов, отдававшихся от имени отсутствующего маршала, портреты которого по-прежнему висели в присутственных местах. Все, казалось, прекрасно приспособилось к такому двусмысленному положению, и Эйзенхауэру не приходилось жаловаться на систему, которая обеспечивала спокойствие в тылу его армии, ведущей тяжелые бои в Тунисе. Однако из Соединенных Штатов, на основании сообщений американских газет, у меня складывалась совершенно иная картина развития ситуации. Сохранение законов Виши, в том числе направленных на дискриминацию евреев, содержание в тюрьмах политзаключенных, монархические интриги, реакционный характер власти — все это давало основание для резких кампаний в прессе. Назначение Пейрутона вызвало скандал. Более, чем когда-либо, я был убежден, что такая власть не может претендовать ни на какую легитимность, и я очень сомневался, чтобы она могла долго выступать в качестве фактора порядка. Экипировать армию, в которой распространялись антидемократические настроения, не казалось мне полезным делом, даже если она готова была биться за освобождение Европы. Она не должна была принадлежать какой-то одной группе, но находиться на службе Франции, и все, кто хотел сражаться, должен был найти себе место в ее рядах.

Теперь, когда «Программа во имя победы» неуклонно набирала ход, я решил, что должен посвятить себя в первую очередь французским делам, и попросил Холкинса, чтобы он послал меня с каким-либо поручением в Алжир. Он переговорил об этом с Рузвельтом, когда они оба отправились в Касабланку, в январе 1943 года, чтобы обсудить с Черчиллем стратегические планы в резиденции Анфа, которая и дала имя этой конференции. Не знаю почему, но на этот раз Руз-

вельт, вопреки своему обыкновению, решил посоветоваться относительно меня с Корделлом Халлом. Он послал ему телеграмму, по которой мы теперь можем составить себе представление о том, какие в тот момент у него были заботы:

«Генерал Жиро прибывает завтра, и мы с господином Черчиллем решили пригласить сюда на понедельник генерала де Голля. Я не сомневаюсь, что нам удастся убедить англичан в нашей точке зрения, и мне кажется необходимым ввести в состав администрации одного штатского. Жиро, по-видимому, не хватает качеств политика, а французские офицеры не желают признавать авторитет генерала де Голля. Поскольку у нас тут нет под рукой подходящего штатского, не думаете ли вы, что сюда можно было бы пригласить Жана Монне? Ему удалось остаться в стороне от всех политических интриг последних лет, и у меня к нему очень благоприятное отношение. Я предпочел бы обойтись без политических споров в данный момент, но, прибыв сюда, вижу, что американские газеты сумели превратить в гору маленький холмик. Поэтому я не вернусь в Вашингтон, прежде чем не урегулирую связанный с Монне вопрос, который должен оставаться секретным».

Довольно любопытно, что Халл попытался отвести мою кандидатуру, ссылаясь на мои связи с голлистами, «более тесные, чем нам представляется». Рузвельт не обратил внимание на это замечание, поскольку, как рассказывает Жиро, президент в Анфе говорил ему обо мне как о «человеке, который лучше всего представлял в Северной Америке Францию и французский дух». По возвращении Хопкинс распорядился, чтобы я был назначен в Алжир в качестве представителя бюро по распределению вооружений, председателем которого был он сам. Он аккредитовал меня следующим письмом: «На конференции в Касабланке вопрос об экипировке французских войск в Алжире был обсужден между президентом и генералом Жиро. Это вопрос величайшей важности для всех участвующих сторон — генерала Жиро, Соединенных Штатов и Британского правительства, вопрос, в котором их интересы совпадают... Вы введете генерала Жиро в курс здешней ситуации, вместе с ним и генералом Эйзен-

хауэром рассмотрите все дела и, действуя по соответствующим каналам, будете помогать решению вопросов, связанных с перевооружением французских войск». В действительности, исходя из этой важной и срочной задачи (Рузвельт обещал Жиро солидную военную помощь), моя миссия, как мне было прекрасно известно, охватывала весь политический контекст возобновления французского участия в войне.

Восстановить законы Республики

Я покинул Вашингтон во вторник 23 февраля 1943 года. Небезопасность полетов заставила меня передвигаться кружным путем через Майами, Джорджтаун в Британской Гвиане, через Натал, где я просидел весь четверг; в пятницу вечером я приземлился в Дакаре, в Марракеше был в субботу во второй половине дня, а к вечеру — в Алжире. Здесь я поселился на улице Мишле, в квартире, которую Макклой предоставил в мое распоряжение. Свой первый визит я нанес генералу Жиро, с которым еще не был знаком. Впоследствии он писал обо мне: «К своему стыду должен признаться, что не знал о нем ничего». Я же, напротив, заранее узнал о нем все, что мог, но это «все» содержалось в нескольких словах: статный мужчина со светлыми и невыразительными глазами, сознающий свою значительность, смелый офицер, безапелляционный в военных вопросах и не уверенный во всех остальных. Я не буду оценивать его интеллект: это был интеллект генерала, привыкшего командовать войсками в пустыне и склонного к прямолинейности. Он доказал свою моральную силу, дважды во время двух войн бежав из лагеря для военнопленных, чтобы продолжать сражение с врагом. Он думал только о том, чтобы восстановить свою разгромленную армию, не меняя ни ее структуру, ни ее дух. Что касается остального, то он сам напишет об этом с подкупающей искренностью: «В политическом плане я отличался невероятной некомпетентностью, неумелостью и слабостью. Каждый должен заниматься своим ремеслом, и тогда дела пойдут нормально». Такая неуверенность в себе во всем, что находилось за пределами армии, позволяла оказывать на него влияние,

несмотря на его упрямый характер. Я сразу же понял, в каких вопросах надо было считаться с его упрямством, а в каких можно было воспользоваться его колебаниями.

Жиро расположился в Летнем дворце, или, точнее, разбил там свой лагерь под арабесками, в окружении своего маленького персонального генерального штаба, прибывшего вместе с ним на подводной лодке, и немногочисленных верных помощников, присоединившихся позже. Среди последних был и подполковник де Линарес, человек прямой и открытый, который очень хорошо влиял на своего начальника. В отличие от вновь прибывших, большинство офицеров алжирской армии встретили Жиро без энтузиазма, и это обстоятельство важно учитывать, чтобы понять атмосферу, царившую в Северной Африке. Если даже Жиро было трудно утвердить свой авторитет среди гражданских и военных чиновников, упрекавших его за то, что он отрекся от маршала Петена, то как можно было ожидать, что они признают власть руководителя Свободной Франции, который не имел здесь никакой опоры, кроме нескольких голлистов, находившихся на более или менее подпольном положении? Конечно, на конференции в Анфе де Голль претендовал на предоставление ему властных полномочий, но на таких условиях, которые, и он знал это сам, было невозможно выполнить сразу: он требовал, например, устранения всех людей и всех настроений, связанных с режимом Виши. Вынужденное Рузвельтом и Черчиллем мнимое примирение двух генералов под объективами фоторепортеров ничего не изменило в существующем порядке вещей, который я нашел по приезду в застывшем положении и на «размораживание» которого я сразу же направил свои усилия.

Впоследствии Жиро написал, что от нашей первой встречи у него осталось «тягостное впечатление», и такая оценка справедлива. Я не буду останавливаться на нашей беседе, тем более, что главнокомандующий изложил ее суть в своих последующих заявлениях. В то время имело значение не то, что я мог сказать или написать Жиро, а то, что он согласился признать публично. Если мне и не удалось изменить

убеждения этого глубоко порядочного человека, я сумел убедить его во имя интересов Франции оставить свои убеждения при себе и поддержать публично те идеи, которые более соответствовали целям войны за демократию. Глухой ко всем доводам политической морали, он согласен был выслушивать только практические аргументы: американцы, говорил я ему, не станут экипировать армию, вдохновляющуюся реакционными идеями и одобряющую расистский режим. Желая оправдать свои словесные уступки, он замечал, что если Париж стоит мессы, то предоставляемое Союзниками вооружение и подавно стоит одной «прогрессивной» речи.

Эта речь, о которой я вел с ним переговоры на протяжении первых двух недель моего пребывания в Алжире, имела, по моему замыслу, гораздо более далекие цели, чем успокоение американского общественного мнения, которое, как бы оно ни раздражалось против *Darlan deal* («курс Дарлана»), а потом против *Giraud deal* («курс Жиро»), в сущности не имело иного выбора. Для меня она была прологом к объединению французов. Ничего нельзя было предпринимать до тех пор, пока дух Виши не был изгнан, а республиканская преемственность — восстановлена.

Произнесение речи было намечено на воскресенье 14 марта 1943 года, по случаю общего собрания эльзас-лотарингцев, проживающих в Алжире. В шесть часов вечера перед аудиторией в пятьсот человек, а главное — перед предупрежденными мною заранее иностранными журналистами и микрофонами радиостанций свободного мира Жиро прочел текст, который он сам с горькой иронией называл «моей первой в жизни демократической речью». Не имело значения, верил ли он в нее сам, важно было, что он ее произнес, а было это, по его собственному признанию, нелегко. До последней минуты, под воздействием своих личных убеждений и своих алжирских друзей, он пытался смягчить мой текст, а мы с Линаресом его удерживали, что подтверждают записки, которые мы ему направляли.

Одна из этих записок у меня сохранилась. Датированная субботней ночью, она отмечает сокращения, которые Жиро пытался сделать в окончательном тексте речи, и показыва-

ет, какую пропасть надо было перешагнуть, чтобы перейти от сознания побежденной и разделенной Франции к сознанию Франции единой и вернувшейся в лагерь победителей. За словами, о которых шел спор, решался вопрос о будущем нашей страны. В моей записке говорилось: «Мы перечитали ваш текст и сравнили его с тем, который мы подготовили для вас сегодня вечером. Я глубоко убежден, что для того, чтобы ваша речь принесла Франции ту пользу, к которой мы все стремимся, вы должны высказаться по главнейшим вопросам без всякой двусмысленности...» И далее я перечислял по пунктам: «1. Нет ясности по вопросу о формировании Временного правительства. Нет упоминания о законах Республики, а без них нет правовой базы. В этом случае Временное правительство могло бы, как предлагают некоторые, формироваться с помощью плебисцита или каким-либо иным произвольным способом. 2. Текст о законодательстве Виши сведен к простому изложению без четкого заключения. Не сказано, что в настоящий момент это законодательство должно считаться утратившим силу. А сказать это необходимо. 3. Не сказано о нашем непризнании перемирия. 4. Важнейший раздел декларации о французском Сопротивлении изложен слишком суммарно. 5. Призыв к единению французов звучит в колониальном смысле, а должен — в смысле национальном. В этом плане, с учетом всей прошлой полемики и последнего меморандума генерала де Голля, вы должны, как я считаю, занять ясную и недвусмысленную позицию, ясную — в том смысле, что вы готовы к сотрудничеству, недвусмысленную — в том, что касается фундаментальных принципов такого сотрудничества».

Читая эту критику, написанную в одиннадцать часов ночи, задаешься вопросом: что же оставалось от столь ожидаемой декларации Жиро и не превратилась ли она в пресную проповедь, адресованную исключительно маленькой колонии французов из Эльзаса и Лотарингии? В моем распоряжении оставалось совсем мало времени, но поспешность укорачивает путь тем, кто знает, куда идет. Много раз мне уже удавалось в последний момент заменить своим тщательно разработанным текстом смутные и небрежные высказывания политика, не пожелавшего как следует поработать над своим

выступлением. Утром, встав ото сна, Жиро нашел у себя на столе мою записку и мой проект декларации. Перед тем, как идти к мессе, у него оставалось время только на то, чтобы ознакомиться с текстом и дать его в распечатку. Когда во второй половине дня он поднялся на трибуну, кресло генерала Бержере, бывшего министра в правительстве Петена, было пусто, а вечером несколько наиболее реакционных советников Жиро подали в отставку. Остальные ушли немного погодя. Двусмысленность, благодаря которой они сохраняли свою власть, была устранена.

«Народ Франции не принял перемирия, — заявил Жиро. — Истинными выразителями Франции являлись и являются герои Сопrotивления, сохранившие веру и верность своей стране в дни горя и отчаяния. Те, кто погиб в этой смертельной борьбе, те, кто страдает в пыточных лагерях и тюрьмах, — это авангард нации. Завтра на улицах наших деревень, рядом с памятниками павшим на поле боя, будут воздвигнуты монументы в светлую память партизан, забастовщиков, заложников, депортированных — всех многочисленных героев, отдавших жизнь во имя свободы... Скоро у нас будет единая французская армия, сражающаяся против немцев и не делающая различия между теми, кто пришел из Алжира или из Ливии. И это будет единая Франция, которая разделит со своими союзниками победу, ради которой она столько страдала. Франция вновь займет свое место среди победоносных наций... Разделение — знак поражения, единство — залог победы. Это единство должно быть действенным и великодушным. Под его знаменем соберутся не только те, кто в настоящий момент страдает под вражеским игом, но также и те французы, которые, как мы, находятся вне Франции. Это вопрос жизни и смерти для нашей страны».

Этих нескольких фраз оказалось достаточно, чтобы разорвать цепь последствий, тянувшихся за разгромом, перемирием, коллаборационизмом. Но они оставили бы в стороне проблему будущего французского правопорядка, если бы нам не удалось, помимо желания Жиро, привести его к необходимости открыть институционные перспективы, которые придали бы общий смысл борьбе всех французов. Относи-

тельно такого общего смысла лично у меня никогда не было сомнений, но я предпочитал не думать о политическом будущем Франции, пока не будут обеспечены физические условия для ее освобождения. Борьба за гражданскую реорганизацию и военное перевооружение была первоочередной и для французов, и для Союзников, и я до сих пор относился к ней как к своему главному, если не единственному, делу. Я не люблю, а точнее, просто не могу заниматься двумя проблемами одновременно. И когда одна из них, необходимость выиграть войну, встала так прямо и так неотложно, то другую, связанную с послевоенным устройством, следовало оставить на потом. Но теперь дела обстояли иначе: вооружение и экипировка наших армий осуществлялась регулярно на основании программы *ленд-лиза*, которая, в свою очередь, базировалась на «Программе во имя победы». В начале 1943 года здесь уже все зависело только от налаженных связей и административного обеспечения. Зато с каждым днем все более тревожил и вносил смятение в умы вопрос о будущем Франции, о ее отношениях с союзниками и о взаимоотношениях между самими французами. Я понял, что наступил момент, когда надо было пойти дальше, чем я предполагал в Вашингтоне и, быть может, дальше, чем сами Союзники считали необходимым и достаточным для решения ближайших военных задач.

Свои выводы относительно будущего Франции я обсуждал с такими выдающимися людьми, как государственный советник Шарль Эттори и Луи Жокс. Я добился от Жиро, чтобы он вернул Жокса из Константинополя, куда в свое время тот был направлен с целью «противодействовать проискам голлистов». Под нашим влиянием Жиро взял на себя ясные обязательства, которые положили конец всем скрытым маневрам и инсинуациям: «Немецкая оккупация временно лишила французский народ возможности выражать свою суверенную волю. Такая возможность будет восстановлена только вместе с освобождением Франции. Я даю французскому народу торжественное обещание, что его священное право самому определить выбор Временного правительства будет гарантировано в соответствии с законами Республики. Я обещаю, что будут обеспечены условия, чтобы такой выбор мог

быть сделан в обстановке порядка и восстановленных гражданских свобод. Я обещаю, что такие условия будут созданы сразу же после освобождения Франции. Я являюсь слугой французского народа, но не его вождем. Завтра мы станем служить Временному правительству, свободно избранному народом, — ему мы обязуемся передать наши полномочия».

«Я не являюсь вождем народа», — эта фраза имела отношение ко всем, в том числе и к де Голлю; она не имела полемической направленности, но указывала, что на данном этапе проблемы личного лидерства не должны приниматься во внимание. Эти запутанные проблемы было бы легко разрешить, если бы все согласились принять несколько основополагающих принципов. Можно ли двигаться к полному освобождению страны, сохраняя при этом гибридную систему во главе с гражданским и военным вождем? — Я полагал, что нет. Можно ли осуществить союз между лондонским Комитетом и алжирскими властями? — Я на это надеялся и стремился этому способствовать. А пока надо было юридически закрепить речь Жиро. Он сам объявил о восстановлении муниципальных ассамблей и генеральных советов с участием ранее отстраненных представителей народа. Эта мера открывала определенные институционные возможности, о которых много говорили в последующие дни, но от которых в конечном счете отказались. Речь шла о применении старого закона Тревенека от 15 февраля 1872 года; он предусматривал, что в случае наступления ситуации безвластия генеральные советы могли бы назначать Временное правительство, которое должно обеспечить выборы учредительного или законодательного собрания. Об этом можно было бы подумать позже. Более срочной представлялась мне отмена антисемитских законов. Она напрашивалась сама собой. Зато гораздо труднее было поколебать упрямство Жиро по другому весьма важному вопросу: декрету Кремьё.

Этот декрет, принятый в 1872 году, давал евреям, проживающим в Северной Африке, права французского гражданства, которых не имело мусульманское население. Правительство Виши этот декрет отменило. Его следовало восстановить. Жиро отказался это сделать, ссылаясь на не-

допустимость дискриминации по расовому принципу, на самом деле — из страха перед беспорядками. «Я полагал, что знаю Северную Африку лучше, чем те, кто только что туда приехал», — написал он по этому поводу. Но он, безусловно, хуже знал настроение Союзников. Общественное мнение не желало примириться с таким положением, и потребовалось несколько месяцев упорной работы и полное изменение политического климата, чтобы декрет Кремль был наконец восстановлен. За этим исключением, речь 14 марта была повсюду встречена как важнейшее событие, равно как и изданный в тот же день соответствующий указ: «Аннулируются все конституционные акты, законы и декреты, последовавшие за 22 июня 1940 года». Все исполнительные акты теперь должны были начинаться формулой: «Французская Республика от имени народа». Де Голль заявил в Лондоне: «Алжирские декларации во многих отношениях означают большое продвижение в сторону идей Сражающейся Франции». Это было начало процесса объединения, который, несмотря на многие трудности, уже не прекращался. Я добился удаления из общественных мест портрета маршала Петена. Но когда потребовалось водрузить вместо них скульптурные изображения Республики, сделать этого не удалось: оказалось, что все бюсты исчезли. Сумели разыскать только одну покрытую пылью скульптуру. Она до сих пор стоит у меня на камине.

На следующий день, 15 марта, Жиро написал генералу Катру, которого де Голль прислал в качестве своего постоянного представителя: «Я счел необходимым изложить вчера принципы, которыми руководствуюсь в своих действиях. Таким образом, между нами нет неясностей. Я готов принять генерала де Голля, с тем чтобы придать этому объединению конкретную форму». Из Лондона сразу пришел ответ: «Получил ваше послание с удовольствием и рассчитываю в скором времени быть в Северной Африке». Казалось, дело двигалось быстро и в нужном направлении. Однако следовало учитывать, что де Голль готовился к сражению — и к сражению политическому. Его целью была власть, и эта цель требовала далеко идущих расчетов. Его амбиции научили его быть

терпеливым и осторожным. Он опасался западни. «Этот неожиданный театральный спектакль, за которым сразу же последовало приглашение прибыть для переговоров, пробудил в нем чувство недоверия, — рассказывает Катру. — Поэтому он решил выждать и отложить визит».

Мы с Катру были согласны с таким решением, хотя его мотивы казались нам скорее воображаемыми, чем реальными. Но именно потому, что существовали такие подозрения, обоснованные или нет, следовало отложить встречу двух деятелей, уже успевших показать на конференции в Анфе всю несовместимость своих темпераментов. Надо было, следовательно, отложить в сторону проблемы, связанные с личностями, и прояснить сначала пункты для дискуссии. Их перечень был известен: со стороны де Голля имелся длинный меморандум, полученный Жиро в начале марта; с нашей стороны — речь Жиро от 14 марта. Прежде следовало согласовать эти два документа, а затем уже думать о встрече двух лидеров. Однако серьезные расхождения продолжали существовать даже и после того, как Жиро сделал столь существенные уступки демократическому общественному мнению свободного мира. Трудности возникали не только в связи с визитом де Голля, как этот последний думал, или делал вид, будто думает.

Восстанавливая республиканскую законность и республиканские свободы, я не думал ни о том, чтобы угодить Рузвельту, ни о том, чтобы сблизиться с де Голлем. Я действовал не для того, чтобы выполнить такое-то поручение или ответить на такой-то меморандум, а повинуюсь своим глубоким убеждениям, с уверенностью, что тем самым я создаю необходимый климат для продолжения войны и установления мира. Но эти же убеждения вели меня дальше и заставляли быть бдительным: нельзя было допускать никаких преждевременных поползновений к захвату власти, с какой бы стороны они ни возникали.

В том, что касалось Жиро и его окружения, мы заранее исключили всякую попытку навязать стране режим вишистского типа или восстановить монархию. Но со стороны де Голля нам предлагалось войти в состав лондонского Национального комитета, расширенного ради такого случая и превра-

щенного в центральную власть, имеющую все правительственные атрибуты. Из меморандума де Голля можно было ясно понять, что, какие бы ни делались заверения относительно свободного волеизъявления народа после Освобождения, он намеревался сам и как можно скорее возглавить Временное правительство, заключить договор с Союзниками и обосноваться во Франции, чтобы руководить подготовкой к выборам. Мне было трудно одобрить такое намерение — заморозить в свою пользу ситуацию, содержащую еще много неизвестных, и политизировать едва начавшуюся реорганизацию, поддержанную воинским порывом. К сожалению, подтвердились опасения, которые Черчилль и Рузвельт испытывали по отношению к де Голлю. Конечно, эти опасения казались мне преувеличенными: де Голль по складу души не был диктатором. Но он открыто претендовал на власть, его нетерпимость и нетерпимость, по-видимому, располагали его к определенным формам авторитаризма. Как ни мал был риск, нельзя было допустить, чтобы Франция ему подвергалась.

В ответе, который Жиро отправил де Голлю 1 апреля, проводилось различие между периодом, который будет предшествовать освобождению, и периодом, когда это освобождение будет завершено. Совет, состоящий из представителей, губернаторов и ответственных комиссаров от администрации, совместно с генеральными советами будет управлять территориями по мере их освобождения. В надлежащее время он передаст свои полномочия Временному правительству, образованному в соответствии с законом Тревенека от 1872 года, в котором как раз и предусмотрена подобная ситуация. «Таким образом, — уточнялось в меморандуме, — будут предотвращены любые, могущие возникнуть в силу обстоятельств, поползновения к установлению личной власти или к созданию правительства путем восстания».

Такого рода опасения не оставляли меня. Я видел, что Франция расколота, охвачена глухим брожением. Что из всего этого выйдет, когда страна получит возможность открыто выразить свою волю? В условиях вакуума законности, на какие авантюры она может позволить увлечь себя? Имя человека, который мог бы получить власть, волновало меня меньше,

чем средства, которые будут ему предоставлены, чтобы подняться к власти и осуществлять ее демократическим путем. В первые месяцы 1943 года республиканская система власти установилась в Алжире, который являлся частью Французской территории и вступил в войну против Германии; объединив эту власть с Национальным комитетом де Голля (формы такого объединения еще предстояло найти), мы получили бы формулу, которая, на мой взгляд, соответствовала текущему моменту и соединяла здравый смысл, законность и патриотизм. После высадки во Франции мы смогли бы, на основе закона Тревенека или какой-либо лучшей юридической базы, обеспечить политическую преемственность.

Эти расчеты не принимали во внимание характер двух претендентов, которые делали все, чтобы разрушить работу тех, кто прилагал усилия к их примирению. Катру, вернувшийся из Лондона 20 апреля, привез ответ де Голля, который умело атаковал слабые пункты в позиции Жиро. Суть его возражений сводилась к следующему: «Ваши предложения о создании Совета содержат слишком много неясных моментов. Надо проводить различие между центральной властью и исполнительными органами местной администрации. Губернаторы не могут принадлежать к центральной власти. Они должны подчиняться ей. Тот же принцип должен действовать и в отношении главнокомандующего. Это — республиканский принцип». Вопрос о роли Жиро ставился альтернативно: либо он сохраняет гражданскую власть и отказывается от военного командования, либо сохраняет командование, но подчиняется политической власти. Именно создания «правительственного органа» требовал де Голль «от имени всех сил сопротивления, ведущих борьбу внутри страны и за ее пределами». Эта атака была стремительной и хорошо нацеленной. Все знали, что Жиро всеми фибрами был связан с армией. Он никогда бы не отказался от военного командования. Но как бы мало он ни был привязан к политическим делам, согласится ли он подчиниться де Голлю, двузвездному генералу, тогда как у него самого было пять звезд? Именно так звучал этот вопрос для Жиро, и в такой постановке он был неразрешим.

Перед теми, кто, с той и с другой стороны, всячески стремились примирить враждующие группировки, стояла задача изменить если не настроенность соперничающих вождей, то хотя бы контекст их соперничества. На протяжении последующих трудных недель помощь Катру имела большое значение. К счастью, у него было достаточно звезд, чтобы к его мнению прислушивались обе стороны. Он был хорошим генералом и хорошим дипломатом: такое сочетание было необходимо для службы в Африке и на Востоке, где протекала его военная карьера. Де Голль использовал его проницательность и мирился с его независимым характером. В переговорах в Алжире он позволял ему в какой-то мере самостоятельно продвигаться вперед, готовый его дезавуировать, если в поисках компромисса он пойдет дальше необходимого. А необходимое, с точки зрения де Голля, состояло в том, чтобы избежать непоправимого, балансируя на грани разрыва. Что касается Катру, то он с трудом переносил нагрузки, которым он подвергался в Лондоне, и просил, чтобы ему предоставлялось достаточное время для переговоров, чем вызывал недоверие де Голля. В то же время, и меня упрекали в недостаточно последовательной защите позиций Жиро, который доходил до абсурда в своем драматическом нежелании видеть и понимать ускользающие от него политические реальности.

Все это происходило в странной атмосфере города, кишящего интригами и словно обреченного быть местом заговоров. Циркулировали нелепые слухи. Я вынужден был опровергать те из них, которые сообщали о моем аресте и о путче военных, тоскующих по прошлому. Одновременно в большом количестве прибывали эмиссары от лондонского Комитета, частично с официальными мандатами, частично — с более или менее секретными миссиями. Спорадические выступления голлистских групп поддерживали атмосферу ожидания. Эйзенхауэр с удивлением наблюдал за всеми этими маневрами, которые, конечно, не мешали его военным действиям в Тунисе, но ему не нравилось видеть возбужденные толпы, в то время как его войска вели тяжелые бои. Он не скрывал своего отношения к происходящему, но в том, что касалось политических дел, полагался на двух советников,

специально для этого прикомандированных Рузвельтом и Черчиллем.

Первым начал действовать Роберт Мёрфи, сумевший наладить контакты со всеми политическими группировками в Алжире, подобно тому, как раньше он делал это в Виши и вообще везде, где ему приходилось выполнять трудные и важные поручения. Внешне он ничем не напоминал секретного агента. Блестящий, свободный в проявлениях своего кипучего ирландского темперамента, преданный друг, он стремился как можно лучше выполнять свою неоднозначную миссию: поддерживать Жиро — и успокаивать американских демократов, помогать созданию французской власти — и не позволять де Голлю захватить руководство Францией. Однако уже приближался момент, когда он больше не сможет примирять непримиримое. И Мёрфи, несколько разочарованный, уедет в другие места по другим назначениям.

Другой советник генерала Эйзенхауэра был человеком Черчилля и уже шестнадцать лет заседал в Палате Общин на скамьях консерваторов. Более известный как издатель, чем как политик, Гарольд Макмиллан непринужденно погрузился в хитросплетения экзотических интриг, восхищавшие его изощренный ум. Я познакомился с ним в Лондоне в июне 1941 года, когда я, после франко-немецкого перемирия, переводил на английское правительство французские заказы, размещенные в США. Мы были друзьями. Он и Мёрфи действовали заодно. Иногда им это нелегко давалось, когда Черчилль и Иден занимали по отношению к де Голлю более благоприятную позицию, чем того хотелось бы Рузвельту. Но друг от друга у нас не было секретов: это подтверждают подробные и совпадающие между собой рассказы Мёрфи и Макмиллана об этом периоде. Мы с Макмилланом обменивались информацией и согласовывали наши позиции во время частых встреч в пригороде Алжира Типасе. Там, гуляя возле моря, среди римских развалин, в спокойной обстановке, мы готовили будущее.

Там мы с удовольствием встречали одного человека, чья яркая личность произвела на нас сильное и чарующее

впечатление еще в Вашингтоне, где он нашел временное убежище после захвата Франции нацистами. Антуан де Сент-Экзюпери не любил суеты и ценил независимость; поэтому он предпочитал держаться в стороне от всего, что было связано с организацией. Он был преисполнен решимости сражаться, но так, как хотелось ему, как ему подсказывал его инстинкт. Этот инстинкт привел его сначала в Соединенные Штаты, где ему была обеспечена свобода писать. Он объяснял американцам, почему необходимо сражаться за общие демократические ценности, оказавшиеся под угрозой. Иногда он присоединялся к нашей группе, и Сильвия вспоминает, как он показывал ей и ее подругам карточные фокусы, пока мужчины вели политические диспуты в соседней комнате. Потом они звали нас, и он повторял перед изумленными Макклоем и Франкфуртером свои таинственные манипуляции. Мы просили его раскрыть «секрет». «Я унесу его в могилу», — отвечал он. Однажды он нам сказал: «Я пришел проститься, еду на фронт». Мы знали, что французские военно-воздушные силы отказались принять его в качестве военного летчика из-за возраста. «Вы можете принести не меньшую пользу в других областях», — говорили мы ему. Но он был тверд: «Я не могу поступить иначе, мне нужен самолет, и я его получу». Когда я снова встретился с ним в Алжире, он добился, чего хотел, и с ясным сознанием шел навстречу своей судьбе. 31 июля 1944 года Антуан де Сент-Экзюпери, чья жизнь была так дорога многим людям, не вернулся из одиночного полета. Я никогда не забуду произнесенную им фразу: «Самая лучшая из человеческих профессий — объединять людей».

Де Голль и Жиро

Поскольку военные действия в Тунисе получили благоприятный для Эйзенхауэра поворот, дорога для де Голля в Алжир оказалась открытой. В это же время, 20 апреля, Катру смог представить Жиру конструктивное предложение: Центральный совет будет состоять из семи членов, назначаемых Жиро и де Голлем. Их ответственность будет коллективной,

а председательствовать будут два генерала по очереди. Жиро будет присутствовать на всех официальных церемониях. «Гражданский и военный главнокомандующий» под нашим давлением в конце концов принял это предложение. Фактически мы согласились признать наличие ряда расхождений и не обращать внимания на некоторые недоразумения, которые, как мы надеялись, будут так или иначе преодолены в дальнейшем. Именно этот момент и выбрал де Голль, чтобы в своей манере обострить ситуацию, которая сама по себе развивалась благополучно.

Ранее Жиро написал де Голлю: «Предлагаю встретиться в Бискре или Марракеше, чтобы окончательно завершить наше соглашение в спокойной обстановке, в стороне от искусственно подогреваемых страстей... А оттуда мы вместе направимся в Алжир». Де Голль ответил: «Местом встречи должен быть Алжир. Там и поговорим. Вы, конечно, опасаетесь, что мое появление там будет иметь большой общественный резонанс. Но я вам гарантирую, что мои сторонники воздержатся от любых неуместных манифестаций». Эта размолвка задержала приезд де Голля на целый месяц. Катру писал ему: «Намереваетесь ли вы договариваться с Жиро, *да или нет?* В случае вашего положительного ответа, необходимо создать благоприятный климат; если ваш ответ отрицательный, скажите мне об этом».

В действительности, де Голль не хотел говорить ни да, ни нет, а хотел другого: перед ним маячила перспектива полностью одержать верх над Жиро. Только что получив во Франции поддержку нового Национального комитета Сопротивления, созданного Жаном Муленом, де Голль пришел к убеждению, что время работает на него и что он может путем тонкой игры, чередуя публичные выпады с закрытыми переговорами, сбить соперника с его позиций. Однако соперник чувствовал себя уверенно во главе своей армии; пользуясь подлинной популярностью (разве толпы людей не приветствовали его в освобожденном Алжире и Тунисе?), не сомневаясь в поддержке американцев, он испытывал соблазн взорвать мосты. Никогда боевое единство французов не подвергалось большей угрозе, чем в эти дни.

Мы не могли допустить, чтобы наши генералы, каждый со своей стороны, все дальше шли по пути разрыва. По прошествии нескольких недель, когда кризис созрел, мы с Макмилланом удалились в Типасу, чтобы подготовить новый вариант соглашения, который мог бы примирить тех, кого Рузвельт и Черчилль называли «наши примадонны». Вскоре Катру и Макмиллан на самолете «летающая крепость», который был предоставлен в их распоряжение Эйзенхауэром, отправились в Лондон к де Голлю с письмом Жиро от 17 мая. В нем подтверждался принцип двойного руководства с чередованием лидеров, а также принцип коллективной ответственности. Комитет должен был включать двух членов, назначаемых жиро, и двух — назначаемых де Голлем. Этот Комитет должен был создать консультативный Национальный совет и Комитет Сопротивления, затем назначить комиссаров. Вновь предлагалось в период Освобождения следовать процедурным рекомендациям закона Тревенека. «Мы обязаны принять во внимание, — писал Жиро, — что наша власть возникла «де факто». Мы не являемся и не можем быть правительством Франции».

Новый проект делал лишь очень небольшие уступки в ответ на возражения де Голля, но этот последний, как мы и предполагали, дал свое согласие. Нам передали его ответ: «Есть спорные моменты, но, после первого ознакомления, я не думаю, чтобы у нас были существенные расхождения». На самом деле он готов был разнести на куски предложенные ему рамки, но теперь он предпочитал действовать изнутри, поскольку чувствовал себя достаточно сильным, а время поджимало. Пока что он добился, чего хотел: приглашения прибыть в Алжир. Его самолет приземлился в Алжире 30 мая, генерала сопровождали Филип, Масильи и Палевски. На аэродроме Буфарик его встречали Жиро и Катру. Исполнили «Марсельезу». Автомшины, как не преминул отметить де Голль, «были французские». Я считаю, что де Голль выражал дух Сопротивления в метрополии, то есть в самой Франции, которая наконец-то в своем огромном большинстве объединилась вокруг него. Его место было там, где восстанавливались институты Республики.

На следующий день, 1 июня, в лицее Фромантен, состоялось первое, учредительное, собрание Исполнительного Комитета. На нем присутствовали оба сопредседателя, каждый со своими представителями. С де Голлем были Филип и Масильи, с Жиро — генерал Жорж и я. В соответствии с пожеланиями обеих сторон, присутствовал также Катру. Почему появился генерал Жорж, мог бы объяснить только Черчилль: это по его рекомендации был доставлен из Франции его старый друг, уважаемый член генерального штаба разгромленной французской армии. Этот человек из прошлого был для Жиро не столько поддержкой, сколько обузой. Итак, всемером мы уселись вокруг стола. В глазах некоторых, мы, безусловно, представляли собой новое законное правительство Франции. Но те же люди были убеждены, что завтра оно подвергнется радикальным изменениям. Для меня суть вопроса заключалась не в этом. Мы еще только вступили в новую фазу объединения французов. Был достигнут серьезный прогресс, важно было его закрепить.

Мы добились того, что был создан исполнительный комитет, единый орган, который впервые будет говорить от имени всех участников Сопrotивления, и тех, кто в Лондоне, и тех, кто в Алжире. Исходя из этого, я подготовил очень простой план: комитет конституируется и публично заявляет о себе как единый действующий орган, а не как место для переговоров. Об этом должна быть опубликована соответствующая официальная декларация. Затем начнется подготовительный период длительностью от месяца до шести недель, в течение которого будет осуществлено слияние двух административных структур: той, которая зависела от гражданского и военного командования в Алжире, и той, которая зависела от Национального комитета в Лондоне. Такой срок необходим, чтобы произошло взаимопроникновение двух групп служащих и чтобы была выработана единая политика. Будут назначены двенадцать комиссаров (Национальной обороны, Сопrotивления, Внутренних дел, Иностранных дел и т. д.), будут созданы консультативные органы. Уже потом наступит очередь заняться фундаментальными и сложными вопросами, такими как высшее военное командование, единство движения

Сопrotивления во Франции, персональные назначения (губернаторов, военных руководителей и т. д.).

В своей жизни я имел возможность сто раз убедиться в том, что вопрос персональных назначений может стать серьезнейшим препятствием для организации и успеха дела. Мне никогда не удавалось ни полностью избежать, ни целиком преодолеть это препятствие. Но я не считал нужным вдаваться в эти вопросы заранее, я стремился заниматься ими по мере необходимости, выдвигая на первый план принципиальные и методические задачи и стремясь решать именно их в первую очередь. Это правило я, естественно, относил прежде всего к себе самому: для себя я не добивался ни должностей, ни прерогатив, но именно поэтому я имел возможность потребовать от тех, с кем работал, немного незаинтересованности и скромности. Скажу проще: чуточку разума. В Алжире в эти первые июньские дни, я это знал, с разумом было туго. Требовалось время, чтобы разум мог сделать свое дело. Поэтому я писал: «Очень важно, чтобы все вопросы были обсуждены в спокойной обстановке, чтобы все члены Исполнительного комитета отдали себе отчет в реальной ситуации как во Франции, так и в Северной Африке, ибо многие, что естественно, не имеют о ней детального представления. А для этого необходимо известное время. Если мы будем действовать таким образом, мы, несомненно, найдем нужные решения, опирающиеся на общую поддержку и гарантирующие успешное административное управление и реальное политическое объединение».

Жиро более, чем кто-либо, был заинтересован в таком развитии событий. Разумеется, я ему это объяснил, но он открыл заседание наивным вопросом: «Кто-нибудь что-нибудь хочет сказать?» Де Голль, конечно, многое хотел сказать, и прежде всего — по вопросу о персональных назначениях. Мне его речь была известна. Он прочел ее мне накануне вечером на вилле «Глицинии», где находилась его резиденция. Его линия поведения не изменилась со времени нашего последнего свидания в Лондоне в 1940 году. Она основывалась на сочетании достойного уважения ясного понимания вещей — с противо-

речащей здравому смыслу и внушающей опасения горячностью. Де Голль бывает попеременно то очень открытым, близким собеседнику, когда хочет его очаровать, то далеким, не доступным для убеждения, когда в нем говорит патриотическая гордость или личное тщеславие. Я соглашаюсь с его суждениями только до того момента, когда у него начинается припадок эгоцентризма. Его конфликт с Рузвельтом и, в меньшей степени, с Черчиллем стал для него каким-то наваждением. Если его вина в зарождении конфликта была не очень велика, то затем она все более и более возрастала по мере того, как он преувеличивал значение происков, которые, по его мнению, были против него направлены. Однако он был чаще всего прав в критике концепций Жиро, которые я тоже не мог защищать до конца.

Итак, на заседании 1 июня де Голль был прав, требуя отстранения вишистских деятелей, таких как Ногес, Буассон, Пейрутон, и вновь подтверждая, что военное командование должно подчиняться гражданскому правительству. Но, как я и предвидел, эта лобовая атака на позиции Жиро к успеху не привела. «Я взял на себя эти полномочия, — ответил гражданский и военный командующий, — потому что это было необходимо в чрезвычайных обстоятельствах, которые сохраняются и на сегодняшний день. Поэтому объединение гражданского и военного руководства в настоящее время не является неконституционным, да и наши предварительные договоренности не содержат требования его отмены». Дискуссия увязла в этой колее. Вконец расстроенные Массильи и Катру пытаются убедить двух генералов, что по сути дела они говорят одно и то же, но диаметрально противоположные выступления Жоржа и Филипа не облегчают пути к компромиссу. Я несколько раз пытаюсь вернуть дискуссию к ее исходному пункту, напоминая, что первоочередной задачей является создание исполнительного комитета без предварительных условий и что затем он в своей работе, несомненно, подойдет к тем решениям, в которых все мы заинтересованы. Но пока что ясно лишь одно: Жиро не хочет идти ни на какие уступки, а де Голль хочет сразу добиться всего. В порыве раздражения де Голль собирает свои бумаги и выходит вон,

хлопнув дверью. Подняв таким образом желанную бурю, он удаляется в «Глицинии».

На протяжении двух дней весь Алжир был действительно наэлектризован и охвачен волнениями вплоть до того, что даже разнеслись слухи о путче; все это происходило на глазах у Черчилля, прибывшего сюда вместе с Иденом на переговоры в генеральном штабе. Внезапно разразился инцидент с Пейрутоном, генерал-губернатором Алжира: голлистским агентам, в результате сложных маневров, удалось убедить Пейрутона, в целях собственной безопасности, подать прошение об отставке непосредственно в руки де Голля. Де Голль прошение принял и объявил об этом, даже не поставив в известность Жиро, от которого Пейрутон в свое время получил свое назначение. Маневр был ловким и неуклюжим в одно и то же время. Но тому, кто его задумал и осуществил, не было дела до того, что Жиро вне себя от возмущения, а Катру поставлен в затруднительное положение. Де Голль внес смятение в ряды старой администрации и сместил центр власти в свою пользу. Тем временем агитация и интриги, которыми занимались сторонники Свободной Франции в рядах армии, создавали там нездоровую атмосферу. Требовалось срочно восстановить общее руководство над всей системой гражданского и военного управления. Давление, которое мы оказали на обоих генералов, убедило их вновь встретиться 3 июня в лицее Фромантен.

Они тут же схлестнулись по вопросу о Пейрутоне, и вновь возникла такая же атмосфера, что и на предыдущем заседании. Но вскоре, договорившись с Филипом, я выступил с кратким заявлением: «Сейчас, когда срочно необходимо объединение, эти споры неактуальны, и я предлагаю немедленно учредить Французский Комитет национального Освобождения». Именно это я должен был сделать еще на первом заседании. Решение было принято мгновенно: де Голль назначил своими представителями Массильи и Филипа, а Жиро — Жоржа и меня. Затем мы единогласно кооптировали Катру. С этого момента можно было принимать административные решения, и первым нашим решением было назначение Катру комиссаром по делам мусульманского населения и генерал-

губернатором Алжира. Вторым решением мы назначили Жокса, выдающиеся качества которого я успел оценить, на пост секретаря Комитета; он продолжал успешно работать в этом качестве и тогда, когда его должность была переименована в должность генерального секретаря правительства. В протоколе заседания было также сказано: «Решено срочно отозвать в Алжир генерала Ногеса, заменив его г. Пюо в качестве генерал-губернатора Марокко. После дискуссии, в ходе которой были высказаны различные мнения относительно генерала Бержере, генерал де Голль предложил Французскому Комитету национального Освобождения решить вопрос голосованием. Отставка генерала Бержере решена пятью голосами против двух». С этого момента стало ясно, что по всем вопросам, где сталкиваются точки зрения прошлого и настоящего, Жиро окажется в меньшинстве. Данное голосование предопределяло все последующие. Де Голль это понял. В конце заседания он подошел к Жиро и расцеловался с ним.

Французский Комитет национального Освобождения

Под заголовком «Решающий день в истории Франции» газета «L'Écho d'Alger» опубликовала наше первое официальное коммюнике:

«Комитет национального Освобождения является центральным органом французской власти. Он осуществляет руководство французскими военными усилиями повсюду и во всех формах. В соответствии с этим, он является носителем французского суверенитета на всех территориях, свободных от вражеской оккупации. Он обеспечивает французские интересы и их защиту во всем мире. Его власть охватывает территории и военные силы, наземные, морские и воздушные, ранее подчинявшиеся либо Французскому национальному комитету, либо гражданскому и военному главнокомандующему.

Комитет передаст свои полномочия Временному правительству, которое будет сформировано в соответствии с законами Республики, как только это позволит начавшееся ос-

вобождение территорий метрополии и не позже того, как произойдет полное освобождение Франции.

Комитет берет на себя торжественное обязательство восстановить все французские свободы, законы Республики и республиканский режим, полностью разрушив режим произвола и личной власти, навязанный сегодня стране. Комитет находится на службе народа Франции, чьи военные усилия, сопротивление невзгодам, равно как и задачи обновления, требуют единства всех национальных сил».

В этом заявлении от 4 июня повторялись многие акценты речи от 14 марта. Конечно, в перерыве между двумя этими текстами я способствовал тому, чтобы были созданы благоприятные условия для успешного завершения процесса, «вдохновителем» которого (по выражению де Голля) был я. Для этого надо было добиться мирной встречи, а затем добровольного слияния двух питавших недоверие друг к другу центров, образовавшихся в результате драматического раскола французского национального единства. За два с половиной месяца до того, как это произошло, кто бы мог утверждать, что мы этого достигнем без резкой конфронтации и без ненависти? Конечно, ряд недоразумений все еще не удавалось сгладить. Лидеры продолжали оспаривать друг у друга всю полноту власти, поделить которую у них не хватало мудрости. Но, во всяком случае, мог спокойно продолжаться процесс слияния вооруженных сил — и тех немногочисленных, но уже закаленных в бою, которые находились под командованием Свободной Франции, и тех, более значительных, которые проходили реорганизацию в Алжире. С одной стороны, пятнадцать тысяч бойцов, которые уже участвовали в легендарных сражениях; с другой — триста тысяч человек, на две трети мусульман, горящих желанием вновь вступить в войну и уже принявших участие в боях в Тунисе. Все они, объединившись, сыграют большую роль во время итальянской кампании.

Справедливость требует признать блестящие достижения генерала Жиро, возглавившего армию с профессиональной уверенностью военного, выполняющего главное дело своей жизни. Его настоящее место было на полях сражений,

а не на совещаниях, в которые он был вовлечен почти вопреки собственной воле. Ведь в Северную Африку он прибыл в надежде стать во главе союзных армий, которым предстояло высадиться на французской земле, — эту надежду развеял Эйзенхауэр своей высадкой в Гибралтаре. Гражданское управление досталось ему случайно после убийства Дарлана. И если бы не иерархический рефлекс, в силу которого ему, пятизвездному генералу, было невыносимо подчиняться свежеспеченному двухзвездному генералу де Голлю, он бы охотно ограничился военным командованием. Но свойственное людям его касты понимание чести толкало его к тому, чтобы потерять все из-за нежелания уступить хоть что-то.

Лето было отмечено перипетиями неизбежной отставки Жиро, но также и заметными успехами в организации гражданской власти воюющей Франции. Комитет Семи собрался вновь 5 июня, чтобы подготовить декрет о собственном расширении. Речь шла о том, чтобы начать заполнять людьми подготовленную нами структуру; я стремился к тому, чтобы в нее вошли деятели, уже проявившие себя как в Лондоне, так и в Алжире, и относительно которых я был уверен, что они не внесут в нашу работу даже тени клановых отношений. Я знал, что Рене Плевен, ставший близким сотрудником де Голля, впредь, как и прежде, будет надежным другом. Я не сомневался, что Морис Кув де Мюрвиль, несколько месяцев назад прибывший из Франции и выполнявший важные функции в администрации Жиро, сможет тесно сотрудничать с де Голлем и людьми, прибывшими из Лондона. Будущее показало, что я был совершенно прав. А разве мой друг Рене Мейер, также кандидат Жиро, не обладал всеми необходимыми умственными и личностными качествами, чтобы внушить уважение де Голлю и войти в команду, которой предстояло возродить Францию? На этот вопрос он сумел дать блистательный ответ. Что касается Анри Бонне, предложенного де Голлем, я знал его еще по Лиге наций и был уверен, что он внесет достойный вклад в нашу общую работу. Об остальных новых членах я ничего не мог сказать, поскольку плохо знал Тиксье и Дителяма, предложенных де Голлем, и доктора Абади, местного деятеля, выбранного Жиро.

В новый Комитет входило четырнадцать членов. Массильи, профессиональный дипломат, работающий и добросовестный, занимался международными делами. Андре Филип, порывистый и наделенный богатым воображением, кажущаяся беспорядочность которого только оттеняла его точную речь и выдающиеся дидактические способности, получил внутреннюю политику. Я не знаю, контролировал ли он по-настоящему полицию, но он безусловно не контролировал секретные службы — ни службы де Голля, ни еще более могущественные службы Жиро; и те, и другие действовали очень активно и нередко друг против друга, что не могло не внушать тревогу. Кув де Мюрвиль получил финансы, Рене Мейер — транспорт и общественные работы, Плевен — колонии, Дительм — экономику, Тиксье — министерство труда, Абади — юстицию, Анри Бонне — информацию, я — вооружение и снабжение. Катру и Жорж получили посты государственных комиссаров. В результате получилась хорошая управленческая команда, уравновешенная, способная принимать консенсусом решения общего значения. Распределение политических сил внутри нее не было результатом каких-то особых макиавеллических расчетов, как некоторым казалось. Так, например, Мёрфи бросился к Жиро, выражая удивление: как это он позволил отстранить себя от власти. По подсчетам Мёрфи получалось, что де Голль получил в Комитете большинство. Все было не так просто, но нельзя запретить прожженным политикам повсюду видеть силовые комбинации и зародыши будущих конфликтов. Они принимают во внимание только характеры людей, но не природе стоящих перед ними проблем. Нельзя сказать, что они всегда заблуждаются и что Мёрфи был не прав, особенно если принять во внимание оценку, которую задним числом де Голль дал своим действиям: «Будучи уверен, что Комитет в целом готов меня поддержать, я решил разыграть следующую партию. Но прежде чем бросить кости, я их хорошенько потряс».

Однако, повторяю, все было не так просто. Мёрфи поддался своим поспешным умозаключениям, а де Голль — своей склонности к звонкой фразе. Я не помню, чтобы кто-нибудь из действующих лиц или свидетелей этих событий проявил такую проницательность или такой цинизм; напротив,

все испытывали большую неуверенность относительно того, каким образом можно укрепить рождающееся единство. Действительно, на упреки Мёрфи и пришедшего с ним Макмиллана я ответил следующим образом: «Нам и так достаточно трудно привести в действие сложный аппарат, внутри которого объединились бы все французские силы; так что дипломатические связи будут осуществляться нормальным путем через Массильи». Отсюда Мёрфи сделал вполне обоснованный вывод, что начался новый этап в наших отношениях, но также — и весьма преувеличенное заключение, будто я перевернул политическую ситуацию. «Таким образом, — пишет он, — Монне вежливо заявил о независимости Франции в Северной Африке». Что касается независимости Франции, то я никогда не считал, что она нуждается в том, чтобы о ней заявлять. В тот момент, как и во все остальные моменты моей жизни, я был убежден, что независимость Франции обусловлена только действиями французов и их единством. Вот на это и были направлены все мои усилия, как и усилия тех людей, о которых я говорил выше: в своем большинстве они без всяких задних мыслей работали над теми задачами, которые стояли перед Комитетом.

В действительности, и де Голль, когда он «как следует встряхивал кости», рассчитывал на мудрость подавляющего большинства людей, разделявших с ним ответственность за успех военных действий в Северной Африке и за подготовку мирного устройства. Ситуация была слишком серьезна, чтобы разыгрывать ее, как партию в покер, и если мы неустанно вмешивались в события, то не для того, чтобы поддерживать рискованные ставки того или другого из соперников, но для того, чтобы восторжествовал разумный подход. А разум требовал, чтобы Жиро перестал удерживать в своих руках гражданскую и военную власть. Де Голль имел все основания настаивать на разделении властей, но он был не прав, требуя немедленного и прямолинейного осуществления такого разделения, доводя дело до крайности — до отстранения Жиро. Мне стало ясно, что, помимо ограничений, которые накладывало на него двоевластие, для де Голля было неприемлемо само функциониро-

вание Комитета, где осуществлялся принцип коллективной ответственности и царил некий дух независимости. Восемь дней спустя после создания первого правительства восстановленной французской республики все предпосылки серьезного политического кризиса были налицо. Этого-то я и хотел избежать, когда 1 июня предлагал установить паузу протяженностью от одного месяца до шести недель, чтобы за это время распределить обязанности и осуществить слияние военного командования. Но де Голль хотел как раз ускорить развитие событий, чтобы извлечь выгоду для себя. 9 июня он вышел из Комитета и тем самым заблокировал его работу. Этот прием называется «пустой стул», и его результатом мог стать либо разрыв, либо компромисс.

Необходимо было придти к соглашению, и де Голль это понял скорее и лучше, чем Жиро. Он вернулся в Комитет, ничего не добившись, кроме шума в печати, и доставив нам много хлопот с улаживанием последствий его демарша. Но основная проблема осталась неразрешенной, и де Голль не замедлил поднять ее вновь. Жиро должен был заниматься планированием и проведением военных операций, но руководство войной относилось к компетенции правительства. Для того, чтобы отбыть к армии, Жиро приходилось покинуть Комитет. Сам Жиро говорил: «Комитет не разбирается в армейских делах, а североафриканская армия доверяет только мне». И действительно, никто не знал армию так хорошо, как он, но именно потому, что он стоял так близко к армии, он не мог ее реформировать и особенно омолодить ее командование. С помощью генерала Жюэна, который был в состоянии говорить откровенно и с де Голлем, и с Жиро, мы выработали решения, приемлемые для обеих сторон. Но было ли необходимо срочно осуществлять эти решения в момент, когда союзники готовили высадку на Сицилии? Ведь это могло бы внести разброд во французские войска, принимавшие участие в операции. Так думали в американском генеральном штабе. И генерал Эйзенхауэр, уже не в первый раз, вмешался в ход событий.

19 июня он пригласил к себе Жиро и де Голля. «Я специально пришел последним, — рассказывает де Голль, — а слово взял первым». Эйзенхауэр терпеливо выслушал его; благо-

родная гордость де Голля произвела на него впечатление. Но позиция Эйзенхауэра была непоколебимой: «Накануне столь значительных операций, — сказал он, — я считаю нецелесообразным производить перемены в существующей системе французского командования. Я по-прежнему буду иметь дело с генералом Жиро в качестве главнокомандующего всеми французскими войсками и всеми средствами связи. В ином случае все поставки оружия со стороны союзников будут превраны». Этот демарш можно было бы рассматривать как давление со стороны союзников, но в действительности он был продиктован реальной обстановкой. У Эйзенхауэра не было выбора, а инструкции, которые он получил от Рузвельта и Черчилля, совпадали с тем, чего требовал от него долг военачальника. Что касается нас, то нам предстояло найти компромиссное решение для двух генералов, которым предстояло еще некоторое время сосуществовать друг с другом. Таким решением, которое было найдено мной совместно с генералом Бланом, было создание 22 июня 1943 года «Постоянного военного комитета».

Каким бы хрупким ни было это соглашение, оно позволяло сохранить главное: единство республиканского управления на освобожденных территориях и согласие американцев продолжать экипировку французских войск. Последний пункт требовал от меня особого внимания, так как, сразу же после моего прибытия в Северную Африку, я убедился, что не все здесь идет гладко, несмотря на заверения, которые Жиро получил от Рузвельта в Анфе. Как уже нередко случалось после соглашений на верхах, механизмы осуществления оставались не проработанными и дело не шло. В данном случае были недооценены трудности, связанные с транспортировкой, но мне удалось, благодаря моим связям с Хопкинсом и Макклоем, ускорить ритм поставок. Первая большая партия прибыла 13 апреля, и на протяжении последующих месяцев была отправлена экипировка для четырех пехотных дивизий, двух дивизий мотопехоты, четырех танковых батальонов и т. д., что составило пятьсот тысяч тонн военных материалов, не считая весьма значительных гражданских грузов. Эти поставки означали усиление Франции и, следовательно, ее независимость;

они были так же важны, как и создание структуры власти. Оба эти вопроса одновременно приковывали мое внимание. Вот почему я старался не допускать поспешных решений и личных пристрастий. Жиро принадлежит великая заслуга: он возродил армию, которая поступила под его командование без вооружения и с подорванным моральным духом. Никому другому Соединенные Штаты не оказали бы помощи в столь больших размерах. И этот момент я должен был учитывать.

Зато Жиро был не способен ни омолодить эту армию, насчитывавшую восемьдесят пять генералов, ни изгнать всех людей Виши, — в июле с большим трудом удалось добиться удаления Буассона. У него не было ни склонности, ни способностей для того, чтобы создавать разветвленную администрацию, в которой будет нуждаться освобожденная Франция. Это мог бы осуществить де Голль. С этим моментом я тоже должен был считаться. В конечном счете, события развивались именно так, как я хотел, то есть с разумной медлительностью. Те несколько недель, которые я считал необходимыми для восстановления равновесия сил, прошли нормально, несмотря на попытку де Голля прищипорить время. Ситуация развивалась в благоприятном для него направлении не столько благодаря его театральным выходкам, сколько вследствие ошибок, допущенных его неловким конкурентом. Самую серьезную из них, ставшую последней, Жиро совершил в июле: он покинул свое место, чтобы совершить длительное путешествие в Соединенные Штаты, Канаду и Англию. Может быть, он думал, что эта поездка принесет окончательное признание его руководящей роли. Он встретил триумфальный прием, но закрыл перед собой будущее. Везде его приветствовали как славного солдата, но избегали говорить с ним о политике. Если он и пытался неосмотрительно вступить в эту область, то делал это весьма неудачно. Он был восхищен формирующейся американской армией, ее молодостью и силой. Но этот опыт он открыл для себя слишком поздно, и по возвращении ему не удалось им воспользоваться. Все же он привез весьма существенные обещания в отношении вооружения французских войск.

Пока его не было, Комитет вошел в хороший рабочий ритм. У каждого было столько дел в порученном ему секторе,

что вопрос о председательствовании был забыт. Но за это время стало еще более очевидно, что невозможно продолжать работу в условиях неясности, возникающих как следствие двойного и противоречивого руководства. Вопрос стоял уже не о том, кто прав, кто виноват, а о необходимости создать ясную и эффективную форму власти. Однако, поскольку Жиро не предлагал никаких изменений и не соглашался ни на какое умаление своего статуса, который, как он считал, укрепился в результате его поездки, компромиссные предложения, выдвинутые де Голлем, стали выглядеть приемлемыми. Они оставляли Жиро достаточно внешних атрибутов гражданской власти и реальную военную власть, что должно было побудить его согласиться на то, чтобы стать частью такой системы, которая, в силу своей сложности, облегчила бы его постепенное устранение. В соответствии с предложениями де Голля, Жиро, конечно, должен был оставаться сопредседателем и сохранять право подписи под всеми декретами. Но де Голль должен был руководить заседаниями комитета Национальной защиты. Предлагалось введение должности комиссара национальной защиты, которую должен был занять генерал Лежантийом. Жиро является главнокомандующим объединенных военных сил. Но свои функции он осуществляет только во время военной кампании и перестает быть членом правительства.

Все эти юридические тонкости от Жиро ускользали, либо он сознательно не желал с ними считаться. Его авторитет в армии и в секретных службах, которые, если можно так выразиться, были его достоянием, все еще обеспечивал ему значительную власть. Он пользовался этим для того, чтобы выступать в качестве главного партнера Союзников, вместе с которыми он, действуя от себя лично, разрабатывал и проводил важные военные операции в Италии и на Корсике. Его несомненные военные успехи не оправдывали его политическую развязность. И то, и другое задевало и возмущало де Голля, который решил покончить со своим неудобным соперником. Воспользовавшись общей усталостью и возросшим числом его сторонников, прибывших из Франции, он нанес Жиро тяжелый удар: 1 октября он провел через Комитет решение о своем избрании в качестве единого председателя, ко-

тому должен подчиняться главнокомандующий. Правда, для того, чтобы окончательно убрать Жиро, де Голлю потребовался второй заход, и он добился своего только в апреле 1944 года, проведя декрет об отстранении от должности. Но это произошло уже долгое время спустя после моего отъезда.

Эта болезненная операция, несомненно, вызвала большое смятение умов, особенно в армии, что подтверждается бесконечными оправданиями, оставленными нам главными актерами этой драмы. Все они говорят об уважении к иерархии, о чувстве чести, о дисциплине, о верности и самопожертвовании... Я уважаю эти побуждения, но не могу не думать о том, что в интересах Франции обе стороны могли бы поменьше думать о себе и своем мессианском предназначении. В смысле эгоцентризма Жиро ни в чем не уступал де Голлю. Оба говорили о себе в третьем лице. Они считали, что на них возложена священная миссия. Независимость Франции была их навязчивой идеей, и я могу засвидетельствовать, что Жиро не в большей мере считал себя обязанным американцам, чем де Голль — англичанам: просто каждый из них стремился опереться на ту силу, которая помогла бы ему и Франции выдвинуться в первый ряд. На самом деле, долго было не ясно, кому из них суждено одержать верх. Если в конце концов история сделала выбор в пользу более одаренного, более способного осуществить политический замысел и предугадать послевоенную ситуацию, то произошло это не без энергичной поддержки извне (Черчилль всегда был для де Голля честным и надежным другом) и не без терпеливой работы людей доброй воли.

Об этих людях писали, что они составляли в Алжире «партию умеренных». Мне не нравится это выражение, и я знаю немало людей, которые не любят вспоминать том, как они играли роль примирителей. Однако, если на протяжении долгих месяцев сохранялось неопределенное положение вещей и при этом дело не дошло до силовых решений, угроза которых витала в воздухе, и если ситуация, наконец, разрешилась, когда созрели предпосылки для единства в армии и в обществе, то произошло это потому, что мы много потруди-

лись и взяли на себя ответственность. Я прибыл в Алжир, чтобы помочь объединению французов и их совместной работе ради победы и ради восстановления страны. Это было мое единственное стремление, и, кроме моих республиканских убеждений, у меня не было предвзятых идей. У меня не было иной цели, и, поскольку я не был связан с каким-либо человеком, мне для ее достижения не нужно было переходить из лагеря в лагерь. Это ясно видели два наблюдателя от Союзников, от которых не укрывалась ни одна деталь и которые имели не совсем одинаковые причины для того, чтобы испытывать удовлетворение от развития событий. В своих мемуарах Макмиллан и Мёрфи, каждый по-своему, свидетельствуют о мотивах моих действий и об их результатах; с их свидетельствами я могу согласиться.

В то время я задавался вопросом: где я смогу с наибольшей пользой продолжить дело, которому в разных формах, но непрерывно я служил уже на протяжении четырех лет. Ковать оружие для победы — это теперь было дело гигантских заводов *War Production Board* (Управления по производству вооружений), которыми в Соединенных Штатах руководил Дэвид Нельсон в рамках «Программы во имя победы». Распределять оружие между союзниками входило в компетенцию Хопкинса, контролировавшего поставки по *ленд-лизу*. Следить за поставками оружия в Северную Африку должен был мой комиссариат, а также комиссариаты по вооружениям, снабжению и реконструкции. Все это становилось рутинным административным делом, — как оно и должно быть, когда главная творческая задача выполнена. Возникающие при этом повседневные проблемы другие могли решать лучше, чем я, — лишь бы не иссякал источник поставок. Поэтому у меня возникло ощущение, что пора мне вернуться к нервным центрам военных усилий, чтобы сделать еще более интенсивной работу механизмов, обеспечивающих успешное завершение войны и уже сейчас подготавливающих восстановление освобожденной Франции.

15 сентября 1943 года я представил Комитету баланс по перевооружению, показывающий, что подписанные Жиро соглашения в Анфе выполняются по всем пунктам. К по-

ставкам, о которых я говорил выше и которые включали четыреста пятьдесят тысяч тонн снаряжения, обеспечившие экипировку шести дивизий, нескольких батальонов, полков тяжелой артиллерии, до конца года должны были добавиться шестьсот тысяч тонн, предназначенные для экипировки трех пехотных дивизий, двух дивизий мотопехоты, четырех танковых батальонов, трех полков тяжелой артиллерии. Через несколько месяцев наш воздушный флот должен был располагать шестьюстами самолетами — истребителями и бомбардировщиками. Регулярная доставка такого потока материалов была связана с колоссальными проблемами, которые теперь были разрешены. Я полагал, что теперь армия должна сама решать свои проблемы на месте. 20 сентября я попросил Комитет освободить меня от обязанностей, связанных с вооружением. «В нынешних обстоятельствах, — писал я, — желательно, чтобы я мог целиком посвятить себя проблемам гражданского снабжения, организации немедленной помощи Франции и ее восстановлению. Поскольку освобождение Франции приближается, важно принять все необходимые меры для снабжения страны, для возобновления производства жизненно необходимых продуктов, для подготовки к возвращению военнопленных». Поэтому я предлагал Комитету немедленно направить меня в Соединенные Штаты для переговоров о продлении существующих программ и о начале новых.

В Вашингтоне уже разрабатывалась гигантская программа срочной помощи освобожденным странам. Под наименованием UNRRA создавалась организация, напоминавшая отдел помощи и реконструкции, в свое время существовавший при Лиге наций. Насколько это тогда было возможно, старались учесть потребности обескровленной Европы. Во всем этом надо было определить долю Франции, для чего Комитет и делегировал меня, снабдив всеми полномочиями, на учредительную сессию этой организации, открывавшуюся 9 ноября 1943 года. На самом деле, от моей миссии зависела вся политика реконструкции нашей страны, поскольку, помимо ближайшей помощи и в связи с ней, я должен был заложить основы для прямых соглаше-

ний между Францией и Соединенными Штатами, обеспечивающих наше экономическое и финансовое будущее. Связанные с этим вопросы мы уже прорабатывали, начиная с лета, в маленькой «неформальной» группе, основанной на дружеских связях и преданности общему идеалу. Группа состояла из Рене Мейера, Робера Маржолена, Эрве Альфана и меня. Каждый подавал свои проекты, отмеченные печатью личного воображения; они остались свидетельствами исследовательской увлеченности, а местами — и пророческих прозрений относительно судьбы Франции и новой Европы.

В Робере Маржолене сохранились все те же блеск и живость ума, поразившие меня в молодом экономисте, которого я встретил в Лондоне и который обещал стать одним из самых выдающихся представителей своего поколения. Его диалектическое мышление подсказывало нам четкие решения и удачные формулировки. Рене Мейер обладал богатым административным опытом и замечательной способностью работать с технической документацией, на чем в дальнейшем и будет основан его политический авторитет. Пока его стремления ограничивались сферой вещей, порученных его компетенции, но по его характеру нетрудно было догадаться, что наступит время, когда он захочет управлять также и людьми. Эрве Альфан был не только блистательным дипломатом, человеком многогранного ума, который позволил ему достигнуть вершин в искусстве переговоров. Он имел мужество принять участие в нескольких важнейших акциях, рискуя своей карьерой. Эти столь разные люди были моими друзьями, и мы привыкли работать вместе. В эту эпоху к нам присоединился Этьен Гирш, известный под именем капитана Бернара; за ним уже закрепилась репутация человека, способного решать самые запутанные проблемы. Ему помогало в этом его образование инженера. Но лично я считаю, что он опирался прежде всего на свою моральную силу, на свое легендарное спокойствие, которое буквально заставляло растаять так называемые технические проблемы, для решения которых, на самом деле, требуется только здравый смысл.

Наши планы на будущее основывались на знании французской реальности, знании, которое пополнялось по мере того, как в Алжир прибывали участники Сопротивления и политические деятели, призванные составить Консультативную ассамблею. Благодаря этим отважным людям моим глазам представляли одновременно и невзгоды французов в оккупированной стране, и их способность к возрождению. Я стал лучше понимать, что огромное большинство народа не желало мириться с немецким господством и принимало участие, кто более, кто менее активно, в движении Сопротивления. Организованное Сопротивление охватывало меньшинство, но я не был этим ни удивлен, ни разочарован, когда получил возможность, общаясь с прибывшими, составить себе представление об исключительной силе характера этих людей, руководивших подпольной армией; привлеченные нами для подготовки возрождения страны и тем вырванные из огня сражений, они думали только о том, чтобы вернуться туда, где их подстерегала смертельная опасность.

Еще раньше я узнал о вызвавших мое восхищение действиях отважных сотрудников из Интеллидженс сервис, которые в начале оккупации были заброшены на французскую территорию. Предоставленные только самим себе, они создавали вместе с героическими и ныне забытыми французами первые ячейки сопротивления немцам. Я также был информирован о подвигах сотрудников наших секретных формирований, офицеров, по роду службы всегда остававшихся безвестными, которых Жиро посылал на самые опасные задания. Но мне еще предстояло познакомиться с Сопротивлением в лице его выдающихся представителей, одним из которых был Анри Френе, ставший нашим товарищем по работе. То, что он совершил в Сопротивлении, сражаясь вместе со своими боевыми друзьями, наполняло меня восхищением. Его нестигаемая сила и самоотверженность, раскрывшиеся при столь драматических обстоятельствах, не нашли себе полноценного применения в послевоенной политической среде.

Напротив, другие участники Сопротивления, войдя в Консультативную ассамблею и в Комитет, где их число возросло, начиная с ноября, без труда вписались в политическую

жизнь, каждый в соответствии со своими свойствами характера. Я оценил здравый смысл и опыт таких закаленных парламентариев, как Анри Кёй и Феликс Гуэн, опираясь на которых де Голль утверждал свою новую легитимность. Я научился иметь дело с коммунистическими руководителями в лице таких сильных людей, как Франсуа Бийу и Фернан Гренье. На меня произвели впечатление их патриотизм, их реализм, и я понял, что, при условии ясных и прямых отношений с ними, они будут безоговорочно участвовать в восстановлении страны. Моя манера поведения внушила им доверие, и я смог активно включить их в нашу работу, сначала в Алжире, а затем во Франции. Конечно, не забывали они и о том, что, едва прибыв во Францию, я помог освобождению их друзей, которых французские власти держали в лагерях, начиная с перемирия.

Я уехал из Алжира 15 ноября 1943 года. Я знал, что мое пребывание в Вашингтоне продлится до конца войны, ибо именно там, в соответствующий момент, будет решаться вопрос о массовой помощи, которая будет необходима Франции. Но я имел еще и другое задание, связанное с иного рода помощью, помощью моральной, в которой нуждался де Голль: речь шла о признании его правительства Рузвельтом. Комитет национального Освобождения имел, конечно, своего комиссара по иностранным делам, Рене Массильи. С августа он получил определенное признание со стороны многих государств, в том числе со стороны СССР (правда, в довольно расплывчатых выражениях); со стороны Великобритании и Соединенных Штатов формула признания была составлена нарочито сдержанно: «Комитет признается как осуществляющий управление на тех заморских территориях, которые признают его власть». Де Голль был обеспокоен такой уклончивостью Союзников и подозревал Соединенные Штаты в желании, вплоть до окончания войны, самим управлять освобожденными территориями. Он думал, что я мог бы повлиять на позицию Рузвельта. Я был в этом уверен гораздо меньше. Несходства характеров не поддаются рациональному объяснению. В данном случае противоречия между ними будут долго существовать, вопреки моим усилиям.

Часть вторая
ВРЕМЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Глава 9

Возвращение к миру (1945)

Временное правительство признано

После Алжира политический климат Вашингтона показался мне бодрящим; я убедился, что взгляд, которым американские деятели охватывали мировые события, стал еще более широким. Я вспоминал, как, приехав сюда четыре года тому назад, я не мог не поразиться способности американского общества совершать рывки вперед. Раньше, несколько замкнутое в себе, оно колебалось, не решаясь полностью использовать свою силу и принять на себя более широкие обязательства; теперь, по образу своего президента и под его воздействием, оно исполнилось спокойным сознанием собственной силы и готовностью к любым испытаниям, из которых главным была освободительная война — задача планетарного масштаба. На земле не было такой удаленной точки, которая не была бы связана с Вашингтоном, с центром управления, расположенным в огромных подземных залах, где работа шла днем и ночью и где высокая фигура генерала Маршалла излучала целенаправленную энергию и спокойствие духа. Но уже начиналось изучение проблем, связанных с послевоенным устройством и восстановлением. Продолжая детальнейшим образом руководить войной, Рузвельт и Хопкинс обдумывали, как организовать мир. Их собеседниками, в такой же мере, как Черчилль и Иден, были теперь Сталин и Молотов. Их встречи проходили в удаленных местах и были окружены тайной. Как они мыслили себе будущее Европы и Франции, было очень трудно уз-

нать. Еще труднее было вмешаться в процесс. Моя задача была не из легких.

Проблема, которая занимала меня всецело, была в глазах американского правительства лишь одной из многих. И я, в качестве французского комиссара с особым заданием, не мог рассчитывать на исключительное внимание моих друзей из администрации, с которыми я так тесно сотрудничал на протяжении двух лет, хотя они оставались для меня такими же доступными и готовыми помочь. Наши прежние связи восстановились, мы часто общались в семейном кругу. Во время моего отсутствия они морально поддерживали Сильвию и детей. Я узнал, что Джон Макклой, по просьбе Сильвии, принял меры для моей защиты, когда преувеличенные журналистами слухи о готовящемся в Алжире путче достигли Америки... Теперь он, в качестве военного министра, занимал также пост председателя Специального комитета по гражданским делам, в задачу которого входило изучение первоочередных проблем, связанных с высадкой в Европе. А у меня уже были заранее подготовленные в Алжире сметы того, что будет необходимо Франции в этот первый период. Надо было предусмотреть решение очень сложных технических вопросов, чтобы избежать тотальной дезорганизации жизни во Франции в период боев и наладить общественные службы в освобожденных зонах. Все эти проблемы были рассмотрены в духе полного взаимопонимания со стороны всех представителей американской администрации, включая Хопкинса, Стимсона, Макклоя, Дина Ачесона.

Одновременно, вместе с UNRRA, занимавшейся вопросами помощи и восстановления, мы подготовили план реконструкции Франции после освобождения. Этот гигантский механизм должен был охватить и другие страны, разрушенные войной и оккупацией. Он помог избежать перебоев со снабжением, которые неизбежно привели бы к голоду, эпидемиям и катастрофическим политическим смутам на континенте. Для того, чтобы предусмотреть и убедительно изложить нужды Франции в еще не определенном будущем, нужны были люди, опытные в экономических прогнозах и способные умело вести переговоры. Альфан, Маржо-

лен, Гирш, вместе со своими экспертами, прекрасно справились с этой задачей, и поэтому в послевоенный период именно они взяли в свои руки дело восстановления французского производства. Опасаясь больших военных разрушений, а также готовясь к быстрому возвращению трех миллионов пленных и депортированных, мы создали в Соединенных Штатах, Северной Африке и Англии значительные запасы всего необходимого для жизни большой страны на шесть месяцев вперед: от угля до шерстяных одеял, от локомотивов до обуви, от лекарств до пеленок. И если реальность оказалась во многом иной, чем мы предполагали (менее катастрофичной в материальном плане и более неблагоприятной в плане человеческом), то, во всяком случае, нами было сделано все, чтобы уменьшить страдания людей.

В течение всего времени, когда решались эти конкретные вопросы, мои обращения встречали понимание со стороны американских властей и я мог посылать в Алжир обнадеживающие известия. Но вскоре мы столкнулись с препятствиями, связанными с недостаточной компетентностью, местничеством и путаницей, которые не могли не возникнуть при многоступенчатой системе межсоюзнических связей. Поставки для Алжира, о которых мы договаривались в Вашингтоне, должны были осуществляться через посредство Лондона, где в качестве связного находился Гирш. Когда же Эйзенхауэр перенес в Лондон главный центр по руководству западным театром военных действий, я попросил, чтобы туда для участия в переговорах был направлен также и Альфан. В пересылке инструкций и отчетов часто возникал беспорядок, а иногда связь вообще прерывалась из-за военных действий. Одна и та же проблема могла рассматриваться одновременно в трех разных местах гражданскими и военными властями, что вело к целому ряду недоразумений на протяжении всего периода, предшествовавшего освобождению Франции. Дело с банкнотами, над которым мы бились в течение шести месяцев, может служить ярким примером наших трудностей.

Когда я прибыл в Вашингтон, мне сообщили что американское казначейство выпустило для американского экспедиционного корпуса в Европе специальные военные день-

ги для хождения на французской территории. На этих банкнотах было написано: «*Allied Military Command*» («Союзное военное командование»). Но не были предусмотрены гражданские французские купюры, на изготовление которых требовался достаточно длительный срок. Массовая циркуляция оккупационных денег могла иметь серьезные отрицательные последствия, как экономического, так и психологического характера. Я сказал об этом генералу Хиллдингу, начальнику гражданских служб *Nord Department*, и Моргенту. Они согласились со мной, и, поскольку время еще было, мы договорились о выпуске французских банкнот с надписью: «Французская республика, Государственное казначейство». Эти банкноты должны были служить платежным средством для американских десантных войск, а затем — для замены французских купюр, выпущенных в период немецкой оккупации. Но на этом переговоры и затормозились. Мы надеялись, что официальное признание Французского Комитета национального Освобождения произойдет достаточно скоро, чтобы эмитентом купюр стала французская сторона. Или, если признание Комитета запоздает, чтобы на билетах было четко указано, что их источником является французская власть, — это тоже означало бы признание Комитета, хотя и несколько опережающее реальность. В начале июня Мендес-Франс, комиссар по финансам, приехал для переговоров с Моргенту. Неужели он надеялся добиться успеха там, где мне не удалось этого сделать? Велико же было его удивление, когда через несколько дней американцы высадились, имея на руках купюры с трехцветным флагом и надписью «Свобода, равенство, братство», но без какого-либо упоминания о французской власти. Де Голль тут же заявил, что он не признает эти «искусственные деньги».

Мы увязли в политической проблеме, которую я, с самого моего прибытия в Вашингтон, безуспешно пытался решить: французских денег не существовало, потому что, по мнению Союзников, не существовало французского правительства. Об этом Рузвельт прямо заявил на пресс-конференции: «Когда будет свободное французское правительство, оно, конечно, осуществит выпуск французских денег». Поче-

му он не считал Французский Комитет национального Освобождения, официально объявивший себя Временным правительством, законной французской властью? Почему он сопротивлялся любому давлению в пользу признания правительства, находившегося в Алжире? Журналисты задали ему этот вопрос, и Рузвельт ответил: «Никто, даже Французский Комитет национального Освобождения, не может знать, что на самом деле думает французский народ. Для Соединенных Штатов вопрос остается открытым». Это было, я думаю, выражением его глубокого убеждения, его строгой приверженности демократическим принципам: американские десантные войска не должны были принести французам уже готовое правительство. Кроме того, было известно, что он сомневался в том, что де Голль — настоящий демократ. Но он, вне всякого сомнения, занимал бы такую же позицию по отношению к любому, кто претендовал бы на власть во Франции. Всякая поспешность казалась ему подозрительной. Он был занят войной и не понимал, почему в Алжире столько внимания уделяют политике и личным амбициям.

Однако многие среди нас полагали, что именно в интересах ведения войны необходимо, чтобы в момент высадки Союзников во Франции там была конституирована и провозглашена законная власть. Прибыв в Вашингтон, я понял, что все гражданские и военные усилия направлены на подготовку высадки в Европе и что час этой высадки приближается. Хотя я не мог сочувствовать обуревавшему де Голля стремлению к власти, мне казалось правильным, чтобы организация, возникшая в Алжире, отказавшаяся признать поражение и стремящаяся к обновлению, сильная своими связями с Сопротивлением и со всем свободным миром, — чтобы именно она, в подходящий момент и с помощью Союзников, взяла в свои руки судьбу Франции. Разве не мы каждый день обсуждали с американцами все практические вопросы, связанные с высадкой войск и управлением освобождаемыми территориями, в том числе и такие, напрямую связанные с государственным суверенитетом, проблемы, как валюта, общественные и государственные службы? Имелось определенное противоречие между фактическим признанием нашей роли — и

нежеланием американской администрации юридически закрепить наш статус на высшем уровне. Конечно, нельзя было сказать, что дипломатические отношения полностью отсутствовали, но завершающие формальности, необходимые в международных делах, не были соблюдены. Теоретически, Союзники могли в любой момент начать переговоры с какой-либо другой властью по своему выбору, исключая, конечно, деятелей Виши, запятнавших себя коллаборационизмом. Реально такой опасности, по моему мнению, не существовало с того момента, как алжирский Комитет национального Освобождения стал функционировать в качестве правительства. У Эйзенхауэра в этом отношении не было никаких колебаний, и у Французского Комитета национального Освобождения не было лучшего друга, чем он.

С момента приезда, я стремился создать такие формы сотрудничества между американской администрацией и службами Комитета, чтобы регулярные связи в самых конкретных областях, необходимые как в условиях войны, так и в условиях мира, уже не могли быть нарушены. Чем идти лобовой атакой на проблему дипломатического признания, которую не в наших силах было сдвинуть с мертвой точки, было бы лучше опираться на возможно более широкие общие интересы, и материальные, и моральные, которые в конечном счете привели бы к фактической необходимости их юридического закрепления. На протяжении моей жизни я много раз сталкивался с ситуациями (и сам помогал их созданию), когда естественный прогресс человеческих отношений способен привести к возникновению новых социальных форм. Если же этого не удавалось добиться, то помехой были догматизм или свойства характеров, — причем одно часто переплеталось с другим. В Вашингтоне в 1944 году я вынужден был констатировать такую блокировку, выразившуюся в упорном молчании Белого дома и в высокомерных требованиях, раздававшихся из Алжира. Я продолжал, тем не менее, действовать в том же прагматическом духе, стремясь прежде всего обеспечить успех наших совместных с американцами действий, чтобы, сразу же после высадки, на освобожденной французской территории было организовано снабжение населения и во-

зобновлена работа транспорта и заводов. Как добавление к этому, мы могли получить — или не получить — международное признание. Я должен подчеркнуть, что проблема международного признания никогда не мешала мне добиваться удовлетворения наших разумных требований.

Зато вся та сторона политических отношений, которая связана с символикой, мифами и соблюдением принципов формального права, страдала из-за отсутствия дипломатического признания, так что в момент высадки возникли новые конфликты между де Голлем и Союзниками. На фоне грандиозных событий, происходивших на побережье и на дорогах Франции, эти политические неурядицы вызывали недоумение и досаду. Я настойчиво просил моих друзей употребить все свое влияние для их ликвидации. Стимсон, Макклой, Эйзенхауэр доказывали Рузвельту, насколько целесообразным было бы признание Комитета, хотя бы «де факто», насколько это было бы оправдано и всей нашей совместной работой, и способностью де Голля установить порядок на освобождаемых территориях. Их доводы были услышаны. После этого де Голль, по настоянию Черчилля, посетил Вашингтон. Он приехал один и попросил меня, на время его визита, отправиться в Алжир: наверное, он хотел этим показать, что не собирается вести переговоры и не нуждается ни в чьей помощи. Рузвельт принял его любезно и не поскупился на почести. Но согласился лишь на ограниченную форму признания. Пришлось ждать до 23 октября, когда Временное правительство было, наконец, без всяких оговорок признано законным правительством Франции.

Это произошло не в результате каких-либо переговоров или споров, но исключительно как завершение проделанной работы. Если я смог в какой-то мере этому способствовать, то лишь потому, что мне удалось убедить людей, имевших полномочия для принятия соответствующих решений, что участвующие в войне французские силы сплотились в результате действительно демократического процесса. Чтобы понять американскую политику в военные годы, надо помнить, что смыслом всей борьбы и всех жертв этого великого народа было уничтожение диктатуры и восстановление демо-

кратических свобод во всем мире. От Европы, где этим свободам был нанесен тяжелый удар, ожидали бесспорных доказательств решимости вернуться на путь демократии. В особенности этого ожидали от Франции, правительство которой изменило своим союзническим обязательствам и пошло на сотрудничество с тоталитарным режимом. Однако среди французских борцов за освобождение слишком часто возникали противоречия между отдельными партиями, стремящимися к власти. Те, кто был мишенью резких выступлений де Голля, полагали, что он думает не столько о войне, сколько о своей роли в послевоенной Франции.

Я не считал такие суждения обоснованными. Французский Комитет национального Освобождения был коллективным органом, он был открыт для различных политических тенденций, и недавно коммунисты тоже вошли в него. Тем не менее, время недоразумений между де Голлем и Рузвельтом не кончилось и после разрешения вопроса о признании, вопроса, при всей своей эпизодичности и незначительности, ставшего источником перемежающейся лихорадки в американо-французских отношениях на протяжении последних тридцати лет. Многие действия де Голля, о которых пойдет речь в последующих главах, трудно объяснить, если не принимать во внимание устойчивые фантазмы и оскорбленную гордость никогда ничего не забывающего человека.

Придумать мир

В начале лета ко мне на Foxhall Road пришел журналист из журнала «Fortune» Джон Дейвенпорт. «Мы хотели бы рассказать историю вашей жизни, — сказал он. — У меня много времени, поэтому начнем с начала». Так впервые я оглянулся на мое прошлое и стал для читателей этого влиятельного журнала «Господином Жаном Монне из Коньяка». Мне было пятьдесят шесть лет, у меня имелся разнообразный и внешне бессвязный опыт, который сбивал с толку авторов биографий, не знавших, в какую рубрику меня поместить: политический деятель, бизнесмен, экономист или дипломат?.. Мне были безразличны все эти определения, но я находил

достаточно выразительным заголовком, который придумал Дейвенпорт. Коньяк всегда служил мне точкой отсчета в моих размышлениях; мои мысли созревали медленно, как у всех жителей Шаранты, умеющих ценить плоды неторопливого хода времени.

Мне казалось, что я всегда двигался по одной и той же непрерывной линии; под разными широтами, в различных обстоятельствах у меня была одна забота: объединять людей, разрешать разделяющие их проблемы, помогать им осознать общие интересы. Такое намерение появилось у меня только после того, как я начал его осуществлять, а выводы я стал делать лишь после многих лет такой работы. Только после того, как мои друзья и журналисты стали подталкивать меня к тому, чтобы объяснить смысл моей деятельности, я понял, что всегда стремился к созданию единства, к коллективным действиям. Я не могу сказать, почему я это делал, — вероятно, такова моя природа.

События на западном фронте развивались успешно, дело шло к скорому освобождению Франции и разгрому немецкой армии, и мне становилось все яснее, что обстоятельства не замедлят поставить передо мной новые задачи. Направление моей дальнейшей деятельности не вызывало у меня сомнений: по мере того, как будет устанавливаться мир, восстанавливаться экономика и политическая жизнь, придется многое менять сначала во Франции, а затем и в Европе. Если, как я надеялся, Временному правительству удастся избежать анархии и захвата власти коммунистами, возникнет тенденция устанавливать новый порядок по образцу старого, и тогда главной опасностью будет восстановление Европы, состоящей из суверенных государств, подверженных соблазнам протекционизма. Как я уже говорил, мы в Алжире много дискутировали на эти темы вместе с Рене Мейером, Альфаном, Маржолоном и Гиршем, и каждый из нас вносил свои предложения относительно европейской политики, которую мог бы проводить Комитет национального Освобождения. Эрве Альфан провел исследование условий, при которых Европейское экономическое единство могло выйти далеко за рамки простого таможенного союза. Рене Мейер рассмотрел во-

прос о превращении Лотарингии в промышленную область. Что касается меня, то я пришел к выводам, от которых в дальнейшем уже не отступал.

Вот что я писал: «Не будет мира в Европе, если государства восстановятся на базе национального суверенитета с вытекающими отсюда стремлениями к политическому превосходству и экономическому протекционизму. Если страны Европы займут позицию изоляции и конфронтации, снова станет необходимым создание армий. По условиям мира, одним странам это будет разрешено, другим — запрещено. У нас уже есть опыт 1919 года, и мы знаем, к чему это ведет. Будут заключаться внутриевропейские союзы — нам известно, чего они стоят. Социальные реформы будут остановлены или замедлены военными расходами. И Европа снова начнет жить в состоянии страха.

Страны Европы слишком ограничены размерами своей территории, чтобы обеспечить своим народам максимально возможное и, следовательно, необходимое процветание. Им нужны более обширные рынки... Процветание и соответствующий прогресс в социальной сфере требуют объединения европейских государств в некую федерацию или «европейское целое», которое обеспечило бы их экономическое единство. Другие страны, такие как Англия, Америка, Россия, имеют свои жизненные сферы, в которых они могли бы до поры до времени существовать. Франция связана с Европой. Ей из Европы никуда не деться...»

В заключение я писал, обращаясь к Комитету национального Освобождения: «От решения европейской проблемы зависит жизнь Франции».

Перспективы, которые я намечал год спустя в журнале «Fortune», показывают, что германский вопрос занимал центральное место в моих размышлениях. По моему замыслу, прежний Рейх следовало лишить части его промышленного потенциала: производство угля и стали в Рурской области должно было перейти под европейское управление, а все доходы — поступать в пользу стран-участниц, включая и демилитаризованную Францию.

литаризованную Германию. «Но, — добавлял я, — этот план предполагает объединенную Европу, и не только в смысле сотрудничества, но и в смысле частичной, с согласия стран-участниц, передачи суверенитета чему-то вроде Центрального Совета, который имел бы власть снижать таможенные барьеры, создавать большой европейский рынок, препятствовать возрождению национализма». В последующих шагах у меня уверенности не было. Дальше начинались вопросы: как и когда проявить инициативу? как далеко идти в осуществлении замысла? делать это вместе с Англией или без нее? но в последнем случае как не допустить, чтобы Германия стала определяющей силой в европейской системе? «Все, что я могу сказать: здесь предстоит поработать», — писал я.

Проблема была поставлена как неотложная, потому что, как ни далеко было до ее осуществления, каждое решение, принимаемое на восстановительном этапе, должно было ее учитывать. Возможно, объединенная Европа возникнет не завтра, но возрождение национализма не заставит себя ждать. Эта мысль, глубоко запавшая мне в душу, уже не оставляла меня, но она была еще недостаточно четкой, чтобы я начал действовать. Однако я знал, что она обязательно выйдет на поверхность, как только представится случай для полезного действия. А пока я мог направить свои усилия на более непосредственные задачи, то есть на выполнение программ снабжения Франции, которые замедлились из-за слабости морских перевозок.

Я вновь увидел Париж в конце сентября после четырехлетней разлуки. Нищета, усталость населения, после того как прошел порыв освобождения, хватали за сердце. Я сразу направился в Коньяк, чтобы обнять мать и сестер. По дороге я мог убедиться, насколько разрушено достояние страны, которое и до войны казалось мне чрезвычайно скудным. Во время оккупации немцы реквизировали большую часть нашего дома и поселили там офицеров. Один из них, как мне рассказали, не терпел шума и требовал, чтобы все разговаривали вполголоса, а так как моя мать была наполовину глухая, то близкие на долгие месяцы лишились возможности общаться с ней. Ее

камердинер Франсуа, героически сражавшийся в войну 1914 года, по-своему выражал свой протест: являясь к коменданту, чтобы чистить его сапоги, он надевал все свои ордена.

Уйдя из Коньяка, немцы закрепились в нескольких километрах от него, в Руайане, откуда их удалось выбить лишь много месяцев спустя. Жители Коньяка, как и большинства других городов Франции, безжалостно сводили счеты между собой. Я думал о том, что испытывшему столько бед населению потребуются годы труда, чтобы достигнуть довоенного уровня благосостояния и превзойти его, чтобы восстановить свое место в мире. Французы смогут этого добиться, только если объединятся для общего дела. Однако время готовить будущее еще не пришло; продолжение войны, задачи выживания будут еще в течение какого-то срока поглощать все средства, всю энергию. И я понял, что выбора у меня нет: надо любой ценой поддерживать поступление поставок из-за рубежа, без которых экономика рухнет и скрытая анархия приобретет открытые формы. Я уехал в Вашингтон, где находилась Сильвия и две наши дочери, Анна и Марианна.

С 9 сентября я уже не был членом Временного правительства. Де Голль его переформировал, увеличив присутствие участников Соппротивления из метрополии. Я сохранил пост комиссара по особым поручениям, что позволяло мне располагать службами французского Совета по снабжению, насчитывавшими до пятисот человек. Эти служащие производили закупки через посредство американского правительства в рамках ленд-лиза. Моя обязанность состояла в том, чтобы следить за выполнением этого соглашения и, в случае необходимости, за его корректировкой и продлением. Это была, таким образом, работа переговорщика, но фактически я должен был обеспечивать повседневное руководство программами снабжения, номинально находившимися в ведении атташе по финансам Кристиана Валанси. Эта управленческая работа не относилась к числу моих любимых занятий; однако я считал своим долгом завершить миссию, которая в силу обстоятельств затянулась на более длительный срок, чем я первоначально предполагал. Надвигалась еще одна военная зима, неся новые тяготы, которые

усугублялись тем, что приоритет предоставлялся военным грузам, а коммуникации находились в плачевном состоянии. Если в 1943 году мы действовали в сфере предварительных расчетов, то теперь мы оказались перед лицом непосредственной и суровой реальности. Крупные порты, такие как Дюнкерк, Сен-Назер, Ла-Рошель, были еще заняты врагом, Нант и Бордо — недоступны. Остатки нашего торгового флота были подчинены военным задачам. В нашем распоряжении было менее трех тысяч локомотивов, мало угля, и совсем не ожидалось поступлений ни стали, ни железа в течение многих месяцев.

К счастью, рядом со мной находились сотрудники, которые сочетали с исключительной технической компетентностью доскональное знание всех административных механизмов, французских и американских. Активное присутствие Маржолена в Вашингтоне, Гирша — в Лондоне и Альфана — в Париже обеспечивало нам полное содействие административных служб и политических властей. Я мог также положиться на неустанную организаторскую деятельность Леона Каплана, которого мне посчастливилось вновь встретить в Вашингтоне. Он в высокой степени обладал командным духом — качество редкое и мало ценимое, потому что, по своей природе, оно свойственно скромным людям. А на деле Каплану предстояло сыграть важную роль в промышленном возрождении Франции. Наконец, во время своего пребывания в Париже я смог привлечь к работе молодого инспектора по финансам Феликса Гайара, которого мне очень хорошо аттестовал Моник. Он стал на несколько лет моим начальником канцелярии. Его ум и исключительная способность осваивать информацию позволяли ему составлять быстрые и блестящие сводки. Вскоре ему предстояло уйти в политическую сферу, которая открывала простор его нетерпеливым и далеко идущим амбициям. Этой команде выдающихся управленцев было легко справиться с текущими проблемами, имевшими временный характер. Но я рассчитывал использовать ее на путях к будущему. Все предстояло выстроить и продумать заново, в новых терминах.

До первых дней декабря наша работа состояла главным образом в том, что мы пересматривали вместе с французской администрацией программы импорта, составленные еще до высадки и во многом, естественно, основанные на предположениях. Разрушения оказались не столь значительными, как мы опасались, и промышленный потенциал страны сохранился на уровне восьмидесяти процентов от довоенного. Поспешно отступавшие немцы не успели вывезти все запасы. Зато паралич транспорта создал непредвиденные трудности со снабжением. Так что приходили некоторые не очень нужные товары, а другие, жизненно необходимые, застревали в пути. Стало ясно, что Освобождение Франции не означало конец лишениям. Немецкое сопротивление усилилось на линии Вогез и Рейна, и наша территория превратилась в огромную военную базу союзников. Возвращение военнопленных и депортированных задерживалось, наши солдаты и рабочие оставались на положении мобилизованных. Экономические соотношения, которые мы рассчитывали уравновесить, оказались разбалансированными. Я отправился в Вашингтон с полностью пересмотренным шестимесячным планом, который я обсуждал с государственным секретарем Стеттиниусом, добиваясь тех же условий, что и при поставках по ленд-лизу Англии и Советскому Союзу, которые, по признанию Сталина, позволили выиграть войну; это были громадные безвозмездные займы или займы под очень низкий процент. Фактически, Франция могла предоставить со своей стороны значительные ответные компенсации в виде рабочей силы и услуг, — вот почему в соглашениях, которые мы подписали 13 марта и которые действовали до июля 1946 года, говорилось о «взаимопомощи»; речь шла о поставках базовых продуктов: бензина, металлов, текстиля, фосфатов, смазочных материалов и железнодорожного оборудования.

Никогда ранее Франция не заключала столь масштабного договора по внешним поставкам: он предусматривал импорт потребительских товаров и оборудования более чем на два миллиарда пятьсот миллионов долларов практически на все время, пока продолжается война. Трудность заключалась не в том, чтобы получить эти товары, но в том, чтобы их пере-

везти. Снова, уже в который раз, я столкнулся с проблемой фрахта: морские перевозки — это было узкое место, которое могло все погубить. К европейскому театру военных действий добавилась война на Тихом океане, которая, после капитуляции Германии, приобрела первостепенное значение, так что прекращение сражений в Европе парадоксальным образом сделало положение Франции еще более трудным.

Капитуляция Японии, происшедшая три месяца спустя, немедленно прервала соглашения по ленд-лизу, сохранявшие силу только до конца военных действий. Все еще не полученные бесплатные поставки должны были теперь рассматриваться как даваемые в долг под очень низкие проценты. С наступлением мира между Соединенными Штатами и их союзниками должны были установиться новые отношения, и нужны были новые переговоры. Для того, чтобы продлить или ликвидировать существующие соглашения, требовалась немалая работа. Теперь мы имели дело с Импортно-экспортным банком, с которым я должен был заключить кредитные соглашения небывалого типа. Кроме того, надо было полностью поменять методы работы наших торговых представительств, которым теперь предстояло иметь дело не с американской администрацией, а с частными фирмами. Необходимость реорганизации наших служб вынудила меня стать президентом *French Supply Council* (Французского Совета по снабжению) вплоть до того момента, когда, по моим предположениям, моя миссия должна была завершиться. Эти обстоятельства задержали мое возвращение во Францию и начало осуществления моих проектов на будущее.

Обеспечить поступление товаров вплоть до конца 1946 года, сделать так, чтобы наступающая зима 1945 года не стала бы для французов более мучительной, чем зимы в период оккупации, и одновременно закладывать основы для реконструкции — все это вместе взятое составляло трудную задачу. Вдобавок, мы вернулись в режим рыночной экономики, что позволяло нашим торговым представительством действовать более гибко, но и накладывало на них такие обязательства, от которых они уже успели отвыкнуть. Надо было менять методы работы, снова начать учитывать такие поня-

тия, как конкуренция и прибыль, о которых во время войны не очень думали. Мы больше не могли удовлетворять наши потребности из почти бесплатного и неисчерпаемого источника, за все теперь надо было платить либо нашим экспортом, либо возвратом долгов в предусмотренные сроки. Конечно, конец войны не означал резкого прекращения тех льгот, которые Соединенные Штаты предоставляли своим союзникам. Ленд-лиз был тут же заменен весьма выгодными соглашениями. Но суть новых договорных отношений состояла в том, что дебиторы должны были расплачиваться по долгам своими собственными силами. Франции предстояло создать условия для восстановления своей экономической независимости. Помимо насущно необходимых продуктов, нужно было снабдить французов средствами производства, с помощью которых они сами могли бы обеспечить возрождение и независимость своей страны.

Для этого необходимо было восстановить запасы сырья и сношенное, либо разрушенное оборудование. Но я хорошо понимал, что для того, чтобы Франция заняла подобающее место в современном мире, будет недостаточно достигнуть довоенного уровня производства. Уже до войны ощущалось ее отставание от ближайших конкурентов, а за годы оккупации это отставание еще более возросло. У нас был застой, а у непосредственных участников войны наблюдался огромный технический прогресс. Этот прогресс осуществлялся не только на материальном уровне, но и на уровне сознания под воздействием таких стимулов, как стремление к обновлению и наращиванию силы. Предстояло заполнить настоящую пропасть, образовавшуюся во всех областях, но разрыв в области технической и психологической казался мне особенно опасным, и здесь решение не могло быть обеспечено нашими закупочными миссиями. Даже методики измерения и анализа нашего относительного упадка лежали за пределами наших возможностей. Я не встретил в Париже, за исключением Сови и Фурастье, ни одного человека, способного охватить единым взглядом экономическую ситуацию Франции; к тому же, у нас не было современных инструментов исследования, которыми свободно владели такие люди,

как Стейси Мэй или Боб Нейтен. И только один из их сподвижников, сотрудник Массачусетского Технологического Института Зильберман, работавший с нами, приобщил к новым методам исследования пионеров французского экономического планирования.

В этот же период я привлек к нашей работе молодого адвоката и моего друга Джорджа Болла, чтобы усилить нашу команду испытанным политическим и юридическим советником. Я познакомился с Джорджем Боллом в администрации по ленд-лизу. Затем он сыграл важную роль в разработке планов стратегических бомбардировок. Внушительного телосложения, он излучал ощущение сдержанной силы, как многие американцы такого типа, у которых необыкновенные физические и интеллектуальные данные сочетаются с безукоризненным самоконтролем. Взвешенность суждений, смелость решений и верность в дружбе заслужили ему уже тогда высокий моральный авторитет. Но для него еще не пришло время сыграть подобающую ему политическую роль, и пока он ограничивался тем, что хорошо делал свое дело. Более того: его советы были мне чрезвычайно полезны, как и его таланты юриста-практика, обладавшего весьма конкретным и одновременно очень широким пониманием общих интересов. Главным для него был интерес всего альянса, в котором восстановленная и объединенная Европа играла бы важную роль.

В августе де Голль прибыл в Вашингтон по приглашению Трумэна. Я не видел его уже полгода и воспользовался случаем, чтобы поделиться с ним своими идеями относительно будущего Франции. «Вы говорите о величии, — сказал я ему, — но сегодня французы находятся в умалении. Величие страны будет возможно только тогда, когда народ преодолеет свое нынешнее состояние. А для этого надо пройти школу модернизации — ведь мы отстали от современности. Значит, надо давать больше продукции, наращивать производительность, надо преобразовать страну с материальной точки зрения». На протяжении последнего года де Голль имел возможность убедиться в ограниченности возможностей Франции и стал, по необходимости, обращать внимание

на экономические реальности. Накануне он начал переговоры о займе, которые мне предстояло продолжить с Импортно-экспортным банком и которые должны были обеспечить дальнейшие поставки в нашу страну. Долго ли еще нам будут предоставлять вновь и вновь подобные кредиты? Соединенные Штаты только что взорвали атомную бомбу над Японией. Их экономическое процветание было для де Голля, который плохо знал эту страну, источником нескрываемого удивления. Меня он выслушал с величайшим вниманием. «Конечно, вы правы, — сказал он. — Не хотите ли попробовать?» — «Не знаю, что я смогу сделать, — ответил я, — но попробовать берусь».

Последующие месяцы были заняты реструктуризацией служб Французского Совета по снабжению, которые вскоре я смог переноручить надежному руководству Леона Каплана; затем, убедившись, что переговоры с Импортно-экспортным банком идут по верному пути, я решил, что в моем дальнейшем пребывании в Вашингтоне нет необходимости. Соглашение о предоставлении займа в пятьсот пятьдесят миллионов долларов под очень низкий процент (немногим более трех процентов) позволяло французской экономике пережить зиму. Важно было использовать эту короткую передышку. Поэтому, вернувшись в Париж в ноябре, я тут же собрал свою верную команду в нескольких номерах отеля «Бристоль». Здесь вместе с Маржолоном, Гиршем и Гайаром мы стали обдумывать, как превратить Францию в современную страну. Старомодная обстановка этого реквизированного дворца, где мы вынуждены были работать в ваннах комнатах и где кровати были застланы газетами, приводила в изумление наших гостей, которых мы приглашали, чтобы поговорить о будущем. Все были озабочены сиюминутными задачами. Год спустя после освобождения, французы получали от тысячи пятисот до двух тысяч калорий на человека в сутки; готовилось введение карточек на хлеб и rationирование мяса, что привело бы к новому расцвету черного рынка. Правительство и администрация пытались разобраться с этими повседневными трудностями. Напряженная политическая жизнь — выборные кампании сле-

довали одна за другой — не способствовали обдумыванию долгосрочных планов.

Я радовался тому, что был вне этой атмосферы и что мне не надо отвечать за текущие дела; это позволило мне и моим коллегам заняться долгосрочными реформами. Однако я был далеко не равнодушен к кипучей политической активности, которая, по моему мнению, свидетельствовала о пробуждении демократии во Франции, о возникновении идейных течений, устремленных к будущему. Новым людям, проявлявшим себя на общественной сцене и в недавно избранном Учредительном собрании, предстояло долгое время держать в своих руках судьбы Франции. От них зависело, какие шаги будут предприняты для модернизации страны. Поэтому не лучше ли стать одним из них, или, хотя бы, быть среди них? Эта мысль естественным образом пришла мне в голову, когда я вернулся во Францию, и некоторое время я обдумывал ее. Мне не нужно было советоваться с большим количеством людей, так как для меня речь не шла о выборе партии или политического направления; меня заботило другое: насколько мое решение будет соответствовать моему темпераменту и той цели, которую я перед собой поставил. На самом деле, мне надо было советоваться только с собой и с Сильвией. Довольно быстро я нашел ответ — он был отрицательным раз и навсегда. Я никогда об этом не жалел.

В пятьдесят семь лет я мог достаточно трезво оценивать этапы пройденного пути, а также те, которые мне еще предстояли. Я видел череду действий, которые я предпринимал на уровне, где современные события решаются волей людей — или их безволием, — и эти действия неизменно имели отношение к жизни общества. Но в противоположность тому, что является самой сутью политики, мои действия не диктовались необходимостью постоянно делать выбор в бесконечном сплетении проблем, из которых состоит государственное управление. То, что я предпринимал на каждом ответственном этапе моей жизни, определялось одним, раз и навсегда сделанным выбором, и это ограничение предохранило меня

от соблазна разбрасывания и от стремления к власти, имеющего множество оттенков.

Мое сознание так устроено, и иным я быть не могу. Но я убежден также, что некоторые вещи требуют именно такого к себе отношения, если мы хотим добиться реального результата. Такого подхода нельзя требовать от тех, кто занимается государственными делами, так как они должны рассматривать разнообразные проблемы в их совокупности. Это совсем другой настрой ума, он необходим политику, но в нем же содержится и ограничение его власти над вещами. Если бы он был одержим одной идеей, он не был бы открыт для других идей, с которыми он тоже обязан считаться; и наоборот: поддаваясь всем идеям, он рискует упустить единственный и неповторимый момент, когда надо действовать. Оказавшись перед этой дилеммой, я понял, что стремление к власти — не моя стезя: разве до сих пор мое дело не состояло в том, чтобы оказывать влияние на тех, кто обладает властью, и побуждать их воспользоваться этой властью в подходящий момент? Чего я добьюсь, если займу место в их рядах, или даже сяду на их место?

В то же время я чувствовал: чтобы занять их место, я должен буду совершить насилие над собой. Ежесекундная забота политика — войти в правительство и быть там на первых ролях. Такое стремление связано с определенным представлением о вещах, имеющем большее значение, чем сами вещи. В конце концов, все начинает крутиться вокруг занятия того или иного поста и забывается цель власти, проблемы, подлежащие решению. Я не знал ни одного выдающегося политика, который не был бы в той или иной мере эгоцентриком, и это понятно: если бы он был иным, он не был бы в состоянии навязывать окружающим свой имидж и свою персону. Я не смог бы выступать в таком качестве, не по причине личной скромности, а потому, что нельзя быть сосредоточенным одновременно на некоем предмете и на себе самом. Предмет моих устремлений всегда оставался неизменным: способствовать тому, чтобы люди работали сообща, сознавая, что помимо расхождений и поверх границ их объединяет общий интерес.

Кроме того, я, конечно, понимал, что у меня нет необходимых данных для политической карьеры. Я хотел бы быть оратором, но у меня не было ораторского таланта. В молодости я мечтал стать боксером — можете делать из этого какие угодно выводы. Но очень скоро я понял, что надо ограничиться теми способностями, которые у меня были, и научиться их применять. Запоздалый соблазн политической карьеры был того же рода, что и увлечения молодости; я даже не делал попыток примкнуть к какой-либо организованной партии — попыток, которые все равно закончились бы ничем. Как можно примкнуть к системе, которую вы не имеете возможности контролировать, где вы не можете выразить свое мнение по каждому вопросу? Этого я никогда не мог себе представить и не пытался осуществить на практике. Быть членом партии — уже само это выражение меня отталкивает. Присоединиться к какой-то линии, следовать ей, действовать без твердой убежденности, или до того, как такая убежденность появится, — нет, на это я был бы не способен. Зато, в противоположность такому образу действий, я начинал отчетливо видеть, как я смогу эффективно работать, используя ту политическую систему, которая складывалась в результате следовавших друг за другом референдумов и законодательных выборов.

Если на подступах к власти шла ожесточенная конкуренция, то ее практически не было на том уровне, где я собирался работать, где подготавливалось будущее в стороне от сиюминутной суеты. Не стесняя политических деятелей, я мог рассчитывать на их поддержку. Более того: если требуется много времени, чтобы подняться к власти, то гораздо быстрее можно достигнуть тех, кто властью обладает, и объяснить им, каким способом можно выйти из существующих затруднений. В критическую минуту они легко прислушаются к вашим словам. В такой момент им не хватает идей и они с благодарностью примут ваши рекомендации, при условии, что авторство вы оставите за ними. Ведь они идут на риск, значит, им принадлежат и лавры. В моей работе о лаврах надо забыть. Я совершенно не склонен к теневой деятельности, но если это необходимо для успеха дела, я готов оставаться в тени.

После того, как эта проблема была решена, мне оставалось понять, какие формы деятельности я должен избрать для того, чтобы формирующиеся институты власти и люди, ими управляющие, смогли содействовать делу модернизации страны, от которого зависело, станут ли французы хозяевами своей судьбы. Как направлять огромные коллективные усилия, не имея возможности контролировать решения, принимаемые правительством и руководителями предприятий? как создать условия для долговременной стабильной работы? — над этими вопросами мы размышляли в нашем временном мозговом центре. Предстояло придумать все. Но, по крайней мере, я был убежден, что для осуществления этой попытки, не имеющей прецедентов в демократических странах, я буду располагать поддержкой генерала де Голля, чье стремление к величию Франции сокрушит любое сопротивление со стороны сил прошлого. На самом деле, как станет ясно из дальнейшего, силы прошлого не оказали сопротивления. Никого не пришлось принуждать, надо было только убеждать. Оказалось, что Франция была действительно новой страной, исполненной новой энергии, что она только и ждала, чтобы ей указали путь, метод и цели, к которым следовало направить объединенные усилия.

Глава 10

Франция модернизируется (1946)

Метод

Что Франция вышла из войны серьезно ослабленной, было ясно каждому. Но гораздо менее было известно и гораздо охотнее скрывалось, насколько слаба она была накануне войны, — чем и объяснялся, на ряду с причинами военного и морального характера, ее стремительный развал. Несколько недель спустя после моего возвращения во Францию, в руках у нас с Маржолоном и Гиршем оказались цифры, которых никто ранее не собирал вместе и не делал из них необходимого вывода: они говорили о неуклонном упадке нашей экономики. Жаркие споры об обесценивании духовных ценностей в минувшие годы, равно как и страстные декларации новых элит относительно будущего, не затрагивали главной французской проблемы, корни которой уходили далеко в прошлое и которую невозможно было быстро решить. Освобождение вновь делало нас хозяевами своей судьбы, но вместе с тем передавало нам пассив прошлого и тяжелые обязательства. Я не подзревал, сколь велики были трудности, когда в Вашингтоне обещал генералу де Голлю заняться модернизацией Франции. Теперь я понимал, что эта задача жизненно необходима и что она потребует всех сил от меня и от людей, которые работали со мной во время войны. Нужно было выработать такое же целостное видение ситуации, так же мобилизовать материальные и человеческие ресурсы, только теперь уже для мирных целей. Создание арсенала победы истроек реконструкции — это были две последовательные фазы борьбы против пассивности.

Бездеятельность — именно так можно было определить бессознательную позицию, занятую французами в завязавшейся с начала века гонке за техническим прогрессом, как будто они решили ограничиться трудовыми и творческими усилиями минувших поколений времен промышленной революции. Отставание от других индустриальных стран, причину которого искали в ударе, нанесенном Францией первой мировой войной, на самом деле стало заметным еще в 1900–1914 годах. Уже затем потеря одного миллиона четырехсот тысяч мужчин отбросила далеко назад национальную экономику, которая медленно возвращалась к уровню 1913 года. В 1929 году французское производство достигло высшей точки, но мировой кризис оборвал этот подъем, и к 1938 году мы подошли, задыхаясь, растеряв на протяжении этого кризисного десятилетия, заполненного попытками социального урегулирования, одну треть наших возможностей инвестирования. И снова бич войны обрушился на ослабленный организм. В 1945 году национальный доход, в переводе на твердый франк, составлял половину от национального дохода 1929 года. Такова была мрачная картина, раскрывшаяся перед нами благодаря немногим людям, которые занимались этой проблемой и владели еще мало известными у нас инструментами экономического анализа. Эти люди — Сови, Фурастье, Дюмонтье — поставили безжалостный диагноз: отставание Франции в современном мире грозило драматическими последствиями.

Но уровень производства и падение национального богатства были только симптомами нашего ослабления, а войны всего лишь ускорили этот процесс. Глубокой причиной был, конечно, недостаток предприимчивости, который привел к опасной беспечности в области инвестиций в производство и модернизации. Отставание в этих областях в свою очередь влияло на уровень активности, так что производство едва могло удовлетворить потребление. Французы покупали за рубежом больше, чем продавали. Уже до войны они оплачивали треть импорта за счет процентов от капитала, давно размещенного за границей. При таком неустойчивом равновесии нечего было и думать об обновлении оборудования. Ин-

вестиции едва покрывали потребность в оборотных средствах, так что средний возраст машин во французской промышленности составлял двадцать пять лет, против пяти или шести в Соединенных Штатах и от восьми до девяти в Англии, где машин было вдвое больше, чем у нас. Гирш, имевший большой опыт в области промышленности, сообщил мне, что самое современное во Франции металлургическое предприятие было построено в 1906 году, да и то немцами в Лотарингии, которую мы затем аннексировали. Подобные примеры поступали к нам каждый день, начиная с того момента, когда стало известно, что мы занимаемся этой проблемой и ищем пути к ее решению.

С последствиями подобной экономической ситуации еще можно было бы мириться, если бы весь мир находился в состоянии застоя. Однако наше положение было тем более нетерпимо, что другие державы, продолжившие войну после того, как мы из нее выбыли, в результате нарастили свою мощь. Соревнование с ними становилось невозможным для нашей страны, которая, еще в мирное время, казалось, примирилась с тем, что у нее на душу населения производилось в два или три раза меньше энергии, чем у ее прямых конкурентов. Как же ей было вынести тяготы реконструкции? Эксперты выразили в цифрах низкую производительность труда — следствие отставания во многих областях. Оказалось, что в 1938 году французский рабочий производил в три раза меньше, чем американский и в полтора раза меньше, чем английский. Один наш крестьянин кормил пять потребителей, а американский — пятнадцать. В этом не было ничего удивительного, поскольку во Франции на один трактор приходилось двести сельскохозяйственных работников, а в Соединенных Штатах — сорок три. В этой ситуации не было ничего таинственного, и изменить ее чудом было невозможно. Таково было главное открытие, сделанное нами в последние месяцы 1945 года: впервые французы оказались лицом к лицу с результатами их прошлой беспечности.

Я понял, что необходимо развеять надежды тех, кто думал, будто Освобождение принесет процветание, которого они с нетерпением ожидали в черные годы оккупации. Дав-

ным давно упущенные возможности невозможно было наверстать так быстро. Потребуется долгая разъяснительная работа для того, чтобы направить энергию страны на техническое перевооружение, а не на удовлетворение непосредственных нужд. Нельзя было ограничиться достижением довоенного, весьма невысокого, уровня; нельзя было допустить, чтобы страна демобилизовалась прежде, чем отставание будет преодолено полностью. Эта психологическая проблема казалась мне самой важной, и я имел возможность обсуждать ее с генералом де Голлем, который тоже был озабочен созданием условий, способных обеспечить длительность усилий.

«Потребуется известное время, — говорил я ему, — чтобы восстановить города, порты, железные дороги, но это будет сделано, потому что без этого жить невозможно. Зато потребуются твердая воля и терпеливые разъяснения, чтобы люди поняли, что главное зло — устарелость нашего оборудования и наших методов производства». — «Этим должны заняться наши общественные службы, — ответил де Голль. — Дайте им свои предложения». — «Я еще не знаю точно, что надо делать. Но в одном я уверен: нельзя преобразовать французскую экономику, если французский народ не примет участия в этом преобразовании. Когда я говорю «народ», я имею в виду не абстрактное понятие. Народ — это профсоюзы, предприниматели, административные работники, это все люди, причастные к планам переоборудования и модернизации...» — «Ну вот вы и сказали, что нужно делать и как это нужно называть, — заключил генерал де Голль. — Представьте мне ваши предложения до конца года».

Мы начали работу на пустом месте. Наметки, конечно, были, и различные министерства давали нам различные планы. Чиновники очень хорошо знали свое дело — в той отрасли, за которую они отвечали и в развитии которой были заинтересованы. Но эти планы не согласовывались и не взаимодействовали между собой. Напротив, они конкурировали и претендовали на одни и те же ресурсы — энергетические, людские, финансовые, — которые были бы очень быстро исчерпаны. В действительности же, эти планы были взаимозависимы: развитие индустрии определяло задачи транспорта, строи-

тельство плотин — производство цемента... Однако эти взаимозависимости никем не определялись, и каждый добросовестно выполнял только свою работу. Между разными ветвями администрации, между разными отраслями происходили контакты, велись переговоры, но при этом каждый преследовал свои цели и никто не заботился о том, чтобы эти цели согласовать. Каждый оборонял свои позиции. Впрочем, если бы понадобилось определить порядок приоритетов, кто бы мог встать и сказать, что цемент должен идти в первую очередь на постройку плотин, а не домов, что сельскохозяйственные машины рентабельнее автомобилей? На первый взгляд это было не очевидно, поскольку и потребности восстановления, и потребности потребления равно бросались в глаза.

Мы поставили перед собой вопрос: с чего начать? И я снова убедился, что этот вопрос и есть самый главный. После того, как вы определились с началом, вам остается только продолжать. Но чтобы начать, вам надо иметь ясность в мыслях и определить самый простой путь. Для этого не достаточно одного здравого смысла, даже если принятое решение задним числом кажется самоочевидным. На самом деле, без экономической и технической компетентности Маржолена и Гирша мне было бы очень трудно с уверенностью определить, какие секторы являются определяющими и должны получить приоритет, чтобы затем дать импульс развитию производства всей страны. Сегодня существует целая наука, изучающая подобные взаимодействия. В 1945 году надо было идти на риск, вступая в неведомую область. Конечно, мы не рисковали совершить ошибку, делая упор на выработку энергии и производство стали: их дефицит парализовывал возрождение страны. Но надо было, чтобы усилия в этих областях были сбалансированными, чтобы они учитывали национальные ресурсы сырья, финансов, валюты, а главное — рабочей силы. Однако общего баланса не существовало; я уже неоднократно сталкивался с подобной ситуацией в критические моменты, будь то во Франции, в Великобритании или в Соединенных Штатах. Поэтому я не слишком удивлялся и беспокоился, но, тем не менее, мне показалось, что в данном случае требуются совершенно новые подходы.

В отличие от прошлого, мы не были в положении, когда угроза со стороны внешнего врага пробуждает у людей инстинктивную реакцию защиты. Теперь над нами нависла не менее серьезная опасность, угрожавшая нашей независимости и нашему образу жизни, но мы недостаточно ее чувствовали, чтобы мобилизация страны могла быть введена декретом. Кроме того, экономика мирного времени не стала бы терпеть столь щедрых избыточных затрат, которые шли на создание военного превосходства, предусмотренного в свое время «Программой во имя победы». Если в 1940 году мне могли приписать фразу: «Лучше, если у нас будет десять тысяч лишних танков, чем если не хватит одного», — то теперь, в 1945 году, подобная установка была бы нелепа. Производство должно было соответствовать потребностям, иначе произошли бы большие нарушения экономического и социального равновесия. Столь тонкая наладка механизмов при столь массовых усилиях, в эпоху, когда еще не существовало компьютеров, не могла быть обеспечена несколькими чиновниками, но эту задачу также нельзя было оставить на усмотрение тысяч предпринимателей. Надо было действовать одновременно и более точно, и более либерально и потребовать от частной инициативы, чтобы она по собственной воле подчинилась общим интересам. Не лучше ли будет в таком случае подключить к решению вопроса все силы страны? Ведь никто не может единолично представлять общий интерес, зато каждый является его частичным носителем. Мы пришли к выводу, что главное — определить метод, а метод должен быть демократическим по самой своей сути.

С этого момента философия нашего проекта прояснилась в моем сознании, и мне оставалось только придать ему практическую форму: речь шла о конвергенции усилий, о таком методе, который позволил бы каждому определить свой вклад в соотношении с вкладом всех остальных. Надо было сделать так, чтобы самые насущные потребности и самые далеко идущие замыслы были подчинены намеченному нами императиву. Для этого надо было иметь общую картину. Технические специалисты, дававшие нам цифры, промышленники, приносившие свои досье, профсоюзы, представлявшие

свои программы, все они получали от нас выдержки из нашей декларации о методе. Пусть они сначала усвоят этот метод, а затем вернутся для участия в общей дискуссии, когда мы создадим для нее необходимые рамки. Вот эти рамки нам и следовало придумать. В прошлом, как я уже говорил, администраторы, предприниматели и рабочие никогда не собирались за общим столом. Если им и случалось вести переговоры, то они это делали один на один и в атмосфере конфронтации. Всегда кто-то оказывался победителем, кто-то побежденным, от этого страдало производство или финансы, а проблема только отодвигалась. Понятие плана существовало только на уровне идеологических дискуссий, вызывало в памяти советские пятилетки, и я понимал, что только действие рассеет туман двусмысленности, который окружал нашу совершенно оригинальную модель.

Эта модель была так же далека от советского «Госплана», как и от оригинальной системы, придуманной Стаффордом Криппсом в Великобритании для координации интересов. Мы внимательно изучили функционирование *Working Parties* («рабочих групп»), объединяющих промышленников, профсоюзы и технических специалистов, но эта попытка демократически ориентировать экономику показалась нам весьма ограниченной ввиду отсутствия функционеров, представляющих общественные интересы, и при отсутствии общих целей. Отталкиваясь от этого прецедента, мы сразу вышли на новый уровень, решив создать комиссии по модернизации. Они-то, по нашему замыслу, и должны были стать движущей пружиной плана; после того, как такое решение было найдено, для его изложения на бумаге не потребовалось много времени. В начале декабря на запланированной встрече с де Голлем я смог вручить ему докладную записку на пяти страницах, озаглавленную «Предложения по плану модернизации и переоснащения».

Три страницы были посвящены диагнозу экономического положения Франции и характеру лечения, к которому надо было прибегнуть. В первом пункте говорилось о необходимости подняться на уровень технической революции, от которой страна стала отставать еще до войны. Был сформулиро-

ван тезис: «Реконструкция и восстановление должны происходить одновременно». Во втором пункте обосновывалась необходимость увеличения производства и снижения стоимости продукции, чтобы иметь возможность за счет экспорта оплачивать импорт жизненно необходимого сырья. В третьем пункте подчеркивалось, что реконструкцию надо проводить срочно: «Очень скоро окажется, что все трудовые и производственные ресурсы Франции исчерпаны. Потребности столь высоки, что никаких трудностей со сбытом продукции не возникнет. В этот момент различные интересы потребуют обновления производственного арсенала, а его сохранения, что остановит всякий прогресс и всякое повышение уровня жизни и превратит Францию во второстепенную державу».

Опасение, что французы могут удовлетвориться стабилизацией на невысоком уровне под защитой протекционистских мер, не было лишено оснований, если иметь в виду национальную традицию. Но я знал, что достаточно указать на эту опасность, чтобы разбудить молодые силы участников Сопrotивления и решимость генерала де Голля, следившего за нашей работой с величайшим интересом. Он не знал колебаний, когда речь шла о величии Франции и ее независимости, а я сумею его убедить, что для достижения этих целей существует только один путь. Я не скрывал, что этот путь проходит через узкие ворота иностранных кредитов, во всяком случае, если мы хотим двигаться быстро. Но я доказывал, что другой путь гораздо опаснее: «Если мы не возьмем кредитов, то необходимость в модернизации останется, но условия ее проведения изменятся. И тогда на ее осуществление потребуется более долгое время и более серьезные жертвы со стороны населения в связи с ограничением внутреннего потребления». По правде говоря, второй путь никогда нами всерьез и не рассматривался. Мало того, что он замедлил бы возрождение Франции, он вообще направил бы страну к совершенно иному будущему.

В четвертом пункте рассматривался метод: «Вся нация должна участвовать в этом прорыве. Страна согласится на предлагаемые меры при одном условии: если будет знать

и ясно понимать реальную ситуацию. Наш план нужен не только администрации и государственным учреждениям: он в интересах всех французов, которые найдут в нем не только общие данные о положении страны, но и директивы, которыми они смогут руководствоваться в своих индивидуальных инициативах». Сегодня мы уже привыкли к тому, что существует целая литература о совместном участии в деле различных социальных групп, и без опоры на эту литературу не начинается никакое сколько-нибудь значительное предприятие. Поэтому мы можем недооценить значение процитированного выше пассажа. Однако его следует понимать в самом буквальном смысле, так как он прямо указывал на метод, который позволит произвести модернизацию Франции: «Поскольку осуществление плана, — говорилось далее, — потребует сотрудничества всех, необходимо, чтобы все активные силы нации приняли участие в его разработке. По этой причине, предлагаемый метод предполагает создание в каждой отрасли ассоциированных групп, состоящих из ответственных членов администрации, квалифицированных экспертов и представителей соответствующих отраслевых профсоюзов (от рабочих, от инженерных кадров и от хозяев)».

Решение объединить людей для определения задач, над которыми им придется работать, — в то время, при существовавшем тогда экономическом порядке, было чисто умозрительным. Но я был убежден, что такой образ действий отвечает необходимости и что, при всех политических разногласиях, обоснованная таким образом задача может быть принята всеми. Время благоприятствовало организации совместных действий, так как патриотический порыв Освобождения еще не угас и искал точку приложения для созидательного усилия. Национализация, давно уже стоявшая в повестке дня и только что осуществленная, была не самоцелью, а инструментом коллективной деятельности, содержание которой надо было определить. Каждый чувствовал, что прогресс возможен, но никто не говорил точно, что же нужно делать. В такой атмосфере наш план мог стать делом всего народа — так, чтобы этот оборот речи приобрел, наконец,

конкретный смысл. Я был полон решимости вдохнуть реальную жизнь в работу комиссий по модернизации. Вот что я писал о них в докладе генералу де Голлю:

«Отрасли производства, подлежащие изучению с целью их модернизации, будут определяться советом Плана.

Для каждой отрасли будет создана комиссия по модернизации, включающая ответственных представителей администрации данной отрасли, экспертов, представителей профсоюзов от предпринимателей, от рабочих и от инженерно-технических кадров. Комиссии по модернизации смогут создавать подкомиссии для изучения отдельных вопросов.

Представитель комиссара Плана входит в каждую комиссию в качестве ее председателя, докладчика или секретаря, чтобы координировать работу.

Комиссар Плана и его службы определяют общие директивы для комиссий, постоянно следят за продвижением их исследовательских работ и за тем, чтобы каждая комиссия могла учитывать выявляемые в других комиссиях взаимозависимости, потребности и ограничения. Комиссар и его представители отвечают за синтез работ, ведущихся в разных областях».

Весь этот аппарат имел конечной целью установление «общего баланса», который позволил бы определить приоритеты и представить французскому правительству «конкретные предложения относительно основных отраслей французского производства и их задач на определенный отрезок времени». Что касается завершения подготовительных работ и сроков самого плана, то здесь точных дат не предусматривалось. Первые инструкции имели самый общий характер: «Определить производительность труда во Франции, подлежащие устранению отставания и размеры образовавшихся разрывов; предложить, какие объемы производств должны быть достигнуты» (например, уровень 1929 года). На самом деле, самое важное в этом описании была гибкость и возможность внесения уточняющих поправок в каждом секторе с учетом работы в других секторах. Необходимым правилом была взаимная информация и последовательные уточнения. Мы намеревались ввести, наконец, в административную

практику реальные механизмы трудовой деятельности, законом которой является взаимозависимость.

Я послал свои предложения генералу де Голлю 5 декабря. Две недели спустя они были одобрены на совете министров, а 3 января о плане было объявлено декретом, в первом параграфе которого говорилось: «Не позже чем через шесть месяцев будет составлен первый общий план экономической модернизации и оснащения метрополии и заморских территорий». Задачи плана были затем изложены в четырех пунктах:

- 1) развивать национальное производство и внешнюю торговлю там, где французские позиции являются наиболее выгодными; 2) увеличивать производительность труда; 3) добиваться полного использования рабочей силы; 4) поднять уровень благосостояния, улучшить условия частной и коллективной жизни населения.

В декрете указывался состав совета по Плану, председателем которого назначался премьер-министр, а членами — двенадцать министров и двенадцать других лиц, в соответствии с их компетенцией. Наконец, уточнялась роль комиссара Плана: он наделяется полномочиями постоянного представителя премьер-министра в отношениях с департаментами министерств. Он имеет весьма значительные возможности сбора информации; руководимому им комиссариату обеспечивается содействие всех министерских служб и особенно — органов статистики. По его указанию создаются рабочие комитеты и комиссии по модернизации. Декрет был завизирован девятью министрами, из которых двое были членами МРП («Народное республиканское движение»), двое — радикалами, один — социалистом и четверо — коммунистами.

Я признателен генералу де Голлю за то, что он по всем пунктам последовал моим рекомендациям. От структуры служб Плана и от места, занимаемого ими в политической и административной жизни страны, зависел успех всего дела. Прямое подчинение премьер-министру имело очень большое значение для обеспечения авторитета Плану. Но такое решение, как я уже неоднократно подчеркивал, не возникло само

собой. По традиции комиссариат должен был бы подчиняться одному из экономических министерств, и тогда ему пришлось бы, при каждом перераспределении власти, чувствовать на себе всю тяжесть административных структур. Хотя меня никогда не занимал вопрос о рангах, в данном случае я полагал, что успех моей работы будет зависеть от того, на каком уровне власти я буду находиться. Это было важно не для меня, не для моей личной позиции; было необходимо, чтобы я и мои сотрудники могли оказывать широкое влияние на всю совокупность исполнительных органов. Никакой министерский пост не открывал передо мной такого широкого поля деятельности, как должность комиссара по Плану, не имеющего четко определенных функций, но непосредственно связанного с премьер-министром. Я ни у кого не отбирал его должности, не становился ничьим начальником. Я занимал территорию, которая до сих пор не имела ни названия, ни хозяина.

Эта территория в административном смысле должна была быть очень небольшой. Я запросил у Гастона Палевски, начальника кабинета генерала де Голля, скромный штат сотрудников и помещение для работы. Он предупредил: «У вас будет самый маленький бюджет среди государственных структур...» — «Так и должно быть, — ответил я. — Нам не будут завидовать, и нас оставят в покое. Мы избежим соблазна все делать самим и заставим работать других. И я не буду обременен административными заботами». В аппарате Плана никогда не было больше тридцати уполномоченных представителей, а общая численность персонала, включая секретарей и охранников, не превышала одной сотни. Моя рабочая команда была еще меньше. Она ограничивалась четырьмя или пятью сотрудниками одновременно. Гишш возглавлял технические службы. Но я не случайно позаботился о просторных рабочих помещениях: они были мне нужны для консультантов, которых мы приглашали ввиду их компетентности, но которыми я не хотел перегружать штат постоянных сотрудников. Одним из моих требований было устройство небольшой столовой: она позволяла людям не отрываться надолго от работы и, что еще важнее, перемежать работу моментами разрядки, что способствовало благоприятной человеческой об-

становке. Опыт работы в Англии и Соединенных Штатах научил меня, что человеческие отношения очень важны даже в очень серьезных делах. В Париже такая практика вызывала удивление. Некоторые из посещавших нас министров и профсоюзных деятелей поражались умеренности наших трапез, которые, тем не менее, очень помогали работе и взаимопониманию. Я думаю, они положили начало определенной традиции.

Деятельная дружба и проницательный ум Гастона Палевски очень облегчили начало нашей работы. Он лично занимался обустройством нашего офиса. Маленький особняк на улице Мартиньяк, как раз напротив церкви св. Клотильды, — островок спокойствия в центре квартала, где располагаются крупные министерства, — это было как раз то, что нам нужно. Парадные залы на первом этаже предназначались для заседаний комиссий, а мы с сотрудниками располагались наверху, в причудливых помещениях, соединенных между собой запутанной системой лестниц и коридоров, являвших разительную противоположность той строгой разумности, носителями которой мы должны были являться. Как остроумно заметил Ж.-Ф. Гравье, чей маленький кабинет находился под самой крышей, рядом с такими же кабинетами Поля Делуэри и Жана Вержо: «Эта нелепая архитектура имеет по крайней мере одно достоинство: теснота помещений и их причудливые изгибы создают интимную семейную атмосферу, как в старых итальянских домах. Не может быть ничего более далекого от административного духа, но ведь мы как раз и не хотим быть администрацией». Надо думать, что за всем этим кажущимся абсурдом таился глубокий смысл, потому что за тридцать лет своей работы, открывшей новые перспективы, создавшей множество рациональных структур, комиссариат Плана ни разу не подумал о том, чтобы покинуть свое неудобное жилище под сенью святой Клотильды. По крайней мере, такая теснота, как я и надеялся, предохранила нас от опасности административного разбухания.

Феликс Гайар, остававшийся начальником моего кабинета, рекомендовал мне одного из своих друзей, Мориса Экарди, как очень разностороннего и умелого работника; я познакомился с ним и убедился, что это прекрасный органи-

зитор-практик. Он великолепно справился с задачей создания компактного и эффективного административного аппарата, так что в течение долгих лет у меня не было проблем с управлением комиссариатом. И до настоящего времени Экарди продолжает работать на улице Мартиньяк, проявляя присущую ему политическую чуткость и вкус к хорошо сделанной работе. С его легкой руки к нам пришел один из его коллег по Финансовой инспекции, Поль Делуврие, который в тот момент был начальником кабинета у Плевена. Как и его шеф, Делуврие излучал силу и жизнелюбие. Он тоже прошел горнило Сопротивления, и ему не терпелось принять самое активное участие в общественной деятельности. Его ум и готовность к самоотдаче были именно теми качествами, которых мы ждали от нового поколения французов. Он с энтузиазмом приступил к решению финансовых вопросов Плана, чем положил очень хорошее начало своей карьере.

Сови и Фурастье, помогавшие нам сделать первые шаги, не смогли остаться у нас в качестве штатных сотрудников, так что свободное место в отделе экономики и статистики было занято Жаном Вержо, работавшим до этого на высоких должностях в министерстве Национальной экономики с Франсуа Перру. «Господин Вержо», как мы его всегда называли, выражая этим и наше почтение, и наши дружеские чувства, проявлял необыкновенную тщательность во всем; его мысли и манера выражаться отличались ясностью, что позволяло ему вносить ценный вклад в распространение наших идей. Его безотказную работоспособность, его уравновешенность не могли поколебать никакие административные бури, неизбежные в нашем деле. Я всегда испытывал глубокое уважение к этому скромному человеку, как будто исчезающему за горами папок, над которыми он трудился целыми днями и из которых извлекал простые и ясные доклады; эти доклады он писал собственноручно обыкновенным стальным пером, неустанно обмакивая его в чернильницу. План многим ему обязан: если его прочли и поняли так много французов, то в этом немалая заслуга «господина Вержо».

Под руководством Вержо трое молодых экономистов осваивали стиль, который на много лет стал стилем наших

деловых документов: короткие фразы, пронумерованные абзацы, четкий переход от одной идее к другой без непужных связей и промежуточных мыслей, минимальное количество уточняющих слов и прилагательных. В этом строгом стиле Жак-Рене Рабье, Жак Ван Эльмон и Жан Рипер стали мастерами. Некоторые недооценивали их лишнее внешних украшений искусство, поскольку в то время пошла мода на блестящую словесную диалектику. Но я думаю, что документы, вышедшие из-под пера группы Вержо, выдержали испытание временем лучше, чем многие изысканно написанные тексты той эпохи. Во всяком случае их и сегодня можно читать. Они были продиктованы необходимостью, а то, что необходимо, не нуждается в украшениях. Неофиты, желавшие удивить нас своими сочинениями, получали их обратно с пометкой: «Слишком умно, переделать». Все, что было лишнего по мысли и по стилю, отфильтровывалось, так что во всех документах оставалось только существенное.

На первых порах формировать новую команду мне помогли мои испытанные соратники Пьер Дени, Роже Обуэн и Леон Каплан. Все они знали мои методы, поскольку работали со мной еще в Силезии, как Дени, в Румынии, как Обуэн, в Вашингтоне, как Каплан. Затем каждый из них вернулся к своей основной работе, а со мной остались Маржолен и Гирш: вместе мы приступили к составлению основной части плана и формированию комиссий по модернизации. Мы должны были определять секторы экономики и подбирать нужных людей, и ошибиться мы не имели права. Все вместе мы взяли на себя тяжелую ответственность: мы принимали решения, непосредственно затрагивавшие будущее; мы открывали одни пути для развития Франции и временно отказывались от других. Мы говорили: «Вот эти люди справятся с задачей лучше, чем те, другие». Январь 1946 года был посвящен консультациям, и много выдающихся людей побывало на улице Мартиньяк. Нас не было во Франции шесть лет, и теперь мы открывали для себя новое поколение руководителей — промышленников, профсоюзных деятелей, функционеров; все они в годы оккупации вели себя безукоризненно. Часто они были не знакомы друг с другом, и нужны были ос-

торожные подходы, длительные беседы, чтобы понять вес и возможности каждого из них.

Гирш умел находить выдающихся технических специалистов, способных выходить за рамки своей специальности. Бывший горный инженер, он хорошо ориентировался в мире промышленности и тщательно, по одному, выбирал людей, стремившихся служить прогрессу. Маржолен пользовался большим авторитетом в среде экономистов и административных работников, что позволяло ему выискивать там нужных нам людей. Ему доверяли также лидеры социалистических профсоюзов, с которыми он был близок во времена своей молодости. Гирш и Маржолен дополняли друг друга; иметь рядом с собой таких сотрудников — это было воплощением моей мечты. Даже несходство их характеров имело свою ценность. Гиршу было сорок пять лет, его спокойствие и компетентность действовали ободряюще. Я знал, сколько отзывчивости скрывалось за его внешним хладнокровием. Его суждения о людях и о вещах были в равной мере основательными и взвешенными. Я полностью полагался на него, когда нужно было сбалансировать производственные показатели, и он же руководил техническими службами. Маржолену было всего тридцать пять лет, и он производил впечатление студента, увлекающегося общими идеями. Много лет назад этот юноша-самоучка стал любимым сподвижником Шарля Риста, а в качестве активного деятеля Социалистического союза молодежи был замечен Леоном Блюмом. На этом перекрестке влияний Маржолен прошел школу свободомыслия. Во время войны он понял, что мысль без действия мало чего стоит. В нашем учреждении он занимал должность заместителя генерального комиссара и отвечал за общую экономическую концепцию Плана.

Мы взяли себе месяц на первоначальное ознакомление с проблемой, а через шесть месяцев мы уже должны были дать наши предложения. События заставили нас несколько отодвинуть сроки. Едва генерал де Голль успел подписать декреты, где повторил в виде указаний записку, которую я ему послал в декабре (полный текст этой записки он приводит в своих мемуарах), как 20 января последовала его внезапная

отставка. Благодаря де Голлю дело уже пошло, и в этом его несомненная политическая заслуга. Пришедший ему на смену Феликс Гуэн был опытным политиком. Я познакомился с ним еще в Алжире, где он, в качестве представителя от Сопротивления, председательствовал в Консультативной ассамблее. Я был вхож к нему и мог воззвать к его здравому смыслу. И мне пришлось это сделать, когда высшая администрация попыталась подчинить План министерству экономики. Я уже говорил, какое значение я придавал этому как будто формальному моменту: сама природа Плана могла измениться и его существование могло быть поставлено под вопрос, если бы он стал предметом постоянных согласований между большими управлениями министерства. Я отправился к Феликсу Гуэну, готовый, если потребуется, подать в отставку.

«Я очень уважаю французскую администрацию, — сказал я ему, — но совершенно ясно, что она не подходит для выработки плана, который должен изменить лицо страны. Роль администрации — поддерживать существующий порядок вещей. Руководящие ею функционеры обладают всеми прекрасными качествами, кроме одного: предприимчивости. Чтобы преобразовать Францию, надо прежде всего трансформировать государственные структуры и, может быть, школы, в которых готовят кадры. Я не согласен доверить комиссию по модернизации чиновникам, и еще менее — допустить их опеку над Планом. План будет подчиняться вам, или его не будет». — «Я поговорю с Андре Филипом», — ответил Гуэн. И в течение по крайней мере года о проекте переподчинения больше не было речи. Так что мы смогли сформировать совет Плана в условиях полной независимости. В качестве представителей профсоюзов, естественно, были приглашены их руководители: Бенуа Фрашон и Леон Жуо от ВКТ (Всеобщая конфедерация труда) и Гастон Тесье от ФКХТ (Французская конфедерация христианских трудящихся). В других областях мы сами выбирали представителей: от промышленности — таких, как генеральный директор фирмы Ситроен, генеральный директор металлургических предприятий в Сольне, председатель комитета по шерстяным тканям, а от сельского хозяйства — одного производителя сельскохозяйственной продукции

из Эна, другого — из Гарда. Этого последнего звали Филипп Ламур, и его динамизм и красноречие сильно нас подбадривали. Рядом с ним в нашем совете заседал скромный парламентарий, специалист по сельскому хозяйству, — Вальдек-Роше.

В порядке эксперимента мы привлекли еще несколько выдающихся представителей экономических сил: Женжамбра, уже стоявшего во главе РМЕ, и Жикара, человека влиятельного в союзе предпринимателей черной металлургии. Будучи аппаратными работниками, они впоследствии заняли позиции, враждебные переменам. Но в то время они поддались общему течению, как и их коллеги из ВКТ, в том числе Пьер Ле Брен, которому предстояло сыграть важную роль в нашем предприятии. Ле Брен был одним из мозговых центров профсоюзного движения. Бывший инженер, человек интеллектуального склада, он был очень авторитетным экономическим советником в центральном аппарате и имел широкие связи. Убежденный марксист, он всегда занимал в ВКТ левые позиции, хотя его связи с коммунистической партией не были явными. Пока эта партия сотрудничала с правительством, он был для нас важным связующим звеном и лояльным партнером, с которым можно было говорить прямо и откровенно.

Такому же методу мы следовали и при образовании комиссий. Но сначала нам надо было определить, какие секторы экономики будут для нас приоритетными. Конечно, прежде всего нам надо было составить «общий баланс» ресурсов и потребностей Франции, но, в отличие от многих, я не считал, что План должен заниматься одинаково всеми видами производственной деятельности. И если мы создали восемнадцать комиссий по модернизации, то лишь для того, чтобы иметь общую и целостную картину. Что же касается предстоящей работы, то я знал, что нам надо будет сосредоточиться на пяти или шести решающих направлениях. Остальные же комиссии будут служить полезными инструментами, чтобы стимулировать или сдерживать инициативы в секторах, развитие которых является менее важным, или, во всяком случае, менее срочным. Снова, и не в последний раз, мне пришлось объяснять и обосновывать выбор приоритетов — и производителям, и потребителям, и общественным властям,

выступавшим в роли арбитра: им всем была свойственна естественная тенденция делать все сразу. Можно сказать, что нет ничего труднее для человека, чем установить иерархию в своих действиях. Но разве не ясно, что все наши усилия надо было направить в те сектора, которые могли сыграть роль лидеров и передать полученный импульс другим производствам? Этот очевидный для разума постулат трудно осуществить практически, потому что он заставляет менять привычки, ритм, идти на временные жертвы.

Так, все были согласны, что развитие источников энергии было абсолютным приоритетом. Расхождения, как я уже сказал, начинались в тот момент, когда надо было решать, что сталь и цемент пойдут на постройку плотин, а не жилья. Чтобы уравновесить наш торговый баланс, что лучше: увеличивать экспорт автомобилей, или уменьшить ввоз продуктов питания и развивать собственное сельское хозяйство? Второе решение было явно предпочтительнее, но вслед затем надо было решить, каким образом лучше достичь поставленной цели: благодаря увеличению производства химических удобрений или сельскохозяйственных машин? Наша роль состояла в том, чтобы решать, а это означало — перемещать в массовом порядке рабочую силу, естественные ресурсы, импортные товары и деньги. Речь шла не о том, чтобы распределять дефицит, к чему французы уже давно приуловились. Надо было создавать условия, чтобы покончить с дефицитом, приобретать с помощью скудных ресурсов новое оборудование, на котором будут работать следующие поколения, и не вынуждать при этом население терпеть дополнительные лишения. Такова была цель, которую неотступно должны были держать в уме все, кто участвовал в модернизации. Для меня было чрезвычайно важно непрерывно напоминать о смысле наших усилий, о котором люди забывают в процессе работы.

В моих глазах, комиссии по модернизации были столько же источником информации, необходимой для плана, сколько средством воспитания, обращенного прежде всего к тем, кто отвечал за экономику, а через них — ко всему населению. Вот почему мы искали людей, наиболее восприим-

чивых к прогрессу и наиболее авторитетных в своей среде. Постепенно их имена и лица становились нам известны, а затем, после того, как выбор падал на них, они становились на долгие месяцы верными служителями Плана, отдававшими ему все свое время и силы. В общей сложности в течение 1946 года более тысячи таких людей приняли участие в общем деле, или как члены комиссий и подкомиссий, или как эксперты, готовые в любой момент дать консультацию; все они составляли как бы единую команду, действия которой направлял комиссариат. Без этой руководящей работы мы имели бы только груду идей без всяких выводов. Однако без массы участников наши выводы не проникли бы во все слои населения. План был задуман так, что он действительно стал общим делом.

В начале февраля комиссии по углю и электричеству были созданы и приступили к работе, а вслед за ними, через несколько недель — комиссии по черной металлургии и строительным конструкциям. Такая последовательность соответствовала принятой мной системе приоритетов, которая была официально признана только позже, когда к ней добавились транспорт (в мае) и сельскохозяйственная техника (в июне). Вместе эти шесть отраслей промышленности стали на ближайшие годы основой модернизации.

В комиссии по углю председательствовал Викторен Дюге, сильная личность, генеральный секретарь федерации рабочих-горняков, занимавший в то время также пост председателя административного совета по угольным шахтам, национализированным с декабря 1946 года. Вице-председателем, как это было установлено и в других комиссиях, был занимавший высокую должность технический специалист, директор шахт в министерстве промышленного производства, а докладчиком — один из экспертов, профессор Горного института. Председателем комиссии по электроэнергии мы назначили выдающегося специалиста в этой области, Роже Бутвиля, вице-председателем — директора департамента электроэнергии в министерстве Роже Гаспара, а докладчиком — Пьера Ле Брена. Такое же равновесие было соблюдено и в комиссии по черной металлургии, руководство которой было

поручено генеральному директору сталелитейных заводов в Лонгви Этьену Руа.

Вскоре мы смогли убедиться, что принятая нами система великолепно работает. Конечно, национализация помогала намечать общие цели в энергетике. Но и здесь, как и в других комиссиях, собирались очень разные люди, которые до войны, работая на одном производстве, находились в конфликтных отношениях, либо просто не знали друг друга. Тем не менее, когда комиссии по углю и черной металлургии собрались на совместное заседание для определения размеров поставок угля для доменных печей, между Дюге и Ле Бреном не возникло никаких трений, как и между Руа и Дамьеном. «Конечно, — сказал мне Гирш, — их объединяют общие воспоминания об участии в движении Сопротивления. Но дело не только в этом...» — «Вот вам доказательство того, о чем я всегда говорил, — ответил я. — Когда вы собираете вместе людей разного происхождения и социального положения, ставите их перед лицом общей проблемы, которую им необходимо вместе решить, то перед вами оказываются уже другие люди. Как только они перестают быть защитниками разных интересов, они легко находят единую точку зрения. Мы составим План, никому ничего не навязывая». Так создавался рабочий механизм. Комиссия по электроэнергии насчитывала двадцать два человека, из которых шестеро были хозяевами предприятий, двое — профсоюзными деятелями, двое — руководящими работниками, трое — экспертами и трое — функционерами. Такая же пропорция соблюдалась и в других комиссиях.

16 марта мы были в состоянии созвать совет Плана. В большом зале на улице Мартиньяк, под внушительной репродукцией «Марсельезы» Рюда, которая, по мысли Палевски и Экарди, символизировала Республику, призывающую к мирному строительству, Феликс Гуэн открыл первую сессию: «Настоящая техническая революция стала для нас срочной необходимостью. Реконструкция и модернизация неотделимы друг от друга. И только при условии, что нация полностью осознает свою роль в стоящей перед ней задаче, мы можем надеяться довести дело до конца». Затем я предложил совету утвердить задания Плана, которые я считал осуществ-

вимыми при определенных условиях: к концу 1948 года достичь уровня 1938 года, в 1949 — уровня 1929 года (на четверть превосходящего уровень 1938) и, наконец, в 1950 — превзойти на четверть уровень 1929 года. Для достижения этих целей мы утвердили нормативы, предложенные комиссией по углю: шестьдесят пять миллионов тонн в 1950 году плюс гарантированные поставки немецкого угля. Мощность гидроэлектростанций предстояло удвоить. Производство стали должно было достичь двенадцати миллионов тонн. Пятьдесят тысяч тракторов предстояло выпускать ежегодно в течение ближайших пяти лет.

Наконец, я не мог не указать на ограниченность наших экспортных возможностей по сравнению с жизненно необходимым импортом: «Восстановление устойчивого платежного баланса Франции возможно предусмотреть только к 1950 году. До этого времени только внешняя помощь позволит нам компенсировать дефицит. Даже при условии максимального использования государственных золотовалютных резервов и мобилизации частных вложений за рубежом, необходимо дополнительное вливание нескольких миллиардов долларов в период с 1946 по 1950 год». И я добавил фразу, которая в то время могла иметь политический резонанс, но на самом деле — я это понимал — была пустой: «Часть этих вливаний может быть получена от Германии в качестве репараций». Что касается основной суммы, то каждому было понятно, где мы имели шанс ее получить. И если тогда, 16 марта 1946 года, мы об этом умалчивали, то лишь потому, что трудные переговоры на эту тему уже готовились за океаном.

Непрерывность усилия

Несколько часов спустя после сессии совета Плана я уже вылетал в Вашингтон, где должен был присоединиться к Леону Блюму, который прибыл туда на два дня раньше в качестве чрезвычайного посланника французского правительства. Его миссия состояла в том, чтобы урегулировать с Соединенными Штатами финансовые проблемы, оставшиеся после прекращения поставок по ленд-лизу, и начать переговоры о

предоставлении нового займа в продолжение предыдущего, о котором, в размере шестисот пятидесяти миллионов долларов, я уже договорился в ноябре. На этот раз Франция правильно произвела расчеты, из которых стало ясно, что ее валютный дефицит, какие бы усилия ни предпринимались, продлится несколько лет и завершится только при условии значительной и умело используемой иностранной помощи. Миссия была назначена на начало февраля, но задержалась из-за нездоровья Леона Блюма. Это опоздание привело к серьезным осложнениям, так как в промежутке американский Конгресс утвердил большой кредит Великобритании и правительство было вынуждено взять на себя обязательство больше не предоставлять столь выгодных условий иностранным заемщикам. Мы прибыли в самый неподходящий момент.

Но, с другой стороны, разве мы могли представить хорошее досье на два месяца раньше? Конечно, нет. Баланс экономического положения Франции, который я вез 19 марта в Вашингтон вместе с перспективами дальнейшего развития, до этого просто не существовал, и можно было предполагать, что американцы сопроводили бы свое согласие на продление помощи серьезными условиями относительно нашей экономической политики. И дело совсем не в том, что Соединенные Штаты будто бы покушались на нашу независимость. Напротив, они хотели, чтобы мы как можно скорее перестали бы нуждаться в их помощи. Наш план, таким образом, шел навстречу их желаниям и опережал те условия, которые они могли бы поставить беспечным заемщикам. Поэтому я чувствовал себя гораздо увереннее, имея на руках резолюции совета Плана.

С каждым днем я все больше убеждался, насколько тесно связаны между собой План и внешняя помощь, так что наша миссия приобрела неожиданный поворот. Рассчитанная первоначально на две недели, она продлилась одиннадцать, во время которых обе стороны постепенно продвигались навстречу друг другу, ведя конструктивный диалог. Разумеется, столь большое продление срока наводило на мысль о серьезных трудностях, и нетерпение французского общественного мнения превращалось в подозрительность по мере прибли-

жения назначенного на 5 мая референдума по Конституции, а после его завершения (с отрицательным результатом) — выборов в новое Конституционное собрание, назначенных на 2 июня. Журналисты писали, что Леон Блюм хочет, во что бы то ни стало, вернуться с победой. А некоторые задавались вопросом, не захочет ли он добиться успеха ценой политических уступок.

Положение было более простым и более сложным одновременно, потому что трудности были не политическими, а техническими. И вообще я не помню, чтобы были трудности: была углубленная совместная работа, а это совсем не одно и то же. Любое серьезное дело быстро не делается, а когда речь идет о том, чтобы подвести черту под несколькими годами военных поставок и договориться об огромных кредитах на неопределенное будущее, недели летят быстро. Из Парижа мои сотрудники торопили меня с завершением переговоров. Но я не слушал их аргументов, продиктованных сиюминутными заботами и не затрагивавших суть дела. Вещи обладают своим собственным ритмом, и работа никогда не бывает слишком долгой, если ее можно сделать лучше, потратив немного больше времени. Важно уметь закончить в нужный момент, но я хотел быть свободным в выборе этого момента. Если бы я должен был учитывать обстоятельства внутренней политики, французской и американской, соглашение не устроило бы никого. А в результате оно устроило всех, поскольку 1 августа новое французское Национальное собрание ратифицировало его единогласно. Замечу попутно, что это в составе этого Национального собрания социалистов стало меньше, несмотря на успех миссии Леона Блюма, и это послужило для меня дополнительным доказательством того, что каждую принципиальную трудность надо рассматривать отдельно, а не изощряться в поисках решения для нескольких проблем сразу.

Успешный исход переговоров общественное мнение связало с именем Леона Блюма, который бросил на чашу весов весь свой немалый престиж во Франции и за ее пределами. Его заслуги и мужество получили вполне справедливое

признание. Едва оправившись от испытаний плена, он поехал с трудной миссией в совершенно не знакомую ему Америку. В семьдесят шесть лет этот великий гуманист еще никогда не бывал в Соединенных Штатах, и зрелище Нью-Йорка пробудило в нем юношеский восторг. Повсюду ему оказывали знаки уважения, и Франция имела в его лице *чрезвычайного* посла в буквальном смысле этого слова. Я избавил его от необходимости вести повседневные переговоры, но он им очень помогал своими замечательными выступлениями перед Конгрессом. В сердцах суровых людей, заседавших в Национальном консультативном комитете по вопросам внешних кредитов, он сумел затронуть струны доверия и великодушия. Тексты речей, которые мы для него готовили, он одушевлял человечностью, которая смягчала даже самых несговорчивых оппонентов. У него было такое же высокое понимание свободы и демократии, как и у его слушателей, столь далеких от него в других отношениях. Поэтому они охотно верили старому социалистическому лидеру, когда он говорил, что Франция безоговорочно поддерживает хартию о свободе в международной торговле, которую тогда готовили в Хот Спринге.

«Вполне допустимо, — заявлял он, — чтобы государства применяли внутри своих стран принципы управляемой или коллективной экономики, что в настоящее время практикуется почти всеми народами Европы, но чтобы во внешних сделках они придерживались политики, основанной на полной свободе и полном равенстве». Это утверждение было официальным обязательством французского правительства; в обмен на него мы просили помощи, которая позволила бы нам со временем снять все ограничения во внешней торговле. Но Леон Блюм добавлял к этому еще один аргумент, более политического звучания: «Вы должны понять, что если Франция не будет иметь возможности покрывать с помощью импорта жизненные потребности своей экономики, то материальная нищета и чувство моральной оставленности могут толкнуть ее в число тех стран, будущее которых не поддается разумным прогнозам». Эти слова были услышаны людьми, которые руководили Соединенными Штатами.

Рузвельт умер год назад. Уже не ощущалось того подъема, который при нем одушевлял его выдающуюся команду и через нее — всю нацию. Не было уже и Хопкинса: отдав последние силы служению стране, он последовал за своим другом. Мы увиделись с ним в последний раз в Вашингтоне, когда он вернулся из своей последней миссии, с которой Трумэн послал его к Сталину; ради нее Хопкинс на несколько дней покинул свою палату в госпитале. Почести, оказанные ему в Москве, не ввели его в заблуждение: прошло время дипломатии друзей по оружию и откровенных бесед. Хопкинс застал только самое начало эры атомной бомбы. Другие люди будут руководить вооруженным миром, и во главе их — бывший вице-президент, безликая фигура, раньше скрывавшаяся в тени Рузвельта. Конечно, Гарри Трумэн не был политической посредственностью, и в Конгрессе он прошел длительную школу внутренней политики. Но если, вопреки общим ожиданиям, он сумел справиться с внешнеполитическими проблемами, то произошло это в силу одного присущего ему качества: он умел принимать решения. Обладал ли он этим качеством от природы, или приобрел его под влиянием президента, но он не колебался перед самыми ответственными решениями. Когда он занял высшую должность, вопросы относительно его умственных возможностей и познаний потерял актуальность. Значение имело только одно: он выполнял свой долг, и, выслушав все мнения, отдавал приказы. Он бывал не всегда хорошо информирован, он был способен ошибаться, но он умел решать, а это — отличительная черта государственного деятеля.

Рядом с ним мы обнаружили новую команду, призванную сыграть переходную роль. Уинсон в качестве министра финансов и Бирнс от Государственного департамента были нашими добросовестными собеседниками. После того как я возобновил контакты с многочисленными административными инстанциями, от которых зависел успех наших переговоров, и были подведены итоги разнообразных расчетов по ленд-лизу, мы сосредоточились на будущем. То, что я изложил касательно плана, было воспринято с величайшим интересом, и вскоре между нами создался такой климат активно-

го сотрудничества, при котором модернизация Франции становилась общей целью и кредитора, и заемщика. Все чувствовали свою ответственность за успех предприятия, что было выгодно обеим сторонам. Об этом слишком часто забывают, стремясь к успеху за счет партнера по переговорам.

День за днем мы оценивали содержавшиеся в плане шансы на подъем французского производства и экспорта. Речь шла не только о финансовых гарантиях кредитору, но и об определенной концепции экономического и политического возрождения в Европе. Постоянно обмениваясь информацией через Атлантику, мы уточняли первоначальные наметки, которые я привез с собой, так что к моменту моего возвращения в Париж разработка Плана значительно подвинулась вперед: наши непрерывные запросы заставляли комиссии по модернизации напряженно работать.

В каких размерах мы надеялись получить новые кредиты, после того как были урегулированы прошлые долги? Леон Блюм не побоялся обнародовать перед Конгрессом внушительные итоги наших расчетов: «Мы вступаем в переходный период, в результате которого мы надеемся придти к удовлетворительному платежному балансу, но пока что нам придется импортировать во Францию товары, необходимые для модернизации страны. Затраты на импорт оцениваются цифрой порядка одиннадцати миллиардов долларов, из них пять мы рассчитываем получить из Соединенных Штатов. Чтобы покрыть эти затраты мы употребим все наши возможности, вплоть до расходования последних остатков золотовалютного запаса. Мы максимально увеличим наш экспорт. Но даже и после этого в течение пяти лет сохранится общий дефицит порядка трех миллиардов долларов. Этот дефицит можно было бы несколько уменьшить, если бы мы отказались от программы модернизации, что было бы противно разуму, так как в этом случае наш экспорт сократился бы в той же пропорции, что и наш импорт. Вот проблема, которую я прошу вас рассмотреть вместе с нами во всех ее аспектах».

Этот прямой и откровенный призыв произвел впечатление. Но если он не вызвал негативной реакции со стороны американских защитников *business as usual* («бизнеса в обыч-

ном порядке»), то произошло это во многом потому, что одновременно мы представили смелую программу действий на эти самые переходные пять лет в условиях платежного дефицита. Важное достоинство программы состояло в том, что она предусматривала получение помощи по частям. Потому что я знал, что не было никаких шансов на столь значительный единовременный кредит. Транши предстояло получать год за годом, предъявляя доказательства эффективности наших усилий. По мере того, как условия договора уточнялись, усиливалось разочарование Леона Блюма. Он упрекал себя в том, что «не сумел затронуть чувства» своих собеседников. Я его уверял, что он сделал все возможное. Соглашение не могло выйти за пределы сегодняшней реальности, но, взятое в целом, со всеми его статьями, оно представляло собой весьма широкий политический жест. Подведя черту под ленд-лизом, оно упраздняло само понятие военных долгов, которые могли бы отравить атмосферу мирного времени. Из трех с половиной миллиардов долга американцы соглашались вычестить три четверти в уплату за услуги, полученные от нас во время войны. За нами оставались четыреста двадцать миллионов долларов долга с рассрочкой на тридцать пять лет и практически без процентов. Кредит в триста миллионов долларов был нам предоставлен для закупок по низким ценам американских излишков. Таким образом удалось окончательно обнулить нашу часть долгов за наше собственное освобождение.

Но оставались затраты на будущее. Их нельзя было облегчить сразу и в таких же пропорциях. 28 мая директор Импортно-экспортного банка сообщил нам, что для Франции открывается новый кредит в шестьсот пятьдесят миллионов долларов, предназначенный для закупки оборудования и сырья. В то же время нам было подтверждено, что Международный банк предоставляет нам кредит в размерах от пятисот до шестисот миллионов долларов на реконструкцию. Кроме того, нам предоставлялась возможность зафрахтовать в кредит семьдесят пять грузовых судов, что увеличивало на пятьдесят процентов наш торговый флот. В общей сложности, оказываемая нам помощь оценивалась в полтора миллиарда долларов. Она только частично покрывала приблизительно под-

считанные расходы до 1950 года. Но я и не надеялся на полное покрытие. Цель моей миссии, как я ее понимал, заключалась в другом: получить гарантию, что мы можем начинать исполнение плана без риска остановки. Именно этого я хотел добиться — и добился. А когда План заработает, его собственная динамика создаст внутренние и внешние условия для его выполнения.

Недели совместной работы с Леоном Блюмом укрепили наши дружеские чувства и мое восхищение по отношению к нему. За годы войны и плена возрос моральный авторитет, которым он пользовался в своей партии и далеко за ее пределами. Однако сам этот авторитет был его природным качеством и вытекал из его глубокой человечности. Он умел находить контакт с людьми, и он любил их. Люди это чувствовали — вот и весь секрет его воздействия на современников. Быть может, он был слишком разносторонним. «Я завидую вашей способности концентрироваться, — говорил он мне. — Я не могу помешать себе интересоваться всем, что происходит вокруг». Я не мог бы поручиться, что его политика в целом лучше, чем у других. Но я знал, что он обладал способностью не поступаться совестью и заражать других благородными и великодушными чувствами. Большого и нельзя требовать от государственного деятеля.

Вернувшись в Париж, он выступил горячим защитником плана, который мы ему терпеливо объяснили и о котором он теперь говорил лучше нас, как это нередко бывает у политиков. После того, как в Национальном собрании прошло голосование по Вашингтонским соглашениям, он опубликовал в газете «Populaire» передовую статью, где прекрасно выразил суть проблемы, стоявшей перед нами в тот момент: «Хотим ли мы, чтобы освобожденная Франция встала на уровень современной науки и техники? Или же мы готовим для нее скудное, посредственное и рутинное существование? Вот какой выбор стоит перед нашей страной. Учтите, что французская экономика, даже в скудном и посредственном режиме, не сможет обойтись без импорта, не рискуя задохнуться и умереть. Чтобы импортировать, надо иметь возможность экспортиро-

вать. Чтобы экспортировать, надо производить в условиях, сопоставимых с условиями других конкурирующих производителей, то есть надо перестраивать и модернизировать наше производство. Все взаимосвязано, одно тянет за собой другое, и мы неизменно приходим к одному и тому же выводу. Однако, в зависимости от того, какой из двух подходов мы выберем, мы приступим к необходимому решению либо с отвагой и решимостью, либо с робостью и мелочной скаредностью. В одном случае нам обеспечены доверие и пылкое сотрудничество страны; в другом — дело будет тянуться медленно, вяло, среди общего безразличия и скептицизма».

То, что сегодня может показаться литературным пассажем с лирическим оттенком, тогда было простым клиническим описанием жестокой реальности первого послевоенного года. Сам выбор слов говорил о том действительном выборе, который стоял перед Францией: «Отвага или посредственность». Ту же мысль мы выражали сходной формулой: «Модернизация или упадок», ставшей на несколько лет девизом Плана. За этими словами стояла конкретная ситуация, которую каждый ощущал в своем повседневном существовании.

Французы поверили Леону Блому, когда он заявил, в ответ на обвинения коммунистов, что соглашения не содержат никаких закрытых политических статей. В действительности, мы должны были пойти на уступки в одном пункте, но в нем не было ничего секретного. Наоборот, Бирнс открыто хвалился им перед своими калифорнийскими избирателями: Франция должна была увеличить квоту на импорт голливудских фильмов. Коммунисты, становившиеся все агрессивнее по мере приближения избирательных сроков, яростно атаковали это приложение к договору. Одновременно они вели кампанию за повышение заработной платы: решение об этом было принято в июле на их так называемой «пале-рояльской» конференции. Началось бесконечное соревнование между зарплатами и ценами.

Однако по отношению к плану коммунисты и ВКТ продолжали вести себя безупречно. Их воля участвовать в реконструкции страны была ясной и неизменной. Призыв Тореза к

увеличению производства был широко поддержан. Но никакой прогресс был невозможен без реального увеличения продолжительности рабочей недели сверх установленных законом сорока часов. Председателем комиссии по рабочей силе был секретарь ВКТ Толле, сыгравший большую роль во время освобождения Парижа. Ознакомившись с цифрами, характеризовавшими реальное положение французской экономики, он сам предложил сорокапятичасовую рабочую неделю, и если продолжительность не была доведена до сорока восьми часов, то не из-за сопротивления профсоюзов, а потому, что промышленность не обладала достаточными ресурсами.

Бенуа Фрашон входил в совет Плана и в этом качестве он приходил на улицу Мартиньяк, либо я посещал его в ВКТ. Наши личные отношения были хорошими, и я вспоминаю об одной рабочей встрече у меня в загородном доме, когда я имел удовольствие обсуждать широкий круг вопросов с этим человеком богатого жизненного опыта. До тех пор, пока перед нами стояла общая цель — подъем французской экономики, — я встречал со стороны Фрашона готовность к активному сотрудничеству и открытой дискуссии. Но вскоре я убедился, что эти простые отношения зависели от политических обстоятельств, которые не позволяли ему свободно определять свое личное поведение.

Когда коммунисты решили ужесточить свою оппозицию и еще до того, как в декабре 1947 года произошел раскол в ВКТ, ее представители стали постепенно самоустраняться от участия в Плане; об официальном разрыве не было речи, но вскоре наступил день, когда они просто перестали появляться. Так случилось, что я как-то незаметно потерял из вида Бенуа Фрашона, а также и другого достойного человека, Франсуа Бийу, с которым я поддерживал прекрасные отношения еще со времени нашего пребывания в Алжире. Бийу был министром реконструкции в момент, когда надо было делать решительный выбор; под давлением общественного мнения и в силу занимаемого им поста, он мог бы потребовать, чтобы строительству домов был предоставлен абсолютный приоритет. «Такое требование было бы неразумным, — говорил я ему. — Немедленно использовать наши свободные ресурсы на

постройку жилья означало бы затормозить его в недалеком будущем и, может быть, на десятки лет. Сначала нужно как следует восстановить производство цемента и стали. Реконструкция и модернизация не должны противопоставляться друг другу. Напротив, они взаимосвязаны». Проявив определенную смелость, Бийу согласился с таким выбором.

Мой опыт совместной работы с коммунистами ограничивается этим относительно коротким, но важным периодом, когда все было подчинено непосредственным и бесспорным нуждам производства. В 1948 году План был национальной политикой Франции; вокруг него сплотились все. Мы не уставали объяснять его необходимость, которая в результате получила широкое признание. Но электоральные задачи и идеологическая борьба только ожидали подходящего момента, чтобы выйти на поверхность. И еще до того как План смог принести плоды, его выполнение натолкнулось на препятствия в виде социальных конфликтов и инфляции. Начиная с весны 1947 года мы уже не могли рассчитывать на коммунистов для поддержания необходимой дисциплины, а представители партии, с которыми я обычно имел дело, стали неуловимы. Политика диктовала поведение, несовместимое с правилами плана, требовавшими поисков общей заинтересованности и принятия совместных решений. Конечно, мне всегда приходилось сталкиваться с политическим сопротивлением, исходившим с разных сторон, но до тех пор, пока сохраняется возможность дискуссии, я уважаю позицию противника и делаю все возможное, чтобы преодолеть разногласия. Больше всего мне мешала не политика коммунистов, а их отказ от диалога. Благодаря Пьеру Ле Брену ВКТ еще некоторое время продолжала участвовать в работе комиссий; затем, без всяких заявлений о разрыве, он тоже перестал появляться. Но к тому времени План уже занял прочное место в жизни Франции.

1946 год был годом разработки основных программ модернизации, а так как все они должны были быть согласованы между собой, на улице Мартиньяк кипела напряженная работа. Здесь координировались усилия трехсот пятидесяти

членов комиссий и пятисот членов подкомиссий. Гирш и Маржолен собирали докладчиков, сопоставляли их предложения. Они лучше меня знали, как составлять программы, и я не пытался соперничать с ними и с экспертами в области технических решений и цифр. Но общая цель и общие решения входили в мою компетенцию. У меня была целостная картина. Промышленники, инженеры, профсоюзные деятели всегда считали, что лучше меня знают, что возможно, а что нет. И они были правы в своей области, но чаще всего не правы в общем контексте. Для меня главная трудность состояла не в том, чтобы заметить их ошибку, а в том, чтобы убедить их ее признать. В этом 1946 году мы не взяли отпусков. К нам непрерывно поступала информация от комиссий, которые провели в общей сложности не менее ста шестидесяти собраний. Обработывая все эти материалы, мои сотрудники постепенно продвигались к составлению обобщающего доклада, окончательный текст которого был готов в ноябре 1947 года. И в течение последующих пяти лет эти двести страниц будут служить ориентиром для развития французской экономики.

Имели значение не столько технические нормативы плана (они будут меняться в зависимости от условий), сколько само его устройство, обеспечивавшее, наряду с гибкостью, постоянство и неизменность его базовых установок. Действительно, в моих глазах, он сводился к нескольким страничкам, на которых излагался метод, и даже к одной 33 странице, с которой я знакомил всякого, кто входил в мой кабинет. План определял задачи производства и деловой активности до 1950 года в соответствии с расчетным наличием ресурсов; во всяком случае, в отношении шести основополагающих программ все должно было быть рассчитано от сегодняшнего дня и до 1950 года. Эти программы, и только они, подлежали обязательному исполнению. Конечно, необходимо было обеспечить необходимые ресурсы — энергию, металлы, валюту и рабочую силу — и использовать их с учетом общих целей. Никакая форма дирижизма не должна была иметь места, но существующая регламентация — предоставление сырья и кредитов — давала государству достаточно сильные инструменты поощрения и контроля.

И все-таки не на эти инструменты я рассчитывал больше всего. Во-первых, потому что они не были непосредственно в моих руках; они принадлежали властям и администрации, которые, хотя и были связаны Планом, не очень охотно признавали его приоритетное значение. А во-вторых, — и это, может быть, главное — я продолжал считать убеждение самым эффективным средством воздействия. Я был уверен, что план можно будет довести до конца, только пользуясь тем же методом, который применялся при его разработке. Этот метод я формулировал так: «Для общего дела нужна коллективная организация и постоянный коллективный обмен мнениями».

Я внес предложение сделать План в его нынешних формах и размерах постоянно действующим организмом; этот организм, новый, но уже ставший необходимым, небольшой, но с широко разветвленной сетью контактов, никого не подменявший, но необходимый всем, фактически уже стал самостоятельным учреждением. «План, — писал я, — это главным образом метод объединения в процессе работы и возможность для каждого найти свое место в коллективном усилии. Он определяет одновременно и ориентиры, и способ руководства». На странице 101 доклада впервые появилось выражение, которое затем вошло в употребление, — «концертированная экономика». Я принял его без особого восторга, но я видел, что Гирш очень за него держится. И я понял, почему, когда он рассказал мне, что у них в семье было принято устраивать камерные концерты. Эту формулу нашел скрипач, а не экономист. Я принял ее, когда кто-то сказал мне, что Шарль Пеги называл французов «несогласованной нацией»: надо было опровергнуть это мнение. «Французы, которые рождаются сейчас, и те, которые рождались во времена нашего могущества, — говорил я, — это одни и те же французы. Но во времена нашего могущества мы были современной нацией. И сейчас только от нас зависит вновь стать ею. Впрочем, выбора у нас нет. У модернизации только одна альтернатива — упадок».

Как всегда, я не боялся повторений, и у моих посетителей не было иного выбора, как только согласиться со мной. Не только благодаря нашим докладам, но благодаря неустан-

ному повторению и широкому распространению нескольких простых идей наш План стал делом всей нации. Быть может, ключом ко всему может служить фраза из введения, на первый взгляд кажущаяся странной: «Модернизация — это не состояние дел, а состояние умов». У французов не было ни материальной основы, ни моральной готовности, но было ясно, что они не смогут ни вновь обрести свое богатство, ни сохранить его, если в своей трудовой деятельности они не станут вести себя как современные люди.

С чего начать? Как я уже говорил, мы не рисковали ошибиться, начав с ликвидации отставания в области производства энергии, стали и строительных материалов. Что касается сельского хозяйства, то здесь мы выбрали путь механизации, потому что, как говорил Гирш, «крестьянин, едущий на тракторе, мыслит иначе, чем крестьянин, видящий перед собой хвост своей лошади». Помимо того, что эти приоритеты невозможно было оспорить, сама идея приоритетов была мощным психологическим рычагом. А главное, надо было поскорее начать — это было важнее, чем без конца обдумывать первый шаг: ошибки будут исправляться по ходу дела, потому что гибкость была заложена в саму природу Плана. Некоторые сожалели, что он не был основан на более жестком управлении. Какова его философия? — спрашивали у меня. Мой ответ был прост: «Она заключена в самой жизни с ее колебаниями, надеждами, постоянными поправками и разочарованиями, с ее протяженностью и, в конце концов, с ее несомненной завершенностью, при условии, что мы не будем опускать руки. План — это непрерывное творчество».

Этот эмпиризм не исключал, а предполагал неусыпную бдительность с моей стороны, потому что в исполнении программ не было автоматизма. Доклад, представленный в ноябре 1946 года, пестрит серьезными предостережениями: «В нашем распоряжении мало времени... Как только внешние кредиты будут исчерпаны, наша экономическая независимость будет определяться нашей способностью экспортировать, то есть производить конкурентоспособные товары». Но непосредственной опасностью являлась инфляция. С июля по декабрь 1946 года внутренние цены возросли на пятьдесят про-

центов. «Из всех условий, необходимых для реализации плана, — говорилось в докладе, — самым важным является стабилизация цен и устойчивость национальной валюты». Отсюда вытекало, что нельзя ограничиться контролем за выполнением плана, который был столь тесно связан с текущей экономической политикой и сам во многом определял ее развитие. Хотели мы того или нет, но нам приходилось вмешиваться в правительственные дела. Можете поверить, мне не доставляло никакого удовольствия докучать письмами и телефонными звонками министрам и другим высшим чиновникам, которые вынуждены были смириться с моей постоянной назойливостью. Между собой они называли это проявлениями моего странного темперамента, в то время как, с моей точки зрения, странным было бы не реагировать на стремительное нарушение равновесия внутри страны. Справедливость требует отметить, что большинство этих чиновников (и тех, кто пришел им на смену) вскоре сумели преодолеть свою первую реакцию раздражения и стали внимательно учитывать наши замечания. И все-таки, ни один из них так и не признал нормальным мой метод работы, который, когда это было необходимо, нарушал служебную иерархию и привычные порядки. Однако действовать так нас вынуждала острота ситуации.

Кризис, который переживала страна в момент, когда мы приступали к реализации плана, был вызван не только разрушениями войны и устарелостью оборудования. Он был связан также с неустойчивостью национальной валюты и растущей политической нестабильностью. 27 ноября наш доклад был представлен на совет Плана; председателем совета был тогда Жорж Бидо. Доклад был единогласно поддержан министрами, профессиональными корпорациями и профсоюзами. Но на следующий же день правительство Бидо подало в отставку, и новый кабинет во главе с последовательным социалистом Блюмом одобрил план 14 января. Однако и это правительство вскоре сошло с политической сцены, и с 17 января уже новому совету министров во главе с Рамадье предстояло осуществлять реализацию плана.

Вся эта чехарда имела не только отрицательные последствия. На каждом новом этапе мы имели возможность

снова и снова обосновывать план и завоевывать для него все более широкую поддержку нации, так как теперь, в силу обстоятельств, к нему было привлечено также и внимание парламента. Сколько правительственных деклараций нам довелось отредактировать на улице Мартиньяк в надежде, что хотя бы некоторые из наших предложений войдут в окончательный текст! Скольких парламентских лидеров мы старались убедить в нашей правоте перед началом очередных дебатов! Правительства сменялись, а наши идеи утверждались. Главное для нас состояло в том, чтобы уберечь их от постоянного пересмотра. Леон Блюм обещал, что, став премьер-министром, он будет защищать План. Он не сдержал своего обещания. Я подал прошение об отставке. В конце концов, все утряслось. Мне довелось иметь дело с десятью премьер-министрами, и каждый раз приходилось выдерживать сражение. Частая смена правительств была бедой для Франции, но для Плана — всего лишь помехой. За последующие двадцать лет сменилось три комиссара Плана, в то время как за этот же срок промелькнуло двадцать восемь правительств.

После того, как План был принят, в работу над ним включились все. Коммунистические и христианские профсоюзы (ВКТ и ФКХТ), Всеобщая конфедерация сельскохозяйственных рабочих (ВКСР), промышленники из Национальной конфедерации промышленников Франции (НКПФ) признали его цели и рекомендовали своим членам участвовать в их достижении. Особенно важно, что решение комиссии по занятости о введении сорокавосемичасовой рабочей недели стало проводиться в жизнь: этот декрет никогда не вступил бы в силу, если бы его не одобрили сами трудящиеся. Он стал важнейшим фактором возрождения французской экономики. Исполнение шести базовых программ было признано обязательным для соответствующих административных органов и вносилось как неперемное условие в контракты с предприятиями. В 1947 году сразу же приступили к осуществлению предусмотренных проектов: постройка плотины в Донзьер-Мондрагон, подвесной дороги в Юзиноре, обустройство долины Роны положили впечатляю-

щее начало модернизации промышленности и сельского хозяйства. Мы имели возможность заявить: «Прямо или косвенно более тридцати процентов французских производительных сил брошено на осуществление целей 1950 года». Но кроме того, нужно было поддерживать экономическое равновесие в целом.

А это равновесие сразу же оказалось под угрозой. 1 января 1947 года Леон Блюм волевым решением объявил о понижении цен на пять процентов. Это была бесплодная попытка сдержать волну инфляции, источником которой были бюджетный дефицит и раздувание денежной массы вследствие повышения зарплат. На протяжении года все заслоны против инфляции прорывались один за другим. Под угрозу был поставлен не только План, но и моральное состояние страны. Черный рынок, спекуляция, бегство капиталов, прекращение инвестиций в производство — все это отбросило нас на годы назад. Надо было действовать, но как? Экономисты классической школы безмолвствовали, а правительство ждало какого-то чуда. Самый низкий за сто пятьдесят лет урожай зерновых, следствие зимних заморозков, усугубил трудности. Если общее решение не просматривалось, нужно было хотя бы определить размеры угрозы и локализовать главные очаги.

В нашу команду только что вошел молодой выпускник «Эколь Нормаль» Пьер Юри. Кроме диплома по философии, у него за плечами была выучка у авторитетнейших экономистов Принстонского университета. Он был сотрудником Франсуа Перру и советником в ВКТ. Пьеру Юри было тридцать пять лет, и он славился своим искусством аргументации. Молодежь восхищалась его блестящими статьями в «Les Temps modernes». Но кроме диалектического дара, он обладал более ценными, с моей точки зрения, и более редкими способностями: для самых сложных проблем он умел находить новые и строгие решения. К техническим трудностям он подходил с совершенно неожиданной стороны, проникал до самого корня, и тогда все становилось просто; но для этого надо было пробиться сквозь переплетение частных, в которых, как нарочно, запутывается большинство очень умных людей. Юри обладал высочайшим интеллектом. Он

представлял мне блистательные обзоры: их блеск я даже должен был несколько умерять, чтобы он не вредил их убедительности. В первое время ему было трудно укладывать свои интеллектуальные построения в рамки полезности и общедоступности. Но разве в этом дело! Именно ему суждено было развязать запутанный узел французского кризиса; он этого достиг посредством усвоенных им методов самого современного экономического анализа и с помощью свойственной только ему способности к синтезу.

Я понял, что если я дам возможность Юри обследовать государственные и частные счета, он способен в одиночку охватить всю проблему глобальных ресурсов и потребностей страны. Мы могли бы получить балансовую таблицу, из которой стало бы ясно, через какие щели просачивается инфляция. И тогда можно было бы найти средства против нее. Но как применить результаты такого индивидуального исследования? Кто возьмет на себя задачу превратить их в национальную программу? Зато если мы поведем дело по уже выработанной методике Плана, если мы с самого начала подключим к решению все заинтересованные группы, полученные выводы будут автоматически восприняты и одобрены. Я добился создания под моим председательством комиссии, получившей название Балансовой; в нее входили среди прочих Ле Брен, Брусс и Рикар, а также Франсуа Блок-Лэне, директор казначейства, а также более шестидесяти сотрудников ВКТ и ВКСР, представители патроната и администрации. Юри был докладчиком по всем вопросам. Декрет от 1 октября 1947 года дал зеленый свет этому беспрецедентному расследованию. В начале декабря я смог представить правительству доклад на ста страницах; доклад отличался большой интеллектуальной строгостью и полной ясностью: за несколько месяцев совместной работы с нами Юри понял, что эти качества взаимосвязаны.

Первый национальный баланс показал, что в 1948 году следует ожидать весьма значительной инфляции. Но важнее, чем цифры, была новая методика, которую теперь могли использовать все, кто отвечал за французскую экономику. И снова, как и прежде, балансовая таблица прямо под-

водила к необходимым действиям. А поскольку действовать должны были те же самые люди, которые участвовали в исследовании и одобрили его результаты, решения были запрограммированы и непреложны: надо было ликвидировать разрыв между ресурсами и потреблением. Увеличить ресурсы было трудно, сократить спрос было возможно. Для этого требовалось только одно: смелость. Рене Мейер, возглавлявший правительство, и Робер Шуман, министр финансов, сумели 16 января 1948 года провести через парламент закон о чрезвычайном налоге в сочетании с освобождающим от него займе, затем — о блокировании банковских билетов достоинством в пять тысяч франков. Одновременно франк был девальвирован на восемьдесят процентов. Должен сказать, что заслуга подготовки этих мер неизмеримо меньше, чем заслуга их проведения через парламент, ставшего великим испытанием для Рене Мейера.

Тем же законом, по моей просьбе, был создан национальный Фонд модернизации и переоборудования, предназначенный для того, чтобы финансировать, без перерывов и без инфляции, инвестиции, предусмотренные Планом. Мне удалось настоять, чтобы треть чрезвычайного налога поступала в этот фонд, но я так и не сумел сломить сопротивление министерства финансов и добиться для фонда автономного положения внутри французского бюджета. Однако нам удалось выиграть гораздо более важное сражение — за предоставление в распоряжение фонда «вторичной стоимости» («contre-valeur») товаров, поставляемых по плану Маршалла. Судьба «плана Монне» в том, что касалось внутреннего финансирования, была, таким образом, обеспечена вплоть до 1952 года. Была она обеспечена и со стороны внешнего финансирования, благодаря тому же источнику кредитов, который был двойным благодеянием для Франции. Об этом речь впереди.

Глава 11

Европа в поисках своего пути (1947–1949)

План Маршалла

Неужели все рухнет именно в тот момент, когда удалось объединить всеобщие усилия для того, чтобы остановить спад французской экономики? Неужели через два года после того, как, по нашим представлениям, мы достигли нижнего предела материальной нищеты, нам опять не будет хватать самого необходимого? 1947 год должен был бы положить конец дефициту продуктов; на первых порах План потребовал от населения жертв, но ведь он обещал быстрый подъем уровня потребления, а затем — и процветание! Его методика была отлажена до мелочей, и ничто в его механизме не должно было помешать такому развитию событий, которое было, как мы того и хотели, поддержано всеми живыми силами страны. Некоторые из могущих возникнуть препятствий были нам известны, но были и такие, которые застали нас врасплох. Так, мы знали, что нам придется столкнуться с временными трудностями в погашении внешней задолженности, потому что кредиты, предусмотренные соглашением Блюма-Бирнса, не позволяли дотянуть до того момента, когда французская экономика окончательно станет на ноги. Однако наши долларовые запасы истощались с пугающей быстротой, так как в результате неурожая пришлось закупать американское зерно, потратив на это двести миллионов долларов вместо тридцати запланированных. Пришлось также увеличить импорт угля и покрывать расходы, возникшие в результате повышения цен в Соединенных Штатах. В июне пришлось прибегнуть к золотому

запасу Французского банка; в августе был приостановлен импорт товаров, не являвшихся жизненно необходимыми. Новый американский заём быстро растаял.

Столь драматическая ситуация была характерна не только для Франции. Англия также исчерпала свои ресурсы и с февраля 1947 года резко оборвала помощь Греции и Турции, которых в 1945 году взяла на свое обеспечение. Неожиданный отказ Англии от своих обязательств переложил на Соединенные Штаты всю ответственность за состояние дел в европейской зоне. Трумэн проявил решительность, которая характеризовала все его президентство. «Наш долг состоит в том, чтобы помочь свободным народам трудиться для их будущего и идти к нему так, как они сами захотят. Я думаю, что мы должны оказать прежде всего экономическую и финансовую помощь, необходимую для экономической и политической стабильности». — Такова была доктрина Трумэна, провозглашенная 12 марта 1947 года. Она имела принципиальный характер и означала, что Соединенные Штаты не допустят превращения Европы в зону депрессии и легкую добычу для коммунизма. И в тот же день в Москве открылась драматическая конференция победителей, в ходе которой Маршалл, Бевин и Бидо, на протяжении месяца, спорили с Молотовым почти по всем проблемам мирного устройства, и особенно — в связи с судьбой Германии.

Когда Маршалл вернулся в Вашингтон, он уже твердо понимал, что в обозримом будущем общего языка со сталинской Россией найти не удастся. Началась «холодная война», и это словосочетание долго будет у всех на устах. В это же время государственный секретарь по экономике, Уильям Клейтон, вернувшись из поездки по Европе, представил весьма тревожный закрытый доклад: «Становится ясным, что мы серьезно недооценили размеры разрушений, причиненных Европе войной. Европе самой предстоит найти выход, но Соединенные Штаты должны помочь ей сделать первые шаги». Совпадающая информация из разных источников убедила Маршалла и его помощника Ачесона, что Америке снова, как и в 1941 году, предстоит принять на себя величайшую в своей истории ответственность. Так начался процесс, подобный

тому, свидетелем которого я был в Вашингтоне несколькими годами ранее: идея, родившаяся в узком кругу, быстро достигла зрелости и в момент, который исполнительная власть сочла подходящим, вылилась в мощную акцию. На этот раз вопросы решались всего пятью или шестью людьми в глубокой тайне и с молниеносной быстротой. Маршалл, Ачесон, Клейтон, Гарриман, Кеннан выработали предложение, беспрецедентное по размаху и щедрости. Оно поразило нас всех, когда мы узнали о нем из речи Маршалла, произнесенной в Гарварде 5 июня 1947 года. Случаю было угодно, чтобы это произошло в университетский Актовый день (*Commencement Day*): именно в «день начинания» был провозглашен новый тип международных отношений, состоящий в том, чтобы помогать тем, кто хочет сам себе помочь.

Я познакомился с генералом Маршаллом в то время, когда он возглавлял генеральный штаб и всем своим авторитетом способствовал осуществлению «Программы во имя победы». Мало было людей, которые пользовались бы столь высоким уважением, в которых столь естественно сочетались бы решительность, скромность и человечность. Когда такие качества соединяются в одном человеке, это не может не поражать современников, и в истории Соединенных Штатов мы встречаем несколько примеров политических деятелей такого масштаба, умевших утверждать свою волю, никого при этом не подавляя. Во время войны Маршалл доказал свою высокую одаренность и методичность, и те же качества проявились в его действиях во имя мира. Рузвельт не мог расстаться с таким выдающимся организатором, и только по этой причине Маршалл не стал героем войны за освобождение Европы. «Я не могу заснуть спокойно, если не знаю, что вы здесь, неподалеку, на американской земле», — сказал ему президент и после долгих колебаний назначил Эйзенхауэра командующим войсками в Европе. Трумэн передвинул Маршалла на дипломатическую работу, направив послом в Китай, затем поставил его во главе Государственного департамента, где ему предстояло разработать стратегию мира. Хотя Маршалл не знал Европы, он сразу оценил все угрозы сло-

жившейся там ситуации: «Видимые разрушения, произведенные войной в Европе, не так опасны, как глубокая дезорганизация всего экономического механизма. Мы только еще начинаем осознавать, что восстановление будет более долгим и трудным, чем мы предполагали».

Этот точный диагноз сам по себе еще не мог убедить американское общественное мнение, снова испытывавшее соблазн изоляционизма, а администрация, находившаяся в руках демократической партии, вынуждена была считаться с Конгрессом, где большинство принадлежало республиканцам и где задавал тон влиятельный сенатор Ванденберг. Маршалл не мог потребовать от своих соотечественников новых жертв ради Европы, опять оказавшейся в беде. Он должен был, с учетом новой ситуации, предложить какую-то новую творческую идею. «Я думаю, — сказал он, — что инициатива должна исходить от Европы. Роль Америки будет состоять в том, чтобы оказать дружескую помощь в разработке европейской программы, а затем поддержать ее исполнение настолько, насколько это будет необходимо... Мы больше не можем латать дыры, пусть европейцы сами скажут, что им нужно». Таким образом, впервые ответственность за дело ложилась на обе стороны; европейским странам предлагалось выступить солидарно и самим составить баланс своих ресурсов и дефицитов. «Эта программа должна быть общей, пользующейся поддержкой если не всех, то хотя бы большинства европейских стран». — Таков был смысл предложения, которое сразу же стали называть «планом Маршалла»; по сути, речь шла о первоначальной американской помощи в деле восстановления Европы. Мы ответили сразу же: «Франция никогда не сомневалась, что ее восстановление должно происходить в рамках восстановления всей Европы». Бевин и Бидо немедленно послали приглашение Молотову, который прибыл в Париж в сопровождении восьмидесяти экспертов.

Я не принимал прямого участия в этой фазе дипломатических переговоров, закончившихся отказом советской стороны участвовать в программе, которая, по их словам, противоречила суверенитету государств. Этот отказ, как известно, повлек за собой аналогичную реакцию сателлитов

СССР и привел к тому, что в центре Европы образовался глубокий разлом. Это повлекло за собой колоссальные и долговременные последствия. Но все же не менее шестнадцати стран, собравшихся в июле 1947 года в Париже по приглашению Франции и Великобритании, согласились совместно бороться против экономического упадка, грозившего утратой демократических свобод. Насколько у них хватит мужества и единодушия в совместных действиях, покажет время. Что касается Франции, то наш ответ был готов заранее: наш План представлял собой наиболее законченный вклад в программу, над которой предстояло работать Комитету по сотрудничеству, обосновавшемуся в Париже; руководить им должен был Маржолен, горевший желанием проявить все свои способности в столь грандиозном и сложном деле. Я отпустил его не без сожаления, так как План, внутри которого шла непрерывная творческая работа, все еще нуждался в людях со столь широкими интеллектуальными возможностями. Но я должен был понять, что в его годы и с его темпераментом человек хочет иметь возможность лететь на собственных крыльях. Сфера его деятельности была не так уж далека от нашей: ему предстояло продолжить в международном масштабе то, что было начато нами, пользуясь опытом и методами, которые мы нарабатывали вместе. А его успех имел бы для нас важнейшее значение.

Обо мне часто говорили, будто я стараюсь расставить своих сотрудников на высоких должностях, чтобы обеспечить себе выгодные позиции во всех секторах власти. Это не так. Я никогда не отпускал с легким сердцем тех, кого после долгих колебаний включал в состав своей маленькой группы, где они становились носителями общего командного духа. Я люблю, чтобы рядом со мной оставались одни и те же лица, но если обстоятельства требуют, чтобы состав этих лиц обновлялся, чтобы одни уходили, а другие приходили, — я принимаю это как неизбежность. Расставаться с соратниками меня чаще всего принуждали не зависящие от моей воли обстоятельства. Как правило, мои сотрудники выдвигались на руководящие административные и политические посты, но так происходило в силу естественного хода вещей, а не по мо-

ему расчету. В конце 1946 года Феликс Гайар стал депутатом парламента от Шаранты, а затем — членом правительства, где курировал План по поручению Рене Мейера, у которого Поль Делуврие был директором кабинета. Когда в 1948 году Робер Маржолен был избран шестнадцатью странами-участницами генеральным секретарем Европейской организации, созданием которой он же и руководил, то на его место в администрации Плана пришел Этьен Гирш в качестве заместителя генерального комиссара. В конце концов, я не знаю, чему должен больше удивляться читатель: тому ли, что в данной книге мелькает так много лиц, или тому, что в ней повторяются одни и те же имена моих сотрудников.

Информация, которую надо было собрать об экономике шестнадцати стран, была столь обширна, получить правдивые и соотносимые между собой данные было так трудно, что окончательный ответ американцам не удалось составить ранее сентября. Ни одна страна не имела ничего равноценного французскому Плану, который служил не только источником данных по Франции, но и образцом для заполнения анкет для других стран. Как ни интенсивно шла работа, поиски лекарства затягивались, а болезнь прогрессировала. Надо было что-то предпринимать в ожидании плана Маршалла, прохождение которого через парламентские и административные каналы еще и не начиналось. В конце декабря 1947 года Трумэн подписал промежуточный закон о помощи, который позволял Франции и Италии, задышавшимся от прекращения импорта, продолжить ввоз жизненно необходимых ресурсов: зерновых, угля, нефти и хлопка. Одновременно американский президент представил в конгресс проект закона «О европейской реконструкции», по которому шестнадцати странам выделялось семнадцать миллиардов долларов до июня 1952 года. Заслугой американской администрации явилось то, что этот закон, несмотря на величайшие трудности, удалось провести через Конгресс 3 апреля 1948 года. А через несколько дней в Париже состоялось подписание соглашения о европейском экономическом сотрудничестве, которым была создана ЕОЭС («Европейская орга-

низация экономического сотрудничества»). Для сотен миллионов людей это означало, что им будут обеспечены орудия труда и сырье, необходимые для подъема их жизненного уровня. Но не было уверенности, что полученное облегчение будет носить устойчивый характер. Независимость и процветание окажутся иллюзией и иллюзией опасной, если мы не используем полученную отсрочку для того, чтобы научиться обходиться без внешней помощи. Преимущества, помогавшие бесперебойному выполнению плана, делали только еще более обязательными его требования: соблюдение сроков (они могли бы быть отодвинуты до 1952 года), лимиты денежных поступлений (около трех миллиардов долларов в течение пятидесяти месяцев). И еще надо было следить, чтобы ничто не расходовалось зря.

Однако инфляция опять грозила все пожрать. Доллары на закупку сырья и франки для инвестиций были в равной степени необходимы, но между ними не было необходимой связи. Как сделать, чтобы внешняя помощь стимулировала внутренний подъем? Существовал один очень простой способ: направить франки, получаемые от продажи продуктов, поставляемых в качестве товарного кредита, на финансирование работ, предусмотренных планом. Так возникла проблема «вторичной стоимости» («contre-valeur»), которая занимала нас в течение нескольких месяцев и успешное решение которой позволило довести до конца модернизацию Франции. Но, как обычно бывает, самое очевидное решение труднее всего доказать. И в самом деле: американцы требовали, и не без основания, чтобы франки, полученные от перепродажи товаров на внутреннем рынке, были заморожены, дабы не подстегивать инфляцию. Со своей стороны, французское правительство — как любое правительство — испытывало соблазн направить их в бюджет. Однако существовала форма производительных расходов, которая не вела к инфляции: это были вложения в базовые отрасли индустрии, являвшиеся двигателем плана. Но ведь реализация плана и была той гарантией, которую желали получить Соединенные Штаты, а именно: что кредиты по плану Маршалла послужат возрождению Франции!

Я твердо решил придерживаться такой логики. При всей своей очевидности, мои доводы, возможно, так и не были бы услышаны, если бы, волей случая, в Париже не появились два американских представителя, обладавшие редкой проникательностью и доброй волей: посол Дэвид Брюс и его финансовый советник Уильям Томлисон. С Дэвидом Брюсом нас уже давно связывали дружеские отношения, и наше взаимное доверие позволяло облегчить решение многих политических вопросов. Я мог бы его охарактеризовать как человека, в высшей степени цивилизованного, и эта банальная формула имеет для меня конкретный смысл: она обозначает человека, который считается с другими людьми и выслушивает их мнения, не стремясь навязать свою точку зрения, не стремясь обязательно оказаться правым. Он всегда стремился воспринять доводы собеседника прежде, чем высказывать свои. Привыкший выполнять трудные и ответственные дипломатические миссии, он не надевал на глаза политические шоры: принадлежа к демократической партии, он служил в республиканских правительствах; позицию своей страны он никогда не представлял себе как господство. Он, скорее, склонен был задаваться вопросом: какое содействие Соединенные Штаты могут оказать другим странам? И сам он старался чем-то быть полезным каждому. Вот это я и называю цивилизованностью.

Дэвид Брюс был представителем высокой американской дипломатической традиции. Как посол он не только проводил порученную ему внешнеполитическую линию, но участвовал в ее разработке. Пользовавшийся большим влиянием в своем правительстве, он принимал участие в составлении инструкций, которыми потом сам же и руководствовался. Мы с ним вместе старались сформулировать наилучшим образом те из них, которые имели отношение к плану Маршалла; уполномоченным по этому плану в американском посольстве был молодой представитель министерства финансов Томлисон, которого мы дружески называли Томми. Ему было двадцать восемь лет, и у него был вид вдумчивого студента. За внешней застенчивостью у него таилась пылкая душа, а за физической хрупкостью — неутомимая энергия. С детства он

страдал тяжелой болезнью сердца, но, зная об этом, совершенно себя не щадил. В эти ответственные годы, движимый только собственной требовательностью, он принимал на себя тяжелые нагрузки. Работая в тесном контакте с нами и с Дэвидом Брюсом, он сыграл весьма значительную роль; он сразу принял идею сообщества и стал ее верным служителем. Ознакомившись с нашими экономическими планами, относившись к его компетенции, он оценил и их техническую эффективность, и их политическое значение. Ко мне он испытывал большое доверие, а я не скрывал от него наших трудностей, поскольку он стремился только к тому, чтобы помочь нам, действуя внутри своей администрации. Он любил Францию и встречал ответные чувства дружбы и уважения, которые впоследствии стали разделять лучшие представители других стран, когда он стал первым американским послом при Европейском сообществе. Он умер в тридцать шесть лет, отдав все силы своему делу. Мы многим ему обязаны.

Без Брюса и Томлисона мне бы не удалось в 1948 году убедить американское правительство разрешить бюджетное использование нескольких сот миллиардов франков, полученных в качестве «вторичной стоимости», а французское правительство — направить их исключительно на программу технического переоснащения. Как бы то ни было, но в 1949 году девяносто процентов финансовых ресурсов, а в 1952 году — пятьдесят процентов Фонд получил из этого неожиданного источника. Размер этих поступлений стал гарантией того, что к 1952 году скорректированный план будет Францией выполнен. А кроме того, сам факт надежного финансирования столь долгосрочной программы стал фактором уверенности французской экономики в себе самой. А от экономики в то время зависел не только уровень благосостояния: от нее зависели национальная независимость и сохранение демократии.

Пределы национальных возможностей

В феврале 1948 года я находился в Соединенных Штатах. Официальной целью моего визита было обеспечение дополнительных поставок зерновых, чтобы дотянуть до нового

урожая. Чтобы знать эту страну и находить взаимопонимание с ее руководителями и народом, сюда надо приезжать регулярно и чувствовать масштабы перемен в ее непрерывном движении вперед. Относительно Америки и американцев у меня есть несколько общих идей, сложившихся за десятилетия близких контактов, но когда надо действовать, я руководствуюсь впечатлениями данного момента. Это и есть цель моих регулярных визитов, которые неизменно начинаются с ритуала дружеских встреч, из которых я и черпаю самую надежную информацию. Там, где решаются важные вопросы, — Лондоне, Нью-Йорке или Вашингтоне — я стараюсь прежде всего повидать тех людей, для которых главное правило состоит в том, чтобы не ошибаться: это — банкиры, промышленники, адвокаты, журналисты. Другие будут разговаривать со мной на языке воображения, амбиций или доктрин, и с ними я тоже буду считаться, но в своем окончательном суждении я буду опираться на мудрость выдающихся практиков.

К их числу, вот уже на протяжении сорока лет, относится Андре Мейер. В каждый мой приезд я обязательно встречался с ним, также как с Пьером Дэвидом-Вейлом, Джорджем Мёрнеймом, Флойдом Блэром, Дином Джейем. Масштабы операций, которыми они руководили в своих банках, обязывали их заглядывать далеко вперед. Я никогда не упускал возможности узнать мнение Феликса Франкфуртера, вплоть до его смерти в 1965 году. Я также посещал в их адвокатских конторах Дина Ачесона и Джорджа Болла, а в университетах — Роберта Боуи, Уолта и Джин Ростоу и Мак-Джорджа Банди. Они никогда не отдалялись от политики и правительства, куда их могли пригласить в любой момент. Наконец, мне всегда были чрезвычайно полезны беседы с моими друзьями Филом и Кэй Грэхемами, Уолтером Липманом, Джо Олсопом, Джеймсом Рестоном, Дэвидом Шёнбруном, Робертом Клейманом; разумеется, эти журналисты, со своей стороны, получали от меня информацию о ситуации в Европе, откуда я только что прибыл, а мне очень помогало их широкое видение мира, открывавшееся с таких наблюдательных пунктов, как «Washington Post», «New York Times» и С.В.С.

В этом году, пока я находился в Вашингтоне, в Париже была подписана конвенция, создававшая организацию, которую стали называть ЕОЭС («Европейская организация экономического сотрудничества»). Когда я ознакомился с этим соглашением, то сразу увидел его исходную слабость: дело не шло дальше межправительственного сотрудничества. Одной строки из пункта 14 было достаточно, чтобы подорвать всякую форму совместных действий. Я написал письмо Жоржу Бидо и поделился с ним своими соображениями:

«Действия отдельных стран в существующих национальных рамках, с моей точки зрения, не будут достаточно эффективными. Вообще, идея, будто шестнадцать суверенных стран смогут успешно сотрудничать, является иллюзией. Я думаю, что только создание Западной *федерации*, включая Англию, позволит нам в желаемые сроки решить наши проблемы и в конечном счете — предотвратить войну. Я знаю, что на этом пути нас ожидают огромные, может быть, непреодолимые трудности, но это единственный выход, да и то при условии, что у нас будет резерв времени».

Если эта идея вновь настойчиво возникла в моем сознании, то произошло это не потому, что соглашение, заключенное в Париже, было не достаточным, — я многого от него и не ждал, — но потому, что за несколько недель я увидел в Соединенных Штатах много такого, о чем и не догадывался за два года своего отсутствия. В другом письме, Роберу Шуману, я писал:

«Эта страна по-прежнему заряжена динамической силой, источником которой является природа каждого индивида. Америка находится в движении, но она не является ни реакционной, ни империалистической державой. Она *не хочет* войны, но будет воевать, если это станет необходимым. В этом отношении ее воля непоколебима. Но это не слепая решимость. За последнее время произошло важное изменение: здесь начали с подготовки к войне, а теперь здесь готовятся предотвратить войну. Вырисовывается идея, согласно которой разрядка возможна».

При всем моем знании американского темперамента, такая воля к действию, такое нетерпение видеть Европу вы-

здоровевшей и вставшей на ноги тревожили меня как возможный источник дисбаланса и грядущих недоразумений. И я возвращался в письме к Роберу Шуману к своей идее, которой еще предстояло исподволь прокладывать себе путь в течение двух последующих лет:

«Я обеспокоен тем, какого рода отношения рискуют установиться между великой динамичной державой и странами Европы, если они сохранят свою нынешнюю форму и свой нынешний менталитет. С моей точки зрения, невозможно, чтобы Европа долго оставалась «зависимой» от Соединенных Штатов, экономически — почти исключительно от их кредитов, в отношении безопасности — от их военной силы. Если такое положение сохранится, то дурные последствия не замедлят проявиться здесь, в Европе.

Все мои размышления и наблюдения приводят меня к выводу, ставшему моим глубоким убеждением: действия стран Западной Европы, чтобы быть на уровне обстоятельств и угрожающей нам опасности, а также на уровне американских усилий, должны стать объединенными действиями Западной *федерации*, создание которой является обязательным условием успеха».

Подлинно европейское усилие невозможно без Западной федерации, но и создание федерации невозможно без такого усилия. С чего начать, коль скоро одно связано с другим? Становилось все больше и больше людей, которые задавали себе этот вопрос и лихорадочно стремились возродить традицию европейского федерализма, каждый раз обрывавшуюся очередной войной. Большинство из них принадлежали к политическим течениям и искренно считали, что единство зависит от доброй воли отдельных людей. В то самое время, когда я писал свои письма Бидо и Шуману, готовился большой конгресс в Гааге, который состоялся в мае под председательством Черчилля и с участием многих наших друзей: Идена, лорда Лейтона, Макмиллана, Ван Зее-ланда, Поля Рейно, Миттерана, Тейтжена, Франсуа-Понсе. Были и новые имена: немецкий парламентарий Конрад Аденауэр, франкфуртский профессор Вальтер Хальштейн... Среди смешения идей, характерного для такого рода собра-

ний, можно было бы выявить несколько плодотворных линий для действия, затуманенных большим количеством мечтаний. Но, должен признаться, я не придавал им особого значения, а расплывчатые резолюции, приведшие год спустя к созданию Совета Европы, утвердили меня в убеждении, что путь этот тупиковый.

Но и более прагматичные пути, открывшиеся с созданием ЕОЭС, не могли оказаться более успешными, ибо подразумевалось, что каждый член организации мог уклониться от выполнения неудобных для него решений, а это было прямой противоположностью духу единства. Тем не менее, кооперация как таковая, со всей своей ограниченностью, могла бы стать фактором прогресса для разделенной барьерами европейской экономики. Отмена квотирования, затем заключение соглашений по платежам могли облегчить и стимулировать обмен, а лучшее знание ресурсов и задач соседа помогли бы каждому лучше направлять свою экономику. Было бы нереальным требовать большего от системы, которая не предусматривала делегирование суверенитета; очень скоро ЕОЭС замкнулась в рамках своих технических функций, сохранившихся и после завершения плана Маршалла, потому что накапливаемая ею информация приносила пользу всем. Я понял, что ни межправительственная организация, обособившаяся в Мюэте, ни межпарламентские собрания, происходившие после Гаагского конгресса, никогда не станут выражением европейского единства. Внутри обширной группы стран общие интересы были слишком неопределенными, а дисциплина слишком слабой. Надо было начинать с задач, одновременно и более прагматических, и более амбициозных, выступать против национальных суверенитетов более решительно, но и на более ограниченном участке.

Мне пришлось ждать еще много месяцев, прежде чем представился случай действовать в этом, по моему мнению, единственно возможном направлении. Было еще слишком рано предпринимать что бы то ни было совместно с Германией, представлявшей собой политическую туманность, со все более крепким и тяжелым экономическим ядром, но подчинен-

ную нашему бдительному контролю. Этот совместный контроль осуществлялся не без трений между нами и нашими англо-американскими союзниками, которые, естественно, стремились развивать свою «бизонию» — куда входили главные горнорудные бассейны Рура — таким образом, чтобы оккупационные расходы несли сами оккупированные. Более того, в соответствии с планом Маршалла цели производства должны были быть поставлены таким образом, чтобы способствовать уравновешенному развитию немецкой экономики, одновременно не позволяя ей вновь встать на путь автаркии. Однако в августе 1947 года из документов, предоставленных мне Маршолом, я с тревогой узнал, что металлургическая промышленность Германии будет потреблять весь коксующийся уголь, добываемый в Рурском бассейне, так что производство стали во Франции и во всей Европе придется ограничивать. Как же в этих условиях достичь глобальных европейских целей? Чтобы найти выход из противоречия, последствия которого были неприемлемы как в экономическом, так и в политическом плане, я не нашел ничего другого, как предложить установить гибкую зависимость между производством стали в Германии и экспортом рурского коксующегося угля. Таким образом могли бы быть гарантированы цели французской черной металлургии, являвшейся краеугольным камнем нашего плана.

У меня не было иллюзий относительно эффективности подобных полумер, и я очень опасался, чтобы наша политика по отношению к Германии не покатила по старой колее. Конечно, в 1947 году мы уже не собирались требовать расчленения бывшего Рейха, однако, хоть и в разной степени, все слои общественного мнения, все государственные власти, равно как и частные интересы, поддерживали нашу дипломатию в ее усилиях задержать неминуемое возрождение Германии. Было что-то трагическое в неуклонно растущей изоляции Жоржа Бидо, который на каждой очередной международной конференции добивался всего лишь временной отсрочки и небольших поставок угля. Я относился к Бидо уважительно и дружески, считая его человеком доброй воли, умным и мужественным, верно служившим своей стране в эти послевоенные

годы. И не его вина, если на международных конференциях у него не было таких же козырей, как у его партнеров. Чтобы к мнению Франции прислушивались, нужна была уверенность, что она добьется успеха в деле модернизации. Бидо это понял и всячески поддерживал План. На протяжении этих тяжелых лет он потратил много энергии, добиваясь, чтобы требования Франции были услышаны; он все время повышал тон, и это вошло у него в привычку, стало манерой поведения и превратило его в человека вчерашнего дня.

Я должен сказать, что, поскольку Жорж Бидо поддерживал План, то и я, со своей стороны, стоял с ним бок о бок во время непрерывных переговоров, на которых французская дипломатия добивалась поставок жизненно необходимых нам ресурсов: американского, немецкого и польского угля, исходного сырья для нашей перерабатывающей промышленности, оборудования, и особенно — кредитов, чтобы за все это платить. С 1947 по 1948 год я посвящал этому значительную часть своих усилий, не переставая день за днем работать на обеспечение непрерывного финансирования Плана, в том числе, как уже говорилось выше, и за счет вторичной стоимости товаров, предоставляемых по плану Маршалла. Еще более упорную борьбу я вел против инфляции, вновь и вновь заявлявшей о себе. Я знал, что она будет угрожать нам до тех пор, пока французское производство не окрепнет настолько, чтобы окончательно изжить эту болезнь, устранив порождающие ее причины. Все доклады о ходе выполнения Плана, которые я направлял в правительство, пестрят предостережениями, которые еще и сегодня сохраняют все свое значение. Но одновременно нам еще было нужно защищаться от упреков экономистов-мальгузианцев, которые в самих инвестициях видели источник инфляции, и убеждать парламентариев, которые предпочли бы немедленно удовлетворить ближайшие нужды населения. Нам приходилось сражаться сразу на всех фронтах. Когда Поль Делуврие перешел работать к Рене Мейеру в министерство финансов, которое не всегда было доброжелательно настроено по отношению к нам, его место на улице Мартиньяк занял Жан-Поль Делькур. Этот молодой экономист, которого постигла преждевре-

менная смерть, стал горячим сторонником инвестиций, и к его мнению прислушивались в правительственных кругах. Его интеллектуальная и моральная цельность завоевала ему уважение и симпатию всех окружающих.

Если мы непрерывно сталкивались с конъюнктурными трудностями, то сам механизм Плана работал с такой безотказностью, что это стало вызывать удивление даже за пределами наших границ. Его гибкость позволяла ему приспособиваться к меняющимся внешним обстоятельствам, при этом его основополагающие принципы и его метод полностью сохранялись. Так, мы смогли без сбоев перенести сроки всех его заданий с 1950 на 1952 год, чтобы они совпали с исполнением плана Маршалла. Мы решили считать сельскохозяйственное производство таким же приоритетным направлением, как и промышленность; цель состояла в том, чтобы к 1952 году наше сельское хозяйство стало работать на экспорт. Для той эпохи это был революционный подход, так как Франция должна была порвать с традицией протекционизма, оставшейся неизменной со времен Мелина. Осуществить эту серьезную техническую и психологическую перестройку мне помогала молодой инженер-агроном, которого, казалось, сама природа предназначила для великих дел: Либер Бу обладал силой Геркулеса и обожал передвигать предметы с места на место. Но делал он это потихоньку, с терпением крестьянина, благодаря чему, безусловно, и добивался неизменного успеха. Я послал его к Дэвиду Лилиенталю, чьи достижения в *Tennessee Valley Authority** меня очень интересовали и представлялись образцовыми. Из этого путешествия Либер Бу вернулся с идеей сельскохозяйственного благоустройства в департаментах Нижняя Рона — Лангедок; вместе со своим другом Филиппом Ламуром он осуществил этот замысел так успешно, что его опыт стал рассматриваться как образец для подражания во Франции и в Европе. Он вспоминает о том, как он был удивлен, узнав, что у нас нет власти для осуществ-

* Общественная организация, созданная в 1933 году американским правительством для благоустройства долины реки Теннесси.

ления этого плана. «Но такая власть у нас есть! — сказал я ему. — Это власть убеждать, власть передавать другим нашу волю осуществить этот план. Если бы план не опирался на реальность, он и не был бы реализован. Выполнять его будем не мы и не администрация своими предписаниями. Выполнять его будут промышленники, коммерсанты, работники сельского хозяйства. Но если он провалится, ответственность будем нести мы».

В 1949 году эта гипотеза могла быть отброшена, и впервые я написал правительству: «Франция свернула с дороги, которая вела ее к упадку». Одна эта фраза позволяет оценить, как велика была тогда неуверенность и как серьезно положение: ведь речь шла о подъеме или об обвале нашего уровня жизни. Мы не могли допустить застоя, потому что все еще зависели от внешней помощи, которая не могла продолжаться вечно. Между тем, Фурастье заявил мне: «Хотя наше промышленное производство превзошло на двадцать процентов уровень 1938 года, необходимо учитывать, что сделано это было при большем количестве работающих и более длинном рабочем дне. В действительности, мы едва достигли довоенного уровня, который, как вам известно, у нас был ниже, чем у других промышленно развитых стран».

Таким образом, мы осуществили только первую половину задачи, ставшей лозунгом Плана: «Производить больше и лучше». Легче было строить машины, чем переделывать мозги. «Что вы предлагаете?» — спросил я. — «Создать организацию, способную решить эту проблему, и начать работу по информированию и формированию общественного мнения, чтобы постепенно изменился менталитет». Я поверил в проницательность и дальновидность Фурастье. Его популярность среди его читателей и учеников непрерывно росла, но этим не ограничивалось его влияние на поколения, которым предстояло модернизировать Францию. Только посредством Плана и его комиссий он мог претворить в жизнь свою концепцию более полезной, рациональной и эффективной производительной деятельности, избавляющей современного человека от наиболее тяжелых работ. Поскольку такое освобождение состоялось, мы сегодня склонны забывать об этом

достижении. А произошло это как раз в 50-е годы по методике, разработанной Жаном Фурастье на улице Мартиньяк.

В конце 1949 года, впервые за последние тринадцать лет инфляции, я мог констатировать, что на протяжении года сохранялась устойчивость цен и национальной валюты. Одновременно мы избавились от острого дефицита товаров. Одно было связано с другим. Но время отдыхать еще не пришло. Хотя будущее французского производства стало более надежным, не замедлили возникнуть другие проблемы и как раз в связи с теми успехами, которых нам удалось достигнуть. Именно в это время я непосредственно ощутил ограниченность национальных возможностей. Французы не смогут стать мощной современной нацией в одиночку: перед лицом соседних и конкурирующих с ними европейских государств они неизбежно столкнутся с узостью внутреннего рынка, замкнутого национальными границами. Неужели наша черная металлургия и завтра будет зависеть от поставок немецкого коксующегося угля, а наше сельское хозяйство — от капризов европейских импортеров? Но больше всего я был обеспокоен, обнаружив, насколько трудно заложить надежную и длительную основу для общих интересов между экономикой и народами, которые, казалось бы, более всего к этому расположены. Из этого отрицательного опыта, о котором я расскажу далее, мне нужно было срочно извлечь позитивные выводы и претворить их в действия.

Лондон не отвечает

В начале марта 1949 года я завтракал у Мориса Петча с сэром Стаффордом Криппсом. Два министра финансов старались скоординировать планы, представленные двумя странами в ЕОЭС было очевидно, что каждый из этих планов составлялся без всякого согласования с другим, что отнюдь не способствовало межъевропейским обменам и уменьшению потребностей в долларах. «Вы никогда не придете к соглашению, — сказал я им, — если не поставите задачу слияния французской и английской экономики». Конечно, они не были готовы согласиться с такой перспективой,

но методика, которую я им предложил, их заинтересовала. Речь шла о том, чтобы вступить в полуофициальные переговоры, которые позволили бы обмениваться информацией о реальной ситуации и намерениях обеих стран. Они думали, что такой диалог можно будет в любой момент прервать, я же надеялся, что он будет вести их все дальше и дальше. Главное, надо было покончить со стилем переговоров, когда речь шла только об обмене продукцией, при том что каждая страна проводила свою экономическую политику, сопровождавшуюся внезапными девальвациями фунта или франка. Пора было, наконец, затронуть суть вещей, а главное — определить предмет дискуссии.

Как англичане управляют своими делами? как они представляют себе свое будущее? — по-настоящему мы этого не знали, хотя в нашем распоряжении были всевозможные информационные и статистические данные. Однако опыт научил меня, что нельзя претендовать на понимание чужих проблем до тех пор, пока не убедишься, что с обеих сторон словам придается один и тот же смысл и употребляются одни и те же термины. Чтобы этого добиться, необходимо усадить людей за один стол.

Именно это и произошло годом ранее, когда сэр Стаффорд Криппс попросил меня объяснить ему функционирование Плана: его интересовало, как нам удалось объединить такое количество людей, которые раньше никогда друг с другом не встречались, и как я добился, что профсоюзы согласились на сорокавосемичасовую неделю. Я ему ответил: «Я готов приехать в Лондон, но вместе с Маржолоном, Руа, представителем от черной металлургии, с Ле Бреном, представителем от ВКТ. А вы, со своей стороны, пригласите менеджеров, хозяев и представителей профсоюзов». Интерес к этому мероприятию был так велик, что Эттли и многие из его министров присоединились к собранию, а Стаффорд Криппс выразил желание приехать в Париж и ознакомиться с работой комиссий по модернизации. Но этим все и ограничилось. Правда, в результате нашего визита английское правительство создало что-то вроде центральной организации по плану, во главе которой был поставлен сэр Эдвин Плауден.

Я познакомился с Плауденом еще в начале войны в Лондоне, в министерстве снабжения, куда он был приглашен работать как выдающийся специалист по проблемам промышленности. Он обладал проницательным умом, активным темпераментом и незаурядными качествами организатора. Вполне естественно, что к нему обратились, когда речь зашла о том, чтобы кое-что поменять в жизни Англии. Свою задачу он выполнил скромно и эффективно, затем снова остался не у дел. Когда выяснилось, что недостаток в самолетах станет главной проблемой войны 1940 года, он был назначен генеральным секретарем по самолетостроению, и я поддерживал с ним тесную связь из Вашингтона. Его деятельность никогда не бросалась в глаза, но он пользовался авторитетом в правительственных и парламентских кругах, у лейбористов и консерваторов. По работе нам приходилось часто встречаться, и я убедился, что все самые закрытые соглашения с Англией не заключались без его участия. Поскольку мы были друзьями и нам надо было поговорить по душам в стороне от нескромных взоров, я пригласил его в мой загородный дом с двумя его сотрудниками по его выбору. Он привел г. Хичмана и Роберта Холла. С моей стороны присутствовали Гирш и Юри. Так мы провели вместе четыре дня в конце апреля 1949 года.

Задачи французской экономики были ясными и не потребовали долгого обсуждения: достаточно было доклада по Плану и национального баланса, где все было изложено с картезианской последовательностью — наши успехи и наше отставание, наши цели и наши средства, а главное — методы нашей работы. В английской программе не было ни такой установки, ни такой строгости. В ней указывались пути к достижению некоторых ближайших целей, которые не очень отличались от тех, что намечались в наших базовых секторах, с естественными преимуществами для добычи угля у них и для сельского хозяйства у нас. Это не явилось для нас особым открытием, но, по крайней мере, мы смогли убедиться, что за туманом, окружавшим английскую экономику, не скрывалось ничего угрожающего и что можно попытаться перебросить между двумя странами несколько причальных канатов. Правда, нам показалось, что наши собеседники в личных кон-

тактах были более открытыми для сотрудничества, чем в официальных высказываниях.

Эта первая попытка контакта была обнадеживающей. Однако мне было трудно перейти от общих бесед, которые я рассматривал как исходный пункт, к более широким перспективам. Я поднял немецкую проблему, но убедился, что в данный момент она не была актуальной для англичан. Правда, они соглашались, что их успехи во внешней торговле во многом были связаны с временным исчезновением Германии как поставщика оборудования. «Мы должны об этом подумать, — согласился Плауден, — и подумать вместе».

Я видел, как настойчиво Юри возвращался к механизму ценообразования на английские сельскохозяйственные товары, блестяще раскрывая связь цен с важнейшими политическими проблемами Европы. «Дотации сельскому хозяйству, — говорил он, — ложатся тяжелым бременем на вашу экономику. Мы могли бы снабжать вас продовольствием. Но в этом случае мы должны будем увеличить наше производство сельхозпродуктов, главным образом мяса, а для этого нам нужны долгосрочные гарантии от потребителей». И тут же, как это было ему свойственно, он начинал изобретать сложные и логичные формулы, способные разрешить несколько проблем сразу. В конечном счете, именно по такому прагматическому пути нам удавалось продвигаться лучше всего, и мне пришлось примириться с тем, что предстоит еще обменяться большим количеством информации и решить последовательно много конкретных проблем, прежде чем наши партнеры привыкнут к такому пониманию общих интересов, которое сможет послужить основой нового франко-английского объединения как первого этапа европейской федерации.

Я почувствовал со стороны Плаудена большую заинтересованность и готовность к сотрудничеству, и, хотя несколько технический характер наших переговоров не позволял мне особенно распространяться о моих политических концепциях, мне казалось, что я не утаил от него их далеко идущие последствия. Однако выяснилось, что это не так, и, как впоследствии сказал мне сам Плауден, он тогда не уловил общую направленность моих замыслов. Да, он был готов

к совместным действиям и к расширению торговли, к тому, чтобы раздвинуть рамки двусторонних соглашений, потеснить протекционизм. Но мысль о том, чтобы делегировать часть английского суверенитета, все еще была глубоко чужда его системе взглядов. «Мы были победившей нацией, — сказал он мне впоследствии, — мы несли ответственность за положение во всем мире и мы не были расположены устанавливать особые связи с континентом. Это помешало мне понять, к чему вы на самом деле стремились». То ли я выразился недостаточно внятно, то ли он не был готов понять меня, — не знаю. Как бы то ни было, но наша беседа не имела продолжения. В конце года он написал мне: «Дорогой Монне, Роберт Холл рассказал мне о вашем последнем разговоре, в ходе которого вы вернулись к идее обмена английского угля на французское мясо, обмена, который мог бы продемонстрировать всему миру реальность франко-британского сотрудничества. Не оспаривая вашу основную идею, я считаю, что в нынешних условиях нет надлежащих оснований для подобного соглашения, лежащего за пределами обычных коммерческих обменов...» Нельзя было сказать более ясно и устами более авторитетного лица, что английское правительство не хочет связывать себя даже минимальными обязательствами в области экономических отношений, которые могли бы привести к более тесному объединению с Францией, — как, разумеется, и с любой другой страной. Я склонен предполагать, что англичане, не говоря этого вслух, на самом деле достаточно хорошо поняли, на какой риск они пошли бы, вступив на предложенный мной путь. Во всяком случае, их инстинкт заставил их насторожиться.

Время шло, и я должен был признаться себе в безрезультатности моей попытки создать для Европы ядро объединения, привлекая для этого единственную великую европейскую державу, способную в то время принять на себя политическую ответственность такого масштаба. Если исключить Германию (которой только в мае предстояло получить свою Конституцию и только в сентябре — избранного канцлера), то сторонами, с которыми стоило бы вести разго-

вор об объединении, были только Италия и уже экономически объединенные между собой страны Бенилюкса. Но попытки, предпринимавшиеся в этом направлении, не имели обоснования, и я не проявлял к ним интереса. Франко-итальянская таможенная уния, заключенная в рамках договора от 26 марта 1949 года, предусматривала настоящее экономическое слияние, включая выработку в определенные сроки единого финансового, социального и торгового законодательства, но реализации этого соглашения препятствовали с той и другой стороны национальные силы, преодолеть которые, при отсутствии независимой и полномочной власти, не представлялось возможным. К тому же обе страны были экспортерами сельскохозяйственной продукции, так что их экономики не столько дополняли одна другую, сколько конкурировали между собой, а добавление Бенилюкса к этой комбинации (которую окрестили смешным словом «Фриталюкс») ровно ничего не улучшало.

Эти опыты не были бесполезными для тех, кто мог извлечь из них урок. Мне теперь будет легче убеждать сторонников объединения, что межгосударственные системы, отягощенные уже при своем рождении компромиссами, на которые вынуждены были идти их создатели, будут в дальнейшем парализованы изначально принятым принципом единогласия. Я это понял уже во время работы в Лиге наций, но, судя по всему, никто уже не помнил о том, как право вето блокировало все попытки урегулировать мирным путем конфликты, спровоцированные Японией, Италией и Германией. Тот же врожденный дефект был свойствен и ООН, откуда его перенесли в Совет Европы. Я встречал все больше и больше людей, раздраженных невозможностью реализовать смелые проекты, но все они, казалось, готовы были примириться с тем, что право вето рассматривалось чуть ли не как закон природы.

Международные ассамблеи делали вид, будто являются демократическими органами, выражающими чаяния своих народов: они принимали решения большинством голосов или даже единогласно, не желая замечать, что эти решения потом втихомолку отменяются на совещаниях пред-

ставителей правительств, где достаточно было одному подать голос против, чтобы помешать всем остальным действовать. Летом в Страсбурге было с энтузиазмом принято широкообещающее заявление: «Целью Совета Европы является создание европейского властного политического органа, наделенного ограниченными функциями, но реальными полномочиями». Этот текст, предложенный английским лейбористом Маккейем, был передан министрам, после чего о нем больше не было речи.

В декабре Поль Рейно предложил Консультативной ассамблее принять в принципе решение о создании Европейского управления по стали. Когда я поздравил его с этим, он мне ответил: «Честно говоря, это уже не властный орган. Чтобы получить большинство голосов, из текста пришлось убрать слово «полномочный». Теперь это будет «организация», ответственная перед правительствами. Она будет давать рекомендации по общим вопросам». — «А будет ли она иметь право принятия решений?» — «Нет, она вообще не появится на свет. Совет министров похоронит этот проект». — «А ведь неплохая была идея. Но метод не тот и место не то...»

Не только Поль Рейно пытался продвинуться по пути, который называли «функционалистским» и который был более прагматичным, более конкретным, чем проект Конституции, защищавшийся горячими сторонниками федерализма. Андре Филип, Эдуар Боннефу, Роберт Бутби со всем своим красноречием призывали к интернационализации европейской тяжелой индустрии, особенно добычи угля и производства стали. Но им никак не удавалось перевести эту идею в практическую плоскость. То, что я не придавал значения этим предложениям, не означает, что я недооценивал проницательность их авторов. Но я был озабочен не технической стороной дела; я пытался придумать новые политические формы и найти подходящий момент, чтобы изменить направленность умов. Союз европейских государств всегда можно будет наполнить содержанием, но хватит ли у наших стран воли и возможностей сделать исторический шаг и создать такой союз — вот что вызывало большие сомнения.

Германия приходит в движение

Когда смотришь на эту эпоху, разделившую век пополам, поражает интеллектуальное кипение вокруг европейской идеи. Перечитывая манифесты партий и общественных движений, заявления лидеров и статьи в прессе (лондонские «Economist» и «Times» публиковали великолепные передовицы, достойные «Federalist» времен Джея и Гамильтона), приходишь к мысли, что столь сильное движение умов должно было привести к созданию самого широкого европейского единства. Действительно, современный объединительный словарь и объединительная риторика были созданы уже тогда, но они не имели ничего общего с реальными действиями. В 1946 году в Цюрихе Черчилль призывал к срочному созданию Соединенных Штатов Европы, но имел в виду Совет Европы. В 1929 году в Женеве Бриан говорил о возникновении «федеративных связей» между европейскими народами, но при этом уточнял, что суверенные права государств не будут затронуты. Общественное мнение было убеждено, что магические формулы произнесены, и не понимало, что реальность оказывает им упорное сопротивление. В 1949 году всё еще продолжали повторять одно и то же, и мне трудно было относиться к этому серьезно. Мы все, на улице Мартиньяк, были далеки от этих течений, и ни Гирш, ни Юри не могут припомнить, чтобы кто-нибудь из нас принимал в расчет благодушные пожелания «функционалистов».

Мы же, напротив, были озабочены тем, что реальная ситуация не только не приближала нас к европейскому единству, но с каждым днем отодвигала возможность его достижения. Франция противостояла своим союзникам по вопросу о политике в отношении Германии, и французская дипломатия все более соскальзывала в старую колею. После того, как она вынуждена была отказаться от планов расчленения Германии, все ее усилия были перенесены на Сарскую область, включенную, как и в 1919 году, во французскую экономику под жестким «проконсульским» управлением Гранваля, а также — на Рур, где добыча угля и

производство стали находились с апреля месяца под контролем международной организации. В этом органе по распределению интересы Франции умно и честно представлял Поэр. Однако Германия отказалась заседать там вместе с Союзниками, так как она уже начала борьбу за равноправие. «Мы согласны на международный орган, который будет контролировать как немецкие, так и французские, бельгийские и люксембургские горнодобывающие и промышленные районы», — заявил Аденауэр несколько недель спустя после своего избрания канцлером. И если в декабре он пошел на уступки, то лишь потому, что так называемые «петерсбергские соглашения» положили начало международному признанию Германии.

Четыре года спустя после окончания войны жизненная потребность Франции в немецком угле уже не могла оправдать систему господства, конца которому не предвиделось. Все понимали, что эта система не может существовать вечно, но никто из французских лидеров не брал на себя смелость положить ей конец, хотя к такому решению нас подталкивали и наши союзники, и внутренняя эволюция Германии. В тогдашней ситуации Франция не могла отказаться от своей негативной позиции, поскольку утрата контроля над немецкой экономикой ставила под угрозу жизненно важное для нас снабжение углем, особенно коксующимся; тем самым нашей тяжелой промышленности грозила опасность оказаться в подчинении у мощного соперника. Этот нелепый заколдованный круг мог шаг за шагом привести нас к повторению ошибок прошлого.

Необходимо изменить ситуацию, — вот единственное, в чем я был тогда уверен. Но курс французской политики не давал такой возможности. Аденауэр прекрасно это понимал и старался смягчать свои требования, чтобы не ставить в затруднительное положение французского министра иностранных дел, истинные чувства которого были ему известны. Однако его дружба с Робером Шуманом вскоре подверглась тяжелому испытанию в силу давления, которое оба государственных деятеля испытывали со стороны внутренней оппозиции. Каждый шаг к примирению

встречался криками протеста как в бундестаге, так и в Национальном собрании.

Конфликт принял драматические формы в 1950 году, когда Франция усилила свои попытки политически отделить Саар от Германии. Первый визит Шумана в Бонн прошел в ледяной атмосфере. Вернувшись в Париж, он узнал о заявлении Аденауэра: «Отныне идея европейского равноправия серьезно скомпрометирована в глазах Германии». У такого чувствительного человека, как Шуман, считавшего высшей целью своей политической жизни примирение двух народов, это заявление вызвало растерянность. «Что делать?» — спрашивал он у своего окружения. Моя позиция была ему известна: «Мир может основываться только на равенстве, — говорил я ему. — Мы проиграли мир в 1919 году, потому что пытались утвердить его на дискриминации и стремлении к превосходству. И сейчас мы готовы повторить те же ошибки».

Шуман был со мной согласен, мы легко понимали друг друга. Мне нравились его прямота и здравый смысл; его безукоризненная честность и сила духа внушали уважение. Несомненно, французы ощущали в нем эти качества и относились к нему с доверием. Он мог бы сыграть важную роль в назревшей перемене курса нашей внешней политики. Я старался поддерживать с ним контакт, либо прямой, либо через его директора кабинета, Бернара Клапье, к которому я, как и его шеф, относился с уважением и дружбой.

Я видел, как постепенно в этом закрытом и глубоко верующем человеке зрело убеждение, что именно ему надлежит добиться успеха там, где многие потерпели поражение. «Если я нахожусь на этом месте, — заявил он в Национальном собрании в ноябре 1949 года, — то не потому, что я к этому стремился, а потому, что нужен кто-то с восточной границы, чтобы привести к мирному сосуществованию две страны, так часто терзавшие друг друга». В этом высоком стремлении Шумана не было и следа гордости, а в твердости его веры — и тени нетерпимости. Совсем другим характером обладал государственный деятель, который, по другую сторону Рейна, ставил перед собой такую же задачу. Аденауэр

не колебался в выборе пути. «Федеральный канцлер, — говорил он, — должен быть одновременно хорошим немцем и хорошим европейцем». Я знал его только по его энергичным заявлениям, направленным на то, чтобы попеременно то обольщать, то предостерегать оккупационные державы. Он обладал непримиримостью истинного патриота и одновременно — очень умелого политика, который противостоял своей социалистической оппозиции и в то же время пользовался ею, чтобы склонить на свою сторону Союзников. Но он еще не имел в то время такой международной поддержки, которой заслуживали искренность его выступлений и широта его инициатив.

В марте 1950 года в беседе с американским журналистом Кингсбери Смитом он предложил осуществить полное объединение Франции и Германии, включая экономику, парламенты и гражданство. Такая перспектива, непосредственно подсказанная английским предложением Франции в 1940 году, была плохо принята во Франции. Ситуация была другой, и исторические аналогии были признаны неуместными. Впрочем, общественный отклик на это предложение во Франции был слабым, и я сам, насколько помню, не обратил на него внимания, так как не верил, чтобы в Европе в то время были возможны такие политические конструкции. В 1940 году у нас в Лондоне было всего несколько дней, даже несколько часов, чтобы действовать, изменить настроения и заставить правительство в Бордо свернуть с пути капитуляции. Внезапное решение могло скрепить распадающийся союз и обеспечить единство наших судеб перед лицом будущего, каким бы оно ни было. В 1950 году о каком альянсе и о какой прямой угрозе могла идти речь? Для французов опасностью по-прежнему была Германия и ее непонятное будущее. Поэтому всеобъемлющий альянс с ней, да еще по ее инициативе, казался вещью невозможной. «Аденауэр хочет создать Европу вокруг Германии и для нее», — писала газета «L'Aube», орган М.Р.Р.*. Я не разделял такую точку зрения,

* «Mouvement républicain populaire» («Народное республиканское движение»). — *Прим. пер.*

но видел, что предложение не соответствует моменту. По существу же я был согласен с позицией Аденауэра. «Не может быть сомнения, — писал он, — что если бы французы и немцы в один прекрасный день сели за один стол, чтобы вместе работать и вместе нести ответственность, то был бы сделан большой шаг вперед. Он привел бы к огромным психологическим сдвигам. Было бы удовлетворено французское стремление к безопасности, и было бы предотвращено возрождение немецкого национализма». Вопрос был поставлен очень точно, но не хватало метода его разрешения. А без метода дело невозможно сдвинуть с мертвой точки. Я уже убедился на опыте, что нельзя действовать, исходя из общих соображений, но все становится возможным, если удастся направить усилия в одну конкретную точку, за которой идет уже все остальное. Сесть за один стол — это был верный образ, но всего лишь образ. Взять на себя совместную ответственность — такой была цель, но до тех пор, пока не были определены средства ее достижения, всё оставалось всего лишь словами.

Однако в идее Аденауэра был один конкретный момент: он касался Рура и Саарской области. Вокруг угля и стали между Францией и Германией шло острое соперничество, — его-то Аденауэр и хотел устранить путем объединения двух стран. Стремиться к глобальному и опережающему союзу ради устранения частного противоречия — такую установку нельзя признать реалистической. Я же полагал, что следует, наоборот, начинать с преодоления конкретной трудности, а затем, опираясь на достигнутый результат, двигаться дальше. Союз станет складываться постепенно, следуя динамике первоначальных действий. Эти действия, следовательно, должны быть направлены именно туда, где сосредоточено противодействие.

В 1950 году для Аденауэра было естественно стараться снять конкретную проблему, связанную с французским контролем над Саарской областью. И точно так же, для Шумана было естественно настаивать на сохранении контроля, ибо только такая позиция могла получить поддержку во французском парламенте. Оба политика действовали в соответст-

вии с логикой того положения, которое занимал каждый из них. Сегодня, как и вчера, руководители наших стран, каждый в отдельности, вынуждены защищать некий концепт национального интереса, который складывается под воздействием разных факторов, причем самые консервативные влияния оказываются и наиболее сильными.

Какими бы проницательными ни были эти руководители, им бывает очень трудно и зачастую просто невозможно изменить порядок вещей, за поддержание которого они отвечают. Внутренне они могут быть убеждены в необходимости изменений, но они обязаны давать отчет парламенту и общественному мнению, и их связывают управленческие структуры, стремящиеся оставить все как есть. Все это вполне естественно. Если бы правительства и их администрация были готовы в любой момент менять существующий порядок, то в результате получилась бы перманентная революция, воцарился бы непрекращающийся сумбур. Я по опыту знал, что изменения могут происходить только под внешним воздействием и под давлением необходимости, но это не значит — обязательно путем насилия. Государственные деятели стремятся сделать как лучше, а главное — хотят, чтобы кто-нибудь вывел их из затруднительного положения, но у них не всегда есть время и желание что-то придумывать самим. Они открыты для творческих предложений, и тот, кто сумеет такие предложения представить, имеет хорошие шансы быть услышанным.

Я не удивился, услышав, как Робер Шуман сказал: «Конечно, мы должны рассмотреть вопрос о делегировании суверенитета, но произойдет это не завтра». Это был его ответ Аденауэру, который предлагал отказаться от суверенитета, которого Германия еще не получила. Меня не интересовало, насколько искренними были их позиции, поскольку они не вели к каким-либо конкретным действиям. Подобно корифеям античных трагедий, де Голль выступил с одним из своих велеречивых заявлений: «Если бы мы не принуждали себя смотреть на вещи холодным взглядом, нас могла бы ослепить перспектива объединения немецкого достоинства с французским достоинством, подкрепленным достоинством северной

Африки... Это было бы нечто вроде империи Карла Великого, возрожденной на современных экономических, социальных и культурных основаниях».

Но если нам, действительно, следовало смотреть на вещи холодным взглядом и не давать ослепить себя видениями «каролингской» Европы, полностью и немедленно интегрированной, то разве из этого следовало, что нам вообще ничего не надо предпринимать? Я так не думал. Состояние, в котором находилась Европа, усугубляло опасности, вновь нависшие над миром: холодная война создавала климат, невыносимый для сотен миллионов людей. Отношения между Францией и Германией больше нельзя было строить на основе отвлеченных суждений в духе фатализма. Я был убежден, что пришло время действовать.

Глава 12

Действовать решительно, реально, немедленно... (1949–1950)

Тупики

Я не мог бы сказать, откуда у меня берется в важные моменты жизни убеждение, что пора переходить от размышлений к решительным действиям. Это диктуется тем, что некоторые называют чувством момента. Но я не спрашиваю себя, надо ли предпринимать то или иное действие: именно необходимость заставляет меня действовать и не оставляет мне выбора с того момента, когда я ясно осознал ситуацию. Чтобы добиться ясности, я должен сосредоточиться, а для этого мне необходимы одиночество и длинные пешие прогулки. С тех пор, как я покинул Коньяк, я так организовал свою жизнь, что мой день начинается на лоне природы, на изрядном расстоянии от города. Я встаю рано и в одиночестве покрываю расстояние в несколько километров. Когда я выхожу из дома, в моей голове роятся все мысли и заботы минувшего дня. Но после полчаса или часа ходьбы они постепенно исчезают и я начинаю воспринимать окружающие меня вещи, цветы, листья на деревьях... С этого момента я знаю, что уже ничто не сможет меня потревожить. И мысли сами укладываются у меня в голове, каждая на своем уровне. Я не заставляю себя размышлять на какую-то определенную тему — темы приходят сами собой, потому что я всегда преследую только одну мысль, точнее — только одну зараз. Андре Орре, который вместе со своей женой Амели на протяжении тридцати лет заботился о нашем домашнем укладе (последовательно — в Англии, Соединенных Штатах, Франции, Люксембурге),

очень хорошо меня понимал. «Все очень просто, — говорил он, — месье сажает свою идею против себя, разговаривает с ней и находит решение».

Около десяти часов я возвращаюсь с прогулки, переодеваюсь и отправляюсь на работу, где меня ожидают сложные проблемы, запутанные главным образом самими людьми. Я приступаю к этим проблемам с новой энергией, почерпнутой из общения с природой. Ходьба всегда была для меня средством поддерживать не только физическую, но и интеллектуальную форму: она, действительно, помогала мне находить решение. И теперь обстановка меняется: я возвращаюсь в сферу действия, исполнения. А также — в сферу, где господствует рутина. Весной 1950 года рутина давила особенно сильно, даже в лесах Монфор-Л'Амори мне было душно. И я уехал в горы.

Каждый год, если есть возможность, я совершаю большие переходы в Альпах. На этот раз я отправился в Швейцарию, в Розленд, где меня ожидал мой альпийский гид. Я уже не могу припомнить, сколько километров мы прошли за две недели, ночуя то там, то здесь, но ход моих мыслей зафиксирован в моих записях, которые я вел каждый день на вечернем привале. В них нашло выражение то беспокойство, которое угнетало Европу пять лет спустя после войны: если мы ничего не сделаем, до новой войны — рукой подать. На этот раз Германия не будет зачинщицей войны, она будет ее заложницей. Надо сделать так, чтобы она перестала быть ставкой в борьбе и стала связующим звеном. В настоящий момент только Франция может взять на себя инициативу. Чем можно связать, пока еще не поздно, Францию и Германию? Как создать уже сегодня общий интерес между двумя странами? — Вот вопросы, которые я непрерывно и сосредоточенно обдумывал во время безмолвных переходов. Когда в начале апреля я вернулся в Париж, у меня еще не было готового ответа, но необходимость действовать стала для меня настолько ясной, что уже не оставалось места для неуверенности. Надо было только наметить план и найти подходящий случай.

Я составил мотивированную записку на нескольких страницах, которую в то время прочли очень немногие, пото-

му что момент для действия наступил очень скоро, а сама акция вышла за рамки того, что было первоначально предусмотрено. Но мой предварительный анализ и сегодня полезен для понимания того, почему события получили именно такое направление. Он показывает, насколько узок — в контексте мировой ситуации — был путь к миру и сколь ограниченными были наши возможности изменить направление движения, когда столкновение было уже совсем близко. Первые же фразы проникнуты тревогой, о которой сегодня уже успели забыть в умиротворенной Европе: «В современной мировой ситуации, в какую бы сторону мы ни обращались, мы повсюду оказываемся в тупике, идет ли речь о приближении новой войны, с неизбежностью которой смиряются все больше людей, или о проблеме Германии, или о продолжении возрождения Франции, или об организации Европы, или о месте Франции в Европе и в мире».

«Неизбежность войны...» Сегодня нам трудно представить себе этот психоз 1950 года, к счастью, не ставший реальностью. Но сосуществование двух враждебных блоков было в то время весьма шатким, а диалог между Востоком и Западом велся исключительно с позиций силы; соотношение сил подверглось испытанию во время Берлинского кризиса: целый год длилась блокада Западного Берлина, но западные державы оказались сильнее. Американцы организовали воздушный мост, мобилизовав для этого колоссальные военные средства, и в мае 1949 советская сторона вынуждена была отступить.

Существовало фактически две Германии, включенные в разные стратегические зоны. Германия Аденауэра находилась под защитой только что созданного Атлантического альянса, где ее активно стремились включить в систему коллективной обороны. Насколько резкой могла быть реакция на это со стороны русских, у которых с недавнего времени имелась атомная бомба? И как следует вести себя Европе? На такой вопрос в наиболее влиятельных кругах давался по-видимому разумный ответ: «Пусть Европа остается в стороне от этого противостояния». Однако доктрина нейтрализма никогда не выходила за рамки интеллектуальных дискуссий, вроде той, кото-

рую мне доводилось вести у камелька с директором «Monde» Бёв-Мери, моим другом, чью глубокую искренность я всегда ценил. «Неучастие западноевропейских стран в важных мировых вопросах, — говорил я ему, — как раз и есть причина той неустойчивости, от которой вы стараетесь себя предохранить. А нам надо, наоборот, принять активное участие в решении проблем, которые касаются Запада как единого целого». Но все равно, смятение царило в умах, и я с беспокойством наблюдал, как атмосфера «холодной войны» сгущалась в Европе, не говоря уже о других зонах напряженности в мире.

Самая грозная опасность была связана, по моему мнению, не с амбициями вождей и не с накоплением оружия, но с особым рода психическим расстройством у руководителей и у народов, — расстройством, которое и лечить надо было соответствующими, также психологическими средствами.

«Сознание людей, — писал я, — сосредоточилось на простом и опасном предмете: на холодной войне. Все предложения и действия рассматриваются общественным мнением с точки зрения участия в холодной войне.

Главная задача холодной войны — заставить противника отступить; холодная война — это первая фаза настоящей войны.

Такая перспектива порождает у руководителей окостенелость мышления, сосредоточенность на одном единственном предмете. Исчезает способность искать различные решения проблем. Возникшая и с той, и с другой стороны негибкость в постановке целей неизбежно толкает к конфликту: такова неумолимая логика сложившихся отношений. Конфликт приведет к войне. Фактически мы уже находимся в состоянии войны».

С этой воцарившейся в умах войной надо было бороться, обращаясь к сознанию людей. Я вспоминаю формулу Рузвельта, в свое время так поразившую его сограждан: «Мы не должны ничего бояться, ничего, кроме самого страха». В 1950 году страх парализовывал и вел к безнадежности. Было необходимо возобновить движение.

«Необходимо переломить ход событий, — писал я. — А для этого надо изменить умонастроение людей. Слов здесь

недостаточно. Нынешнее статическое положение вещей может изменить только немедленное действие, направленное в жизненно важную точку. Необходимо действие решительное, реальное, незамедлительное и впечатляющее, которое изменит положение вещей и даст надежду народам, готовым окончательно потерять веру».

В Европе источником риска все еще была Германия, но не потому, что опасность исходила от нее, а потому, что она стала ставкой в игре других. Американцы, как я думал, будут стремиться интегрировать новую Федеральную республику в западную политическую и военную систему, а русские будут всеми средствами препятствовать этому. У Франции вновь взыграют ее комплексы. Вот почему именно в связи с Германией следовало сделать решающее позитивное усилие.

«Ситуация с Германией, — писал я, — скоро превратится в угрозу для дела мира, а для Франции это произойдет уже завтра, если только немцам не будет дана возможность развивать свою страну в надежде на сотрудничество со свободными народами... Не следует пытаться решать германскую проблему исходя из нынешних предпосылок. Необходимо эти предпосылки пересмотреть».

Именно в этот момент и в связи с конкретной проблемой я осознал возможность использовать хорошо мне знакомый метод, который я уже давно применял для преодоления всевозможных трудностей. Часто бывает бесполезно пытаться разрешить проблемы, которые существуют не сами по себе, а в силу сложившихся условий. Только изменив условия, можно разблокировать ситуацию, созданную ими или зависящую от них. Вместо того, чтобы тратить силы на преодоление сопротивления, я ищу и нахожу фактор, который это сопротивление создает и действие которого необходимо изменить; иногда оказывалось, что торможение возникает от вещей второстепенных, и очень часто — от психологического климата. К германской проблеме, при всей ее обширности и сложности, безусловно, можно было подойти именно таким образом. Она оставалась неразрешимой до тех пор, пока сохранялись условия, делавшие будущее немцев непредсказуе-

мым и тревожным для их соседей и для них самих. Любое решение предполагало предварительное изменение такого положения, когда немцы испытывали унижение от нашего бесконечного контроля, а французы — страх, что немцы в конце концов перестанут ему подчиняться. Этими двумя обстоятельствами в тот момент не исчерпывалась вся мировая ситуация, но их было достаточно, чтобы заблокировать конструктивную эволюцию в Европе.

Положение напоминало запутавшийся клубок; надо было для начала найти нить, потянув за которую, можно было бы устранить первые несколько узлов, а затем, шаг за шагом, распуталось бы и все остальное. Что же это была за нитка в запутанных франко-германских отношениях? Было похоже, что побежденный заразил победителя своими комплексами: у французов появилось чувство неполноценности, когда они стали понимать, что им не удастся сковать динамизм Германии.

«Возрождение Франции не будет иметь продолжения, — писал я, — если не будет неотложно отрегулирован вопрос о немецкой индустриальной продукции и ее конкурентноспособности.

Основой промышленного превосходства Германии, как это всегда признавали французы, является стоимость производства стали, исключая возможность конкуренции со стороны Франции. Отсюда делался вывод: вся французская промышленность обречена на отставание.

Уже сейчас Германия требует, чтобы ей позволили увеличить производство стали с одиннадцати до четырнадцати миллионов тонн. Мы будем против этого требования, а американцы — за. В конце концов мы уступим, сделав определенные оговорки. А французское производство будет тем временем топтаться на месте или даже снижаться.

Достаточно отметить эти факты, и уже нет необходимости подробно останавливаться на их последствиях: промышленная экспансия Германии; демпинговый экспорт немецкой продукции; требования защитить французское производство; прекращение свободного обмена; восстановление довоенных картелей; может быть, ориентация немецкой торговой экспан-

сии на Восток с последующими политическими соглашениями; Франция вновь оказывается в старой колее «ограниченного и огражденного от конкуренции производства».

С места, которое я занимал в качестве комиссара Плана, были ясно видны признаки французского отступления. Приближалось время платить по международным долгам. 10 мая Роберу Шуману предстояло встретиться с Эрнстом Бевином и Дином Ачесоном для обсуждения будущего Германии и увеличения потолка для немецкой продукции. У французского министра не было в запасе никакого конструктивного предложения, хотя он много над этим думал и со многими советовался. Что же касается меня, то я все яснее понимал: действовать надо именно там, где взаимное непонимание проявляется с наибольшей очевидностью, где грозят повториться ошибки прошлого. Если бы удалось устранить страх французов перед немецким промышленным превосходством, было бы преодолено самое большое препятствие на пути к объединению Европы. Решение, которое обеспечило бы французской промышленности равные с немецкими исходные условия, одновременно освободив немцев от дискриминации, явившейся следствием их поражения, восстановило бы экономические и политические предпосылки согласия, столь необходимого Европе. Более того, оно могло бы стать ферментом европейского единства.

Планы, которые мы с Этьеном Гиршем и Рене Мейером обсуждали в 1943 году, сами собой возникли в моем сознании. Раньше это были чисто интеллектуальные конструкции, которые мы возводили, глядя на карты военных действий и угадывая будущие границы; теперь я возвращался к тем же планам, вернее, продумывал их заново применительно к требованиям текущего момента. Спроецировать их на политическую карту послевоенной Европы означало столкнуться с новыми проблемами. Можно ли, даже частично, поставить под вопрос суверенитет Германии, только что ею вновь обретенный? В то время Союзники постепенно отказывались от своих первоначальных намерений: сначала от того, чтобы раздробить оккупированную ими немецкую терри-

торию на ряд мелких государств; затем — от того, чтобы отторгнуть от Германии даже небольшую область, такую, как Саар; а теперь — даже от простой интернационализации ресурсов Рурского бассейна.

Предложения вроде вышеперечисленных, исходившие преимущественно от Франции, не встречали поддержки потому, что основывались на праве победителя, на сиюминутном превосходстве, а это был подход вчерашнего дня, к счастью, уже потерявший свою действенность. Но если подойти к проблеме суверенитета не с позиций реванша или господства, если побежденный и победитель по взаимному согласию установят совместное управление смежными территориями, — какая между ними возникнет крепкая связь, какой путь для дальнейших совместных действий, какой пример для других европейских народов!

Принадлежавшие Франции и Германии месторождения угля и железной руды располагались вдоль границы неравномерно, но таким образом, что они взаимно дополняли друг друга: они находились в одном географическом треугольнике, который был искусственно разрезан государственными границами. Эти случайные границы, чье возникновение совпало с зарождением националистических доктрин, стали сначала препятствием для взаимобмена, а затем — линиями конфронтации. Два народа почувствовали себя под угрозой, и каждый из них стремился единолично завладеть всеми ресурсами, то есть всей территорией. Соперничество вело к войне, которая могла разрешить проблему лишь временно — на срок, необходимый, чтобы подготовиться к реваншу. Однако уголь и сталь были также ключом к экономическому могуществу, они создавали военную промышленность, которая ковала вооружения. Уголь и сталь имели тогда огромное символическое значение, сравнимое с нынешним обладанием ядерным оружием. Слить их производство поверх государственной границы значило лишить их вредоносного значения и превратить в залог мира.

Завершив свои размышления, я почувствовал себя достаточно уверенным, чтобы попытаться убедить других. Но к

кому обратиться и в какой момент? В отношении сроков совещание, намеченное на 10 мая, вполне мне подходило. Однако само совещание вряд ли было удобным местом для выдвижения подобной инициативы, которая сделала бы беспредметными переговоры трех оккупационных держав. Для достижения желаемого результата надо было сначала создать совершенно новую ситуацию, превратить франко-германскую проблему в проблему европейскую. «Однако в нынешней ситуации, — писал я, — новая Европа может родиться только по инициативе Франции. Только Франция имеет возможность говорить и действовать». Для меня это была простая констатация факта, а вовсе не претензия на какую-то историческую привилегию. «Если Франция, — продолжал я, — сейчас не скажет свое слово и не начнет действовать, то объединение произойдет вокруг Соединенных Штатов, что послужит лишь усилению холодной войны. Совершенно очевидно, что страны Европы боятся будущего и ищут помощи. Англия будет все больше и больше сближаться с Соединенными Штатами; Германия будет быстро развиваться, и мы не сможем воспрепятствовать ее вооружению. Франция вновь окажется в ситуации борьбы за существование и в результате неизбежно будет вытеснена на вторые роли».

Я тогда еще не задавался вопросом, кто будет говорить от имени Франции и при каких обстоятельствах. Важно было сначала четко определить, что именно надо сказать. Мысль поставить производство угля и стали в нескольких странах под общее управление была не более чем теоретической концепцией. Необходимо было разработать механизм, а здесь я не мог опереться на свой опыт. Единственное, в чем я был убежден: надо отказаться от системы (в неэффективности которой я неоднократно убеждался), когда создаются международные органы сотрудничества, не обладающие полномочиями для принятия решений. Но что могла бы представлять собой власть, способная принимать решения, обязательные и для Франции, и для Германии? Этого я не знал. Мне нужно было с кем-то посоветоваться. Но одновременно я хотел, насколько возможно, сохранить это дело в секрете.

И тут случай привел в мой кабинет на улице Мартиньяк молодого профессора права, которого я раньше не знал лично и к которому мы обращались за консультациями, кажется, по вопросам усиления антитрестовского законодательства во Франции. Звали его Поль Рейтер, он был родом из восточных областей, граничащих с Германией. Это был спокойный, уверенный человек, блестящий диалектик, занимавшийся конкретными проблемами права и политики, умевший все расставить по местам. Он преподавал теорию в Эксе и регулярно приезжал в Париж, где был одним из трех юрисконсультов в министерстве иностранных дел. Я тотчас понял, что отношения между Францией и Германией интересовали его как в личном, так и в профессиональном плане: можно ли на основе международного права ликвидировать конфликт, постоянной жертвой которого было население, живущее вдоль границы?

В разговоре я затронул некоторые из моих идей, и он отнесся к ним с таким пониманием и заинтересованностью, что я назначил ему новую встречу в следующую субботу, 15 апреля. Теперь я изложил ему суть моего проекта о слиянии французского и германского производства угля и стали и попросил его подумать до завтра о том, какую форму мог бы иметь орган для управления общими активами. В воскресенье мы встретились втроем, он, Гирш и я, в Монфор-Л'Амори. Здесь в этот день мы и разработали первый вариант того, что должно было стать французскими предложениями от 9 мая. Сейчас, по прошествии двадцати пяти лет, я не могу точно сказать, каким был вклад каждого из нас в текст, который записала под нашу диктовку моя секретарша мадам Мигес. Могу сказать одно: без Гирша и Рейтера проект не обрел бы той завершенной формы, которая сделала его основополагающим документом будущего Европейского Сообщества. Я ясно видел цель, а они находили пути к ее достижению через взаимодействие экономических и политических факторов, мгновенно придумывая для этого новые формы европейского масштаба.

«Мир на планете не может быть сохранен без творческих усилий, соразмерных тем опасностям, которые ему угро-

жают. Вклад, который организованная и жизнеспособная Европа может внести в развитие цивилизации, необходим для поддержания мира между народами». Это начало сохранилось во всех последующих версиях документа. Что касается остального текста, то в последующие дни мы составили много вариантов, сравнение которых показало бы, как продвигалась наша работа. Но главное было сказано уже в преамбуле: «Европа должна быть организована на федеративной основе. Франко-германская уния является важнейшим элементом такой системы, и французское правительство исполнено решимости двигаться в этом направлении... Накопившиеся препятствия мешают немедленному осуществлению тесного объединения, к которому стремится французское правительство. Но уже сегодня надо закладывать основы совместного экономического развития; оно должно послужить первым этапом франко-немецкого сближения. *Французское правительство предлагает создать для управления всем франко-германским производством угля и стали международную организацию, которая будет открыта для присоединения других стран Европы.* В задачу этой организации будет входить унификация базовых условий производства, что позволит поэтапно распространить эту систему на другие области действительного сотрудничества в интересах мира».

Теперь цели и методы Европейского Объединения угля и стали (ЕОУС) были определены. Последующие улучшения будут касаться только стиля и механизмов. Перечитывая этот текст, я поражаюсь, насколько четко в нем выражен замысел, который в окончательной версии станет более размытым: франко-немецкое объединение выделено в нем как центральная задача. И если она не выдвигается как ближайшая, то лишь в силу «накопившихся препятствий». Начинать надо с «закладывания основ совместного экономического развития», сначала в области производства угля и стали, а затем и в других областях. В какой-то момент я подумал, что первым шагом к европейской федерации будет объединение Франции и Германии, и только этих стран, а другие присоединятся позже. К первоначальному тексту я приписал вече-

ром от руки, что «организация будет открыта для присоединения других стран Европы». В нашем утреннем обсуждении этот пункт не был решающим. Чтобы понять суть вещей, всегда надо обращаться к их началу.

Что касается нового Органа власти, то здесь основные линии были прочерчены, и они сохранятся надолго. Благодаря Гиршу нам удалось сразу создать прочную конструкцию: ее основой было совместное франко-германское производство и распределение двух важнейших продуктов (угля и стали), обеспечение их продажи на идентичных условиях, одинаковые предпосылки социального прогресса, последовательное улучшение качества продукции. «Все эти задачи, — говорилось в документе, — требуют сложных институтов и широких мероприятий. Необходимо уравнивать в обоих государствах экономические условия производства упомянутых продуктов: это касается налогообложения, социальных отчислений, транспорта... Будет необходимо ввести производственные квоты и финансовые механизмы по выравниванию цен, а также создать фонды для реконверсии».

Так было положено начало основным разделам европейских договоров. Рейтер наметил институционный механизм: «Вышеозначенные основные принципы и обязательства, — читаем мы в документе, — станут предметом договора, который будет подписан обоими государствами. Для руководства всей системой будет создан орган власти на двусторонней франко-германской основе под председательством лица, утвержденного обеими сторонами». Хотя слово еще не было произнесено, был сделан первый шаг к юридическому утверждению принципа равенства между Францией и Германией... Текст заканчивался такими строками, резюмировавшими его устремления: «Важнейшее политическое значение этого предложения состоит в том, чтобы открыть в бастионах национального суверенитета проход достаточно локализованный, чтобы он не вызвал возражений, и достаточно глубокий, чтобы увлечь государства к единству, необходимому для обеспечения мира».

Почему этой фразы не оказалось в последующих вариантах? Почему другие фразы появлялись, а затем исчезали,

уступая место тем формулам, которые мы теперь читаем в книгах по истории? Это связано с поисками тонких соответствий между содержанием и формой в документах, подвергающихся длительной разработке. Девять вариантов сменились на протяжении дней, разделяющих 16 апреля и 6 мая. Я не знаю, много это или мало, мое правило — работать столько, сколько нужно для достижения желаемого результата. Если надо сделать сто вариантов, пусть будет сто. Девять вариантов — не так уж и много, могло бы быть и пятнадцать, скажут вам мои старые сотрудники, которые охотно удовлетворились бы меньшим количеством. Потому что, говорят они, мы нередко возвращались к первоначальной версии, которая оказывалась самой удачной. Но как учесть эффективность усилий? Разве можно быть уверенным, что первоначальная версия была наилучшей, пока не сравнишь ее с последующими? Как все было бы просто, если бы интуиция и случай сразу приводили тебя к точной формулировке! В любом случае сразу найденное удачное решение надо еще подвергнуть испытанию, а это значит — перечитать текст на следующее утро самому или дать его на просмотр человеку со свежим взглядом.

В данном случае обладателем свежего взгляда был Юри. Я решил, что, кроме нас троих, он будет единственным человеком, посвященным в наш проект. Он мог оказать нам помощь своей изобретательностью и точностью выражения мысли. Он прочел текст с предельной сосредоточенностью, так что все его лицо избороздили морщины, и сказал просто: «Это ставит на место многие проблемы». Да, так оно и было: речь шла не столько о том, чтобы снять проблемы, порожденные самим ходом вещей, сколько о том, чтобы их переосмыслить и поставить в более разумный, более человеческий контекст ради укрепления мира между народами.

Юри успешно включился в поиск новых формулировок. Проект обрел более четкую структуру, система институтов стала более стройной, Международный орган власти стал именоваться Верховным совместным органом власти. В четвертом варианте он назван «сверхнациональным», но это слово мне не нравилось и продолжает не нравиться. Суть за-

ключалась не в его наименовании, а в его функции, которая лучше всего была выражена в следующей фразе: «Решения Верховного органа власти подлежат исполнению во Франции, в Германии и во всех других странах, вступивших в организацию». При такой власти требовались гарантии, и мы предусмотрели принцип обжалования ее решений без уточнения процедуры. Рейтер, оказав нам неоценимую помощь, вернулся в Экс к своей преподавательской работе. Мы поддерживали связь по телефону, и я рассчитывал, что он вновь присоединится к нам, когда дело дойдет до выработки договора. Но что-то этому помешало. Как бы то ни было, но именно Поль Рейтер придумал Верховный орган власти — как название, так и само учреждение.

Юри, со своей стороны, придал стройность экономическому проекту; шаг за шагом он создал понятие Общего рынка — пространства без таможенных границ и торговых ограничений, но регламентированного в общих интересах. Он ввел идею переходных мер. В целом разработанная им система производила впечатление четко организованной и одновременно — либеральной по своей направленности. Между тем и другим не было противоречия: «Шаг за шагом, — писали мы, — будут складываться условия, спонтанно обеспечивающие наиболее рациональное распределение продукции на самом высоком уровне производительности». В нашем техническом проекте мы не могли пойти дальше, так как, желая сохранить дело в тайне, мы не хотели привлекать к работе экспертов, да и время нас торопило. В текст теперь вносились лишь незначительные поправки; особое значение имели следующие пять строк: *«Благодаря совместному использованию базовых отраслей производства и учреждению Верховного органа власти, решения которого будут обязательны к исполнению как во Франции и Германии, так и в других присоединившихся странах, — будут заложены первые конкретные основы европейской федерации, необходимой для сохранения мира»*. Я потребовал, чтобы этот пассаж был подчеркнут, потому что в нем определялись одновременно и метод, и средства, и цель, ставшие отныне неотделимыми друг от друга. Последнее слово было ключевым: мир.

Выход

«Французское правительство предлагает...» Так было записано в нашем проекте. Но ведь надо было еще, чтобы оно узнало об этом предложении и выдвинуло его от своего имени! Я должен был найти человека, который обладал бы властью и смелостью, чтобы без промедления произвести столь радикальные изменения. Робер Шуман казался мне наиболее подходящей для этого фигурой, однако, в силу одного недоразумения, я не обратился к нему сразу. Дело в том, что накануне первого визита ко мне Рейтера у меня состоялся длительный разговор с Бернаром Клапье. Я ему обрисовал в общих чертах свой замысел, который его живо заинтересовал. «Господин Шуман, — сказал он мне, — ищет, с какой инициативой он мог бы выступить в Лондоне 10 мая. После встречи министров иностранных дел трех стран в Нью-Йорке это, насколько я понимаю, — его главная забота. Я присутствовал на заседании, когда Ачесон сказал от своего имени и от имени Бевина: «Мы согласны доверить нашему французскому коллеге формулировку нашей общей политической позиции по отношению к Германии». Сроки приближаются, а никто не может ему посоветовать, что делать». — «Ну что ж, — сказал я, — у меня есть кое-какие предложения...» Я решил, что Клапье вновь пригласит меня после того, как переговорит с министром. Но обстоятельства сложились так, что у него для этого не оказалось времени, и я, думая, что мое предложение не заинтересовало Шумана, решил обратиться прямо к председателю совета министров Бидо, которому я непосредственно подчинялся.

Но в тот же день, буквально несколько мгновений спустя после того, как я отправил письмо Фалезу, начальнику кабинета Бидо, Клапье вышел на контакт со мной, извинившись за долгое молчание. «Вот предложение, которое я только что отправил Бидо», — сказал я ему. Клапье прочел текст и поторопился наверстать упущенное время. «Потрясающе! — воскликнул он. — Вы разрешите показать это господину Шуману?» Я отдал ему копию, и он тут же повез ее на Восточный вокзал. Вечером министр иностранных дел уезжал в Метц,

где неподалеку находилось его имение Си-Шазелль, в котором он проводил в одиночестве свои уик-энды. Клапье застал Шумана в его купе и сказал ему: «Не могли бы вы прочесть бумагу Монне? Это важно». В понедельник он встретил Шумана на вокзале. Едва сойдя с поезда, тот сказал: «Я прочел проект, я согласен». Этих слов было достаточно, чтобы все завертелось: идея сразу перешла в сферу политики, теперь это было дело правительства и его ответственности. Я должен был действовать через тех, в чьих руках была власть.

Шуман и Клапье вошли в наш круг «заговорщиков», а Бидо и Фалез остались в стороне по одной простой причине: они не удосужились прочесть мое письмо, в котором я просил назначить мне прием на следующий день, чтобы я мог прокомментировать прилагаемый проект, «способный, — как было сказано, — внести существенные изменения в общую ситуацию, осложняющуюся с каждым днем». Прием мне назначен не был, хотя в номере газеты «Монд» за вторник и было написано, будто я был принят председателем совета министров. Недоразумения на этом не закончились, так как в среду, после заседания совета министров, во время которого Шуман намекнул на предстоящую французскую инициативу, меня вызвали в резиденцию премьер-министра.

Бидо встретил меня, пылая гневом. В руке он держал копию моего предложения. «Шуман показал мне эту бумагу, — вскричал Бидо. — Кажется, ее написали вы. Я бы хотел, чтобы такие документы поступали ко мне в первую очередь!» — «Вы его и получили в первую очередь. Я вам написал еще в пятницу». Он стал искать письмо и нашел его на своем письменном столе. Прочел ли он его? В своих мемуарах он пишет, что да, и я ему верю. По-видимому, в тот момент оно не соответствовало его намерениям: он думал о создании Верховного атлантического совета. Во что превратилось бы мое предложение в его руках и каковы в этом случае были бы судьбы Европы? Об этом высказывались разные предположения. Что же касается меня, то я никогда в жизни не задавался вопросом: что могло бы воспоследовать из ситуации, которая не имела места? Это самое бесплодное занятие. Факт состоит в том, что на свет родился не план Бидо, а план Шумана.

Клапье помог нам доработать текст, который в субботу 6 мая принял свою окончательную форму. В нем появился новый пассаж: «На протяжении двадцати лет выступая за единую Европу, Франция видела свою главную цель в том, чтобы служить миру. Единая Европа не была создана, и мы получили войну». (Это была дань уважения Бриану, а также последнее «прости» риторическому стилю.) Далее говорилось: «Единая Европа не может быть построена сразу, как готовая конструкция; она будет создаваться постепенно, благодаря конкретным проектам, закладывающим основы для реальной солидарности». Это был фундаментальный выбор метода, позволявшего вести объединительный процесс непрерывно как в материальной, так и в идеологической областях. Такая методика кажется медленной и недостаточно эффективной. Однако вот уже двадцать пять лет, как она работает непрерывно, и никто не предложил ничего другого для прогресса Европейского Сообщества.

«Теперь пора остановиться», — сказал я, прочтя последний вариант, и написал на нем: «Текст окончательный, суббота 15 часов». Теперь все зависело от тактики. Несколько минут спустя я входил в кабинет Шумана вместе с Рене Мейером, министром юстиции, сразу ставшим горячим сторонником предложения, в котором он находил отзвук наших алжирских бесед о создании мирной Европы. По его просьбе мы добавили в текст пассаж, который мог показаться всего лишь дежурной фразой, но будущее подтвердило его значение: «Благодаря своим возросшим возможностям Европа сможет продолжить выполнять одну из своих важнейших задач: способствовать развитию Африканского континента». Дополнив документ этим пассажем, я послал его Плевену, министру заморских территорий. Он был последним из тех девяти лиц, которые были посвящены в тайну нашего предприятия.

Вопрос о том, как и когда обнародовать наш замысел, решался в воскресенье. Плевен, который теперь был в курсе дела и всячески его поддерживал, подсказал нам последовательность дальнейших действий. В конце первой половины дня я снова встретился с Шуманом и Клапье; они сочли нуж-

ным пригласить Александра Пароди, генерального секретаря министерства иностранных дел. В его лице министерство было информировано о наших действиях и одновременно связано правилом о неразглашении. Мы твердо решили не прибегать к официальным дипломатическим путям и не привлекать послов. Чтобы вступить в личный контакт с Аденауэром, Шуман предполагал тайно послать в Бонн своего представителя, когда придет время принимать окончательное решение. Оставалось определить этот час.

Когда речь идет об акте такого значения, решение должно приниматься правительством в целом. Однако нельзя было ждать до следующей среды (заседания совета министров происходили по средам), потому что в этот же день в Лондоне открывалась конференция, на которой Шуман должен был выступить с проектом по Германии. Плевен и Мейер устроили так, что совет министров собрался утром во вторник. До этого момента должна была соблюдаться строгая секретность. Она и соблюдалась, за одним-единственным исключением.

Это исключение было связано с некоторыми любопытными обстоятельствами. Дин Ачесон планировал в воскресенье, по пути в Лондон, задержаться в Париже, чтобы в спокойной обстановке поговорить с Шуманом, которого он очень уважал. Было бы не корректно, если бы два министра в откровенной беседе стали говорить обо всем, кроме самого главного, — того, что через два дня окажется в центре внимания на конференции... Вежливость и лояльность заставили нас посвятить Ачесона в нашу тайну, и нам не пришлось об этом жалеть. В своих мемуарах он рассказал об этом с присутствующими ему живостью и остроумием. Он сам признается, что не сразу уловил все значение плана, который Шуман излагал через переводчика. Ачесону сначала показалось, что речь идет о создании большого картеля по углю и стали, воплощении ностальгической мечты европейских промышленников; в глазах американцев, уважающих закон конкуренции и свободу торговли, такой картель являлся смертным грехом. Как юрист и государственный деятель, он сразу занял отрицательную позицию, и мне пришлось вмешаться, чтобы рассеять его опасения.

Я был хорошо знаком с Ачесоном, который часто посещал наш дом в Вашингтоне и очень ценил французские блюда в изготовлении Амели. Каждое утро можно было видеть, как он и Франкфуртер, бок о бок, направляются в свои конторы. В своих шляпах-котелках два друга служили зримым воплощением Закона и Конституции Соединенных Штатов. Мы знали их как людей острого ума и щедрого сердца. Ачесон мог казаться легкомысленным и светским, но его живой ум всегда контролировался его убеждениями. Мне была известна его роль в проведении плана Маршалла, и я не сомневался, что он оценит политическое значение нашего проекта. Так и произошло после нашего разговора, в котором принял участие также Дэвид Брюс, и в результате у нашей идеи появились еще два надежных союзника.

Но это быстро преодоленное недоразумение навело меня на мысль, что программа объединения угольных и стальных отраслей включает в себе опасность неверного ее истолкования. Я сразу же попросил Юри подготовить соответствующее разъяснение, которое должно было быть распространено одновременно с самим предложением. В разъяснении говорилось: «По своему характеру предлагаемая организация является противоположностью картелю; это проявляется и в ее целях, и в методе работы, и в руководстве». Доказательство получилось убедительным, но в дальнейшем потребовалась большая осторожность и строгие юридические меры (настоящий европейский антикартельный закон), чтобы устранить все подозрения и пресечь саму возможность развития в этом направлении.

Понедельник был кануном сражения, но внешне он ничем не отличался от других дней: и на Кэ д'Орсэ, и на улице Мартиньяк занимались своими обычными делами. Вечером Клапье мне подтвердил, что один из сотрудников Шумана, уроженец Лотарингии по фамилии Михлих отправился в Бонн, где о его прибытии был предупрежден только Бланкенхорн, руководитель кабинета канцлера. Как ему удалось во вторник утром добраться до администрации канцлера, минуя все французские службы и самого Франсуа-Понсе, мог бы

рассказать только сам Михлих. То, что мне об этом известно, я прочел в мемуарах Аденауэра. «Утром, — пишет он, — я еще не подозревал, что наступающий день ознаменует решающий поворот в развитии Европы. В разгар заседания федерального правительства мне сказали, что специальный представитель французского министра иностранных дел желает передать мне экстренное сообщение. У него имелись два письма от Шумана, и он уведомил Бланкенхорна, что как раз в этот момент в Париже на совете министров обсуждается содержание этих писем. Бланкенхорн принес их в зал заседания. Одно, написанное от руки, содержало личное обращение г. Шумана. В нем он указывал, что смысл его предложения не экономический, а в высшей степени политический. Французы боятся вновь подвергнуться нападению Германии после того, как она восстановит свою мощь, и возможно, что аналогичные опасения имеют место и в Германии. Любому перевооружению предшествует увеличение производства угля, железа и стали. Если удастся создать организацию, подобную той, которая предлагается, это позволит обеим странам-участницам вовремя заметить начало подобной эволюции; такая возможность внесет успокоение в сознание французов... Я тут же ответил Шуману, что полностью поддерживаю его предложение».

В Париже совет министров заседал в Елисейском дворце, и Клапье вспоминает о своем долгом ожидании в соседнем кабинете. Мы на улице Мартинак поддерживали с ним связь по прямому правительственному телефону. Миновал полдень, повестка дня заседания была исчерпана, а Шуман все не брал слова. Он не мог выступить, не получив полного согласия от Аденауэра, согласия, в котором он не сомневался, но которое должно было быть официально подтверждено. Это подтверждение Михлих передал Клапье как раз в тот момент, когда заседание совета министров было закрыто, и всем пришлось снова рассаживаться по своим местам. То, что сказал Шуман своим коллегам, является правительственной тайной, но до меня дошло, что он был еще более краток и еще менее внятен, чем обычно. Никто не поставил под сомнение своевременность предложения, которое он собирался сделать

в Лондоне и которое было живо поддержано Плевеном и Мейером, при том что большинство министров прочли полный текст только в утренних газетах на следующий день. По завершении совета министров Клапье позвонил мне: «Дело сделано, можно двигаться дальше».

«Двигаться дальше», по нашей диспозиции, означало устроить громкую презентацию нашего проекта, о котором очень скромно было сообщено утром. Тотчас было разослано приглашение французским и иностранным журналистам собраться на Кэ д'Орсэ к 18 часам. Второпях забыли пригласить фотографов и радио, так что Шуману пришлось, несколько месяцев спустя, инсценировать свое выступление, дабы оно было должным образом запечатлено для потомства. Оставшееся до пресс-конференции время было посвящено приему послов европейских стран, чтобы ввести их в курс проекта, о котором их правительствам предстояло узнать не из их донесений, а из газет. Затем Шуман вошел в Салон часов, где его ждали более двухсот журналистов. Я присоединился к ним вместе с Сильвией, Гиршем, Юри и Фонтеном. Я не уверен, что глухой, неуверенный голос министра позволил журналистам сразу понять, что они являются свидетелями кардинального поворота в мировой политике, хотя необычный тон преамбулы об этом свидетельствовал:

«Речь идет не о декларациях, а о смелом действии, о созидательном акте. Франция решилась на шаг, который может иметь огромные последствия. Мы надеемся, что такими они и будут. Наше усилие предпринято во имя мира. Чтобы мир мог восторжествовать, необходимо существование Европы как целого».

В действительности это было скорее заключение, чем преамбула, и я постарался это объяснить редакторам больших газет, чтобы рассеять их сомнения относительно предложения, технические аспекты которого скрывали при первом чтении его политическое значение. Я знал, что они будут говорить об индустриальном комбинате, об угольно-стальном пуле, и все это будет соответствовать истине. Но речь шла также о Европе и о поддержании мира. Роже Массип из «Figaro»,

Шарль Ронсак из «Franc-Tigeau», Жак Гаскюэль из «France-Soir», Гарольд Каллендер из «New York Times» и ряд других журналистов это прекрасно поняли и в своих статьях прокомментировали событие так, как оно того заслуживало.

В это же самое время в Германии Аденауэр, со своей стороны, ожидал официального сообщения о французской инициативе, чтобы объявить собравшимся в Бонне журналистам о согласии своей страны. В заявлении, которое он сделал, говорилось: «Предложение, сделанное Францией, является великодушной инициативой, обращенной к нам. Оно знаменует решающий прогресс во франко-германских отношениях. Оно состоит не из общих формул, а из конкретных предложений, основанных на равенстве прав». Со своим обычным реализмом канцлер сразу указал на ближайшую выгоду: «После того как производство в Сааре станет общим, источник напряженности между Францией и Германией будет устранен».

Все было решено за несколько часов двумя людьми, которые осмелились принять на себя ответственность за судьбы своих стран. Но какое бы удовлетворение я ни испытывал, уже в этот момент я знал, что главное еще предстоит сделать, и сделать срочно: надо было, чтобы создание соответствующих учреждений закрепило соглашение, достигнутое благодаря доброй воле с той и с другой стороны. Без людей ничего нельзя достигнуть, без учреждений ничего нельзя закрепить.

Робер Шуман, который торопился на лондонский поезд, так упорно уклонялся от конкретных вопросов журналистов, что один из них воскликнул: «Значит, это прыжок в неизвестность?» — «Именно так, — спокойно ответил Шуман, — прыжок в неизвестность». Но мало кто был способен оценить истинность этого образа. Люди были склонны думать, что дело было тщательно подготовлено в техническом отношении, и эта уверенность укрепилась, когда стало известно, что проект исходил с улицы Маргиньяк. Вера в наш практицизм породила множество недоразумений, прежде всего в Лондоне, где Шумана и Клапье сразу же забросали вопросами о полномочиях Верховного органа власти, о судьбе такого-то угольного бассейна, о формировании цен... За-

труднясь ответить, они призвали на помощь меня, и я решил присоединиться к ним 14 мая.

А пока три министра продолжали переговоры, проходившие в тяжелой атмосфере, так как Бевин рассердился на Ачесона и Шумана, заподозрив их в антибританском заговоре. Ачесон с юмором рассказывает о трудном моменте, когда 9 мая, во время завтрака в Форин Оффисе, посол Франции Массильи попросил, чтобы Бевин принял его. «Что ему от меня нужно?» — проворчал Бевин. Ачесон, связанный обязательством хранить секрет, промолчал, за что ему и предстояло расплатиться на следующий день.

Массильи явился, чтобы передать пока еще официозное извещение о решении французского правительства. У самого Массильи не было времени осмыслить это решение; я сомневаюсь, чтобы ему и в дальнейшем это удалось. Бевин не передал через него никакого официального ответа, но в частном порядке сказал: «Мне кажется, что в отношениях между нашими странами кое-что изменится». Бевину были свойственны непродуманные и порывистые поступки, и эта его черта усугублялась болезнью, которая вскоре и свела его в могилу.

Случаю было угодно, чтобы в эту решающую минуту Бевин остался в Лондоне один. Эттли и Стаффорд Криппс проводили отпуск во Франции, каждый сам по себе. В суматохе молодой государственный секретарь Форин Оффиса Кеннет Янгер склоняется к тому, чтобы Великобритания присоединилась к Франции и Германии. Энтони Иден горячо поддерживает эту идею в публичном выступлении, то же делает и лорд Лейтон от имени либеральной партии. Но «Times» возражает, испуганный словом «федерация», а «Daily Express» пишет: «Такой шаг означал бы конец независимости Британии». 11 мая Эттли, вернувшийся в Лондон, выступает в палате общин. Он приветствует франко-германское примирение, но призывает более глубоко рассмотреть экономические последствия. Таким образом, до моего приезда вопрос остается открытым.

Что же касается Ачесона, то он не замедлил, с согласия Трумэна, сделать позитивное заявление: «Мы с чувством удовлетворения одобряем далеко идущую французскую ини-

циативу». Горячо поддержал ее и граф Сфорца от имени итальянского правительства. Правительства стран Бенилюкса хотели бы получить разъяснения технического характера, но давление общественного мнения заставило их заявить о немедленном одобрении. Между тем в Лондоне министры трех держав наконец пришли к согласию относительно Германии. «Все переменялось, — телеграфировал Шарль Роснак. — Вместо конференции под знаком холодной войны у нас будет конструктивная конференция, посвященная попытке экономической организации Европы». Эхо от взрыва «бомбы Шумана» распространилось в мировой прессе, и его услышали в правительственных кабинетах. Но было впечатление, что все зависит от позиции Лондона, давно ставшего центром, где принимаются европейские решения. Я знал, что борьба будет трудной, и надеялся, что нам удастся победить. Но в глубине души я чувствовал, что главного мы уже добились и поворота назад не будет. Европа пришла в движение. А выбор англичан будет касаться только их.

Приехав в Лондон в сопровождении Гирша и Юри, я, как обычно, поспешил увидеться со старыми друзьями. Это не обязательно лица, находящиеся на авансцене, но, как и мои друзья в Нью-Йорке, это деловые люди, юристы и журналисты. В сфере своей деятельности они видят все насквозь: ведь от их осведомленности зависит их успех. Мои друзья знают, какая информация мне нужна, и, чтобы сориентироваться, мне бывает достаточно одного разговора; после этого я могу вступить в контакт с моими политическими собеседниками. Итак, сначала я пообщался с лордом Брандом, Киндерслеем, Сальгером, Джоффри Краутером, директором «Economist», который был за участие Англии в Верховном органе, но не скрывал от меня, что на страницах своего журнала ему будет трудно отстаивать такую позицию. Англия не была побеждена в войне, она не знала, что такое вражеское вторжение. Она не чувствовала необходимости заклясть демонов истории. Ее имперское прошлое еще не завершилось, а ее вступление в эру всеобщего благосостояния едва началось.

Черчилль говорил: «Мы должны быть заодно с Францией». И тут же добавлял: «Нам нужно следить, чтобы это не повело у нас к снижению зарплат и уровня жизни, не ухудшило условий труда». Эттли не мог занимать менее решительную позицию. Плауден, назначенный моим официальным партнером по переговорам, засыпал меня вопросами: как будет формироваться Верховный орган власти? какой характер будет носить его вмешательство? какие будут существовать гарантии от его произвольных решений? только ли он будет иметь власть закрывать предприятия? как будет обеспечена полная занятость?

Было ясно, что англичане не хотят обсуждать ни принципы, ни метод ведения переговоров, пока не узнают заранее о практических последствиях, которые, с нашей точки зрения, как раз и должны были быть предметом и целью переговоров. Конечно, мы с Гиршем и Юри могли бы ответить на вопросы и даже принять замечания. Но для того, чтобы успокоить английское правительство, нужен был *a piece of paper* — какой-нибудь письменный текст. Я обещал Плаудену, что мы напишем ему по возвращении в Париж, — что мы и сделали. Нам это помогло уточнить некоторые идеи, в том числе методы парламентского контроля над Верховным органом.

Однако скоро стало ясно, что это неправильный путь и что он не позволит нам уклониться от фундаментальной проблемы, о которой Эттли напомнил в своем выступлении в палате общин: «Официозный обмен мнениями с господином Монне ясно показал нам, что если французское правительство не проработало в деталях практическое осуществление своих предложений, то относительно процедуры переговоров у него имеются очень четкие представления». И действительно, в данном случае мы оказались большими прагматиками, чем англичане, так как мы предложили основу для дискуссии и метод ее ведения. Было очевидно, что англичане в затруднении. Плаудену пришла в голову идея устроить совместный обед для меня и генеральных секретарей министерств. В конце обеда один из них сказал со вздохом: «Хорошо было нашим отцам: они в любой ситуации знали, что делать». В этих словах выразилась вся английская ностальгия по ушедшим

временам. Встретившись после этого обеда с Шуманом и Массильи, я им сказал: «Англичане не смогут собственными силами проложить свой курс в будущее. Перемены будут им навязаны извне».

Лучше было разговаривать начистоту. Сэр Стаффорд Криппс просил меня перед отъездом зайти к нему в офис. «Вступите ли вы в соглашение с Германией без нас?» — спросил он. — «Дорогой друг, — ответил я, — вы знаете, какие чувства, вот уже тридцать лет, я испытываю к Англии, вы не можете в них сомневаться. Я от всего сердца желаю, чтобы вы с самого начала были вместе с нами. Но если этого не случится, мы пойдем вперед без вас, и, поскольку вы являетесь реалистами, я уверен, что вы станете действовать в соответствии с фактами, когда убедитесь, что мы достигли цели».

В это же самое время Шуман проводил пресс-конференцию. «Сколько должно быть стран, чтобы вы осуществили ваш план?» — спросили у него. — «Если нужно, мы продолжим переговоры вдвоем», — ответил он. Такая решимость не должна была бы оставить сомнений у англичан, если бы он не добавил: «Если невозможно стопроцентное участие, возможна ассоциация, совместимая с английскими экономическими структурами и концепциями». Это был с его стороны неосторожный ход, ибо опыт меня научил, что нельзя позволять англичанам добиваться особых условий или особого положения в их отношениях с другими, нельзя даже подавать им такую надежду. И наоборот, вы можете многого от них добиться, если решительно предлагаете им сотрудничать на основе равенства. Если ваша решимость остается неизменной, существует много шансов, что рано или поздно они примут вашу позицию и станут вашими партнерами в полном смысле слова.

Я понял, что переговоры в их нынешней форме ни к чему не приведут и что мы должны двигаться вперед без англичан. Едва вернувшись из Лондона, я отправился в Бонн, чтобы встретиться с немецким канцлером. Бернар Клапье сопровождал меня и осуществлял связь между Шуманом и мной; он был горячим сторонником нашей идеи и пользовался полным доверием Шумана. «Клапье — золотой человек», — час-

то говорил Шуман. Он давно присматривался к молодому чиновнику, еще с тех пор, когда Клапье был главой его кабинета в министерстве финансов. Через полгода совместной работы Шуман пригласил его на ужин в маленький ресторан, и с этого момента Клапье стал его доверенным лицом, одним из очень немногих. Я, в свою очередь, имел возможность убедиться в уме, честности и бескорыстии этого скромного человека, ставшего моим другом.

В Бонне у меня состоялась встреча с еще одним моим другом, Джоном Макклоем. На этот раз ему предстояло быть моим официальным партнером в сложных переговорах, где могли очень пригодиться точность его политических оценок и его дипломатический талант. В то время он был американским верховным комиссаром и действующим председателем Совета при Верховной комиссии союзников, куда входили также Франсуа-Понсе и английский генерал Робертсон. Этот совет все еще обладал большими полномочиями по контролю над вновь созданной Федеративной республикой Германией, в том числе и над ее внешней политикой. Ситуация была непростой: я должен был просить у Макклоя разрешения на начало переговоров с Аденауэром, в то время как сами эти переговоры предполагали восстановление отношений равенства между Францией и Германией. Таким образом, решение Совета не было простой формальностью: оно должно было стать последним актом его дипломатической опеки.

Решение не могло быть принято автоматически; чтобы убедить, я должен был прибегнуть к подробному изложению сути дела. Что касается целей нашего предприятия, то Макклой был, конечно, целиком на нашей стороне, но ему приходилось учитывать возражения своего английского коллеги: «Германия — подконтрольное государство, его уголь и сталь находятся под секвестром союзников. Значит, Верховная контрольная комиссия должна быть представлена на переговорах». Это противоречило самому духу французских предложений. И Арман Берар, помощник Франсуа-Понсе (его самого в этот день не было), высказался в том духе, в каком его проинструктировал Клапье: «С того момента, когда мы разрешим федеральному правительству вести переговоры, оно

должно их вести как суверенное государство». Поскольку дискуссия застопорилась, я взял слово: «Учитывая значение обязательств, принимаемых на себя Германией по условиям договора, чрезвычайно важно, чтобы в дальнейшем никто не мог сомневаться, что договор был ею подписан добровольно». Стало ясно, что мы ставим вопрос в политической плоскости, и возражения были сняты. Я получил разрешение начать переговоры с Аденауэром.

Во второй половине дня меня пригласили в его кабинет во дворце Шаумбург. Меня сопровождали Клапье и Берар (последний пришел как частное лицо). Рядом с канцлером сидел Бланкенхорн. Я заранее составил себе представление об Аденауэре: чопорные манеры, невозмутимое лицо... Оказалось, что я его совершенно не знал. Передо мной сидел не самоуверенный политик, а человек, которому не терпелось услышать, что я скажу, и которому было трудно подавить в себе известную подозрительность. По-видимому, он не мог поверить, что мы действительно предлагаем ему равное партнерство; в его поведении давала о себе знать память о тянувшихся годами трудных переговорах, ранивших его гордость. Наша беседа продолжалась полтора часа, после чего я увидел, как старый канцлер начал понемногу оттаивать и как стало проявляться волнение, которое ранее он всячески сдерживал.

«Мы хотим установить отношения между Францией и Германией на совершенно новых основаниях, — говорил я. — И то, что нас раньше разделяло, а именно — военную промышленность, мы хотим обратить к нашему общему благу и благу всей Европы. Тогда Европа вновь обретет ту выдающуюся роль, которую она играла раньше и которую затем потеряла из-за своей разобщенности. Ее единство не нанесет ущерба ее многообразию, напротив! Это многообразие составляет ее богатство, ее вклад в цивилизацию, и оно окажет влияние на другие державы, даже на такую, как Америка.

Таким образом, французское предложение вдохновляется прежде всего политическими соображениями. Оно даже содержит в себе, так сказать, моральный аспект. По своей сути, оно имеет очень простую цель, к которой французское правительство будет стремиться, не обращая вни-

мания на технические трудности, которые могут возникнуть на первом этапе».

Последний пункт я подчеркнул, так как мне казалось в тот момент особенно важным сделать акцент на проблемах метода и договориться о принципиальной концепции сотрудничества. Мой визит в Лондон показал, что французское предложение, столь ясное и простое как по духу, так и по форме, может быть совершенно искажено посредством слишком скрупулезного и нарочито технического подхода. И в Германии, с ее промышленниками и дипломатами, существовал риск возникновения подобных же трудностей, хотя и по иным мотивам. «Предложение Шумана, — добавил я, — получило в нашем общественном мнении глубокий отклик. Народы не должны больше быть обманутыми в своих ожиданиях. Нужно как можно скорее перейти к действиям. Переговоры должны привести к соглашению общего характера, в котором будет заявлено о создании Верховного органа власти. Затем приступят к работе технические специалисты. Конкретные проблемы, я знаю это по опыту, перестают быть неразрешимыми, как только их начинают рассматривать с точки зрения великой идеи».

Аденауэр выслушал меня внимательно и ответил взволнованно: «Я сам тоже не являюсь техническим специалистом, я даже не вполне политик. Как и вы, я рассматриваю это начинание с самой высокой точки зрения — с точки зрения морали. По отношению к нашим народам мы несем прежде всего моральную ответственность, а затем уже — ответственность за техническую сторону, которую мы тоже должны обеспечить, чтобы реализовать столь обширный замысел. В Германии он был встречен с энтузиазмом, поэтому мы не будем придирааться к деталям. Вот уже двадцать пять лет, как я ожидаю подобной инициативы. Мое правительство и моя страна присоединяются к ней без всяких скрытых гегемонистских намерений. С 1933 года история нас научила, сколь бесплодно стремление к господству. Германия знает, что ее судьба связана с судьбой Западной Европы».

Мы перешли к обсуждению последующих этапов. Канцлер сказал мне, что он озабочен поисками «немецкого

Монне», поскольку Клапье сообщил ему, что французское правительство решило поручить ведение переговоров мне. Он назвал несколько имен деловых людей. Эти имена были мне либо не знакомы, либо не сулили ничего обнадеживающего. Тогда я сказал: «Вряд ли стоит искать так далеко компетентного человека. Господин Шуман твердо намерен держать проблему под своим контролем, и я позволю себе посоветовать назначить на переговоры представителя, подчиненного непосредственно вам. Последнее слово всегда будет за политикой». Беседа заканчивалась. Аденауэр встал и сказал мне: «Господин Монне, я считаю осуществление французского предложения своей самой важной задачей. Если мне удастся довести это дело до конца, я буду считать, что не зря прожил жизнь». Я откланялся. В своих мемуарах Аденауэр написал обо мне: «Впоследствии я всегда оставался его другом».

Комментируя мою поездку в Бонн, закончившуюся официальным коммюнике о достигнутом соглашении, Эттли сказал в палате общин: «Этот факт, безусловно, ограничил обмен мнениями между нами и затруднил осуществление того, чего желало правительство Ее Величества, а именно: активно участвовать в обсуждении французских предложений, не соглашаясь заранее с провозглашенными в них принципами». Нельзя было более ясно резюмировать суть запутанных дипломатических переговоров, которые велись после моего возвращения из Бонна вплоть до 3 июня. За десять дней было послано одиннадцать нот, потребовалось четыре тысячи слов, чтобы исчерпать все аргументы канцелярий и все диалектические ухищрения спорщиков. Белые книги были опубликованы с той и с другой стороны; спор шел по одному конкретному вопросу: подлежит ли обсуждению сам метод обсуждения плана Шумана? Другими словами: надо ли садиться за стол переговоров, чтобы снова ставить под вопрос создание Верховного органа власти? Этот вопрос только казался формальным. Рассматривать его только в процедурном плане, делать его предметом компромисса значило бы подрывать метод и принципы, которые сообщали и про-

должают сообщать динамику всей европейской конструкции. Я держался твердо от начала и до конца.

25 мая французское правительство направило Лондону меморандум, предлагая проект коммюнике, который уже был принят Германией и предлагался также Бельгии, Нидерландам, Люксембургу и Италии:

«Правительства... решили продолжить совместные действия в целях поддержания мира, европейской солидарности и экономического и социального прогресса посредством совместного производства угля и стали и учреждения нового Верховного органа власти, решения которого будут обязательными для стран-участниц.

Переговоры на базе основных принципов и обязательств, изложенных во французских предложениях от 9 мая сего года, откроются в срок, который будет незамедлительно предложен французским правительством с целью подготовки договора, который будет представлен на утверждение парламентов».

Однако это послание разминулось в пути с первой английской нотой, в которой заранее отвергалась идея международной конференции и, напротив, выражалось пожелание, чтобы Франция и Германия начали между собой прямые переговоры, в которых Англия хотела бы принять участие с самого начала в надежде получить разъяснения относительно деталей предлагаемой системы. После чего она могла бы принять решение о своем присоединении к этому предприятию. На следующий день поступило новое, более четкое послание из Лондона: «Мы получили ваш меморандум. Следует ясно отдавать себе отчет, что, если французское правительство намерено настаивать на обязательстве отдать ресурсы в общую собственность и учредить Верховный орган власти с суверенными полномочиями и рассматривает это как предварительное условие для переговоров, британское правительство не сможет, к своему великому сожалению, принять подобное условие». Английская нота отказывается от принятия обязательств об участии («commitment») и выражает пожелание, чтобы те, кто в такой участии заинтересован, согласились вести переговоры на других основа-

ниях («on a different basis»). Об этом и шел спор, в этом и заключалась суть британского подхода.

Почему понадобилось столько нот, чтобы зафиксировать фундаментальное расхождение, которому предстояло сгладиться только через много лет, по мере того как Сообщество добивалось успехов? Дело в том, что я не терял надежды убедить, а дипломаты с обеих сторон стремились победить. В этих переговорах по телеграфу было что-то нелепое: на одном конце провода находились Клапье, Юри, Гириш и я, на другом, в Лондоне, — Кеннет Янгер, в отсутствие большого Бевина предоставленный сам себе и функционерам из Форин Оффиса. Ни один посланец не пересек Ла Манш, ни один посол не принял участия в этой игре. В одно из воскресений на Пятидесятнице мы отправили в Лондон длинную депешу, желая рассеять британские опасения и предоставить им желанную «бумагу». Я настоял, чтобы в ней было указано, что целью является «частичное слияние суверенитетов». Что касается слова «вступление», я уточнял, что речь идет о принятии определенного метода, определенной линии поведения, а вовсе не о конечном согласии вступить в Верховный орган власти.

В связи с этой грамматической проблемой англичане и дали свой последний бой. «Принять ваше коммюнике, — написали они 31 мая, — означало бы дать предварительное согласие на создание сверхнациональной Верховной власти, не зная, куда она нас практически приведет». Далее следовал проект дополнения, предоставлявшего англичанам особый статус на переговорах и возникшего из предложения Шумана найти согласительный вариант, чем немедленно и занялись Массильи и Янг. Я решил не поддаваться на эту уловку. Вместе с Гиришем мы срочно составили докладную записку во французское правительство, чтобы быть уверенными в его поддержке. В записке говорилось: «Страны, уже принявшие наше предложение, особенно Германия, могут потребовать особого статуса также и для себя. Это противоречит нашей задаче — устранить любую дискриминацию и предоставить всем равные шансы. Согласиться с британским предложением значило бы сразу пойти на подмену французского предложения карикатурой на него. Вместо общих правил и незави-

симого Верховного органа власти мы получим нечто вроде ЕОЭС («Европейской организации экономического сотрудничества»). В конце концов, должен наступить момент, когда Франция возьмет на себя ответственность за прекращение переговоров».

Пора было ставить точку. На следующий день мы предложили всем правительствам текст коммюнике, где, в целях смягчения разногласий, не было слов «принципы» и «важнейшие обязательства в соответствии с предложением от 9 мая», но зато создание Верховного органа власти выдвигалось как «ближайшая задача». Мы попросили дать нам ответ до восьми часов 2 июня. Все уже было решено, последующее делалось уже только для общественного мнения. «Различия в подходе сохраняются», — констатировали англичане. В конце концов, обе стороны решили держать друг друга в курсе дела, с тем чтобы, как говорилось в нашем заявлении, «максимально учитывать позицию британского правительства, которое имеет полную возможность присоединиться к общему делу в любой подходящий для него момент».

3 июня шесть правительств опубликовали совместное коммюнике, открывшее путь к европейскому объединению. Британское посольство в Париже по-своему приветствовало это событие: «Известны прецеденты, когда международные организации создавались под звуки труб и фанфар, но затем, когда дело доходило до практической реализации, сталкивались с трудностями и разочарованиями». Говоря о звуках труб, сэр Оливер Харви и не подозревал, сколь удачный образ им найден. Наши трубы заставили рухнуть величественную британскую самоуверенность, как рухнули стены Иерихона. В английской прессе, в палате общин, внутри политических партий — повсюду начинались горячие споры.

В этих спорах уже давали о себе знать все оттенки настроений, владевших англичанами по отношению к европейским проблемам на протяжении последующих двадцати пяти лет, вплоть до 1975 года, когда народный референдум положил конец их колебаниям. Здесь можно было обнаружить в первоначально чистом виде английское понимание своего на-

ционального будущего. В этом смысле весьма поучителен документ исполнительного комитета лейбористской партии, неожиданно опубликованный 13 июня, в тот самый день, когда Эттли объяснял в палате общин причины неудачного исхода переговоров. Документ под названием European Unity («Европейское единство»), подготовленный группой под руководством Хью Дэлтона, занимавшего пост министра, выражал мнение Эттли и еще шести министров, входивших в исполнительный комитет. «Мы не приемлем любую форму наднациональной власти, — говорилось в манифесте. — В действительности нам нужна надежная международная система для проведения в жизнь свободно заключенных договоров».

Манифест отвергал в международных делах обязательные для всех правила и в особенности принцип принятия решений большинством голосов. В нем также четко провозглашались основополагающие принципы, которыми тогда руководствовалась английская внешняя политика: никакие изменения в отношениях между Великобританией и Западной Европой не должны ослаблять позиции Лондона как центра Британского содружества и главного банкира стерлинговой зоны; не может быть и речи о делегировании власти какому-либо сверхнациональному органу, который мог бы вмешаться в британский социалистический опыт. И наконец, в документе можно было прочесть следующую многозначительную фразу: «Мы гораздо ближе к Австралии и Новой Зеландии, чем к Европе, — и по языку, и по корням, и по обычаям, и по установлениям, и по политическим концепциям, и по интересам».

Эттли попытался несколько дистанцироваться от манифеста своей партии, но психологическое воздействие этого документа было глубоким и в Европе, и в Соединенных Штатах. Социалисты на континенте не скрывали своего смущения. Участие Великобритании могло бы стать для них гарантией и условием их поддержки Сообществу, если бы только лейбористы не заняли позицию тотального неприятия. Французы и бельгийцы заявили, что они «неприятно удивлены». Консерваторы, руководимые Черчиллем и Иденом, не захотели использовать этот повод для борьбы со своими по-

литическими противниками: ведь и они тоже не хотели никакого Верховного органа власти. Подтверждение этому я получил через месяц, ознакомившись со встречными предложениями, которые Макмиллан сделал в Страсбурге: Верховный орган превратился в этих предложениях в комитет отраслевых представителей промышленности, наделенных правами пропорционально объему производства в их странах; к нему в рамках Совета Европы пристегивался еще и комитет министров, обладавший правом голоса. Свой проект Макмиллан направил мне в виде дружеского послания, и это позволило мне ответить ему открытым письмом, получившим широкое хождение в Страсбурге; в нем я возражал против основного недоразумения, которое, как я опасался, задержит момент необходимого вступления Англии в Сообщество:

«Предложения Шумана, — писал я, — либо совершат переворот, либо они вообще не нужны. Их главный принцип — делегирование суверенитета в ограниченной, но определяющей области. По моему мнению, если план не будет исходить из этого принципа, то он не сможет внести никакого полезного вклада в решение стоящих перед нами важнейших проблем. Как ни важно межгосударственное сотрудничество, само по себе оно ничего не решает. Необходимо стремиться к слиянию интересов европейских народов, а не просто к равновесию интересов». Со временем Макмиллан это поймет. А пока я просил его не вносить слишком большого смятения в умы. «Я достаточно знаю британский народ, — писал я, — чтобы быть уверенным, что он никогда не будет противиться мерам, принимаемым в интересах Европы, даже если в данный момент стоящие перед ним особые проблемы мешают ему целиком присоединиться к осуществлению данного проекта». В действительности все эти «особые проблемы» — будь то Британское содружество, фунт стерлингов или социалистический эксперимент — не могли полностью объяснить британскую позицию.

Я угадывал у них более глубокое и не сформулированное беспокойство, подтверждение чему я нашел в письме, которое Гайар прислал мне из Страсбурга: «Лейбористы, — писал он, — враждебны плану Шумана, потому что они пора-

женчески настроены в отношении будущего Европы и не хотят иметь ничего общего с континентом в случае войны, которую они считают неизбежной и близкой. Они отвергают все. Консерваторы более или менее разделяют такой подход». Надо представлять себе эту атмосферу 1950 года (к которой я еще вернусь), чтобы понять, как чувство страха, вызванное холодной войной в Европе и корейским пожаром в Азии, могло порождать столь противоположные реакции: объединение на континенте и изоляционизм в Британии. «Англия, — отмечал я тогда, — не верит, что Франция и другие страны Европы смогут, или даже захотят, по-настоящему сопротивляться возможному русскому вторжению. Они думают, что в случае конфликта континентальная Европа будет оккупирована, но Англия в союзе с Америкой будет сопротивляться и в конечном счете победит. Поэтому она не хочет, чтобы на ее внутреннюю жизнь и на распределение ее ресурсов кто-то влиял извне, с позиций европейской политики».

Если глубокие чувства англичан были такими, как я думал, то у нас не было шансов переубедить их в обозримом будущем. Что же касается нас, то мы уже основательно ввязались в дело.

Глава 13

Конференция, посвященная плану Шумана (1950)

Придумать

Конференция шести стран, принявших план Шумана, была созвана на 20 июня в Париже. В широких массах населения ей сопутствовали большие надежды, а в некоторых узких кругах — определенные опасения. Как можно было предвидеть, национальные деловые группы боялись, что их интересы будут принесены в жертву интересам соседей. Нам предстояло доказать, что эти взаимные опасения не имели оснований. Особенно волновались представители черной металлургии. Их корпоративные организации, привыкшие к практике секретных соглашений, были настроены против Верховного органа власти, поскольку ему предстояло решать вопросы явно и открыто. Правда, в личных разговорах их позиция была не столь категорична. Гирш, который был хорошо знаком с руководителями этой отрасли, позаботился о том, чтобы вступить с ними в контакт по собственной инициативе еще до 9 мая. И вот что сказал один из них, человек, заслуживающий полного доверия: «Для нас здесь нет выбора: либо мы это сделаем, либо погибнем». Естественно, мы не могли обнародовать такие признания, сделанные в частном порядке, и предоставляли им возможность громко протестовать против того, что мы якобы самовольно распоряжаемся их судьбой. В действительности мы не хотели обсуждать с представителями частных интересов дела столь широкого общего значения. И хотя

правительства были завалены жалобами, поддержка общественного мнения помогала им стоять на своем.

Позиция профсоюзов была особенно показательна. Если не считать ВКТ, которая сразу же стала разоблачать план как «покушение на национальный суверенитет», другие профсоюзные объединения — «Force ouvrière», руководимая Жуо, и ФКХТ («Французская конфедерация христианских трудящихся»), руководимая Гастоном Тесье, согласились с планом в принципе. 23 мая на конференции в Дюссельдорфе Международная конфедерация свободных профсоюзов заявила о своем согласии и желании сотрудничать. Такое позитивное отношение профсоюзов контрастировало с осторожной позицией социалистических партий.

Во Франции это расхождение постепенно сгладилось благодаря усилиям Ги Молле, а в Германии, наоборот, усилилось из-за стремления Шумахера во всем противостоять Аденауэру. «Немцы готовятся подписать соглашение, закрепляющее оккупационный режим на пятьдесят лет вперед», — заявлял он и, как пугалом, размахивал угрозой «четырёх К» (Капитализм, Клерикализм, Консерватизм, Картели). Канцлер ответил ему не менее резко: «Тот, кто стремится саботировать и опорочить план Шумана, плохой немец». Но один молодой социалистический депутат от Берлина уже сделал свой выбор: «Мы слишком долго требовали европеизации тяжелой индустрии и не можем сегодня не приветствовать с радостью каждый шаг, который приближает нас к этой цели. Надо с пониманием отнестись к французскому предложению». Эти слова принадлежали Вилли Брандту, имя которого уже становилось известным.

Я внимательно прислушивался ко всем выражениям беспокойства, исходившим от старых бельгийских угледобытчиков, от молодых итальянских промышленников, от смелых нидерландских планификаторов. Ни одна из возникавших частных ситуаций не казалась мне неразрешимой. Я был убежден, что динамизм развития новой Европы увлечет их за собой. Но я знал, как трудно будет убедить в этом каждого отдельного участника. Например, Нидерланды сочли нужным записать, что оставляют за собой право

любой момент выйти из переговоров; такая возможность подразумевалась сама собой, но то, что Нидерланды на ней настаивали, показывало, что в их лице мы имеем трудных партнеров.

В общем и целом все эти сложности только укрепляли мой оптимизм: если, при всех своих колебаниях, государства пошли на решительный шаг, значит, их решение было политическим и опиралось на поддержку подавляющего большинства. Чтобы избежать любых кривотолков и сразу поднять переговоры на должный уровень, Аденауэр заявил 13 июня в бундестаге: «В полном согласии не только с французским правительством, но и с господином Жаном Монне, я хочу твердо заявить, что этот проект имеет в первую очередь политическое, а не экономическое значение».

Имея в виду политическую перспективу переговоров, Аденауэр был по-прежнему озабочен поисками немецкого представителя. Он написал мне несколько писем, прося совета, и прислал ко мне первого кандидата. Это был способный бизнесмен, но его горизонт этой способностью и ограничивался. Я сказал об этом Аденауэру, и он со мной согласился. «Мне рекомендовали одного профессора из Франкфуртского университета, обладающего всеми необходимыми качествами», — сообщил он мне. Когда некоторое время спустя я встретился с Вальтером Хальштейном, он мне сразу понравился как человек и между нами установилось доверие. Его культура и широта воззрений позволяли ему понимать проблемы других, по самой своей сути он был активным гуманистом, великим европейцем, и последующие события это подтвердили. Труднее было распознать скрытые стороны его натуры, его душевные качества, его верность и искренность, но я их почувствовал в первый же день. По-настоящему он раскрывался в работе и в кругу немногочисленных друзей. Он пользовался большим и все возрастающим авторитетом. Не будучи профессиональным политиком, Хальштейн обладал политическим пониманием вещей.

Аденауэр направлял людей и события, это был человек действия. Анализ фактов имел для него второстепенное значение, главным для него была цель. К решению он шел прямо

и незамедлительно. В 1950 году у нас была общая цель: объединение Запада. Как, какими путями — это было для него не главное: пути должны были искать мы с Хальштейном. Наше счастье, что Аденауэр доверился Хальштейну, который стремился направлять события в том же русле, что и мы с Шуманом. Согласие между Францией и Германией было политической необходимостью, но ей необыкновенно способствовал правильный выбор людей. Теперь мы могли двигаться быстро. 16 июня Аденауэр писал мне: «Совершенно с вами согласен, что надо максимально ускорить переговоры и, если возможно, завершить подготовку договора до парламентских каникул: только так мы получим уверенность, что великая идея станет реальностью».

Ближайшей датой, которую мы смогли наметить для начала конференции, было 20 июня. Мы все стремились не терять темпа. Общественное мнение сразу почувствовало политическое значение проекта и желало его скорейшего осуществления. И если националисты и консерваторы были повсюду против, мы всегда могли опереться на поддержку ведущих европейских газет как на выражение стремления народов к переменам. Однако нам надо было обогнать наших противников, которые начинали мобилизовывать мощные силы. Вот почему, в согласии с Аденауэром и Шуманом, я считал, что соглашение о Верховном органе власти должно быть заключено и ратифицировано очень быстро. После создания такого органа можно будет считать, что политическое решение принято и закреплено и пришло время для работы технических специалистов, которые тоже, вне всякого сомнения, столкнутся с трудностями.

Многие говорили, что мне не удастся выиграть это пари. Однако я никогда не рассматривал наш проект в качестве пари. Когда вы твердо решили идти к цели, надо действовать, а не строить гипотезы и не взвешивать степень риска. Никогда не следует считать какую-либо задачу неразрешимой, не попытавшись ее разрешить. Избранный нами метод был действенным, и если я не мог сказать, что он был наилучшим, в одном я был твердо уверен: путь к новой Европе будет менее трудным, если заключение договоров будет освобождено от

юридического и технического формализма, который им обычно сопутствует. В случае с планом Шумана пройти таким путем не удалось, но в конечном счете мы сумели превратить неудачу в успех: в результате длительных и подробных переговоров нам удалось прийти к заключению договора нового типа, на который еще долго будут опираться, чтобы объединять ресурсы и сближать народы. Никогда не следует терять время на сожаления о том, чего не удалось сделать. Напротив, надо стараться извлечь пользу из неожиданных обстоятельств, которые волею случая возникают на нашем пути.

Даже если на полное осуществление плана Шумана потребовались долгие месяцы, главный политический результат мог быть достигнут почти сразу: в этом меня убедило необычайно быстрое утверждение его идей в те две недели, которые предшествовали конференции. Уже 12 июня мы были готовы представить французскому межминистерскому совету проект Верховного органа власти, предусматривающий как его независимость, так и пути обжалования его решений. Уже вырисовывались контуры арбитражного суда и политической ответственности исполнительного органа перед парламентским корпусом. Было предусмотрено выражение волею недоверия. «Таким образом, — говорил я в своем докладе на совете, — закладываются первые конкретные основы для европейской федерации». Совет уполномочил меня продолжать работу.

Восемь дней спустя первоначальная схема была расширена, и к моменту открытия конференции на моем письменном столе лежал проект договора, состоявший из сорока статей: в первом приближении, но уже достаточно внятно в нем излагались основы европейской организации. Составили его все те же несколько человек на основании предложений от 9 мая, и это был для них момент творческого взлета, о котором потом, может быть, забудут в суете, сопутствующей конкретному осуществлению проекта. Согласно нашим предположениям, зафиксированным уже в декларации от 9 мая, практическая фаза, начинавшаяся после подписания договора, должна была осуществляться Верховным органом власти и правительствами стран при

содействии арбитра. Но из этого ничего не получилось, и мы увидим почему.

20 июня в шестнадцать часов, в Салоне часов, началась конференция Шести. Делегации были очень многочисленными, слишком многочисленными, по моему мнению; в них было много всевозможных экспертов, и я едва успел познакомиться с теми, кто их возглавлял. Министр иностранных дел сказал в своем вступительном слове: «Мы не имеем права потерпеть неудачу, разойтись, не приняв решения. При том, что никогда раньше государства не собирались вместе, чтобы делегировать часть своего суверенитета сверхнациональной независимой организации». Он напомнил о предлагаемой процедуре: «Нам предстоит рассмотреть в предварительном порядке, без их внесения в договор, технические детали, которые затем будут урегулированы в последующих конвенциях». «Речь идет о коллективной работе, а не о конференции с жестким и пунктуальным регламентом».

В состав французской делегации входили Клапье, Альфан, Гирш, Юри, Деруссо, директор шахт и черной металлургии; предполагалось также привлекать для консультаций и других специалистов, таких, как Жуо, председатель парламентских комиссий, председатель экономического совета Вилье, председатель союза предпринимателей, руководители черной металлургии и угледобычи, наконец, Ботро и Тесье в качестве председателей «*Force ouvrière*» и католических профсоюзов. Эрве Альфан, как было специально оговорено, должен был выступать в качестве связного между конференцией и британским правительством. Другие делегации были сформированы примерно так же. Я поторопился распределить всех по рабочим комиссиям, оставив рядом с собой только главных руководителей. Но прежде всего предстояло убедить всех, что речь не идет об обычной экономической конференции, одной из тех, в которых они привыкли участвовать. И это, как я понимал, будет самая трудная часть моей задачи.

На следующий день я начал методично выполнять свою педагогическую миссию, не боясь повторов и не обращая внимания на нетерпение слушателей. Я убедился на

опыте, что те, кому кажется, будто они уже все поняли, затем скатываются в наезженную колею и начинают вести переговоры так, как они обычно привыкли это делать: процесс переговоров кажется им чем-то самоценным. «Мы собрались для того, чтобы делать общее дело, а не для того, чтобы защищать свои частные выгоды, — сказал я. — Наша выгода заключается в успехе общего дела».

Шестьдесят делегатов тогда еще не знали, что им предстоит на протяжении десяти месяцев выслушивать от меня этот урок, который так трудно усвоить людям, привыкшим видеть свою цель в отстаивании узких национальных интересов. «Решение будет найдено только в том случае, — говорил я, — если мы исключим из наших дискуссий всякий партикуляризм. Насколько нам, собравшимся здесь, удастся изменить наше сознание, настолько же мало-помалу изменится и сознание всех европейцев». Поэтому я просил, чтобы и во внутренней работе, и в общении с прессой мы не употребляли слово «переговоры», а употребляли выражение «конференция по плану Шумана». Помнится, тогда, в первый день конференции, я назвал цель, к которой мы стремимся: «Европейское Сообщество».

Более двух часов я комментировал французский проект, текст которого специально не раздал делегатам, чтобы не «заморозить» прения. В свой доклад я постарался ввести первые важные замечания других делегаций: «Все возражения и все пожелания, — говорил я, — мы объединим, чтобы первоначальный французский проект стал общим проектом». В действительности наш рабочий документ, составленный Юри и Гиршем, был единственным разработанным проектом; другие делегации приехали скорее для того, чтобы задавать вопросы, а не вносить предложения. Было нормально, что на этой стадии инициатива исходила от нас. Но дело было не только в конкретных обстоятельствах. Я всегда стремился, садясь за стол переговоров, иметь на руках свой проект — не важно, окажется ли он первым или единственным. Я должен честно признаться, что часто наши предложения принимались из-за отсутствия конкуренции. Может быть, из осторожности, а может быть, и из-за лени

люди обычно садятся за стол с пустыми руками. И в глубине души они бывают довольны, что кто-то позаботился подготовить текст, хотя бы и в ночь накануне заседания. Но для этого надо провести бессонную ночь.

В своем докладе 21 июня я остановился на источниках независимости и самостоятельности Верховного органа власти: он должен иметь собственное финансирование за счет отчислений от реализации угля и стали, а не за счет государственных субсидий. Более того: его моральный и финансовый авторитет сделает его лучшим заемщиком в Европе. Со своей стороны, он сможет предоставлять ссуды и таким образом направлять поток инвестиций в соответствии с общими интересами, не прибегая к принудительным мерам. В этот день была также высказана идея консультативных комитетов и совместного парламентского организма под названием Общая Ассамблея. Постепенно здание выросло над фундаментом. Для завершенности ему не хватало двух важных составных частей: совета министров (его создания потребуют малые страны) и Суда (в наших предложениях содержался только его зародыш). Зато фигура арбитра и двухфазовая процедура, предусмотренная в нашем проекте, вскоре исчезнут под давлением все тех же малых стран, которые уже на следующий день начнут обставлять политический проект множеством технических предосторожностей.

С 22 июня началась серия узких заседаний, на которых только главы делегаций с одним или двумя советниками решали вопрос о ходе конференции и ее процедурах. Каждый мог высказываться свободно и без протокола. Рядом со мной за столом сидели пять человек, исполненные доброй воли, каждый из которых был выбран из числа лучших переговорщиков своей страны. Среди них наименее известным лицом был Хальштейн — его до этого видели только на конференциях ЮНЕСКО. Остальные были опытными участниками международных конференций, поднаторевшие в торге за национальные интересы. Бельгийский представитель Суэтенс был чиновником на высших должностях, любезным и стоворчивым. Темпераментный Спиренбург воплощал собой

голландское упорство и склонность к изощренным спорам. Верер, хитрый дипломат из Люксембурга, отлично знал, что ему нужно защищать. Все трое опирались на общий опыт создания ограниченного таможенного союза. Единственный из всех, итальянский делегат Тавиани был политическим деятелем, молодым депутатом от демохристиан. Об их назначении со мной заранее не консультировались, мне предстояло знакомиться с ними на протяжении многих месяцев; важно было как можно скорее выработать у них общую точку зрения и желание включиться в совместную работу, а этого было нелегко добиться от чиновников, привыкших следовать указаниям своих правительств. Поместив их на улице Мартинак, я рассчитывал, что напряженный ритм работы и тесное повседневное общение создадут атмосферу солидарности не только между нами шестерыми, но и между многочисленными экспертами, столь же интенсивно трудившимися в различных комиссиях.

Все вопросы, которые мне задавали, выражали опасения, шедшие в одном направлении. Эти вопросы, исходили от людей, имевших опыт переговоров между государством и государством, либо между производителем и производителем с целью заключения более или менее секретных договоренностей, умерявших свободную конкуренцию. Они плохо воспринимали идею, что эта регулирующая роль могла быть передана Верховному органу и осуществляться открыто и суверенно. А нельзя ли, прежде чем создавать Верховный орган, урегулировать все важные технические вопросы с помощью межправительственных соглашений? — спрашивали меня наперебой делегаты Бенилюкса и Италии. Это была установка, в корне противоречившая духу и направлению нашего проекта. Я видел, что большинство участников не были готовы к тому, чтобы немедленно отказаться от имевшихся у них гарантий, даже если работа Верховного органа власти будет обставлена самыми широкими демократическими процедурами. Они хотели, чтобы технические условия работы Верховного органа были созданы до его учреждения, я же предпочитал, чтобы это было сделано позже. В результате то и другое пришлось делать одновременно.

В ходе дискуссии стало ясно, что наиболее трудным оппонентом будет Спиренбург с его боевым и упрямым темпераментом и что его коллеги по Бенилюксу готовы предоставить ему задачу ограничить полномочия новых институтов. Двум возражениям, которые он выдвинул, предстояло стать самым большим препятствием на конференции. И если одно из них нам удалось в конце концов устранить, то с другим ничего сделать было нельзя, и мне пришлось, повинувшись разуму и необходимости, ввести его в опорную часть конструкции здания.

Первое возражение формулировалось так: «Какими будут взаимоотношения между парламентской Ассамблеей и Ассамблеей Совета Европы и не будет ли здесь дублирования функций?» Я понял, в чем здесь была западня, какие здесь были скрытые подтексты и какие могут вытекать отсюда последствия, но не стал на всем этом слишком задерживаться. Более существенным и требующим немедленного ответа было второе возражение: «Предложенный нам французский план произведет переворот во многих областях. Какой будет реакция правительств? Если мы хотим их успокоить, необходимо предусмотреть их роль в системе и предоставить им большие права, даже если речь идет о частичном отказе от суверенитета». Я принял к сведению это замечание, хотя и не сразу оценил все его значение. Во всяком случае, я решил отклонять создание любого межправительственного органа и ясно об этом заявил. Хальштейн, выступавший не часто, энергично меня поддержал.

В течение последующих дней мы занимались полезными дискуссиями по экономическим проблемам, и вот наступил момент предъявить наш рабочий документ в качестве предмета для обдумывания заинтересованными правительствами. Резюме текста было передано прессе, а делегаты отправились в свои столицы для отчета и получения новых инструкций. Я ожидал, что каждый из них расскажет своему правительству о том, что он видел и слышал в Париже в течение этих нескольких дней, когда у него на глазах начала стремительно обретать форму новая Европа. Безусловно, от этих людей потребовалось выйти за пределы предоставленного им

мандата и за пределы их личных концепций, но не могли же они не испытать общего для всех воодушевления?

В день расставания я сказал: «Конечно, дело, в которое мы все вовлечены, ставит перед нами много вопросов. Но большинство из них возникли бы все равно, только решались бы они самопроизвольно, беспорядочно и нам во вред. Если мы не будем ничего делать, наши нынешние трудности обернутся против нас. План Шумана не создает эти трудности, он только делает их явными». К этому я не мог ничего добавить, и мне оставалось только надеяться, что мои коллеги услышали мои аргументы и сумеют убедить других. Наша новая встреча была назначена на 3 июля. Я проследил, чтобы в текст, розданный прессе, было включено следующее уточнение: «Выход из Сообщества государства, являющегося его членом, может произойти только при согласии всех других членов с таким выходом и его условиями. Только одно это требование ясно показывает, сколь коренное преобразование предлагает французский проект. Помимо организации по углю и стали, оно закладывает первые основы европейской федерации. В федерации не может допускаться одностороннее прекращение членства. Сообщество возможно только между народами, которые вступают в него без ограничения во времени и без намерения повернуть назад». Таким образом, теперь ни у кого не должно было оставаться сомнений относительно наших намерений и нашей решимости.

Построить

Когда восемь дней спустя конференция возобновила свою работу, я почувствовал, что дело пойдет трудно, потому что участники ужесточили свои позиции, вернувшись с совершенно новыми инструкциями. Правда, большинство этих инструкций имели оборонительный характер и не ставили под вопрос создание Верховного органа власти. Спор шел о степени его независимости, и здесь назревал конфликт.

Суэтенс первым открыл военные действия: «Мое правительство, — заявил он, — не готово предоставить Верховному органу чрезмерную власть, которая превратит его в

пугало и в которой, к тому же, нет необходимости для достижения стоящих перед нами целей. Эти цели могут быть достигнуты более простым путем — в результате предварительных обязательств, которые возьмут на себя государства. Кроме того, мы не согласны, чтобы контролирующим органом была Ассамблея, формируемая из членов национальных парламентов: только сами национальные парламенты обладают политической ответственностью. Контролирующий орган должен состоять из министров, которые осуществляют реальную власть».

Представитель Люксембурга Верер был озабочен главным образом созданием механизмов обжалования решений; при этом он оперировал понятием жизненных интересов страны, которому можно дать какое угодно истолкование, в чем мы не замедлили убедиться. «Эти решения об обжаловании, — добавлял Спиренбург, — могли бы приниматься комитетом, состоящим из министров стран-участниц, квалифицированным большинством в две трети голосов. Такая процедура укрепила бы роль правительств. Ведь именно они, в конце-то концов, отвечают за общую линию политики наших стран!» Он всегда говорил со страстью на прекрасном французском, и его речь ускорялась в моменты напряжения, которые он же и создавал. «Впрочем, — продолжал он, — я хочу сказать совершенно ясно: в этом пункте я не вижу никакой возможности для компромисса». Тогда Гирш спросил: «В вашей системе большинство в две трети будет необходимо для того, чтобы заблокировать или чтобы подтвердить решение Верховного органа?» — «Чтобы подтвердить», — был ответ. Стало ясно, что страны Бенилюкса мыслили в категориях блокирующего большинства.

Очередь дошла до Хальштейна, и он взял слово: «Немецкое правительство подтверждает свою позицию: план Шумана имеет в первую очередь политическое значение. С этой точки зрения экономические проблемы, как бы существенны они ни были, стоят на втором плане. Им всегда можно будет найти решение. Поэтому немецкая делегация обращается ко всем членам конференции с настоятельным призывом подчинить экономические интересы великой политической це-

ли. Война, разразившаяся в Корее, еще раз показывает, что Европа должна объединиться, ибо мир находится под угрозой. После сказанного выше добавлю: мы не недооцениваем экономические вопросы, на которых я позже остановлюсь подробно. Что касается гарантий, то самой надежной гарантией является качество людей, которые будут управлять сообществом, и уважение принципов, которые будут записаны в преамбуле договора и в его статьях, и прежде всего — принципа равенства. Ассамблея и арбитражный суд будут следить за их исполнением».

Эта сильная, устремленная к высшим целям речь подтвердила, что единство взглядов между Францией и Германией остается непоколебимым. Это было самое важное, и я мог продолжить свою работу по убеждению остальных. Помню, что первым, на кого я направил свои усилия, был Тавиани. Поскольку он требовал, чтобы итальянская черная металлургия рассматривалась на равных основаниях с французской и немецкой еще до того, как будет создан Верховный орган, я ответил ему так: «Я согласен, чтобы условия конкуренции были одинаковыми. Но давайте отвыкать говорить о тяжелой металлургии итальянской, французской и т.д., потому что будет только европейская черная металлургия. Именно в этом цель плана Шумана». Мы ежеминутно рисковали забыть об этой цели. Спиренбургу я напомнил, что межправительственные формы сотрудничества никогда не давали положительных результатов: «Я понимаю, что радикальные перемены, к которым ведет французская инициатива, способны вызвать серьезные опасения. Но не забывайте, что мы находимся здесь для того, чтобы создать Европейское Сообщество. Сверхнациональная власть — это не только организм, в наибольшей степени способный разрешить экономические проблемы, это еще и зародыш федерации».

Исходные позиции были различными, мы не могли этого не видеть. Но полезно ли делать наши разногласия публичными, еще даже не попытавшись их сгладить? Я так не считал. Спиренбург держался иного мнения. Я понял, что нужно выиграть время и приучить моих собеседников подходить без страха к проблемам национального суверенитета.

Лучше было вернуться к рассмотрению конкретных вопросов, и мы создали пять групп для технической работы. Группа по экономическим вопросам Общего рынка угля и стали приступила к работе немедленно. Гириш, возглавлявший группу, чувствовал себя в этих вопросах, как рыба в воде. Метод нашего плана модернизации как нельзя лучше подходил к европейским проблемам и обстоятельствам, и он сразу же был взят на вооружение экспертами, промышленниками, профсоюзными деятелями и чиновниками, привлеченными к работе группы, которая и располагалась — что было вполне естественно — у нас на улице Мартиньяк. Небольшая группа лиц впитывает в себя опыт большого количества специалистов в данной области, — именно так работали наши комиссии по модернизации, причем этот обмен опытом не ограничивался подготовительной фазой, он продолжался и на стадии повседневной работы, он, так сказать, институировался.

Но как перенести принципы работы комиссий по модернизации в европейский контекст, как управлять таким сложным целым с помощью легкого аппарата, хорошо информированного о положении и потребностях каждой из составляющих частей? Для этого надо было придумать новую методику. Я знал рабочие навыки многих народов мира, я сотрудничал с людьми разных национальностей, но никогда ранее не имел дела ни с немцами, ни с голландцами. Я должен был изучить их логику и их юридические нормы. Впрочем, проблема была не в том, чтобы мне приспособиться к их психологии или им начать думать так же, как я: нужно было привести их к тому, чтобы об общем интересе они думали прежде, чем об интересе национальном. Для этого надо положиться на разум и добрую волю, которые присущи каждому достойному человеку и которые проявляются, едва только создана атмосфера доверия.

Установить доверие проще, чем думают, и простота — самый верный путь. Если некоторые делегаты приехали на конференцию с недоверием, то очень скоро они могли убедиться, что мы от них ничего не скрываем. День за днем мы старались им показывать, что все наши намерения обознач-

ны в декларации от 9 мая — достаточно только внимательно ее прочитать. Наш рабочий документ был верным ее отражением, и в нем не содержалось ни малейшей тенденции наделить Верховный орган полномочиями, ведущими к принуждению и произволу. Если Хальштейн иногда предостерегал нас от дирижизма, то делал он это главным образом для того, чтобы успокоить Эрхарда, проявлявшего внутри германского правительства повышенную бдительность. Он понял, как и некоторые другие, что мы не стремимся поставить Верховный орган над предприятиями, что наша цель состоит в том, чтобы создать подлинные условия для конкуренции на обширном рынке, выгоду от которого почувствуют и промышленники, и рабочие, и потребители. Можно было надеяться, не впадая в утопизм, что равновесие на рынке чаще всего будет устанавливаться само собой, но было бы неразумно полагать, что оно сможет поддерживаться без вмешательства независимого Верховного органа. Следовало только ограничить это вмешательство необходимым минимумом, кодифицировать и контролировать его явным для всех образом.

Мы старались успокоить сомневающихся, показывая им, что такой открытый подход и есть самая надежная гарантия. Одно из главных направлений в работе Верховного органа должно было состоять в сборе информации и ее обязательной публикации. Таким образом, в противоположность традиционной практике, когда промышленные производители стремятся всячески охранять свои секреты, теперь участники рынка смогут принимать решения, располагая всеми необходимыми данными, а покупатели будут в курсе механизмов ценообразования. Такая гласность, подкрепляемая дебатами в Консультативном комитете, парламентской Ассамблее и на заседаниях Суда, сделает новые учреждения прозрачными, как стекло.

Но слишком яркий свет ослеплял людей, привыкших к полутьме. Их чувство уверенности основывалось на праве говорить «нет» — ведь такова привилегия, даваемая национальным суверенитетом: «нет» переменам, «нет» сопутствующей им неуверенности. Я понял, что потребуется время, чтобы создать между нами климат доверия, который затем станет кли-

матом всего Сообщества. И я отказался от мысли достичь результата немедленно. Главное, надо было не допустить, чтобы дискуссия увязла в технических подробностях, и дойти до сути вещей прежде, чем мы разойдемся на летние каникулы.

В течение целой недели я убеждал Суэтенса и Спиренбурга, что если мирная цель плана Шумана состояла во франко-германском примирении, то это не означало, будто такое примирение будет достигнуто за счет малых наций. Шуман, со своей стороны, по другим каналам убеждал правительства, что их представители в Париже вовсе не находятся в драматической ситуации защитников национальной независимости, которой на самом деле ничто не угрожает. Что касается меня, то не думаю, что мне удалось изменить глубокие убеждения двух моих оппонентов, но мне было достаточно и того, что они поверили в искренность и бесхитрость моих убеждений. Это не могло не повлиять на их поведение. Надеяться на большее было бы неразумно, искусство убеждать имеет свои пределы. Монтегю Норман говорил обо мне: «Это не банкир, это чудотворец». Конечно, он разбирался в банковском деле лучше меня и лучше, чем кто-либо вообще. Но он не понимал силы простых идей, неизменных и неизменно повторяемых. Это помогает, по крайней мере, победить недоверие, а недоверие — главный источник всех недоразумений.

Добиться взаимопонимания трудно, но избежать подозрительности значит сделать большой шаг вперед. Между людьми из разных стран, принадлежащих к разным культурам, это первое, чего необходимо добиться. При этом вы сами должны исключить из своего поведения всякое лукавство и расчет. Я никому не предлагаю готовых рецептов, их у меня нет. Человек либо может вести себя естественно, либо нет, это зависит от его внутренней цельности. Я разочарую тех, кто хотел бы получить от меня более развернутые уроки искусства убеждать. Могу только добавить, что неудачи в этой области постигали меня не столько при встрече с людьми ограниченными, сколько при встрече с умами, сознательно закрытыми для очевидности. Так происходило со многими высокопоставленными чиновниками, которых делала слепыми их верность принятой системе национальных ценностей.

Мой первый опыт такого рода состоялся в Лондоне в 1916 году. Мне нужно было пригласить для встречи директора французского торгового флота Гремпре, враждебно настроенного по отношению к идее объединения союзнических флотов. «Приезжайте в Лондон, — говорю я ему, — и я вам все объясню». — «Не приеду, — отвечает он, — я не хочу, чтобы вы на меня влияли». А тридцать пять лет спустя на Кэ д'Орсэ заведующий европейским отделом Франсуа Сейду говорил мне с раздражением: «Не пытайтесь меня убедить: вы знаете, что защита национального суверенитета — моя профессия». Это была непосредственная реакция умного и порядочного человека, но, тем не менее, она воздвигала непреодолимый барьер между моим стремлением убедить — и консервативной волей, свойственной многим приверженцам старых идей.

Таких людей было немало на конференции, но при этом их задачей была реализация декларации от 9 мая о делегировании суверенитета, и эта задача была отправным пунктом, не подлежащим обсуждению. В этой ситуации (от которой отказались англичане) представители стран Бенилюкса чувствовали себя неуверенно, но, поскольку все мы оказались в одной лодке, надо было договариваться. Было очевидно, что колеблющиеся должны пройти большую часть пути. Я стремился по возможности идти им навстречу, даже рискуя иногда вызвать беспокойство Хальштейна, который энергично защищал идею сверхнациональных органов.

12 июля главы делегаций вновь собрались на заседание. «Я признаю, — сказал я, — что в нашем первоначальном проекте была лакуна, которую предложения Спиленбурга и Суэтенса могли бы помочь заполнить. Теперь мы рассматриваем два ряда вопросов. Первый ряд связан с компетенцией Высшего органа власти; эти вопросы четко определяются в договоре и передаются Высшему органу коллективным мандатом парламентов. Второй ряд вопросов касается ответственности правительств; эти вопросы находятся где-то «на полпути», и для их рассмотрения имело бы смысл предусмотреть участие правительств, при условии, что они будут действовать коллективно. Оба органа могли бы собираться на совместные заседания в четко оговоренных случаях. Мы добились большо-

го прогресса». Фактически в этот момент произошло рождение совета министров Европейского Сообщества.

Но Спиренбург захотел развить свой успех: «Министры должны обладать правом давать Высшему органу власти политические рекомендации...» Как всегда его тон был резким и безапелляционным. В противоположность ему Хальштейн говорил мягко и певуче, но когда он взял слово, чтобы отбить атаку, его тон был спокойным и твердым: «По мнению моего правительства, сила и независимость Высшего органа власти — это краеугольный камень Европы...» Атмосфера стала напряженной. Было такое ощущение, что достаточно одного слова, чтобы перекошилось все здание новой Европы. Все еще было в процессе становления, и прочные структуры, которые мы сегодня имеем, тогда зависели от неустойчивых линий притяжения и отталкивания, возникавших между шестью различными между собой людьми.

Но страх потерпеть неудачу и необходимость единства толкали в сторону согласия. Я не сомневался, что эта тенденция окажется сильнее, но я знал также, что ничто не дается в готовом виде даже людям с целенаправленной волей и что в данный момент малейшее отклонение, малейшая слабость могли исказить природу Европейского Сообщества. Надо было прекратить спор о принципах и дать каждому участнику почувствовать результаты конкретного воплощения его идей. Чтобы перейти к новому этапу, на котором главную роль предстояло играть юристам, я попросил Шумана приехать к нам и подвести предварительные итоги нашей работы.

Хотя формально Шуман считался председателем конференции, он после дня открытия больше на ней не появлялся. Теперь, сев у края стола, он извинился «за вторжение» и стал мягко излагать свое твердое убеждение в необходимости независимого Высшего органа власти. «Но независимость, — говорил он, — никогда не означала безответственности. Благодаря вашей работе, удалось достичь такой уравновешенности властных полномочий, которая является, по моему мнению, надежной системой демократических гарантий. Теперь такая система существует, ее уже не нужно придумывать». И действительно, система учреждений приобрела

свою окончательную форму: сверхнациональная власть, совет министров, состоящий из министров от каждой страны, парламентские и юридические органы контроля. Но потребуется еще долгая череда заседаний, чтобы определить сферы компетенции так, чтобы свобода действий Высшего органа власти не была ущемлена.

Я не был ни удивлен, ни раздосадован таким скоплением препятствий, показывавшим, что мы приближаемся к самой сердцевине проблемы. Плотностью сопротивления измеряется значительность перемен; многие еще не замечали необратимости запущенного нами механизма. Мы достигли такого пункта, когда даже сложность проблем, обилие рекомендаций, сила критики только способствуют движению вперед, если только не терять из вида главную цель. А цель я видел так ясно, что меня не могли смутить замечания экспертов, которых мы засадили за работу.

Я вызвал в Париж Рейтера, и он тут же создал комитет юристов, который выявил все совпадающие точки зрения и подготовил проект соглашения; такой метод позволял закреплять достигнутое вне зависимости от еще не решенных вопросов. Результатом, закрепленном в меморандуме от 5 августа, стал корпус учреждений будущей ЕОУС (Европейского Объединения угля и стали): Верховный орган, Общая Ассамблея, специальный Совет министров и Суд. Сама терминология больше не будет меняться. Таким образом, записав черным по белому то, что уже начинало теряться в словесной путанице, мы получили, ко всеобщему удивлению, логичный и связный проект, не поддающийся кривотолкам. Верховный орган власти не только не претерпел никакого ущерба, но даже те ограничения, которыми хотели обставить его независимость, способствовали тому, что ярче выступил федеративный характер институционального целого, завершением которого он теперь являлся. Последняя попытка контратаковать захлебнулась. «Мы против формулировки «слияние суверенитетов», — заявил бельгийский представитель. — Достаточно сказать «частичное делегирование». — «Это уже пройденный этап, — ответил я. — «Слияние» — самое подходящее слово».

Метод, оправдавший себя при решении институцион-

ных вопросов, окажется столь же эффективным в применении к экономическим проблемам, на которые теперь будет обращено наше пристальное внимание. Гириш и Юри составили баланс достигнутых договоренностей, которые под их пером сложились в гармоничное целое. Общий рынок стал общепризнанной данностью, и разговор шел только о сроках и средствах его практической реализации.

Не прошло и двух месяцев с начала работы, а замысел новых структур был уже в основном готов. Но больше всего меня поражали быстрые перемены, произошедшие в поведении окружавших меня людей. Я мог наблюдать день за днем сплывающую силу идеи объединения, которая, еще не начав претворяться в жизнь, уже оказывала воздействие на сознание людей. Хотя в каждом из них сохранялись особенности его национального характера, все вместе они, представители шести стран, чувствовали себя участниками общего поиска; теперь случалось, что одному из них поручалось говорить от имени всех, настолько их взгляды сблизились на протяжении нескольких недель интенсивной совместной работы, без аппарата переводчиков, в пространстве здания на улице Мартиньяк, которое мало соответствовало требованиям проведения международных конференций, но весьма подходило для бесед и неформального общения. Я уже говорил о достоинствах нашего маленького ресторана, в который надо было попадать по неудобной лестнице; мы могли быть уверены, что там нас никто не побеспокоит. Так установились дружеские отношения между руководителями делегаций, постепенно составившими сплоченную группу; теперь каждый старался использовать получаемые от своего правительства инструкции в направлении наших общих усилий. Расположение комнат может влиять на расположение умов. Я часто говорил иностранцам, которые расспрашивали меня о моих методах работы над планом: «Прежде всего надо иметь столовую». В ресторанном помещении на улице Мартиньяк многие проблемы были решены самым простым образом.

Каждый участник конференции пред отъездом на каникулы получил экземпляр меморандума, подготовленного

французской делегацией и высветившего, словно лучом прожектора, гармоничную конструкцию там, где большинство видело лишь бесформенную грудку материалов. Но мы ничего не исказили, ничего не подтягивали. И если в умах еще царил путаница, вещи уже выстроились в определенном порядке. Надо было только этот порядок обнаружить, а Рейтер и Юри умели это делать. Я собирался уехать из Парижа, когда узнал об инициативе Макмиллана в Страсбурге, о которой я уже упоминал выше. 15 августа я написал Роберу Шуману: «Несколько телефонных звонков в Страсбург подтвердили мое мнение, что там царит величайший беспорядок и что Консультативная ассамблея готова проголосовать обращение, которое затруднит или даже поставит под вопрос все наши усилия. Англичане ведут умелую кампанию, чтобы провалить наш проект».

Больше всего меня беспокоило, что многие европейские лидеры начали колебаться, смущенные новым демаршем англичан. «Надо ли упускать этот последний шанс подключить Великобританию?» Среди тех, кто задавал себе этот вопрос, был и Ги Молле, пребывавший в большом волнении. «Мы идем к расколу Европы», — повторял он. На самом деле он думал о расколе между английскими лейбористами и французскими социалистами и, возможно, также внутри французской социалистической партии. Он был в тревоге с того самого момента, когда дебаты по внешней политике в Национальном собрании в конце июля показали, что внутри социалистической фракции имеется враждебная Ги Молле группа, возглавляемая Даниэлем Мейером и Полем Рамадье. Я понял, что нужно, наконец, решительно отклонить английские домогательства, и постарался это сделать, придав широкой огласке свое письмо Макмиллану. В Страсбурге все на этом и закончилось. Однако новая угроза, еще более серьезная, уже надвигалась на наш проект.

Глава 14

Рождение двух договоров (1951)

Оборона: единая армия

После 9 мая 1950 года нам удалось оказать большое влияние на исторический процесс, изменив волевым актом слепой ход событий. Связав Францию и Германию обязательством совместно идти в будущее, объединив в общем пользовании промышленные отрасли, от которых зависело ведение современной войны, мы полагали, что устранили всякую возможность конфликта на европейском континенте и уничтожили детонатор новых мировых войн. Но история сделала нам подножку, как всегда, неожиданно.

Первый удар настиг нас несколько дней спустя после начала конференции. Джордж Болл рассказал об этом в своей превосходной книге «The Discipline of Power» («Дисциплина мощи»)*: «В воскресенье 25 июня 1950 года я был у Жана Монне, в его доме под соломенной крышей, в шестидесяти километрах от Парижа; мы занимались работой, связанной с переговорами по плану Шумана. Как вдруг во второй половине дня кто-то принес известие, что северокорейская армия вторглась в Южную Корею. Помню, Жан Монне сразу понял последствия случившегося. Он был уверен, что американцы не позволят коммунистам безнаказанно совершить столь откровенную агрессию и разрушить разделительные линии, ко-

* По-французски она вышла под названием «Les Etats-Unis face à leur puissance» («Соединенные Штаты перед лицом собственной мощи»), ed. Robert Laffont.

торые с таким трудом были прочерчены в послевоенные годы. Однако американское вмешательство не только создаст угрозу для плана Шумана, но и вызовет серьезные проблемы для европейского единства. В Европе может возникнуть атмосфера паники, а Соединенные Штаты могут начать более настойчиво требовать участия Германии в обороне Запада. Последний момент имеет особенно большое значение».

Действительно, это был самый уязвимый пункт, который мы договорились не затрагивать на наших переговорах, а что касается французской дипломатии, то она вообще упорно отрицала его реальность. Год назад Робер Шуман был вынужден торжественно заявить в Национальном собрании перед ратификацией Атлантического пакта: «Германия не имеет оружия и никогда не будет его иметь... Совершенно невозможно, чтобы она была принята в Атлантический пакт как государство, способное обороняться или помогать обороне других стран».

Прошло пять лет после окончания войны, но даже одно упоминание о немецкой армии вызывало негодование у европейских народов, в том числе и у огромного большинства немцев. Было ясно, что Советский Союз не потерпит возрождения вермахта, хотя сам он приступил к созданию в восточной Германии военизированной полиции, на опасность которой указывал Аденауэр. Кто кого больше боялся, теперь уже трудно было сказать, настолько все были охвачены наваждением холодной войны. Именно с целью рассеять эту атмосферу подозрительности я и предлагал в своем апрельском меморандуме действовать «решительно, реально и незамедлительно, чтобы изменить ход вещей». Такое действие было предпринято, оно было близко к успеху, все силы Германии переориентировались на мирное строительство. Теперь же весь Запад мобилизовывал свои силы в ответ на коммунистическую угрозу. Но не приведет ли такая ситуация к борьбе, тяжесть которой наверняка ляжет не только на Америку?

Нам был предоставлен исторический шанс: Германия сделала выбор в пользу мира, во главе ее стоял канцлер, не желавший, чтобы его соотечественники снова стали носите-

лями военного насилия, и заявивший: «Моя страна потеряла слишком много крови и не хочет вновь вооружаться». И вот мы рисковали потерять этот шанс еще до того, как он мог бы реализоваться в виде Европейского Сообщества. Конечно, проблема немецкого участия в обороне Запада уже и раньше sporadически ставилась ответственными руководителями атлантического альянса. Они рассуждали так: раз Германия является главным залогом холодной войны, надо предоставить ей возможность самозащиты. Мы же следовали иной логике: пусть Германия перестанет быть залогом, и тогда будет снят вопрос о ее защите.

Аденауэр уже давно искал третий путь: им могло бы стать включение немецких сил в европейскую армию. В декабре 1949 года Аденауэр заявил: «Даже если бы Союзники потребовали участия Германии в обороне Европы, я был бы против воссоздания вермахта». Но он тут же добавлял: «В крайнем случае я мог бы рассмотреть возможность вхождения немецкого контингента в состав федеративной европейской армии под европейским командованием». Отказ Франции делал такие разговоры беспредметными, а затем план Шумана снял этот вопрос с повестки дня. Война в Корее вернула ему актуальность.

Мои опасения не замедлили подтвердиться. 25 июля Макклой заявил: «Необходимо дать немцам средства для самозащиты, если против них будет совершена агрессия». Таким способом он давал знать американскому конгрессу, что американцам не придется в одиночку держать европейский фронт, а европейским государственным деятелям — что Соединенные Штаты скоро не смогут держать два фронта одновременно. Аденауэр смотрел на вещи иначе: «Судьбы мира, — отвечал он Макклою, — решаются не в Корее, а в центре Европы. Я уверен, что у Сталина такой же план относительно Германии, как и относительно Кореи. То, что происходит там, — это генеральная репетиция того, что нас ожидает здесь».

Его тревога была глубокой и искренней. В августе он согласился попросить полномочия на создание полицейских сил в размере ста пятидесяти тысяч человек. Одновременно Черчилль выступил в Страсбурге с предложением создать ев-

ропейскую армию под командованием одного из европейских военных министров. Французское и английское правительства заняли по отношению к этому предложению отрицательную позицию. Мы снова оказались в тупике.

Несколько раз в моей жизни мне, в силу необходимости, приходилось заниматься военными делами, не имея для этого ни склонностей, ни компетенции. Так, в 1914 году, а затем в 1938–1945 годах я увидел, как наше понимание человека и наши свободы оказались под угрозой идущего из глубины веков стремления к господству, в то время как с нашей стороны самые мужественные усилия самых благородных людей оказывались бесплодными из-за нашей разобщенности. Агрессия разделила народы, так как страх усиливает эгоистические устремления. В 1950 году, несмотря на суровые уроки прошлого, необходимость защититься от применения силы снова привела к стремлению замкнуться в рамках чисто национальных решений, что отбрасывало нас на многие годы назад и ставило под вопрос только что начавшиеся процессы объединения. Я не мог позволить, чтобы этот кризис развивался и дальше, я должен был вмешаться, но не знал как. Я никогда не размышлял о проблеме объединения Европы с точки зрения обороны; конечно, оборона должна была стать одним из элементов будущей федерации, но я не считал этот момент ни самым сильным, ни самым важным фактором объединения. Если обстоятельствам будет угодно ускорить или изменить ход событий, — ну что ж, тогда и посмотрим...

В августе 1950 года быстрое наступление коммунистических войск в Корее создало чрезвычайную ситуацию; со дня на день можно было ожидать срочных предложений американцев о перевооружении Германии, а может быть, и расширения конфликта на Востоке. Я, наконец, отправился в отпуск в наш домик на острове Ре, куда приезжал каждое лето. Я не люблю моря и ощущаю прилив жизненных сил только в горах. Но я не могу требовать, чтобы все мои близкие разделяли мое пристрастие к походам по горным вершинам. Сильвия очень привязалась к этому острову с его белыми домиками и ярким светом, привлекавшим художников. Она приво-

зит оттуда впечатления от постоянно меняющегося неба и затем пытается воссоздать их на полотнах, которые в течение всего года пишет в Ужаррэ. Дети загорают на пляже. А я гуляю по окрестностям, посещаю маленькие деревни, чудесно сохранившиеся в своем первоизданном виде, разговариваю с местными жителями. Помнится, в это лето я услышал разговор двух молодых солдат, находившихся в отпуске и сидевших на террасе кафе. Один из них сказал: «С планом Шумана, это уж точно, солдатам больше не придется воевать». Такое доверие ни в коем случае нельзя было обмануть. Безмятежность этого уголка была кажущейся: во время войны немцы построили здесь неприступные укрепления, и сражение продолжалось до последнего часа. Быть может, вскоре здесь узнают о возрождении немецкой армии. В то лето прогулки не приносили мне успокоения.

Рене Плевен был моим другом, он находился у власти*, а французское правительство еще играло в Европе решающую роль. Я мог обратиться со своими тревогами лично к нему и знал, что он меня выслушает. В последних числах августа я послал ему длинное письмо:

«Мой дорогой Рене,

я пишу вам из тихого, уединенного уголка департамента Шаранты, где жизнь течет медленно и спокойно. Опасаюсь, что совсем не так идут наши дела. События развиваются стремительно, слишком стремительно, и если мы не примем срочных решений, то окажемся заложниками фатального хода вещей. Между тем, нам, пожалуй, еще ни разу не удалось принять ни одного общего решения с тех пор, как три года тому назад мы остановились на понятиях «холодной войны» и «сдерживания»**, согласно которым мы и живем до сих пор. Когда эти понятия были выдвинуты, имелось в виду, что они будут способствовать поддержанию мира. Но их применение

* Рене Плевен сменил Жоржа Бидо во главе правительства 11 июля 1950 года.

** Доктрина, которой придерживалось, начиная с 1947 года, значительное число американских высших руководителей, решивших сделать все, чтобы помешать Советскому Союзу захватывать новые территории.

привело к серии изолированных решений, навязанных развитием событий; каждое последующее решение цеплялось за предыдущее, без попытки охватить ситуацию общим взглядом. Сегодня мы оказались перед лицом необходимости добиваться «холодной победы» и готовиться к войне».

Затем я выражал свое скептическое отношение к дорогостоящим попыткам Запада сдержать силой наступление коммунизма в Юго-Восточной Азии и возвращался к своей постоянной заботе: «Критическое положение французской армии в Индокитае и стоимость этой войны, которая мешает Франции играть свою роль в защите Европы, ставят нас в растущую зависимость от наших американских союзников и могут вовлечь нас в войну, которой мы не хотим и в которой будем разгромлены. Ни отказ от участия, ни соблазн иллюзорного и нелепого нейтрализма, ни капитуляция не дают выхода. Необходима новая, сильная и конструктивная идея, чтобы создать единый фронт для защиты Европы, для внутреннего социального развития, для восстановления мира на Востоке. Соединенные Штаты прислушались бы к Франции, если бы она выразила такую конструктивную идею и предложила эффективное решение». В сущности, мы вернулись к психологической ситуации весны этого года, к такому же тревожному ожиданию, на которое пытался ответить план Шумана. «Продолжается бег навстречу неизбежному, — писал я Плевену. — Однако план Шумана, еще даже не начав осуществляться, показал, что он отвечает стремлению народов к переменам. Все, что будет направлено к самому широкому объединению народов и к изменению капиталистического строя прошлого в сторону лучшего распределения между гражданами продуктов их совместного труда, будет горячо поддержано общественным мнением».

На протяжении всей моей жизни я редко так ясно ощущал необходимость перемен, как в тот год, деливший век на две половины. Как всегда, перемены, необходимость которых предощущалась сознанием людей, уже происходили в реальности. Потребовалось несколько лет, чтобы Запад осознал уроки самой большой гражданской войны всех времен. В 1950 году европейцы стали смотреть на свое прошлое более спо-

койно, а на свое будущее — с той мерой доверия, которая позволяла им мечтать о новых формах взаимоотношений. С планом Шумана эта мечта готова была превратиться в реальность, мир казался достижимым, холодная война отступала.

Но вот она возвращалась, совершив далекий обход, и снова стали говорить о гонке вооружений. А главное, снова встал вопрос о том, чтобы вооружить вчерашнего агрессора, который сложил оружие и, кажется, сам испытывал от этого облегчение. Простые люди задавались вопросом: «Неужели мы опять начнем все сначала?» Чувствовался соблазн замкнуться в себе, встать в позицию эгоистической самозащиты. Вот почему в этот период великих опасностей я употреблял все силы для убеждения высших руководителей наших стран, что только продолжив начатое дело, ускорив начатые перемены, мы получим шанс избежать беды.

В первые дни сентября 1950 года в Париже возобновились заседания конференции по плану Шумана; рабочие группы успешно продвигались по пути, открытому меморандумом от 10 августа. В течение сентября был составлен новый общий меморандум, зафиксировавший новые соглашения по ряду пунктов; опыт показал, что такого рода документы представляли собой нечто вроде последовательных моментальных фотографий одного и того же пейзажа, причем на каждой фотографии отдельные детали выступали все более отчетливо. Но при этом мы не теряли из вида общую перспективу, логически выстроенную конструкцию, в которой ни одна часть не могла быть поставлена под вопрос без ущерба для целого. Так мы проделали путь от декларации 9 мая, через первый рабочий документ от 20 июня, через его периодическое уточнение — к проекту договора, который теперь юристы начали составлять, статью за статьей. Я не закрывал глаза на сохранявшиеся серьезные проблемы. Но главные мои заботы были связаны не столько с Парижем, сколько с Нью-Йорком, где 15 сентября собирались министры иностранных дел для участия в сессии ООН.

Я встретился с Шуманом перед его отъездом. «Вам не миновать того, что вооружение Германии и, следовательно,

изменение ее нынешнего статуса выдвинется на первый план в ваших переговорах, — сказал я ему. — Нас это не должно заставить врасплох. Все должно решаться с учетом плана Шумана, определившего новую французскую политику в отношении Германии. Если немцы увидят, что они могут получить то, чего надеялись добиться посредством плана Шумана без этого плана, есть большой риск, что они отвернутся от нас. Их согласие на перевооружение на национальной основе и свобода действий, которая им будет предоставлена в обмен на это, позволят им (и послужат соблазном) балансировать между Востоком и Западом. Они могут решить, что идея Сообщества принадлежит прошлому, либо попытаются свести ее к чистой формальности». — «Я держусь того же мнения, — ответил Шуман, — но позиция правительства более проста: о перевооружении Германии не может быть и речи ни при каких условиях. Я предпочитаю думать, что эта проблема не будет поставлена. Впрочем, Жюль Мок сопровождает меня специально для того, чтобы следить за этим».

Социалист Жюль Мок, министр национальной обороны, был из тех, кто не забыл и не простил Германии нацистских военных преступлений. Он обладал техническим умом, склонным к систематизации, в силу чего оказывался в плену своих априорных конструкций, от которых в конце концов должен был отказываться под натиском политических реальностей. Я знал, что его отрицательную позицию ему в данном случае не удастся отстоять. Поэтому я убеждал Шумана, что в наших интересах поскорее изменить ситуацию: «Впервые за долгое время Франция обладает таким моральным авторитетом, который позволяет ей говорить и быть уверенной, что ее услышат. Она должна сохранять инициативу, и потому нам нужно быстрее, чем мы сначала предполагали, двигаться вперед в устранении контроля и ограничений, которым все еще подвергается Германия. Именно от нас должно исходить такое предложение».

Хотя я и предупредил Шумана, он испытал шок, когда по прибытии в Нью-Йорк 12 сентября одновременно Дин Ачесон и Бевин проинформировали его, что американские подкрепления действительно будут посланы в Европу, но

только если сами европейцы поставят под ружье шестьдесят дивизий, из которых «десять могли бы быть немецкими». До сих пор мы говорили только об экономическом участии Германии в обороне Запада. Сейчас впервые был вызван из прошлого призрак немецкого солдата.

«Речь идет не о возрождении Вермахта, — уточнил американский госсекретарь, — но о включении немецких соединений в НАТО под общим командованием американского генерала, видимо, Эйзенхауэра». Даже в такой форме, даже при условии отсрочки, это предложение было неприемлемо для французского министра. «Зачем, зачем так торопить события? — возражал он. — Создайте сначала свое единое командование, объедините свои вооруженные силы, а присоединить к ним немецкие — всегда успеется. А пока пусть их участие остается экономическим».

Действительно, глядя из Европы, можно было задаваться вопросом, почему американцы поднимали публично проблему, которую еще долгие месяцы можно было бы обсуждать в закрытом порядке. Но американские военные не считали нужным далее скрывать неоспоримый факт: Европа не будет по-настоящему защищена без полного участия тех, кому в первую очередь угрожает опасность. Шуман, который рассчитывал на поддержку своего коллеги Бевина, увидел, что тот полностью поддерживает позицию Дина Ачесона. 16 сентября на заседании Атлантического союза французский министр оказался в изоляции. В этот же день я послал ему письмо с вылетавшим в Нью-Йорк Кув де Мюрвилем: «Кажется, есть только три пути. Не делать ничего, но разве это возможно? Или строить отношения с Германией на национальной основе, но тогда создание объединенной Европы и успех плана Шумана становятся неосуществимыми. Или интегрировать Германию в Европу через расширенный план Шумана и перенести на европейский уровень те решения, которые будут приняты».

Со своей стороны, я решил двигаться по третьему пути и, если понадобится, изменить равновесие внутри конструкции, так старательно возведенной в Париже. Ведь в любом случае Объединение угля и стали потеряет в глазах немцев

всякий интерес, как только будут восстановлены их национальный суверенитет и национальная армия. План Шумана больше не мог существовать вне нового контекста, и обстоятельства вынуждали нас перескакивать через этапы: европейская федерация становилась ближайшей задачей. Армию, вооружения и базовые отрасли производства следовало одновременно поставить под общий суверенитет. Мы не могли ждать, как собирались ранее, чтобы политическая организация со временем увенчала постепенно создаваемую конструкцию, так как общая армия может создаваться только под общим политическим руководством.

У нас не было выбора, и я не задавал себе вопроса: на чьей стороне находятся мои предпочтения? Такие вопросы бесполезны, когда все решает ход событий. События приобрели планетарный масштаб, и уже невозможно было определить, как распределяется ответственность: еще и сегодня историки полагают, что корейская война возникла по недоразумению. Я искал выход, в то время как французское правительство заняло бесперспективно негативную позицию в вопросе о создании немецких вооруженных сил. Не следует упрекать политиков, стремящихся соблюдать верность принципам. Если бы в данном случае необходимость не была столь непреложной, а время — столь ограниченным, я мог бы понять стремление Франции переубедить своих союзников. Но военный механизм уже заработал, а необратимость решений военных соответствует мере их ответственности, и это мы тоже должны понимать. В момент, когда Макартур перехватил инициативу в Корее, бросив в бой новые войска, Пентагон не был готов усиливать свое присутствие в Европе без соответствующего увеличения европейского контингента. Французская армия вела тяжелые бои в Индокитае. Английские войска были разбросаны по всему миру. Естественно было обратиться к Германии с просьбой подставить плечо, и столь же естественно европейское общественное мнение возмутилось против этого. Оказавшись перед такой дилеммой, французское правительство старалось выиграть время. Оно послало Шуману твердые инструкции отстаивать занятую

позицию и отклонило его предложения рассмотреть возможность включения немецких формирований в европейскую армию. Такое решение дало нам месячную отсрочку: новая встреча министров трех стран была назначена на 28 октября в Вашингтоне.

Отсрочка была очень короткой, если учесть, что речь шла о фундаментальных преобразованиях, которые затрагивали армию, являющуюся сердцевинной и главной опорой национального суверенитета. Уголь и сталь превратились в решающий фактор на протяжении одного века, а армия была им с незапамятных времен. И военное знамя, и военная униформа превратились в сакральные знаки. Я знал, как трудно будет европейским странам согласиться, чтобы символы их прошлой славы, память о минувших поражениях и победах во взаимных конфликтах вдруг оказались перемешаны и слиты воедино. Но мне хотелось думать, что европейцы проявят достаточную мудрость и поймут необходимость перемен и в этой области. Во всяком случае, надо было сделать попытку.

Этим я негласно и начал заниматься; для всех окружающих я продолжал работать в качестве комиссара Плана и председателя конференции Шести. На самой этой конференции я внимательно следил за тем, какая эволюция будет происходить внутри немецкой делегации. Хотя позиция Хальштейна, отражавшая позицию Аденауэра, оставалась лояльной и конструктивной, некоторые признаки ужесточения внушали мне беспокойство. Впрочем, недовольство промышленников Рура проявлялось открыто. Доктор Лар, считавшийся выразителем их позиции, выступил с открытой критикой плана Шумана. Дело приняло серьезный оборот, когда несколько дней спустя стало известно о его назначении министром внутренних дел федерального правительства вместо Хайнемана, подавшего в отставку в знак протеста против перевооружения своей страны. Не могло быть сомнений: новый ветер начинал сбивать Германию с курса.

Проходили дни. Французские позиции ослабевали, и внутри правительства созревала идея компромисса. Однако я

считал, что мы должны стоять твердо на своем отказе от национальной немецкой армии, какой бы маленькой и контролируемой она ни была. Ведь сам Аденауэр повторил в беседе с Макклоем: «Мы готовы участвовать своим контингентом в европейской армии. Этим я хочу формально заявить, что я не желаю ремилитаризации Германии путем создания в ней собственных национальных вооруженных сил». Позиция Аденауэра оставалась ясной, категоричной и неизменной. Было невероятной удачей для Франции и для Европы, что немецкий канцлер не терпел прусского духа, всегда готового возродиться и вовлечь Германию в новые авантюры. Будучи настоящим патриотом, он, не колеблясь, предостерегал иностранных политиков против возрождения вермахта. Мы, со своей стороны, могли ему помочь, только отстаивая европейскую армию, в которой растворился бы немецкий военный потенциал, лишившийся тем самым всяких завоевательных поползновений и возможности преследовать национальные цели. Для создания европейской армии у нас не было ни прецедентов, ни образцов, и мы должны были все придумать за несколько дней.

Наша команда снова принялась за работу, используя для этого интервалы между заседаниями конференции: Гирш, Юри, Клапье, Рейтер и присоединившийся к ним Альфан подошли к военным проблемам с такой же интеллектуальной строгостью и изобретательностью, которые помогли им ранее справиться с экономическими проблемами. И здесь тоже мы решили на первых порах обойтись без технических специалистов, которые все усложняют и сопротивляются переменам. Военные эксперты были нам нужны ничуть не больше, чем эксперты по литейному делу, чтобы сделать производство стали общеевропейским. Меня мало волновало, какие формы примет эта европейская армия, — критических замечаний и пожеланий нам сделают достаточно, когда придет время, и мы всегда найдем возможность их использовать. По своей сути это была политическая проблема, и именно в политическом плане я должен был строить свою аргументацию.

Когда люди оказываются в новой ситуации, они к ней приспособливаются и меняются. Но до тех пор, пока они надеются сохранить ситуацию неизменной или отделаться ком-

промиссом, они не желают прислушиваться к новым идеям. Самый лучший проект коллективной обороны не встретил бы поддержки со стороны правительства, если бы мне не удалось доказать, что, только опираясь на наши предложения, Франция сможет избежать полной изоляции, грозившей ей 28 октября 1950 года на конференции в Вашингтоне. Плевен легко позволил бы себя убедить, но я видел, что он вынужден учитывать давление, которое на него оказывалось с разных сторон. Я понял, что его надо вооружить очень сильной аргументацией, чтобы он мог вступить в бой и выйти из него победителем. Я установил с ним ежедневный личный контакт, и то, что мы обсуждали устно, я подкреплял многочисленными конфиденциальными меморандумами; так постепенно зарождался план, который впоследствии будет носить имя Плевена.

«Если мы пустим дело на самотек, — писал я 14 октября, — мы позволим втянуть себя в компромиссное решение (за Францией сохраняется военное преимущество, а Германии разрешается иметь маленькую армию), но это будет не более чем иллюзией. Мы придем к восстановлению немецкой армии окольным путем. Наше сопротивление ни к чему не приведет. Мы потеряем лицо и одновременно — политическую инициативу. План Шумана, может быть, и осуществится, но его центром станет Бонн, а не Париж.

Наша позиция должна быть очень твердой, как и наша решимость по всем пунктам противостоять американской политике. Но успеха мы сможем добиться только в том случае, если наше противодействие будет иметь позитивное содержание в виде целостной европейской политики.

Забываясь об успешном завершении переговоров по плану Шумана, я считаю своим долгом указать на единственный способ выйти из тупика и внести позитивный вклад в решение германской проблемы.

Наше правительство, еще до заседания комитета по обороне в Нью-Йорке 28 октября, должно сделать следующее:

1. Во имя интересов Европы и всеобщего мира вновь повторить свое категорическое «нет» возрождению немецкой армии.

2. Предложить, чтобы военный аспект германской проблемы решался в том же духе и теми же методами, что и вопрос об угле и стали, то есть: создание европейской армии с единым командованием, единой организацией снабжения и финансирования, под руководством единой сверхнациональной власти (включение немецких частей в это первоначальное ядро будет производиться постепенно).

3. Получить подтверждение, что осуществление этого решения будет отложено до подписания соглашения по плану Шумана».

Последний пункт имел особое значение. Не будем забывать, что в этот момент работа над планом Шумана вступала в свою заключительную фазу. После четырех месяцев работы надежда и энтузиазм все еще были живы в сердцах людей, а угрозы, нависшие над миром, только усиливали инстинктивное стремление европейцев к единству. Невозможно было обмануть их доверие, но риск неудачи все еще оставался. В зависимости от того, как мы будем действовать, немецкое перевооружение могло либо застопорить европейское объединение, либо дать ему новый толчок. Пока что я стремился избежать замедления процесса.

Два дня спустя у меня состоялась встреча с Плевеном и Шуманом. Вот что я им сказал: «Негативная позиция Франции по отношению к немецкому перевооружению имела двойной эффект: она заставила немцев усомниться в нашей воле к сотрудничеству и побудила их надеяться, что за наш счет они смогут добиться большей благосклонности со стороны Соединенных Штатов. На нашей конференции я сталкиваюсь теперь с новыми трудностями; мы рискуем, что конференция затянется или вообще не приведет к положительному результату. Вчера Хальштейн вручил мне вот эту ноту: она касается тех изменений, которые план Шумана должен был внести в оккупационный статус Германии». — «Я не получал этой ноты», — удивился Шуман. — «Она была вручена мне в частном порядке, и Хальштейн не настаивал, чтобы ей был дан официальный ход. Но я расцениваю ее как предупреждающий знак».

Для моих собеседников это была еще одна неприятность в добавление к другим, весьма серьезным. Несколькими днями раньше французы узнали о падении Каобана, первой большой неудаче в индокитайской войне. Туда был срочно послан генерал Жюэн. Было очевидно, что французскому правительству надо восстанавливать свой престиж в Европе. «Нужно действовать быстро, — сказал Плевен. — Завтра возобновляется парламентская сессия. Предстоят тяжелые прения по Индокитаю, они продлятся до конца недели. Правые, коммунисты и даже Мендес-Франс пойдут в атаку. Во вторник начнется обсуждение германской проблемы, а уже в ночь на 25 октября Жюль Мок должен вылететь в Нью-Йорк. У нас остается не больше недели, чтобы выработать проект коллективной обороны». — «Вот он, — сказал я. — Я приготовил проект правительственного заявления».

Разумеется, за этим проектом от 16 октября последовало еще десять вариантов. Но, как и в первом проекте декларации от 9 мая, в нем уже содержалась движущая пружина механизма: «Французское правительство полагало, — говорилось в проекте, — что осуществление плана по углю и стали поможет идее европейского Сообщества укрепиться в умах до того, как будет затронут деликатный вопрос о совместной обороне. Мировые события не дают нам необходимой передышки. Поэтому, веря в мирное будущее Европы и заботясь о том, чтобы все народы Европы обрели чувство коллективной безопасности, *французское правительство предлагает урегулировать этот вопрос теми же методами и в том же духе, что и Объединение по углю и стали.., и создать, в целях совместной обороны, европейскую армию, связанную с политическими институтами объединенной Европы*».

Далее излагался принципиальный подход к проблеме: «Создание европейской армии не может быть результатом простого соединения национальных военных сил, которое на деле прикрывало бы коалицию старого типа. Целям, которые не могут не быть общими, должны соответствовать и общие организмы. Единая европейская армия, образованная из людей разных европейских наций, должна осуществить в максимально возможной степени слияние всех составляющих ее

человеческих и материальных элементов под единым европейским командованием, политическим и военным».

В декларации, которую Плевен прочитал 24 октября 1950 года в Национальном собрании, впервые публично была названа должность европейского министра обороны, ответственного перед советом министром Сообщества и его парламентской Ассамблеей, а также поставлен вопрос об общем бюджете. В ней также имелась фраза, из-за которой развернется один из долгих и драматических споров нашего времени: «Контингенты стран-участниц будут включаться в европейскую армию *на уровне как можно более мелких соединений*». За этой неясностью скрывались недоразумения, возникшие внутри самого французского правительства. А ведь Плевен выкинул слова о «единой военной униформе», символическое значение которых казалось нам чрезвычайно важным. И еще было оговорено, что части нашей армии, находящиеся в Африке, не подлежат интеграции. Французское предложение уже содержало в себе противоречия и недомолвки, которые со временем будут подтачивать его. Но только такой ценой правительству удалось получить поддержку большинства. Принцип созыва конференции с участием Шести плюс Великобритания был одобрен по умолчанию. Но сначала должно было быть подписано соглашение по плану Шумана, которого все ожидали в ближайшем будущем.

Конечно, плану Шумана больше не грозило разбиться о такое непреодолимое препятствие, как поспешное создание немецкой армии на национальной основе. Однако то, что теперь стало называться «планом Плевена», не было временным решением или замедляющим маневром, как надеялись одни (в том числе и во Франции) и как опасались другие (главным образом в Соединенных Штатах). Я знал, что этот проект надо доводить до конца без промедления. К сожалению, я был не в состоянии проследить за его движением внутри поглотившей его огромной и громоздкой дипломатической машины. Нью-йоркская конференция, которой он был официально представлен французской делегацией, приняла его очень холодно. Генерал Маршалл не желал слышать о

французском предложении и настаивал на своем плане формирования немецких дивизий, ограниченных очень строгой системой контроля и ограничений: без танков, без военноморских сил, без офицеров старше звания полковника и т. д. Аденауэру этот американский план показался еще менее приемлемым, чем французский, в котором, однако, канцлер усмотрел стремление к дискриминации: Германия действительно была единственной страной, которой запрещалось иметь национальную армию. «Неужели нас хотят заставить потерять лицо? — заявил он. — Я узнаю обо всем этом из газет. Нас оставляют в каком-то неопределенном положении, и это унижительно».

Я понял, что эти недоразумения необходимо срочно рассеять, и устроил в Ужаррэ встречу Плевена, Шумана и Макклоя. Макклой изложил позиции Ачесона и Аденауэра; у каждого из них были свои основания для беспокойства, но оба политика испытывали к Макклою полное доверие. В равной мере доверяли ему и мы. Я знал, что он поверит нам, а в Вашингтоне и Бонне поверят ему, поскольку никто не мог усомниться в его независимости и доброй воле. Нам удалось убедить его в ясности наших намерений, и он стал поддерживать французский план. В государственном департаменте ему это удалось лучше, чем в Пентагоне, а всего эффективнее — у Аденауэра. Но должно будет пройти еще много месяцев, прежде чем каждый признает, что план Плевена не несет в себе никаких задних мыслей, а является простым, практичным и, в конечном счете, единственным выходом из положения. Решив не участвовать в бесконечных спорах, которые вели между собой дипломаты и военные, я сосредоточился на нескольких основных пунктах: чтобы ни при каких условиях не было допущено, даже в зародыше, возникновение немецкой армии и немецкого генерального штаба; чтобы первый солдат, призванный под ружье в Германии, был европейским солдатом; и чтобы никакое решение не принималось до подписания плана Шумана. Именно на это были направлены мои повседневные усилия, равно как и на то, чтобы всемерно ускорить завершение нашей конференции, уже казавшееся мне близким.

Все всегда оказывается более долгим, чем предполагалось. Поэтому, чтобы добиться успеха, никогда не надо ставить себе временных рамок. Конечно, я часто говорил о сроках, составлял календарные планы, чтобы каждый знал свою задачу и ритм своей работы. Но при этом я неоднократно исправлял планы с учетом меняющихся условий. Надо различать то, что зависит от воли (цель, метод, последовательность этапов), и то, что связано с обстоятельствами (выбор момента и сроков завершения). Любое соглашение по перевооружению Германии должно быть подчинено плану Плевена, который, в свою очередь, будет зависеть от подписания плана Шумана. И здесь я не мог идти на уступки. Что же касается дат, то они не зависели от меня, как бы я ни торопился с завершением. Серьезные разногласия выявились между Францией и ее союзниками в Нью-Йорке, и даже на конференции по углю и стали Франция встречала сопротивление со стороны Германии.

Я не буду подробно останавливаться на длительной истории Европейского оборонительного сообщества, поскольку не участвовал в ней на каждом ее этапе. Ее главным протагонистом со стороны Франции был Плевен, а после него — целый ряд премьер-министров, Шуман с Бидо в качестве министров иностранных дел, Мок и его продолжатели в министерстве обороны, наконец, Альфан, несший в качестве представителя Франции самый тяжелый груз ответственности. Если я и сыграл какую-то роль на начальном этапе, то потому, что не давал французской политике колебаться между слишком жесткой негативной позицией и соблазнами компромисса под нажимом Соединенных Штатов и большинства их союзников. Невозможность удержаться на позициях категорического отказа вела к неприемлемому компромиссу, — таким был парадокс правительственной коалиции в Париже, преодолевать который я и помогал Плевену. Одновременно мне приходилось доказывать американцам, что они пошли в неверном направлении. Здесь я имел опору в лице Макклоя и Брюса, которые оказывали влияние на Ачесона. Но самое большое противодействие исходило от Маршалла. Встретив

сопротивление со стороны французов, он приостановил конференцию в Нью-Йорке и задержал отъезд Эйзенхауэра в Европу. К нашему счастью, все его предложения по контролируемому перевооружению Германии отвергались общественным мнением по ту сторону Рейна: против выступали, с одной стороны, пацифисты, а с другой — начинавшие оживляться националисты правой и левой ориентации.

Так все и продолжалось на протяжении осени и зимы 1950 года. Комитеты экспертов разрабатывали параллельно два возможных варианта: немецкая армия в составе Атлантического союза и она же — в составе европейских вооруженных сил. Ждали политического решения. Споры о словах не могли скрыть необходимость ответить на реальные вопросы: кто будет рекрутировать первых немецких солдат, если Германии будет отказано иметь национальное министерство обороны? на уровне каких соединений будет осуществляться их включение в коллективные вооруженные силы? Шли долгие споры о том, как понимать определение «как можно более мелкие соединения»: идет ли речь о полке, о французском батальоне или об американской боевой группировке? Лишний раз я убеждался, как трудно заставить людей говорить об одном и том же предмете и насколько все становится простым, когда направляешь усилия на существо проблемы, следуя старому правилу Декарта: рассматривать элементарные предпосылки. Потеряв много времени, согласились, наконец, считать базовым соединением контингент численностью от пяти до десяти тысяч человек, какие бы наименования ему ни давались. Надо добавить, что позже такие же бесполезные споры возникли в связи с понятием «дивизия», и план Плевена погряз в крючкотворстве.

Экономика: общие правила

Аденауэр был готов пойти на перевооружение Германии только на основе равенства прав с другими странами; это фактически закрывало любой путь, кроме создания европейской армии. Он соглашался, чтобы суверенитет Германии был восстановлен не в полном объеме, но лишь при условии

соответствующего ограничения суверенитета других стран в пользу Европейского Сообщества. Такая позиция была логичной и заслуживала уважения. Нашу работу она облегчала далеко не всегда. Мы старались учитывать трудности канцлера, положение которого внутри страны было нелегким. Слева был Шумахер, утверждавший, что план Плевена направлен на создание «французского иностранного легиона», а справа находился Лар, заявлявший, что Германия никогда не будет «нацией наемников». В конце концов, Аденауэру оставалось объяснять и тем и другим, что равенство прав для Германии будет наилучшим образом обеспечено через европейскую интеграцию. Мы вынуждены были ждать, когда на конференции по плану Шумана требования интеграции со стороны Германии станут более настойчивыми. Разве можно было заключать равноправный договор, сохраняя механизмы контроля над Германией? Международное управление Руrom становилось тем более нетерпимым, что оно утрачивало реальное значение. Аденауэр решил поднять этот вопрос, для чего послал в Париж Эрхарда.

Я, как и все, слышал о немецком министре экономики, о его физической тяжеловесности и упрямом характере. А встретил человека большого и тонкого ума, хотя, конечно, я не всегда был с ним согласен. Он пользовался заслуженным уважением благодаря смелости в отстаивании своих взглядов и умению добиваться успеха. Почему он должен был отказываться от так называемой либеральной экономики, которая творила чудеса в его стране? Он не был националистом, но план Шумана не укладывался в его понимание принципов свободного обмена. Там, где мы хотели ввести правила добросовестного поведения, он видел стремление к планированию; там, где мы хотели установить европейскую солидарность, он видел протекционизм. «Мы не понимаем стремления союзников продолжать декартелизацию промышленности Рура, — сказал он мне. — Создается впечатление, что вы намеренно стараетесь поставить немецкую индустрию в неблагоприятные конкурентные условия по сравнению с ее партнерами. Но главное, вы хотите, пользуясь планом Шумана, вводить у нас законы, как если бы не было немецкого правительства».

Проблема заключалась в том, чтобы воспрепятствовать чрезмерной концентрации в черной металлургии и угледобыче рурского бассейна, где старые концерны, на которых базировалась военная мощь рейха, теперь начали естественным образом возрождаться. Первыми против этого уже на протяжении многих месяцев выступали американцы. Их экономическая и политическая доктрина не допускала монополизма ни у себя в стране, ни у других. Они требовали, чтобы единая организация по продаже немецкого угля утратила свою монопольную структуру и чтобы сталеплавильные производства не имели в собственности угольных шахт. Эта по видимости техническая мера, на которую общественное мнение и даже профсоюзы не обращали особого внимания, прямо затрагивала основы экономического могущества в Германии и в Европе. Никакое равновесие не могло быть установлено на европейском континенте, если рурские магнаты сохраняли возможность распоряжаться углем, необходимым как для их собственного производства, так и для производства их соседей. Неуверенность, ведущая к подчинению или к конфликту, снова воцарилась бы во Франции, если бы хозяева рурского коксующегося угля вновь начали контролировать его поставки и тем самым — работу наших доменных печей. Картели в отношениях между собой приспособились бы к такому положению и стали бы регулировать дефицит, но народы никогда бы с этим не смирились. Макклой энергичнее всех выступал за декартелизацию. Он имел в качестве помощника молодого профессора из Гарварда, Роберта Боуи, который считался лучшим специалистом по антитрестовскому законодательству, соблюдавшемуся в Соединенных Штатах так же строго, как и моральные правила.

Переговоры в Бонне затягивались, так как немецкие промышленники думали, что время работает на них. С другой стороны, в Париже подписание договора зависело от общего соглашения по антитрестовским мерам, которые мы должны были внести в договор в соответствии с декларацией от 9 мая.

Я послал Гирша, чтобы он встретился с Аденауэром, который, прочитав мое послание, сказал: «Передайте господину Монне, что эта трудность будет немедленно устранена».

Я уверен, что таково было его намерение. На деле же пришлось ждать.

Вот уже три месяца, как договор лежал у меня на столе. В нем было сто статей, но два несогласованных пункта блокировали все. Текст договора был плодом совместных усилий Юри и выдающегося юриста Мориса Лагранжа. Здесь нам опять-таки повезло. В начале осени я попросил Пароди рекомендовать нам одного из членов Государственного совета для проверки правильности текстов, которые, по нашему замыслу, должны были сохранять силу в течение пятидесяти лет и служить образцом для будущих европейских договоров. Выбор пал на сурового и скромного советника по арбитражу, которому пришлось прямо и непосредственно переключиться со своей писанины на лихорадочную активность улицы Мартиньяк. Я как сейчас вижу высокого и прямого человека с резкими чертами бледного лица. Он принадлежал к породе высокопоставленных парламентских чиновников, которые, пребывая в тени, веками поддерживали французскую государственность в должном состоянии. Вот он входит в мой кабинет, и я ему говорю: «Господин Лагранж, вам предстоит редактировать договор». Он отвечает мне совершенно невозмутимо: «Я не знаю, о чем идет речь, господин председатель, но постараюсь сделать работу хорошо». Через минуту он уже принялся за дело и внес в него неоценимый вклад. Позднее, уже в качестве первого помощника генерального прокурора европейского Суда, он стоял у истоков европейского законодательства, которое в настоящее время принято во всех странах.

14 марта 1951 года союзный план по декартелизации получил, наконец, одобрение Аденауэра, и Хальштейн тут же дал согласие на последние две статьи, остававшиеся несогласованными. Отредактированные Боуи с особой тщательностью, они вводили принципиально новое для Европы анти-трестовское законодательство; ныне царящее на Общем рынке, оно базируется на нескольких строках, за которые я сражался в течение четырех месяцев. Роберт Боуи, выполнив свою миссию, вернулся в Соединенные Штаты, где с успехом продолжил университетскую карьеру, а также стал влиятельным советником Белого дома по европейским делам. 19 мар-

та договор о Европейском объединении угля и стали был парафирован в Париже. Оставалось только собрать министров шести государств-членов, чтобы договориться относительно нескольких слов, на месте которых в тексте пока стоял пробел, а затем — торжественно подписать договор.

Пробелы были связаны с важнейшей политической проблемой: удельного веса каждой из стран-участниц в институтах будущего объединения. На конференции в течение почти целого года делегаты Люксембурга вели дискуссию на равных с представителями Италии, страны с населением в сто раз бóльшим, а представители Нидерландов противостояли предложениям Франции и Германии по поводу сталелитейной индустрии, хотя соотношение по производственным мощностям было один к двадцати. Таково правило, регулирующее отношения между странами, если они не вступили в сообщество. Мы знали, что будет чрезвычайно трудно убедить шесть стран, находящихся в разных весовых категориях, отказаться от этого правила в рамках новой системы, где, для выгоды всех участников, общий интерес заменит интерес национальный, точнее — шесть отдельных национальных интересов.

Очень трудно ожидать, что большинство людей согласится принять нечто, никогда раньше не виданное, и пойти на связанный с этим риск. Возможность сказать «нет» служила гарантией в отношениях между сильными и особенно — в отношениях более слабых с более сильными. И они могли в последний раз в полной мере воспользоваться такой возможностью в момент подписания договора. После чего они вступали в неведомую область, где решение большинства будет правилом, а право вето — исключением. Но что понимать под большинством? Четыре страны (Бенилюкс плюс Италия) производили лишь четвертую часть угля и стали. Было бы неправильно, если бы они получили возможность диктовать свою волю Франции и Германии, что произошло бы, если бы каждая страна имела один голос. Вот почему мы предложили взвешенную систему голосования, при которой ни одно решение не могло быть навязано ни объединенными го-

лосами Франции и Германии против остальных четырех стран, ни этими четырьмя, если Франция и Германия были против. Что касается парламентской Ассамблеи, то мы предлагали, чтобы каждая из трех стран с многочисленным населением имела по восемнадцать голосов и столько же страны Бенилюкса вместе взятые.

Конференция была созвана на 12 апреля 1951 года. За неделю до этой даты я посетил Бонн, чтобы убедиться, что Франция и Германия сохраняют единое мнение по основным вопросам и что они готовы противостоять ожидаемому наступлению со стороны стран Бенилюкса. Я знал, что немцы намеревались предложить, чтобы удельный вес каждой страны в институтах ЕОУС соответствовал ее производству угля и стали. Это давало Германии слишком большие преимущества и представляло собой дискриминацию наоборот, что противоречило духу декларации от 9 мая. Такой вариант был бы, несомненно, отвергнут всеми другими участниками, и я был уверен, что Аденауэр не станет ввязываться в такое сражение.

Когда 4 апреля он принял меня в Бонне, я сразу сказал ему: «Я уполномочен предложить вам, чтобы отношения между Германией и Францией в ЕОУС строились на началах равенства во всех европейских институтах настоящих и будущих, независимо от того, войдет ли Франция в них одна или вместе с заморскими территориями, и независимо от того, будет ли Германия представлена в них только как Западная Германия или как объединенная страна. Лично от себя я добавлю, что именно так я с самого начала представлял себе объединение на основе равноправия, и таким же, насколько я понял из нашей первой встречи, является и ваше понимание. Дух дискриминации был причиной величайших несчастий в мире, и Объединение стремится заставить его отступить». — «Вы знаете, какое значение я придаю равенству прав для моей страны в будущем, — ответил Аденауэр, — и как решительно я осуждаю попытки установления господства, в которые она была вовлечена в прошлом. Я счастлив выразить полное согласие с вашим предложением, так как я не представляю себе Объединения без полного равенства, а потому отзываю

все иные предложения, выдвинутые нашими представителями на основании экономических предпосылок».

Эта договоренность имела большое политическое значение и основывалась на простых и ясных принципах. Нужно было обладать большим мужеством, чтобы пойти на нее в условиях, когда перевооружение Германии грозило нарушить соотношение сил на Западе, а многие немцы в Федеративной Республике еще не отказались от перспективы присоединения восточных земель. Я не задавался вопросом, кому это сулит большие выгоды, зато я знал, что в этом состоит первое психологическое условие мира в Европе. Закон равенства действует автоматически, он несовместим с расчетами, различными интерпретациями или торговлей из-за преимуществ. Он исключает соблазн игры на голосах внутри институтов, ибо основан на моральном фундаменте и не допускает жульничества. В ближайшей перспективе он обещал нашей конференции наибольшие шансы на успех.

Подписание договора давало Аденауэру возможность совершить первую официальную поездку за границу; это был первый правительственный визит германского руководителя в Париж за все послевоенные годы. Из опасения враждебных манифестаций были мобилизованы большие силы порядка. Ни один министр не приехал встретить Аденауэра у трапа самолета, там был только я со своими сотрудниками. Наш маленький автомобильный кортеж проследовал в Париж на бешеной скорости; риск дорожной аварии был гораздо большим, чем риск подвергнуться покушению. С самой резкой оппозицией выступили коммунисты, которые с того момента, как СССР отверг план Маршалла, осуждали любую форму международной организации в Западной Европе. Их кампания против плана Шумана и плана Плевена смыкалась с кампанией консервативных кругов, отвергавших любые перемены в экономических структурах и в организации обороны страны. С этого момента стало ясно, что, если только дать им время, левый национализм и правый национализм объединятся, чтобы сорвать европейские договоры. В глазах многих французов Германия оставалась источником непосредствен-

ной опасности, и в их сознании было легко посеять сомнения в искренности ее демократического выбора. Те, кто не разделял этих опасений, не могли оставаться равнодушным к суровым предупреждениям, раздававшимся со стороны Советского Союза каждый раз, когда Федеративной Республике возвращали частицу ее суверенитета. Казалось, что эта словесная эскалация ведет к войне, и стремление к нейтрализму естественным образом усиливалось во Франции. Таким образом, все, кто по тем или иным причинам хотел удерживать Германию в подчиненном положении, видели в Аденауэре серьезного противника. Вот почему французское правительство уклонилось от протокольной встречи.

Канцлер не принадлежал к числу людей, придающих значение формальностям, зато он очень оценил скромные проявления симпатии со стороны друзей и незнакомых людей в Париже. Он смотрел далеко вперед и, стремясь поскорее пройти путь к восстановлению достоинства Германии, понимал, что двигаться надо шаг за шагом. Подписание плана Шумана было для него таким первым шагом в направлении, которое он сознательно избрал и от которого никогда не пытался уклониться...

Во время наших бесед я чувствовал, что он, как и я, обеспокоен психологическими последствиями холодной войны, которая раскалывала европейское общественное мнение и делала европейцев заложниками в борьбе за влияние между Америкой и Советским Союзом. Он был более меня встревожен резкими нотами, шедшими одна за другой из Москвы и способными, как он опасался, лишить хладнокровия многих немецких и французских политиков, и особенно — дипломатов, ностальгически вспомилавших о союзе с Востоком. Он живо реагировал на эти ноты и требовал более твердой поддержки со стороны Соединенных Штатов. Что касается меня, то я советовал обращать меньше внимания на дипломатическую полемику и идти собственным путем. «Я понимаю вашу ответственность, — говорил я Плевену и Аденауэру, — но нас сомнут, если мы будем ограничиваться обороной. Наша позиция не должна быть ответом ни на американские требования, ни на угрозы из Москвы; она

должна базироваться на конструктивном фундаменте, независимо от обстоятельств и от давления со стороны американцев или русских: таким фундаментом должно стать создание единой Европы».

Мне в жизни много раз приходилось произносить подобные речи, смысл которых сводится к одной фразе: «Будем добиваться успеха в том, что мы делаем, и не будем менять наших решений в зависимости от того, что говорят или чего ожидают от нас другие». Я не думаю, что такая установка продиктована эгоизмом, напротив! Лучший вклад в развитие цивилизации состоит в том, чтобы дать людям реализовать свои способности в свободно созданном сообществе. Но чтобы этого достичь, надо напирать все силы и не ждать от других ничего, кроме одного: чтобы, убедившись в вашей нестигаемой решимости, они сами к вам присоединились. Так мы действовали, создавая Объединение угля и стали, и добились успеха.

Подписание состоялось 18 апреля 1951 года на Кэ д'Орсэ, в Салоне часов, почти год спустя после того, как прозвучало предложение от 9 мая. Наш верный и изобретательный сотрудник Лами приготовил нам сюрприз: каждому подписавшему договор был преподнесен специальный экземпляр, отпечатанный в Национальной французской типографии на голландской бумаге немецкими чернилами; переплет был изготовлен в Бельгии и Люксембурге, а шелковые закладки прибыли из Италии.

Сам текст договора стоил того, чтобы его оформили с такой заботой: его стиль отличался строгостью и ясностью, которые и по сей день, спустя двадцать пять лет, служат образцом для основополагающих документов развивающегося Европейского Сообщества. Несколько фраз из преамбулы, подписанной тремя монархами и тремя республиканскими президентами, долго еще будут сохранять свое значение для народов Европы:

«Считая, что мир во всем мире может быть сохранен только благодаря творческим усилиям, соответствующим размерам грозящей опасности;

Убежденные, что вклад организованной и живой Европы в развитие цивилизации необходим для поддержания дружественных связей;

Сознавая, что Европа будет построена только посредством конкретных дел, создающих прежде всего фактическую солидарность и общую базу для экономического прогресса;

Стремясь путем развития производства способствовать подъему жизненного уровня и успеху мирных начинаний;

Исполненные решимости заменить вековое соперничество слиянием жизненных интересов, заложить с помощью экономического Сообщества первые основы более широкого и глубокого единства между народами, долгое время находившимися в состоянии кровавых раздоров, и образовать фундамент для институтов, способных направить нас к нашему общему будущему,

Мы согласились создать Европейское объединение угля и стали».

Так решили главы правительств, но парламенты шести стран должны были теперь это соглашение ратифицировать. Нам придется набраться терпения.

Начиная с февраля 1951 года в Париже заседала европейская комиссия по вооружениям. Англия отказалась в нее войти, Нидерланды колебались. Как ни странно, военные довольно быстро пришли к согласию по сложной системе интеграции вооруженных сил: профессиональные навыки помогали им решать проблемы снабжения и материального обеспечения, вытекавшие из плана Плевена. Но политики все время создавали помехи своими спорами об уровне интеграции, причем заботились не о том, какой уровень более эффективен, а о том, какой уровень более приемлем для общественного мнения каждой из стран. Стоило заговорить о включении более мелких национальных подразделений в более крупные европейские, и французы выступали против, потому что им не нравились наименования. Я мог понять тех, кто усматривал опасность в том, что базовые национальные соединения стояли слишком близко к порогу автономии, так

что, если бы обстоятельства изменились, немецкая армия могла бы быть быстро восстановлена. Более легкие национальные подразделения были приемлемы для Франции, но не повредят ли они целостности армии? На самом деле, стоило только захотеть, и решение нашлось: наиболее эффективный тип национальных подразделений стали называть облегченными дивизиями или усиленными боевыми группами, как кому нравилось. Я подсказал Альфану этот компромисс, который позволил разблокировать работу конференции, уже четыре месяца топтавшейся на месте.

По правде говоря, на протяжении последних недель многое изменилось. Если французская делегация вылезла из своих оборонительных укреплений, то произошло это во многом благодаря июньским парламентским выборам: политический центр тяжести сместился, и в правительстве больше не было социалистов. Упорное сопротивление Жюля Мокка перестало ощущаться. Конечно, новое Национальное собрание обещало в будущем большие трудности в связи с усилением голлистов и коммунистов, но Плевен, вновь избранный председателем совета министров, получил время, чтобы продвинуть свой план. Устранилось и другое важное препятствие: американская политика в отношении Европейского оборонительного сообщества полностью изменилась. О том, как это произошло, может поведать история одного завтрака, за которым я встретился в Париже с Эйзенхауэром.

Самая насущная забота главнокомандующего силами Атлантического альянса состояла в том, чтобы Германия как можно скорее включилась в оборону Европы. Затягивание переговоров по плану Плевена вызывало у него такую же реакцию, как и у любого человека из Пентагона: лучшим решением является то, которое скорее приведет к цели. Но он находился в Европе, в Париже, и отдавал себе отчет, что все обстоит не так просто, как представляют себе в Вашингтоне. Он поддерживал контакты со многими людьми и особенно доверял таким опытным политикам, как Брюс и Макклой, которые оба были решительными сторонниками европейской интеграции: нашей общей заботой было поддержание мира. Что бы там ни говорили люди, склонные все усложнять, у амери-

канцев, немцев или французов не было разных подходов к сохранению мира... Но я понимал, что люди, отвечающие за оборону Запада, будут рассматривать все возможные варианты и будут это делать до тех пор, пока судьба европейской армии будет находиться в подвешенном состоянии. В начале лета американцы были готовы пойти на важные уступки немецким требованиям — требованиям законным с точки зрения равноправия, но неприемлемым для европейского общественного мнения. Вот тогда-то, по договоренности с Макклоем и Брюсом, у меня и состоялся продолжительный разговор с Эйзенхауэром и несколькими его сотрудниками в отеле Вальдорф Астория, где они тогда пребывали.

На завтраке присутствовали его начальник штаба Грантер и, если не ошибаюсь, Гарриман. Я им доказывал, что только в единстве Европа обретет сознание собственной силы: «Без единства каждая страна будет стремиться к укреплению собственной мощи, и Германия будет испытывать соблазн укрепиться за счет соглашения с Востоком — в лучшем случае, посредством нейтралитета, который морально ослабит всю Европу. Сила Запада основывается не на числе дивизий, но на единстве и решимости. Поэтому поспешность в формировании нескольких немецких дивизий на национальной основе ценой возрождения неприязни между народами имела бы катастрофические последствия именно для безопасности Европы. И наоборот, если создать у Франции, Германии и их соседей общие богатства, которые они будут сообща использовать и защищать, дух сопротивления возродится в Европе». Эйзенхауэр проявил большой интерес к такому подходу и оценил его конструктивные аспекты: «В общем, — сказал он, — вы предлагаете, чтобы у немцев и французов была одна и та же военная форма. Это проблема скорее гуманитарная, чем военная». — «Да, — ответил я, — в Европе проблемы встанут именно в таком порядке, и мы должны прежде всего создать чувство общности наших судеб». Я чувствовал, что Грантер раздражен тем, как обернулся разговор. «Конечно, можно продолжать рассуждать в общих терминах, — сказал он, — но для нас настоящий вопрос — будут ли у нас дивизии в десять тысяч или в пятнадцать тысяч человек...» Эйзенхауэр прервал

его: «Вы рассуждаете как все технические специалисты: видите не проблему в целом, а только ту ее часть, которая вас интересует. Дивизии — это только одна сторона, а главная проблема — человеческая. Организовать отношения между людьми — вот что нам предлагает Монне, и я — за!» Политическое чутье одерживало в нем верх над военным духом, когда речь шла о защите мира. Люди это чувствовали, и, несомненно, именно поэтому рос его моральный престиж в Соединенных Штатах.

То, что говорил «Айк», обсуждению не подлежало. А несколько дней спустя он произнес в Лондоне, в присутствии Черчилля, важную речь, в которой безоговорочно поддержал объединение Европы. Я был рад услышать в ней отголоски нашей беседы. «Европа, — заявил он, — только тогда станет достойна интеллектуального и творческого уровня своих жителей, когда преодолит раздробленность. Границы являются препятствием для общих интересов, для разделения труда, они мешают циркуляции богатств, усиливают недоверие, заставляют довольствоваться достигнутым. Однако люди, которые живут скудной жизнью и без надежды на лучшее будущее, не способны обеспечить собственную безопасность. Только объединившись в федерацию, Европа обретет подлинную уверенность и будет и далее вносить свой вклад в прогресс западной цивилизации».

Эта речь имела резонанс, а Эйзенхауэр тут же подтвердил ее действием, пустив в ход свое влияние в Пентагоне и в государственном департаменте. Дела пошли быстро, как только Аденауэр перестал стоять перед выбором: к кому прислушиваться — к американцам или к европейцам? Все, чего он хотел, это как можно скорее добиться безопасности и равноправия для своей страны. Если оборонительное Сообщество давало ему такие же гарантии, как и Пентагон, а главное, если Ачесон, Шуман и Макклой занимали теперь единую позицию, то он, конечно, отдавал предпочтение европейскому решению. Он немедленно назначил главой делегации в Париже свое доверенное лицо, депутата парламента Теодора Бланка, человека энергичного и твердого. Он должен был следить за тем, чтобы интеграция немецких войск проводи-

лась без дискриминации и одновременно помогала бы положить конец оккупационному режиму. Альфан, со своей стороны, получил инструкции, чтобы первый немец, призванный под ружье, был призван как европеец и поступил бы под европейское командование. Все были заинтересованы в скорейшем завершении переговоров, но, как нередко бывает, когда зажигается зеленый свет, машина, перегруженная техническими проблемами, с трудом набирает скорость. Потребуется еще больше года дискуссий и пять международных конференций (в Вашингтоне, Оттаве, Риме, Лиссабоне и Париже), чтобы согласовать текст, реализующий принципы плана Плевена, провозглашенные еще летом 1951 года.

Составители договора не проявили особой изобретательности: они ограничились тем, что скопировали применительно к европейской армии механизмы плана Шумана. Институты были такими же, только исполнители — другими. Конечно, было важно, чтобы военная организация составляла единое целое с экономикой и усиливала ее федеративные структуры; и в той, и в другой области лица, принимающие решения, должны были контролироваться высшими демократическими и юридическими инстанциями и поддерживать диалог с правительствами стран-участниц. Поэтому были основания прибегнуть к той же самой системе учреждений. Но при этом следовало руководствоваться разумом и не поддаваться гипнозу симметрии. Там, где задачи были разными, — а руководить обороной это не то же самое, что управлять рынком стали, — следовало придумывать собственные решения... Глядя со стороны, я видел, как в ходе переговоров план Плевена обрастает массой деталей, делающих его громоздким и трудным для исполнения. Но мы не могли уследить за всем, тем более, что, начиная с сентября 1951 года, мне пришлось, помимо моей работы в качестве комиссара Плана, принять на себя еще одну очень обременительную миссию.

Вот уже в течение многих месяцев задача сбалансировать расходы на оборону внутри Атлантического альянса рассматривалась главным образом в военном аспекте, а вся политическая элита была озабочена исключительно тем, в ка-

ких формах будет происходить возрождение немецкой армии. Но управляющие государственными финансами, решая повседневные задачи, видели, что военные расходы были слишком тяжелым бременем для национальных бюджетов и угрожали нарушить гражданский мир. Особенно англичане, желавшие облегчить груз налогов, и французы, несшие большие расходы из-за войны в Индокитае, были не готовы согласиться на требования американцев и увеличить свой вклад в оборону Запада. На сессии Атлантического совета в Оттаве в острой форме встал вопрос: как согласовать расходы на оборону с экономическим и социальным равновесием внутри наших стран? Эта проблема возникала не впервые, но в 1951 году имелись все основания для беспокойства. Тогда в положении дел попросили разобраться трех «мудрецов»: Аверела Гарримана, Плаудена и меня.

Я знал Гарримана давно, но вместе мы раньше не работали. Во время войны он был специальным представителем Рузвельта при Сталине. А пятнадцать лет ранее, будучи крупным бизнесменом, вел переговоры с Троцким. В Кремле к Гарриману относились с уважением и прислушивались к его словам. У него были изысканные манеры, строгий ум и выдающееся умение вести переговоры. Как и многие американские дипломаты его масштаба, он смотрел на вещи с государственной точки зрения; работая в нашей группе, он всегда стремился к честному решению, не поддаваясь слишком амбициозным требованиям американских военных. Идея привлечь в качестве арбитров трех гражданских лиц была правильной: руководствуясь политической и социальной необходимостью, мы рекомендовали уточнить цели и реорганизовать структуру альянса. Его главными опорами должны были быть генеральное представительство альянса в Европе и объединенный генеральный штаб НАТО. Нам потребовалось шесть месяцев работы, чтобы собрать все необходимые данные и вынести рекомендации, которые были подтверждены министрами альянса на конференции в Лиссабоне в марте 1952 года. Самая тяжелая часть работы по подготовке материалов легла на Гирша. Я, со своей стороны, боролся за то, чтобы европейский вклад в оборону Запада рассматривался

как коллективное дело стран Сообщества. Покончив с этой задачей, я направил все свои усилия на то, чтобы ускорить ратификацию договора об угле и стали.

Я не думаю, чтобы требования демократического контроля оправдывали медлительность парламентских процедур со всеми их ритуалами и отсрочками. Почти год прошел между подписанием договора по ЕОУС (Европейскому объединению угля и стали) и заключительным голосованием в парламенте — что позволяет, по крайней мере, утверждать, что обсуждение было широким, а обвинения в технократическом заговоре — беспочвенными. Десятки комиссий в одиннадцати палатах, верхних и нижних, изучали текст договора со всех сторон, о нем публично дискутировали в течение долгих дней и ночей под аккомпанемент запальчивых выступлений в прессе. Масштаб этих дебатов говорит в пользу парламентской системы государств Сообщества; он свидетельствует о высокой ответственности парламентариев, решавших вопрос о делегировании части национального суверенитета, защита которого и составляла смысл их существования. Правда, при этом некоторые руководствовались частными интересами, другие — принципами ушедшей эпохи, но их настырность помогла пролить свет на некоторые еще не вполне проработанные аспекты договора. И если высказывавшиеся опасения чаще всего оказывались несостоятельными, каждый имел возможность вникнуть в существо дела. Конечно, сегодня я уже могу говорить спокойно о сражении, которое шло не так, как я бы хотел (а я бы хотел, чтобы обсуждалось общее будущее европейцев), и в ходе которого удары сыпались на меня со всех сторон. Аргументы националистов и корпоративные интересы занимали в дискуссиях слишком большое место, но могло ли быть иначе в национальных парламентах, которые ведь и избирались гражданами для того, чтобы предотвращать рискованные решения? Редко попадались парламентарии, решавшиеся заявлять с трибун, что самый большой риск состоял в том, чтобы ничего не делать, ничего не менять.

Нидерланды, проявившие сначала наибольшее недоверие к договору, были первыми, кто его ратифицировал —

уже в октябре. Они примирились с неучастием англичан и поняли, как много они потеряют, если изолируют себя от континентального сообщества. В парламентах стран Бенилюкса только коммунисты проголосовали против. Но в Бельгии дебаты проходили трудно, и социалисты, которые опасались безработицы среди шахтеров, воздержались при голосовании в сенате. В палате представителей П.А. Спаак сумел уговорить некоторых из них поддержать договор. Итальянский парламент долго не давал своего согласия. Проект ЕОУС был плохо принят общественным мнением, хотя выгоды для Италии как страны-потребительницы были очевидны и в договор были специально вписаны некоторые пункты, особо благоприятные для этой страны. Но идеология играла решающую роль, и в июне 1952 года, при ратификации договора, против проголосовали правые вместе с социалистами и коммунистами. В Германии ратификации предшествовала долгая и трудная парламентская процедура. Она началась в бундестаге в июле 1951 года обсуждением договора в первом чтении. Все такая же резкая социалистическая оппозиция не могла заблокировать проект, но вынуждала правительство относиться внимательно к критике справа. Пока шли второе и третье чтения, Аденауэр продолжал обсуждать с союзниками вопросы о декартелизации, о Сааре и о равноправии в европейской армии. Он вел борьбу и внутри страны, и вовне, проявляя необычайную настойчивость и полную открытость.

Я находил весьма курьезным список возражений со стороны немецких промышленников и социалистов: они выражали те же опасения, что и их французские коллеги, но с противоположным знаком. Промышленность Рура, говорили они, будет поставлена планом Шумана в невыгодное положение. Верховный орган власти будет тормозить инвестиции в черную металлургию, а расходы будут здесь более значительными, чем во Франции. Взаимоисключающие возражения с той и с другой стороны совсем не вели к их взаимной нейтрализации. Напротив, патронат обеих стран сомкнулся в борьбе против договора. Коммунисты тоже пели в унисон с ними. Но у французской социалистической партии и у социалистической партии Германии не было единодушия. Резкая несог-

ворчивость Шумахера, громче всех кричавшего о независимости немецкой нации, не шла ни в какое сравнение с мягкими оговорками той части социалистической фракции, которая стояла за Рамадье и Лакотом и расходилась в этом вопросе с Ги Молле. Но больше всего меня интересовало и ободряло позитивное отношение к договору со стороны руководителей главного объединения немецких профсоюзов. Несмотря на свою близость к социал-демократам, они не разделяли их доктринерских крайностей, и это давало большие шансы на успех плану Шумана и будущему европейскому договору. В конце концов, Аденауэр сумел убедить Шумахера продолжить спор в спокойной обстановке, и договор был ратифицирован 11 января 1952 года большинством в девяносто голосов, в то время как обычно правительству приходилось довольствоваться перевесом всего в тридцать голосов. Я решил, что эту дату можно считать решающей вехой в победе плана Шумана, и послал Аденауэру телеграмму: «Сообщество родилось, да здравствует Европа!»

Дебаты во французском Национальном собрании открылись только 6 декабря 1951 года. Этому предшествовала долгая и серьезная работа в комиссиях, а противники тем временем накапливали боеприпасы. Хозяева черной металлургии, позволившие договору застать себя врасплох, теперь посылали своих эмиссаров в кулуары палаты депутатов и пустили в ход все свое влияние на прессу. Что касается меня, то я не жалел сил на просветительную работу и встречал понимание со стороны тех же людей, которые поддерживали план модернизации, — социалистов, радикалов, народных республиканцев, умеренных. Политическое большинство, которое они составляли, могло показаться непрочным. Но если посмотреть на их действия, то поражаешься последовательности их усилий, — во всяком случае в том, что касается таких крупных начинаний, как модернизация Франции, построение новой Европы, деколонизация.

Правда, и повседневные дела тоже нуждаются в последовательном и непрерывном управлении, поэтому все труднее становилось мириться с частой сменой правительств. Я был

очень озабочен министерской чехардой и обдумывал, какими средствами можно положить ей конец. Вместе с молодым профессором из Бордо Морисом Дюверже, автором замечательных статей в «Le Monde» о плане модернизации и о плане Шумана, мы работали над проектом конституционной реформы, которая, по нашему замыслу, должна была удержать парламент от слишком поспешной и легкомысленной смены правительств. Этот проект остался в моих бумагах, когда мне пришлось в скором времени покинуть улицу Мартиньяк. Мог бы он помочь руководителям IV Республики лучше подготовиться к грядущим испытаниям, а может быть, и избежать их? Сегодня я в этом сомневаюсь. В то время у меня еще не было достаточно продуманной системы идей в этой области и мне недоставало опыта работы в общественных институтах, — и то, и другое мне еще предстояло приобрести.

Присутствуя на дебатах в Бурбонском дворце, я удивлялся, с какой виртуозностью Плевен, Шуман или Рене Мейер, каждый по-своему, уходили от предварительных запросов, голосований о недоверии, разных ловушек, которые им расставляли противники справа и слева. Я слышал, как Флоримон Бонт заявлял от имени компартии: «Речь идет о широком плане депортации трудящихся, которых рассматривают как обычный товар, подлежащий продаже и экспорту». Затем Гастон Палевски стал пророчествовать: «Все таможенные барьеры рухнут, и весь французский рынок, от Страсбурга до Бразавиля, будет сметен динамизмом немецкой тяжелой индустрии». Затем Сустель, другой рупор голлистов, провозгласил: «Суверенитет нельзя делегировать, ответственность — тоже!» Но наиболее чувствительные удары нанесли опытные мастера спора — Пьер Кот от крайне левой и Пьер Андре от крайне правой.

И тот, и другой говорили долго, с апломбом, выражая правительству притворное уважение. «Я отдаю должное благородству вашей мечты, я уважаю ее, хотя я с ней и не согласен, — говорил Пьер Кот. — Но рядом с мечтой существует реальность. Нации — это реальность. Нельзя не считаться с историей». И такие слова произносил человек, который считал себя прогрессистом! Его слушали со вниманием, но с ним

не соглашались. Более опасным был Пьер Андре, депутат от избирательного округа, где всем заправляли магнаты черной металлургии. Его задача состояла в том, чтобы посеять сомнения среди большинства, упирая на неподготовленность Франции к рискам конкурентной борьбы, а затем, под предлогом получения дополнительных гарантий, отложить дебаты до лучших времен. Он снова и снова бросался в атаку до полного истощения собственных сил. В конце концов, Плевен прибег к последнему средству, поставив вопрос о доверии, а выступление Поля Рейно завоевало на нашу сторону часть умеренных. Договор был ратифицирован в палате депутатов 13 декабря 1951 года большинством в 377 голосов против 233. Коммунисты, голлисты и несколько независимых проголосовали против.

Но ничего еще не было решено. Противники договора готовились возобновить ту же тактику в сенате. Правительство вынуждено было заплатить за ратификацию договора в Национальном собрании важными обязательствами, в том числе обязательством произвести расчистку фарватера реки Мозель. Не станут ли его снова толкать на этот путь, вплоть до того, что окажется поставленной под вопрос сама суть проекта? 25 марта 1952 года, после яростной кампании в прессе, атака началась. Ее возглавил Мишель Дебре, молодой сенатор от департамента Эндр-э-Луар, и политический мир понял, что отныне придется считаться с этим горячим и ловким паладином французской нации. Он изображал ее жертвой тысячи воображаемых опасностей, дабы доблестным рыцарем кинуться на ее защиту. Он умолял, чтобы ее не оставляли на произвол судьбы перед лицом соседнего народа, способного на любое злодейство: «Надо понимать, что этот большой народ одержим стремлением к могуществу, что он не уважает свободу. Надо видеть, что он находится в состоянии политической нестабильности и что — я скажу об этом, потому что это правда, — он не извлек никаких уроков из прошлого... В интересах самой Германии Европа не должна стать германской!» Эти ужасные пророчества не произвели особенного впечатления на сенат, не склонный к крайностям. «Вам кажется, будто вы сформировали власть, — продолжал Дебре, имея в виду

институты, предусмотренные планом Шумана. — Но это не так. Это только видимость, театр марионеток, за кулисами которого скрываются те, кто руководит игрой, — те, кто сильнее, кто решительнее и кто будет навязывать свои правила. Однако я скажу то, что думаю, пусть даже меня обвинят в национализме: Франция не является ни самой сильной, ни самой решительной». Со скамьи правительства Гайар ему крикнул: «Это пораженчество!» Так оно и было, Дебре проповедовал пораженчество, потому что считал, что Франция сможет возродиться только под властью генерала де Голля.

Де Голль с самого начала осуждал план Шумана. «Нам предлагают устроить мешанину из угля и стали, без понимания, куда мы идем, словно хотят соорудить заурядный комбинат», — заявил он 19 мая 1950 года в Меце. Однако затем он почти перестал говорить о нашем проекте — его главной мишенью стала европейская армия. Он предоставил своим сторонникам критиковать то, что было в его глазах всего лишь плохим и бесперспективным соглашением технократов, безответственно стремящихся к власти. Когда процесс распространился на армию, его реакция была гораздо более резкой: была затронута его самая чувствительная струна. «И вот мы видим, как искусственный проект так называемой «европейской» армии грозит *de jure* покончить с французским суверенитетом, — заявил он. — Нашей армии грозит опасность раствориться в некоем гибридном образовании, к которому для отвода глаз приклеивается ярлычок «Европа». Но, поскольку Европы не существует как ответственного и суверенного единства (для этого, впрочем, еще ничего и не было сделано), эта сила будет подчинена американскому «большому шефу». Все его рассуждение основывалось на постулате: никакие общие европейские начинания невозможны, пока объединенная Европа не стала политической реальностью. Но одновременно де Голль утверждал, что единственная политическая реальность — это нация. Так какой же могла быть эта Европа, к которой он призывал с очевидной искренностью? «Широкая конфедерация государств», — говорил де Голль, не уточняя ни географических границ, ни внутренних связей и ограничива-

ясь расплывчатыми терминами «кооперация» и «ассоциация». Единственное, что просматривалось ясно, — это воля связать Германию соглашением с Францией так, чтобы последняя имела господствующее положение, особенно в военной области. Наконец, вся эта система должна была получить легитимность через народный референдум.

Конструкция выглядела привлекательной и амбициозной, но при более внимательном рассмотрении становилось ясно, что ее перспективы гораздо ограниченнее, чем те проекты, которым ее хотели противопоставить. Ей не хватало общего суверенитета, независимых институтов и равенства, а особенно — возможности реализоваться в обозримом будущем. Все говорилось в условном наклонении, поскольку ничего нельзя было предпринимать, «пока Франция не станет собой». Нынешние государственные учреждения во Франции де Голль считал несостоятельными. Национальное возрождение выдвигалось как предварительное условие, а все европейские проекты откладывались на потом. И поскольку речь шла о мечтах о грядущем, то почему бы не представлять его себе грандиозным? Совершенно иным был наш подход: он опирался на ограниченные проекты и стремился установить фактическую солидарность, которая в своем дальнейшем развитии привела бы к федерации. Я никогда не думал, что единая Европа возникнет сразу, в один прекрасный день, благодаря великой политической мутации, и что начинать надо с народного опроса о Сообществе, относительно которого у народов не было никакого конкретного опыта.

Другое дело — необходимость, чтобы институты, создаваемые в ограниченных сферах, были в полной мере демократическими. За этим надо было следить, и здесь нам еще предстояло работать. По плану Шумана европейская Ассамблея контролировала и в случае необходимости приостанавливала решения Верховного органа. Та же Ассамблея должна была контролировать ЕОС, и договор предоставлял ей те же права в отношении Комиссариата обороны. Однако имелась специально внесенная 38-я статья, в которой говорилось, что Ассамблея будет избираться всеобщим голосованием с целью разработки и создания федеративной системы. Таким обра-

зом, прагматический путь, избранный нами, тоже вел к федерации, которая должна была быть узаконена народным голосованием. Но она должна была увенчать реально достигнутое, на практике проверенное экономическое и политическое единство, в то время как по плану де Голля все предстояло создавать в порядке эксперимента. Теоретически можно было колебаться в выборе того или иного пути. Но тот, по которому шли мы, пролегал внутри самой жизни, он вел к сближению вещей и людей и был уже на протяжении целого года реальной надеждой для миллионов европейцев.

На самом деле выбора не было, и мне было трудно понять, как можно противопоставлять Европе, которую еще надо было придумать, Европе, которая уже формировалась у нас на глазах. Конечно, необходимость в военной интеграции заставляла нас идти в политической области дальше и быстрее, чем первоначально предусматривалось планом Шумана. Этой необходимости отвечала статья 38, заключавшая в себе зерно федеративной системы, из которого должны были быстро возникнуть политические институты для обеспечения совместной ответственности в области обороны и экономики, иначе говоря — в двух главных сферах жизненной активности шести стран.

Окончательное голосование по ЕОУС состоялось 1 апреля 1952 года, договор прошел подавляющим большинством голосов. Однако стало очевидным, что смычка правого и левого национализма будет служить постоянным препятствием для прогресса в Европе и что во время серьезных испытаний к двум вышеназванным противникам будут присоединяться все консервативные элементы из числа радикалов и умеренных, а также из числа тех, кого, по слабости характера или по политическому расчету, привлекал нейтраллизм. Уже в феврале правительству пришлось выдержать тяжелые дебаты о проекте европейской армии и премьер-министр Эдгар Фор был вынужден пустить в ход все свое красноречие, чтобы устоять. На предварительные условия, которые выставляла оппозиция, он ответил цитатой из философа Уильяма Джемса, так определявшего действие: «Сначала продол-

жать, и только потом начинать». Хотя я не испытываю особой склонности к парадоксам, должен признать, что это высказывание очень подходило к нашей ситуации. Надо было идти вперед и, насколько позволяло наше продвижение, предпринимать новые инициативы, которых все желали. Правительство, однако, должно было воздерживаться от окончательных решений, пока не были получены американские и английские гарантии по оборонительному сообществу (на полное участие в нем Великобритании рассчитывать не приходилось). В Атлантическом пакте эти гарантии подразумевались, но надо было их подтвердить с той и с другой стороны, а это была целая история. Предполагалось, что Соединенные Штаты и Англия придут на помощь Европе, если ей снова будет грозить опасность. Существовало твердое намерение американцев сохранить свои войска в Германии, и формальные договоры ничего к этому не добавляли. Но французским руководителям были необходимы письменные обязательства, которые и были получены одновременно с подписанием договора о Европейском оборонительном сообществе в Париже, 27 мая 1952 года, в присутствии Ачесона и Идена.

Пинэ был тогда председателем совета министров уже в течение трех месяцев. Я не был с ним знаком до его избрания премьер-министром, но Гирш имел с ним дело в связи с планом модернизации. Он описал мне его как обычного, среднего человека со здравым смыслом и доброй волей. Таким его предстояло узнать и всей стране. «Он вас еще удивит», говорили о нем. Лично я не был удивлен, встретив в руководителе правительства нормальные человеческие качества, в том числе способность слушать, а затем принимать решения. Мои отношения с Пинэ всегда были простыми и конструктивными, основанными, как мне кажется, на взаимном уважении.

Однако надо было, чтобы кто-то рассмотрел в этом скромном министре качества, необходимые для главы правительства, и этим «кем-то» был президент Республики Венсан Ориоль, человек высоких душевных качеств, с которым меня давно связывали дружеские отношения. В работе над планом

модернизации я всегда мог рассчитывать на его советы и поддержку, но уже в 1950 году я почувствовал, что план Шумана вызывал у него недоумение. Если он не делал ничего, чтобы помешать его рождению, то и активной помощи не оказывал. А когда оформился проект Европейского оборонительного сообщества, он стал действовать против него, пустив в ход всю силу своего невидимого влияния. Как и многие его современники, он полагал, что истинный патриотизм требует недоверчивого отношения к Германии. О моей позиции он знал и никогда меня за нее не упрекал. Мы просто избегали этой темы, которая и так уже стала фактором раскола между французскими политиками, а затем — и между всеми французами, встревоженными развернувшейся полемикой и стремившимися определить свое место в решающих баталиях. Эти баталии начались не сразу. Шуман не торопился внести проект европейской армии на рассмотрение парламента, и никто из коллег не торопил его в течение шести месяцев, пока он занимал свой кабинет на Кэ д'Орсэ.

По правде говоря, у нас тогда была более неотложная забота — сделать так, чтобы заработало Объединение угля и стали. А для этого необходимы были еще несколько соглашений на правительственном уровне. Наконец, 23 июля в Париже собралась конференция Шести; в повестке дня стояли следующие вопросы: место пребывания учреждений Сообщества, назначение людей, официальных языков, а также политическое устройство Европы. Снова Аденауэр, Де Гаспери, Ван Зееланд, Стиккер и Бек были приняты Шуманом; в последний раз, в том, что касалось Объединения угля и стали, они выступали в качестве полномочных министров своих стран, каждый из которых имел право заблокировать любое решение, которое ему не подходило. Дискуссия о месте пребывания штаб-квартиры ЕОУС послужила последним и смехотворным поводом для применения права вето. Она началась во вторник утром, а закончилась в субботу на рассвете, приведя к половинчатому решению. Каким образом, после бесконечных препирательств, «временной» резиденцией Верховного органа был избран Люксембург — это особая и не очень славная история.

У меня не было предпочтений по отношению к той или иной европейской стране; для меня было важно, чтобы все учреждения находились в одном месте и на территории Европы: такое место было бы прообразом будущего федерального округа. В моем предложении не было ничего утопического, и Европейское сообщество, вероятно, развивалось бы в совершенно ином климате, если бы у правительств хватило мудрости создать для него особую столицу и тем избавить его от национального соперничества и национальных влияний. Но в июле 1952 года каждая страна предлагала свой город. Франция предлагала Страсбург, и это предложение было поддержано Италией, Бельгия предлагала Льеж, Нидерланды — Гаагу. Почему Шуман в последний момент выдвинул Саарбрюккен? Я думаю, он надеялся избежать таким путем многих трудностей, но на деле только добавил новых. Аденауэр не скрывал своего удивления и недовольствия такой попыткой «европеизировать» проблему Саара. Хотя это предложение отвечало двум моим пожеланиям (единство места и отдельный округ), оно не казалось мне удачным: спор о Саарской области, за которым я следил уже давно, не мог быть разрешен с помощью политического маневра. Де Гаспери пришел на помощь Шуману, предложив, чтобы этот вопрос был перенесен на сентябрь, после того как будет заключено франко-германское соглашение по Саару. Перспектива новой отсрочки была для меня неприемлемой, и я передал министрам: «Начало деятельности Сообщества по углю и стали и так слишком затянулось, эксперты вам это подтвердят».

Состязание за столицу продолжалось и закончилось только по причине усталости. К трем часам утра остались два города-претендента: Страсбург и Турин. Я заявил, что в этом случае нечего на меня рассчитывать как на председателя ЕОУС (такое предложение было мне сделано шестью правительствами). Я помню, как среди неразберихи Ван Зееланд обронил знаменательную фразу: «Уже поздно, мы все устали, поэтому я буду говорить откровенно...» Был выдвинут Брюссель, Ван Зееланд возражал: по электоральным соображениям он был уполномочен соглашаться только на Льеж. Вариант Парижа или его окрестностей, соблазнительный сам по

себе, был отклонен Шуманом: Пфлимлен, мэр Страсбурга, вцепился бы нам в глотку. Тогда мы услышали голос Бека, который до этого, казалось, дремал: «Я предлагаю, чтобы работа Объединения началась немедленно в Люксембурге, а потом у нас еще будет время подумать». Все вздохнули с облегчением, и таким образом Объединение обрело «временное» пристанище в маленьком городке, ставшем перекрестком Европы. Конференция закончилась, приняв решение о четырех официальных языках Сообщества. Она забыла об основном пункте своей повестки — политической организации Европы. Решено было поговорить об этом в сентябре.

В эту ночь мы окончательно убедились — если в этом еще была необходимость, — что Европа, состоящая из суверенных государств, сама по себе не способна, при всей доброй воле ее руководителей, принимать разумные решения, необходимые для общего блага. Зато все становится возможным, если право принимать решения получают институты, призванные заботиться об общих интересах в рамках единых правил и на основании воли большинства. Занимался день, когда мы покидали Кэ д'Орсэ, и я сказал Фонтену: «У нас есть несколько часов, чтобы отдохнуть, и несколько месяцев, чтобы добиться успеха. А затем...» — «А затем, — продолжил, улыбаясь, Фонтен, — перед нами возникнут новые серьезные препятствия, которыми мы воспользуемся, чтобы снова продвигаться вперед. Не так ли?» — «Именно так. Вы прекрасно разобрались в европейских делах».

Глава 15

Объединение за работой (1952–1955)

Пионеры ЕОУС

Утром 10 августа 1952 года Европа пришла на рандеву в Люксембург. Очаровательная столица великого княжества не была готова к такому наплыву людей из разных стран, которые, не теряя ни минуты, приступили к лихорадочной деятельности на глазах у населения, привыкшего к неторопливому ритму жизни. За несколько дней прежние учреждения были выселены, чтобы уступить помещения нашим институтам, и новые сотрудники стали прибывать волнами из Бонна, Парижа, Рима, Брюсселя, Гааги, подобно пришельцам из иных миров. Вслед за ними, для участия в предвыборных спектаклях, ехала толпа политиков, дипломатов, журналистов. Люксембуржцы были довольны этим наплывом, который придавал блеск их столице и обещал расцвет в туристическом бизнесе. Но они не подозревали, что эти «туристы», приехавшие на один день, вскоре вернуться, чтобы создать здесь свои посольства, агентства печати, бюро профессиональных связей, что маленькая команда, которую они пригласили погостить ненадолго, разрастется настолько, что станет их теснить в их собственных домах и на улицах. Наиболее традиционно настроенные жители стали сожалеть о дипломатическом успехе Бека, грозившем нарушить хрупкое равновесие их маленького общества. Что касается нас, то мы быстро справились с трудностями размещения, и я стал даже находить преимущества в той изоляции, которой первоначально опасался. Природа была красивой и спокойной, а местное окружение не ока-

зывало никакого давления на нашу работу. Если средства связи оказались не на высоте, что ж, придется громче заявлять о себе в больших столицах, чтобы нас слышали все европейцы.

По правде говоря, первоначально я не намеревался устраиваться здесь надолго и с многочисленным штатом. Я надеялся — и продолжаю надеяться до сих пор, — что для европейских институтов будет выделен особый округ, имеющий собственный суверенитет, и, в любом случае, я хотел, чтобы аппарат Верховного органа был как можно менее громоздким. По опыту я знал, что в таких вещах придется идти на уступки, но, по крайней мере, все были предупреждены, что такова моя позиция и что отступить от нее меня может заставить только крайняя необходимость. Какими будут оптимальные размеры администрации Верховного органа, покажет практика, а начинать лучше всего с несколькими людьми, принимавшими участие в разработке договора. Первоначальное ядро будет увеличиваться методом кооптации по мере определения наших задач, сохраняя при этом свою структуру и свои функции по организации и руководству. В остальном Верховный орган располагал всеми каналами национальных администраций и обладал непосредственной властью над конкретными предприятиями; это касалось как сбора предварительной информации, необходимой для принятия решений, так и исполнения самих решений. Мы уже доказали при осуществлении французского плана модернизации, что власть лучше всего осуществляет свои функции с помощью легкого инструментария. Когда люди убеждаются, что вы не стремитесь занять их место или подмять их под себя, они охотно идут на сотрудничество с вами. Несколько сотен европейских функционеров было достаточно, чтобы включить в нашу работу тысячи экспертов во всех странах, мощные механизмы государственных учреждений и частных предприятий. Во всяком случае, именно по такой модели я стремился строить первые институты Сообщества.

Таким образом, нас было немногим более тридцати, когда в одно прекрасное утро, в Люксембурге, мы предстали в качестве Верховного органа власти перед аудиторией примерно

в сто человек, в основном представителей крупных мировых газет, приехавших на торжественное открытие Объединения угля и стали. Многие из моих новых коллег никогда раньше не встречались и знакомились между собой только сейчас, в присутствии прессы. Я сам многих видел впервые и, если не считать Спиренбурга и Верера, не имел представления о характере каждого из них. Но в отношении главного я был спокоен с тех пор, как Хальштейн — теперь ставший госсекретарем по иностранным делам — однажды на уик-энде в Вестервальде представил мне Франца Этцеля, выдвинутого им и Аденауэром на пост вице-президента Верховного органа. Конечно, я и раньше не сомневался в выборе Аденауэра, превыше всего ставившего франко-германскую дружбу. Однако нужна была удача для того, чтобы эта дружба из политической идеи превратилась в повседневную человеческую реальность. Мне не потребовалось много времени, чтобы увидеть за внешней монументальностью и скованностью моего нового собеседника (именно таким обычно представляют себе пруссака) доброжелательного человека, воспитанного на рейнской культуре и заранее убежденного, что согласие между нами станет необходимым условием успеха всего предприятия. Затем Этцель несколько раз приезжал в Париж для встреч со мной, так что мы уже сблизили наши позиции к тому моменту, когда сели за один стол с нашими новыми коллегами.

Среди них был и знакомый мне Леон Дом, второй член французской делегации на конференции по Объединению. Назначивший его Пинэ относился к нему с полным доверием, и это было для меня хорошей рекомендацией, так что я не испытывал беспокойства по поводу того, что Дом был одним из столпов той самой черной металлургии, которая не доверяла Верховному органу. «Месье Дом» — мы никогда не называли его иначе — по-прежнему возглавлял крупнейшие французские компании, а в ЕОУС пришел, чтобы направлять его деятельность в соответствии со своими прежними интересами. Он был человеком чести, и прежде чем принять назначение, он внимательно прочел договор. 10 августа он вместе со всеми нами произнес клятву сохранять полную независимость — и такова была в действительности линия его поведения; чтобы

не отступать от нее ни на шаг, он всегда держал договор у себя под рукой, на письменном столе. «Читайте эту маленькую книжку, — говорил он приходившим к нему представителям черной металлургии, — это очень интересно». Его моральная репутация способствовала внутренней сплоченности Верховного органа и его авторитету в окружающем мире. Я присутствовал при его встрече с Полем Финэ, бельгийским профсоюзным деятелем, которого мы кооптировали в соответствии с условиями договора. Бывший рабочий-металлург, ставший председателем Международной федерации свободных профсоюзов, он обладал таким же быстрым умом и таким же энтузиазмом, что и Дом, бывший горный инженер, ставший председателем объединения металлургических и сталелитейных предприятий морского флота. Оба они показали себя прекрасными членами команды, и я мог полностью положиться на их лояльность. Финэ пользовался огромным влиянием на рабочих благодаря своим выдающимся способностям и ораторскому таланту. Его включение в число членов Верховного органа послужило хорошим началом практики кооптации.

Одновременно с Этцелем правительство Бонна предложило в Верховный орган Хайнца Поттхофа, профсоюзного деятеля из аппарата ФНП (Федерации немецких профсоюзов), представлявшего тогдашнюю Германию в Администрации Рура. Выбор социал-демократа уравновешивал фигуру Этцеля, влиятельного члена христианско-демократической партии, председателя комиссии бундестага по экономическим проблемам. Держась скромно, почти незаметно, он устанавливал полезные связи, предоставляя Этцелю действовать на авансцене. Таким же скромным, не любящим быть на виду, был итальянец Энцо Джаккери, блестящий аналитик и выдающийся оратор. Во время войны он был тяжело ранен, что не помешало ему уйти к партизанам. Он был горячим сторонником идеи федерализма. Ко всему остальному он относился со скептической улыбкой. Некоторые опасения поначалу внушал только Альбер Коппе, бывший бельгийский министр и профессор-экономист, настолько приверженный принципам либеральной экономики, что, послушав его, можно было прийти в недоумение: зачем при таких взглядах он согласил-

ся войти в аппарат Объединения? В действительности он оказался способным учеником и вскоре с полной откровенностью признал, что его первоначальное недоверие не имело оснований. Придя в Объединение, чтобы защищать интересы Бельгии, которой, как он думал, угрожало экономическое превосходство крупных стран, он стал одним из самых горячих защитников договора и правила большинства голосов. «Даже моя семья, — сказал он мне однажды, — не могла бы существовать при наличии права вето». У него было семеро детей, и он знал, что говорил.

Во время торжественного открытия, происходившего в городской ратуше, я первым взял слово и произнес от имени всего нашего коллектива следующее торжественное обещание: «Мы осуществляем наши функции совершенно независимо и в общих интересах Объединения. Выполняя свой долг, мы не будем ни запрашивать, ни принимать инструкций со стороны какого-либо правительства или какого бы то ни было организма и будем воздерживаться от всякого действия, не совместимого со сверхнациональным характером нашей деятельности. Мы принимаем к сведению обязательства государств-членов уважать наш сверхнациональный статус и не пытаемся оказывать влияние на выполнение нами своих задач». По окончании церемонии все гости разъехались. Мы остались одни, чтобы начать дело, не имевшее прецедентов. Маленький город, как обычно, рано погасил огни. И только свет в окнах здания на площади Мец горел до поздней ночи. Устанавливалась новая традиция — традиция неутомимых первопроходцев единой Европы.

Я забрал с собой Юри, Ван Эльмона, Фонтена и Лами, оставив руководство Планом в надежных руках: Гирш занял мое место, с ним рядом были Вержо, Рипер и, в течение еще какого-то времени, Рабье. Несколько участников переговоров согласились продолжить работу вместе с нами, чем доставили нам большое удовольствие. Это были: Гамбургер, нидерландский журналист, внешне насупленный человек, обладавший большим здравым смыслом и дававший нам ценные советы; Балладоре, опытный и добросовестный итальянский

функционер, способный организатор; Вагенфур, экономический советник германских профсоюзов, авторитет которого не переставал расти; Винк, бельгийский эксперт по добыче угля, чрезвычайно деятельный и разумный; Рольман, люксембургский специалист по черной металлургии, четкий в работе, чья деловая репутация была известна за пределами его страны. Эта маленькая команда с удовольствием поступила под начало Юри, деловые качества и сердечность которого признавали все. Именно этим людям было поручено с первого же дня создание служб Верховного органа и подготовка первоочередных мер. Сам Верховный орган ограничивался коллективным продумыванием и решением основных вопросов. Для координации и исполнения решений потребовался секретариат, который возглавил молодой дипломат Макс Конштамм, входивший в нидерландскую делегацию на переговорах в Париже.

Нужны были действительно исключительные способности, чтобы воспринимать и оформлять мысли и указания органа, состоявшего из девяти членов, представлявших шесть стран и говоривших на четырех языках (а помимо языков, существовали еще и характерологические и культурные несовпадения). Я не надеялся, что нам удастся поручить одному человеку эту роль, предвещавшую настоящего европейца будущего или напоминавшую европейца Возрождения. Конштамм обладал способностью понимать своих коллег, говоривших на французском, немецком, английском языках (а еще — на его собственном), он знал их литературу, следил за их прессой. Недоразумения, которые могли возникать по причине нашего незнания обычаев друг друга, ему не грозили, и он осуществлял ценнейшую связь между всеми нами. Все мы уважали его умственную открытость и моральную непредвзятость. Я нашел в его лице сотрудника и друга, на верность которого всегда мог положиться.

С этой маленькой командой мы приступили к выполнению самых неотложных задач: составить баланс Объединения в тех отраслях производства, за которые оно отвечало; завязать первые внешние связи; помочь созданию других институтов в предусмотренные договором сроки. По каждо-

му из этих направлений шага, которые мы предпринимали сегодня, предопределяли ход дел в будущем, и мы должны были тщательно рассчитывать далекие последствия наших сегодняшних решений. Чтобы составить возможно более полную картину, мы привлекли к работе максимальное количество национальных экспертов. За несколько недель в нашем офисе их побывало больше трех сотен, в то время как у нас самих было всего десять собственных экспертов, которые в результате получили материал, позволивший Юри составить великолепный доклад. Велик был соблазн удержать лучших из приехавших экспертов, но мы его преодолели. В дальнейшем они снова приезжали к нам по первому вызову. Эти бесконечные приезды-отъезды за несколько месяцев превратили Люксембург в международный центр, живущий напряженной жизнью, так что мы имели возможность пользоваться одновременно и преимуществами уединения в маленьком княжестве, со всех сторон огражденном сосновыми лесами, и возможностями постоянного контакта со всеми точками Европы. У наших посетителей, приезжавших на один день, создавалось ощущение, что они видели некую стройку будущего, и, вернувшись домой, они рассказывали об этом окружающим.

Из подобных рассказов возникала легенда о том, что в учреждениях Объединения, как в некой лаборатории, рождается новый тип человека, и такая легенда беспокоила тех, кто опасался возникновения технократии, оторванной от национальных реальностей и обладающей неконтролируемой властью. Конечно, что-то новое и сильное рождалось внутри нашей команды: это был европейский дух, результат совместной работы и, главное, необходимости — после широкого обсуждения и многосторонних консультаций — всем вместе прийти к единому заключению. Этот европейский дух нарушал умственные привычки, но одерживал верх, и не потому, что будто бы исходил от какой-то технократической власти; такой власти у нас не было, как нет ее сегодня у Европейской комиссии, которая наделена полномочиями скорее для предложений и консультаций, чем для решений. Влияние Люксембургского центра было связано с тем, что работавшие там

люди, приехавшие из шести разных стран и говорившие на разных языках, своим энтузиазмом подавали вдохновляющий пример своим согражданам. В отношениях между этими людьми все было просто, сложными были только проблемы, которые они ставили и решали. Не было таких языковых или психологических барьеров, которых Объединению не удалось бы быстро преодолеть. До сих пор в жизни Европы такого опыта не было. Как же иначе европейцы, разделенные границами, могли ощутить свою солидарность и представить себе свое единство? Мы служили доказательством, что такое возможно, и посещавшие нас многочисленные журналисты и работники университетов, приезжавшие специально, чтобы наблюдать за нашей работой, отмечали это.

Такой интерес проявляли не только страны, входившие в Объединение. Явные признаки заинтересованности наблюдались и со стороны Англии. На следующий день после нашего прибытия я получил из Лондона следующее коммюнике: «Правительство Ее Величества горячо приветствует создание Верховного органа власти. Оно уже имело случай выразить свою поддержку целям Объединения и свое желание установить с ним самые тесные контакты, как только Верховный орган будет создан. Оно готово в любое время начать переговоры с председателем Верховного органа с целью поддержания дальнейших взаимоотношений». Я ответил тотчас же: «Я испытываю особое чувство удовлетворения в связи с тем, что первое приветственное послание, полученное Объединением, исходит от британского правительства. Я убежден, что между нами не замедлит установиться тесное взаимодействие...» Спустя десять дней я уже был в Лондоне, где, в отсутствие Идена, имел беседы с Плауденом и сэром Роджером Мейкинсом. Этот последний встретил меня такими словами: «Now that you are a fact, we shell deal with you»*. Понадобилось не больше двух лет, чтобы прогноз, который я сделал Стаффорду Криппсу, стал реальностью: англичане считались с возникшей Европой и шли ей навстречу. Уже го-

* «Теперь, когда вы стали реальностью, мы будем с вами иметь дело».

това была делегация для поездки в Люксембург во главе с сэром Сесилом Уиром, шотландцем с седыми волосами и лукавой улыбкой, излучающим прямоту и достоинство. Нельзя было сделать более удачного выбора, и более приятного для меня. Репутация сэра Сесила была очень высока, он был опытным человеком, успешно работавшим и в промышленности, и в области международных отношений. Избирая его, английское правительство давало понять, что относится к делу всерьез. Оно открыло путь к взаимодействию, и теперь от нас зависело ускорить продвижение по этому пути.

Какие именно формы могло принять наше сотрудничество, я пока не решил. Как говорилось в письме Идена, направленном мне 29 августа, мы договорились «заложить основы для тесного и длительного сотрудничества между Объединением и Соединенным Королевством». Англичане слов на ветер не бросают, и «тесное и длительное сотрудничество» означало, что они берут на себя серьезные обязательства, конкретное содержание которых будет, в соответствии с их привычками, определяться эмпирическим путем. Я был согласен на самый широкий эмпирический подход в данных обстоятельствах, когда мы сами постепенно нащупывали реальные контуры проблем. «Приезжайте и смотрите, как мы работаем, день за днем, — сказал я англичанам, — от вас ничего не будут скрывать. Если окажется, что перед вами стоят аналогичные проблемы, мы будем вместе искать такие формы отношений и соглашений, которые помогут наилучшим образом эти проблемы разрешить в наших общих интересах. Если мы найдем такие формы, если начнем работать по единым правилам, наше Объединение будет развиваться заодно с Англией и со временем из опыта и действия возникнут предпосылки для более глубокого единства».

До присоединения англичан было еще далеко, но я стремился к тому, чтобы с самого начала двери наших учреждений были для них открыты: тогда недоразумения и подозрения будут сразу же рассеиваться, а не сгущаться. В действительности, я уже желал чего-то большего, чем просто близкие отношения. Требовалось установить минимальные правила для того, чтобы в процессе работы — пусть даже эта

работа будет состоять в простом обмене информацией — возникли взаимные обязательства: пусть англичане познакомятся с нашими проблемами настолько, насколько сами будут готовы раскрыть перед нами свои. Мы с сэром Сесилом Уиром создали *Joint Committee* («Комитет Связи»), в котором его сотрудники и сотрудники Объединения угля и стали встречались в течение двух лет, что привело к заключению действенного соглашения между Соединенным Королевством и ЕОУС; соглашение было, конечно, ограниченным, но оно позволяло англичанам развивать их отношения с Европой настолько далеко, насколько они были к этому готовы в данный момент их истории.

Связи с американцами имели иной характер. Уровень, на котором с самого начала выявилась общность интересов, позволял дать новым отношениям более политически открытое и прямое выражение. В первый день, когда мы приступили к работе, я получил от Ачесона следующее послание: «Соединенные Штаты намерены оказать Европейскому объединению угля и стали действенную поддержку, соответствующую значению политического и экономического единства Европы. ...Соединенные Штаты, начиная уже с сегодняшнего дня, будут обсуждать с Объединением вопросы, связанные с углем и сталью». Это официальное признание, за которым последуют другие аналогичные заявления, придадут Верховному органу международный правовой статус. Когда Уильям Дрейпер, специальный представитель Соединенных Штатов в Европе, прибыл в Люксембург, не осталось сомнений в том, что ЕОУС обладает своим собственным суверенитетом. Дрейпер приехал в сопровождении Томлисона, которого он аккредитовал при Объединении в качестве постоянного представителя. Приветствуя их, я сказал: «Не могу не вспомнить об историческом моменте, когда, принимая первых послов Америки, народы старого континента оказали мощную поддержку формированию Соединенных Штатов. В те времена, когда тринадцать штатов вашего континента образовали Соединенные Штаты Америки, им нужны были друзья, чтобы преодолеть огромные трудности, стоявшие на их пути. Нам тоже, чтобы добиться успеха, нужны друзья...»

Несколько месяцев спустя эта дружба еще более укрепилась. Став президентом, Эйзенхауэр назначил Фостера Даллеса государственным секретарем, и оба они обратились к Дэвиду Брюсу с просьбой вернуться к дипломатической работе в Европе. Вскоре я получил от Даллеса телеграмму: «Брюс согласился. Он будет назначен послом при Европейском объединении. Томлисон остается его помощником. Я уверен, что это известие доставит большую радость вам лично. Выбор Брюса показывает, какое значение придают Соединенные Штаты успехам европейского единства». Даллес захотел сам убедиться в этих успехах во время первой же своей поездки в Европу: его самолет приземлился в Люксембурге. Он собственными глазами увидел первые контуры нового мира, возникающего на старом континенте. Перед отлетом, холодной февральской ночью 1953 года, он беседовал с нами о нашем начинании, проявив присущее ему умение смотреть на вещи с высокой точки зрения. Его речь была так красноречива, что в какой-то момент он сам прервал себя с улыбкой: «Вам, наверное, кажется, что я произношу проповедь. Но если я и проповедую, то на основании вашей собственной библии. Вы, конечно, заметили, что все, что я вам только что сказал, — не что иное, как парафраз преамбулы вашего договора». И действительно, он знал договор почти наизусть, а главное, он узнавал в нем традицию основателей американской Конституции, ощущая себя самого продолжателем их дела.

Итак, международный суверенитет был нам предоставлен, нам больше не нужно было его завоевывать, но надо было его оправдывать на деле. Надо было прежде всего создать органы Объединения — совет министров, парламент и суд. Эту задачу должен был выполнить Верховный орган. По условиям договора, он был обязан созвать парламент через месяц после того, как сам приступит к работе. Внешне задача казалась простой: шесть национальных парламентов назначили своих делегатов, дата была определена, место пребывания тоже: им должен был стать Страсбург. Однако это последнее решение (принятое министрами в июле) грозило сразу же втянуть нас в конфликт с Советом Европы: речь

шла не больше и не меньше как о независимости ЕОУС. Спор о компетенции имел отнюдь не формальное значение. Совет Европы ухватился за возможность оживить старый проект, план Идена, выдвинутый много месяцев тому назад; о нем много говорили, но приступить к осуществлению никак не решались. Как и в неудачном плане Макмиллана, речь шла о том, чтобы прибрать к рукам ЕОУС, растворив его в страсбургской организации. Генеральный секретарь этой организации Камил Пари чувствовал себя достаточно уверенно в должности, которую он сам создал в соответствии со своими амбициями. Он решил начать сражение (с чьей-то поддержкой или без нее, я не знаю) и отважно потребовал, чтобы именно его организация выступила в качестве генерального секретариата новой Ассамблеи. Мне не стоило особого труда объяснить моим коллегам по Верховному органу, что под видом технической помощи Совет Европы стремится взять под свой контроль парламентский и министерский аппарат наших институтов. Тогда мы решили обратиться к генеральным секретарям шести парламентов государств-членов с тем, чтобы они организовали первую сессию, в ходе которой Ассамблея сама примет решение относительно своих административных структур. Оказалось, что среди генеральных секретарей парламентов Эмиль Бламон, секретарь французского Национального собрания, пользовался особым влиянием. Он был прекрасным организатором, а по части упорства не уступал Пари. Он стал подыскивать в Страсбурге подходящее помещение для заседаний Ассамблеи на случай, если за оставшийся небольшой срок конфликт с Советом Европы не удастся урегулировать, и каким-то чудом обеспечил нам запасной вариант — в здании Коммерческой палаты.

Как и следовало ожидать, как только мы заявили о твердой решимости заседать отдельно от Совета Европы, его зал был предоставлен в наше распоряжение без всяких условий. Это произошло 5 сентября, а Ассамблея ЕОУС была назначена на 10 число. Для всех было важно, чтобы сессия происходила в большом полукруглом зале (где Ассамблея продолжает заседать и по сей день). Бламон организовал все с исключительной точностью. К намеченному сроку было го-

тово все, что нужно, для начала прений. Одновременно план Идена перестал существовать. К тому же политический характер Сообщества Шести был ясно провозглашен новым советом министров, собравшимся на свое первое заседание накануне в Люксембурге.

Германии, как первой по алфавиту, выпала честь председательствовать на открытии министерского совета. Это сделал Аденауэр, которого сопровождал Хальштейн; от других стран Шестерки присутствовали Шуман, Де Гаспери, Ван Зееланд, Стиккер и Бек. Аденауэр изложил свое понимание роли Совета министров, и, по моему мнению, его определение было превосходным: «Совет находится в точке скрещения двух суверенитетов — сверхнационального и национального... Но, хотя он и должен охранять национальные интересы стран-членов, ему необходимо удержаться от того, чтобы видеть в этом свою главную задачу. Первоочередной его задачей является отстаивание интересов Объединения, которое только при этом условии сможет развиваться. Вот почему Совет министров должен будет предоставить широкую свободу действий сверхнациональному организму Объединения, Верховному органу, а в известных случаях — и создавать для него такую свободу...» Именно такими были природа и реальное положение Совета министров в ЕОУС, первом из европейских Сообществ.

В своем ответном слове я поддержал и подчеркнул эту концепцию: «Для Совета речь идет о том, чтобы определять общее видение, а не в том, чтобы искать компромисс между национальными интересами. Действуя в соответствии с договором, вы будете участвовать в осуществлении нового суверенитета — суверенитета Объединения».

Это было подлинно федеративное равновесие институтов, жизнеспособность и эффективность которого нам предстояло доказать. Но следовало ли сразу идти дальше по пути политизации? После создания оборонительного Сообщества многие полагали, что Европа должна сделать следующий, решительный шаг, и искали случай подтолкнуть ее к такому шагу. Альчиде Де Гаспери принадлежал к числу таких людей. Это был человек высокого ума; его бескорыстие снискало ему

высокое уважение и в его стране, и во всей Европе, на благо которой он трудился в полном согласии с Аденауэром и Шуманом. Внешне он казался суровым, но те, кто имел с ним дело, открывали в нем чувствительную душу и дружеское расположение. Он понял, что Италия только в одном случае будет играть в Европе равную роль с более индустриально развитыми странами: если будет ускорен процесс политического объединения, возможность которого предполагалась в первых европейских договорах, но не получила развития. Разве оборонительное Сообщество, в силу налагаемых им обязательств, не предполагало создания европейского правительства, которое имело бы право принимать от имени европейцев самые ответственные решения? Этот тезис он защищал неустанно: «Армия не самоцель, а инструмент внешней политики, и вдохновляется она патриотизмом. Европейский патриотизм заявит о себе в рамках федеративной Европы». Именно для того, чтобы поскорее достичь этой цели, он настоял на включении в договор о ЕОС статьи 38*, которая предусматривала избрание всеобщим голосованием европейской Ассамблеи, которая займется подготовкой федеративной организации, основанной на принципе разделения властей и обладающей двухпалатным парламентом. Однако утверждение договора о ЕОС казалось далеким и проблематичным, поэтому Де Гаспери пришел к мысли (которой заразил и Шумана), чтобы предусмотренный проект федерализации, в порядке опережения, взяла на себя Ассамблея Объединения угля и стали.

Такое решение было принято шестью министрами, заседавшими 10 сентября 1952 года в Люксембурге. На подготовку рекомендаций Ассамблее был дан срок в шесть месяцев. И уже на следующий день собравшаяся в Страсбурге Ассамблея создала конституционную комиссию, делегировав туда своих самых квалифицированных членов. А уж выдающихся людей в составе этого первого парламента Европы было более чем достаточно. За пост председателя Ассамблеи боролись фон Брентано и Спаак. За несколько месяцев до того,

* См. стр. 127–128.

в этом же самом зале Спаак демонстративно подал в отставку с поста председателя Консультативной ассамблеи Совета Европы в знак протеста против неэффективности этой организации, и теперь он стремился обрести новую трибуну, которая, как он знал, будет достойна его европейских амбиций и его выдающегося красноречия. Он одержал верх над своим соперником, и хотя голосование было закрытым, оно ясно показало, что делегаты группировались не по национальному признаку, а по политическим симпатиям. В зале, перед которым я выступил с первой в моей жизни политической речью, сидели опытейшие парламентарии от разных стран, но одушевленные единым стремлением к демократии... Через них мне предстояло знакомиться с глубинными политическими течениями стран старого континента, у которого еще не было единой европейской политики. Мне же предстояло учить их терпению и методичности, дабы постепенно сформировалась европейская духовная общность.

Меня восхищало, что депутаты, составлявшие эту беспрецедентную европейскую ассамблею, едва успев создать собственный регламент и оценить свои задачи и возможности, уже стремились к новым, еще более масштабным и далеко идущим начинаниям. Эти люди жаждали деятельности и были готовы к ней. Я был настроен так же, как они, я тоже стремился строить федеративную Европу. Но в тот момент, когда само их присутствие подтверждало и, так сказать, *создавало* политическую ответственность Верховного органа власти, я был озабочен только одним: заложить прочный фундамент для первого здания, прежде чем приступать к возведению других. Я знал, что дорога к европейскому единству будет долгой, что на ней обязательно будут участки, требующие постепенности, частичных, но конкретных шагов. Я желал успеха конституционной комиссии, в которой вели значительную работу такие выдающиеся юристы, как Деусс и Тейтген, но не вникал в ее деятельность.

Все будет непрочным, если Верховный орган не закрепит свое право принимать решения, а Ассамблея — свое право контроля. А для этого потребуется более долгое время, чем те шесть месяцев, которыми располагали члены конституцион-

ной комиссии, «конституционалисты». Я же, на самом деле, считал себя *институционалистом*, создателем учреждений — в том смысле, как это было предусмотрено договором. «Наши общие сверхнациональные учреждения пока еще слабы и хрупки, — сказал я, выступая перед Ассамблей. — Наш долг — их уважать, развивать и укреплять, оберегать их от нашей склонности к кратковременным компромиссам. С тех пор, как эти учреждения существуют, Европа, которую мы хотим оставить в наследство нашим детям, начала становиться живой реальностью».

В конечном счете, я хотел объяснить всем этим людям, представителям разных национальных парламентов, одну простую вещь, которую они должны были ощутить как жизненную реальность: процесс образования единой Европы будет таким же, как процесс возникновения каждого из наших государств. Это значит, что между народами будут устанавливаться новые формы отношений, подобные тем, которые установились между гражданами любой демократической страны, — отношения организованного равенства внутри общих учреждений. Этот европейский процесс едва начался. Он будет долгим и трудным. Я был убежден в доброй воле всех, кто меня слушал. Но в заключение я им сказал: «Единство Европы не может строиться только на доброй воле. Правила необходимы. Трагические события, которые мы пережили, и события, при которых мы присутствуем сегодня, сделали нас — быть может! — более мудрыми. Но люди уходят, вместо нас придут другие. Что мы им оставим? Не наш личный опыт, который исчезнет вместе с нами. То, что мы сможем им передать, — это учреждения. Жизнь учреждений длиннее, чем жизнь людей; поэтому учреждения, если они хорошо построены, могут накапливать и передавать мудрость сменяющихся поколений».

Общие правовые нормы были намечены в договоре, но и нам предстояло вырабатывать правила поведения в повседневных отношениях между собой. За исполнением первых должен был следить Суд, который вскоре предстояло создать. Его председателем стал весьма авторитетный итальян-

ский юрист Массимо Пилотти, человек пожилой и мудрый, чье присутствие окружало Суд ореолом респектабельности. Заместителем генерального прокурора стал Лагранж, этот Суд, так сказать, задумавший и теперь обеспечивавший четкость его структуры. Жак Рюэфф, один из судей, помогал созданию новой юриспруденции, в которой требования права и экономические реальности приводились в соответствие между собой на основании буквы и духа договора. Я никогда не слышал, чтобы какое-либо решение Суда было оспорено или не исполнено на территории всех стран Сообщества. Это образцовое учреждение продолжает работать в тишине и покое Люксембурга, со скромностью и твердостью, характерными для всех его сотрудников.

Что же касается правил нашей работы внутри Верховного органа, то от них зависело, добьемся мы успеха или потерпим поражение. А придумывать их приходилось на ходу: ведь мы впервые налаживали работу учреждения, в котором действовали люди разных национальностей и равноправно использовались разные языки. На основании моего опыта в международных организациях я знал, каких ошибок следует избегать. В первую очередь надо бороться с соблазном копировать все функции национальных администраций, существующих в той или иной стране. Этому трудно преодолимому соблазну сопутствует стремление уравновесить численный состав сотрудников от каждой страны, что ведет к разбуханию штатов и возникновению преград для обмена идеями. Единственный положительный опыт, который я хотел бы использовать, связан с работой секретариата Лиги наций до моего ухода оттуда. Но можно ли из тяжелой машины вынуть только ее легкий и мощный мотор? Я решил, по крайней мере, попробовать это сделать. В первые месяцы мы набирали очень мало новых сотрудников. Я лично рассматривал каждую кандидатуру в отдельности, советовался с коллегами и принимал решение после долгих колебаний. Каждый организм обладает своим собственным темпом роста. Верховный орган, чтобы не утратить своей целостности, должен был медленно усваивать элементы извне. У нас были основания проявлять требовательность. К нам стремилось много народа, но

наше начинание очень быстро потеряло бы свою привлекательность, если бы его участники оказались не на уровне его задач. Первоначальный состав обогащался постепенно. По рекомендации Лагранжа я принял молодого докладчика по кассационным делам в государственном совете, Мишеля Годэ: он должен был следить за оформлением наших актов. Но разве можно отделить форму от сути? Я даже не подозревал, сколь важный регулирующий фактор появился в нашем механизме с приходом Годэ и его немецкого коллеги Кравелицки: они как бы олицетворяли собой непрерывное, иногда обременительное соблюдение условий договора в наших учреждениях и постановлениях. Но зато все наши решения выиграли в ясности и силе...

Для того, чтобы Верховный орган мог способствовать росту и обогащению новых предприятий и благосостоянию всех работников угольной и сталелитейной промышленности, ему необходимо было вести собственную сильную финансовую политику. У него были значительные средства за счет предусмотренных договором отчислений, но я полагал, что эти средства могут послужить основой для государственных и частных международных кредитов, на которые мы, как солидный заемщик, могли рассчитывать. Кто обладал достаточной изобретательностью и умением, чтобы проводить такую политику? Во время работы над планом я имел возможность оценить живой и конкретный ум молодого инспектора финансов Жана Гийо; я чувствовал, что он принадлежит к разряду выдающихся финансистов. Я дал ему возможность проявить себя, и все мы от этого только выиграли. Мне не пришлось жалеть, что я доверился своей интуиции и поручил молодому человеку тридцати одного года столь важное дело. В дальнейшем он остался одним из моих самых надежных и верных сотрудников.

Потом пришла целая плеяда молодых людей, упорных и готовых преодолевать любые трудности, составивших первоначальный костяк эффективной европейской администрации: Велленштейн, Ф. Спаак, Бер, Рабье, Антуан Шастене. Каждый из них представлял свою национальную культуру, но все вместе они делали одно общее дело. Напряженный

ритм работы способствовал объединению умов, так как команда, нацеленная на выполнение ряда задач, не стремится расколоться на отдельные группы. Для большей надежности мы не стали производить деления по отраслям; уголь и сталь составляли единое целое, управляемое одной дирекцией Рынка во главе с Винком, Дененом и Рольманом, которые действовали как один человек. В отделе транспорта два эксперта по железным дорогам, француз и немец, сидели бок о бок в одном кабинете. Хуттер и Клаэр подружились и раскрыли друг перед другом карты: каждый рассказал, к каким тарифным ухищрениям он прибегал со своей стороны, на своих железных дорогах, чтобы осложнить жизнь конкуренту... Теперь вместе, в самом тесном сотрудничестве, они на протяжении месяцев распутывали клубок национальных дискриминационных уловок. Этот новый дух постепенно распространялся на всех уровнях нашей администрации, при том, что она функционировала на четырех языках и была по этой причине перегружена устными и письменными переводчиками. Так, с моим немецким вице-президентом Этцелем я мог общаться только по-английски или с помощью переводчицы.

С первого дня я решил, что моя дверь будет всегда открыта перед моими коллегами, и я старался сделать так, чтобы Этцель как можно чаще был рядом со мной. Я приглашал его каждый раз, когда у меня был важный посетитель, и не принимал ни одного решения на своем уровне, не посоветовавшись с ним. Вместе мы рассматривали и решали проблемы, которые все еще могли, если бы их оставили без внимания, осложнить отношения между Францией и Германией. Я не допускал, чтобы у него возникла хотя бы тень подозрения, и установил с ним отношения на основе полного равенства. Он понимал и ценил мою открытость, зная, что она была искренней. Сейчас трудно себе представить, насколько уязвимой чувствовала себя тогда Германия. Через Этцеля, влияние которого быстро росло, немецкие руководители узнавали о новых формах взаимоотношений между нашими народами. Секрет этих взаимоотношений был прост: дверь должна быть открытой, а разговор — прямым.

Я не недооценивал влияние наших решений на рынок угля, но я знал, что их значение *в качестве примера* выходит далеко за рамки Объединения угля и стали. Если нам удастся доказать, что люди из разных стран могут читать одну и ту же книгу, работать над одной и той же проблемой, пользуясь одними и теми же материалами, отказавшись от задних мыслей и подозрений, — то тем самым мы поможем изменить характер взаимоотношений между народами. Поэтому нам надо было обязательно добиться успеха, и каждый член нашей команды это глубоко чувствовал. Сила нашего влияния распространялась из Люксембурга на все более широкие области политики и администрации, на университетских ученых, профсоюзных деятелей и деловых людей. С изменением сознания станут возможными и другие перемены. Только бы нам удалось преодолеть первые препятствия и создать Общий рынок угля и стали!

В том, что касалось угля, имелись все необходимые предпосылки, и через шесть месяцев после начала наших работ, как и было предусмотрено договором, я смог объявить по радио: «Начиная с сегодняшнего утра, 10 февраля 1953 года, больше нет угля немецкого, бельгийского, французского, итальянского или люксембургского, а есть уголь европейский, свободно циркулирующий между нашими шестью странами, рассматривающимися как единая территория...» Теперь каждый мог выбирать себе поставщика угля по своему желанию, по сходной цене на всем пространстве Сообщества, и это означало конец эпохи, когда делалось всё, чтобы ограничить свободный выбор покупателей и поставить их в неравные условия на основании их принадлежности к той или иной нации или промышленной группе. Задним числом трудно оценить значение такого сдвига, потому что новая система, едва установившись, стала настолько нормальной, что сегодня невозможно себе представить нелепость того, что ей предшествовало. Европа суверенных государств изобиловала регламентированными нелепостями, которые могли казаться оправданными только в контексте национального соперничества. А раз так, то откуда взялась бы такая власть и такая сила, чтобы их отменить? Единственное эффективное средство

состояло в том, чтобы изменить контекст, создать такую широкую суверенность, внутри которой предмет соперничества стал бы общим. Тогда абсурдные ограничения отпадают сами собой, как это и стало происходить в Объединении угля и стали. И если сегодня в Европе еще остались такие ограничения, им суждено исчезать за ненадобностью по мере того, как будет продолжаться делегирование суверенитета учреждениям Сообщества.

Месяцем позже завершилось создание Общего рынка стали. В один прекрасный день Юри попросил меня о срочной встрече. «Назревает очень неприятная история, — сказал он мне. — Немцы переходят в наступление по поводу налога с оборота. Они хотят поставить под вопрос всю существующую систему, основанную на налоговом обложении продукта страной, где его потребляют». — «Приведите пример». — «Немецкая сталь облагается в Германии пятипроцентным налогом. Когда она ввозится во Францию, она освобождается от этого пятипроцентного налога, но зато платит наш налог в размере двадцати пяти процентов. Если перевозка производится в обратном направлении, происходит то же самое, но в обратном порядке. В сущности, разрыв не так уж велик, и то, что остается, соответствует разнице в налоге на обмен валюты. Но немцам кажется, что их дискриминируют, и они поднимают шум». Я понял, что проблема возникает нешуточная, так как, обоснованно или нет, ощущение совершаемой по отношению к ним несправедливости выводило немцев из себя. «Поднимали ли они этот вопрос во время переговоров?» — спросил я у Юри. — «Ничуть. Никто не увидел здесь проблемы, потому что ее и нет». — «Может быть. Но создается впечатление, что они правы: коль скоро существует общий рынок, между нашими странами не может быть экспорта-импорта и налог следует платить только в стране-производителе. Такова, во всяком случае, их позиция».

И действительно, именно такой тезис несколько минут спустя стал отстаивать Этцель перед обескураженным Верховным органом власти. Никто не находил способа убедить его, что, пока налоги не будут унифицированы, а интеграция не станет всеобщей, расхождения такого рода будут сохра-

няться и требовать коррекции. Но Этцель настаивал на другой логике, основанной на отказе от дискриминации и дававшей колоссальное преимущество немецкой стали на европейском рынке. Его искренность была очевидна, как и волнение немецкой прессы, освещавшей этот конфликт. Поздно ночью нам показалось, что мы его, наконец, убедили, но утром он снова вернулся на прежние позиции, опираясь на усиленную поддержку промышленников, профсоюзов и прессы своей страны. В Верховном органе, в Совете министров проходили совещания, исполненные драматизма. В таких условиях мы не могли открывать Общий рынок стали. Конечно, можно было преодолеть сопротивление Этцеля и Поттхофа, поскольку в Верховном органе существовало правило большинства голосов. Но я твердо решил, что ни одно важное решение не будет приниматься в обстановке конфликта. Разрубить узел, не сумев убедить наиболее заинтересованных коллег, означало бы, с моей точки зрения, не победу, а поражение. Следовало продолжить наши усилия, используя все доводы и все пути убеждения. А пока я решил отложить на два месяца открытие Общего рынка стали.

Может быть, в то время экономическая мысль еще не была достаточно зрелой, чтобы четко сформулировать то, что каждому подсказывал здравый смысл и что сегодня стало обычной практикой гармонизации на Общем рынке. Мы еще двигались в лабиринте, созданном на протяжении поколений для того, чтобы связывать между собой разнородные и соперничающие национальные системы. Наша задача состояла в том, чтобы осветить путь, разрушить перегородки в делах и в умах. Дело о налогах ускорило созревание Верховного органа, и я знал, что Объединение выйдет из этого конфликта другим — либо ослабленным, либо усиленным. Я предложил запросить мнение самых авторитетных экспертов. Имя Тинбергена первым пришло на ум нам всем; к нему мы присоветовали одного итальянца, одного бельгийца и одного англичанина: все четверо занимали в этом вопросе совершенно независимую позицию. Они провели тщательное исследование, выслушали все заинтересованные стороны и пришли к такому же заключению, что и большинство нашего собрания. Не

сдавшись до конца, Этцель и Потхофф, тем не менее, отказались от противостояния, и дело заглохло так же внезапно, как и возникло. Вопрос больше никогда не поднимался.

Я напомнил так подробно об этом техническом инциденте потому, что это было первое серьезное испытание для Объединения, и потому, что приобретенный нами опыт не пропал даром. В тот момент я понял, что правило большинства было наиболее надежным средством добиться единогласного решения: оно побуждало меньшинство занимать разумную позицию. Но и большинство было вынуждено вести себя сдержанно и не навязывать свою точку зрения меньшинству, а если навязывать, то только после исчерпывающей дискуссии. Учреждения Сообщества должны принимать решения, но также — и прежде всего — организовывать дискуссии и вести их так долго, как это необходимо, чтобы каждый понял доводы другой стороны и проникся к ним уважением, даже если в конце концов он и не смог с ними согласиться... Несколько лет спустя Этцель, ставший министром финансов, вспомнил об этой давней ссоре, заставившей его усомниться в моей искренности и в искренности моих коллег. «Я был не прав, — сказал он мне, — поскольку в Общем рынке именно Германии приходится сейчас реформировать свою систему налогов. Но в то время наши умы еще не были готовы дойти до сути проблемы и понять, какие огромные выгоды мы получаем».

До сих пор в отношениях между собой государства стремились к получению односторонних преимуществ, используя для этого различные обстоятельства, благоприятную конъюнктуру, наличие природных ресурсов, а то и войну... Сообщество, которое мы строили, устраняло эти соблазны, вносило поправки в естественное неравенство и создавало для всех условия честной конкуренции. Таковы были правила, под которыми подписались участники договора и применять которые должны были наши учреждения. Но я рассчитывал не только на юридическую силу правил, но и на их дух, дабы изменились психологические установки людей; говоря точнее, я знал, что люди, оказавшись *de facto* в новой ситуации или в иной системе обязанностей, приспосабливаются к

ним и сами становятся другими. Они становятся лучше, если окружающие условия изменились к лучшему: в этом, попросту говоря, и состоит прогресс цивилизации, и на этом мы строили европейское Сообщество. Трудности, все еще возникающие в отношениях европейцев между собой, не должны нас вводить в заблуждение: теперь это внутренние трудности, подобные тем, которые мы постоянно разрешаем внутри наших стран путем дискуссий и свободно принимаемых решений. Сообщество, как и любая другая политическая система, не может сделать так, чтобы трудности не возникали вообще, но оно создает условия и предоставляет средства для их мирного преодоления. Это — коренная перемена по сравнению с прошлым, еще совсем недавним.

В феврале 1953 года немцам на какой-то момент показалось, что они могут наводнить Европу своей сталью. Они образумились, как только им стало ясно, что это не входит в правила игры. Точно так же в момент кризиса приходит к разумному решению любой член Сообщества, как только понимает, что его отказ грозит оставить его в изоляции. Заинтересованность в совместной работе и общей выгоде заставляет договариваться. С этой точки зрения понятно, что интерес каждого сливается с общим интересом.

Верховный орган власти успешно выполнил свою задачу: он внес предложение, провел обстоятельные консультации, затем принял решение. Европейский рынок стали был открыт 1 апреля без каких-либо осложнений. Происходил сбалансированный рост обмена, и колебания конъюнктуры теперь не наносили такого вреда, как прежде, производствам, оказавшимся в менее выгодном положении. Общий рынок смягчал последствия кризисов, совсем избежать которых было не в его силах. Во всяком случае, он защищал от их ударов трудящихся, используя фонды реконверсии и переобучения, созданные на основе его собственных ресурсов. Инвестиции в модернизацию промышленности — прямо, или путем гарантирования займов — также производились Верховным органом из средств, которые образовывались за счет европейского налога на производство угля и стали. Наконец, из того же источника осуществлялось финансирование учреждений

ЕОУС. Финансовая независимость позволяла Верховному органу в течение первых лет занимать самостоятельную и смелую позицию.

Богатство Верховного органа могло пойти на пользу Европе, если использовать отчисления для обеспечения больших кредитов. Я знал, что мы могли предложить американским капиталам гарантии большей надежности, чем гарантии каждого государства в отдельности. Это была операция, рассчитанная на долгий срок.

Жап Гийо блестяще провел переговоры, которые завершились в апреле 1954 года подписанием между Верховным органом и американским правительством контракта о займе в сто миллионов долларов под низкий процент — 3,7%. Ни одно правительство не могло бы в тот момент добиться столь выгодных условий. Наша репутация как заемщика теперь укрепилась, и мы могли подумать о том, чтобы выйти на рынок частных капиталов. Однако оставалось сделать самое трудное: убедить производителей делать инвестиции и использовать для этого исключительно выгодные заимствования у Верховного органа. Наша власть внушала доверие американским кредиторам, но все еще вызывала беспокойство у капитанов европейской черной металлургии.

Профсоюзы, напротив, гораздо положительнее относились к нашей власти и нашим богатствам. За исключением коммунистов, все другие центры рабочего движения оценили преимущества, которые они могли извлечь из успешного осуществления договора. Выгоды касались прежде всего работников угледобывающей и сталеплавильной отраслей: они получали гарантии занятости, так что им не грозило стать жертвами необходимых преобразований. До сих пор многие успехи технического прогресса достигались ценой роста безработицы, а нередко и тормозились из-за страха перед негативными социальными последствиями. Модернизацию нельзя было проводить, не закрывая совершенно нерентабельные предприятия и не перемещая центры производства. Что станет с рабочими закрываемых предприятий? Как обустроить тех, кто будет перемещаться в развивающиеся индустриальные районы? Эти проблемы были созданы не Объединением,

оно только обнаружило их и одновременно предложило средства их разрешения в виде выделения необходимых средств для переобучения рабочих, оказавшихся без работы по причине технических преобразований, для их возможного переезда, а также для реконверсии экономически несостоятельных отраслей. Подобные мероприятия, ставшие сегодня рутинными, тогда представляли собой смелые эксперименты, за которыми все следили с живейшим интересом, поскольку им предстояло стать ключевыми моментами экономического и социального прогресса в будущем.

Надо сказать, что никто не отважился продвинуться в этом направлении дальше, чем мы, и созданные нами программы переобучения и расселения трудящихся до сих пор являются образцовыми. Но и профсоюзы смотрели далеко вперед. В развитии ЕОУС они видели залог увеличения объема продукции и ее удешевления, причем понижение цен не должно было вести к уменьшению зарплат. И они понимали, что такая тенденция, заложенная в договоре, не ограничится углем и сталью, но станет общим правилом.

Самые проникательные из профсоюзных деятелей поняли, что Верховный орган предоставляет в их распоряжение мощный рабочий инструмент, делая достоянием гласности данные, которые раньше утаивались или не доходили до общественности. Наши статистические исследования на европейском уровне привели к удивительным открытиям в самых элементарных вещах. «Члены нашего профсоюза, — сказал мне Фрайтаг, председатель ФНП, — не знали даже ситуации с зарплатами в Германии. Теперь они могут сравнивать их с Францией, с Бельгией...» Возможность сравнения имела очень большое значение для профсоюзной борьбы за выравнивание зарплат по верхним показателям; это теперь стало нормой в Общем рынке.

Вокруг Верховного органа происходил постоянный обмен людьми и информацией, позволявший рабочим организациям вступить в контакт между собой и осознать общие интересы. Свободные и христианские профсоюзы шести стран вскоре создали в Люксембурге свои отделения связи, они вели активную работу и широко пользовались открытым досту-

пом ко всем нашим материалам. Они почувствовали себя достаточно сильными, чтобы вести на равных дискуссии с предпринимателями внутри Консультативного комитета. Здесь никогда не бывало конфликтов, потому что люди, которых раньше все разделяло, теперь впервые оказались стоящими не друг против друга, а рядом — перед лицом общих для всех проблем. Было доказано, что серьезные психологические изменения, которых раньше пытались достичь путем насильственных революций, могут происходить мирно, если направить помыслы людей к такой точке, где их интересы сходятся. Такая точка существует всегда, надо только суметь ее найти.

Мы прилагали большие усилия к тому, чтобы выдержать сроки, которым сами же придали обязательный характер. Препятствия преодолевались одно за другим, а катастроф, которыми нас пугали, так и не происходило. Производство и обмен развивались, цены на сталь, вопреки давлению конъюнктуры, росли медленнее, чем во всем остальном мире. Итальянская черная металлургия совершила неожиданный скачок, в то время как бельгийская угледобыча наверстывала свое отставание благодаря помощи более развитых конкурентов. Предприниматели, имея перед глазами общую картину состояния дел в Объединении, делали инвестиции со знанием дела, а покупатели, обладая открытой информацией о ценах, выбирали, где им выгоднее производить закупки.

Но успех Объединения был намного значительнее, чем эти материальные достижения. Он означал, что границы окончательно осуждены на исчезновение, что суверенитет можно делегировать, что общие учреждения функционируют нормально. Эти завоевания останутся незыблемыми несмотря на неизбежные трудности, они укрепятся в ходе кризисов, которые Общий рынок будет преодолевать легче, чем это могли бы сделать порознь шесть входящих в него стран. А главное, теперь стало ясно, что методика Объединения ведет к укреплению солидарности между народами. Именно такой вывод я сделал, выступая перед Ассамблеей: «Мы не станем повторять, что шесть стран, образовавших ЕОУС, прокладывают путь для более широкого объединения евро-

пейских стран. Рубежи Европы будущего определяются только границами тех стран, которые к ней еще не присоединились. Наше сообщество — это не ассоциация производителей угля и стали, это — начало новой Европы».

Начало новой Европы, — в этих словах содержалась не только политическая, но и моральная перспектива. Европейцы постепенно потеряли способность жить вместе и объединять свои творческие силы. Их участие в прогрессе, их роль в цивилизации, казалось, клонились к упадку. У них не было учреждений, способных направлять их в условиях меняющегося мира. Национальные формы показали свою несостоятельность. В создании новых, сверхнациональных институтов я видел единственный метод, способный вернуть европейцам те исключительные качества, которыми они владели в историческом прошлом, и я старался заразить своими чувствами людей, заполнявших зал Ассамблеи: «В свое время меня поразило размышление швейцарского философа Амьеля: «Опыт каждого человека есть повторение. Только учреждения способны накапливать мудрость, коллективный опыт; благодаря этому опыту и этой мудрости люди, руководствуясь общими правилами, обнаружат, что постепенно изменяется не то чтобы их природа, но их поведение». Если бы надо было подводить теоретическое обоснование под наши общие учреждения, я бы воспользовался этим высказыванием. Когда французы, немцы, бельгийцы, нидерландцы, итальянцы, люксембуржцы будут следовать одним и тем же правилам и рассматривать стоящие перед ними проблемы с общих позиций, тогда, я думаю, в корне изменится их поведение и произойдет решающий прогресс в отношениях европейцев и европейских государств между собой».

Великое испытание. Начать с начала

«Только учреждения способны накапливать мудрость, коллективный опыт...» Чтобы это происходило, необходимо время и контакт с жизненными реалиями. Я убедился, как быстро может идти этот процесс в ограниченной сфере, в узкой группе людей, объединенных общей целью и работаю-

щих в напряженном ритме. Круг людей, вовлеченных в деятельность Объединения, постепенно расширялся, и я был уверен, что опыт, который мы извлекали из наших успехов и наших ошибок, будет постепенно распространяться на другие сферы деятельности и другие люди будут жить по таким же правилам, под руководством тех же — а может быть, и других — общих учреждений. Всего важнее для меня было именно распространение, растворение нашего опыта в окружающей среде, и для этого процесса я не думал намечать конкретных сроков.

Однако мы были застигнуты внешними обстоятельствами, которые навязали нам очень быстрый темп построения европейского здания. Едва родился план Шумана, как объединение национальных вооруженных сил — а тем самым и национальных энергий — оказалось единственным конструктивным ответом на новую ситуацию, которая грозила свести на нет наши первоначальные замыслы. Оборонительное сообщество было задумано по модели плана Шумана и в соответствии с основополагающей декларацией от 9 мая 1950 года: «Европа не сможет быть построена сразу и полностью: она будет созидаться благодаря конкретным начинаниям и прежде всего — возникновению фактической солидарности».

Тем не менее, как мы видели, Оборонительное сообщество, конкретные начинания и фактическая солидарность торопили переход к построению общей конструкции. Такая конструкция, по сути своей, предполагала политическую ответственность, разработку Конституции и начало одновременного комплексного процесса федерализации. Конституционная комиссия, приступившая к работе с осени 1952 года, трудясь с полным напряжением сил, выполнила свою задачу в предусмотренные сроки. Люди, создавшие за шесть месяцев эту уравновешенную конструкцию, принадлежали к племени выдающихся исторических созидателей, и хотя судьба была против них, их проект, тем не менее, заслуживает уважения. То, что делается добросовестно, никогда не пропадает втуне, так как каждый извлекает из совместной работы лучшее понимание общих проблем, которое он, в свою очередь,

передает другим. Многие из того, что содержалось в первом проекте политического европейского Сообщества, было использовано при последующих попытках, пока, наконец, одна из них не совпала с обстоятельствами и не оказалась самой удачной. Текст, который был вручен шести правительствам 10 марта 1953 года, послужил образцом для всех последующих документов.

Перечитывая этот текст, я поражаюсь разумности его устремлений. Некоторые вспоминают о нем как о каком-то сверхнациональном чуде. Однако в нем государствам не предлагалось никакого нового делегирования суверенитета, сверх того, что требовалось для европейского Объединения угля и стали и европейского Оборонительного сообщества. Общая международная политика должна была создаваться путем координации национальных внешних политик, а Общий рынок — путем последовательных соглашений между его участниками. Пожалуй, в этих пунктах составители Конституции проявили излишнюю осторожность. Зато они были недостаточно осторожны, когда решили, что европейское единство будет достигаться *в первую очередь* путем создания федеральных политических структур. Сами эти структуры были правильными, но задача их построения была поставлена слишком рано. Предусматривалось создание: Парламента народов, избираемого прямым всеобщим голосованием, и Сената, избираемого национальными парламентами; европейского Исполнительного совета в числе пяти членов во главе с президентом, избираемым Сенатом и ответственным перед обеими палатами; совета национальных министров, выполняющего ту же функцию, что и в Объединении угля и стали, — осуществление связи между европейской исполнительной властью и правительствами стран-членов; наконец, предусматривалось создание Суда.

Система учитывала реальное существование государств и обеспечивала диалог между ними и находящимся в становлении Сообществом. Ее создатели двигались в правильном направлении, но двигались слишком быстро, не дожидаясь, когда европейцы осознают необходимость происходящих перемен. Поэтому меня не удивила реакция Бидо

от имени французского совета министров: «Не следует думать, будто искренность стремлений обеспечивает успех, — безапелляционно заявил он перед страсбургской Ассамблеей. — Да будет мне позволено честно сказать, что перед вашим великим замыслом возникают серьезные трудности. Люди безупречной репутации, приверженные древним традициям и не переставшие слышать голос земли и предков, обеспокоены начинанием, грозящим поставить под вопрос существование отечеств...» Окончательно меня убедила в том, что проект похоронен, последняя фраза Бидо: «Я позволю себе, господа, переадресовать вам — с чувством восхищения и не без зависти — слова, с которыми Елизавета Английская обратилась к основателям империи: «Привет искателям приключений!..» В устах Бидо это означало прощальный привет.

За последние три месяца во французском правительстве действительно кое-то изменилось. Рене Мейер сменил Пинэ на посту премьера, и чтобы сформировать свой кабинет, он должен был учитывать требования депутатов-голлистов. И хотя видимые причины правительственных кризисов были связаны с внутренней политикой, реальные противоречия лежали в области международных отношений, которой на протяжении четырех лет непрерывно руководил Шуман. Было известно, что его убеждения непоколебимы, а его политические позиции оставались очень сильными. Но если назначение нового премьер-министра, заведомо проевропейской ориентации, будет достигнуто ценой простой перетасовки министерских портфелей и если Бидо окажется в министерстве иностранных дел, кто станет волноваться по этому поводу и усматривать в этом какой-то политический сдвиг? Однако никто из лиц, непосредственно причастных к этим маневрам, не заблуждался: националисты пробили первую брешь во фронте, который им противостоял с мая 1950 года. Наша дипломатия могла снова потерять равновесие. Шуман очень близко знал Германию, что располагало его к открытости. Бидо смотрел на нее ретроспективным взглядом. Оба в свое время отказались примириться с нацистским господством, но этот опыт побуждал каждого из них действовать по-

разному. Позиция Бидо оставалась закрытой. Если он и хотел, чтобы существовала единая Европа, то ожидал, что она будет французской, и в этом отношении не было существенной разницы между его подходом и подходом голлистов. Я слышал его формулу: «Создать Европу, не разрушая Францию». Формула была безупречной, и я бы подписался под ней, если бы в его сознании она не означала отказа двигаться в направлении к делегированию суверенитета.

Вот уже целый год споры по поводу европейской армии подспудно влияли на всю политическую жизнь Франции — в партиях, в парламенте, в правительстве. Договор о ЕОС, подписанный в мае 1952 года, был представлен на ратификацию в Национальное собрание только в январе 1953. Плевен, Пинэ, Шуман медлили, и я так и не понял, в чем состоял их расчет. Как бы там ни было, они ничего не выиграли от промедления, потому что в 1953 году противники ЕОС получили большинство в парламенте и вошли в правительство. И с этого момента пришлось делать одну уступку за другой, подписывать протоколы о предварительных условиях, которые частично выхолащивали договор, а главное, заставляли сомневаться в решимости французской стороны. Беспокойство усилилось, когда докладчиками от двух главных парламентских комиссий были назначены Жюль Мок и генерал Кёниг — оба открытые противники ЕОС. Со своей стороны, де Голль объявил: «С протоколами или без них, договор полностью неприемлем». А ведь французскому правительству предстояло прилагать огромные усилия, чтобы убедить своих партнеров подписать эти протоколы. Вот в такой обстановке бундестаг 19 марта 1953 года ратифицирует договор. И снова движение останавливается. Стоит Рене Мейеру показать, что он готов идти дальше, как против него образуется коалиция, которая приводит к падению его правительства. Жозеф Ланьель приходит ему на смену и сохраняет пост премьера вплоть до поражения под Дьенбьенфу.

Меня можно упрекнуть в том, что я не действовал более решительно, чтобы воспрепятствовать этому топтанию

на месте. Но я был далеко от Парижа и занят предприятием, которое все рассматривали как пролог к возведению европейского здания. Если бы я стал разделять свои усилия, с риском затормозить развитие Объединения угля и стали, была ли уверенность, что мне удастся придать новый импульс ЕОС, против которого действовали неблагоприятные обстоятельства и всевозможные давления? Я не могу ответить на этот вопрос. Но я уверен, что добиваться успеха ЕОУС было моей первой обязанностью, и если бы надо было выбирать, я выбрал бы только ее.

Многие авторы задавались вопросом: был ли у ЕОС шанс набрать большинство во французском парламенте? Я восхищаюсь теми высококвалифицированными специалистами, которые решались дать утвердительный ответ. Я не оспариваю их мнения, но для меня вопрос вообще не может быть поставлен таким образом. Выяснить, что могло бы произойти, если бы обстоятельства сложились иначе, — это занятие не для меня. Переписывать историю на основании гипотез, которые не реализовались, по-моему, не только бесплодно, но и бессмысленно. Я редко занимаюсь поисками виновных, когда речь идет о вещах, имевших место, и еще реже — когда вещи вообще места не имели.

Если последовательно сменявшиеся французские правительства не находили благоприятного момента, чтобы поставить договор на обсуждение в парламенте, кто может сказать, были ли они хорошо или плохо информированы? Несомненно только одно: момент, который был в конце концов выбран, оказался неудачным. Французы, потрясенные военной драмой в Индокитае, на какое-то время потеряли способность трезво смотреть в свое будущее. Человек, который очень многим казался предреканным судьбой — Мендес-Франс, — был не в состоянии решать сразу множество навалившихся проблем. В числе приоритетов, которые он себе избрал или которые были ему навязаны обстоятельствами, построение Европы не фигурировало.

В течение последних августовских дней, предшествовавших дебатам в парламенте, мы обменялись с Мендес-Франсом несколькими письмами. Перечитывая их, я вижу,

какой тревогой были охвачены оба корреспондента: у нас было ощущение, что мы катимся к катастрофе, и ни мои заклинания, ни его моральные терзания уже ничего не могли изменить.

Распри вокруг ЕОС были мучительны для Франции. Силы прошлого и силы будущего раскололи страну, и в результате беспорядочного спора первые одержали верх. Но решение было принято демократическим путем и оспаривать его не приходится.

Тогда, может быть, надо начать обвинять тех, кто не смог объяснить общественному мнению, что на самом деле вопрос стоял так: европейская армия или национальная немецкая армия? Я не стал бы обвинять никого конкретно; никто, ни один человек, не был хозяином событий, когда пробил час истины. На самом деле течения, которые беспорядочно сталкивались между собой в августе 1954 года, имели далекие истоки и нам предстояло еще долго иметь с ними дело. Это была всего лишь одна, быть может, несколько более сильная, коллизия в истории Европейского Сообщества. Многие полагали, что это — катастрофа, но я, хотя и был очень разочарован, не считал, что отклонение французским Национальным собранием договора о ЕОС означает конец надеждам на единую Европу. И снова, уже в который раз, я объяснял моим друзьям, что только согласие примириться с поражением делает его поражением. Мы недооценили националистическое течение, и, может быть, это даже хорошо, что мы смогли измерить его силу, когда оно было на подъеме. Теперь нам нужно было время, чтобы вновь начать строить на более прочном основании.

Что бы ни говорили противники ЕОС и что бы некоторые из них ни думали, отвергая объединенные вооруженные силы, — они боролись совсем не против перевооружения Германии. Отрицательное голосование 30 августа 1954 года отбросило нас на четыре года назад, в лето 1950 года, когда возрождение немецкой армии казалось неизбежным. Те, кто уничтожил терпеливо возводившиеся рамки, внутри которых мы намеревались слить немецкие вооруженные силы с вооруженными силами других стран в солидарное це-

лое, сделали возможным создание самостоятельной немецкой армии. Единственная защита от этой опасности состояла теперь в политической мудрости Аденауэра. До последнего момента он заклинал своих партнеров не допустить возрождения генерального штаба в его стране. Решение французского парламента его глубоко задело, но его реакция как политического деятеля была мгновенной: надо было преодолеть этот кризис и найти временное решение, которое сохранило бы возможность движения к европейскому объединению.

Такое решение устами Энтони Идена было предложено английской дипломатией, которая воспользовалась тем, что Франция сама себя заблокировала и лишила инициативы. Недавно став премьер-министром, Иден решил не упустить возможность выступить в качестве арбитра в европейских делах, предложив политику сотрудничества в качестве альтернативы европейской армии. В результате были заключены Парижские соглашения о Союзе стран Западной Европы, позволявшие включить Германию в военный альянс классического типа, в котором каждая армия сохраняет свой национальный характер, финансируется из национального бюджета, управляется национальным генеральным штабом. Для вида была создана координирующая структура, слабая и обреченная на прозябание.

Неудача с ЕОС создала пустоту, но не изменила природы вещей. Образовавшаяся во Франции нестойкая коалиция между принципиальными противниками политической интеграции и сторонниками нейтрализма (так и не сумевшими выработать позитивную доктрину), к которым примкнули некоторые непримиримые участники движения Сопротивления, распалась, как только изменилась политическая конъюнктура. Необходимость создать объединенную Европу оставалась, и ее не могли поколебать некоторые примирительные жесты, которые начали делать московские руководители. Я всегда считал, что по отношению к русским возможна только одна разумная позиция: Запад должен объединяться, не задаваясь вопросом об их скрытых намерениях или возможных

реакциях. Ожидать, находясь в раздробленном состоянии, что они согласятся решать с нами глобальные проблемы, было бы иллюзией... Зато, оказавшись перед лицом объединившегося Запада, они вынуждены были бы считаться с новой ситуацией, изменить которую они все равно не могли. Возможно, они даже усмотрели бы в ней некую гарантию своей безопасности: Германия, включенная в миролюбивый блок, показалась бы им, в конечном счете, менее опасной. Аденауэр первый стал сторонником такого подхода. Великое счастье, что в этот смутный период он не стремился получить для своей страны большей свободы действий. Парижские соглашения возвращали Германии столько суверенитета, сколько он желал, и открывали перед ней двери НАТО. Но при этом Аденауэр сумел отказаться от атомного оружия. И он все еще хотел любой ценой связать Германию и Францию федеративными узами.

Дальнейшие шаги были возможны, но для этого кто-то должен был взять на себя инициативу. Однако большинство людей, способных принимать решения, застыли в позе недоверия. Снова я утыкался в те же тупики, что и четыре года назад. Но и в трудностях есть хорошая сторона: от них можно оттолкнуться. Я всегда помнил о совете Ибн Сауда, который приводит Бенуа-Мешен в своей прекрасной книге об арабском владыке. Одному западному посетителю, спросившему, в чем секрет его возвышения, монарх ответил: «Однажды, когда я был молод, мне в пустыне явился Бог и сказал: "Всё служит Моим целям, даже препятствия"». Препятствием на пути Европы в 1954 году было политическое сопротивление, в конечном счете — неспособность принять решение. Это препятствие надо было преодолеть и добиться от суверенной власти, чтобы она делегировала суверенитет. Я ломал голову над тем, как превратить политические силы из тормоза в движущую пружину европейского единства. Первым условием осуществления моего плана была моя свобода действий. Поэтому я решил сложить с себя обязанности председателя Верховного органа ЕОУС, хотя ничто не мешало продлению моего мандата.

Чтобы было время подыскать мне заместителя, я счел необходимым объявить о своем решении за три месяца до

окончания срока моих полномочий, который, в соответствии с договором, истекал 20 февраля 1955 года, два года спустя после открытия Общего рынка угля. 9 ноября 1954 года я собрал моих коллег и сделал им следующее заявление: «Чтобы иметь полную свободу бороться словом и делом за осуществление конкретного и реального европейского единства, я покидаю с 10 февраля будущего года пост председателя Верховного органа ЕОУС. То, что мы начали в этом Объединении по отношению к углю и стали шести стран-членов, должно быть осуществлено в более широком масштабе и доведено до своего логического конца — до создания Соединенных Штатов Европы. До сих пор учреждения Объединения угля и стали остаются единственными европейскими институтами, которым парламенты наших стран согласились передать часть суверенитета и право принимать решения.

Наши страны стали слишком маленькими для масштабов нынешнего мира, для масштабов современных технических средств, для масштабов Америки и России сегодня, Китая и Индии — завтра. Объединение европейских стран в Соединенные Штаты Европы — это средство поднять их жизненный уровень и поддержать мир. Это великая надежда нашей эпохи.

Если мы будем, не теряя времени и не покладая рук, трудиться во имя этой надежды, она станет реальностью завтрашнего дня».

Одновременно я известил о своем решении правительства шести стран. На Ассамблее, собравшейся в Страсбурге, я заявил: «От парламентов и правительств зависит передача новых полномочий европейским институтам. Инициатива поэтому должна исходить от них. Я готов присоединиться к усилиям всех тех, кто продолжит и расширит начатое нами дело».

Расширить начатое дело — это означало делегировать новые властные полномочия, не возобновляя при этом старые, едва угасшие споры. Об этом я вел долгие беседы со Спааком среди зимних, убеленных снегами Арденн. Верховный орган сохранялся, он был по-прежнему тверд и ра-

ботоспособен. И нам казалось разумным действовать в рамках Объединения угля и стали, постепенно эти рамки расширяя; во всяком случае, не следовало уходить далеко от этой модели, которая была проверена на деле и к которой все привыкли. Расширять же границы следовало там, где они начинали стеснять наши действия. Прежде всего мы подумали о транспорте и об электроэнергии. Атомная энергетика, при ближайшем рассмотрении, потребовала особого подхода.

Это была новая проблема огромного масштаба, которая начинала волновать европейцев, вызывая у них противоречивые чувства страха и надежды. Страх был связан с атомным оружием, которое вскоре перестало быть монополией трех технологически развитых держав — Соединенных Штатов, СССР и Великобритании и стало доступным для других европейских стран. Французские военные круги испытывали большой соблазн включиться в гонку атомных вооружений, но для немцев доступ к атомному оружию был исключен, а потому никакое сотрудничество в этой области было невозможно. Зато использование атома в мирных целях было открытой областью, оно вселяло великие надежды и делало возможным обмен опытом. В августе прошлого года американский сенат смягчил закон Мак-Магона, чем открывал для нашей страны ранее закрытую информацию и позволял нам наверстать отставание в области промышленного использования атомной энергии. Европейские ученые и технические специалисты усиленно побуждали свои правительства вступить на этот путь. Меня пугала перспектива нового национального соперничества в этой неведомой и казавшейся безграничной области, но в такой же мере меня привлекала возможность начать в ней широкое международное сотрудничество, при условии, конечно, что удастся четко отделить мирное использование от военного. Доклады наших экспертов не оставляли сомнения в том, что до конца нынешнего столетия и на последующие века атом станет главным источником энергии.

Было бы нелепостью идти в атомное будущее в состоянии разобщенности, когда в других сферах нам удалось на-

чать объединение старых, на протяжении поколений остававшихся раздробленными, структур. Ведь именно здесь, в совершенно новой технологической области методы плана Шумана должны были оказаться особенно успешными. Я считал совершенно закономерным создание специализированного международного учреждения, наподобие Верховного органа ЕОУС, для развития атомной энергетики в мирных целях. Несколько месяцев спустя Луи Арман, горячо поддерживавший мой замысел, подсказал мне название для новой организации — Евратом.

Обширность проекта, предполагавшего объединение большого количества ресурсов и видов деятельности, требовала от стран-участниц гармонизации и унификации важнейших элементов экономики, финансов и социальной политики. Выражаясь в технических терминах, интеграция уже не могла быть только вертикальной, она должна была начать распространяться по горизонтали. Поэтому я предусмотрел поэтапное формирование таможенного союза, ведущего к общей интеграции. Такая перспектива казалась мне вполне разумной и достижимой. Она не требовала институциональной революции, на которую государства не смогли бы решиться несколько месяцев спустя после неудачи с ЕОС. Мой проект требовал от них только расширения компетенции Объединения угля и стали и создания нового Верховного органа по атомной промышленности. В остальном и Совет министров, и парламентская Ассамблея сохранялись в прежнем виде. Правда, Ассамблея теперь должна была избираться всеобщим голосованием, что усиливало ее и давало возможность выступать перед правительствами с новыми инициативами — в случае, если сами правительства не будут проявлять активности. Наконец, я видел в новом начинании возможность привлечь Великобританию к более тесному сотрудничеству.

Спаак поддержал проект, который был уже оформлен в виде декларации. Он брался убедить своих коллег по Бенилюксу, особенно Бейена, который со своей стороны стремился к полному экономическому союзу. Но бельгийцы не

хотели снова задеть Францию и вели себя осторожно. Нам надо было решить, кто возьмет на себя инициативу и в какой момент. Дата истечения моего мандата, 10 февраля 1955 года, приближалась, и совещание министров иностранных дел должно было собраться, чтобы решить вопрос о моем преемнике. Воспользуется ли Бенилюкс возможностью предложить кандидатуру, или это сделает группа представителей политических сил и профсоюзов, которую я уже начал создавать? Второе казалось мне предпочтительнее: это придавало бы больший динамизм европейскому движению и создало бы новые условия для демократического действия, вынудив правительства пойти на ответственные решения. События заставили меня повременить со своими инициативами. В первых числах февраля произошло падение правительства Мендес-Франса, что сделало невозможным созыв совещания министров и назначение моего преемника.

Однако я уже успел попрощаться со своими коллегами и со всеми служащими Верховного органа. Все понимали, что завершился определенный этап. Начинался новый период, для них — в работе люксембургских учреждений, для меня — в продолжении борьбы за их пределами. В Париже уже было снято помещение, где должен был находиться наш инициативный комитет, и мы с Сильвией уже готовились перевозить вещи. И вот вечером, возвращаясь с прогулки, мы увидели возле нашего дома в Брихерхофе большое скопление машин. Дома меня ждали мои коллеги в сопровождении своих советников. Я подумал, что речь идет об импровизированной церемонии прощания, но у приехавших был удививший меня смущенный вид. Наконец Этцель вытолкнул вперед Годе, который заговорил от имени собравшихся: «Господин председатель, долг вашей юридической службы сказать вам, что вы не можете покинуть ваш пост. Мы перечитали договор вдоль и поперек: не подлежит сомнению, что юридически вы остаетесь нашим действующим председателем до тех пор, пока не будет назначен ваш преемник». Пришлось остановить переезд, и еще долгих пять месяцев я оставался в Люксембурге. У каждого были

свои резоны не торопиться с созывом совещания министров иностранных дел. Но главный довод состоял в том, что произошедшие во Франции перемены делали возможными новые европейские инициативы, к которым надо было тщательно подготовиться.

Идея, которую мы обсуждали со Спааком, обретала силу. Спаак предложил министрам иностранных дел принять нашу декларацию за основу для работы. Сначала реакция была вялой. Пинэ, ставший министром иностранных дел в правительстве Эдгара Фора, опасался, как бы не вспыхнул снова едва угасший европейский спор. Немцы, вопреки моим первым предположениям, не горели желанием создавать атомное Сообщество по образцу Объединения угля и стали. Должен признать, что Юри уже давно предсказывал мне подобную сдержанность: «Люди, подобные Эрхарду, — говорил он, — не будут заинтересованы в новой сверхнациональной организации в рамках Шести. Переговоры об атомных технологиях им выгоднее вести с англичанами, американцами или норвежцами, чем с теми странами, которые сами в этой области не имеют ничего или почти ничего. Зато если вы будете говорить с ними о создании Общего рынка стран Шестерки, они согласятся и с созданием атомного Сообщества внутри этого рынка». Вскоре я получил подтверждение справедливости его слов. Моя готовность поддержать идею Общего рынка, казавшуюся еще довольно расплывчатой, во многом связана с доводами Юри.

В конце концов, Спаак договорился с Бейеном, очень довольным, что ему удастся продвинуть свои собственные концепции. Бейен составил предложения на четырех страничках под названием: «Меморандум стран Бенилюкса к шести странам-участницам европейского Объединения угля и стали». Его руководитель кабинета прислал мне этот текст 6 мая 1955 года с сопроводительным письмом, кончавшимся словами: «Ваше детище к сему прилагается». И действительно, в документе я обнаружил почти все, что содержалось в нашей со Спааком декларации. Хотя слов «Соединенные Штаты Европы» там и не было, зато понятие «Экономичес-

кое Сообщество» было сформулировано более четко. Была уточнена и процедура: договоры предстояло подписать на конференции, где должны были присутствовать правительства Шести, плюс Объединение угля и стали, плюс британское правительство.

Я был согласен с этими предложениями, которые шли чуть дальше и чуть быстрее, чем мои. Действительно, ситуация стала для нас более благоприятной. Франция ратифицировала Парижские соглашения, и если это голосование не имело большого практического значения, оно, по крайней мере, обозначило некоторую решимость. Долгий период неуверенности заканчивался. Многие спекулировали на том, что, мол, нельзя допустить новой неудачи, что провал новой попытки будет означать катастрофу, и призывали к осторожности. Но другие, напротив, требовали более смелых и решительных шагов, считая, что Франция во второй раз не решится сказать «нет». Эти колебания продолжались на протяжении всего подготовительного периода к новой конференции министров иностранных дел шести стран, которая должна была открыться в Мессине 1 июня. Результатом мог стать только компромисс между отвагой и робостью, но в моих глазах главное состояло в том, чтобы хоть кому-нибудь был дан мандат сделать хоть что-нибудь в направлении, по которому мы продвигались вот уже пять лет с момента принятия плана Шумана. А мы бы уж постарались обеспечить такому мандату возможно более широкое применение.

В Мессине министры приняли за основу для соглашения меморандум Бенилюкса, внеся в него лишь несколько формальных смягчающих моментов. Зато они ввели в него описание рабочей процедуры, которая в дальнейшей практике оказалась полезной: комитет, состоящий из делегатов и правительственных экспертов, должен готовить, под руководством авторитетного политического деятеля, доклад для министров, которые затем дадут дальнейшие инструкции по подготовке договоров. Имелась немаловажная деталь: Верховному органу, в котором теперь председательствовал Рене Мейер, предстояло участвовать в этом процессе и оказывать

ему содействие. Наконец, к участию в работе приглашалась Великобритания.

Это был удовлетворительный результат. Я прекрасно понимал, что метод в данном случае был не менее важен, чем сами задачи, которые в значительной степени зависели от него. Когда речь зашла о председателе комитета экспертов, кандидатура Спаака возникла сама собой. Для участия со стороны Верховного органа были выделены лучшие силы: Юри, Делуврие (ставший преемником Гийо), Спиренбург и другие внесли в заседания, проходившие в Брюсселе, дух Люксембурга. Доклад экспертов, на основании которого составлялся текст договоров, был в основном написан Юри, — Спаак сам об этом говорил неоднократно. При этом не подлежит сомнению, что политическая заслуга в появлении на свет этого важнейшего документа принадлежит Спааку. Он хорошо поработал для Европы.

Глава 16

Комитет борьбы за Соединенные Штаты Европы (1955–1957)

Моральная сила и политическая власть

Итак, в начале лета 1955 года я вновь стал простым гражданином после шестнадцати лет непрерывного общественного служения. По правде говоря, при смене моих разнообразных обязанностей у меня никогда не было чувства, что я делаю карьеру или занимаю какое-то место в иерархии, будь она французской, английской, американской или европейской. Тем не менее, когда я действовал в рамках официальных мандатов, я всегда внимательно следил за формулировками этих мандатов. А если в моем распоряжении был административный аппарат, я всегда стремился свести его к минимуму или же использовать только ту его часть, которая была мне необходима для конкретной деятельности. От своих сотрудников я требовал не столько повиновения, сколько верности. Не могу сказать, приходилось ли мне самому подчиняться: я не знаю иного закона, кроме как убеждать других и самому считаться с доводами партнера. Никому не удалось бы заставить меня делать то, что я считал неправильным и бесполезным — в этом смысле надо мной не было начальников. Но и я, в свою очередь, редко заставлял кого-либо действовать против воли: из этого никогда не получается ничего хорошего, и уж лучше поручить дело кому-нибудь другому или взяться за него самому.

Когда я покидал Верховный орган, Леон Дом напомнил мне, что я проиграл пари. Когда-то я сказал: «Если когда-нибудь нас станет больше двухсот, считайте, что мы проигра-

ли». «Теперь нас втрое больше, — заметил мне Дом, — и мы преуспеваем». В тот момент я был в этом уверен гораздо меньше, чем он. И я не считаю, что с моей стороны было самонадеянностью сказать моим коллегам: «Я думаю, что, работая вовне, я смогу быть вам более полезен». Они сомневались, что можно что-то сделать без большого административного аппарата. Только Джаккери сделал правильный вывод: «Мы находимся в осажденной крепости. Самый смелый среди нас решается на вылазку».

Никто не должен был сомневаться: моя отставка не была жестом малодушия, но началом другой формы борьбы, и если решение принимал я один, это не значило, что я намеревался сражаться в одиночку. Моей целью было единство Европы. Для этого надо было сплотить вокруг себя людей, которые, в свою очередь, через политическую или профсоюзную деятельность, через экономические или административные решения могли бы влиять на еще более широкий круг лиц. Поэтому следовало основательно подумать и со многими посоветоваться, прежде чем создавать новую силу, призванную изменить положение вещей и поведение людей.

Я уже прошел через стадию обдумывания и принял решение: перегруппировать силы, ранее работавшие над Планом модернизации и в Верховном органе. Вместе с ними мне уже удалось добиться многих важных перемен. Если бы я действовал без них, а тем более — против них, мне ничего не удалось бы сделать. Политические партии и профсоюзы трудящихся — вот где была сила. Опыт показал, что их сопротивление могло быть неодолимым. Именно лейбористы помешали вступлению Британии в Сообщество, именно политические партии заблокировали движение к единой Европе во французском парламенте. Мы на опыте убедились в ненадежности расчетов, основанных на ослаблении или расколе националистических сил. Впрочем, я не собирался прибегать к тактическим альянсам, потому что знал, что новизна идеи европейского единства нередко приводила в смущение партийных стратегов и они начинали действовать совсем не так, как требовали традиционные политические ориентации. И большинство, и оппозиция часто сходным образом реаги-

ровали на наши предложения, поэтому мне предстояло обращаться к обеим сторонам.

Стоит ли рассчитывать на мощные организации промышленников и на течения в пользу европейского единства? Был момент, когда я задавал себе этот вопрос. Борцы за европейское единство были искренни в своих устремлениях, но мало что могли сделать. Организации промышленников использовали свою мощь в интересах частных предприятий, представителями которых они являлись. Только политические партии и профсоюзы обладали и силой, и той мерой бескорыстия, которая была необходима для построения Европы. Политические партии по своей природе и по необходимости обладают целостным видением. Профсоюзы связаны с жизнью и восприимчивы к переменам. Я решил иметь дело с этими двумя силами с помощью людей, с которыми уже работал раньше, способности и добросовестность которых мне были известны. Подразумевалось, что эти люди будут участвовать в движении не просто как отдельные личности, а как полномочные представители своих организаций. Все вместе мы должны были стать силой. Этой силе я дал название: Комитет борьбы за Соединенные Штаты Европы.

У всех, к кому я обращался в шести странах Сообщества, я встретил благоприятное отношение. Но особенно меня порадовала встреча с руководителями немецких профсоюзов в последних числах 1954 года. Встреча состоялась по их инициативе в Люксембурге, в отеле «Конс». Присутствовали председатель ФНП Фрайтаг, ответственный представитель профсоюза горняков Имиг и ответственный представитель профсоюза металлистов Штретер. «Мы убеждены, — сказал мне Фрайтаг, — что объединенная Европа — это надежда трудящихся и гарантия мира. Но мы обеспокоены и не знаем, что делать в данный момент. Вы объявили, что продолжите борьбу, находясь вне Объединения угля и стали. Мы видели, как вы работали в Верховном органе в течение двух лет, и мы вам доверяем, потому что у вас слова не расходятся с делом. Продолжайте создавать Европу, и мы последуем за вами». Я был тронут и ободрен этими словами, произнесенными человеком, за плечами которого стояли шесть миллионов трудя-

щихся его страны, словами, сказанными в присутствии и с одобрения представителей двух больших рабочих профсоюзов Рура. Я объяснил моим собеседникам, что будет представлять собой Комитет за Соединенные Штаты Европы, и спросил Фрайтага: «Согласитесь ли вы войти в Комитет от имени Федерации немецких профсоюзов, которую вы представляете?» — «Да, я могу вам сказать, что ФНП войдет в Комитет». — «Но, — добавил я, — если ваши друзья социал-демократы будут продолжать следовать иной политике, не станет ли это для вас проблемой?» — «Никаких проблем, мы пойдем с вами в любом случае». Эта способность определять свою позицию независимо от политических партий была характерна для вождей немецких профсоюзов, игравших решающую роль в демократической эволюции их страны. С этого дня у меня не было более твердых и верных союзников. Я уверен, что их решительная позиция заставила серьезно призадуматься лидеров СДПГ.

«Федеральная власть над умами» — такое определение дал Комитету борьбы Ж.Ж. Серван-Шрайбер. Формула выразительна, но я думаю, что правильнее было бы говорить о Комитете как о *моральной* власти, которая в каждой стране заявляла о своем присутствии наряду с официальной властью, не пытаясь конкурировать с ней в плане политическом. Задача состояла в том, чтобы побуждать правительства передавать все большую часть своей компетенции европейским институтам. А для этого было нужно, чтобы некая внешняя сила воздействовала на правительства постоянно. Не в этом ли состоит функция политических партий и профсоюзов в любой демократической стране? Но кто-то должен был объединить их в одну европейскую политическую силу. Я полагал, что у меня есть некоторый авторитет, чтобы сделать такую попытку. При этом я не забывал, насколько ненадежен авторитет одного человека, выступающего только от своего лица. Люди неохотно идут за одним, одиноким человеком; часто сами того не осознавая, они связывают авторитет индивида с организованной властью, с какой-либо легитимностью, которую он воплощает. Забыв об этом, многие деятели вдруг оказывались изолированными и бессильными.

Я вспоминаю об одном обеде у Черчилля, в конце войны. Он тогда был всего лишь лидером оппозиции, но лидером полновластным. Кто-то стал говорить за столом о том, каким непрерываемым авторитетом пользовался Черчилль в самые драматические моменты, как он умел повелевать людьми и событиями. Ко всеобщему удивлению Черчилль, покраснев от гнева, прервал говорившего: «Запомните хорошенько: все, что я сделал, я смог сделать потому, что был главой консервативной партии». Его опыт давал ему основание так говорить и думать. Там, где другие увидели проявление скромности, я усмотрел урок демократической легитимности.

Власть в наших странах стоит на фундаменте свободного коллективного волеизъявления. Я знал, что мое влияние ненадолго переживет мою отставку из Верховного органа, куда я был назначен шестью правительствами и где нес ответственность перед парламентской Ассамблеей. Восстановить свое влияние я мог только с помощью политиков и профсоюзных деятелей, которые оказали бы мне доверие. Я хотел создать в Европе новую форму власти: это будет власть группы, и принадлежать она будет всему Комитету. Основой ее будут инициатива и постоянство в действии, и именно в этом будет состоять моя роль. Что же касается политических решений, то их будут принимать члены Комитета и организации, ими представляемые. Цель была обозначена в самом названии Комитета: Соединенные Штаты Европы. Ближайшие задачи диктовались событиями: быстрая ратификация договоров и учреждение новых Сообществ. А дальше будет видно.

Я стремился активизировать силы, на поддержку которых рассчитывал. Казалось, я действую в одиночку, без средств. Но так только казалось. На самом деле я чувствовал себя окруженным людьми доброй воли, ждавшими, чтобы им была указана перспектива действий, к которым они могли бы подключить свои политические и профсоюзные организации. И чтобы ответить на эти ожидания, мне не нужны были большие средства. Кабинет, телефон, секретарь — этого мне было достаточно. Все это у меня было, и даже намного более того. Когда вы решились действовать и стремитесь к эффективности, а не к утверждению собственного престижа, по-

мощь приходит быстро. Преданных людей хватало. Ван Эльмон, бывший член Верховного органа, затем два молодых англичанина, Франсуа Дюшен и Ричард Мейн (о них я расскажу позднее), присоединились ко мне и занялись налаживанием аппарата Комитета.

Этот аппарат, при всей его легкости, работал энергично и бесперебойно. Мы задумали его как мощный ретранслятор идей. Для поддержания бесчисленных контактов во всех концах Европы у меня был такой бесценный помощник, как Конштамм, способный преодолевать все языковые, политические и культурные барьеры. Он отказался от многообещающей карьеры и стал вице-председателем Комитета, готовым до конца делить со мной весь риск нашего предприятия.

Я знал, что могу рассчитывать на добровольное содействие многих людей. Лучшие эксперты своего поколения, такие, как Маржолен и Юри, Триффен и Карли, готовы были делиться своими знаниями и опытом, так как, помогая нам, они помогали скорейшему осуществлению своих собственных идей и тех задач, которые стояли перед их учреждениями. Все их идеи требовали тех или иных перемен и потому встречали противодействие в административных инстанциях. В какой-то момент им всем было необходимо воздействовать на те круги, где принимались решения, то есть выйти в политическую сферу. Но это как раз и была та задача, которую ставил перед собой Комитет и осуществление которой зависело от двух взаимосвязанных вещей: от качества выдвигаемых им предложений и от его способности их обосновать. Я должен был как можно скорее доказать, что аппарат Комитета способен, действуя в масштабах Европы, предлагать решения и добиваться их осуществления. Однако для подобной деятельности не существовало прецедентов. И людей, которые могли бы ею заниматься, мне предстояло убеждать каждого в отдельности.

В течение второго семестра 1955 года я разъезжал по странам Шестерки, привлекая на свою сторону политиков и профсоюзных деятелей. Это был для меня чрезвычайно ценный опыт, позволивший мне разобраться во всех тенденциях, из которых складывается демократическая жизнь Европы.

Многие люди, с которыми я встречался, были знакомы между собой, так как обеспечивали в своих партиях международные контакты с другими партиями такой же ориентации. Но никто из их не имел целостного представления о других партиях: социал-демократы с Севера страны и демохристиане с Юга не имели ни случая, ни желания встретиться между собой. На Ассамблеях в Страсбурге некоторые из них (всегда одни и те же) вступали друг с другом в куртуазные поединки. Но оставались непроходимые границы между генеральными штабами большинства партий как внутри каждой страны, так и в их отношениях на международной арене. Внешнеполитические вопросы могли приводить к временным коалициям — как это произошло в связи с ЕОС, — но настоящие границы между партиями определялись внутренней политикой. Во Франции или в Бельгии социалисты и христиане могли иметь одни и те же европейские цели, но их расхождения по поводу школьного образования были для них важнее. Вот здесь-то и нужны были изменения.

Что касается профсоюзов, то, участвуя в работе европейского Объединения угля и стали, они осознали свою международную солидарность в этих отраслях, но в основном вся их деятельность протекала в национальных рамках. Мне было нужно убедить руководителей профсоюзов, которым трудящиеся доверили защиту своих интересов, что эти интересы выходят за пределы национальных границ. Но для большинства эта идея имела абстрактный характер. Надо было им доказать, что Европа — это живое целое, а не чуждая им сфера дипломатической активности.

Требовалось терпение, чтобы вникнуть во все оттенки профсоюзных забот и политических направлений. Надо было не задеть ничьего самолюбия и правильно определить, кто является носителем подлинного влияния. Затем надо было убедить этих людей, которые вели борьбу между собой, собраться вместе где-нибудь в Европе и сесть за общий стол переговоров. Это было нелегко, но я не видел в этом ничего невозможного. Правда, имелись два исключения: я не обращался к руководителям коммунистических партий и профсоюзов, как не обращался и к голлистам. И те, и дру-

гие, хотя и по разным причинам, находились в оппозиции к идее европейского единства. Таким образом, я встретился с ответственными функционерами более чем двадцати партий, представляющих семь десятых всех избирателей в шести странах, и с руководителями профсоюзов, объединяющих четырнадцать миллионов трудящихся. Каждому из моих собеседников я предъявлял одни и те же аргументы. Все они отнеслись ко мне с доверием. Они попросили время для размышлений и консультаций. Я их не торопил: их решение должно было исходить от их организаций в целом. По этому поводу шли серьезные внутренние дебаты, которые тоже влияли на общую эволюцию.

25 июля 1955 года в кабинетах бундестага я встретился с Олленхауэром и Венером, занимавших в то время посты председателя и вице-председателя немецкой социалистической партии. Я был с ними хорошо знаком по Ассамблее в Страсбурге. Я помнил, что их фракция голосовала против Объединения угля и стали и против ЕОС, но с тех пор, как Олленхауэр сменил Шумахера, диалог с ними становился возможным. Тот факт, что они согласились заседать в парламенте Объединения, свидетельствовал об их желании влиять на формирование Европы. Я следил за их колебаниями. Повидимому, им было трудно преодолеть подозрения: а не скрываются ли за нашими благородными словами национальные интересы, которые рано или поздно вылезут наружу? В их критике было больше беспокойства, чем враждебности, и я старался их успокоить, надеясь, что самым убедительным для них будет реальный ход дел. Я находил Олленхауэра человеком отзывчивым и восприимчивым. Но за ним маячил Венер, которого мне было трудно понять. Хотя он и старался держаться в тени, фигура этого партийного деятеля, перешедшего к социалистам от коммунистов, требовала внимания. Это был настоящий немец, в нем чувствовалась стихийная сила, его резкие переходы от воодушевления к гневу сбивали меня с толку; в то же время я ощущал в нем глубокую человечность и стремление не допустить торжества грубой силы. В свое время он бежал из нацистской Германии, и дух господства

был ему ненавистен. Поэтому к идее Европейского Сообщества он относился сочувственно и одновременно — требовательно. Так что и с ним тоже мы быстро нашли общий язык. Связавшая нас крепкая дружба в дальнейшем помогала нам в трудные для Европы годы.

В ту встречу я чувствовал у обоих моих собеседников остатки недоверия, и я мог их понять. Правда, проблема немецкой армии перед нами не стояла: она была затушевана Парижскими соглашениями, а Бонн публично отказался от атомного оружия. Этот отказ социал-демократы считали важнейшим условием поддержания мира, и они опасались, как бы Сообщество по атомной энергии это условие не нарушило. Я им пространно объяснял, что, напротив, именно европейская интеграция в области атомной энергетики станет гарантией использования атома только в мирных целях. А коль скоро такая гарантия будет установлена, разве могут они отказываться от тех перспектив, которые открывает перед человечеством неиссякаемый источник энергии? Мои собеседники слушали меня со вниманием. Они знали, что их товарищи из ФНП уже выразили мне полное доверие. Разговор закончился, а они так окончательно и не определили свою позицию. Позднее в тот же день мне позвонил Венер: «Не сможете ли вы зайти ко мне, у меня для вас сообщение». Мы снова увиделись в его кабинете. «Мы идем с вами, — сказал он. — Олленхауэр благодарит вас за то, что вы обратились к нему с этим предложением именно сейчас». Видимо, он имел в виду, что мое предложение дало им повод отказаться от политической линии, унаследованной от прошлого руководства, и начать новую, более конструктивную политику.

Начиная с этого июльского дня немецкие социал-демократы стали твердыми сторонниками Сообщества, с которым они отчаянно боролись с самого его рождения. Эта перемена линии имела огромное значение для европейской ориентации Германии, поскольку позиции находившейся у власти партии Аденауэра слабели и социал-демократы шли ей на смену. Во Франции она очень обрадовала Ги Молле, так как снимала препятствие для сотрудничества всех социалистических партий Европы. В течение лета я повидал и других со-

циалистических руководителей — Бургера в Гааге, Макса Бюзе в Брюсселе, Форманна в Люксембурге, Сарагата в Риме — и все они обещали мне свое содействие. Демохристиане Фанфани, Кизингер, Тео Лефевр, Ромм, Лекур и все лидеры либералов заявили, что поддерживают цели Комитета. Конечно, каждый из них взял обязательство от себя лично, я же хотел большего, — чтобы их решение было поддержано от имени их партий. С таким же требованием я обращался и к руководителям профсоюзов.

В начале октября все, с кем я вел переговоры, получили от меня следующее письмо:

«Я имею честь обратиться к вам с просьбой принять участие в учреждении Комитета борьбы за Соединенные Штаты Европы.

Каждое лицо, участвующее в учреждении Комитета, будет ходатайствовать о вступлении в Комитет той организации, которую оно представляет. Подразумевается, что политические или профсоюзные организации, вступающие в Комитет, будут представлены там делегатами, имеющими соответствующий мандат.

Комитет будет осуществлять единство действий организаций-членов с целью конкретными делами добиваться создания Соединенных Штатов Европы.

Ближайшая цель состоит в том, чтобы все организации-члены довели до сведения своих правительств, парламентов и общественного мнения свою решимость сделать Мессинскую резолюцию от 2 июня прошлого года реальным шагом к созданию Соединенных Штатов Европы <...>.

Чтобы этого добиться, необходимо отказаться от мнимых решений. Простого сотрудничества между правительствами недостаточно. Необходимо, чтобы государства делегировали некоторые из своих властных полномочий федеральным учреждениям, которые будут выступать как представители всех стран-участниц. Речь идет также о том, чтобы обеспечить тесное участие Великобритании во всех этих начинаниях».

13 октября 1955 года я уже мог публично объявить, что все мои корреспонденты дали согласие и что, тем самым, состоялось учреждение Комитета борьбы за Соединенные Шта-

ты Европы. В тот же день Ги Молле заявил: «Социалистическая партия единогласно уполномочила меня вступить в Комитет... Таким образом, полностью покончено с разногласиями, возникшими в связи с ЕОС. Эта констатация выходит за рамки одной только социалистической партии. Сегодня европейская интеграция снова стала фактором единства». Большое значение имело следующее его замечание: «Впервые профсоюзы всех наших стран согласились вместе с партиями принять участие в общей политической акции». К этому можно было бы добавить: впервые люди объединялись ради внешнеполитической цели, которую они поставили выше внутриполитических разногласий. Создание Комитета, о котором было объявлено одновременно в шести столицах, было воспринято прессой как важное политическое событие, чему немало способствовало присоединение немецких социал-демократов. Угрожающая трещина, которая раскалывала европейское социалистическое движение и заставляла сомневаться в будущем Германии, была теперь устранена. Психологические последствия инцидента с ЕОС будут постепенно сглаживаться. Наконец, согласованная позиция людей, которых обычно ничего не сближало, произвела большое впечатление на умы.

Большинство населения шести стран, которое и раньше, судя по опросам, было настроено в пользу европейского единства, получило обнадеживающую поддержку. Но все понимали, что речь не идет о создании нового европейского течения или новой федералистской, политической партии: европейцы увидели, что возникает новый, до сих пор не известный, метод политического действия. Этот метод, утверждавшийся с решительностью и оптимизмом, должен был доказать свою эффективность. В тот же день, обращаясь к англичанам по Би-би-си, я сказал: «Не забывайте о существовании Комитета борьбы за Соединенные Штаты Европы. Вы скоро снова о нем услышите».

Говоря так, я имел в виду не словесный шум, но общественные инициативы, которые приведут в движение демократические организации по всей Европе. Только через эти организации Комитет мог действовать и заявлять о себе. Свободный от любого подчинения правительствам, он должен

был функционировать, используя минимум средств, нужных для содержания маленького секретариата, располагавшегося на авеню Фош, в двух комнатах, которые сдал мне в своей квартире брат Сильвии. Средства Комитета складывались главным образом из взносов организаций-членов. Поэтому было очень важно, чтобы его аппарат оставался немногочисленным, а бюджет был минимальным.

Наш бюджет был прозрачным, каждый мог с ним ознакомиться. Точно так же и моя деятельность была открытой; я взял за правило: прежде чем принимать решение, я информировал всех участников и консультировался с каждым из них, независимо от его веса и влияния. Если учесть разделявшие нас расстояния и огромную загруженность всех этих общественных деятелей, становится ясно, сколько надо было положить сил, чтобы получить общее согласие, и того больше — чтобы назначить общее собрание. Я тратил массу времени, согласовывая идеи и слова, подбирая подходящие даты для встреч, но это время не было потеряно зря. Нам удавалось поддерживать непрерывный обмен информацией с людьми, которые сами все время пересекали Европу в разных направлениях, чтобы знать мнения своих федераций, трудящихся и избирателей и чтобы передавать им свои указания. Наши собрания должны были быть тщательно подготовлены, позиции тридцати членов Комитета — близки к консенсусу, прежде чем мы соберемся на один или два дня в какой-нибудь из европейских столиц. За столь короткий срок мы только и могли, что подготовить текст заявления и произвести предварительное согласование его основных положений. Первый текст, как и все последующие, был подготовлен Конштаммом на авеню Фош после консультаций с крупнейшими экспертами по атомной энергетике, как того требовала чрезвычайная важность рассматриваемого предмета. Сколько вариантов документа у нас сменилось с октября по декабрь 1955 года, я даже не могу припомнить. Могу только сказать, что их было столько, сколько необходимо, чтобы учесть все справедливые замечания, поступавшие к нам в ходе личных встреч, в виде писем и телефонных звонков, которые буквально захлестывали наше помещение на авеню Фош.

Каждый год этот процесс возобновлялся один или два раза. Всего у нас было восемнадцать сессий, в которых участвовало в общей сложности сто двадцать человек, что требовало от нашей маленькой команды непрерывной рабочей готовности. Принимаемые на пленарных сессиях резолюции, как бы оживленно они ни комментировались прессой и какое бы существенное влияние ни оказывали на политику европейских правительств, являлись только видимыми вехами нашей деятельности, в то время как основная работа Комитета осуществлялась, невидимо для сторонних наблюдателей, через повседневные контакты с сетью его членов. Группа из тридцати участников из семи стран, представляющая двадцать крупных демократических партий и десять мощных некоммунистических профсоюзных федераций, объединившихся для достижения единой цели, — это большая моральная сила. Вероятно, только идея мирного сообщества народов могла осуществить такую перегруппировку, предвещавшую возникновение новой политической среды, которой предстояло в будущем определять жизнь наших демократических стран, превращающихся в единую страну. Со временем внутри этой новой среды возникнут новые тенденции, соперничающие между собой в борьбе за власть. Но сначала, чтобы такая среда возникла, всем ее участникам предстоит пройти школу ознакомления с европейскими реалиями и научиться забывать о партийных распрах. История Комитета и была такой школой открытости и дружбы.

Обозреватели с удивлением видели, как люди, ожесточенно борющиеся между собой за власть в своих странах, собирались несколько раз в году за одним европейским столом, подписывали совместные тексты, защищали их с одинаковой лояльностью перед своими парламентами или на своих профсоюзных съездах. У себя в странах они переходили из оппозиции в правительства, из меньшинства становились большинством, но эти перемены никак не влияли на их позицию внутри Комитета. Они могли стать министрами, президентами, канцлерами, — их место в Комитете сохранялось и они могли занимать его по своему желанию. Многие из них, и далеко не наименее влиятельные, — Молле, Брандт, Кизин-

гер, Ненни, Шмидт — пользовались такой возможностью, невзирая на свои должности и не стремясь извлечь дополнительные политические выгоды из своих временных властных преимуществ перед другими коллегами. Точно так же и лидеры оппозиции не стремились поставить в неудобное положение своих соперников. Однако такой консенсус возникал не путем мелочных компромиссов, а во имя открыто признаваемых целей и стремления изменить ход вещей. То, что казалось необычным при взгляде извне, внутри Комитета было совершенно нормальным, потому что здесь люди собирались с желанием договориться и действовать сообща.

Конечно, каждый, вступая в Комитет, заранее подписался под общей целью. Но царившее здесь согласие было связано не только с идейной общностью: способствовал ему и наш рабочий климат. Когда политик не чувствует на себе пристального взгляда средств массовой информации, когда он уверен, что его слова не будут использованы против него оппонентом, с которым он в данный момент сотрудничает, его поведение меняется: добросовестный политик включается в совместную деятельность, положительные стороны его натуры побуждают его к согласию. Я не помню, чтобы внутри Комитета происходили конфликты между людьми или возникало напряжение между партиями. Перед каждым собранием мы с Конштаммом тратили иногда по несколько месяцев, чтобы посредством терпеливых разъяснений сблизить различные точки зрения. В этом нам помогала наша способность убеждать, но особенно средство, силу которого часто недооценивают, — искренность. Наши карты всегда были открыты, и каждый мог убедиться, что мы говорим ему те же слова, что и всем остальным. Если не всегда бывает полезным говорить всё всем, то совершенно необходимо говорить всем одно и то же. Только таким путем можно добиться доверия, и я никогда ничего не достигал и не пытался достичь без доверия.

Но между нами существовало нечто большее — дружба. Она не была нам дана изначально, и она не могла быть условием успеха Комитета. Но она установилась постепенно и вдохнула в нас новые силы. Двадцать лет встреч и совместной борьбы создают даже между очень разными людьми тес-

ные личные связи. Как много сделали такие связи для укрепления и развития европейской солидарности, знают только те, кто испытал их в моменты трудного выбора. Об этом публично и в частных беседах свидетельствовали Брандт, Хит, Венер, Шеель, Румор и многие другие.

Реально наша деятельность началась в январе 1956 года и продолжалась двадцать лет. Одни ее результаты видны уже сегодня, о других можно будет лучше судить в будущем. Но когда я оглядываюсь на этот долгий период, он представляется мне единым и цельным, я ощущаю его как самое длительное усилие в моей жизни, которое, Бог свидетель, потребовало от меня немалого упорства. Обстоятельства подтолкнули меня к такому действию, продолжительности которого я не мог предвидеть, но в трудностях которого я никогда не сомневался. Я всегда полагал, что Европа будет созидаться в ходе многочисленных кризисов — как совокупность решений для преодоления каждого из них. Только решения надо будет находить и заставлять их применять. Оглядываясь назад, я сомневаюсь, что такой результат был бы достигнут без авторитетного европейского политического органа, каким был Комитет борьбы.

Евратом и Общий рынок

Первая сессия Комитета проходила 18 января 1956 года в институте Брантинга, в нескольких метрах от особняка на улице Мартиньяк, где десять лет тому назад, почти день в день, я отправлял в плавание План модернизации. Много с тех пор изменилось в мире и в Европе, но во Франции продолжалась правительственная чехарда. После того как в декабре Национальное собрание было распущено декретом Эдгара Фора, в результате выборов образовалось большинство левого центра, которое привело к власти правительство Ги Молле. В течение нескольких месяцев Мендес-Франс тоже входил в это правительство. Очень важным было назначение Кристиана Пино в министерство иностранных дел, куда он пришел с Морисом Фором в качестве государственного секретаря. Оба

они были, как и глава правительства, сторонниками быстрого построения единой Европы. Кристиан Пино, социалист с широкими взглядами, переживший депортацию, стремился к тому, чтобы Германия вошла в мирное сообщество европейских народов. Морису Фору, исключительно одаренному молодому деятелю партии радикалов, предстояло проявить блестящие качества переговорщика.

Правительство Ги Молле оказалось самым долговечным из всех правительств IV Республики, и это позволило ему довести до конца одно важное дело — Римские соглашения, и начать другое — деколонизацию, в котором большую смелость проявил Гастон Дефер. Правительственная команда была составлена чрезвычайно удачно: рядом с Пино был Маржолен, рядом с Морисом Форм — Ведель и Ж. Франсуа-Понсе; а непосредственным помощником при Ги Молле был молодой и очень талантливый выпускник Эколь Нормаль — Эмиль Ноэль, ранее прекрасно себя зарекомендовавший в конституционной комиссии Ассамблеи ЕОУС. В дальнейшем мы увидим, как успешно он будет работать в учреждениях Европейского Сообщества, заботясь о стройности их структур и гибкости функционирования.

В Брюсселе Гайар продолжал возглавлять французскую делегацию на переговорах под председательством Спаака, последовавших за конференцией в Мессине. Такая расстановка достойных и солидарно мыслящих людей была большой удачей для Европы. Этим следовало воспользоваться и, как мы всегда делали, сосредоточить усилия на ограниченном и решающем участке. Я подготовил текст, который, как я был уверен, должен был получить единогласную поддержку в нашем Комитете: речь шла о том, чтобы обратиться к правительствам с призывом безотлагательно создать Евратом.

В заявлении говорилось:

«Надо действовать быстро, если Европа не хочет упустить свой шанс.

Атомная промышленность, вырабатывая энергию, способна также изготавливать бомбы. Поэтому в атомной энергетике экономические и политические аспекты неразделимы. Европейское Сообщество должно направить атомную энер-

гию исключительно на мирные цели. Такой выбор требует безукоризненного контроля. Он открывает путь ко всеобщему контролю в мировом масштабе.

Чтобы обеспечить скорейшее принятие необходимых мер, мы согласились представить прилагаемую декларацию на утверждение парламентов Германии, Бельгии, Франции, Италии, Люксембурга и Нидерландов и призвать наши правительства к безотлагательному заключению договора, отвечающего содержащимся в декларации условиям».

Декларация предлагала создание Евратома по образцу европейского Объединения угля и стали. Его исполнительный орган, Комиссия по атомной энергии, будет обладать исключительным правом собственности на ядерные материалы, произведенные и импортированные, и будет контролировать их использование с начала и до конца. Только она будет наделена полномочиями вести переговоры и заключать соглашения с третьими странами. Она же будет нести ответственность за соблюдение правил безопасности. Для осуществления намеченного необходимы были две вещи: организационная структура и сроки исполнения. Наилучшие проекты остаются на бумаге, если нет соответствующего инструментария и четкого календаря. Межправительственная комиссия в Брюсселе не решалась преодолеть барьер, перед которым Европа колебалась с 1950 года: делегирование суверенитета. Нужна была политическая воля, действующая извне. Смогут ли правительства дать комиссии соответствующий мандат, если парламенты не подтолкнут их к этому? И смогут ли сами парламенты взять на себя инициативу, если члены Комитета борьбы не положат перед ними, без промедления, проект совместной резолюции?

В этот день, в барочном зале института Брантинга, решался вопрос о единственном проекте, который в тот момент мог получить одобрение и поддержку европейцев и дать новый толчок процессу европейского объединения. Вокруг стола расселись три десятка человек, обладавших доверием своих партий и профсоюзов; некоторые из них были членами правительства в своих странах. Среди участников были: Ги Молле, Фанфани, Малагоди, Ла Мальфа, Лефевр, Бюзе,

Ромм, Бюргер, Олленхауэр, Венер, Фурлер, Морис Фор, Плевен, Ботро, Кул, Фрайтаг... Все они подписались под документом, провозгласившим позицию Комитета:

«Развитие атомной энергетики в мирных целях открывает перспективы новой индустриальной революции и создает возможности глубокой трансформации условий труда и жизни людей.

Объединившись, наши страны способны сами развивать атомную промышленность. Они составляют единый регион, способный быть на уровне великих мировых держав. Однако порознь они не способны преодолеть отставание, являющееся следствием европейской раздробленности».

Проект Евратома получил единогласную поддержку в Комитете, потому что этому способствовали взаимно дополнявшиеся устремления. Французы видели в проекте возможность обеспечить свою энергетическую независимость с помощью общих усилий; немцы — возможность вступить в ядерный век путем мирного развития. Этот мирный путь был для друзей Олленхауэра необходимым условием их согласия и, в значительной мере, самого их присутствия в Комитете. Как и они, я полагал, что контроль Евратома над расщепляющимися материалами имел чрезвычайное значение. Для большинства французов Сообщество по атомной энергии было ясной и четкой идеей, а Экономическое Сообщество — чем-то туманным. Для определенной части немцев, напротив, Общий рынок был единственным динамическим концептом развития, за который надо было заплатить согласием на Евратом с его дирижизмом. Таким образом, у нас тогда не было выбора: прорыв к европейскому единству можно было осуществить только посредством мирного атома. Общий рынок должен был стать следующим этапом, и его рассмотрение мы отложили на одну из последующих сессий.

В Брюсселе, в комитете Спаака, разрабатывались одновременно оба проекта, но я думал, что нужно ускорить создание Евратома. Все было сделано для того, чтобы наша резолюция была обсуждена и принята шестью парламентами. В июле эта цель была достигнута. По инициативе французского правительства для участия в том памятном заседании

Национального собрания были приглашены Луи Арман и Франсис Перрен; их блестящие выступления с парламентской трибуны положили начало плодотворной, хотя и не слишком часто возобновлявшейся традиции.

Во время этого памятного заседания я услышал, как Ги Молле произнес фразу, которой суждено было лечь тяжелым грузом на будущее Европы: «Евратом не станет препятствием для возможного решения Франции создать собственное атомное оружие». По этому пункту французские социалисты разошлись с социалистами немецкими, которые в ответ только усилили свою позицию по данному вопросу. В октябре Олленхауэр писал министру иностранных дел фон Brentано: «Моя партия считает абсолютно необходимым в целях безопасности строжайший контроль за использованием расщепляющихся материалов на базе собственности на эти материалы со стороны Евратома. Создание Евратома, которое моя партия и лично я считаем срочной необходимостью, будет поставлено нами под вопрос, если оно не будет происходить на условиях строгого контроля, предусмотренного резолюцией комитета Монне». Однако боннское правительство было расколото. Штраус и Эрхард блокировали переговоры о Евратоме в Брюсселе в надежде на двусторонние соглашения с Соединенными Штатами; эта надежда развеялась после визита Штрауса в Вашингтон. И только тогда Аденауэр смог настоять перед министрами и немецкими промышленниками на своем подходе к контролю над расщепляющимися материалами; в начале ноября он прибыл в Париж, чтобы договориться с Ги Молле. Их соглашение было тем более необходимо, что на несколько месяцев ранее Эйзенхауэр решил предложить Европе двадцать тонн урана-235 для использования в мирных целях на условиях международного контроля. Только быстрое создание Евратома давало шанс заменить международный контроль контролем чисто европейским и тем сохранить независимость нового Сообщества. Предстояло тяжелое сражение, но я считал его необходимым, чтобы Европа осознала свою идентичность и свой суверенитет.

Летом произошло серьезное событие. 26 июля 1956 года Насер заявил без всякого предупреждения: «Всемирная

Кампания Суэцкого канала с сегодняшнего дня не существует. Отныне канал принадлежит Египту и только ему». С этого момента вся мировая система коммуникаций была поставлена под угрозу путем блокады одной из важнейших торговых артерий, от которой зависело наше снабжение нефтью. 19 сентября Комитет собрался в Париже и принял следующую резолюцию:

«От снабжения Западной Европы энергоносителями зависит прогресс или упадок наших стран. Сегодня Западная Европа получает пятую часть необходимой ей энергии за счет импорта. Через десять лет доля энергетического импорта возрастет до одной трети ее потребностей. Большая часть импорта нефти идет с Ближнего Востока.

Такая зависимость порождает неуверенность и постоянную опасность конфликтов. Она вредит установлению сотрудничества между индустриальными и слаборазвитыми странами, необходимого для улучшения жизни обездоленных масс населения. Возможность оказывать давление на Западную Европу с помощью ближневосточной нефти мешает развитию мирных отношений между Западной Европой, Африкой и Азией, и в целом — между Востоком и Западом...

Вместе, развивая и объединяя свои ресурсы, наши страны смогут производить атомную энергию в нужное время и в нужном количестве, чтобы поддерживать в разумных пределах свой импорт нефти и угля».

В тот момент это предупреждение было услышано, но затем забыто на целых пятнадцать лет: людям свойственно принимать важные решения только тогда, когда кризис уже стоит у дверей. Суэцкий кризис был первым сигналом опасности для устойчивости мировой системы, и паралич, охвативший европейский транспорт, лучше любых аргументов показал общую уязвимость нашей промышленности и необходимость действовать солидарно. Поэтому Комитет потребовал от правительств быстрее заключения договора о Евратоме и его ратификации до конца года. Но, кроме того, пользуясь обстоятельствами, следовало двигаться вперед и намечать конкретные цели, привлекая к их достижению все заинтересованные силы. Опыт научил меня, что такой способ

действия позволяет мобилизовать огромные скрытые возможности: так было во время войны 1914 года в отношении морских транспортировок; в 1942 году — при создании «Программы во имя победы»; в 1946 году — при разработке Плана модернизации. Разрозненные и неуверенные действия, если их объединить общей целью, приобретают совсем иное качество и иную эффективность. Освоение нового источника энергии могло стать большим коллективным начинанием для европейцев, решивших жить лучше и жить независимо. Для этого им нужно было указать точную цель и определить этапы ее достижения. Соответственно, Комитет предложил европейским министрам поручить трем выдающимся специалистам составить доклад, в котором содержались бы ответы на эти вопросы.

В группу, которую мы стали называть «Три мудреца», вошли Арман, Этцель и итальянский атомщик Джордани. Шесть месяцев они вели свое исследование, посетив Соединенные Штаты, Канаду и Великобританию. В результате появился весьма насыщенный и ясный документ, сохраняющий и сейчас, двадцать лет спустя, свое значение. Последующие события подтвердили правильность нашей позиции. Франко-британская военная операция 5 ноября в зоне Суэцкого канала, угрозы Булганина и уклончивость Эйзенхауэра оставили у разьединенной Европы унижительное чувство своей экономической и политической незащищенности. Эра, когда можно было прибегать к силовым решениям, действуя в одиночку и на расстоянии, заканчивалась. У Европы не оставалось иного средства сохранить престиж, независимость и перспективу развития, кроме единства, основанного на совместных действиях. Арман в шутку предлагал поставить памятник Насеру как человеку, подтолкнувшему Европу к федерации. А если говорить всерьез, Европу к федеративному устройству толкал не один какой-то человек, но безликая, многообразная сила, которой вынуждены подчиняться все люди, имя ей — необходимость.

Необходимость направляла и работавшую в Брюсселе комиссию Спаака, шаг за шагом готовившую договор. Доклад

Спаака помог более четко наметить перспективу. Под пером Юри разнообразные пожелания конференции в Мессине свелись к двум основным проектам: Общему рынку и Евратому. Тот и другой были связаны между собой противоречивыми интересами, лежавшими за каждым из них. Французы неохотно продвигались по пути к Общему рынку, опасаясь возможных ловушек. Но их привлекал Евратом, в котором немцы, напротив, видели попытку взять под опеку их промышленность. Из-за всех этих опасений (иллюзорность которых станет со временем очевидной) переговоры по обоим проектам шли параллельно, и я понимал, что подписаны они могут быть только одновременно. Евратом ждал, когда будет согласован проект Общего рынка, который Франция стремилась обставить разными условиями в свою пользу. Дело здесь было не в Маржолене и не в Морисе Форе — ни способности, ни добрая воля того и другого не вызывали сомнения; дело было в самой Франции, которая никак не могла обрести веру в себя. Как ранее в отношении Объединения угля и стали, она требовала преимуществ в области производства и особенно в области социальных отчислений, считая их слишком тяжелыми для себя. Действительно, ситуация с ее валютой внушала опасения, но защитные меры, которых она добивалась, казались чрезмерными. Из ее предложений только включение в Общий рынок сельского хозяйства и заморских территорий со временем дали положительные результаты. Каждая проблема влекла за собой массу технических трудностей, но все же в начале 1957 года для завершения дела не хватало только политической воли.

Неужели благоприятная возможность будет упущена? Этот тревожный вопрос я задавал членам нашего Комитета, которому снова предстояло сыграть решающую роль. «Много раз мы с вами убеждались, — говорил я им, — что совещание министров, отложенное на две недели, означало задержку переговорного процесса на два месяца. То же самое можно сказать и относительно ратификации». Перед нами угрожающе маячила дата 6 июля, когда бундестаг завершал свою работу, после чего, в сентябре, предстояли всеобщие выборы в Германии. Каждый потерянный день увеличивал риск, что

социалисты из СДПГ ужесточат свою оппозицию Евратому или, в лучшем случае, воздержатся при голосовании. Не давать ни минуты передышки Молле и Аденауэру, непрерывно беспокоить их министров Мориса Фора и Хальштейна, всемерно использовать влияние Ноэля, Этцеля и многих других, — таковы были мои постоянные заботы. Мои собеседники, поставленные перед приближающейся конкретной датой, не уклонялись от ответственности. Им требовалась смелость, но это качество, как правило, свойственно политикам: возникшее препятствие пробуждает в них бойцовский темперамент. Конечно, для этого им надо показать препятствие и убедить их, что его невозможно обойти и что, теряя время, они рискуют потерять все, в том числе и власть. Пример с ЕОС был еще свеж в памяти, и из него были сделаны выводы.

В Брюсселе эксперты тщательнейшим образом редактировали тексты, проявляя одновременно осмотрительность и смелость. Я никогда не задавался вопросом: могли ли быть договоры об Общем рынке и Евратоме иными или лучшими? Я думаю, что они соответствовали возможностям и разуму той эпохи, когда они создавались, — ведь создавали их самые способные и убежденные представители своего поколения. Результаты их работы могли разочаровать требовательных федералистов, но они выдержали испытание временем. Краеугольным камнем этих договоров стал механизм взаимодействия между национальными институтами и европейскими учреждениями, позволявший тем и другим действовать солидарно и открывавший для Европы широкие перспективы.

Диалог, предшествующий решению, — это сама суть жизни в сообществе, то, что выделяет Европейское Сообщество среди других современных политических систем. Если практика показала, что власть принимать решения была в недостаточной степени делегирована на европейский уровень, то дело сегодняшних людей осуществить то, что вчера не удалось провести через колеблющиеся парламенты. В 1957 году Спаак не мог быть более ловким, Юри — более изобретательным, Хальштейн и Морис Фор — более смелыми. Необходимо было также, и это главное, чтобы Аденауэр и Молле воспользовались своим авторитетом. И они это сделали, догово-

рившись между собой. В феврале решение созрело. Франция вступала в Общий рынок вместе со своими заморскими территориями, Евратом становился собственником расщепляющихся материалов. Проблема Саара решалась окончательно. 25 марта в Риме договоры были подписаны.

Надо было выиграть гонку со временем. Комитет, собравшись в начале мая, обратился к правительствам с призывом добиться, чтобы ратификация состоялась до парламентских каникул. Парламентские комиссии принялись за работу. И снова я воспользовался опытом и умением Бламона, чтобы ускорить процесс. 22 июня я посетил Бонн вместе с Конштамом. Олленхауэр все еще колебался: «Может быть лучше отложить дебаты до осени, — сказал он мне. — Пусть этим займется новый бундестаг. Мы предпочитаем, чтобы первыми решились французы». — «Это было бы ужасной ошибкой, — ответил я. — Надо, чтобы учреждения были созданы в начале 1958 года, иначе будет слишком поздно». Существовал риск, я это видел, что немецкие социалисты воздержатся при голосовании в бундестаге. И я добавил: «Французские социалисты впервые проголосуют единогласно за европейский договор. Ратификация во Франции и в Германии должна пройти почти одновременно». — «Хорошо, — сказал Олленхауэр, — мы будем голосовать за». Чтобы принять такое решение, нужна была смелость. 5 июля СДПГ поддержала договоры вместе с ХДС, немецкой партией и частью либералов. Это было большое событие в истории Европы. Серьезная опасность раскола внутри немецкого общества была устранена; общественное мнение, слишком долго колебавшееся, сделало выбор в пользу западного единства. Франко-немецкое примирение было закреплено по всем направлениям.

Несколько дней спустя дебаты во французском Национальном собрании начались с двух блестящих докладов: Савари об Общем рынке и Жюли о Евратоме. Первый из них закончил свою речь словами: «Выбор существует не между Сообществом и «статус-кво», а между Сообществом и одиночеством». Жюли опирался на доклад «Трех Мудрецов», которые с цифрами в руках подтверждали прогнозы, сделанные Комитетом: «Зависимость Европы от Ближнего

Востока будет только усиливаться... По мере того как импорт нефти будет возрастать, все более настойчивыми будут становиться попытки использовать нефть в качестве средства политического давления. Любой перебой в поставках нефти, если он произойдет через несколько лет, рискует обернуться для нас экономическим бедствием. Более того: известно, что чрезмерная сырьевая зависимость промышленно развитых стран от политически неустойчивых регионов может привести к серьезным осложнениям мирового масштаба. Следовательно, необходимо, чтобы нефть стала только одним из факторов промышленного развития и не могла использоваться в качестве политического оружия. А этого можно добиться только одним способом: создать в Европе новый источник энергии». Столь ясное предупреждение, все значение которого мы можем оценить сегодня, возлагало тяжелую ответственность на тех, кто собирался препятствовать созданию Евратома.

Дебаты были серьезными, без парламентских страстей, результаты голосования — более благоприятными, чем мы надеялись. Независимые и депутаты от крестьян проголосовали за, рассчитывая на новые сферы сбыта, которые Общий рынок откроет для французского сельского хозяйства. То, что Мендес-Франс проголосовал против, меня не удивило. Ведь еще на предварительных дебатах, я услышал, как он сказал: «Франция не должна стать жертвой договора. Демократия отрекается от себя, уступая внутренней диктатуре, но также — делегируя свои полномочия внешней власти. Истинная Европа может быть создана только через возрождение Франции». Его позиция была поддержана частью радикалов. Голлисты, по призыву Трибуле, проголосовали «против Европы Жана Монне». При поддержке коммунистов и пужадистов оппозиция собрала только 239 голосов. Большинство в поддержку европейского решения составило 342 голоса.

Теперь наши взоры были обращены в сторону Италии, где дебаты начались в самый последний момент. 30 июля договоры были ратифицированы 311 голосами против 144, при 54 воздержавшихся. Демохристиане, либералы, республи-

канская партия, социалисты Сарагата образовали большинство. Социалисты Ненни, тогда не входившие в Комитет борьбы, проголосовали за Евратом, но воздержались при голосовании Общего рынка. Теперь присоединение других стран было делом нескольких месяцев: бельгийская Палата депутатов дала одобрение 19 ноября 174 голосами против четырех, люксембургский парламент — 26 ноября 46 голосами против 3. Процесс ратификации завершился в Нидерландах, где обе Палаты поддержали договоры подавляющим большинством голосов. Повсюду Сенаты согласились с голосованием Палат представителей. Таким образом, был достигнут широкий демократический консенсус. Все партии, представленные в Комитете борьбы, голосовали в соответствии со своими обязательствами.

Тем временем я со всей энергией, хотя и с переменным успехом, занимался разнообразными проблемами, от которых, по моему мнению, зависел успешный старт новых сообществ. Первой задачей был подбор людей. Не для того мы вели упорные сражения, чтобы передать учреждения в ненадежные руки. Эти учреждения по видимости были экономическими и техническими, но в действительности — политическими. Я написал Аденауэру и увиделся с Гайаром, новым премьер-министром, чтобы быть уверенным, что они назначат компетентных и решительных людей прежде всего на посты председателей, — поскольку по опыту знал, что далеко не всегда назначения делаются по деловым соображениям. На этот раз все было сделано правильно, и мы без труда сошлись на именах Хальштейна и Армана. Престиж Общего рынка и Евратома был обеспечен с самого начала, а назначение Маржолена, Рея и Маншо закрепило успех.

Со второй проблемой мне повезло меньше. Снова я сделал попытку доказать, что все учреждения Сообщества должны быть собраны в одном месте и что этому месту надо предоставить европейский статус. В 1952 году мне не удалось предотвратить разделение учреждений ЕОУС между Люксембургом и Страсбургом, что привело к явным практическим неудобствам. Насколько было бы лучше для Сообще-

ства, если бы у него была собственная столица, новый центр, выросший из европейской почвы и из глубины ее истории! Это было бы не только удобно, но имело бы символическое значение.

В ноябре члены Комитета согласились обратиться к своим правительствам с предложением: 1) собрать в одном месте учреждения Объединения угля и стали, Общего рынка и Евратома; 2) выделить для этих целей «Европейский округ», управляемый европейскими учреждениями; 3) выбрать для этого место, легко доступное для всех... Комитет не указывал ни на какое конкретное место, а я не только не высказывал никаких предпочтений, но даже не позволял себе их иметь. Моя позиция имела исключительно принципиальный характер, что не помешало другим заподозрить меня в преследовании локальных интересов. Дело окончательно запуталось в январе 1958 года, когда министры в принципе согласились с идеей единого местопребывания, но не могли договориться относительно выбора места. Расстроенные бельгийские члены на некоторое время вышли из Комитета и пытались меня опорочить. Но что я мог сделать, если Люксембург хотел, с одной стороны, сохранить учреждения ЕОУС, а с другой — боялся, по выражению Бека, нового европейского вторжения? Брюссель стал местом пребывания вновь создаваемых учреждений. Таким образом, разброс европейских институтов по разным городам и странам стал свершившимся фактом, с которым уже ничего нельзя было поделать. Я не жалею, что потратил столько времени, защищая Европейский округ. Когда строители вернуться, они извлекут эти планы и выберут место.

Начиная действовать, не следует задаваться вопросом: будет ли успех? Дискуссия может иметь место до принятия решения, а после него решимость и действие должны стать неразделимы. Когда Гайар, вспомнив о нашей совместной работе по стабилизации десять лет тому назад, обратился ко мне в декабре 1957 года с просьбой помочь ликвидировать финансовый дисбаланс и прежде всего дефицит во внешней торговле, я провел детальные консультации с Ба-

умгартнером, Маржолоном и Швейцером. Мы пришли к заключению, что потребуются серьезные усилия и немедленная помощь со стороны международных финансовых организаций и правительства Соединенных Штатов. Таковы были условия финансового оздоровления, необходимого, чтобы Франция могла вступить в Общий рынок. Гайар и его министр финансов Пфлимлен были людьми трезвыми и решительными. Никто не мог бы действовать лучше, чем они, в ситуации, которая уже вызывала общественное недоверие. Они получили в наследство инфляцию, бегство капиталов, дефицит платежей. Все это имело давнюю историю, но дальше продолжаться не могло. Необходимо было отвести угрозу, которая нависла над Францией и, следовательно, над Европой. Итак, я согласился отправиться в Соединенные Штаты в январе 1958 года просить о немедленной помощи, предварительно заручившись обещанием, что во Франции будет введен режим строгой экономии, без чего моя миссия не имела бы шансов на успех. Передо мной стояла чрезвычайно сложная задача, в решение которой я вложил значительную часть своего общественного авторитета. Но если она и завершилась неожиданным успехом — займом в шестьсот миллионов долларов, это не помешало тому, что через несколько месяцев IV Республика пала под ударом с другой стороны. Зато пришедший ей на смену режим был, по крайней мере, освобожден от перспективы финансового краха и получил время, чтобы восстановить к себе общественное доверие.

30 января, объявляя о результатах своей миссии в Вашингтоне, я сказал американцам: «Теперь, когда к вам будут приезжать французы, итальянцы, бельгийцы, нидерландцы, люксембуржцы, вы будете их встречать уже не только как представителей их собственной страны. Все вместе, они начали становиться — и будут продолжать становиться — тем, чем раньше были только в культурном отношении: представителями Европы». Если я все время возвращался к этой теме, то делал это потому, что этого требовал сам характер проблем: их уже нельзя было замкнуть в национальные рамки. Европа стала экономической реаль-

ностью, и эта реальность будет все больше и больше давать о себе знать посредством кризисов. В данный момент первой оказалась затронутой Франция, но пора было думать о введении регулирующих механизмов в масштабе Европы. В марте 1958 года я поделился с Гайаром своими соображениями: «Цель состоит в том, — писал я ему, — чтобы создать европейский финансовый и валютный рынок, с европейским банком и валютным резервом, с совместным использованием части национальных резервов, конвертированием европейских валют, свободным движением капиталов между странами Сообщества и, наконец, с общей финансовой политикой».

Не бывает преждевременных идей, но надо уметь выждать подходящий момент для их осуществления. Необходимость создания европейского Резервного Фонда дойдет до сознания высших государственных руководителей в 1972 году; четырнадцать лет Совет Европы принимал соответствующие резолюции и предлагал соответствующие планы. Эти планы, в изучении которых принимали участие Маржолен, Юри, Делуврие, Триффен, ложились на стол ответственных руководителей, которые откладывали их принятие, но не могли совсем их отбросить. В 1961 году проницательный обозреватель Пьер Друэн писал по этому поводу: «Опыт показывает, что большинство идей, выдвигаемых Комитетом борьбы, иногда подолгу пробивают себе дорогу, но всегда, в той или иной форме, становятся реальностью». Борьба за европейский Резервный Фонд — это только одна из многих инициатив Совета, предпринятых в первые годы его существования; мы старались расставить вехи на пути, по которому рано или поздно должны были пойти Сообщества, в силу собственной динамики или по воле правительств.

Сообщества взяли хороший старт, но Франция, которая в немалой степени этому способствовала, оказалась ввергнутой в национальную драму, которую государственные и общественные инстанции не смогли предотвратить. За несколько дней революционные потрясения в Алжире смели

режим IV Республики, ослабленный и конституционно не способный справиться с угрожающими событиями. Для правительств уход в отставку стал обычным способом реагировать на трудности и испытания силой. Возможность уклониться от слишком тяжелой ответственности сочеталась с постоянным риском оказаться в меньшинстве в Национальном собрании, которое, смещая одно правительство за другим, само не рисковало роспуском. Все это вело к тому, что правительственный кризис стал самым естественным и простым способом разрешения проблем, требовавших мужества, — способом, разумеется, мнимым.

Когда де Голль, взявший власть в июне 1958 года, предложил принять посредством референдума новую Конституцию, обеспечивающую устойчивость исполнительной власти, я увидел в этом благо для нашей страны не только потому, что этого требовала алжирская проблема, расколовшая Францию, но и потому, что без этого страна не могла успешно продолжать начатые преобразования как во внутренней, так и во внешней политике. Режим, потрясенный войной в Индокитае и не выдержавший угрозы отделения Северной Африки, мог бы вернуть себе авторитет исключительными успехами в модернизации страны и открытостью в отношениях с окружающим миром. Необходимо было обеспечить условия для таких успехов, и я решил голосовать за новую Конституцию. Причины своего решения я объяснил в статье, которую опубликовал «Le Monde» в начале кампании по референдуму:

«Референдум, в ходе которого каждый француз должен будет высказаться за или против новой Конституции, происходит в момент, когда страна готова к обновлению так, как не была готова на протяжении всех последних пятидесяти лет.

III Республика пала после разгрома 1940 года, в конце периода, когда Франция, обескровленная первой мировой войной, проявляла все признаки старения: население сокращалось, производители стремились укрыться под покровительством государства, производство не развивалось, французы потеряли веру в будущее.

Политическое банкротство IV Республики, напротив, застигло Францию на подъеме: ее жизнеспособность подтверждается ростом населения, стремлением производителей к расширению производства, индустриальной и сельскохозяйственной революцией, в ходе которой страна наверстывает отставание от промышленно развитых стран. Разрыв с прошлым ознаменован также примирением между Францией и Германией, началом новой, объединенной Европы, в рамках которой перед Францией и французами открываются новые перспективы.

Каждый гражданин, участвуя в референдуме, должен подумать, будет ли его голос способствовать вхождению Франции в современный мир — или тормозить такое вхождение.

Чтобы обеспечить движение к будущему, мы должны сегодня положить конец алжирскому кризису и восстановить устойчивость государственной власти. Эти два императива связаны между собой». Потом я подробно писал о том, как новая Конституция сможет обеспечить непрерывность в работе правительства.

Несколько лет спустя эта Конституция будет дополнена пунктом о выборах президента Республики всеобщим голосованием. И здесь я тоже голосовал за, поскольку такая мера была направлена на укрепление легитимности исполнительной власти. Такие условия облегчали принятие решений, необходимых для построения единой Европы. Власть должна стоять твердо, чтобы быть в состоянии делегировать свой суверенитет.

После того как были приняты разумные и смелые меры по упорядочению валютной системы, Франция почувствовала веру в себя и готовность преодолеть возникшие препятствия. Заслуга здесь принадлежит генералу де Голлю и его министру финансов Пинэ, у которого советником был Рюэфф. К тому же выяснилось, что мы преувеличивали трудности, связанные с вхождением Франции в Общий рынок. С ноября 1959 года Комитет стал призывать правительства ускорить прохождение этапов, предусмотренных договором: «С разных сторон раздаются голоса, требующие, чтобы переход-

ный период к Общему рынку был сокращен с двенадцати до десяти лет. Необходимо дать жизненное наполнение основным положениям договора, призывающим в общих выражениях к осуществлению совместных экономических мер в различных областях».

Надо было ускорить шаг, раз это было возможно, и сделать это не только для того, чтобы быстрее развивать обмен между нашими шестью странами и повышать жизненный уровень их населения, но и для того, чтобы поскорее наступил момент, когда Сообщество будет в состоянии расширяться и примером своего благосостояния привлекать к себе новые страны Европы и Африки. Тем самым будет приближено и время создания политической структуры. Эти две задачи станут главными в работе Комитета и в моей собственной деятельности.

Глава 17

Политическое объединение (1960–1962)

В сторону конфедерации

«В ближайшей перспективе, какой бы срочной ни была необходимость в политическом объединении и как бы ни были значительны уже достигнутые успехи, перескакивание через этапы не представляется возможным. Будущее политическое единство будет зависеть от того, насколько эффективно удастся осуществить экономическое объединение в повседневной работе в области промышленности, сельского хозяйства и администрации». Такой эмпирический подход был заявлен Советом в октябре 1958 года, и он соответствовал разумным принципам, на которых была основана декларация от 9 мая 1950 года.

В то время, когда Общий рынок еще не был открыт и совместная политика оставалась в области проектов, нужно ли было, как это делали некоторые, призывать к немедленному созданию федеративного устройства? Я так не думал, и члены Совета были со мной согласны. Мы полагали, что нужно продолжать движение по пути, который был тщательно продуман и теперь, наконец, широко открыт: «Только по мере усиления деятельности Сообществ будут укрепляться и расширяться связи между людьми, крепнуть зародившаяся между ними солидарность. Тогда сами жизненные реальности позволят поставить в повестку дня политическое объединение, к которому мы стремимся, — вплоть до создания Соединенных Штатов Европы».

Еще и сегодня мысли, выраженные в этой декларации, сохраняют все свое значение, и если нам случалось о них за-

бывать, события напоминали нам о них. Означает ли это, что следует дожидаться медленного укрепления солидарности и пустить дело на самотек? Конечно, нет, и текст 1958 года говорит о другом. *Сами жизненные реальности позволят поставить в повестку дня политическое объединение.* Смысл мысли ясен: политически единая Европа будет создана в соответствующее время людьми, опирающимися на жизненные реальности. То, что мы не раз ошибались, думая, что время пришло, — это особая история, в которой много недоразумений, но также и доброй воли. Люди, имевшие различные представления о будущем Европы, тянули ее в разные стороны, и это, с моей точки зрения, вело к большой потере времени и сил, но никоим образом не свидетельствовало против необходимости объединения. Просто философские подходы и политические методы были разными, но последнее слово, как всегда, оставалось за реальностями. И звучит это слово сегодня так же, как и в 1950 году: делегирование суверенитета и совместное осуществление этого делегированного суверенитета. Я не думаю, что за последние двадцать пять лет кто-нибудь придумал другой метод объединения Европы, хотя случаев уклониться от этого пути было сколько угодно.

Для меня же путь всегда был один. Но продолжительность путешествия не дана заранее. Построение Европы, как любая мирная революция, требует времени, чтобы убедить людей, чтобы подготовить к великим переменам и состояние умов, и материальные условия. Неизбежно возникают обстоятельства, которые сбивают календарные сроки. Но иногда появляется благоприятный случай: неужели надо его упускать только потому, что он представился слишком рано? Этот вопрос встал перед нами в 1950 году в связи с внезапным решением о германском перевооружении. Случай, который мог бы замедлить едва начавшуюся европейскую интеграцию, мы использовали, чтобы продвинуть ее вперед. Дело, как мы видели, велось не лучшим образом. Конечно, время для создания Европейского оборонительного сообщества еще не настало, но проект провалился главным образом из-за того, что его исполнение было растянуто на долгий срок.

В 1960 году случай неожиданно представился вновь, когда генерал де Голль выдвинул во время пресс-конференции 5 сентября следующее предложение: «Осуществление постоянного сотрудничества в Западной Европе рассматривается Францией как желательное, возможное и практически полезное в политической области, в экономической области, в культурной области и в области обороны». Система взаимодействия должна была включать в себя, по его словам, «регулярное согласование действий ответственных правительств», создание специализированных учреждений, подчиненных правительствам, Ассамблею, состоящую из представителей национальных парламентов, а также проведение «широкого европейского референдума».

Для меня важна была не столько сама система, которую можно было критиковать с разных сторон, сколько направление ума ее автора. Конечно, де Голль по-прежнему придерживался своих привычных идей, заявляя: «Каковы реальности Европы? Каковы те опоры, на которых ее можно построить? Воистину, такими опорами являются государства., единственные существенные образования, которые обладают правом приказывать и полномочиями, чтобы действовать...» Я не удивлялся, слыша, как он иронически отзывается о «некоторых организациях, более или менее экстранациональных». Главное для меня состояло в том, что он взял на себя дипломатическую инициативу и придал ей торжественное звучание. Каких бы оговорок ни требовало конкретное содержание его речей, не подлежало сомнению, что де Голль взял курс на возрождение Европы и связал с ним свой престиж. Нам оставалось извлечь максимальную пользу из новой ситуации, которая для меня лично не явилась такой уж неожиданностью. На основании дружеских бесед, которые я вел с Кув де Мюрвилем еще с алжирских времен, я догадывался, что приближается час большого европейского выяснения отношений. И я хотел, чтобы это выяснение не вылилось в ссору.

10 августа, опережая события, я разослал членам Комитета письмо следующего содержания: «Речь идет о том, чтобы создать политический орган власти на уровне руково-

дителей правительств шести стран Сообщества. Это, по моему мнению, могло бы означать большой шаг вперед. До сих пор наш Комитет поддерживал создание европейского экономического объединения и намеренно воздерживался от высказываний по вопросу о политической власти. Очевидно, нам следует обменяться мнениями, прежде чем определять позицию Комитета по этой важной проблеме». Надо сказать, что пресс-конференция 5 сентября не облегчала поиски согласия, к которому я стремился: она содержала некоторые малообнадёживающие суждения о европейских учреждениях, которые, по мысли де Голля, должны были быть полностью подчинены национальным правительствам. Как по форме, так и по содержанию эта пресс-конференция вызвала бурю в кругах, стремившихся к европейской интеграции. Однако я решил сосредоточить внимание на позитивных сдвигах, которые я обнаружил в заявлении де Голля по сравнению с прежними его установками.

На протяжении нескольких лет, пока де Голль находился в оппозиции, Европа была одной из главных тем его публичных выступлений на пресс-конференциях. И каждый раз он говорил о грандиозном проекте единой Европы от Атлантики до Урала, состоящей из расположенных рядом друг с другом суверенных государств. По сравнению с этим проектом Сообщество шести выглядело столь ничтожным, что он даже не снисходил до его критики, предоставляя это другим политикам, выступавшим от его имени. Но когда встал вопрос об Оборонительном сообществе, он направил против него свои стрелы, одновременно целясь и в меня. Это произошло в ноябре 1953 года: в своем полемическом выпаде он назвал меня «вдохновителем» того, что произошло в Лондоне в 1940 году, затем — в Алжире в 1943, и вот теперь, в связи с созданием европейской армии «апатридов», опять являюсь я «со своей вечной панацеей под названием — слияние».

Я считал своим долгом ответить, потому что достойные уважения моменты истории подвергались в этой речи осмеянию. «Предложения генерала де Голля, — сказал я, — основаны на устаревших представлениях. Они оставляют без внимания уроки самой недавней истории. Они полностью игно-

рируют опыт, который через целый ряд неудач доказывает, что европейские проблемы невозможно решить, если государства будут сохранять свой суверенитет в полном объеме». Как бы то ни было, титул «вдохновителя» закрепился за мной, и он мне не мешает. На том полемика и кончилась; она не испортила наши личные отношения, которые были хорошими в прошлом и могли оставаться такими же и дальше, на благо Европы.

И вот я уловил перемену в мыслях и интонациях человека, который был вновь обременен государственной ответственностью. Европейская дипломатия оживилась, и на протяжении 1960 года встречи министров иностранных дел и визиты глав государств следовали друг за другом. Однако недоверие вновь возникло после сентябрьского выступления, последствия которого надо было минимизировать. В отношениях между де Голлем и Аденауэром (которые были прекрасными) и между Францией и Германией (которые оставались хорошими) наступил холодок. Голландцы, итальянцы задавали вопросы французским дипломатам, которые их успокаивали: не могло быть и речи о том, чтобы затронуть существующие Сообщества. Что касается меня, то я старался убедить членов Комитета, что новые подходы во французской политике дают нам дополнительные возможности для достижения наших целей. Принужденный к неподвижности после операции колена, я начал диалог посредством писем, а Конштамм наносил визиты разным членам Комитета. Текст письма от 22 ноября 1960 года проливал новый свет на европейские дела, которые, по-видимому, вдруг приобрели мировое значение. Многие события, о которых я напомнил, показывали, что Общий рынок совершил прорыв на международную сцену. Перед лицом этого прорыва Англия создала «группу Семи», маленькую зону свободной торговли под названием ЕФТА*, а Соединенные Штаты вступили в Европейскую Организацию экономической кооперации в Мюэтте, OCDE**. Теперь Шес-

* European Free Trade Area — Европейская Ассоциация свободной торговли /ЕАСТ/.

** Organisation de coopération et de développement économiques.

терка должна была нести ответственность за межконтинентальные торговые отношения, что было следствием ее быстрых успехов. Возможность ускоренного прохождения этапов, предусмотренных Римским договором, служила ярким подтверждением динамизма Общего рынка. Опережающее понижение таможенных пошлин между странами Шестерки, немедленное установление общих тарифов в торговле с третьими странами укрепляли единство Сообщества и требовали общеевропейских экономических решений в разных областях — например в аграрной политике, которую французы особенно торопились увидеть в действии.

Три предложения могли обеспечить уравновешенный прогресс, хотя их и трудно было реализовать одновременно: развивать Сообщества, создавать политические структуры, добиться присоединения Великобритании. Там, где многие видели клубок противоречий, на самом деле действовали три взаимосвязанных необходимости. В течение ряда лет Комитет не переставал бороться за то, чтобы ни одна из этих целей не была принесена в жертву двум другим. Нельзя было допустить, чтобы успехи в политической области поставили под вопрос роль экономических Сообществ или оставили Великобританию за пределами европейского процесса. Но и присоединение Великобритании нельзя было покупать ценой отказа от уже полученных результатов или перспектив на достижение успехов в будущем.

Правительствам было сподручнее немедленно хватиться за одну из возможностей и пожертвовать другими. Как мы увидим далее, Франция охотно пошла бы на политический шаг, если бы он сопровождался отступлением в области общеевропейских учреждений, в то время как Нидерланды готовы были поступиться своими сверхнациональными принципами, чтобы заручиться присоединением Великобритании. Но я всегда был убежден, что построение Европы не может быть достигнуто путем межправительственных компромиссов, которые никогда не кончаются и никого не удовлетворяют. Поиски общего интереса требуют, чтобы каждый понимал позицию партнера и шел ему навстречу, но

это не значит, что надо заниматься выторговыванием условий. У нас был другой метод: сначала определить, что хорошо для всех стран, объединившихся в Сообщество, затем подсчитать, какие для этого потребуются усилия со стороны того или иного участника, не стремясь, как это делалось раньше, обязательно уравновесить вклад каждого.

Действовать в нескольких направлениях одновременно не означает, что везде нужно продвигаться в одинаковом темпе; главное, чтобы движение не прекращалось, так как становление Европы могло происходить только через действие. Я поделился своими соображениями с Аденауэром в письме от 21 ноября: «Больше всего в данный момент я опасюсь того, что мы остановимся в нашей работе по созданию Европы и начнем долго дискутировать по поводу вопросов, безусловно важных, но не обязательных для нашей деятельности. Разве решение вопроса о НАТО должно быть предварительным условием для интеграции Европы? Должна ли Англия как одна из сторон участвовать в политических дискуссиях? Предложения генерала де Голля относятся к «национальному» или к «сверхнациональному» сотрудничеству? Только двигаясь вперед, и прежде всего в политической области, мы сможем найти ответы. Я думаю, что некоторые предложения, которые вы обсуждали с генералом де Голлем, могут сослужить хорошую службу развитию Европы, а мы должны идти следом и помогать их конкретной реализации».

Через несколько недель Аденауэру предстояло участвовать в конференции Шести в Париже, и я пытался его убедить, что надо действовать, не дожидаясь, пока де Голль станет более благосклонно относиться к атлантическим и европейским проблемам. Надо было, чтобы еще до конца года Германия поддержала французские предложения относительно общей сельскохозяйственной политики. Чувствовал ли Аденауэр, как и я, что благоприятный момент не будет длиться вечно? Я писал ему: «То, что вы возглавляете Германию в то время, когда де Голль возглавляет Францию, дает нам *сегодня* такую возможность действовать, которая завтра может и не представиться».

Я не жалею о своих тогдашних надеждах, хотя события их и не подтвердили. Я всеми силами стремился к тому, чтобы идейное согласие двух выдающихся людей с богатым опытом, стремящихся к миру, пользующихся огромным авторитетом в своих странах, дало бы Сообществу новый стимул, исходя из франко-германского союза как своей главной опоры. Пусть бы этот союз был оформлен как торжественное и чрезвычайное событие, я бы ничего не имел против, если бы это послужило укреплению единства Европы. Пришло время определить контуры такого союза.

«Я думаю, — продолжал я в письме Аденауэру, — что частые и по возможности регулярные встречи между главами правительств с целью обсуждения совместной политики наших шести стран, а также встречи между министрами иностранных дел и министрами обороны, были бы полезны.

Временно, в нынешней ситуации и с учетом возникших политических проблем, межгосударственная кооперация является необходимым этапом. Она будет означать движение вперед, особенно если совокупность европейских учреждений, включая интегрированные сообщества и (хотя и отличающиеся от них) организации межгосударственной кооперации, будут включены в единый ансамбль — *европейскую конфедерацию*».

Я знал, что такой подход не получит согласия всех членов Комитета, что он покоробит некоторых из них, стремящихся к более амбициозному политическому проекту. Разве я сам не приучил их к мысли, что кооперация недостаточна, что наша цель — федерация? Большинство желало выборов европейской Ассамблеи всеобщим голосованием, но де Голль отвергал этот путь. Референдум, который предлагал де Голль, не был предусмотрен в некоторых конституциях и у многих членов Комитета вызывал плохие воспоминания. Наконец, де Голль, по-видимому, искал замену Атлантическому альянсу, который они считали основой безопасности Запада.

Розенберг, председатель немецких профсоюзов, излагал мне возражения этих членов Комитета: «Если речь идет всего лишь о регулярных конференциях министров, надо отказаться от слова «конфедерация» и не вводить людей в заблужде-

ние. Иногда лучше признать невозможность чего-либо, чем делать вид, будто мы чего-то добились, употребляя слово, не имеющее реального содержания». Я мог понять такую реакцию. Я и сам рассуждал бы так же, если бы не чувствовал, что пришло время вернуться к эмпиризму и что нужно было воспользоваться стечением обстоятельств, чтобы изменить психологический контекст. Я так объяснял свою позицию членам Комитета: «Что касается меня, то я не сомневаюсь, что когда-нибудь будет создана конфедерация, которая затем приведет к федерации. Но в данный момент возможно ли идти дальше? Не знаю. Конечно, конфедерация принесла бы величайшую пользу. Она дала бы почувствовать общественному мнению наших стран, что они стали частью некоего целого, не только экономического, но и политического, и значительно большего, чем каждая страна в отдельности».

Но в нынешних условиях нельзя было идти дальше, и я это знал из надежного источника. Уже в июле, в беседах с Кув де Мюрвилем, я предложил формулу конфедерации, исполнительным органом которой стал бы Верховный Совет глав правительств, во многих случаях принимающий решения по той же процедуре, что и учреждения Сообществ. И только получив информацию, что этот путь исключен в силу позиции французской стороны, я смирился с необходимостью ограничить наши первоначальные намерения, не отказываясь от того, чтобы затем, как только движение возобновится, вернуться к нашему плану, который отвечал ожиданиям Европы. Те, кто думал, будто нужно ждать лучших времен, не знали Германии 1960 года, колебаний ее политики и нетерпения общественного мнения. Аденауэр торопился закрепить ориентацию своего народа на Запад и откликнулся на мое письмо. «Вы добрый Эккехардт европейской идеи», — написал он мне в ответном послании. Признаюсь, мне пришлось заглянуть в словарь. Эккехардт — герой немецкой легенды, имя которого стало синонимом слова «служитель», то есть человек исключительной верности.

Процесс, конечно, начался, но его динамизм быстро заглох. И если история попыток политически объединить Ев-

ропу стала длинной чередой неудач, мне трудно было бы назвать всех, на ком лежит ответственность. Значительная ее часть лежит лично на генерале де Голле: своими заявлениями он вызвал недоумение и разочарование во Франции и в соседних странах. Но публичные раздоры не могут объяснить неудачу, они сами являются ее словесным продолжением. Неудача была предопределена с самого начала дебатов тем, как они велись. Никакая великая цель (если таковая имела) не успела оформиться: мы сразу же были вынуждены перейти к обороне и взаимным уступкам.

Де Голль пошел на серьезные уступки, которые нас очень обрадовали. Но мы не подозревали, что он возьмет их назад, как только решит, что Франции они уже не нужны. В данный момент ему приходилось налаживать отношения с голландским министром иностранных дел Лунсом и его бельгийским коллегой Виньи; оба подозревали его в том, что он хочет добиться господствующего положения в Европе, сначала для Франции, а затем, при содействии Аденауэра, — для вступивших в союз Франции и Германии. Действительно, казалось, что некоторыми своими выступлениями де Голль давал основания для таких подозрений, но я-то считал, что не следует терять ни секунды на разгадывание чьих-то скрытых мыслей. Что бы там ни говорили политики, действовать в соответствии с предполагаемыми намерениями вашего партнера — это самый верный способ попасть пальцем в небо. Я даже не знаю, была ли у Лунса и Виньи какая-то задача. Но уверен, что в то время ни у кого не было цели в масштабах Европы. Тогдашняя ситуация не давала выхода к конфедерации посредством решения руководителей шести государств. Вместо этого требовалось, чтобы комиссия высокопоставленных чиновников составила перечень существующих в данный момент возможностей.

Необходимость такого изменения курса обнаружилась не сразу. В начале февраля 1961 года на конференции в Париже была образована комиссия, которая стала носить имя ее французского председателя Фуше. Хотя она и не получила четкого мандата, сам факт ее создания показывал, что де Голль не возражал против обсуждения вопросов об укрепле-

нии европейских учреждений, присоединении Великобритании и сотрудничестве с Соединенными Штатами. Таким образом, возникла возможность продвинуть вперед решение этих трех вопросов, и я направил на это все свои усилия, не переставая наблюдать со стороны за работой межправительственной комиссии. В течение первого семестра 1961 года я совершил две поездки в Соединенные Штаты, чтобы получить информацию от многочисленных друзей, которые у меня были в новой администрации президента Кеннеди: Ачесона, Болла, Мак-Джорджа Банди, Шлезингера. Также у меня состоялась длительная беседа с президентом. Из нее я вынес убеждение, что перед Европой открывается исключительно благоприятная возможность установить, наконец, отношения равенства с Америкой. Потом я отправился в Лондон и мог констатировать, что среди руководителей консервативной партии происходит политическая эволюция и что, вне всякого сомнения, они вскоре присоединятся к процессам, идущим на континенте. Наконец, в Брюсселе я увидел, что комиссия Хальштейна работает успешно, заботясь о развитии бедных стран. Она могла бы также сделать первые шаги к созданию европейской валюты.

С учетом всех этих благоприятных обстоятельств политическое объединение Европы представлялось осуществимым и, более того, необходимым. 10 июля собрался наш Комитет, чтобы рассмотреть общую картину изменений, происходящих в мире, и решить, какие шаги следует предпринять. По поводу политического объединения Комитет высказался намеренно лаконично: дело в том, что через несколько дней, 18 июля, в Бонне должна была состояться встреча на высшем уровне шести стран. Она обещала быть конструктивной и действительно оказалась таковой, судя по опубликованному коммюнике: в нем содержались многочисленные положения в поддержку существующих Сообществ и Атлантического альянса. В нем говорилось также о «институционном закреплении начатого дела» и о расширении компетенции парламентской Ассамблеи. Наконец, высказывалось пожелание, «чтобы к европейским Сообществам присоединились другие европейские страны, согласные

принять на себя такие же обязательства и такую же ответственность».

Осторожные, но существенные положения коммюнике можно было рассматривать как недвусмысленный мандат, который руководители шести стран давали комиссии Фуше: «...Представить предложения о мерах, с помощью которых можно было бы незамедлительно придать статусный характер объединению наших народов». Однако трудно себе представить более запутанную ситуацию, чем та, которая сложилась в этой комиссии: ее члены, люди способные и добросовестные, были вынуждены выполнять противоречивые инструкции своих национальных правительств.

Какая сила помешала руководителям правительств договориться о проекте объединения государств, который отвечал бы запросам текущего момента, не ставил бы под вопрос завоевания прошлого и не перечеркивал бы надежды на будущее? Почему Франция захотела перенести на уровень межгосударственных отношений то, что уже приобрело общеевропейский статус, и тем поставила под сомнение дальнейший прогресс в этой области? Разумно ли было предполагать, что европейские учреждения, утратив свое значение, будут продолжать приносить Франции ту пользу, которую она из них извлекала? Не лучше ли было после трех лет успеха продолжать начатое? Мне хотелось думать, что в конце концов здравый смысл одержит верх. Был, по меньшей мере, один путь, казавшийся мне очевидным: пусть Европейский Совет, рассматривая экономические вопросы, применяет к своей работе те правила и процедуры европейских договоров, которые он сам обязался соблюдать. Но такая логика не устраивала голлистов, имевших свой, мне не понятный, замысел. Также я не мог взять в толк, почему голландцы и бельгийцы закрывали путь к политическому прогрессу Европы, когда на такой прогресс еще можно было надеяться. Если они думали таким путем помочь присоединению Британии, то это был плохой расчет. Англичане могли присоединиться (и будущее это подтвердило) только к процветающему и динамично развивающемуся Сообществу.

План Фуше исчез из повестки дня в апреле 1962 года, причем Аденауэр не сделал ничего, чтобы его спасти. Видимо, он больше не хотел оказывать давление на де Голля и оставил ему инициативу в европейской политике, которая теперь, на его взгляд, сводилась к поддержанию западной солидарности перед угрозой с Востока. Его вера в американскую поддержку пошла на убыль, и он вел себя так, как будто Франция дала ему твердые обещания относительно Берлина. Однако многие в его собственном партийном окружении смотрели на вещи иначе, и политическая изоляция Аденауэра становилась серьезной проблемой. Я по-прежнему думал, что нужно поскорее институционно закрепить и сделать нерасторжимой связь Германии с Западом — как того и хотел упрямый канцлер, — но с Западом, понимаемым как единая Европа, включающая в себя Англию и поддерживающая равные партнерские отношения с Соединенными Штатами. Такой проект шел дальше, чем планы Аденауэра, но они были его предварительным условием. Канцлер уже успел их в значительной степени реализовать и смог бы их завершить лучше, чем кто-либо другой.

Государственные руководители действительно хотели придать ускорение европейскому процессу, но все закончилось недоразумением, за которым последовал откат. 15 мая де Голль устроил пресс-конференцию, чтобы вынести всем порицание. Он изложил свою концепцию Европы, в которой по сути не было ничего нового. Но удивило намеренно прозвучавшее в его словах высокомерие. Именно оно привело к отставке самых верных его министров, членов МРП: Пфлимлена, Бюрона и Мориса Шуманна. Самое тяжелое оскорбление содержалось не в слове «воляпюк», к которому все прицепились, но в самом определении европейских Сообществ и в тех подозрениях, которые он высказал в отношении их строителей:

«Я думаю, что создание единства — дело Государств: только они обладают для этого силами, легитимностью и возможностью действовать. Я говорил и повторяю: нет и не может быть иной Европы, кроме как состоящей из Государств, разумеется, если не считать мифов, фикций и показухи...

Интегрированная, как теперь принято говорить, Европа, у которой не будет собственной политики, окажется под каблуком у того, кто такой политикой будет обладать. Может быть, и найдется такой «федератор», но он не будет европейцем. И может быть, именно это — иногда и в какой-то степени — вдохновляет некоторых сторонников интеграции Европы».

Комитет занимает позицию

Во всей этой запальчивой филиппике я выделил для себя слово «федератор», под которым, по всей видимости, понимались Соединенные Штаты. Эта карикатура на широкую инициативу, которая на протяжении двенадцати лет спланивала европейские народы, вызвала повсюду чувство оскорбленного достоинства, и Комитет решил реагировать без промедления. Хотя мы считали, что вступать в дебаты или, тем более, в полемику — не наша роль, нам показалось необходимым напомнить нашу концепцию европейского Сообщества. То, что она была столь странным образом искажена руководителем государства, означало, что нам нужно снова и снова объяснять смысл нашей борьбы и указывать на прогресс в деле объединения, плодами которого, часто даже не зная этого, каждодневно пользовались наши сограждане. Быть может, мы отнеслись без должного внимания к этой разъяснительной работе, тем более, что против нас велась широкая пропагандистская кампания. Быть может, мы должны были повторять одно и то же тысячу раз...

Вот что мы писали в заявлении Комитета от 26 июня 1962 года:

«Перспективы, которые открываются сегодня перед Европой, стали возможны потому, что европейские страны согласились рассматривать экономические проблемы не как национальные, а как имеющие для них общее значение. Чтобы их разрешать, они приняли решение действовать сообща.

После периода первоначальных поисков этот метод привел к установлению постоянного диалога между европейскими интеграционными органами, способными предлагать

решения общих проблем, и национальными правительствами, выражающими национальные точки зрения.

Этот метод является совершенно новым. Он не предполагает существования центрального европейского правительства. Но он приводит к совместным решениям, принимаемым Советом министров европейских стран. Решение общих проблем европейскому организму удастся находить в том числе и потому, что внутри него с успехом отменен принцип единогласия. Парламент и Суд придают конструкции завершенность.

Этот метод и есть подлинный «федератор» Европы».

Впервые общественному мнению был продемонстрирован глобальный подход к проблемам, которые вставшая на путь интеграции Европа должна была решить внутри себя и в своих отношениях с миром. Этот подход был выражен в следующих тезисах:

«Только экономическое и политическое объединение Европы, включая Англию, и установление равных партнерских отношений с Соединенными Штатами позволят консолидировать Запад и создать таким образом условия для мира между Востоком и Западом.

Вне этого трудного, возможно, медленного, но единственно возможного пути наши разрозненные страны обречены на злоклучения, на возрождение духа превосходства и на стремление к господству, которые вчера чуть не привели Европу к гибели, а сегодня могут стать причиной мировой катастрофы».

Таким образом, в момент, когда самые основы интеграции были поставлены под вопрос одним из лидеров Шестерки, когда даже простая кооперация между шестью странами сократилась до трех, а затем, после отказа Италии, и до двух, (в лице Франции и Германии), что уже напоминало классический двойственный союз, — в этот момент раздался голос людей, представлявших европейскую демократическую общественность и громко заявивших: «Новые конкретные шаги возможны и необходимы. Речь идет о присоединении Британии к европейскому Сообществу на тех же основаниях, что и шесть стран, и о заключении договора, предусматривающего

начало процесса политического объединения. Речь идет также об отношениях партнерства между объединенной Европой и Соединенными Штатами Америки, между двумя равными и одинаково мощными сторонами, каждая из которых несет свою часть общей ответственности за положение в мире».

Среди разочарования, царившего в 1962 году, эта программа удивила своим размахом. Все чувствовали горечь неудачи, но это была неудача межправительственной конференции, а не метода создания Европейского Сообщества, который сохранял вдохновляющую силу примера, даже если в одной области — политической — надо было пройти через этап простой межправительственной кооперации. Англия в течение года, прошедшего после ее просьбы о присоединении, вела с Шестеркой детальнейшие переговоры. И здесь тоже методика не всегда была на высоте и дело часто сводилось к торговле, но это не затрагивало коренной необходимости соглашения, которое должно было состояться рано или поздно. В Соединенных Штатах новая администрация демократической партии хотела видеть Европу объединенной и сильной, хотела иметь в ее лице надежного партнера, с которым можно было бы вести диалог и делить ответственность за положение в мире. Многие из тех, кому я все это объяснял, называли меня оптимистом. На что я отвечал: «Я не оптимист, я просто исполнен решимости».

В моей решимости я был не одинок, даже если обстоятельства были против меня и большинство людей считали мои надежды тщетными. Ни один член Комитета не сказал: «Я не буду следовать за вами». Ни один не отказался подписать тексты, в которых мы подтверждали нашу неизменную волю и веру. Все они действовали внутри своих профсоюзов, партий, парламентов, правительств, некоторые как члены этих правительств, чтобы осуществить несколько простых идей, ведущих к созданию единой Европы. Эти простые идеи требовали множества сложных действий, затрагивали интересы могущественных сил, влияли на судьбы людей, но это уже было дело общественной власти, ее административных структур и тех политических деятелей, которые, всту-

пив в Комитет, взяли на себя ответственность за проведение его линии. Каждый действовал в пределах своей сферы влияния, по это влияние, как бы велико оно ни было, в условиях нашей демократической системы должно считаться с инерцией вещей и людей; чтобы оно подействовало, нужно время. Противодействие пропорционально размаху перемен и становится необыкновенно сильным, когда речь идет о том, чтобы изменить традиционные формы власти, всегда бывшей национальной.

В борьбе за европейский суверенитет, основанный на слиянии государственных суверенитетов, нам было не миновать столкнуться с властями и административными структурами, отвечающими за существующий порядок и его поддерживающими. Функционеры из национальных администраций должны были получить очень четкие приказы, чтобы делегировать свои функции европейским учреждениям. А национальные правительства должны были принудить себя такие приказы отдать, уменьшая тем самым свою собственную способность принимать решения. «Поставьте себя на мое место», — говорили мне некоторые высокопоставленные чиновники, но я не хотел ставить себя на их место. Я находился на скрещении национальных интересов, куда обычно никому не приходит в голову себя поставить. И здесь ко мне присоединялись люди с воображением, которые выбрали политическое поприще потому, что верили: прогресс современных обществ невозможен без перемен. Вместе мы чувствовали себя достаточной силой, чтобы сдвинуть с места устоявшиеся структуры. Своим коллегам я говорил: «Когда вы вводите фермент перемен в статическую систему, вы никогда не знаете, как далеко пойдет движение. Будем действовать, но не будем торопиться».

За многие годы я научился лучше понимать людей, работавших со мной в Комитете и ставших моими друзьями. Некоторые были нетерпеливы, как, например, Малагоди, которому все время хотелось пришпорить Комитет. «Мы движемся слишком медленно», — говорил он, и я мог его понять. Мне также был близок энтузиазм Ла Мальфы, его кипучая

интеллектуальная активность. Итальянцам свойственно разнообразие характеров. Личность Румора придавала весомость его разумным советам. Твердая нравственная позиция Саргата заставляла со вниманием относиться к его примиряющим выступлениям. Нидерландцы показали себя положительными и полезными сотрудниками, они всегда оказывали мне тщательно продуманную поддержку. Альдерс, Бургер и Ромм с первых же дней проявляли постоянство и требовательность. Очень рассудительный, Ромм пользовался всеобщим уважением. Большой вклад вносили Лефевр, энергичный бельгийский государственный деятель, а также Ванден Бойнанц и Тиндеманс; Кул был профсоюзным деятелем, к мнению которого прислушивались. Я уже говорил о той роли, которую сыграли немецкие члены, бывшие в числе первых: Олленхауэр, Венер, Фрайтаг, Штретер, Розенберг. Нам еще предстоит увидеть, какую роль сыграют Брандт и Шмидт. Этих людей объединял общий горький опыт: все они были жертвами насилия и нетерпимости. Чтобы избежать преследований, некоторые из них решились на изгнание: Венер бежал в Швецию, Брандт — в Норвегию, Розенберг — в Англию. Там они познакомились с жизнью свободного мира. Все они ненавидели дух подавления.

Европейская интеграция, то есть объединение свободных народов континента, — это была их дорога надежды. Объединение собственной страны, о котором они, будучи немцами, конечно, мечтали, не являлось для них альтернативой Европейскому Сообществу, — совсем напротив. Присоединение Великобритании и дружба с Соединенными Штатами были для них необходимыми условиями укрепления демократии в Европе, ее безопасности и открытости по отношению к окружающему миру. Во всех этих вопросах мы были единодушны. И свою работу в Комитете они рассматривали как возможность наиболее ясно и эффективно выразить свое понимание мира. Среди немецких членов мне бы хотелось еще назвать фон Брентано, вплоть до своей кончины остававшегося верным и надежным другом, и Бирренбаха, активности которого Комитет многим обязан. Эти христианские демократы не стеснялись во вре-

мя наших собраний публично высказывать свою солидарность с социалистами, их противниками во внутренней политике. Венер вспоминал, как в 1956 году он вместе со своим коллегой из ХДС Кессингером обратился по моей просьбе к Ги Молле, подав пример двухпартийной политики, которая стала правилом как для немцев, так и для других участников Комитета.

Французскими членами Комитета были: Лекур, Пфлимлен, Пинэ, Плевен, Морис Фор, Дефер, Молле, Буладу, Декан, Бержерон, Ботро, позднее — д'Орнано и Жискард д'Эстен. Англичане вошли в Комитет в 1968 году. Все эти люди занимали очень важное место в демократическом механизме Западной Европы. Если имена некоторых из них были не очень известны широкой публике, это не значит, что они не пользовались влиянием внутри партийных аппаратов. Нечасто какое-либо дело привлекало на свою сторону такое количество защитников, хотя на авансцене в течение ряда лет больше всего суетились и шумели его противники. Во Франции противники явно преобладали, и здесь даже не могли себе представить, какой поддержкой пользовались директивы Комитета у наших соседей. Французы также недооценивали стойкость европейских учреждений, которыми авторитетно и мужественно руководили Хальштейн — в Общем рынке и Гирш — в Евратоме (после того как оттуда ушел Арман, не выдержавший перегрузок). Я был уверен, что, в конечном счете, такое сочетание сил на службе идей, которым принадлежало будущее, одержит верх над инертностью и попятными движениями истории.

В июне 1962 года все европейские великие стратеги искали, каждый для себя, наиболее выгодную оборонительную позицию. Их сложные расчеты меня не интересовали. Наступил момент, когда надо было развивать Сообщество и внутри, и вовне. Может быть, следовало выбрать средний путь, чтобы деблокировать движение к политическому объединению. Во всяком случае, мы показали, что такой путь существует. Но еще важнее было разомкнуть Европу на окружающий мир. И в первую очередь это касалось Великобритании. Об этом мы тоже заявили в нашей декларации:

«Вступление Англии в Европейское Сообщество на условиях равенства, предусмотренных Римским договором, укрепит единство Европы. Так будет достигнуто объединение двухсот сорока миллионов ее обитателей. Такое объединение позволит всем его участникам добиться ускоренного экономического развития. Присоединение Великобритании в момент, когда начинается политическое объединение Европы, усилит влияние Европы на мировые дела так, как это не смогли бы сделать порознь ни Англия, ни наши страны».

Несколько месяцев спустя я получил письмо от Венера: «Декларация от 26 июня 1962 года остается для меня политическим документом величайшей ценности. В этом году вы вдохнули в нас бодрость и желание действовать. За это я хотел бы выразить вам свою особую благодарность». И он добавлял: «Среди людей, с которыми вы имеете дело, я являюсь, наверное, одним из тех, кого вам труднее понять как по причине языка, так и по причине политических взглядов. Но я хочу, чтобы вы знали, что в моем лице вы приобрели признательного друга, стремящегося быть вашим идейным спутником». Непосредственное выражение чувств со стороны этого сильного, прошедшего через тяжелые испытания человека укрепило меня в уверенности, что мы находимся на правильном пути.

Глава 18

Великобритания и Сообщество (1961–1963)

Англия необходима Европе

В 1957 году я говорил, обращаясь к английскому конгрессу производителей хлопчатобумажных тканей, собравшемуся в Харрогейте: «Я помню, как в 1950 году я пытался убедить вас присоединиться к переговорам по плану Шумана. Но вы тогда, как и сейчас, считали, что для вас невозможно делегировать общеевропейским учреждениям право принимать решения, затрагивающие национальные интересы. Тогда мы поняли, что нам не удастся убедить вас с помощью слов. Нам известно, что вы уважаете факты, а не гипотезы». Это было буквальное повторение моей беседы со Стаффордом Криппсом семь лет тому назад. Может быть, уже наступил срок для той далекой встречи, которую мы с ним наметили тогда? Нет, история народов, за редкими исключениями, — это медленная эволюция. Великобритания пока сделала лишь несколько осторожных шагов к сближению с континентом, но ее притягивала к Сообществу та же сила, которая вела и само Сообщество к очевидному для всех успеху. Процесс начался, и теперь он мог только ускоряться. Завершится ли он через месяцы или через годы, мне было неизвестно. Когда вы уверены в результате, вы можете проявить терпение.

В своем выступлении я продолжал вспоминать о прошлом: «Моральное чувство говорило нам, что мы должны идти вперед. Так мы и поступили, и в соответствии с этим стали складываться и наши дальнейшие отношения. Мы поставили на ноги Объединение угля и стали. Когда мы при-

были в Люксембург, первая телеграмма, которую я получил, была от вашего правительства. Два года спустя вы подписали с Объединением соглашение об ассоциации. Почему? Потому что ЕОУС существовало и процветало. Теперь мы ставим на ноги Общий рынок и Евратом, а вы — Ассоциацию свободной торговли. Почему? Потому что новые сообщества становятся реальностью».

Была ли Ассоциация свободной торговли, предложенная за год до этого Макмилланом, шагом вперед или назад? Для меня это был знак того, что процесс идет. Великобритания тем самым признавала, что новые сообщества, за формированием которых она наблюдала со стороны (хотя и была с самого начала приглашена участвовать в них наравне с другими), не были пустыми проектами, как ей сначала показалось. Надеялась ли она растворить новые образования в некоем ансамбле, который находился бы под ее контролем? или хотела только ограничить последствия их деятельности и извлечь из них какую-то пользу для себя? — Я не ставил перед собой этих вопросов, которые чрезмерно волновали Шестерку. Лучшее, что она могла бы сделать перед лицом английской инициативы, — это ускорить свое собственное поступательное движение. И Комитет, выразив в октябре 1956 года свое удовлетворение британским предложением, воспользовался им, чтобы ускорить переговоры в Брюсселе о заключении договора Шести и — год спустя — чтобы подтолкнуть процесс его ратификации. Сообщества должны были сами позаботиться о себе перед лицом других структур с неясными очертаниями и исключительно коммерческими целями и уяснить себе возникающие в этой связи проблемы. «Страны Шестерки, — говорил я в Харрогейте, — не хотят воздвигать барьеры между народами. Это было бы отрицанием того, что мы уже сделали. Общий рынок обращен вовне, а не замкнут на себя. В числе шесть нет ничего магического. Двери перед Великобританией всегда были и остаются открытыми».

Но в тот момент задача англичан состояла не в том, чтобы войти в открытую дверь, а в том, чтобы накинуть на наши учреждения разветвленную сеть разнообразных тарифных ограничений. В течение 1958 года атмосфера накалялась.

Мы готовы были учитывать интересы третьей стороны, но при этом должны были сохранить единство Шестерки. В октябре 1958 года Комитет выступил с предупреждением: «Если ассоциация Англии и других стран с нашим Сообществом имеет очень большое значение, сохранение единства самого Сообщества не менее существенно». Конечно, среди членов Комитета были люди, которые по своим убеждениям и традициям являлись сторонниками свободной торговли на суше и на морях. Они испытывали глубокую привязанность к английской демократии, и это чувство будет проявляться у них в моменты кризисов. Однако все были согласны со мной, что единственный способ развивать торговые отношения с миром и укреплять связи с Великобританией состоит в том, чтобы крепить экономическое и политическое единство на континенте, которое позволит расширять торговлю и послужит привлечению других стран к Сообществу. В то время как ослаблять Общий рынок, ставить под сомнение его будущее означало, напротив, воссоздавать условия для экономического соперничества и возрождать борьбу за превосходство. Если кто-нибудь хотел, чтобы Англия снова стала стремиться к доминированию в Европе, отстаивая для себя особое положение, то для этого не было лучшего способа, чем отказаться от правил Сообщества и раствориться в эмпиризме Ассоциации свободной торговли.

Проблема стояла особенно остро в Германии, где дули ветры свободного плавания. У меня был об этом разговор с Эрхардом, занимавшим пост министра финансов. Его приверженность к свободной торговле грозила серьезно повлиять на политику его страны. «Это очень трудная проблема, — сказал он мне. — Стоит кому-нибудь в Германии начать критиковать тенденцию к протекционизму, и в странах Шестерки, особенно во Франции, его тут же обвинят в том, что он плохой европеец». — «Есть огромная разница, — ответил я, — между Сообществом, которое служит объединению народов, и Ассоциацией свободной торговли, которая является всего лишь коммерческим приспособлением. Наши учреждения вырабатывают общее видение, общую политику; Ассоциация

свободной торговли старается разрешать частные трудности, не пытаясь определить их место в перспективе совместных действий. Сообщество расширится и включит в себя Англию, но не поступаясь при этом принципом интеграции; если бы оно стало действовать иначе, оно перестало бы быть самим собой и интересоваться кого бы то ни было».

Но Эрхард продолжал гнуть свою линию, и я понял, насколько он пристрастен. «Если я критикую немецкую Конституцию, — сказал он, — никто не обвиняет меня в том, что я плохой немец. Но если я критикую Сообщество Шести во имя более широкого понимания Европы, мне тут же говорят, что я плохой европеец». — «Германия — это уже сложившаяся страна, со своим конституционным Судом, своим парламентом, своим правительством, и ваша критика, как бы серьезна она ни была, вписывается в твердые рамки. Конституция Сообщества Шести, напротив, является пока очень хрупкой, незавершенной. Критикуя ее, вы рискуете подорвать основы и опрокинуть все здание». Эрхард не был националистом. У него была своя концепция Европы, но на него можно было повлиять. И я почувствовал, что он прислушивается к моим аргументам, с помощью которых я доказывал, что Сообщество должно быть одновременно прочным и открытым по отношению к окружающему миру.

«Никто больше меня не хочет вступления Англии в Европу, — говорил я Эрхарду. — Но она никогда не вступит, если ей будут сделаны слишком большие уступки в начале». Говоря так, я не имел в виду какой-то тактический расчет, но выражал твердое убеждение, сложившееся у меня в результате многочисленных переговоров с англичанами. Особенности их национального характера побуждают их искать в отношениях с другими особую позицию, которая избавила бы их от необходимости меняться. Именно в этом, как мы уже видели, был корень разногласий в 1950 году по поводу плана Шумана, когда они отказались участвовать в Парижской конференции на тех же основаниях и с теми же обязательствами, что и другие страны. Если бы мы проявили слабость (и большинство англичан теперь сами это признают), то не было бы вообще никакого плана Шумана. «Теперь, когда вы ста-

ли реальностью, мы будем иметь с вами дело». Эту фразу сэра Роджера Мейкинса, произнесенную два года спустя, я хорошо запомнил. Так почему же теперь, когда успех Сообщества закрепился, мы должны были занимать иную позицию? Мы начали процесс перемен, в результате которых наши народы входили в ритм современного развития. Если англичане еще не созрели для таких перемен, неужели они снова окажутся вне этого процесса, который мы считали полезным для нас? Я не мог согласиться с подобным предположением: просто невозможно себе представить, чтобы великая нация осталась бы вне общемирового развития. Вскоре англичане сами это поймут, а мы должны были помочь им сделать такой шаг — и самим к нему подготовиться.

Однако формы, в которых начались переговоры, не способствовали сближению. Когда состоялся мой разговор с Эрхардом, никто уже не верил в Ассоциацию свободной торговли, однако новые проекты, выдвинутые Лондоном, были не лучше. На своем собрании в мае 1959 года Комитет принял заявление: «Возникшие трудности будет невозможно преодолеть, если постепенно чувство доверия не придет на смену враждебности, порожденной, к несчастью, полемикой вокруг Ассоциации свободной торговли, если процедуры новых переговоров не будут направлены на упрощение проблем, вместо того, чтобы их усложнять». Но потребуются годы, чтобы изменить то, что принято называть «подходом» к вещам: этот «подход», как свидетельствует мой опыт, иногда имеет большее значение, больший вес, чем сами вещи. Традиционная дипломатия имеет тенденцию сразу превращать проблемы в застывшие и противостоящие друг другу позиции, как в шахматной партии. И переговоры, в которые Англия стремилась вовлечь порознь европейские страны, не могли дать ничего, кроме временного решения, зависящего от не поддающегося учету воздействия различных факторов. Конфронтации было суждено продолжаться еще десять лет, пока игроки не поняли, что эту партию нельзя выиграть в одностороннем порядке, что выиграть ее можно только всем вместе. Кроме того, нам уже тогда было ясно, что проблема Европы и Великобритании требует глобального подхода: речь шла не о том, чтобы защи-

щать ту или иную продукцию или сохранять те или иные имперские амбиции, а о том, чтобы организовать взаимодействия между различными составляющими западного мира.

Европа нуждается в Англии, вся западная цивилизация немыслима без вклада английского народа. Мой первый контакт с Лондоном относится к 1905 году, и с тех пор я приезжал туда каждый год по несколько раз. Я пережил там тяжелые часы во время двух войн. Я знал Сити в эпоху его несравненной славы и могущества. Я восхищался устойчивостью Британской империи, а затем такое же восхищение вызвал у меня организованный уход англичан из колоний. Я видел, как на протяжении двух третей века уменьшалась роль Великобритании, но я не видел никакого упадка. Если у меня спросят: «Что же осталось сегодня от этой удивительной Англии?», я отвечу: «Остался английский народ». Этот народ не выпал из истории. Временные трудности могли уменьшить его вклад, но, когда эти трудности пройдут, мы убедимся, что его творческие возможности, воспитанные веками, не отошли в прошлое.

Из всего, чем англичане обогатили цивилизацию, две вещи представляются мне особенно важными: уважение к свободе и функционирование демократических институтов. Чем было бы наше общество без *habeas corpus* и без системы парламентского контроля за исполнительной властью? Но эти принципы недостаточно изобрести, надо еще, чтобы они вошли в повседневную практику. В этом отношении Англия и страны континента, живущие по единым демократическим нормам, могут многому друг у друга научиться. Англичане лучше разбираются в институтах и лучше умеют ими пользоваться, чем жители континента, которые считают, что всеми делами руководят люди. Конечно, люди — это очень важно, но без институтов они не создадут ничего великого и долговечного, и англичане это поняли уже давно. Вот почему я, в отличие от многих, не опасался, что вступление Великобритании помешает функционированию Сообщества. «Они хотят чтобы дела шли, — объяснял я, — и когда они увидят, что Европа идет вперед благодаря своим учреждениям, они станут горячими защитниками европейских институтов, в осо-

бенности — парламентских». Конечно, у европейцев тоже есть парламенты, но никто не знает, насколько эти институты вошли у них в плоть и кровь. В Америке я познакомился с одним старым человеком, который говорил мне: «Вы думаете, что постигли какую-то вещь умом, но по-настоящему вы ее поймете, когда почувствуете, что она проникла в вас до мозга костей». Уважение к парламентским процедурам проникла в британского гражданина до мозга костей.

Я прекрасно понимал, что процесс сближения требует времени, и потому не стал бы составлять календарный план необходимых мероприятий. Важно было положить начало, сделать так, чтобы англичане получили возможность наблюдать за делами Сообщества изнутри. Глядя на нас с расстояния, они утверждались в иллюзорном чувстве собственного величия. Им не довелось пережить шок оккупации, они не были побеждены, их государственный аппарат казался незыблемым. Парадоксальным образом им не хватало именно этого: почувствовать свою гордость сломленной, увидеть свои заводы разрушенными. Все жители континентальной Европы прошли через опыт поражения, вынуждены были подвести баланс своим моральным и материальным потерям, строить свою жизнь заново и заново искать свое место в мире. Все большее и большее число британских руководителей осознавали значение наших усилий и видели, что их страна в одиночку не сможет осуществить необходимую ей мутацию. Они начинали прислушиваться к словам Дина Ачесона: «Англия потеряла империю и не нашла для себя новой роли». Из этого следовало, что Соединенные Штаты не собирались делить с Англией свою новую роль. Англичане должны были сами искать свое место в мире, а для этого — нагонять ушедшую вперед Европу. Им предстояло измениться самим и изменить Европу, которой они принесли бы свои ресурсы, свою изобретательность, свое глобальное видение и умение управлять. Ради такого вклада страны Шестерки должны были согласиться на некоторые нарушения в установившейся между ними за последние десять лет уравновешенной системе отношений.

Некоторые заранее страшились возможных пертурбаций, и в мае 1961 года я прочел, что сам фон Brentано, в качестве министра иностранных дел в боннском правительстве, публично высказался за поиск среднего пути между вступлением Англии в Сообщество и ассоциацией с ней. Я тут же послал ему письмо: «На основании имеющейся у меня информации из заслуживающих доверия источников я уверен, что мы находимся накануне английского решения о вступлении в Общий рынок и другие европейские организации. Кроме того, я уверен, что, войдя в Общий рынок и в европейскую конструкцию, англичане будут действовать как надежные партнеры, но при одном непременном условии, на которое я и хочу указать в этом письме: не должно быть никаких исключений из общих правил, — иначе возникнет расхождение интересов между Англией и другими членами Сообщества».

Информация, полученная мной от друзей в Лондоне, была настолько надежной, что я счел нужным созвать Комитет в Париже 10 июля, чтобы подготовить благоприятную реакцию партий и профсоюзов на просьбу Англии о вступлении и подтвердить важнейшие условия такого вступления, сформулированные мной в письме к фон Brentано. В заявлении, принятом на заседании Комитета, говорилось: «Опыт показывает, что проблемы, некогда разделявшие народы, в Сообществе становятся их общими проблемами и позволяют приходить к решениям, которые обязательно учитывают частные интересы стран-членов в рамках общей заинтересованности. Поэтому вступление Англии в экономическое и политическое объединение европейских стран вполне возможно, но только на общих основаниях с другими странами-членами, с теми же правами и обязанностями».

Этот пункт имел чрезвычайное значение. У англичан репутация трудных партнеров; они таковыми и являются, если ведут переговоры в собственных интересах и в своей манере. Но они надежные союзники, когда сидят с вами по одну сторону стола. Тогда вы можете быть уверены: они сделают все, чтобы двинуть дело вперед. Вот почему было так важно, чтобы, присоединяясь к шести странам, они приняли все действующие между ними правила. Это условие, разумеется, не

исключало рассмотрения специфически британских проблем, как раньше учитывались такие же проблемы французов или немцев. Предоставляя место Англии, важно было следовать правильной методике. Моя позиция была ясно сформулирована еще во время первых шагов плана Шумана: сначала договариваемся о целях, затем — обо всем остальном... То, что дипломатам казалось парадоксом, для меня было в порядке вещей. Мало шансов достичь общей договоренности, если начинать со споров по частным вопросам. Напротив, и детали становятся на свои места, и частные проблемы легче находят свое решение, когда достигнуто общее соглашение. «Технические вопросы, связанные со вступлением Англии, должны решаться внутри Общего рынка, в соответствии с процедурами Общего рынка», — именно такой подход казался мне разумным. Он опирался на доверие к уже существующим европейским институтам. Все дело было в доверии. В 1950 году англичане не доверяли ни той цели, ни тем методам, которые мы им предлагали. Согласятся ли они на этот раз обсуждать свои проблемы как общие проблемы и решать их с помощью инструментов, которые имелись у Сообщества и были предназначены как раз для этого? Я надеялся, что они извлекли уроки из опыта и что пример европейских институтов в Брюсселе является для них убедительным.

30 июля 1961 года я принял английского эmissара, приехавшего сообщить мне от имени министра юстиции лорда Эдварда Хита, что Великобритания готова объявить о своем вступлении в Сообщество. В переданном мне послании говорилось: «Мы уверены, что наше решение будет с удовлетворением принято господином Монне. Оно не легко далось правительству Объединенного Королевства. Мы весьма признательны господину Монне за усилия, которые он приложил, чтобы открыть перед нами двери, и мы знаем, что можем рассчитывать на его помощь в преодолении многочисленных трудностей, все еще стоящих на нашем пути».

Я передал с эmissаром следующий ответ: «Могу вас заверить, что сделаю все, что в моих силах, чтобы облегчить вступление Великобритании в европейское объединение, имеющее как экономический, так и политический характер, и

способствовать преодолению трудностей, связанных с Общим рынком. Я надеюсь, верю и считаю очень важным, чтобы соглашения, о которых вы упоминаете, были достигнуты как можно скорее. Самое трудное — принять решение. И английское правительство такое решение приняло». На следующий день Макмиллан заявил в палате общин: «Правительство Ее Величества, после долгого рассмотрения, пришло к заключению, что для Великобритании будет полезным, в соответствии со статьей 237 договора, обратиться с официальной просьбой об открытии переговоров на предмет вступления в Сообщество, при условии что будут приняты необходимые положения, отвечающие особым потребностям Объединенного Королевства, Британского содружества и европейской Ассоциации свободной торговли».

Я не придавал особого значения двусмысленности этой формулировки, зная, что Макмиллан должен был успокоить членов своего парламента. Важно было, что он искренне хотел довести дело до конца, и я был уверен, что он не принял бы такого решения без серьезных оснований. И одной из весомых побудительных причин был совет, полученный им в Соединенных Штатах от Кеннеди в апреле 1961 года. Я встречался с Кеннеди за несколько недель до того и имел возможность удостовериться, что президент, не без влияния своего государственного секретаря Джорджа Болла, пришел к убеждению, что Англии следует вступить в Европейское Сообщество.

Я поделился своими впечатлениями с Аденауэром: «Вашингтон думает, что Англия должна была бы войти в Общий рынок и в Европу на таких же основаниях, как Франция и Германия, — как страна-участник, а не как ассоциированный член. Но, конечно, это решение Англия должна принять сама. С другой стороны, в результате моих контактов в Лондоне, я убедился, что недалек день, когда английские руководители примут решение по этому вопросу; они начинают отдавать себе отчет, что их «особые отношения» с Соединенными Штатами продлятся уже недолго. Наступает период общих решений и создания «широких ансамблей», чему Европейское Сообщество подает пример». Речь, таким образом, шла не о тактическом маневре Мак-

миллана, а о продуманном решении — поменять курс и двигаться в сторону континента. Этот выбор стал еще более отчетливым, когда Макмиллан послал в Брюссель для ведения переговоров Эдварда Хита.

Способности Хита и его энергия обеспечили ему руководящие должности в консервативной партии. Я особенно уважал его за человеческие качества и верность своим убеждениям. С 1950 года он был сторонником строительства Европы и своей позиции не менял. Я не сомневался, что он приложит все усилия, чтобы переговоры прошли успешно, но сможет ли он сразу найти правильный подход? — Это был главный вопрос, которым мне предстояло заняться. В переговорах предстояло затронуть множество технических вопросов с привлечением сотен экспертов. Свою задачу я видел в том, чтобы технические аспекты и эксперты занимали на переговорах свое, подчиненное, место и не мешали главному, политическому, решению, которое могло быть принято в короткий срок.

1 августа я заявил, выступая по радио: «Переговоры надо вести быстро, чтобы не возникло путаницы. Было бы неправильно стремиться сделать переговоры всеохватывающими. Нельзя позволять, чтобы нас обескуражило обилие материальных проблем — их разрешить не так уж трудно. Самое главное — суметь увидеть проблемы в перспективе создаваемого будущего, а не с точки зрения сохраняемого настоящего. Английское правительство приняло основополагающее решение, — и это имеет историческое значение».

Что материальные проблемы поддаются решению, если их поставить в общий контекст, это я знал по опыту. Но в этом еще надо было убедить стороны, ведущие переговоры. Я должен был погрузиться в технику обмена сырьевыми и сельскохозяйственными продуктами внутри Британского Содружества, потому что здесь таились серьезные препятствия для сближения экономик Британии и стран Шестерки. Однако сумели же страны Шестерки преодолеть не меньшие трудности, обсуждая статьи договоров и особенно — проводя их в жизнь в течение последних четырех лет. В этой работе, требовавшей ясного и четкого подхода, участвовали те же

люди, которые теперь, на моих глазах, погрязали в бесконечных хитросплетениях на Брюссельской конференции. Какая-то особая вязкость, свойственная международным переговорам, лишала ясности взгляда таких проницательных людей, как Хит, его блестящий ассистент Эрик Ролл и сидящие с ними за одним столом Кув де Мюрвиль, Клапье, Хальштейн, Жан Рей и молодой Жан-Франсуа Данио.

Я не переставал им повторять, что через трудности, на которых они застревают, надо решительно перескочить, чтобы потом рассмотреть их все сразу. В отдельности каждый из участников переговоров соглашался со мной, но стоило им оказаться всем вместе за одним столом, как снова начиналась мелочная борьба за тот или иной пункт, то или иное преимущество. Чтобы придти им на помощь в решении запутанных технических вопросов, Комитет обратился в свой центр документации (его финансировал фонд Форда) и в Центр европейских исследований в Лозанне, которым руководил мой друг Анри Рибан. Эти два учреждения представили экспертные исследования, из которых вытекали простые и ясные выводы.

Во всех этих работах мне тогда очень помогал Франсуа Дюшен. В 1952 году я заметил публиковавшиеся в «Manchester Guardian» прекрасные статьи, посвященные Франции, и захотел познакомиться с их автором. Им оказался на удивление молодой человек, веселый, с живой фантазией. Я оценил его культуру и блеск ума. Он согласился поступить на работу в пресс-службу Верховного органа, где для него, как английского подданного, сделали исключение. Дюшен продолжал блестящую журналистскую карьеру в журнале «Economist», потом, после трех лет работы в Комитете борьбы, стал директором Института стратегических исследований в Лондоне. Вместе с ним, с его другом Ричардом Мейном, Конштаммом, Юри, Маржоленом и многими другими мы в течение восемнадцати месяцев старались продвинуть вперед переговоры, принявшие затяжной характер. Я много раз совершал поездки в Лондон и Брюссель, в ходе которых завязал дружбу с Хитом. Он прислушивался к моим советам, но теперь уже никто не был хозяином игры, ко-

торая шла своим чередом к некоему весьма проблематичному завершению. Иногда им казалось, что они достигли желаемого результата (так было в вопросах, связанных с Британским Содружеством), и тогда они поздравляли друг друга с тем, что выбрали именно такой, самый трудный путь. Но именно поэтому начинали тут же повышать требования, и работа снова стопорилась.

Первая кандидатура, первое вето

Конференция приближалась к завершению, но каждый мыслил его себе по-своему. Комиссии казалось, что найдена почва для соглашения, англичане считали, что вот-вот добьются успеха, а французы подумывали о том, чтобы покинуть стол переговоров. Комитет на своем собрании 18 декабря 1962 года сделал последнюю попытку добиться согласия, вновь обратив внимание всех участников переговоров на значение метода. Нет ничего удивительного, что вопрос о методе возникал вновь и вновь: ситуация повторялась — приходилось повторять одни и те же рекомендации, продиктованные здравым смыслом; но проходило время, к следующему разу они забывались, и надо было снова о них напоминать. Отсюда, опять-таки, вытекает необходимость институтов, которые сохраняли бы кадры и закрепляли правила, чтобы восполнять прерывистость индивидуального опыта непрерывностью коллективной памяти.

«Вследствие условий, в которых ведутся переговоры, — говорилось в заявлении Комитета, — правительства шести государств и Великобритании пришли к тому, что перепутали общую установку, от которой зависит исход переговоров, с дискуссиями по второстепенным, хотя и важным, вопросам технического исполнения. Сегодня речь идет не о том, чтобы выставлять все новые национальные требования, а о том, чтобы подходить к проблемам с общих позиций и шаг за шагом соединять национальные интересы в общий европейский экономический интерес, подчиняясь единым правилам и единым учреждениям. Сегодня время — важный элемент успеха переговоров с Великобританией». Но в тот же день состоя-

лась встреча между Макмилланом и Кеннеди на Багамах, где они приняли стратегические решения, имевшие серьезные последствия. Англичане отказывались от проекта производства дорогостоящих ракет Скайболт, запускаемых с самолетов, и получали от американцев ракеты Поларис, запускаемые с подводных лодок. Такое же предложение Кеннеди сделал и французам.

Это предложение Франция немедленно отвергла. Де Голль полагал, что у Франции и Англии разные задачи в области обороны и потому каждая страна в этой жизненно важной области должна идти своим путем. Из этого де Голль сделал вывод: Англии не место в Европе. И он публично заявил об этом на одной из самых громких своих пресс-конференций 14 января 1963 года. И по содержанию, и по форме она означала поворот в отношениях между Францией и другими странами Запада. «В настоящее время, — заявил де Голль, — мы не можем сказать, что противоречия между нами разрешены. Будут ли они разрешены когда-нибудь?.. Возможно, в один прекрасный день Англия сможет измениться настолько, чтобы стать членом Европейского Сообщества без оговорок, без ограничений и без каких-либо иных предпочтений. В этом случае страны Шестерки откроют перед ней двери, и Франция не будет чинить никаких препятствий...»

В один прекрасный день... Это значит — не завтра. Так вступление Англии оказалось отодвинутым в неопределенное будущее, и это было сделано в тоне простой констатации факта. Не обращая внимания на реальное положение вещей, генерал де Голль, силой своего авторитета, заявил о неудаче переговоров. Эта пресс-конференция от 14 января шокировала мировое общественное мнение, которое не могло понять, как это одна страна внезапно и в одностороннем порядке решает прервать переговоры, которые велись несколькими странами на протяжении более чем года. Можно возразить, что они тянулись слишком долго. Но как раз сейчас, после периода топтания на месте, приближался решающий момент. Он мог принести успех или разочарование, но менее всего мы могли ожидать, что он вообще не состоится.

Первое, что я подумал: Европа не должна соглашаться с тем, что ее ставят перед свершившимся фактом. Ни один факт не является свершившимся, пока вы с ним не примиритесь. И я сделал заявление для прессы:

«Что бы ни говорил генерал де Голль, переговоры между Англией и Общим рынком могли бы завершиться в ближайшее время. Англия уже согласилась с Римским договором, в частности, с его правилом решения вопросов большинством голосов. Она заявила о своей готовности присоединиться к Сообществу на тех же основаниях, что и другие члены, то есть не требуя для себя никаких преимуществ. Она согласилась на введение единых тарифных ставок. В областях, о которых уже состоялись углубленные дискуссии, она отказалась от всех преференций в пользу стран членов Британского Содружества. Наконец, она больше не требует, чтобы ее сельское хозяйство находилось в привилегированном положении.

Таким образом, почти все принципиальные вопросы урегулированы... Невозможно себе представить, чтобы переговоры могли провалиться из-за вопросов, имеющих второстепенное значение сравнительно с целью объединения Запада».

Но в последующие дни стало ясно, что Франция твердо решила прервать переговоры, и 28 января Кув де Мюрвиль сообщил об этом своим коллегам в Брюсселе. В тот же день я заявил, выступая по радио: «Срыв переговоров в Брюсселе — событие чрезвычайно серьезное... Имелась возможность быстро урегулировать еще не решенные вопросы между Шестеркой и Великобританией... Теперь взаимное доверие, необходимое для всякого соглашения, поколеблено. Вместо единой Европы, включающей Англию и поддерживающей равноправные партнерские отношения с Соединенными Штатами, — что необходимо для поддержания мира между Востоком и Западом, — возникает разъединение со всеми вытекающими отсюда опасностями. В этот час испытаний я думаю о 1954 году. Тогда, как и сейчас, процесс объединения Европы был на время остановлен, однако потребность в единстве в конце концов помогла преодолеть все препятствия. Так будет и на этот раз».

Надежда не могла смягчить остроту разочарования. Европе пришлось долго залечивать эту рану: даже изгладившись из памяти народов, она оставалась в их подсознании, неоднократно вызывая рефлекс недоверия. В тот момент выявились разные позиции, в том числе и самые крайние: одни были готовы поставить крест на процессе объединения Европы, другие заговорили о том, чтобы продолжать этот процесс без Франции. Как всегда, самое трудное было предложить и отстоять позитивный подход, при котором не было бы ни победителей, ни побежденных. «Конечно, — говорил я своим друзьям, — исключение Англии временно ослабило Сообщество, но Сообщество должно сохраниться, если мы хотим со временем вновь перейти в наступление и победить. Однако сохраниться для стран Шестерки значит — идти вперед вместе». Вскоре все страны, а не только Франция, убедились, что они заинтересованы в общем развитии; Великобритания, после резкого попятного движения, возобновила медленное сближение с Европой.

В июле я заявил в интервью одному английскому журналисту: «В настоящее время в Великобритании происходит психологическая эволюция; она началась еще до того, как переговоры были прерваны. Крупные промышленники начали процесс адаптации заранее, чтобы быть готовыми к моменту вступления их страны в Сообщество. Такая адаптация продолжается, и я думаю, что этот процесс со временем приведет к возобновлению переговоров со стороны Великобритании. Надо понять, что Общий рынок — это инструмент преобразований не только экономических, но также и психологических».

К сожалению, именно психологической готовности не хватило людям, которые вели переговоры старыми методами, тогда как речь шла о проблемах, не имевших прецедентов. Об этом следовало вспомнить, когда придет время возобновлять переговоры. Только практика жизни в Сообществе позволит англичанам изменить свои подходы. Вот почему никто не имел права решать, готовы ли они для вступления в Европу: они бы созревали для этого по мере участия в учреждениях, где день за днем вырабатывается общая точка зрения. То, что

они надеялись в результате предварительных переговоров, до своего вступления, приспособиться к этой точке зрения или даже повлиять на нее, было их серьезной ошибкой. Поэтому, не оправдывая резкость, с которой Франция прервала переговоры (фактически она применила право вето), я не склонен взвешивать меру ответственности той и другой стороны. Неудача одной серии переговоров не перечеркивала необходимости для Европы быть открытой навстречу миру. И Соединенные Штаты уже рассматривали Европу, включающую Великобританию, как своего равного партнера в западной части старого континента. Филадельфийская декларация от 4 июля 1964 года была, в моих глазах, историческим актом, придавшим Сообществу его подлинное значение, а нашей борьбе — полное оправдание.

«Мы вступили в период, требующий терпения, — писал я в феврале 1963 года, обращаясь к тем, кто сомневался в возможности продолжать нашу деятельность. — Ничего не отменилось, но все замедлилось. Важнее всего — сохранить ясное понимание цели, к которой мы стремимся, не утратить то, чего мы уже достигли, и по мере возможности продвигаться вперед. Наша задача — укреплять мир между Востоком и Западом, это главная цель наших усилий... Чтобы ее достичь, нужно установить согласие между западной и восточной цивилизациями, их методами ведения общественных дел, — согласие, требующее взаимопонимания и терпимости. Комитет борьбы полагает, что возможно мирное сосуществование между нашим образом жизни и образом жизни коммунистических стран. Для этого Запад должен стремиться к сплочению своих стран в единую цивилизацию, а не предаваться архаическим и утопическим мечтам о единой Европе от Атлантики до Урала...

Мы испытываем сейчас сомнения и неуверенность относительно международной политики, которой должны следовать наши страны. Как в личной, так и в общественной жизни нет ничего хуже неуверенности. Люди хотят знать, в каком направлении их хотят вести их правительства. Наступило время рассеять туман, который окружает нас со времени пресс-конференции генерала де Голля».

Время терпения — это не время бездействия. Если расширение Сообщества было на какой-то момент прервано, сплочение Запада не могло быть отложено. Англия со временем займет свое естественное место в общем европейском процессе, который теперь необходимо было продолжать на возможно более широком фронте. Воздействие Общего рынка ощущалось во всем мире — разве это не свидетельствовало о его силе? У Англии уже не было возможностей противостоять этой силе, она должна будет в нее интегрироваться. И Соединенные Штаты, которых такая перспектива привлекала и тревожила (в зависимости от того, думали ли они об общих интересах Запада или о частных интересах своих производителей), со свойственным им динамизмом уже приняли соответствующие меры. Поэтому мое состояние неуверенности длилось недолго. В апреле я уже принял решение и сообщил о нем моим друзьям: «До сих пор Комитет борьбы был сторонником продвижения шаг за шагом, в зависимости от политических условий. Теперь положение изменилось: необходимы совместные решительные действия. Теперь нет нужды убеждать — народы Европы и так убеждены. Речь уже не идет о том, чтобы преодолевать технические препятствия, учитывая политические трудности момента. Это время тоже прошло. Теперь надо дополнить организацию Европы переговорами о заключении договора между Европой и Соединенными Штатами».

Глава 19

Европа и Соединенные Штаты (1962–1964)

Партнерство

Соединенные Штаты и Европа принадлежат к одной цивилизации, основанной на личной свободе и демократических принципах организации общественной жизни. В этом главное. История дала яркие подтверждения этого глубокого родства, в часы испытаний выразившегося в активной солидарности. Когда их общим человеческим ценностям угрожает опасность, народы Европы и Соединенных Штатов вступают в борьбу, не щадя ни сил, ни жизни. Но когда общественный подъем уступает место повседневным заботам, которые у каждого народа свои, в их отношениях возникают диссонансы, за которые не надо никого упрекать.

Быть величайшей державой мира — это опасная ситуация, чреватая одиночеством и неуверенностью. Она включает в себя почти ничем не ограниченную ответственность за других и, как это ни несправедливо, порождает у этих других подозрительность и зависть. Положение сверхдержавы вынуждает к определенным добродетелям: самоконтролю и щедрости. Когда сила на вашей стороне, надо быть великодушным; свое превосходство сохраняет тот, кто не стремится его навязать. Многим американцам известны эти истины, и в своей политике они стараются действовать в соответствии с ними. Но мне как-то спокойнее, когда европейцы сами создают для себя условия, предполагающие равенство с Соединенными Штатами.

Эти условия в послевоенные годы было бы тщетно искать в чем-то, кроме единства, которое дает возможность сов-

местного действия. Вот почему американцы признали в Европейском Сообществе силу, подобную той, которую они сами создали на двести лет ранее, и с самого начала отнеслись сочувственно к нашему начинанию. Сохранится ли это сочувствие, невзирая на наши экономические успехи и политические поражения? — такой вопрос мог возникнуть. Но я знал и еще одну особенность американского народа: ему нравится все, что находится в состоянии движения, его привлекают поступки, а не слова. Но здесь все зависело от нас. Если европейцы будут действовать вместе, продемонстрируют решимость в разрешении своих проблем и будут активны в подходе к общим проблемам, существующим между двумя континентами, — с американцами будет легко найти общий язык. Неправда, будто они стремятся к господству: они готовы к любой полезной дискуссии и ценят результат. Соревновательность до такой степени вошла в их нравы, что они удивляются, если не встречают ее у своих партнеров. Их тяготило отсутствие политической инициативы в Европе, а когда они подумали, что Общий рынок может стать всего лишь средством обеспечить преимущества для местных производителей, они стали готовиться принять вызов. Такова, во всяком случае, была реакция аграрных и промышленных кругов, имевших большой вес в Конгрессе.

Я хотел, чтобы эта проблема была обсуждена прежде, чем она приобретет характер конфликта. Уже в ноябре 1959 года я написал Аденауэру: «Мы должны осознать, что в международной экономической ситуации произошла важнейшая перемена: в американском торговом балансе возник дефицит. Мне не надо вам объяснять, какие тяжелые последствия это может иметь для Запада в целом и для нас в особенности».

Именно в этот период, как мы видели, Комитет предложил, чтобы проблемы расширения Шестерки и проблемы, связанные с Америкой, неразрешимые порознь, были рассмотрены вместе. Я старался как можно чаще посещать Соединенные Штаты, где вместе с Джоном Кеннеди приходило к власти новое поколение. Мы без труда нашли общий язык, не только в силу дружбы (я знал их всех лично), но и по причине идейной близости. Молодая американская администрация

собиралась искать новые подходы к мировым проблемам. Меня волновали не столько частные проблемы, которые я надеялся уладить через Фримана, секретаря по сельскому хозяйству, сколько те объяснения, которых ждали от европейцев по поводу Общего рынка.

В январе 1961 года я сказал в интервью для «U.S.News»: «Изменив существовавшее положение дел в Европе, государства Шестерки ввели «фермент перемен», затрагивающий весь Запад. Как мы могли убедиться по реакции американцев и британцев на Общий рынок, одно изменение влечет за собой другое. Цепная реакция только началась. Мы привели в движение процесс непрерывных перемен, который, возможно, окажет на завтрашний мир более сильное воздействие, чем это сделали революционные принципы за пределами Запада». Примерно это же я говорил и Кеннеди, когда встретился с ним несколько недель спустя в Вашингтоне.

Президент пригласил меня на завтрак в Белом Доме вместе с Мак-Джорджем Банди. У нас состоялась длительная беседа, во время которой он не переставал задавать мне вопросы. Его желание узнавать показалась мне одной из самых ярких черт его личности; о его обаянии и уме я слышал уже и раньше. Он жадно слушал меня, своих советников, своих посетителей, и эта выдающаяся способность слушать помогла ему очень быстро достичь политической зрелости, поразительной в столь молодом человеке. Те, кто относился к нему критически, быстро забывали о его молодости и начинали восхищаться его динамизмом. В Вашингтоне я убедился, что его авторитет растет во всех областях, и я ощущал вокруг него такую же атмосферу, как в свое время вокруг Рузвельта: везде шли споры, решения готовились в обстановке открытого обсуждения, но принимал их всегда президент. С первых же дней Кеннеди проявил энергию и смелость. Европа будет его проблемой — выбор советников не оставлял в этом сомнений. Сразу по возвращении в Европу я захотел поделиться своими выводами с Аденауэром, который отправлялся в Соединенные Штаты для встречи с Кеннеди.

«Президент — человек очень простой, благоразумный, прямой. Его отношения с сотрудниками проникнуты доверием. Проблемы обсуждаются, каждый высказывает свое мнение, но решающее слово принадлежит ему. Беседуя с ним, я подумал, что вы с ним поймете друг друга: он тоже человек действия и, если вы позволите мне это сказать, так же молод духом, как и вы.

Люди в его окружении прекрасно подобраны. Наши друзья Макклой и Ачесон играют важную роль и пользуются большим доверием. Макклой занимается разоружением, Ачесон — политикой НАТО; имеются также Дуглас Диллон, Джордж Болл, с которым вы виделись в Бонне, Дэвид Брюс, посол в Лондоне, и вице-президент Джонсон, эксперт по внутренней политике, пользующийся очень большим влиянием в Сенате. Среди тех, кто привлечен к сотрудничеству, вы хорошо знаете наших друзей Мак-Джорджа Банди, Роберта Боуи, Джина Ростю, Шепарда Стоуна и Роберта Шетцеля.

Все, в тех областях, где они работают, — Ачесон в НАТО, Макклой в области разоружения — приходят к одному выводу: срочно необходима организация Западного мира, то есть свободного мира, включающего прежде всего континентальную Европу, Англию, Соединенные Штаты и Канаду. Но для всех ясно, что несущей конструкцией этой организации является Европейское Сообщество с его ядром — франко-германским единством. В этом теперь ни у кого нет сомнения, начиная от президента и кончая рядовым служащим госдепартамента».

Из всех американских президентов именно Кеннеди, по своему образованию и культуре, был более всего расположен к тому, чтобы понять проблемы Европы. Но одного расположения было мало, и Кеннеди никогда не проник бы в самую суть проблем, если бы не доверял знаниям своих советников, и прежде всего — Джорджа Болла. Именно благодаря ему в первую очередь президент составил себе представление о важном значении новых институтов в Европе и об их роли в поддержании равновесия в этой части мира; он понял необходимость укрепить это равновесие, прежде чем начинать диалог с Востоком. Мне было достаточно нескольких часов,

чтобы убедиться, что Америка готова принять масштабный европейский проект, а неизбежные экономические противоречия урегулировать внутри общего политического контекста. Но одновременно просматривались и негативные последствия — в случае, если бы европейский замысел вызвал недоверие американцев. Будущее показало, что такие опасения имели основания: для возникновения недоразумений достаточно было тени сомнения в воле европейцев дополнить Общий рынок политическим объединением.

В моем письме к Аденауэру далее говорилось: «Равное сотрудничество между Соединенными Штатами и разделенной, раздробленной Европой невозможно. Оно стало осуществляться только потому, что Франция и Германия положили начало широкому европейскому объединению, в перспективе — второй Америке.

Я убедился в Вашингтоне, что, если бы не эта перспектива, Соединенные Штаты замкнулись бы на частных проблемах, встающих перед ними в Азии, Африке, Латинской Америке. Поэтому мы должны понять, что длительное сотрудничество с Соединенными Штатами, необходимое для нашей безопасности, станет возможным, только если Европейское Сообщество проявит динамизм и понимание глобальных проблем, заботящих американцев. Американцы перестали быть только доброжелательными наблюдателями, в случае необходимости приходящими на помощь. Они стали участниками коллективных усилий, прямо заинтересованными в общем результате. Отныне Америка будет все теснее связывать себя с Европой, по мере того, как будет складываться европейское единство и Сообщество будет эффективно содействовать разрешению глобальных проблем, таких, например, как помощь слаборазвитым странам, как устойчивость западной валютной системы».

Первый шаг к разумному упорядочению межконтинентальных экономических проблем был сделан Кеннеди в январе 1962 года, когда он предложил Конгрессу создать «открытую коммерческую ассоциацию между Соединенными Штатами и европейским Сообществом». Так в октябре был принят

Trade Expansion Act, предоставлявший президенту полномочия вести с европейскими партнерами переговоры о двустороннем снижении тарифов, которое может достигать пятидесяти процентов таможенных пошлин и даже больше, в случае, если Англия присоединится к Сообществу. Начинались самые обширные и долгие за всю историю коммерческие переговоры, получившие название Kennedy Round. Их значение оставалось неясным широкому общественному мнению, но ни один аграрный или индустриальный деятель не оставался к ним равнодушен, настолько большие интересы были затронуты. В соответствии с этими интересами и борьба шла жесткая, но, по крайней мере, велась она по правилам и в условиях равенства, что было бы невозможно, если бы европейские страны не выступали как единая сторона в переговорах. Прочность этого единства обеспечивал Жан Рей, выступавший от имени Комиссии как руководитель европейской делегации. (Весьма талантливый переговорщик, он стал несколько лет спустя достойным преемником Хальштейна на его посту.) В ходе этого грандиозного выяснения отношений стороны пришли к взаимному пониманию экономических систем друг друга, выработали целостную картину, и это, хотя и не исключало резких противостояний, помогало регулярно находить выход и подниматься на уровень общих интересов.

Надо было двигаться дальше. Европейские государства не могли это сделать спонтанно, поэтому Комитет должен был сыграть свою роль и указать путь. В своей декларации от 26 июня 1962 года Комитет заявил: «Одновременно с экономической интеграцией Европы и начавшимся процессом ее политического объединения, необходимо, чтобы сотрудничество между Соединенными Штатами и европейскими странами поэтапно приобретало форму партнерских отношений между Объединенной Европой и Соединенными Штатами Америки — двумя самостоятельными, но одинаково мощными образованиями, каждое из которых будет нести свою долю общей ответственности за положение в мире... Подобно тому, как создание Европы является результатом конкретных шагов европейских государств по пути совместного продвижения вперед, так и новые партнерские отношения между

Соединенными Штатами и Европой станут результатом конкретных и терпеливых действий, направленных на решение общих проблем».

Ответ Соединенных Штатов не заставил себя ждать. Через месяц Кеннеди воспользовался торжественным случаем — празднованием Дня Независимости, — чтобы произнести в Филадельфии речь, имевшую широкий резонанс в мире. Эта речь осталась в истории под названием *Partnership* (речь о *Партнерстве*); она предлагала то, что лучше всего перевести как «ассоциация равных партнеров между новым союзом, складывающимся в Европе, и старым американским союзом, основанным в Филадельфии два столетия тому назад». Из этой речи за одну минуту американский народ узнал больше, чем за десять лет повседневной информации: он понял, что на самом деле означает Европейское Сообщество, образованное народами, которые, «будучи долгое время разделены более жестокими распрями, чем те, которые могли существовать между тринадцатью колониями в Америке, теперь объединились, подобно нашим предкам, для того, чтобы создать свободу в разнообразии и силу в единстве». Огромная толпа, которая слушала эту новую «декларацию независимости», с восторгом приветствовала решимость своего молодого президента, заявившего:

«Соединенные Штаты смотрят на это колоссальное начинание с надеждой и восхищением. В сильной и единой Европе мы видим не соперника, но партнера. Содействовать ее прогрессу было основной целью нашей внешней политики на протяжении последних семнадцати лет». Это заявление было проникнуто искренностью, и нужно вчитаться в каждое его слово, чтобы понять, к какой благородной цели решил направить Кеннеди самую великую демократию мира. Он это сделал со всей присущей ему силой, и за его словами уже вырисовывалась программа конкретных действий.

«Я убежден, — сказал президент, — что Европа сможет сыграть важную роль в совместной обороне, оказывать более щедрую помощь бедным странам, вместе с Соединенными Штатами и другими странами снизить таможенные барьеры,

разрешать валютные и сырьевые проблемы, вести согласованную политику в дипломатической, экономической и политической областях. В такой Европе мы видим партнера, с которым мы сможем вести, на началах полного равенства, переговоры о решении такой грандиозной задачи, как коллективная защита сообщества свободных народов».

В Филадельфийской речи был один пассаж, который сначала не привлек особого внимания. Однако он имел ключевое значение. И когда через несколько месяцев о нем забудут на долгие годы, это будет означать, что перед великим замыслом Кеннеди закрылись двери будущего: «Сначала нужно, чтобы Европа завершила процесс самоорганизации и приняла собственное решение. Когда будет принято решение о вступлении Великобритании в Общий рынок — а мы надеемся, что это произойдет следующим летом, — мы сможем двинуться вперед в ускоренном темпе».

Прекращение переговоров с Лондоном после французского вето в январе 1963 года лишило Европу того важного дополнительного измерения, которое было условием равного партнерства с Соединенными Штатами. Тем не менее, экономические проблемы, стоявшие на повестке дня, решались более или менее успешно, благодаря твердости европейской Комиссии, но проблемы, связанные с коллективной обороной, завязли в бесконечных спорах. Мне было нелегко поддерживать в Комитете единство по вопросу о многосторонних военных силах*: их создание вытекало из англо-американских соглашений на Багамах, но эти соглашения были отвергнуты Францией, зато приняты Германией. Этот вопрос отнимал у меня слишком много времени и сил, но я никак не мог обойти такую колоссальную проблему, как оборона Европы. Европейцы, защищенные в основном американской ядерной мощью, разделились: Англия интегрировалась в ядерную систему Атлантического альянса под руководством Соеди-

* FML (Force Multilatérale). Предложение о FML, сделанное президентом Кеннеди в 1961 году, имело целью участие некоторых европейских членов НАТО в командовании морскими соединениями, имевшими ядерное оружие.

ненных Штатов, Франция заявила о своей независимости, а Германия держали за порогом ядерного клуба.

В ожидании момента, когда Европа осуществит политическое объединение, Многосторонние силы, предоставленные Соединенными Штатами, возможно, позволили бы использовать сообща систему ядерного сдерживания, в которой Германия могла бы участвовать на условиях, почетных для нее и способных успокоить ее партнеров. Такая переходная ситуация, которая поставила бы их страну в равное положение с другими европейскими странами, очень привлекала немецких членов Комитета, и я мог понять их жажду безопасности, которой объяснялась их теснейшая привязанность к альянсу. Это стало очевидно во время заключения франко-германского договора в Париже, последовавшего за прекращением переговоров в Брюсселе в январе 1963 года. Тесное сближение двух больших европейских стран встревожило не только их партнеров, считавших, что стареющий Аденауэр заплатил слишком высокую цену за гипотетическое французское покровительство. Немецкие партии, принадлежавшие к большинству и к оппозиции, равно как и многие французы, опасались, что такого рода соглашение снова поставит под вопрос европейскую интеграцию и приведет к ослаблению военного альянса с Соединенными Штатами. Я тоже задавался вопросами относительно политической линии де Голля. Не пытаясь проникнуть в его скрытые мысли (такое занятие меня никогда не привлекало), я следил за его действиями в каждый данный момент.

Так, я видел, что франко-германский договор делал акцент на идее межгосударственного «сотрудничества» во всех рассматриваемых областях, что явно бросало тень сомнения на будущее европейской интеграции. Я видел, что договор не упоминает о том, что согласование военной стратегии Франции и Германии будет проходить в рамках НАТО. Я слышал, как де Голль во время очередной пресс-конференции говорил о «международных ареонагах», которым Франция никогда не согласится передать свой суверенитет. Тем временем, мы подготовили текст, содержащий нашу интерпретацию договора; парламентские стратеги придали ему форму преамбулы, кото-

рая была единогласна принята бундестагом 25 апреля. В ней говорилось о «поддержании и укреплении сплоченности свободных народов и особенно — тесного сотрудничества между Соединенными Штатами и Европой», о необходимости «совместной обороны в рамках НАТО», о «единстве Европы, включая Великобританию». Эта преамбула и ее единогласное одобрение расставляли все по своим местам, и договор, интерпретированный таким образом, терял свою политическую исключительность и становился формальным выражением франко-германского примирения, достигнутого двенадцать лет назад благодаря плану Шумана. Очень хорошо, что договор предусматривал организованные и регулярные встречи министров, чиновников и молодежи двух стран. Эти формы сотрудничества могли быть распространены на все страны Шестерки с пользой для всех.

Потребовалось много времени, чтобы потрясенная Европа вновь обрела равновесие. В Германии Аденауэр, усталый, критикуемый внутри своей собственной партии, не мог избежать прихода Эрхардта. В Англии Макмиллан сошел со сцены, и с этого момента началось отступление консерваторов. В Брюсселе европейские институты старались вновь обрести дыхание: это было первое большое испытание для механизмов Сообщества. Разногласия между правительствами, настроения людей, беспорядок в делах — все это могло замедлить, но не остановить движение. Эти механизмы были очень сложными, и каждый был заинтересован в их сохранении, потому что та или иная их часть стала ему необходима. В моменты кризисов утилитаризм поддерживал европейский дух, и никто уже не думал о том, чтобы выйти в одностороннем порядке, и не допускал мысли о коллективном провале. Европейский дух продолжал жить и удерживать вещи на их местах, даже если он переставал чувствоваться на уровне правительств. Он заключался в самих механизмах и управлял их работой. Учреждения, однажды созданные, обладают собственной силой, которая превосходит волю людей.

Надо было, чтобы восстановился порядок в умах, прежде чем Комитет сможет предпринять новые инициативы.

В 1963 году у меня не было повода, чтобы собрать его членов. Но в этот период ожидания Комитет не переставал существовать благодаря встречам между его членами и письмам, которыми мы постоянно обменивались. Роль мотора, ранее принадлежавшую Франции, теперь выполняла Германия, где власть постепенно переходила к Эрхардту. Шредер продолжил развитие Общего рынка и укрепил связи между Бонном и Вашингтоном, где на первый план выдвигалась забота об обороне с помощью многосторонних сил. Кеннеди посетил Германию, включая Западный Берлин, чтобы ободрить немцев, и повсюду ему был оказан восторженный прием. В то же время, заключенное им с русскими соглашение о приостановке атомных испытаний в атмосфере показало, что все проблемы приобретают теперь глобальные масштабы, в которых Европа рискует не найти себе места.

Правда, Европа вела широкие коммерческие переговоры, но ее место не могло сводиться к обсуждению аграрных вопросов, пусть даже и мирового значения. Вот мысли, которые я записал в тот момент: «Недавние события, и особенно Московское соглашение о ядерных испытаниях, заставляют нас рассмотреть проблему объединения Европы в новом свете. Мы столкнулись с ситуацией, которую необходимо оценить в целом. Я не думаю, что европейская интеграция интересует сегодня людей сама по себе. Но она будет их интересовать, если они поймут, что она является важнейшим фактором укрепления мира. Объединение Европы, включая Великобританию, продолжение переговоров с русскими, партнерство между Соединенными Штатами и Европой — вот три составляющих единого триптиха, который сегодня нельзя развязать».

Такая программа могла показаться нереальной в момент, когда Европа шести государств с трудом преодолевала свои собственные трудности. Сохранится ли объединение Шести? — в Париже в этом сомневались, предпочитая союзы между двумя или тремя государствами. Но я видел, что и в Бонне старый, оказавшийся в изоляции канцлер уже не направлял внешнюю политику, что многих его соратников соблазнял прямой союз с Соединенными Штатами. Сами американцы продолжают ли верить в эту Европу, которой явно

не хватает общей решимости? — по некоторым признакам я в этом сомневался. Видя вокруг столько причин для неуверенности, я продолжал держаться прежнего курса, избранного еще до того, как горизонт затянули тучи. Если бы мне предложили наметить новые перспективы, я бы ответил: «Я не вижу новых перспектив, вероятно потому, что их не существует. Не нужно задавать бесполезных вопросов, а лучше продолжать начатое. Ни у Франции, ни у Германии нет запасной политики. А у Англии нет будущего в мировых масштабах. И Соединенные Штаты имеют в Европе только одного надежного союзника: это — Европа». И я без усталости повторял это всем — в Бонне, в Лондоне, в Вашингтоне — в течение всего этого «времени терпения», когда я много путешествовал.

Я сознаю, что весь мой рассказ состоит из продолжений и повторов; это потому, что он излагает историю трудолюбивого созидания. Быть может, когда-нибудь кто-то другой изложит ее в эпическом стиле. Я, действительно, думаю, что создание Европы с временной дистанции будет выглядеть как потрясающее событие. Это будет истина завтрашнего дня. Сегодняшняя реальность состоит из терпения и старания. Кто не удивится, видя контраст между добросовестностью строителей — и театральными эффектами, которыми изобиловала французская политика 60-х годов? Отражения этих эффектов вы не найдете на этих страницах. Дело в том, что задачи, которые генерал де Голль ставил перед международной политикой Франции, с 1963 года не пересекались с путями Сообщества. А поскольку мы прослеживаем именно эти пути, то пусть читатель не удивляется, не встречая здесь тех грандиозных перипетий, которые у многих французов создавали впечатление, будто они переживают звездные часы в истории своей страны. Другие жители Европы этого впечатления не разделяли. Они, скорее, недоумевали и при встрече со мной просили объяснить им, как соотносится французская политика с реальностями современного мира. На эти реальности они смотрели без иллюзий и констатировали свое бессилие разрешить их в национальных рамках. Они ставили перед собой не менее амбициозные задачи, чем французы, но

при этом понимали, что хозяевами завтрашнего дня они станут только в том случае, если будут прокладывать к нему путь сообща. Мне не всегда было легко рекомендовать им терпение.

Конец 1963 года был омрачен трагедией, которая затронула всех мужчин и женщин, у которых есть сердце. С убийством Кеннеди перестал дуть тот ветер надежды, веяние которого мы едва успели почувствовать. Институты, как я уже сказал, имеют большее значение, чем люди, и государственные учреждения Соединенных Штатов тут же дали яркое тому подтверждение. Но только люди, собравшись с силами, могут изменить и улучшить положение вещей, а уж эти изменения институты передадут будущим поколениям. Кеннеди принадлежал к числу людей, способных увлечь современников своим воображением и сплотить их своим великодушием. Я не буду гадать, что еще он мог бы совершить как государственный деятель, опыт которого день ото дня возрастал у нас на глазах. Я просто восхищаюсь тем, что он смог сделать за столь короткий срок, и ощущаю огромную пустоту, которую оставило его исчезновение. Самые искренние слова, которые я услышал после его кончины, принадлежали парижскому шоферу такси: «Месье, мы потеряли нашего президента». В этот день я почувствовал бесконечную скорбь.

Смерть молодого и блистательного человека всегда потрясает. Но я вспоминаю, что такая же скорбь и такое же неприятие случившегося охватили меня, когда семнадцать лет тому назад я узнал, что умер Рузвельт, сломленный тяжелой болезнью и огромными усилиям на протяжении всей своей жизни. Мы тогда путешествовали по Грузии, и я помню, что в ответ на трагическое известие, сообщенное мне Сильвией, я несколько раз воскликнул: «Нет, это невозможно!» Невозможно примириться с исчезновением великой надежды, и люди, носители такой надежды, никогда не должны были бы умирать. Рузвельт, как я уже писал, обладал универсальным взглядом на вещи, и для него свобода не ограничивалась пределами его страны. Он боролся за свободу до полного истощения собственных сил. Кеннеди, преж-

девременно павший, обладал такой же закалкой и такой же широтой взгляда.

В начале года я снова увиделся с ним в Вашингтоне. Он плохо воспринял внезапный разрыв переговоров с Англией, но его понимание Европы не позволило ему просто отвернуться от европейских дел: такой соблазн испытывала тогда Америка, наблюдавшая за нашим разбродом, и ему поддались преемники Кеннеди. Как раз в это время мне вручали в Нью-Йорке «Премия Свободы»*, и я получил от него по этому случаю следующее послание:

«Дорогой господин Монне,

в течение столетий императоры, короли и диктаторы стремились силой навязать Европе единство. Но, что бы они ни делали, добиться этого им не удалось. Однако под вашим вдохновляющим воздействием, Европа за двадцать лет сделала больше, чем за предыдущую тысячу. Вы и ваши соратники возводите постройку, связывая блоки экономических и политических интересов скрепляющим раствором разума. Вы изменяете Европу одной только силой созидающей идеи.

Со времени окончания войны восстановление и объединение Европы не переставали быть целью политики Соединенных Штатов, потому что мы, как и вы, убеждены, что сила в единстве. И мы, так же, как и вы, считаем, что сильная Европа — это благо не только для европейцев. Это благо для всего мира. Америка и объединенная Европа, эффективно работая в полную меру своих сил на основе отношений равного партнерства, способны найти решение неотложных проблем, с которыми сталкивается человечество в этот переломный период своей истории».

Увы! 25 ноября я следовал за его гробом во время величественных в своей простоте национальных похорон.

Менее двух недель спустя я снова присутствовал в Белом Доме, чтобы получить последнее свидетельство его привязанности к Европе. Он выбрал меня, вместе с Макклоем и профсоюзным лидером Джорджем Мини, для награждения

* Вручается каждый год ассоциацией «Дом Свободы» за особый вклад в дело свободы.

президентской медалью «Presidential Medals of Freedom»*, которую он сам намеревался вручить 6 декабря. Эту церемонию выполнил Джонсон в присутствии миссис Кеннеди, которая скромно сидела в дальнем уголке салона. Он прочел текст, предназначенный мне его предшественником: «Гражданин Франции, государственный деятель всего мира, он превратил убеждение и разум в политические силы, ведущие Европу к единству, а атлантические народы — к более эффективным отношениям партнерства». В этих словах выразился дух Кеннеди, в течение двух коротких лет (и время это, увы, скоро закончилось!) вдохновлявший его соратников на великие замыслы.

Кризисы и отлив

Партнерство не умерло вместе с Кеннеди, так как идея, связанная с самим ходом вещей, не создается одним человеком и не исчезает вместе с ним. Два одинаково богатых природными ресурсами континента, на которых развивается одна и та же цивилизация, естественным образом предрасположены к сотрудничеству на началах равенства; идея такого сотрудничества существует сама по себе еще до того, как будет реализована волей того или иного политика. И потому начатое дело продолжается и после смерти его инициатора, даже если кажется, будто оно сошло на нет. Действия преемников Кеннеди иногда создавали впечатление, будто его великий замысел отброшен и Америка вновь поддалась соблазну единоличного лидерства. Но такой соблазн, даже если он имел место, не мог восторжествовать надолго, особенно по отношению к Европе. Многие американцы понимали, что не искать равенства было бы серьезной ошибкой для их страны и что следует помогать созданию эквивалентной силы вместо мозаики слабых государств, обреченных на подчиненную роль.

* Медаль, которой президент Соединенных Штатов награждает лиц по своему выбору. В тот год награждение производилось впервые, затем оно стало ежегодным.

Разумеется, речь не шла о том, чтобы создать равенство немедленно, и я рассматривал его не в арифметическом и не в юридическом плане, а скорее в плане психологическом — как идею равновеликости, которой предстояло укорениться в сознании людей. Надо обгонять процесс и, найдя его узловую точку, торопить его завершение; вопрос о равенстве следовало обсуждать, не дожидаясь, пока возникнет реальный паритет. Иначе никакого обсуждения не получилось бы вообще.

В 1964 году я не спрашивал себя, является ли Америка при Джонсоне столь же великодушной, как при Кеннеди, и не делает ли ее очевидное военное превосходство бессмысленным всякое обсуждение вопроса о равенстве с ней. Я констатировал, что *Партнерство* остается официальной политикой Белого дома, и выдвинул, через посредство Комитета, предложение придать ей первое конкретное воплощение в виде создания «Комитета согласия между Европой и Соединенными Штатами», причем именно в тех областях, где Европа как целое уже начала существовать. Резолюция от 1 июня 1964 года уточняла задачу этого нового Комитета: «Готовить общие позиции по тем вопросам, где возникают возможность и необходимость совместных действий, облегчая тем самым принятие решений со стороны европейских институтов и правительства Соединенных Штатов в области экономических отношений между ними, а также между ними — и остальными странами мира». Это предложение наш Комитет борьбы за Соединенные Штаты Европы повторял неоднократно, и ни один представитель свободных европейских профсоюзов или демократических партий не выразил опасений, что подобные переговоры с Соединенными Штатами могут таить угрозу для независимости наших стран или европейского Сообщества в целом. Переговоры никогда не наносили ущерба чьей бы то ни было свободе, а переговоры в условиях взаимного уважения являются, напротив, самой надежной гарантией для каждого из участников: каждый может объяснить свою позицию и тем самым побудить другого считаться с ней.

Я не стану распространяться о скрытых причинах, так и не позволивших до сего дня создать Комитет согласия. Не может быть убедительного объяснения для столь упорного

нежелания сесть за один стол и обсудить проблемы, представляющие общий интерес. Недоразумения, служащие для наших разделенных европейских государств предлогом для того, чтобы избегать диалога с Соединенными Штатами, вытекают из отсутствия процедуры согласования, которая как раз и могла бы, по мере своей разработки, помочь устранению технических затруднений. Сумма этих недоразумений может показаться сегодня неодолимым препятствием на пути *Партнерства*, которое рискует остаться в истории как пример упущенной возможности.

На самом деле, об упущенных возможностях любят рассуждать те, кто не хочет двигаться вперед. Меня интересуют только те возможности, которые лежат впереди и которые следует не упустить, когда для этого наступит подходящий момент. Фундаментальные причины, толкающие Запад к сплочению, остаются все такими же настоятельными и простыми; все меньше и меньше чувствуются расхождения между двумя великими партнерами, Европой и Америкой, которых сближают общие объективные трудности. Сохраняется субъективная дистанция, возникшая из взаимного непонимания проблем, лучшим средством от которого была бы процедура диалога в рамках Комитета согласия.

Убеждать людей вступать в диалог — это лучшее, что можно сделать для сохранения мира. Но для этого нужны некоторые условия, в равной мере необходимые. Первое из них — это дух равенства: никто не должен садиться за стол переговоров с установкой одержать победу над другим. Из этого следует, что надо отказаться от так называемых привилегий суверенитета и такого способа обрывать дискуссию, как право вето. Другое условие: нужно, чтобы все говорили об одном предмете. И еще одно: чтобы все участники стремились найти то, в чем они все заинтересованы. Такой подход не свойствен людям, ведущим переговоры ради защиты противоречащих друг другу интересов национальных государств. Им его приходится долго объяснять и втолковывать. Опыт научил меня, что для этого недостаточно доброй воли, нужен еще и моральный авторитет, признаваемый всеми; таким ав-

торитетом обладают общие институты: они сильнее отдельного человека, и государства относятся к ним с уважением. Эти институты созданы для того, чтобы окончательно объединить то, что однородно, и сближать то, что пока еще разнородно. Европейцы решили жить по единым правилам в сообществе, которое делает для них возможными культурную идентичность и целостное развитие. Поэтому было ясно с самого начала, что Англия должна присоединиться к ним без промедления. Объединение должно вернуть европейцам в решении мировых проблем ту роль, которую они утратили в силу своей раздробленности.

Что же это за роль? Та же, что и всегда: стремиться к возможно более широкому согласию и разрядке между Востоком и Западом, создавая условия для постоянного диалога, но не в качестве арбитра и не на основе баланса сил. Страны, объединившиеся в Европейское Сообщество, принадлежат к той же самой западной цивилизации, что и американское общество: между этими двумя великими сущностями, очень близкими, но раздельными, возможен глубоко содержательный и постоянный диалог при соблюдении твердо установленных форм — форм демократии.

Такой была и остается цель *Партнерства*, исходные инструменты для которого были предложены более десяти лет тому назад в виде Комитета согласия. Это предложение затрагивало также и отношения с Востоком, чрезвычайно важные для поддержания мира во всем мире. Однако и для меня, и для других членов Комитета борьбы было ясно, что дискуссии Сообщества со странами Востока (которые, впрочем, не признавали наших учреждений) не могут быть организованы на тех же основаниях, что с Соединенными Штатами — во всяком случае, пока эти страны не начнут строить свою общественную жизнь на принципах свободы и демократии.

Ни одна из наших стран, обращаясь к Советскому Союзу в одиночку, не имела шансов быть услышанной. Я не думаю, что даже объединенная Европа могла бы прийти к длительному соглашению с советами, если бы в этом соглашении не участвовали Соединенные Штаты. Точно так же, и соглашение между Соединенными Штатами и СССР оставалось

бы непрочным, если бы в нем не участвовала Европа. Самая большая опасность для всех возникла бы в том случае, если бы Германия начала вести в Европе независимую политику, и Сообщество являлось в этом отношении гарантией, которую СССР не мог не оценить. Но немцы, которые связали свою судьбу с народами Западной Европы, чувствовали себя в безопасности, только входя в более широкую систему обороны Запада. Так называемый «атлантизм» был для них не доктриной, а рефлексом выживания. Я мог понять обеспокоенность этого народа, подвергавшегося большей опасности, чем другие, и я восхищался мужеством его руководителей, сумевших удерживать его от необдуманных попыток объединения страны.

Европа была готова сделать исторический шаг к единству, именно Европа, а не те или иные государства, заключающие пакты между собой. Но при этом она не должна была исключать себя из глобальной системы защиты Запада. Эта проблема вызвала упорные и часто совершенно бессодержательные дебаты. Вместо того, чтобы объединять людей, они их разъединяли. Они так и не привели к удовлетворительному коллективному решению. Но одно, во всяком случае, стало ясно: национальные подходы не помогли делу мира.

С 1964 года начался период бездействия, заполненный словесными баталиями. Отношения между Европой и Соединенными Штатами оставались в подвешенном состоянии. Двусторонние контакты между Соединенными Штатами и европейскими государствами могли создать у некоторых наблюдателей впечатление, будто Америка и не нуждается в Европе как в едином партнере, что отдельные европейские государства и так могут заставить Вашингтон прислушаться к себе — надо только кричать погромче... Каждый действовал, руководствуясь эмпирическими соображениями, не заботясь об общем интересе. А такой общий интерес существовал, хотя бы только в торговой сфере, как это показал Kennedy Round, — единственный опыт переговоров на основе равенства, в которых Европа, в виде исключения, выступала как единое целое. И ее голос был услышан. В результате было достигнуто широкое урегулирование с учетом законных интересов каждой стороны.

Почему такой метод не был последовательно расширен на все сферы отношений между Европой и Соединенными Штатами, как то позволяла сделать программа *Партнерство*? Причины тому многообразны, а ответственность лежит на обеих сторонах. В Америке проблемы черного населения, война во Вьетнаме, достижение международной разрядки занимали все внимание Джонсона, а затем Никсона. В Европе страны Сообщества, казалось, не решались укрепить и расширить свое единство. Некоторые из них ревниво охраняли свою независимость, не принимая необходимых мер, чтобы обеспечить ее на деле. Почему-то считалось, что независимость надо укреплять в пику Соединенным Штатам, которых обвиняли в том, что они проводят политику господства. Я никогда не думал, чтобы эти противоречия имели глубокий и длительный характер. Когда руководителям удастся преодолеть свою раздражительность, они не могут не признать, что проблемы у Европы и Америки общие и решать их надо сообща. Действуя порознь, невозможно эффективно способствовать поддержанию мира. Я видел, что и здесь приходится ждать, когда разум восторжествует.

Глава 20

Время терпения (1964–1972)

Застой

Только в июне 1964 года Комитет собрался на свою одиннадцатую сессию. Предыдущая происходила в Париже в декабре 1962. Местом проведения одиннадцатой впервые был избран Бонн. Текст резолюций долго готовился и насчитывал не менее двадцати страниц, в которых суммировались размышления и выводы за много месяцев. И если, несмотря на все сбои, намеченная линия оказалась продолжением нашей политики предыдущих лет, то это только доказывало, что Комитет стал мудрым учреждением, способным подняться над эмоциями и твердо держаться принятого курса. Перечитывая этот текст, можно видеть, как широко мы себе представляли задачи и возможности Европы в плане ее объединения.

В документе намечалась последовательность этапов, предлагался обширный план, состоявший из четких пунктов. Некоторые из них касались экономического и социального развития Общего рынка, другие — институциональных проблем, в том числе прямых выборов европейского Парламента и расширения его бюджетных полномочий. Имелась глава под названием «Последовательное установление отношений равного партнерства между Европой и Соединенными Штатами Америки», где в качестве главного инструмента таких отношений рассматривался Комитет согласия. Параллельно существовала другая глава: «Достижение последовательных соглашений между Западом и СССР в целях урегулирования европейских проблем, в частности —

объединения в европейском Сообществе ныне разделенного немецкого народа».

Кто сегодня может сказать, что эти предложения были утопическими и что, животрепещущая десять лет тому назад, задача объединения Германии потеряла историческую актуальность? Во всяком случае, если эта проблема будет поставлена вновь, то только в рамках Сообщества, которое не создаст пакты между государствами, но объединяет людей для мирного решения вопросов. «Для этого, — говорилось в декларации Комитета, — необходимо, чтобы подлинное мирное сосуществование постепенно установилось между СССР, с одной стороны, и Европой и Соединенными Штатами Америки — с другой... Сейчас слишком рано определять рамки этой будущей договоренности. Но одно ясно уже сейчас: если Запад окажется разьединенным, отношения между Востоком и Западом станут неустойчивыми, перспективы урегулирования исчезнут, недоверие и цепная реакция ответных мер приведут к новым конфликтам. Конфликт с применением атомного оружия грозит и Европе, и Соединенным Штатам, и Советскому Союзу такими разрушениями, после которых выжившие будут завидовать погибшим».

Я не думаю, что этот анализ потерял актуальность в наши дни. В 1964 году, во всяком случае, он выражал мнение большинства профсоюзных и политических сил Европы. Но иллюзия чисто национального могущества еще господствовала в высших эшелонах власти некоторых государств. А Соединенные Штаты и СССР тем временем развивали между собой прямые отношения, в которых ни Европе, ни какой-либо отдельной европейской стране не находилось места.

Лишенное политической цели и надежды на скорое расширение, Сообщество пребывало в состоянии застоя. В Англии приход к власти Вильсона, победившего на выборах в октябре 1964 года с огромным перевесом, отсрочил начало новых переговоров. В Соединенных Штатах администрация Джонсона, занятая внутренними проблемами, казалось, потеряла интерес к Европе как таковой. Опасность возврата к сепаратной политике, к двусторонним соглашениям чувствовалась повсюду. У Германии мог возникнуть сильный соблазн

начать соперничать с Францией в достижении национальных преимуществ.

Стремлению ограничиваться частичным урегулированием отдельных вопросов следовало, пока не поздно, противопоставить целостный подход, — что наш Комитет и попытался сделать на своей сессии в Бонне. Предлагавшееся завершение строительства Общего рынка служило солидным основанием (но только основанием!) для более обширной концепции мирного взаимодействия основных субъектов мировой политики.

Стремясь дополнить наши резолюции и придать им действенный характер, я много путешествовал, встречаясь с членами нашего Комитета. В первые месяцы 1965 года я шесть раз был в Бонне, четыре раза — в Брюсселе, четыре — в Риме, дважды — в Гааге, один раз — в Люксембурге. Подсчитав все мои поездки, журналист Марк Ульманн писал в еженедельнике «Экспресс»: «Таким путем удастся, по крайней мере, избежать недоразумений: можно быть уверенным, что опубликованный текст отражает намерения европейских политических сил в целом».

Декларация 1965 года утверждала в условиях застоя необходимость продолжать движение. Своеобразие документа состояло и в том, что он был принят в Берлине 8 мая 1965 года. Именно в этом городе и в этот знаменательный день я говорил, выступая перед городским Сенатом в присутствии канцлера Эрхардта и бургомистра Брандта:

«Сегодня, 8 мая, — двадцатилетняя годовщина окончания войны в Европе. Отсюда, из Берлина, исходила гитлеровская попытка установления мирового господства. Здесь она и закончилась, среди груды развалин, в которую была превращена Европа.

9 мая 1950 года Франция устами Робера Шумана предложила Германии оставить в прошлом былые конфликты и строить новое будущее вместе с другими демократическими странами Европы...

Сегодня Комитет борьбы за Соединенные Штаты Европы собрался в Берлине, чтобы недвусмысленно продемонстрировать нашу солидарность с вами...»

Отвечая мне, Эрхардт выступил с заявлением, получившим большой политический резонанс в Европе:

«Немецкий народ на собственном опыте убедился, что политика господства, основанная на разжигании национальных чувств, обречена на провал; такие гегемонистские устремления одной европейской нации встречают сопротивление со стороны всех других. Мы в полной мере сознаем, что Европа не может быть ни немецкой, ни французской, ни русской, но должна быть устремлена к объединению и согласию».

Повсюду в Европе эта двадцатая годовщина отмечалась шумными воинственными демонстрациями, в речах клеймились преступления Германии. Тут же рядом, по другую сторону Берлинской стены, пышный военный парад восточных немцев служил контрастом к нашему мирному собранию, обращенному к будущему. «Вы показали нам благородство ваших братских чувств», — сказал мне канцлер. Пока шло наше утреннее заседание, Сильвия подошла к стене и увидела на одной из вышек женщину, которая плакала, глядя на Восточный Берлин. Сильвия подошла к ней и спросила, почему она плачет. «О, мадам, — отвечала женщина, — вся моя семья осталась там...» Позже, в тот же день, когда проходил прием в Сенате в нашу честь, Сильвия увидела рядом с собой, на местах для публики, эту же женщину, которая сказала: «Я нахожусь здесь, потому что все мои надежды связаны с Европой. Только Европа соединит разъединенных людей».

Действительно, я думаю, что в этот день, благодаря нашему присутствию и принятым нами резолюциям, европейская идея вошла еще немного глубже в сознание немецкого народа и в мировое общественное мнение, широко отозвавшееся на это событие. Оно не имело ничего общего с провокацией по отношению к Востоку. На самом деле, Берлинская декларация призывала к началу консультаций между Советским Союзом и другими коммунистическими странами, с одной стороны, и Соединенными Штатами и европейским Сообществом, — с другой. Мне бы даже хотелось, чтобы и в этом случае речь шла о создании Комитета согласия. Эта идея маячила в конце пути, но до нее еще надо было дойти. Ближай-

шей задачей оставалось объединение Европы. Но тут произошел несчастный случай...

Среди резолюций Комитета имелся один параграф, который был без затруднений утвержден на конференции в Берлине. В нем содержалось одобрение недавних предложений европейской Комиссии в Брюсселе: передать Сообществу средства от таможенных сборов для финансирования расходов на аграрную политику (до сих пор эти расходы покрывались государствами). Эти предложения базировались на одной из статей Римского договора, а Хальштейн был не тот человек, чтобы упустить что-либо, что могло способствовать независимости его учреждения. Ему было также известно, что европейский Парламент, в свою очередь, воспользуется случаем, чтобы увеличить свои права по бюджетному контролю и отнять право окончательного решения у национальных советов министров. Все это было в рамках закона. Но всем было ясно, что, приводя в действие соответствующие статьи договора, мы усиливаем федеративный характер Сообщества и склоняем в сторону Брюссельских институтов баланс властных полномочий, которые многие правительства, и особенно Париж, желали бы сохранить на национальном уровне. Опираясь на свое законное право, большинство Комиссии не захотело прислушаться к предостережениям дипломатов. «Де Голль никогда не согласится...» — говорили дипломаты. — «А вот посмотрим», — отвечали в Брюсселе.

Действительно, нам предстояло узнать, можно ли остановить нормальный ход институционального процесса волей одного человека, и если да, то на какой срок. Решение Комиссии выглядело вызовом только в глазах тех, кто никогда не соглашался с духом Римских договоров и полностью выполнял только те их пункты, которые были им выгодны. Франции был выгоден новый механизм инвестирования в национальное сельское хозяйство, но он приводил в действие такой институциональный процесс, который вел к передаче новой порции государственного суверенитета в распоряжение Сообщества. Хальштейн, Маншо и другие считали, что правительство в Париже согласится с такой передачей в качестве платы

за европейское финансирование своего сельскохозяйственного экспорта. Они думали также, что французы, по складу своего ума, не смогут устоять против логических доводов. Маржолен предупреждал членов Комиссии: «Для де Голля ваша логика — уловка, он ее отвергнет». Я полагал, что не стоит доводить эту техническую проблему до конфликта, и надеялся, что обе стороны, как обычно, остановятся на компромиссном решении, которое будет означать некоторое продвижение вперед. Но все расчеты спутал личный фактор.

Во время дискуссий я больше всего боюсь возникновения личных антипатий: из-за них все может пойти насмарку. Французы твердо решили больше не иметь дела с Хальштейном. Они не обращали внимания на суть возникшей технической трудности, для них имели значение только поступки и намерения председателя Комиссии, стремившегося придать как можно больше значения и блеска своему учреждению. Даже минимальные протокольные предложения Брюсселя в Париже принимались в штыки; раздражение здесь достигло предела, когда выяснилось, что Хальштейн собирается несколько высвободиться из-под финансовой опеки государств. По этому пункту согласование было уже почти завершено, но требовалось единогласное решение. В последний день де Голль сказал категорическое «нет». Кув де Мюрвиль, исполнитель его воли, в полночь 30 июня, в момент, когда заканчивался срок французского председательствования в Совете Шести, закрыл заседание констатацией, что соглашение не состоялось. Действительно, в тот момент соглашение не было достигнуто, и Кув формально-юридически был прав. Но он был не прав морально, так как с этого момента отказался продолжать дискуссию.

На шесть месяцев Франция вышла из европейских учреждений в Брюсселе, где ее представители больше не появлялись в своих офисах. Эта политика «пустого стула» была прямым нарушением пакта о Сообществе, и не было видно выхода из такого положения, наносящего ущерб репутации Франции и Европы. Сначала я подумал, что это было сделано в порыве раздражения, и имел на эту тему несколько бесед с Кув де Мюрвилем, который обычно прислушивался к

моим доводам. Но не на этот раз. Он не скрывал своего глубокого отвращения к европейской Комиссии. Казалось, возобновление переговоров между странами Шестерки и любое экономическое решение связывались теперь с обновлением Комиссии, как в смысле персонального состава, так и в смысле методов.

За всем этим вырисовывалось желание отменить принцип принятия решений большинством голосов, который, в соответствии с договором о Сообществе, должен был вступить в силу с 1966 года. Я мог догадаться, что здесь Кув де Мюрвиль выражал непоколебимую решимость де Голля, и я посоветовал ему воздерживаться от резких движений, которые могли только усугубить и так уже достаточно сильное недоверие наших партнеров по отношению к Франции, которую подозревали в желании разрушить европейскую организацию. «Немецкие выборы будущего года, — сказал я ему, — возможно, приведут к власти большую коалицию. Немцы окажутся в состоянии предпринимать важные инициативы. Не обманывайтесь: ни Германию, ни Англию вам не удастся оторвать от Америки. Но вы можете ускорить подписание военного соглашения между Соединенными Штатами и Германией».

В контексте того времени такое драматическое (для Европы) развитие событий было вполне возможно, если Сообщество и дальше будет топтаться на месте. Об этом я говорил де Голлю во время личной беседы, которая состоялась у нас за несколько месяцев до того. Такие беседы у нас происходили редко, когда мне казалось, что обмен мнениями мог бы принести пользу, и каждый раз он принимал меня с такой же благожелательностью, как и во время наших первых встреч. Разговор шел простой, без стремления придти к какому-либо выводу; каждый высказывал свою точку зрения, а когда люди разговаривают чистосердечно, это не может не приносить пользы.

Кув, казалось, не знал, что делать, чтобы вновь заработал Общий рынок, остановка которого беспокоила французских аграриев и промышленников. Наши партнеры были в растерянности: хотя они и заняли оборонительную позицию, образовав группу Пяти, но без Франции они никуда не могли

двинуться. Правда, и Франции это не давало никаких преимуществ, разве что в дипломатической игре на грани риска. Однако для де Голля риск становился очень большим накануне президентских выборов в декабре 1965 года, и я надеялся, что можно будет достичь соглашения до наступления этого срока. Я посоветовал Хальштейну пересмотреть свои предложения, чего бы это ему ни стоило: нет ничего унижительного в том, чтобы приспособиться к препятствию, ибо препятствие никогда не обладает превосходством. Комиссия проявила рассудительность, и тогда стало видно, что именно рассудительности не хватает французской стороне. Де Голль застыл в высокомерной позе, которую он ошибочно считал проявлением силы. В сентябре он разразился обвинениями в адрес «технократии, в своем большинстве иностранной, цель которой — оттеснить французскую демократию», и подтвердил свой отказ допустить с 1966 года применение правила большинства в европейских учреждениях. Он не ответил на адресованное ему в октябре обращение Пяти стран с призывом к Франции занять свое место в институтах Сообщества. Но 5 декабря голосование в первом туре выборов (на которое в решающей степени повлияло европейское общественное мнение) было воспринято как предупреждение. Я заявил о своей позиции в следующих словах:

«Как многие французы, я голосовал *за* Конституцию 1958 года, *за* — на выборах президента Республики всеобщим голосованием, *да* — во время референдума об Алжире.

5 декабря я не буду голосовать за генерала де Голля.

Мы больше не можем питать иллюзий: нынешняя политика генерала де Голля, изложенная им на пресс-конференции 9 сентября, подтвержденная продолжающимся отсутствием Франции в Брюсселе, толкает нас на устаревший путь национализма и способствует возрождению национализма в других странах, в частности — в Германии.

Будущее французов — в объединении Европы. Генерал де Голль объяснил нам, что он желает свести совместные действия Франции и ее соседей к отношениям между правительствами. Опыт показывает, что такие отношения никогда не бывают прочными, что они всегда находятся под угрозой раз-

рыва. Чтобы оказать поддержку обновленной Франции и побудить ее к новым усилиям, французы сегодняшнего и завтрашнего дня нуждаются в президенте по своему образу и подобию, в президенте с современными взглядами на мир».

Я объявил, что буду голосовать за Жана Леканюэ, которого я уважал за смелость и искренность. Перед вторым туром я заявил, что отдаю голос за Франсуа Миттерана, остающегося единственным соперником де Голля в качестве общего кандидата левых сил. Мой выбор определялся тем, что Миттеран высказался за «политически единую Европу, создаваемую в соответствии с процессами, уже идущими в экономической и технической областях, за Европу, которая была бы решающим фактором мирного сосуществования между Востоком и Западом».

После того, как де Голль был переизбран пятьюдесятью четырьмя процентами голосов, Кув де Мюрвиль возобновил переговоры. Всем участникам я советовал стремиться к возможно более широкому компромиссу, не затрагивая при этом условий Римского договора. Когда в январе 1966 года возобновились заседания в Люксембурге и французский делегат заявил, что Франция сохраняет за собой одностороннее право вето, это уже не имело существенного значения. Единственной жертвой этой неясной ситуации стала Комиссия Хальштейна, но все же удалось договориться, что она проработает в прежнем составе до 1967 года.

После шестимесячного паралича работа должна была возобновиться. Если де Голль хотел продемонстрировать, что без Франции Сообщество не сможет функционировать, то ему удалось доказать то, что всем и так было ясно. Если его цель состояла в том, чтобы заморозить институциональное развитие и не допустить новых передач суверенитета в рамках Сообщества, то он не добился ничего, если не считать некоторого времени, которое вынуждены были потерять сторонники европейского единства. То, в чем он им отказывал в 1965 году, они получили позже в результате естественного хода вещей. Я не стану делать других выводов из этих весьма поучительных событий. Все произошло так, как произошло, и закончилось так, как мы всегда желали.

Мы всё еще переживали время терпения. Я мог продолжать размышлять и готовиться к действию, когда для этого возникнут подходящие условия. Теперь я был уверен, что такие условия не представятся, пока Францией управляет де Голль в соответствии со своими устарелыми концепциями. Долгое время я надеялся, что он поймет: для единства Европы, о котором он говорил с такой убежденностью, необходимо постепенное делегирование суверенитетов в распоряжение совместных органов управления. Неужели он не видит, что и великолепное будущее Франции, каким оно ему рисовалось, и сама ее независимость неосуществимы, если Франция останется в одиночестве? Если он хотел сыграть историческую роль, к которой он чувствовал себя призванным, то должен был бы сделать это в европейском масштабе, при условии, что Европа будет существовать как целое.

Однако стало ясно, что с годами де Голль не меняется, что кооперация между старыми суверенными нациями остается краеугольным камнем его внешней политики: пусть, мол, каждый пьет из своего стакана и решает, что ему подходит, а что нет. Как можно в этих условиях поддерживать полную национальную независимость и при этом строить действительно независимую Европу? Я не мог объяснить этого противоречия. А в результате Франция становилась все более изолированной, окруженной атмосферой недоверия, когда неустойчивые союзы возникают, чтобы утвердить превосходство или противостоять угрозе: таким, во всяком случае, было бы будущее Европы, если бы она вернулась к политике пактов и коалиций.

Общий рынок со своими институтами, правилами и перспективами экономического, социального и политического развития был единственным оплотом против этого попятного движения. Его надо было укреплять и надстраивать, камень за камнем. Верность Германии Сообществу была последней гарантией единства Запада. Присоединение Великобритании давало Европе шанс превратиться в фактор мировой политики и вступить в равный диалог с Соединенными Штатами и СССР. Комитет был готов бороться, если потребуется, в течение долгих лет, чтобы создались условия

для этого. И впредь, до того как будут созданы такие условия, я решил не ставить перед собой иных задач.

С 1966 по 1973 год Комитет, на протяжении шести сессий, принимал одни и те же резолюции, которые постепенно внедрялись в реальность. В течение этих лет политический контекст менялся под воздействием непредвиденных событий и под медленным натиском поколений, рожденных после войны. То, что было немислимым для отцов, становилось естественным для детей; то, что было трудным для сознания вчерашнего дня, оказывалось легким для современного сознания. Однако было необходимо, чтобы к моменту, когда эта эволюция совершится, еще была жива воля к построению Европы и сохранились планы, как такое строительство закончить.

Помню, что в этот период, когда мне предстояло в очередной раз записаться настойчивостью, я захотел определить для себя самого те постоянные идеи, которые исподволь, независимо от обстоятельств, направляли мою активность. Краткие записи, сделанные мной во время летнего отдыха 1966 года, выражают эти идеи лучше, чем я мог бы это сделать в длинных рассуждениях:

«18 августа:

Свобода — это цивилизация.

Цивилизация — это правила + институты.

И это так, потому что развитие человека — главная цель всех наших усилий, а не возвеличение родины, большой или малой.

1. Это дар — родиться на свет (человеком).
2. Это дар — родиться в нашей цивилизации.
3. Неужели мы ограничим этот дар национальными барьерами и ограждающими нас законами?
4. Или постараемся распространить этот дар на других?
5. Нам надо поддерживать нашу цивилизацию, которая настолько обогнала остальной мир.
6. Нашу цивилизацию и нашу активность надо направить к сохранению мира.

7. Надо организовать совместную активность нашей цивилизации. Можно ли это сделать иначе, чем объединив в общем действии Европу и Америку, которые принадлежат к одной цивилизации и ведут общественные дела одним и тем же демократическим способом?

8. Такая организация, при сохранении мирного сосуществования с Востоком, создаст в мире новый порядок и позволит нашей цивилизации (которую надо сохранять) оказать остальному миру необходимую и безвозмездную помощь и поддержку. Вместе они (Европа и Америка) смогут это сделать, порознь — будут ослаблять себя противостоянием.

9. Первоначально, при рождении, все люди одинаковы. Затем, оказавшись в определенной среде, с ее законами, каждый старается сохранить привилегии, которыми обладает. Национальные рамки соответствуют такому узкому взгляду. Мы не отдаем себе отчета, каким необыкновенным даром мы обладаем. Этот дар мы должны передавать другим. Можно ли это сделать иначе, как не с помощью свободы, с одной стороны, и совместных усилий — с другой, чтобы постепенно распространить наши привилегии на слабо развитые страны? Можно ли это сделать, не объединяясь, не объединяя наши ресурсы и т. д.?»

«22 августа:

Нации образовались в результате последовательного сложения. Бретань, Бургундия и т. д. были провинциями, и короли, осуществляя централизацию, объединили их в новое целое: Францию; посредством силы, с помощью оружия, или же по договору: графство Ницца, Савойя. Все эти перемены, превращение «провинциального» в «национальное», соответствовали преобладающим условиям той эпохи. Силы приспособления, толкавшие французские провинции к объединению во Францию, продолжают действовать.

Мы убеждены, что нашей эпохе предстоит увидеть возникновение широких единств, таких как Соединенные Штаты и СССР, и что между ними установятся отношения сотрудничества благодаря определенной организации (когда

мы говорим об организации мира, то есть мирных отношений, и т. д., то имеем в виду именно это).

Все не может происходить сразу, к этой организации мы подойдем шаг за шагом. Но уже сейчас надо начинать. Речь идет не о том, чтобы, как раньше, регулировать политические проблемы, по которым сталкиваются силы, стремящиеся к превосходству. Речь идет о том, чтобы заставить цивилизацию сделать новый шаг вперед, начиная с изменения форм взаимоотношений между странами и применения принципа равенства между народами и странами. Народы больше не хотят, чтобы их будущее было связано с ловкостью или амбициями их правительств. Они не хотят кратковременных урегулирований; они хотят, чтобы в наших странах была создана организация, процедура обсуждения и принятия совместных решений».

Эти соображения предназначались не для того, чтобы развивать их в книге, но для того, чтобы опираться на них в повседневной борьбе. Даже люди, наиболее склонные к конкретной деятельности, с которыми мне доводилось работать, нуждаются в таких внутренних ориентирах, чтобы не разочаровываться в своих действиях и не терять мужества. Сидя с ними у камелька, я любил обсудить вопрос: ради чего мы боремся? Я заметил, что, если движущие мотивы затемнялись в них или во мне, то наша способность действовать и добиваться успеха ослабевала. Вот почему эти мотивы надо было поддерживать и оживлять, подобно тому, как мы поддерживали огонь, на который смотрели во время наших бесед. Сколько у меня было таких доверительных разговоров, помогавших укреплять дружбу и позволявших мне передавать мою надежду людям, уставшим ожидать, когда же наступит европейская весна!

В марте 1967 года появились первые признаки ее приближения: Вильсон, проведя консультации с континентальными странами, казался, был готов вновь выдвинуть английскую кандидатуру для вступления в Общий рынок. 16 марта я мог сообщить прессе, что «члены Комитета борьбы единогогласно решили поддержать вступление Великобритании в

Сообщество с теми же правами и обязанностями, что и шесть других стран, уже входящих в Сообщество». Среди тех, кто подписал это обращение, была новая значительная фигура, Пьетро Ненни, председатель объединенной социалистической партии и вице-премьер итальянского совета министров, а также министр иностранных дел Германии Вилли Брандт. Надо было помочь англичанам покончить с колебаниями.

11 мая Вильсон, наконец, решился, заручившись предварительно поддержкой подавляющего большинства палаты общин. Но уже 16 мая де Голль заявил на пресс-конференции, что Англия — это остров, связанный с британским Содружеством и с США, имеющий неблагоприятный курс фунта и потому не могущий вступить в Общий рынок, который теперь, в его устах, стал выглядеть каким-то чудом. Можно говорить только о некоей форме ассоциации, либо ждать... На этот раз даже полезность дискуссии была поставлена под вопрос! Свое мнение по этому поводу я выразил, выступая по радио:

«В каком обществе мы живем, если Шесть государств должны отвергнуть без обсуждения просьбу великой демократической европейской страны, поддержанную подавляющим большинством представителей ее народа, о вступлении в создающуюся Европу? Генерал де Голль говорил о препятствиях на пути Великобритании в Общий рынок так, как будто их очень трудно преодолеть. Однако Лондонское правительство думает, что преодолеть их можно. Только переговоры в духе открытости и с намерением добиться успеха смогут дать окончательный ответ. Важно, чтобы между Шестеркой и Лондоном началось обсуждение».

Упрямство Франции вновь породило неуверенность в умах и упадок духа. Многие думали, что время для вхождения Англии в Европу так и не наступит и что нужно ограничиться коммерческими соглашениями, в худшем случае — даже без Франции. Я придерживался противоположного мнения и был рад, что мой оптимизм разделял Джордж Браун, британский министр иностранных дел. Этот маленький круглый человек, чьи манеры сбивали с толку дипломатов старой школы, обладал живым умом и способностью воодушевляться. Он не жалел сил, и у себя в стране, и на континенте, дабы дверь Обще-

го рынка оставалась открытой для Англии. В январе 1967 года он вместе с Вильсоном посетил шесть европейских столиц. Заехали они и в Страсбург, чтобы выступить перед Советом Европы. И я слышал, как Вильсон заявил: «Мы решились действовать, потому что создание более широкого и более сильного экономического Сообщества служит интересам всей Европы, равно как и нашим собственным интересам».

Меня поразило, что среди членов Ассамблеи, которые стоя приветствовали английского премьера, я увидел главу консервативной оппозиции сэра Алека Дугласа Хоума. Этот показательный случай утвердил меня в мысли, что мы были правы, желая участия Великобритании в демократических институтах Европы. Я предложил на Комитете, чтобы в каждом национальном парламенте была вынесена на обсуждение резолюция, требующая продолжения переговоров с Англией. В тексте предусматривалось полное членство, без каких-либо форм ассоциации. 15 июня 1967 года, в Брюсселе, на тринадцатой сессии Комитета, в которой принимали участие, в числе других, Брандт, Шмидт, Ненни, Румор, Пинэ и Плевен, такая резолюция была принята. 13 октября я присутствовал в бундестаге на ее обсуждении: депутаты оказали ей единодушную поддержку. 29 ноября де Голль вновь подтвердил свою негативную позицию и тем заблокировал начало переговоров. Но он уже не мог помешать тому, что проблема продолжала обсуждаться и привлекать к себе внимание все большего числа европейцев. Резолюция была поддержана парламентами в Люксембурге, Бельгии, Нидерландах, Италии. Англия не чувствовала себя в изоляции. Ее вступление в Сообщество уже нельзя было снять с повестки дня международной политики.

Обстановка меняется

Потом наступила весна 1968 года, во Франции произошли студенческие волнения, перекинувшиеся в Европу из Соединенных Штатов. Сначала они не встретили серьезного сопротивления в нашем старом обществе, где университетские системы были поражены склерозом. Слишком много форм социального неравенства все еще возникало вследствие

различия в уровне образования, доступ к которому часто зависел от социального положения родителей. Стремление к справедливости толкнуло молодых интеллектуалов в сторону рабочих. Студенческий бунт и требования рабочих встретились между собой лишь на короткое время, но этого оказалось достаточно, чтобы поставить под угрозу социальные институты страны. Все же стремление к порядку было еще достаточно сильно в рабочем классе, и он отказался поддерживать студентов, которые оказались в изоляции. Однако причина, по которой начался их бунт, оставалась в силе: этой причиной был человеческий фактор. И мне кажется, что мы не услышали предупреждения и по-прежнему, как и до бунта, не придаем человеческому измерению должного значения.

А ведь предпосылки кризиса были отмечены еще за три года до него в ходе опроса, проведенного по инициативе Комитета группой международных экспертов: они заключались в неравных условиях доступа к культуре. Это сравнительное исследование, посвященное системе образования в Европе, Соединенных Штатах и СССР, было известно как «Доклад Пуаньяна» — по имени руководителя проекта, докладчика в Государственном Совете, человека высокой нравственности, которому самому довелось столкнуться со множеством препятствий на пути к образованию. Он знал по собственному опыту, как трудно молодым продвинуться выше начального образования, — огромное большинство им и ограничивается; он знал, сколько выдающихся способностей остаются не использованными из-за затрудненного доступа к культуре.

Уже в 1959 году я поднимал эту проблему в обращении к свободным профсоюзам Сообщества: «Построение Европы, которую мы создаем общими усилиями, не принесет плодов, если мы не положим конец расточительству молодых интеллектуальных сил и не произведем демократизацию высшего образования. Доступ к высшему образованию должен быть открыт для самого широкого большинства, а не зарезервирован за меньшинством». Цифры, показывавшие отставание Сообщества, производили впечатление: в расчете на равное количество жителей, в России имелось в три раза, а в Соединенных Штатах — в пять раз больше студентов, чем в Европе.

Какие бы успехи с тех пор ни были достигнуты, взрыв 1968 года произошел не потому, что студентов было слишком много, а потому, что общество остановилось в своем развитии и не создавало условий для изживания несправедливостей.

Общество обладало и другими недостатками, возникшими в силу его чрезмерной сложности. Самые усовершенствованные структуры оказываются наиболее хрупкими, когда на них обрушивается неожиданный удар. Мне стало ясно, как никогда, что наши демократические институты стали прецизионными механизмами, в которых экономические, социальные, политические колесики держатся вместе только за счет доверия. Так было во всех странах Запада, и потому начавшийся кризис доверия не знал национальных границ. Он проявился в молодежном движении протеста и получил продолжение в валютных пертурбациях. Общая для всех угроза требовала сплочения европейских стран, находившихся на одном уровне развития цивилизации. Их солидарность должна была охватить различные области, начиная с экономического Сообщества и расширяя его так, чтобы каждый народ восполнял своими богатствами то, чего не хватало его соседям. Будучи изолированными, наши страны были очень уязвимы для волн насилия, начавших захлестывать мир. Особенно остро ощущали опасность немцы, на которых удары обрушились в первую очередь. Они с тревогой следили за драматическими событиями, потрясавшими французское общество, и за тем, как стала прогибаться в Париже ведущая ось европейской политики.

Во время моей поездки в Бонн я почувствовал неуверенность канцлера Кизингера. В этом высоком молодежном человеке было больше очарования, чем силы, больше умелости, чем энергии. Он хорошо видел проблемы, но не проявлял решительности в действиях. Он думал, как и я, что вступление Англии укрепит демократию в Европе, но он не был готов противостоять де Голлю. Оба политических деятеля несли на своих плечах опыт двух войн, который накладывал печать на все их поведение. Они пережили историческую драму столкновения между Францией и Германией, находясь по разные стороны фронта, и это раз и навсегда ограничило их

политическое воображение. Будущее принадлежало молодому поколению, а мы не знали, о чем оно мечтает. Все, что мы могли сделать, это передать ему организованную Европу с твердыми демократическими структурами. Я уезжал из Бонна в июле 1968 года с чувством, что растущая мощь Германии не сможет оказать влияния на поколебленную волю Франции до тех пор, пока во главе этих стран будут стоять такие люди, как Кизингер и де Голль.

И я отправился в Лондон. Там я встретился с Вильсоном, который дал мне настоящий урок политической стратегии: в этой области он был мастером. Он сразу понял, какую пользу можно извлечь из присутствия в Комитете лейбористов, на ряду с представителями других британских партий. Он оценил и то, как это изменит соотношение сил внутри его партии, и решил, что в данный момент ему это выгодно. Он был на редкость решителен и доволен возможностью действовать в интересах Европы. Я мог надеяться, что и британские профсоюзы войдут в Комитет вместе с лейбористской партией, с которой они были тесно связаны. Однако здесь возникли точки сопротивления, которые было трудно нейтрализовать, несмотря на влияние Вильсона и настойчивые обращения Розенберга от имени немецких профсоюзов.

Во время моих лондонских переговоров с Вильсоном мне очень помогал начальник его кабинета молодой британский дипломат Майкл Пейлисер. Он пользовался уважением как лейбористов, так и консерваторов, и обладал прекрасными связями на континенте. Пейлисер не переставал оказывать содействие развитию европейского Сообщества. Весьма позитивную роль играл Бертуэн, делегат от Сообщества в Лондоне, человек умелый и с твердыми убеждениями. Дюшен и Мейн в своих статьях и книгах продолжали терпеливую разъяснительную работу. Все они обещали мне свою поддержку.

28 сентября 1968 года я писал, обращаясь к Вильсону как к председателю лейбористской партии, к Хиту, к Барберу (он тогда возглавлял консервативную партию) и к Торпу, председателю либеральной партии:

«Политические партии и профсоюзы, входящие в Комитет и представляющие две трети электората и трудящихся шести стран европейского Сообщества, выражают единодушное мнение, что Великобритания должна стать полноправным членом Сообщества с теми же правами и обязанностями, что и шесть других входящих в него стран.

Они полны решимости проложить путь для вступления Великобритании в Сообщество, как только это станет возможно. Они считают важным, чтобы уже сейчас страны Шестерки и Великобритания приступили к выработке единых подходов к европейским проблемам...»

Ответ от Вильсона пришел незамедлительно: «Цели Комитета борьбы полностью совпадают с теми задачами, которые ставит перед собой Лейбористская партия. Наша партия считает, что политическая, экономическая и технологическая интеграция Европы жизненно необходима для того, чтобы Европа могла привести в действие все свои возможности и внести свой незаменимый вклад в поддержание и укрепление мира во всем мире. Ваш комитет и его уважаемые члены делают огромное дело. Приглашение принять участие в этой работе является честью для Лейбористской партии, и я как председатель партии счастлив принять его и подтвердить, что Лейбористская партия согласна войти в Комитет борьбы за Соединенные Штаты Европы в качестве его полноправного члена».

Вильсон сообщил мне также, что исполком партии назначил в качестве своих представителей в Комитете Джорджа Брауна, Уолтера Пэдди и Майкла Стюарта. Лица были подобраны с тонким расчетом, но важно было другое: безоговорочный тон письма и слово «интеграция», которое своей решительностью удивило всех обозревателей. Затем пришел ответ от Барбера. Он напоминал, что переговоры были прерваны в 1967 году против воли консервативного правительства, и давал положительную оценку деятельности Комитета, «позволяющего обсуждать и решать, каким образом может осуществляться продвижение к более тесному европейскому единству». В качестве представителей он называл имена выдающихся людей: Реджинальда Модлинга, сэра Алека Дугла-

са Хоума и Селвина Ллойда. Наконец, пришел теплый ответ от Джереми Торпа, который был готов лично участвовать в работе Комитета.

Теперь мы решили проконсультироваться с независимыми специалистами, компетентность которых была известна всем: Гуидо Карли, руководителем Банка Италии (относительно валютных аспектов английского вступления), лордом Плауденом (относительно технологических вопросов), Эдгаром Пизани (в отношении сельского хозяйства), Вальтером Хальштейном (относительно учреждений). 15 июля 1969 года Комитет собрался в Брюсселе и заслушал их доклады; общий вывод был таким: проблемы можно решить. Непреодолимых технических проблем не существовало. И в этот же момент стали исчезать политические препятствия.

В апреле 1969 года, после неудачи бесполезного референдума, де Голль заявил, что слагает с себя бремя власти. Это был мудрый и не лишенный величия поступок. Никакая сила, кроме его собственной воли, не могла заставить его уйти. По-видимому, он сам выбрал для этого момент, когда полностью сохранял ясность ума и контроль над своими действиями. Он оставлял Франции прочную систему институтов, закрепленную всеобщим голосованием, а своим преемникам — высокий личный авторитет, завоеванный им в обстоятельствах, которые он сумел подчинить своей воле. Драматические события, связанные с деколонизацией, он использовал сначала, чтобы укрепить свою власть, а затем — чтобы восстановить пошатнувшееся единство нации. Этим мы обязаны ему. Но глядя, как он уходит, я думал о том человеке, каким он был в 1940 году. Никогда он не был так велик, как в момент, когда отказался признать поражение и призвал к сопротивлению. История запомнит, что он вернул французам их достоинство, помог им восстановить минувшее величие. Я надеялся, что он поймет: это величие нельзя сохранить путем простого повторения прошлого, без глубоких преобразований и выхода за национальные рамки. Но я вынужден был признать: он верил, что Европа будет вращаться вокруг Франции и не признавал делегирования суверенитета. Он не

понимал, сколь иллюзорно его желание создать сообщество народов без общих правил и институтов, без равенства. Можно понять, сколь глубокое разочарование он испытывал в отношении этой части своей деятельности, которая явно была не на уровне его миссии. Ему не удалось построить Европу так, как он хотел. Но, по крайней мере, ему не удалось и помешать ей строиться так, как он этого не хотел.

Став хозяином Елисейского дворца, Помпиду начал хладнокровно разбираться в наследстве, которое ему досталось. Я плохо знал Помпиду, виделся с ним всего один раз на завтрак у Палевски, и мне так и не довелось узнать его лучше; ни у него, ни у меня не было особого желания встречаться и обсуждать проблемы, на которые у нас были разные точки зрения. Меня заботила роль Европы в мире, а его интересовало место Франции в Общем рынке. Со свойственным ему прагматизмом, он видел выгоду, которую французская экономика могла извлечь из Экономического Сообщества. Не столько удачей, сколько необходимостью представлялось ему и вступление Великобритании. По данным пунктам мы могли с ним прийти к согласию, но это согласие устанавливалось негласно, через его сотрудников, скромных посланцев Елисейского закусилсья.

Одним из них был Жобер, старавшийся помогать ходу европейских дел, потому что надеялся, что это укрепит позиции президента, у которого были трудности в отношениях с другими главами государств. Что касается технических вопросов, то здесь у меня установились прочные и доверительные отношения с Жаном-Рене Бернаром, собеседником весьма компетентным и лояльным. Через него Помпиду узнавал мое мнение, с которым он затем волен был соглашаться или нет. Большого и не следовало ожидать от людей, которые долгие годы формировались в атмосфере секретности и ревнивого отстаивания суверенитета. И тем не менее, проявить инициативу и сделать новый шаг вперед зависело от Франции, то есть от них.

Между Францией и ее партнерами сами собой установились отношения, основанные на прагматизме; проблемы от

этого не стали более простыми, но, по крайней мере, обрели свои реальные размеры. В октябре 1969 года Брандт был избран канцлером. Я был доволен, ибо считал, что он внесет в европейскую политику больше смелости и открытости. Он и Помпиду были людьми разного склада, но они не придавали этому излишнего значения. Конференция в верхах, которая была намечена на декабрь в Гааге, должна была стать для них первым случаем заявить о себе как о политических деятелях европейского масштаба. В Гааге возродился дух европейского сообщества, и Брандт здесь шел впереди. Он выдвинул далеко идущие предложения и увлек за собой других. Многие идеи, которые мы вместе разрабатывали в Комитете, получили шанс претвориться в жизнь.

Об этих идеях я напоминал Брандту в письме по случаю его избрания канцлером: «Совещание в верхах приближается. Оно позволит охватить широким взглядом назревшие европейские проблемы и добиться фундаментальных и практических успехов в объединении народов Европы. Необходимо превратить Общий рынок в экономическое и валютное объединение; переговоры с Англией возможны при одном условии: пусть ваша инициатива изменит их климат, чтобы вместо упорной торговли из-за мелочей речь шла о конструктивных коллективных действиях с целью разрешения общих для всех проблем». Я предлагал создать организацию для валютного регулирования и шел дальше тех инициатив, которые были разработаны Раймоном Барром в европейской Комиссии. Этот выдающийся экономист, обладавший блестящим и точным воображением, вынужден был держаться в рамках того, что позволяла сиюминутная политическая ситуация. А валюта все еще считалась чуть ли не магическим выражением национального суверенитета и оружием в борьбе за него.

Приходилось доказывать (и долго еще придется это делать), что суверенитет чахнет, когда его пытаются замкнуть в формах прошлого. Чтобы он оставался живым, нужно обязательно, по мере того как расширяются его возможности, передавать его в более широкое пространство, где он сливался бы с другими суверенитетами, совершающими такую же эволюцию. Ни один суверенитет при этом ничего не теряет, но

все они обретают новые силы. «Что касается ограниченного слияния национальных суверенитетов, которого требует новая валютная организация, — писал я Брандту, — то с каждым днем становится яснее, что оно имеет гораздо более скромное значение, чем непрерывные и не осознанные уступки суверенитета вследствие скатывания наших стран в долларовую зону и постоянного и неконтролируемого финансирования бюджетного дефицита либо из так называемого валютного резерва таких стран, как Соединенные Штаты и Англия, либо с помощью печатного станка национальных банков, либо с помощью коммерческих банков и рынка евро-облигаций».

Этот феномен умаления национального суверенитета как следствие слишком рьяной его защиты проявлялся не только в валютной сфере; просто здесь стал наглядно очевиден исторический процесс последних двадцати лет, действительно ставивший под угрозу независимость европейских стран. Брандт понимал, о чем идет речь, и добился в Гааге принятия проекта экономического и валютного союза, а также европейского Резервного Фонда, к созданию которого призывал Комитет.

Декабрьский саммит 1969 года ликвидировал и еще один тупик: было решено возобновить переговоры с англичанами. Но предстояло еще пройти долгий путь до января 1972 года, когда был подписан договор о вступлении. И главные препятствия теперь возникали со стороны самих англичан, которым трудно было преодолеть чувства разочарования и оскорбленной гордости. Наш Комитет делал все возможное, чтобы путь для вступления Англии в Европейское Сообщество оставался открытым. А французское правительство, со своей стороны, было готово положить конец затянувшемуся противодействию, в котором раздражение оказывалось сильнее разума и даже сильнее выгоды.

Между нациями, как и между людьми, недоразумения живучи; чтобы они угасли, требуется время. Англичане упорствовали в иллюзии своего могущества, в то время как европейские страны уже поняли, что, взятые по отдельности, они уже не соответствуют масштабам современного мира. Нежелание прислушаться к призывам Европы, попытки создавать

конкурирующие группировки — все это оскорбило и обескуражило многих друзей Англии. И теперь они с недоверием отнеслись к ее решению присоединиться к Сообществу, которое она еще недавно презирала и против которого боролась. Наступила очередь англичан столкнуться с унижительным отказом. Былая гордость островитян взбунтовалась, их общественное мнение встало на дыбы, и новым, трезво мыслящим людям было трудно высказываться в пользу присоединения к Европе. Надо было кончать с этой борьбой самолюбий, и в этом плане Комитет сыграл важную роль. Может быть, это был его самый значительный вклад в развитие Сообщества.

Во время моих частых поездок в Лондон я виделся с Вильсоном; он был настроен решительно, но затруднялся в выборе тактики. Его очень поддерживал Дженкинс своим талантом и убежденностью. Я виделся также с Хитом, поставившим свой авторитет и свой политический успех на вхождение в Европу. Когда в 1970 году он и партия консерваторов пришли к власти, я не сомневался, что его энергия сметет последние преграды. Но еще было необходимо, чтобы Помпиду убедился в его искренности. Очень длинная беседа, состоявшаяся в мае 1971 года, установила личное взаимопонимание между двумя политиками. После этого участники переговоров перестали нагнетать трудности и стало ясно, что препятствия существуют не в реальности, а в головах людей.

В Лондоне на таможне один служащий, узнав меня, задал мне вопрос: «Я хотел бы знать точно, сэр: после того, как мы войдем в вашу Европу, сможем ли мы оттуда выйти?» Его устами говорил атавистический страх перед ангажированностью, принятием на себя ответственности, с которым мы сталкивались в Лондоне, начиная с 1950 года. Конштамму, сопровождавшему меня, я сказал: «С этим человеком придется еще долго разговаривать, чтобы изменить его точку зрения». Хит направил на это всю свою недюжинную силу, но окончательного успеха так и не добился. После победы лейбористов в феврале 1974 года восторжествовал осторожный подход Вильсона, который, в конце концов, заставил отступить тех, кого в Англии называли «антирыночниками». Референдум 1975 года стал признанием существующего поло-

жения вещей: Великобритания могла выбирать только между одиноким закатом — и вхождением в более широкое целое. В действительности, все это можно было понять уже двадцать пять лет тому назад, но народам требуется время, чтобы в их душе изгладилась иллюзия мертвого прошлого.

Общественное сознание Европы в этом отношении уже давно миновало пору нерешительности; все опросы единогласно констатировали во всех слоях общества спокойную уверенность: существовал широкий консенсус по вопросу объединения народов Запада. Во Франции шестьдесят процентов опрошенных поддержали идею европейского правительства, даже если во главе его будет стоять нефранцуз. Такой же процент считал полезным избрание Европарламента всеобщим голосованием. В марте 1972 года семьдесят процентов французов были сторонниками вступления Великобритании в Общий рынок.

Помпиду решил, что пришло время изгнать злых духов, на протяжении многих лет омрачавших отношения между Францией и Великобританией, и одновременно — дать возможность сплотиться сторонникам европейского единства, которые, судя по опросам, составляли большинство. Референдум 1972 года дал положительный ответ на вопрос о расширении Сообщества, но в то же время вызвал разочарование низкой активностью населения. Дело в том, что средний человек интересуется общими идеями только тогда, когда они реализуются в действиях. А где были действия в пользу единой Европы, которые могли бы мобилизовать массы? Что реально предприняло французское правительство, прежде чем звать население к урнам для голосования? Было ясно, что для того, чтобы сочувствие европейской идее обрело форму политической поддержки, нужно продемонстрировать людям не только дискуссии, но и конкретные решения. В Брюсселе много дискутировали и мало решали.

Встречи глав государств могли бы ответить на эту потребность в действии, но они происходили слишком редко и нерегулярно. Кроме того, они были обставлены тяжеловесной процедурой, всякого рода формальностями, которые мешали их эффективности. В октябре Помпиду пригласил в

Париж своих коллег с их многочисленной свитой. Несмотря на торжественность этой конференции, на ней, впервые за долгое время, чувствовалось веяние европейского духа. Присутствовал Хит вместе с премьер-министрами Ирландии и Дании. Старая ссора, казалось, закончилась, и перед Сообществом открывались обнадеживающие перспективы.

Новые возможности возникли и в диалоге между расширяющейся Европой и Соединенными Штатами, стремившимися положить конец войне во Вьетнаме. Упорные миротворческие усилия Киссинджера долгое время наталкивались на инерцию вышедшего из-под контроля насилия, эхо которого докатилось и до нашего общества. Стремление к диалогу и застарелая ненависть повсюду сталкивались между собой, и это вызывало смуту в умах; в то время как возникали условия для примирения, старые недоразумения, идейная вражда и словесные баталии вносили раскол между людьми и между народами. Однако в реальной действительности, после того как удалось погасить очаги войны, не оставалось ничего, что фактически мешало бы поискам конструктивных договоренностей, прежде всего — между Америкой и Европой, которые вместе могли бы помочь оживлению мировой экономики.

В мае 1973 года Комитет, собравшись в Брюсселе, предложил, чтобы Соединенные Штаты и Европейское Сообщество назначили по одному независимому представителю, которые составили бы перечень существующих коммерческих и валютных проблем. Таким образом руководители по обе стороны Атлантики получили бы объективную картину трудностей, на преодоление которых им следовало направить свои главные усилия. Эта идея пробивала себе путь, когда в октябре арабо-израильский конфликт внес величайшую сумятицу в умы. Между Парижем и Вашингтоном завязалась поверхностная полемика, лишённая реального смысла. На какое-то время в нее ввязался и Генри Киссинджер, но государственный деятель вскоре взял в нем верх над историком. В своем понимании прошлого Европа представляла собой увлекательную мозаику, но в отношении будущего она обязана была быть единой.

В ноябре 1975 года Киссинджер, вручая мне в Париже премию Гренвила Кларка, сказал: «Политические руководители нынешнего поколения считают вполне обоснованной вашу идею, которая готова осуществиться в том виде, как вы ее задумали с самого начала; создание объединенной Европы, действительно, представляется единственно возможным решением. Соединенные Штаты будут оказывать этому всяческую поддержку». Эти слова подводили черту под десятью годами ненужных сомнений и недоразумений.

Хотя европейцы, казалось, последними оценили открывшиеся перед ними перспективы, хотя их взгляд все еще был сужен национальными границами, Сообщество занимало все большее место в их мыслях и в государственных планах. Весьма показательно, что дипломаты народного Китая попросили меня о встрече, чтобы я рассказал им об успехах европейского объединения. Хотя я догадывался, почему они так интересуются усилением Европы на западном фланге России, и не разделял их политических расчетов, я считал чрезвычайно симптоматичным, что Сообщество начинает рассматриваться как фактор международного равновесия. Китайцы считали, что мировая стабильность недостаточно обеспечивается равенством сил Соединенных Штатов и СССР, и были обеспокоены тем отставанием, с которым разьединенные европейские страны включались в глобальные процессы. После тысячелетней неподвижности, китайцы оказались более, чем кто-либо, способными понимать происходившие изменения; во всяком случае, они намного превосходили в этом советских руководителей. Как и сорок лет тому назад, я не мог проникнуть в скрытые мысли китайцев, но я чувствовал в них вновь обретенную гордость и видел, что они ищут сильных и независимых партнеров, принадлежащих, как и они сами, к древней цивилизации и стремящихся обрести новое место в мире.

Новое лицо Европы внушало уверенность также и развивающимся странам, некоторые из которых прямо и непосредственно переходили от положения колоний к статусу членов международных ассоциаций. В глазах сотен миллионов жителей на разных континентах, Сообщество выступало

как партнер в свободно устанавливаемых отношениях. Представители этих стран, и в Брюсселе, и у себя дома, заседали на равных с представителями наших стран; институциональные формы, установленные Жаном-Франсуа Денио (а вслед за ним Клодом Шейсоном) в отношениях между Африкой и Европой, являются одним из самых творческих и благородных достижений Сообщества. В то время как представители пятидесяти пяти стран встречались за одним столом в Ломэ или в Брюсселе, чтобы определить общие интересы, дипломаты продолжали оторванные от реальности споры о европейской идентичности, между тем как наблюдатели, смотревшие на вещи издали, уже нисколько в ней не сомневались.

Чего ждали от Европы страны третьего мира? Не думаю, что главным образом материальной помощи. Такая помощь является всего лишь одним из элементов, необходимых для установления отношений солидарности между Сообществом и всеми его партнерами, — отношений, основанных на единых правилах и равных условиях. Таков вывод, вытекающий из нашего опыта построения совместной жизни и применимый ко всем сферам человеческих отношений. Однажды Олленхауэр рассказал мне о трагических последствиях отсталости, которые он наблюдал во время своего путешествия по юго-восточной Азии. Моей первой реакцией был вопрос: какую материальную помощь могли бы оказать богатые страны этим обездоленным регионам? «Нет, — сказал он, — они не помощи просят. Они хотят, чтобы их приняли». Этот превосходный человек понимал, что достоинство — общее достояние всех людей и глубокий внутренний смысл совместного жизнестроения.

Глава 21

Европейский Совет (1972–1975)

У истоков власти

Саммит, состоявшийся в Париже в октябре 1972 года, был исполнен благих намерений; цели, которые он ставил перед Европой, были одновременно амбициозными и четкими. Календарный план экономических, политических и институциональных мероприятий предварялся таким обращением руководителей девяти государств (новые члены Сообщества уже стали равноправными участниками этой конференции): «Государства члены Сообщества, являющегося движущей силой построения Европы, утверждают свое намерение до конца нынешнего десятилетия превратить свои отношения в *Европейский Союз*». Окончательная форма такого Союза не определялась, но его содержание раскрывалось в пространном коммюнике, перечислявшем мероприятия, в которых члены Комитета узнавали многие свои предложения, ранее изложенные в документе об экономическом и валютном союзе, в программах социальных мер и технологического развития. Было принято наше пожелание создать Европейский валютный фонд, только назывался он Фондом регионального развития. Но для всего этого нужны были реальные средства; чтобы определить их источники я и собрал в мае 1973 года сессию Комитета. Предполагалось постепенно объединить валютные резервы государств-членов и выйти на мировой финансовый рынок с облигациями займов Сообщества. Деееспособность объединенной Европы будет зависеть от размеров финансовых ресурсов, которые ей удастся мобилизовать,

и проблема финансового доверия к ней имела большее значение, чем казалось многим. В этом отношении руководители государств снова забыли делегировать Сообществу полномочия, необходимые для проведения политики, которую они сами для него выработали.

В течение лета 1973 года по моему указанию был подготовлен первый баланс по выполнению программы, принятой на саммите: оказалось, ничего не было сделано. Валютные пертурбации, связанные с девальвацией доллара и ревальвацией марки, подорвали основы, на которые должны были опираться механизмы Союза. Когда в мае в Италии разразился кризис платежей, на помощь ей пришла Америка. По многим другим признакам было видно, что институты Сообщества сами по себе не имели власти, чтобы выполнить возложенные на них задачи, хотя никто и не думал оспаривать их полномочия. Нигде не было злой воли, но повсюду — отсутствие воли к действию, характерное для институциональных кризисов. Если Комиссия в Брюсселе продолжала добросовестно выполнять свою консультативную роль, то Европейский Совет не принимал никаких решений, и каждая страна реагировала на удары конъюнктуры и инфляции в рамках своих национальных возможностей. А что произошло бы с едва начавшейся солидарностью Девятки, если бы случился более серьезный кризис? Валютного согласования не было, Общий рынок сельскохозяйственной продукции распался, а срочно необходимая политика в энергетической области оставалась на стадии первоначального проекта. И тем не менее, Сообщество продолжало закреплять свои позиции в мире; оно выступало как единое целое перед лицом Восточного блока на конференции по безопасности в Хельсинки; оно ответило единым голосом на запрос президента Соединенных Штатов в связи с объявлением 1973 года «годом Европы». Стало видно, что нарушено соответствие между внешним обликом Сообщества, его ролью в международной политике, — и его реальной силой. Нужно было как можно скорей восстанавливать внутреннюю цельность.

Возникшие трудности не были для нас новостью, мы сталкивались с ними на протяжении десяти лет; новизна со-

стояла в том, что теперь мы не были стеснены рамками догматизма. Люди, находившиеся у власти, были сердцем и разумом преданы европеизму и готовы поддержать новую инициативу, лишь бы только она имела конкретный характер и не грозила уменьшить их авторитет. Авторитет, — это для них было самое главное, речь могла идти только о его усилении. Однако опыт показывал, что на той стадии, на которой находилось тогда Сообщество, решения стопорились на уровне министров: собравшись вместе, они вели себя как защитники своих национальных администраций. Было бы бесполезно их за это упрекать или уговаривать взглянуть более широко на интересы, выражать которые они были призваны. В силу естественного закона бюрократического тяготения, они приезжали в Брюссель, вооруженные материалами, которые для них готовили их чиновники, и зал заседаний европейского Совета превращался в арену для разрозненных технических дискуссий, которые ни к чему не вели, поскольку продолжало действовать правило единогласного принятия решений. Все происходило так, как будто решение европейских проблем относилось к компетенции национальных государств, в то время как ни в одной стране не было даже соответствующих центров принятия решений. Европа страдала не столько от эгоизма отдельных государств, сколько от их безответственности. Эту ситуацию надо было исправлять.

Саммит, созванный Помпиду, пытался найти решение в этом направлении, но размах был широк, а результат скромнен. Ответственность за слишком отдаленные сроки ложилась на всех вообще и ни на кого лично. Что из этого получилось, мы увидели очень скоро. Следующая встреча была назначена на 1975 год, как будто полученный импульс был настолько силен, чтобы его хватило на два года. Хотя это совещание было несравненно реалистичнее предыдущих, которые ограничивались общими формулировками, оно не дошло до своего логического конца, состоявшего в том, чтобы создать верховный руководящий орган Европы, необходимый в переходный период от национального суверенитета к суверенитету общему.

Я был уверен, что дело можно начать заново на более прочных основаниях, если обратиться к здравому смыслу

людей, руководивших крупными государствами Европы. Я знал, что они меня послушаются, поскольку, соблюдая полную конфиденциальность, я мог принести каждому из них согласие остальных. Для этого надо было, чтобы мое предложение оказалось таким же простым, как мое понимание ситуации, и чтобы оно вело к укреплению одновременно их собственной власти и власти европейских институтов.

В последних числах августа я составил следующий проект:

«1. В настоящее время происходят международные перемены, имеющие важнейшее значение для будущего Европы. Судьбе каждой европейской страны может быть нанесен урон, последствия которого будут ощущаться на протяжении нескольких поколений, если эти страны не встретят происходящие перемены с ясным пониманием общих целей. Если Европа сама не позаботится о своем единстве, решения, касающиеся ее будущего, будут приниматься другими и за ее пределами.

Вот почему президент Французской Республики, канцлер Федеративной Республики Германии, премьер-министр Объединенного Королевства, председатель Совета Итальянской Республики, премьер-министр Бельгии, премьер-министр Дании, премьер-министр Ирландии, президент Люксембурга, председатель Совета Нидерландов, — стран, образующих Европейское Сообщество, решили образовать Временное европейское правительство в составе поименованных выше должностных лиц.

2. Временное европейское правительство следит за исполнением программы, которую его члены приняли в Париже 19–21 октября 1972 года.

По мере необходимости и после консультаций с председателями советов министров и с Комиссией европейских сообществ оно дает инструкции министрам, представляющим государства-члены в Совете европейских сообществ. Оно действует, полностью уважая уже подписанные договоры.

В течение шести месяцев оно образует организационную комиссию Европейского Союза. Оно дает ей необходи-

мые директивы. Оно принимает проект Европейского Союза, подлежащий последующей ратификации государствами-членами.

Институты Союза будут включать в себя европейское правительство и европейскую Ассамблею, избираемую всеобщим голосованием.

3. Временное европейское правительство собирается не реже, чем раз в триместр.

Его обсуждения ограничиваются кругом входящих в него лиц и не подлежат разглашению.

Временное европейское правительство не располагает собственным административным аппаратом. Оно назначает секретаря, обязанности которого ограничиваются протоколированием принимаемых решений».

Я не сомневался, что один из руководителей государств согласится взять на себя инициативу предложить этот текст другим. Но я хотел быть уверенным, что текст не подвергнется переводу, который может уменьшить его значение. Я решил подготовить к восприятию этого документа трех лидеров, чье присутствие во главе государств являлось большой удачей для Европы: Жоржа Помпиду, избранного в июне 1969 года, Вилли Брандта, ставшего канцлером в октябре 1969, и Эдварда Хита, ставшего премьер-министром в июне 1970 года. Они находили общий язык и учитывали позицию друг друга. Я знал, что они меня услышат. Сообщаться между собой, а также иметь контакты со мной, им помогали верные люди, с которыми я был хорошо знаком: Мишель Жобер, начальник кабинета у Жоржа Помпиду, а затем министр иностранных дел; Роберт Армстронг, начальник кабинета Эдварда Хита; Катрин Фокке (министр семьи и здоровья) и Вольф-Дитрих Шиллинг у Вилли Брандта. Мне, возможно, предстояло быть вдохновителем этой команды по активным дружеским связям. Я с самого начала взял за правило говорить со всеми откровенно и информировать каждого о позиции других. Таким образом, не должно было возникнуть никаких недоразумений.

Армстронг играл в окружении Хита большую и полезную роль. У меня с ним были дружеские отношения. Мы до-

говорились, что он организует мне встречу с Хитом 16 сентября. Узнав, о чем пойдет речь, он сказал: «Да, в Европе не хватает центра власти». 3 сентября я написал Брандту: «Я хотел бы приехать повидаться с вами в ближайшее время. Я думаю, что европейские институты много говорят, но мало действуют, и мы рискуем встать на самый легкий путь — ничего не решать. Все будущее наших стран — мы с вами часто об этом говорили — зависит от развития европейской организации. Решения Сообщества, если они вообще принимаются, чаще всего зависят от администрации. Высшая политическая власть стран не включена в поиски общих решений. Такая ситуация меня очень тревожит. Я думаю, что есть способ этому помочь, но мне нужна короткая встреча с вами». Эта встреча была назначена на 19 сентября. Я должен был предварительно получить согласие Помпиду на проект Временного европейского правительства, и я сообщил о нем Жоберу.

«Речь идет о том, — сказал я, — чтобы передать ответственность за европейские дела на уровень глав правительств, поскольку за ними всегда остается последнее слово. Сегодня каждый ответственный министр вступает в дискуссию, ссылаясь на инструкции, полученные от своего правительства. Отныне эти инструкции будут иметь общий источник. Однако подразумевается, что не будет никакого дополнительного делегирования суверенитета, а европейские институты сохранят все свои властные полномочия». — «Что касается меня, — ответил министр иностранных дел, — то я согласен, это хорошее предложение. Я только прошу вас убрать вот этот параграф: «Институты Совета будут включать в себя европейское правительство и Ассамблею, избираемую всеобщим голосованием». Этот вопрос руководители государств решат сами. Я покажу эту бумагу господину Помпиду во время визита в Китай на следующей неделе».

В воскресенье 16 сентября 1973 года я явился к завтраку в загородный дом Хита. Хозяин, в домашнем костюме, встретил меня с обычным дружелюбием. Погода была прекрасная. Армстронг присоединился к нам. «Надо создать у общественного мнения впечатление, что по европейским делам принято *решение*, — сказал я. — А то у людей такое ощу-

щение, что пока они только *обсуждаются*». — «Я с вами согласен, надо немедленно что-то делать, но что?» Тогда я показал ему свой проект. «Хорошо, — сказал он. — Это правильное направление. Но зачем делать публичное заявление о том, что мы собираемся делать? Достаточно того, что мы это сделаем, так будет лучше». — «Я, напротив, думаю, что достоинство этого проекта как раз состоит в том, чтобы воздействовать на людей, показать им, что Сообщество имеет центр принятия решений», — возразил я. — «Я согласен, — сказал тогда Хит, — но мне не нравится выражение «Временное правительство». У меня из-за него будут большие сложности. «Верховный Совет» подошел бы лучше. А вот собрания раз в три месяца — этого недостаточно. Почему не каждый месяц?» Мне снова пришлось возразить. Слишком частые встречи приведут к обсуждению технических вопросов. Эти собрания должны быть предназначены исключительно для решения политических проблем общего характера. Когда мы расставались, Хит подтвердил, что я могу сообщить о его согласии Брандту и Помпиду.

В среду 19 сентября я уже был в Бонне, в кабинете канцлера, вместе с фрау Фокке и Шиллингом. Бранд принадлежит к числу самых великодушных государственных деятелей, всегда готовых отозваться и внести свой вклад: он это доказал неоднократно, и его смелость заслужила ему глубокое уважение современников. Его человеческий, слишком человеческий, склад характера делал для него политическую деятельность более трудной, чем для других. Он был всегда открыт для идей, стимулирующих движение, и я был уверен, что в предложенном ему проекте он увидит возможность придать европейскому движению новый динамизм. Он внимательно прочел предложенный мной текст и сказал: «Надо действовать быстро. Если господин Помпиду возьмет на себя инициативу, я его поддержу».

Два дня спустя я проинформировал об этих беседах Жобера. Он, со своей стороны, рассказал мне, что передал текст Помпиду во время их поездки по Тибету. Он сообщил президенту, что сам не участвовал в составлении этого документа, но что он представляется ему чрезвычайно важным.

Помпиду прочел текст и сначала ничего не сказал. Но час спустя он пригласил Жобера к себе в купе. «Было видно, что он очень заинтересован, но я не могу вам сказать, пришел ли он к какому-либо заключению, — добавил Жобер. — Мне кажется, он проглотил наживку». Я спросил, не вызвало ли возражений наименование «Временное европейское правительство». «Наименование его не смущает, — сказал Жобер. — Зато ему не очень нравится организационная комиссия, создание которой вы предлагаете. Он думает, что собрания не должны происходить так часто».

Я не стремился встретиться с Помпиду, зная, что он предпочитает действовать без огласки, через своих сотрудников. Если он собирался проявить инициативу, то должен был сам выбрать, где и как это сделать. И вот, неделю спустя, он выступил на пресс-конференции:

«Не будет настоящего европейского единства до тех пор, пока не будет общей европейской политики. И не думайте, будто Франция настроена против этого, — совсем напротив. И если, например, существует мнение, что для более быстрого развития политического сотрудничества нужно, чтобы самые высокопоставленные руководители, не очень часто, но регулярно, встречались между собой, и только между собой, для обсуждения подобных вопросов, то я высказываюсь за это. Я готов не то чтобы взять на себя инициативу, но переговорить об этом с моими партнерами. Если мы придем к тому, что у нас будет общая европейская политика в отношении других стран, то препятствий к этому не будет».

Это было весьма прямое высказывание, для Помпиду — максимально прямое. Я так и написал Хиту и Брандту, которые должны были встретиться в Лондоне 8 октября. Теперь была очередь Хита взять слово, что он и сделал на съезде консервативной партии в Блекпуле: «Я полагаю, что у некоторых из моих коллег, руководителей правительств, уже возникла потребность в регулярных встречах, без многочисленных делегаций, для того, чтобы вместе направлять европейское Сообщество по намеченному нами пути. Я бы хотел, чтобы главы государств членов Сообщества встречались, может быть, два раза в год в сопровождении небольшого количества со-

трудников и в присутствии председателя европейской Комиссии: это будет что-то вроде саммита по делам, касающимся Комиссии. Я надеюсь, что мои партнеры откликнутся на инициативу такого рода. Целью наших собраний будет определение общих ориентиров европейской политики, поддержка движения к большему единству в области внешней и внутренней политики, в общем, — согласование важнейших вопросов Сообщества, с тем чтобы не возникало ненужных споров, которые, как представляется общественному мнению, нередко затрудняют обсуждения в Брюсселе».

Начало было положено. Брандт письменно выразил Помпиду свое согласие. Председатель итальянского правительства Румор выразил свое согласие в письме ко мне. Осталось убедить правительства Бенилюкса, определить процедуру приглашения и назначить дату. Последнее обстоятельство приобрело особое значение в связи с тем, что Никсон собирался посетить Европу в первые недели 1974 года и пошли разговоры о том, чтобы отнести встречу девяти глав государств на более поздний срок. Я же, напротив, считал чрезвычайно важным, чтобы они собрались раньше, дабы утвердить европейскую солидарность. Тогда изменилась бы вся атмосфера визита Никсона, который обнаружил бы, что Европа не разделена, как он думал, а едина и полна сил. Я сообщил свое мнение на Кэ д'Орсэ и в Елисейский дворец, где оно было воспринято положительно. Встречу решено было проводить в январе.

Но все закрутилось еще быстрее под воздействием серьезных событий на Ближнем Востоке. Война Судного дня потрясла мир и явилась повсюду испытанием для союзнических отношений. 31 октября Помпиду заявил на совете министров, что молчание Европы по поводу этого конфликта оставляло Соединенные Штаты и СССР в опасном состоянии двустороннего противостояния. «Мне кажется необходимым, — сказал он, — испытать и доказать прочность европейской солидарности, равно как и способность Европы способствовать решению мировых проблем. Французское правительство намерено предложить своим партнерам при-

нять принципиальное решение о регулярных встречах между руководителями государств без сопровождающих делегаций, чтобы сопоставить и согласовать их подходы в рамках политического сотрудничества. *Первая из этих встреч должна была бы состояться до конца 1973 года*».

Эта инициатива, которая сразу же была подтверждена в письмах, направленных в адрес восьми других правительств, удивила не только общественное мнение. Она вызвала растерянность в административных и дипломатических кругах, которые привыкли к тому, что совещания в верхах готовятся с соблюдением формальных правил, множеством людей, при участии всевозможных служб. Их сдержанность позволяла думать, что французская инициатива имела случайный характер. Но несколько дней спустя Бранд заявил: «Этот орган, нечто вроде конференции глав государств, регулярно собирающийся для делового, насыщенного и не стесненного никаким «протоколом» обсуждения проблем, встающих перед формирующимся союзом как во внешней, так и во внутренней политике, может стать прочной основой политического единства и важным шагом на пути к его формированию». Согласие было полным и глубоким, потому что оно было достигнуто между небольшим количеством лиц, способных принимать решения. Метод, который оправдал себя при создании Верховного Совета, будет также способствовать дальнейшему успеху его работы.

Конечно, возникли попытки сопротивления, особенно со стороны некоторых министров иностранных дел, не привыкших к тому, что руководители правительств берут на себя инициативу во внешней политике. Но главы государств поняли, что их авторитет усилится в результате такого порядка принятия решений, который предполагает всю полноту ответственности с их стороны. Я убедился, что именно так смотрит на дело премьер-министр Нидерландов ден Уйл, с которым я увиделся 15 ноября. Дело было только за тем, чтобы помочь сохранить лицо его министру иностранных дел и еще нескольким министрам других стран. Я убедил также Ортоли, председателя Комиссии Общего рынка, что институты Сообщества (которые будут представлены на всех дискуссиях,

имеющих отношение к их компетенции) очень выиграют от создания центра решений на самом высоком уровне, действующего при полном соблюдении существующих договоров. Я видел, что он озабочен, чтобы не оказались ограниченными полномочия его Комиссии, которой он руководил очень ответственно и прозорливо. «Вы получите большую свободу, — сказал я ему, — чтобы выступать со смелыми инициативами, которые не будут душиться в зародыше, как это часто происходит, когда дело зависит от технических министров девяти стран». Проект Временного европейского правительства никак не повредит плану Фуше, поскольку некоторое сходство между ними является только внешним. Если предполагалось, что Временное правительство будет собирать тех же людей — глав государств и правительств, — то не для того, чтобы создать громоздкий аппарат, призванный остановить и зафиксировать на определенном этапе сотрудничество европейских государств. Проект предлагал всего лишь метод принятия решений, но единственно эффективный метод для прохождения намеченных этапов на пути к европейскому единству.

Теперь уже никто не ставил под сомнение полномочия существующих европейских институтов; наоборот, все было направлено на расширение их компетенции, на результативность их работы и на развитие заложенных в них возможностей. Разочарование могло постигнуть только тех, кто думал, будто эти возможности имеют политический характер и будто европейское правительство возникнет в готовом виде из институтов Экономического Сообщества.

Действительно, цель Сообщества ограничивалась теми формами сотрудничества, которые были прописаны в договорах. И если мы всегда полагали, что эти формы солидарности будут распространяться на все новые области и постепенно приведут к широчайшей интеграции человеческой деятельности, то я знал, что их развитие остановится у той черты, где начинается политическая власть. Здесь придется снова что-то придумывать. Европейская экономическая Комиссия, Совет, Ассамблея, Суд — все это были, конечно, пред-федеративные учреждения, но еще не органы политической федерации Европы, которая могла возникнуть только в результате особого

творческого акта, требующего нового делегирования суверенитета. Нужно было вернуться к истокам власти, чтобы, сначала завершить экономическое объединение, слишком долго лишившееся порыва, а затем искать формы более глубокого и полного союза — федерации или конфедерации, этого я еще не мог сказать. Такова была цель Временного европейского правительства, идея которого день за днем обрела реальность.

Я не беспокоился по поводу того, под каким названием эта идея будет представлена Хитом, Брандтом и Помпиду, насколько далеко они пойдут в своих устремлениях. Какими бы ни были мотивы их осторожности, главное состояло в том, что они согласились с принципом и положили начало процессу. Остальное должно было последовать, и всем предстояло убедиться в силе этого механизма, чей успех должен был послужить подтверждением его эффективности. А реальность, которую он создаст, сама даст ему название.

Начало европейской власти

Когда идея соответствует потребностям эпохи, она перестает принадлежать людям, которые ее придумали, и становится более сильной, чем те, кто призван ее осуществлять. Она, естественно, встречает сопротивление, она нередко тормозится силой обстоятельств, но она не теряет из-за этого шансов на успех. В ноябре 1973 года все благоприятствовало идее Европейского Совета, даже международный кризис, казалось, толкал к ее осуществлению. Сообщество хотело продемонстрировать свое единство перед лицом американцев и ради умиротворения на Ближнем Востоке. В ответ на призыв Помпиду датское правительство пригласило своих коллег собраться в Копенгагене. Были подготовлены конкретные решения, выражающие единую позицию Девяти стран по вопросам региональной и энергетической политики, и ко мне обратились с просьбой высказать свое мнение.

И вот в этот-то оптимальный момент вдруг все поменялось. Историки смогут более ясно увидеть причины и определить ответственность за то, что произошло. Как бы там ни

было, но застигнутые врасплох объявлением эмбарго со стороны нефтедобывающих стран и буквально смятые давлением дипломатических служб руководители государств и правительств потеряли контроль над подготовкой своей встречи и допустили ее превращение в классическую международную конференцию с огромным количеством экспертов. Иллюзорные поиски частных выгод показали, более, чем когда-либо, слабость европейских государств, каждое из которых действовало в соответствии с собственными возможностями. Что осталось от заявлений, сделанных несколькими неделями ранее самыми высокими должностными лицами Сообщества? Ничего, за исключением смутного намерения встречаться почаще. Неудача была слишком очевидна, перемена некоторых подходов слишком поразительна, чтобы можно было считать все это случайным происшествием. В подобных случаях, не остается ничего другого, как только ждать, чтобы порядок восстановился в силу необходимости.

Ждать — это не в моем характере. Я видел, что конфликт на Ближнем Востоке мог обостриться в любой момент, а конфронтация между Израилем и арабами не казалась мне более непреодолимой, чем было на протяжении двух третей века франко-германское противостояние, которое теперь отошло в прошлое. Для этого не потребовалась сила оружия и сложная дипломатия: достаточно было определенного метода, который изменил состояние умов и устранил сами причины соперничества. То, что разделяло людей, стало их общим достоянием, и так могло быть во всех частях света. Кто сумеет убедить арабов и израильтян, что у них имеются общие масштабные задачи, которые они сумеют разрешить только объединив свои ресурсы на землях, которые они сейчас оспаривают друг у друга? — Этого я не знал. Но я был уверен, что тот процесс перемен, который, вопреки всем ожиданиям, успешно шел в Европе, осуществим везде, где люди еще продолжают стремиться к господству и предпочитают решать свои споры с помощью оружия. Я приходил к заключению, что объединение европейцев имеет значение не только для них самих, что оно может послужить примером для других народов, и это было для меня дополнительным стиму-

лом. Однако, уже приближаясь к цели, мы снова явили миру печальную картину эгоизма и разобщенности. Значит, надо было делать заново, с помощью тех же людей, то, что не удалось сделать сразу.

Было условлено, что новый саммит состоится в конце мая. До этого времени следовало провести сессию Комитета борьбы, и я подготовил для нее один документ. В нем говорилось: «Мы теперь живем в новой эпохе и должны изменить свои методы: надо перестать объявлять и не делать... При разрешении всех важных вопросов, внешних или внутренних, возникает одно и то же препятствие. Практика европейских государств на сегодняшний день не позволяет нашим странам эффективно действовать сообща, идет ли речь о валютных проблемах, об энергетике или об отношениях с Соединенными Штатами. Мы вовлечены в процесс, который замкнут на себя. Совершенно очевидно, что назревшие вопросы требуют совместных действий. Однако возникающие разногласия оттягивают их решение, ведут к тому, что страны действуют по одиночке, что, в свою очередь, замедляет и затрудняет необходимые совместные усилия.

Надо разорвать порочный круг, когда общие интересы стран Сообщества не обеспечены необходимыми средствами. Существующие в настоящее время европейские институты не обладают достаточной силой, чтобы сделать это самим. Но, опираясь на них, главы правительств могут это сделать».

Я знал, что описанная мной ситуация сохранится до тех пор, пока главы правительств не объединятся в некий орган, способный действовать коллективно и обладающий процедурой исполнения принимаемых решений. Документ, распространенный мной в марте, содержал предложения, на углубленную разработку которых у меня не было времени. В руководстве государствами произошли изменения, снова внесшие неопределенность. Вильсон сменил Хита 5 марта, а Шмидт — Брандта 14 мая. В промежутке между этими событиями умер Помпиду. После того, как президентом 19 мая был избран Жискара д'Эстен, оказалось, что у трех крупнейших европейских стран появились новые руководители. Хит и Брандт бы-

ли моими друзьями. Со свойственной им самоотдачей они активно включились в борьбу за объединенную Европу. Помпиду последовал за ними окольными путями, повинувшись разуму и необходимости. Они были готовы придти к общему мнению и, возможно, их ближайшая встреча загладила бы неудачу предыдущей. Теперь, когда все изменилось, я старался не поддаваться пессимизму. Я не хотел видеть знак судьбы в обыкновенном стечении обстоятельств. Суть вещей не изменилась, и реалистически настроенные политики, принявшие эстафету, в свою очередь придут к тем же решениям.

28 марта я был принят Вильсоном на Даунинг-стрит. Я нашел его неуверенным, озабоченным националистическим настроением левого крыла лейбористов и готового к уступкам для поддержания единства партии, — но не настолько, чтобы выйти из Общего рынка. Мне оставалось только надеяться на его умелость. «Мы не будем требовать пересмотра Римских договоров, — сказал он мне, — но всего лишь некоторых изменений в договоре о вступлении». — «Даже и этого я не советовал бы вам делать, — ответил я. — Это значило бы открыть дверь для пересмотра всех других договоров». — «Я предоставлю Каллагену полную свободу». — «Будьте осторожны в этом важном деле, ведь именно вам придется нести ответственность за успех или поражение».

Я понял, что он будет ждать до последнего момента, прежде чем пустить в ход свое влияние. В марте я был очень обеспокоен, видя, что ход европейской политики зависит теперь исключительно от связки Помпиду—Брандт, которая была не надежна. Но спустя два месяца все переменялось: у Жискара и Шмидта были прекрасные отношения, установившиеся еще тогда, когда оба были министрами финансов. Между этими деятелями было поразительное сходство: они принадлежали к новому поколению, не так тесно связанному с трагическим прошлым Европы; они имели репутацию способных управленцев. Но я видел также и различия, позволявшие им дополнять друг друга. Жискара обладал более аналитическим складом ума, Шмидт — большей готовностью к принятию решений. Вместе они могли вдохнуть жизнь во франко-германские отношения и увлечь за собой других.

Франции предстояло председательствовать в Сообществе во второй половине 1974 года, и Жискара решил взять на себя инициативу. 19 сентября он принял меня по моей просьбе. В этом удачливом человеке не чувствовалось никакого страха перед будущим, ни малейшей узости взгляда. Его ум был открыт для перемен, и единая Европа была для него естественным этапом. Будет ли его способность к действию на уровне его выдающегося ума и благородного сердца — этого я не знал. Я пришел, чтобы предложить ему метод коллективного принятия решений. «Мне кажется, — сказал я ему, — что в европейских делах острее всего ощущается вакуум власти. Дискуссии у нас организованы хорошо, решения — нет. Существующие европейские институты сами по себе не обладают достаточной силой. Озабоченный таким положением, я вручил ровно год назад господам Помпиду, Хиту и Брандту вот эту записку, которою сейчас передаю вам. В ней предлагается начать создавать европейскую власть. Все трое высказали свое согласие. По просьбе Жобера я вычеркнул фразу: «Институты Союза будут включать европейское правительство и европейскую Ассамблею, избираемую всеобщим голосованием». Я бы хотел ее восстановить». — «Я намерен продолжить эту линию, — ответил Жискара. — Я отношусь положительно к регулярным совещаниям руководителей государств и правительств, — это будет настоящий Европейский Совет. Я также думаю, что следует назначить срок, до истечения которого должны состояться европейские всеобщие выборы. А потом надо будет отказаться от принципа единогласия и принимать решения квалифицированным большинством». Мы договорились, что я ему позвоню после того, как повидаясь с Гельмутом Шмидтом.

Во время нашего часового разговора я не почувствовал со стороны президента ни малейшего отталкивания, никакой уклончивости, и, выходя из Елисейского дворца, мог себе сказать, что Жискара д'Эстен стоит на правильном пути. Но я отдавал себе отчет, что дорога будет крутой. «Европе еще долго придется переживать трудности, — сказал я журналистам. — Впрочем, было бы серьезной ошибкой полагать, будто возможен прогресс без трудностей». — «Что надо делать?» — спро-

сили у меня журналисты. — «Продолжать, продолжать и продолжать...» — ответил я, и они удовлетворились таким ответом, потому что видели, что именно так я действовал на протяжении двадцати пяти лет и что за это время, несмотря на все кризисы и зигзаги истории, построение Европы неуклонно продолжалось по намеченному нами плану. Что же касается меня, то я продолжал искать ответ на главный вопрос: как создать общую власть, способную реально осуществить желание европейцев жить в общем доме? Последние опросы показывали, что именно этого хотело большинство европейцев.

16 октября я был в Бонне, в кабинете канцлера. Я нашел Шмидта настроенным чрезвычайно решительно. Хотя я знал его волевой характер, даже я был удивлен твердостью его намерения идти рука об руку с Жискаром. «Я всеми силами поддержу его инициативу», — сказал он мне. — «Совместная франко-германская инициатива была бы лучше, чем французская инициатива, поддержанная Германией», — заметил я. — «Согласен», — ответил он. — главное, чтобы не было разрозненных национальных действий, но общее европейское действие». Продемонстрировать конкретное единство Европы следовало прежде всего в области региональной политики. Шмидт был готов двигаться в этом направлении, но его заботила необходимость убеждать англичан оставаться в Сообществе. «Надо, чтобы их присутствие в Сообществе стало реальностью», — сказал он. — Я буду говорить об этом с Вильсоном в ближайшее время». Действительно, такой разговор состоялся в Лондоне, и после этого Вильсон сделал решительный выбор в пользу Европы.

С согласия Шмидта, я подробно информировал о нашей беседе Жискара. Я также сообщил ему о моем разговоре с бельгийским премьер-министром Тиндемансом, человеком разумным и очень благожелательным. Таким образом, все стало на свои места, и нити, которые казались разорванными весной, были вновь соединены. Совместный властный орган Сообщества был формально учрежден 10 декабря, когда, закрывая собрание Девяти, Жискар заявил: «Саммит умер, да здравствует Европейский Совет!» Свои выводы из этого события я изложил в письме к членам Комитета борьбы:

«Главы правительств показали свою способность договариваться. Они решили регулярно собираться вместе не менее трех раз в год. Занимаясь делами Сообщества, они будут соблюдать существующие договоры, как мы того и требовали в 1962, затем в 1964 и наконец в 1969 году. В соответствии с договором и со здравым смыслом, они объявили, что в работе Совета они перестают руководствоваться правилом единогласного принятия решений по всем вопросам и что с 1978 года европейская Ассамблея будет избираться всеобщим голосованием, как мы и предлагали много раз, начиная с 1964 года. Наконец, господину Тиндемансу поручено подготовить доклад о Европейском Союзе к концу 1975 года».

Ничего, кроме чувства глубокого удовлетворения, не могли испытывать члены Комитета, в течение долгого времени употреблявшие все свои силы и влияние для достижения этих результатов. Теперь перед европейскими учреждениями открывалось широкое поле деятельности, на котором они могли использовать ту часть суверенитета, которая была им делегирована. Но для эффективной работы, они нуждались в том, чтобы правительства, движимые общей волей, действовали как единая европейская власть, чтобы они были готовы делегировать новую порцию суверенитета, необходимую для того, чтобы Европейский Союз стал реальностью. Созданный Европейский Совет являлся высшим органом, способным принять такое решение. Важнейший шаг был сделан. Как должен был действовать Комитет борьбы в этих новых условиях? — Вот вопрос, который я поставил перед собой.

Корни Сообщества

В начале 1975 года я готовился провести консультации с членами Комитета, оказывавшими мне доверие в течение двадцати лет. Я собирался обсудить с ними, как действовать в дальнейшем, чтобы помочь построению единой Европы. Насколько уместна стала для Комитета та роль центра политических решений, которую он взял на себя в момент, когда правительства не хотели или не могли конституироваться в качестве такого центра? Будет ли его деятельность столь же

эффективной теперь, когда самые высокие представители власти в государствах решили взять в свои руки судьбы Сообщества? Эти государственные деятели, решившие регулярно собираться в качестве Верховного Совета, располагали, вкупе с европейскими учреждениями, мощнейшими инструментами получения информации и подготовки решений. Наш Комитет, который помог создать и привести в движение эти механизмы, казался мне теперь менее необходимым и менее приспособленным к новым условиям. Конечно, он еще мог быть полезным, но его задачи становились более скромными сегодня именно потому, что он добился тех высоких целей, к которым стремился вчера.

Когда влияние, как говорят, сходит на нет, то чаще всего это бывает связано с тем, что его сила переходит в тот предмет, на который оно было направлено. Комитет передал живому организму Сообщества большую часть энергии, которой он был заряжен. Главные политические и технические принципы, которые он упорно стремился внедрить во властные структуры, на уровне парламентов и правительств, были приняты к исполнению. Насколько необходимы были наши терпеливые инициативы теперь, когда регулярно собирающийся Совет руководителей правительств и государств имел возможность привести в движение быстрые и эффективные механизмы для исполнения своих решений? А если и эти механизмы окажутся бессильными, то каких результатов можно ждать от опосредованного политического давления? По истине, с Европейским Советом, именно как самым высоким органом, были связаны величайшие надежды и, соответственно, величайший риск. Мы не могли ему указывать, как действовать. Надо было на какое-то время оказать ему полное доверие и предоставить всю полноту ответственности.

Таковы были выводы, которые я хотел обсудить со своими друзьями из Комитета в течение марта, посетив каждого из них в его столице. Поскольку Комитет уже не мог функционировать, как прежде, я думал, не лучше ли будет его распустить, чем законсервировать в бездействии. Каждая вещь обладает своим собственным ритмом. Если мы слишком замедлим ритм наших встреч, укреплявших согласие между нами,

не возникнет ли трещина в коллективе, чье единство поддерживалось именно движением? А продолжать движение по привычке, без глубокой необходимости и внутренней убежденности, вряд ли имело смысл. Если будут повторяться кризисы, подобные тому, который привел к созданию Комитета, всегда можно будет образовать новую силу. На самом деле, точных повторений не бывает, и потому я не хочу придумывать сегодня ответ на гипотетическую ситуацию, которая может возникнуть завтра. Если Европейский Совет, взявший в свои руки руководство Сообществом, потерпит неудачу один, или даже несколько раз, в этом не будет ничего удивительного, так как ни одно большое предприятие не обходится без больших трудностей. Если же он не найдет в себе сил, чтобы довести дело до успешного завершения, что ж, тогда мы будем искать новые пути к совместному решению.

Личные обстоятельства сняли мои последние колебания. В феврале я серьезно заболел, и, когда несколько недель спустя пошел на поправку, врачи мне категорически запретили отправляться в запланированные мной поездки. Поэтому я поручил Конштамму и Ван Эльмону встретиться от моего имени с самыми давними членами Комитета, сообщить им о моем окончательном решении отказаться от работы в Комитете и проконсультироваться с ними относительно дальнейшей судьбы организма, который мы вместе создавали и приводили в действие. Все они, от Брандта и Хита до Румора и от Плевена до Малагоди и Тиндеманса, пришли к заключению, что определенный этап в нашей работе завершился и что с моим уходом Комитет прекращает свое существование. Никто не испытал горечи в связи с моим решением, но все выразили желание и далее поддерживать личные дружеские связи и просили Конштамму продолжать быть центром этого активного дружеского общения.

15 апреля я разослал всем членам Комитета письмо с изложением выводов, к которым мы пришли сообща. Это письмо я сделал достоянием гласности. В нем я писал в частности: «Лично я собираюсь взять паузу для размышлений и отдыха. Я начал писать книгу, которая, как я надеюсь, поможет понять то, что мы сделали, философскую идею и глу-

бокие причины, толкнувшие наши страны к объединению. Я сложу с себя мои функции 9 мая, в день, когда двадцать пять лет тому назад было предложено создание Верховного органа власти и европейского Объединения угля и стали».

Эта годовщина была отпразднована не без торжественности. В церемонии принимали участие два руководителя государств, Валери Жискар д'Эстен и Вальтер Шеель, в присутствии председателей правительств. Церемония происходила в Салоне часов на Кэ д'Орсэ, где в свое время Робер Шуман выступил с призывом к франко-германскому примирению и европейскому единству. Как и тогда, я вновь оказался среди публики, в том же зале, и рядом со мной, как и раньше, сидела Сильвия, сидели мои старые, сохранившие верность сотрудники, и все это означало для меня завершение определенного этапа моей жизни. У меня нет суеверного отношения к датам и юбилеям, но этот двадцатипятилетний отрезок времени я ощутил как меру затраченных нами усилий; вспоминая, как начиналась весна Европы, мы подводили некий итог.

Я покинул Салон часов, но не для того чтобы вести созерцательную жизнь человека, вышедшего в отставку: я чувствовал, что книга, которую я задумал, потребует для своего завершения всех моих сил и всего времени. Чем бы ты ни занимался, если ты хочешь добиться настоящего успеха, это требует полной самоотдачи, до последнего предела физических сил. Людям не следует удивляться, если они терпят неудачу в делах, которыми они занимаются отчасти, попутно с другими. Мне никогда не удавалось хорошо сделать дело, если мне приходилось разрываться между несколькими задачами. Я принадлежу к числу людей, которые могут посвящать себя только одной идее и только одному делу зараз, — и уверяю вас, что это дается нелегко. Это вообще невозможно, когда занимаешься, например, политикой, — потому я ей и не занимался. Написание книги требует тотальной концентрации; это совсем другое дело, чем составлять текущие бумаги. По правде говоря, я стал думать о книге только в последнее время, потому что раньше я был целиком сосредоточен на действии, я не мог упустить представлявшиеся мне возможности

вмешаться в ход европейских дел. У меня не было ни времени, ни склонности записывать обстоятельства моей жизни, чтобы потом использовать эти записи в мемуарах. Жить и наблюдать за своей жизнью — это две разные позиции, для меня не совместимые.

Впрочем, для меня ничего не изменилось. И если я решил рассказать о событиях, в которых принимал участие, то не для того, чтобы вновь пережить прошлое, и не для того, чтобы в библиотеках появился еще один том по истории. Моя цель — убедить тех, кто будет меня читать завтра, в глубокой необходимости европейского объединения, которое следует продолжать неустанно, несмотря на все трудности.

Когда человек накопил некоторый опыт действия, то, стараясь передать этот опыт другим, он продолжает действовать. И наступает такой момент, когда лучшее, что ты можешь сделать, — это научить других делать то, что ты считаешь правильным. Существует один метод построения Европы, только один в данное время. Наше время — это все еще время Европейского Сообщества, время делегирования суверенитета европейским организациям: это единственный способ обеспечить независимость и прогресс нашим народам, мир — этой части света. Вот что я хотел сказать в книге, которой собирался посвятить все мои силы и все мое время.

Члены Комитета поняли, что я уйду вовсе не потому, что мной овладело разочарование, — наоборот! «Мы получили редкую возможность, — писал я им, — непосредственно содействовать тому, что сначала было только идеей, а затем начало становиться живой великой реальностью нашей эпохи: объединению европейских стран. После двадцати лет успешной работы рука об руку с европейскими институтами над сближением народов в духе свободы — Комитет завершит свое существование 9 мая 1975 года». Таков был результат нашей общей договоренности. Все члены Комитета написали мне взволнованные письма, выражавшие твердую убежденность в правильности одушевлявших нас идей, которые, хотя и были связаны с воспоминаниями о прошлом, сохраняют свою актуальность в настоящем: среди них я не вижу ни одной, которая не могла бы послужить и в будущем.

9 мая 1975 года я вернулся в Ужаррэ, впервые свободный от всех общественных обязанностей. На моем столе лежал набросок книги: ей предстояло стать моим новым делом, к которому я был менее всего подготовлен. Теперь, когда она приближается к концу, когда я уже исписал столько страниц от первого лица, могу ли я заявить, не вызывая улыбки читателя, что не люблю говорить о себе? Если я пишу о моем опыте, то лишь потому, что это вещь, наиболее мне известная, и что она может быть полезна другим. Я мог бы написать книгу как руководство к действию, но я не доверяю общим идеям и не позволяю им уводить меня слишком далеко от конкретных вещей. Я рассказал о драматических событиях, которые пережил лично, и об уроках, которые я извлек из ошибок, дабы они не повторялись. Главная задача состояла в том, чтобы сделать опыт одного индивида достоянием других, а для этого лучше всего рассказать историю этого индивида. Потому-то я и избрал новую для меня форму повествования от первого лица.

Один мудрый человек, Дуайт Морроу, с которым я познакомился в Соединенных Штатах, имел обыкновение говорить: «Есть две категории людей: те, кто хочет *стать кем-то*, и те, кто хочет *сделать что-то*». Множество раз я убеждался в справедливости этого высказывания. Многие выдающиеся люди имеют главной целью создать свой имидж, сыграть роль. Они полезны для функционирования общества, в котором имиджи занимают большое место, а твердость характера необходима для управления материальными процессами. Но, как правило, движущей силой развития становится другая порода людей: они ищут прежде всего подходящие места и моменты, чтобы вмешаться в ход событий. И далеко не всегда это те места и моменты, которые кажутся наиболее подходящими большинству людей. Поэтому люди этого типа должны отказаться от того, чтобы занимать переднюю часть сцены.

Мой друг Дуайт Морроу относил меня ко второму типу. И действительно, я не помню, чтобы когда-нибудь говорил себе: «Я стану тем-то». Но я не помню также, чтобы я когда-нибудь говорил: «Я сделаю то-то». То, что я делал и о чем рассказываю в этой книге, рождено под влиянием бла-

гоприятных обстоятельств, которыми я всегда был готов воспользоваться. Такая готовность ума, или такая открытость, быть может, и есть самое главное для действия. Жизнь щедро предоставляет возможности для действия, но надо знать, как их использовать, а для этого — долго готовиться и уметь их распознавать. Надо научиться направлять события к желаемой цели. Моей целью была организация коллективной деятельности. Я хотел бы указать путь к ней более молодым людям, которые стремятся сделать свою жизнь полезной для других.

В то время как я пишу эти строки Сильвия, установившая мольберт в соседней комнате, заканчивает картину. Ей нравится освещение в этой комнате, выходящей в сад, но на ее полотне возникают не те цветы, которые цветут в Ужаррэ: это цветы всех садов, в которых мы побывали за свою жизнь. Вот эти, белые и стройные, напоминают Китай и наш дом в Шанхае. Я знаю, что завтра она снова примется за пейзаж острова Ре, который я считал законченным, но которому, действительно, не хватает чего-то, — Сильвия теперь ясно видит, чего именно...

Ничто никогда не бывает по-настоящему законченным, но надо обладать талантом, чтобы остановиться в нужный момент, когда избыток старания грозит нарушить равновесие. Сильвия спрашивает меня, что я думаю по поводу ее картины, потом я прочитываю ей несколько страниц, чтобы узнать ее мнение. Каждый из нас прислушивается к мнению другого, но определить момент, когда надо остановить поиски, — это дело инстинкта. Сколько раз мне приходилось говорить моим сотрудникам, увлеченным азартом бесконечных усовершенствований: «Стоп, мы нашли правильное решение, больше ничего не меняем, а то все испортим». Хоть это и трудно, но надо не упустить момент. Вчера я уговаривал Сильвию еще чуть-чуть доработать портрет молодой женщины, встреченной нами в Китае сорок лет тому назад. Я был не прав: естественная незавершенность — это принадлежность истинного искусства. Нужна большая мудрость, чтобы отложить кисть или прекратить какую-то форму деятельности. Давайте остерегаться перфекционизма.

Прошел год с тех пор, как я вернулся в этот дом с соломенной крышей и голубыми ставнями, окруженный большим садом, который переходит в волнистую равнину Иль-де-Франса. Я выхожу мало, ко мне приходит тот, кто хочет. Мои посетители рассказывают мне о событиях, которые их беспокоят. Я могу их понять, но и они должны знать, что создание Европы — это грандиозный сдвиг, требующий длительного времени. Естественно, им хочется поскорее довести до конца свои начинания, но нет ничего опаснее, чем принимать трудности за поражения. Возможно, им кажется, что в своем сельском уединении я слишком отстранился от текущих событий, слишком отдалился от них. Они вспоминают, как еще недавно я призывал к спешным действиям. Действовать, в самом деле, надо без промедления, пусть это знают те, кто призван к деятельности сегодня. Но при этом пусть они воспитают в себе необходимое терпение и упорство в преодолении препятствий.

А препятствий, можете не сомневаться, будет становиться все больше по мере приближения к цели, потому что в построении Европы, как и во всяком деле, люди оставляют самые сложные вопросы на потом и движутся вперед, толкая перед собой все возрастающую гору трудностей, разбираться с которыми придется их преемникам. Я не тревожусь, видя впереди столько препятствий, — ведь те, которые нам пришлось преодолеть в прошлом, были не меньшими, и было их не меньше. В этом отношении ничего не изменилось и не изменится. Единственное отличие: что-то началось и уже не остановится. То, что было предпринято двадцать пять лет тому назад, когда решимость покончить с прошлым, основанным на насилии, толкнула нас к совместным действиям ради общей цели, и сегодня остается той необходимостью, которая теперь срослась с реальностью нашего существования.

Я гуляю по саду с моими гостями. Я спускаюсь к маленькому домику у края луга: сюда на уик-энды приезжают моя дочь Марианна со своим мужем Жераром Либерером. Их дети, Жан-Габриэль, Катрин, Жан-Марк и Мари, бегут впереди нас. Теперь у меня есть время, чтобы уделить им внимание; я вникаю в разнообразие их постепенно складывающихся ха-

ракторов. На дороге, ведущей в Базош, я встречаю моего соседа Пьера Виансон-Понте. «Здравствуйте, месье Монне!» — приветствует он меня. Некоторое время спустя, на страницах газеты «Le Monde» я прочту под таким же заголовком изложение наших бесед, оживших под его изящным пером.

Сменяются времена года; раньше я никогда не видел, как они плавно переходят одно в другое, мне мешала городская суета. Мне говорят: «В этом 1976 году в Европе не будет весны». Может быть. Однако не следует все время смотреть на календарь. Надо предвидеть этапы, а не календарные сроки, руководствоваться направлением, а не встречами в пути. Среди месяцев, протянувшихся между 1976 и 1978 годом, нет ни одного, который был бы отмечен роковым знаком, и я не стану обращать внимание на даты. Зато я уверен, что поток времени несет нас ко все большему единству: это будет либо то объединение, которое нам удастся создать, либо то, с которым нам придется смириться. Если мы не создадим объединение, живущее по демократическим законам, нас ожидает объединение, построенное на грубой силе. В любом случае, время разрозненных действий наших старых наций прошло. Мы миновали перекресток, где еще можно было выбирать дорогу. В 1950 году мы сознательно выбрали путь объединения, и потом уже никто не мог и не хотел с него сворачивать. Если идут споры, то это споры о формах. А споры необходимы для движения вперед.

Вот уже тридцать лет я прихожу в этот сад каждый вечер, за исключением люксембургского периода, который я провел в саду другого дома, в Брихерхофе. Для меня этот сад не имеет границ, ибо природа принадлежит тем, кто любит ходить. По утрам я углубляюсь в окрестные леса, где мне знакома каждая тропинка. У меня есть маршруты, которые кажутся бесконечными. Очень важно для состояния духа начать день с широкого пространства. В Лондоне за порогом моего дома начинался парк Сент-Джеймс. А Вашингтоне коттеджи на Foxhall Road стояли в лесу. Участки не были разгорожены заборами. Я не строю из себя знатока деревьев или птиц: они лишь естественная декорация для моих мыслей и та форма поэзии, которая мне близка.

Андре Орре объяснял мне вещи, связанные с землей. Свою жизнь он начинал в шахтах департамента Нор. С 1934 года он и его жена Амели, замечательная кулинарка, служат у нас в доме. Когда мы поселились в Ужаррэ (этот дом я купил в 1945 году), Андре переквалифицировался из метрдотеля в садовника. В Лондоне и Вашингтоне, где мы жили раньше, у него не было ни времени, ни места, чтобы выращивать овощи. Во Франции, сразу после войны, это было просто необходимо, и он вошел во вкус. В нем возродилась тяга к земле, свойственная его предкам. В то время как Амели умно и авторитетно руководила домом, он возился на огороде и среди цветов. Андре и Амели составляли прекрасную пару, связанную благородными чувствами. Они следовали за нами повсюду, включая и Люксембург, где очень помогли нашему устройству на новом месте. Потом они ушли на отдых и поселились в департаменте Нор. Их единственный сын, очень одаренный юноша, работал в одном из европейских учреждений. Когда он безвременно погиб в 1953 году в результате несчастного случая, его родители замкнулись в безмолвном и полном достоинства горе, которое нас потрясло.

Им довелось познакомиться со многими людьми в разных странах, и все они относились с большим вниманием к их суждениям, проникнутым здравым смыслом и простотой. Я как сейчас вижу Андре, беседующего на своем огороде с Уолтером Липманом в 1948 году, незадолго до президентских выборов в Соединенных Штатах. «Кто по-вашему выиграет, Дьюи или Трумэн?» — спрашивает Липман, который, как и большинство обозревателей, был уверен в победе Дьюи. Не переставая вскапывать грядку, Андре отвечает: «Конечно, Трумэн». — «Почему?» — удивляется Липман. Андре выпрямляется и объясняет: «Видите ли, это все равно как с деревьями. Три срока был Рузвельт, три раза демократы выигрывали. Это значит, корни глубоко вросли, сразу не выдернешь».

Корни Сообщества крепкие, и теперь они глубоко вросли в почву Европы. Они пережили засушливые годы и готовы к новым испытаниям. Внешний облик Сообщества меняется, и это нормально. На протяжении четверти века

сменились поколения, пришли люди с иными стремлениями, образы прошлого стираются, равновесие мира обновляется. Когда на фоне всех этих перемен мы видим постоянство европейского самоощущения и устойчивость европейских институтов, мы можем уже не сомневаться, что речь идет о мощном сдвиге, сравнимом с эпохальными событиями истории. Разве можно сказать, что силы, вызвавшие этот сдвиг, перестали действовать и уступили место иным силам? Я не вижу признаков появления иных сил. Напротив, я вижу, как все та же необходимость прокладывает себе путь сквозь все события, сотрясающие наши страны, заставляющие их то сближаться к общей выгоде, то отдаляться к общему вреду. Мы извлекли для себя ясный и не подлежащий забвению урок. Он запечатлелся в душе народов, но очень медленно доходит до их волевых центров, так как ему приходится преодолевать барьер, разделяющий инерцию — и движение, привычки — и перемены. Следует считаться со временем.

К какому завершению ведет нас этот процесс, к какому типу европейского единства, — этого я сегодня сказать не могу. Невозможно себе представить, какие решения будут приняты в контексте завтрашнего дня. Главное, не терять из вида ориентиры, направлявшие наше движение с первого же дня. Надо последовательно создавать между европейцами все более широкие зоны общих интересов, управляемые совместными демократическими институтами, которым будет передаваться необходимая часть суверенитета. Таков процесс, продолжающий идти, ломающий сопротивление, стирающий границы, за несколько лет сплывающий целый континент, подобно тому как на протяжении веков создавались наши старые нации.

Я никогда не сомневался, что этот процесс когда-нибудь приведет нас к Соединенным Штатам Европы. Но я не пытаюсь представить себе, в каких политических формах это произойдет: термины «федерация» или «конфедерация», вокруг которых сейчас идет спор, очень не точны. То, к чему мы идем через Европейское Сообщество, по всей вероятности, не имеет прецедентов. Само Сообщество зиждется на институтах, которые необходимо укреплять, отдавая при этом себе

отчет, что настоящую политическую власть, которую изберут себе когда-нибудь европейские демократии, еще предстоит придумать и осуществить.

Те, кто не хочет ничего предпринимать, потому что ход вещей не соответствует тому, что они первоначально задумали, обрекают себя на неподвижность. Никто не может сегодня сказать, какой будет Европа, в которой мы будем жить завтра, так как перемены рожают новые перемены, которые предвидеть невозможно. «Завтра будет другой день», — говорил мой отец, всегда стремившийся заглянуть вперед, на что моя мать, умеряя его порыв, замечала: «Каждому дню довольно его забот...» И правы были оба. Надо прокладывать свою дорогу день за днем. Главное — иметь четкую цель и не терять ее из вида.

Люди, приходившие в мой кабинет, бывали заинтригованы стоящей у меня на столе фотографией странного плота. Это был «Кон Тики», о котором тогда говорил весь мир и в котором я видел символ нашей деятельности. «Эти молодые люди, — объяснял я моим гостям, — выбрали направление и отправились в плавание, зная, что повернуть обратно они уже не смогут. Какие бы их ни ожидали трудности, у них была только одна возможность: продолжать движение вперед. Мы тоже плывем к нашей цели — Соединенным Штатам Европы, и обратного пути у нас нет».

Но время идет, а Европа замешкалась на пути, по которому уже прошла немало... Мы не можем останавливаться, когда весь мир вокруг нас находится в движении. Разве не ясно, что Сообщество, которое мы создали, — это не самоцель? Речь идет о механизме преобразований, продолжающем тот процесс, который в историческом прошлом привел к возникновению наших национальных форм жизни. Как некогда наши провинции, так ныне наши страны, если они хотят достичь размеров, необходимых для их прогресса, и стать хозяевами своей судьбы, должны научиться жить вместе, подчиняясь свободно принятым правилам и институтам. Суверенные нации, сложившиеся в прошлом, уже не способны решать проблемы сегодняшнего дня. Само Сообщество — всего лишь этап на пути к новым формам организации мира завтрашнего дня.

**РЕЗОЛЮЦИЯ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕЛЬСТВ,
СОБРАВШИХСЯ В ЛЮКСЕМБУРГЕ
1 И 2 АПРЕЛЯ 1976 ГОДА
В КАЧЕСТВЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОВЕТА**

Объединенная Европа, достигшая сегодня более чем двадцатипятилетнего возраста, уже сейчас является, несмотря на все лакуны и несовершенства, выдающимся достижением, в то время как проясняются надежды и перспективы дальнейшего углубления европейского единства.

Положительным итогом этого первого этапа, предшествующего продвижению к политическому объединению, мы в большой степени обязаны смелости и широте взглядов маленькой группы людей. В их числе Жан Монне сыграл одну из главных ролей, будь то в качестве вдохновителя плана Шумана, или первого председателя Верховного органа власти, или создателя Комитета борьбы за Соединенные Штаты Европы. В любом качестве и на всех должностях Жан Монне решительно боролся с силами инерции в политических и экономических структурах Европы с целью создать новый тип отношений между Государствами, выявить солидарность, фактически существующую между европейскими Государствами, и перевести ее в институциональный план.

Будучи реалистом, Монне исходил из экономических интересов, но при этом никогда не отступал от своей высшей цели — добиваться более широкого объединения людей и народов Европы во всех областях жизни. Среди превратностей европейского строительства мы иногда теряли из вида эту цель. Но она никогда не ставилась под сомнение. Сегодня, бо-

лее, чем когда-либо, она должна служить нам ориентиром, помогающим подняться над нашими текущими задачами управления, дабы они приобрели свое истинное значение и целостность.

Жан Монне недавно прекратил свою общественную деятельность. Посвятивший лучшую часть своего таланта благу Европы, он заслужил, чтобы Европа отдала ему особую дань признательности и восхищения.

Поэтому главы государств и правительств Сообщества, собравшиеся в Люксембурге и образующие Совет Европы, решили присвоить господину Монне звание почетного гражданина Европы.

Именной указатель

- Абади (Abadie) 248
Авеноль Ж. (Avenol Joseph) 114
Аденауэр К. (Adenauer Konrad)
335, 349–353, 357, 372–375,
382–383, 392–394, 414, 421–423,
428, 431, 433–438, 442, 446–447,
454–455, 459, 469–470, 491–492,
508, 518, 522–523, 525, 535,
538–541, 543, 562, 571–573,
578–579
Альдерс Ж. (Alders Jacq) 549
Альфан Х. (Alphand Herve) 258,
263–264, 271, 274, 397, 423, 429,
440, 443
Амиель А.-Ф. (Amiel Henri-
Frederic) 484
Андерсон Д. (Anderson John) 68,
75
Андре П. (Andre Pierre) 449
Арман Л. (Armand Louis) 495,
516, 518, 520–521, 525, 550
Армстронг Р. (Armstrong Robert)
622–623
Арнольд Г. (Arnold Henry H.)
141–143, 156, 160
- Асквит Г. (Asquith Herbert Henri)
90
Аттолико Б. (Attolico Bernardo)
61, 75, 97
Ачесон Д. (Acheson Dean) 185,
263, 325–326, 333, 360, 369,
372–373, 376–377, 420–421,
428–429, 442, 453, 466, 542, 558,
573
- Балладоре Ч. (Balladore Cesare)
461,
Бальфур А. (Balfour Arthur)
72–73, 90, 93–95, 101, 106, 110
Банди Д. (Bundy Mc George) 333,
542, 572–573
Барбер Э. (Barber Anthony)
607–608
Барр Р. (Barre Raymond) 611
Барро (Barrault) 34, 39, 43
Барух Б. (Baruch Bernard) 78, 83,
87–88, 212
Бевин Э. (Bevin Ernest) 201, 325,
328, 360, 369, 377, 385, 420–421
Бейен Д.У. (Beyen J.W.) 495, 498

- Бек Д. (Bech Joseph) 454–457, 469, 526
- Бенеш Э. (Benes Eduard) 104
- Бенон Ф. (Benon Fernard) 50–51, 53
- Бенуа-Мешен Ж. (Benoist-Mechin Jacques) 492
- Бер У. (Behr Winrich) 474
- Берар А. (Berard Armand) 381
- Бержере Ж.-М. (Bergeret Jean-Marie) 230, 247
- Бержерон А. (Bergeron Andre) 550
- Бернар Ж.-Р. (Bernard Jean-Rene) 610
- Бертуэн Д. (Berthoin Georges) 607
- Бивербрук У.М. (Beaverbrook W. Maxwell Aitken) 24, 188, 209, 211, 215
- Бидо Ж. (Bidault Georges) 320, 325, 327, 334–335, 337, 370–371, 416, 429, 487
- Бийу Ф. (Billoux Francois) 260, 314
- Бил Д. (Beale John) 61, 67–69
- Биренбах К. (Birrenbach Kurt) 549
- Бирнс Д. (Byrnes James) 309, 313, 325
- Бламон Э. (Blamont Emile) 469, 523
- Блан (Blanc) 252
- Блан Т. (Blank Theodor) 442
- Бланкенхорн Г. (Blankenhorn Herbert) 374, 382
- Блекетт Б. (Blackett Basil) 106, 109, 111
- Блок-Лэне Ж. (Bloch-Laine Jean) 154
- Блок-Лэне Ф. (Bloch-Laine Francois) 177, 323
- Блум Л. (Blum Leon) 26, 29, 299, 306–307, 310–313, 320–321
- Блэр Ф. (Blair Floyd) 120–121, 333
- Бодуэн П. (Baudouin Paul) 26–29
- Болл Д. (Ball George) 278, 333, 412, 542, 562, 573
- Бонне А. (Bonnet Henri) 30, 114, 249
- Бонне Х. (Bonnet Helle) 30, 170
- Бонифу Э. (Bonnefous Edouard) 347
- Бонте Ф. (Bonte Florimond) 448
- Бородин А. 131
- Ботро Р. (Bothereau Robert) 396, 403, 517, 549
- Боуи Р. (Bowie Robert) 333, 433–434, 573
- Бранд Р. (Brand Robert) 109, 170, 379
- Бранд Т. (Brand Thomas) 210
- Брандт В. (Brandt Willy) 394, 512–513, 549, 592, 602, 605, 610–612, 623–625, 628–630, 633, 638
- Братиану В. (Bratianu Vintila) 121
- Браун Д. (Brown George) 603, 609
- Бредли О. (Bradley Omar) 219
- Брентано Г. фон (Brentano Heinrich von) 470, 518, 549, 558–559
- Бриан А. (Briand Aristid) 59, 92,¹ 98, 101, 347, 371
- Бриджес Э. (Bridges Edward) 148, 150

- Брюс Д. (Bruce David) 331–332, 373, 429, 441, 467, 573
Бу Л. (Bou Libert) 339
Буассон П. (Boisson Pierre) 218, 244, 254
Буладу М. (Bouladoux Maurice) 509, 549
Булганин Н.А. 520
Буллит У. (Bullit William) 136–137, 140–141
Бургер Д.А.У. (Burger J.A.W.) 509, 517, 548
Буржуа Л. (Bourgeois Leon) 89, 93–95, 100–101, 105, 111
Бутби Р. (Boothby Robert) 347
Буффало Б. (Buffalo Bill) 45
Буше К. (Boucher Claude) 32
Бюроп Р. (Buron Robert) 544
Бюсе М. (Buset Max) 508, 517
- Вагенфур Р. (Wagenfuhr Rolf)** 462
Валензи К. (Valensi Christian) 273
Ван Дик А. (Van Dyck Antoine) 119
Ван Зееланд Р. (Van Zeeland Paul) 335, 454–455, 469
Ван Хельмонт Ж. (Van Helmont Jacques) 297, 461, 504, 637
Ванден Б.П. (Vanden Boeynants Paul) 549
Ванденберг А. (Vandenberg Arthur) 326
Ведель Г. (Vedel Georges) 515
Вейган (Weygand Maxime) 24, 172, 177, 205
Велленштейн Э (Wellenstein Edmund) 474
- Венер Г. (Wehner Herbert) 507–508, 513, 517
Венизелос Э. (Venizelos Eleuthere) 89
Венситтарт Р. (Vansittart Robert) 16, 19–20, 24, 168, 174
Верер А. (Wehrer Albert) 399, 402, 459
Вержо Ж. (Vergeot Jean) 296–298, 462
Вианссон-Понте П. (Viansson-Ponte Pierre) 643
Вивiani Р. (Viviani Rene) 47, 50–53, 93, 203
Вилье Ж. (Villiers Georges) 396
Вильсон В. (Wilson Woodrow) 79–83, 87–89, 91, 95–97, 111, 590
Вильсон Г. (Wilson Harold) 602, 606–609, 612–614, 631–632, 634
Винк Ф. (Vinck Francois) 462, 475
Виньи П. (Wigny Pierre) 541
Вуймен Ж. (Vuillemin Joseph) 137
- Гайар Ф. (Gaillard Felix)** 274, 279, 296–297, 329, 390, 449, 516, 525–528
Галифакс Э.Ф. (Halifax Edward F.) 16, 20
Гамбургер Р. (Hamburger Richard) 461
Гамильтон А. (Hamilton Alexander) 347
Гарриман Э. (Harriman Averell) 185, 326, 441, 444
Гаспар Р. (Gaspard Robert) 303
Гаспери А. де (Gasperi Alcide de) 455, 469–470

- Геринг Г. (Goering Hermann) 136
Гирш Э. (Hirsche Etienne) 258,
263–264, 271, 274, 280, 284, 286,
288, 295, 298–309, 318, 329, 343,
348, 359, 364, 366, 375, 379, 387,
391, 396–398, 402, 404, 409, 423,
433, 445, 453, 462, 550
Гитлер А. (Hitler Adolf) 12, 27,
135–136, 138, 162, 166, 205, 208,
213
Годе М. (Gaudet Michel) 474, 497
Голль Ш. Де (Gaulle Charles de)
17–25, 136, 153, 169, 171–176,
217, 223, 225, 229, 231–257, 260,
265–270, 273, 279, 283–284, 287,
290–293, 295, 299, 353, 451–452,
488, 529–531, 533–536, 538–544,
564–566, 568, 579, 581, 594–607,
610
Гравье Ж.-Ф. (Gravier Jean-
Francois) 296
Грандваль Ж. (Grandval Gilbert)
348
Грантер А. М. (Grunther Alfred
M.) 441
Грей Э. (Grey Edward) 90
Гренье Ф. (Grenier Fernand) 260
Гувер Г. (Hoover Herbert) 80–82
Гуэн Ф. (Gouin Felix) 260,
299–300, 305
Гуйо Ж. (Guyot Jean) 475, 481,
499

Даладье Э. (Daladier Edouard)
8–9, 136–137, 141–142, 146–151,
155, 157, 160, 163, 215
Даллес Д.Ф. (Dulles John Foster)
120, 135 467
Далтон Х. (Dalton Hugh) 388
Дарлан Ж. (Darlan Jean) 30, 218,
222–224, 228, 248
Дебре М. (Debre Michel) 449
Дейвснпорт Д. (Davenport John)
269
Декан Э. (Descamps Eugene) 549
Декарт Р. (Descartes Rene) 431
Делуврие П. (Delouvrier Paul)
296–297, 329, 339, 499, 528
Делькур Ж.-П. (Delcourt Jean-
Paul) 339
Денен Г. (Dehnen Hermann) 475
Дени П. (Denis Pierre) 100, 153,
173, 298
Деньо Ж.-Ф. (Deniau Jean-
Francois) 563, 617
Деусс Ф. (Dehousse Fernand) 471
Деффер Г. (Defferre Gaston) 515,
549
Джаккерио Э. (Giacchero Enzo)
460, 501
Джаннини А. (Giannini Amadeo)
123–124
Джей Д. (Jay Dean) 333
Джей Д. (Jay John) 347
Джеймс У. (James William) 453
Джонсон Л. (Jonson Lyndon) 573,
584, 585, 587, 591
Джордани Ф. (Giordani
Francesco) 520
Диллон Д. (Dillon Douglas) 573
Дом Л. (Daum Leon) 459, 500
Донз А. (Donze Henri) 127
Драммонд Э. (Drummond Eric)
90, 93, 96
Дрейпер У. (Draper William) 466
Друэн П. (Drouin Pierre) 528
Дуглас-Хом А. (Douglas-Home
Alec) 604, 607

- Дэвид-Вейл П. (David-Weill Pierre) 333
Дюверже М. (Duverger Maurice) 448
Дюге В. (Duguet Victorin) 304
Дюшен Ф. (Duchene Francois) 504, 511, 564, 608
- Елизавета I (Elisabet I) 487**
- Женжамбр Л. (Gingembre Leon) 231**
Жиро А. (Giraud Henri) 218, 222, 224, 228, 247–257, 259
Жискар д'Эстен В. (Giscard d'Estaing Valery) 549, 630–632, 635, 638
Жобер Мишель (Jobert Michel) 611, 622–625, 627, 633
Жокс Л. (Joxe Louis) 231, 245
Жорж Ж. (Georges Joseph) 242, 244–245, 249
Жуо Л. (Jouhaux Leon) 99, 300, 394, 397
Жюен А. (Juin Alphonse) 251, 426
Жюли П. (July Pierre) 524
- Иден Э. (Eden Anthony) 239, 245, 262, 335, 377, 389, 453, 465, 491**
Исмей Г. Л. (Ismay Hasting Lionel) 8–9, 162
- Каллендер Г. (Callender Harold) 376**
Калондер Ф. (Calonder Felix) 101–102
Камбон П. (Cambon Paul) 77
Каплан Л. (Kaplan Leon) 274, 279, 298
- Карли Г. (Carli Guido) 505, 609
Карту Ж. (Catroux Georges) 234, 237, 240, 242, 244–245, 249
Кей А. (Queuille Henri) 260
Кейнс Д.М. (Keynes John Maynard) 216
Кекапбэк Д. (Kaekanbeeck Georges) 102
Кениг М.П. (Koenig Marie-Pierre) 488
Кеннан Д. (Kennan George) 326
Кеннеди Д.Ф. (Kennedy John Fitzgerald) 542, 562, 565, 568, 571–576, 580, 583, 584–585, 588
Керзон Д. (Curson Georges) 57
Кизингер К. (Kiesinger Kurt) 508, 512, 607
Киндерслей Х. (Kindersley Hugh) 378
Кинон Л. де (Quinones de Leon (Jose Maria)) 100
Киссинджер Г. (Kissinger Henry) 549, 615–616
Клаппье Б. (Clappier Bernard) 350, 369–376, 381–383, 385, 397, 423, 563
Кларк М.У. (Clark Mark W.) 218–219
Клаэр В. (Klaer Werner) 475
Клейман Р. (Kleiman Robert) 333, 572
Клейтон У. (Clayton William) 326
Клемансо Ж. (Clemenceau Georges) 68, 77–78, 81, 87, 90–91, 93, 97, 203
Клемантель Э. (Clementel Etienne) 56, 60–61, 66–69, 72–74, 77–81, 83, 86–88, 93
Кобден Р. (Cobden Richard) 37

- Комер П. (Comert Pierre) 97, 114, 118, 136
Кохштамм М. (Kohnstamm Max) 462, 505, 511, 513, 523, 537, 564, 614, 637–638
Коо В. (Coо Wellington) 100
Корбен Ш. (Corbin Charles) 20–21
Корре А. (Corpe Albert) 460
Кот П. (Cot Pierre) 448
Кравелички Р. (Kravelicki Robert) 474
Краутер Д. (Crowther Geoffrey) 378
Криппс С. (Cripps Stafford) 291, 342, 343, 377, 380, 465, 552
Крюгер И. (Kruger Ivar) 121–122
Кув М.М. де (Couve de Murville Maurice) 249, 421, 534, 540, 563, 566, 596–598
Кул А. (Cool Auguste) 517, 549
Кэйдоган А. (Cadogan Alexander) 173–174
Кэмпбелл Р. (Campbell Ronald) 21–22
- Ла Мальфа Уго (La Malfa Ugo) 516, 548
Лаваль П. (Laval Pierre) 224
Лагранж М. (Lagrange Maurice) 433, 472–474
Лами А. (Lamy Andre) 438, 461
Ламур Ф. (Lamour Philippe) 300, 340
Лашамбр Г. (La Chambre Guy) 136–137, 142, 146, 154
Ле Брюн П. (Le Brun Pierre) 300, 304, 315, 322, 342
Лебрюн А. (Lcbrun Albert) 23, 26, 29
- Лейтон У. (Layton Walter) 108, 187–189, 335, 377
Леканюе Ж. (Lecanuet Jean) 598
Лекур Р. (Lecourt Robert) 474, 508, 549
Лефевр Т. (Lefevre Theo) 508, 517, 549
Лиленсаль Д. (Lilienthal David) 340
Линдберг Ш. (Lindbergh Charles) 156, 183
Липман У. (Lippmann Walter) 186, 333, 546, 642
Литлтон О. (Lyttleton Oliver) 215–216
Ллloyd Д.Д. (Lloyd Georges David) 67, 92, 96–98
Ллloyd С. (Lloyd Selwyn) 609
Лоран Ж. (Laurent Jean) 17–18, 153
Лунс Ж. (Luns Joseph) 541–542
Лушер Л. (Loucheur Louis) 60, 77–78
- Майер Р. (Mayer Rene) 148, 153, 249, 258, 271, 322–323, 328, 339, 362, 370–372, 374, 444, 448, 487–488, 499
Макартур Дуглас (Mac Arthure Douglas) 422
Макклой Д. (McCloy John) 185, 187, 205, 212, 218, 226, 239, 252, 263, 268, 381, 414, 423, 427–429, 433, 441–442, 573, 584
Макмиллан Г. (Macmillan Harold) 239, 241, 250, 256, 335, 389, 410, 553, 560–562, 565, 579
Малагоди Д. (Malagodi Giovanni) 516, 548, 638

- Мандель Ж. (Mandel Georges) 26
Манту П. (Mantoux Paul) 74, 97
Маншо С. (Mansholt Sicco) 525, 594
Мао Цзедун (Мао Tse-Toung) 132
Маржолен Р. (Marjolin Robert) 25, 258, 263, 271, 274, 280, 284, 288, 298–299, 315, 327–329, 337, 342, 505, 515, 521, 525, 527–528, 564, 595
Маршалл Д. (Marshall George) 192, 209, 211, 262, 323–326, 328, 330–331, 336, 338–339, 373, 427, 436, 440
Массильи Р. (Massigli Rene) 242, 244–246, 248–250, 260, 377, 380, 387
Маттеоти М. (Matteoti Matteo) 508
Мей С. (May Stasy) 205–207, 209–210, 277
Мейкинс Р. (Makins Roger) 464, 555
Мейн Р. (Mayne Richard) 505, 564, 606
Мелин Ж. (Meline Jules) 340
Мендес-Франс Пьер (Mendes France Pierre) 265, 426, 489, 497, 515, 524
Мерфи Р. (Murphy Robert) 218, 237–239, 250, 256
Мильеран А. (Millerand Alexandre) 53, 103, 111, 203
Миттеран Ф. (Mitterrand Francois) 335, 596
Модлинг Р. (Maudling Reginald) 608
Молле Г. (Mollet Guy) 394, 411, 446, 508–509, 512, 515, 516–519, 522–523, 549
Молотов В.М. 262, 325, 328
Монзи А. де (Monzie Anatol de) 66–68
Моник Э. (Monick Emmanuel) 25, 27–30, 217
Монне А. (Monnet Anna) 273
Монне Ж. (Monnet Jean) 77, 90, 137, 142, 148, 151, 178, 188, 216, 225, 250, 270, 323, 345, 370, 380, 394, 412, 433, 442, 518, 524, 561, 583, 646
Монне Ж.Ж. (Monnet J.G.) 36–38, 67–69
Монне М. (Monnet Marianne) 213, 273, 640
Монне М.Л. (Monnet Marie Louise) 113
Монне С. (Monnet Silvia) 17, 126, 166, 170, 180, 208, 239, 263, 273, 281, 375, 415, 497, 510, 582, 593, 638, 642
Монтень М. де (Montaigne Michel de) 53
Моргентау Г. (Morgenthau Henry) 139–142, 154, 156, 160, 166, 265
Моро Э. (Moreau Emile) 119
Морроу Д. (Morrow Dwight) 639–641
Мортон Д. (Morton Desmond) 15–16, 20–21, 168
Мох Ж. (Mosc Jules) 419, 426, 429, 440, 488
Мулен Ж. (Moulin Jean) 241
Мюрнан Ж. (Murnane George) 133–134, 333
Нассер Гамаль Абдель (Naser Gamal Abdel) 519, 521

-
- Натан Р. (Nathan Robert) 209–210, 278
Нельсон Д. (Nelson Donald) 212, 256
Ненни П. (Nenni Pietro) 512, 525, 602–605
Никсон Р. де (Nixon Richard de) 588, 627
Ногес А.-П. (Nogues Auguste-Paul) 170, 173, 218, 244, 247
Ноэль Э. (Noel Emile) 515, 522
Норман М. (Norman Montaigne) 108, 119, 406
- Обуэн Р. (Auboin Roger) 298
Олленхауэр Э. (Ollenhauer Erich) 507–508, 516–518, 523, 549, 617
Олсон Д. (Alsop Joseph) 333
Оренд (Aurand) 187, 210, 213
Ориоль В. (Auriol Vincent) 453
Орнано М. д' (Ornano Michel d') 549
Орре А. (Horre Amelie) 168, 355, 644
Орре А. (Horre Andre) 169, 355, 644
Ортоли Ф.-К. (Ortoli Francois-Xavier) 628
- Палевски Г. (Palewski Gaston) 242, 295–296, 305, 448, 610
Палиссер М. (Palisser Michael) 608
Пари К. (Paris Camille) 468
Пастор Г. (Pastore Giulio) 509
Паттон Ж. (Patton George) 219
Пеги Ш. (Peguy Charles) 318
Пейрутон М. (Peyrouton Marsel) 224, 244–246
Пенлеве П. (Painleve Paul) 69, 72
- Перрен Ф. (Perrin Francis) 518
Перру Ф. (Perroux Francois) 297, 321
Петен Ф. (Petain Philippe) 23–24, 26–29, 64, 171, 176, 203, 222–224, 227, 229, 233
Пизани Э. (Pisani Edgard) 609
Пилотти М. (Pilotti Massimo) 473
Пилсудски В. (Pilsudski Wanda) 120
Пилсудски И. (Pilsudski Joseph) 120
Пино К. (Pineau Christian) 515
Пинэ А. (Pinau Antoine) 453, 459, 488, 497, 531, 549, 605
Плауден Э. (Plowden Edwin) 344, 380, 444, 465, 609
Плевен Р. (Pleven Rene) 16–18, 20, 22, 24–26, 28–30, 118, 153, 156–157, 159–160, 166, 249, 297, 372, 374, 415–418, 424, 427–431, 435–440, 443, 447–449, 488, 517, 549, 602, 638
Помпиду Ж. (Pompidou Georges) 609, 611–615, 620, 622–627, 629, 632
Поттхоф Х. (Potthoff Heinz) 460, 477–479
Поэр А. (Poher Alain) 349
Пуанкаре Р. (Poincare Raymond) 93, 109–111, 119
Пурвис А. (Purvis Arthur) 154, 166, 178, 180, 183, 188, 195, 210
Пфлимлен П. (Pflimlin Pierre) 455, 527, 544, 549
Пуо Г. (Puaux Gabriel) 246
- Рабье Ж.-Р. (Rabier Jacques-Rene) 297, 462, 475

- Райхман Л. (Rajchman Ludwig) 114–115, 117–118, 127–128
Рамадье П. (Ramadier Paul) 320, 411, 446
Рансимэн В. (Runciman Walter) 61
Рей Ж. (Rey Jean) 525, 563, 576
Рейно П. (Reynaud Paul) 17–23, 25–26, 142, 157, 161, 163, 169, 335, 347, 351
Рейтер П. (Reuter Paul) 364, 366–369, 409–410, 423
Ренар А. (Renard Andre) 509
Рестон Д. (Reston James) 186, 333
Рибен А. (Rieben Henri) 563
Рипер Ж. (Ripert Jean) 297, 461
Рист Ш. (Rist Charles) 299
Розенберг Л. (Rosenberg Ludwig) 540, 549, 608
Ролл Э. (Roll Eric) 563
Роллманн Т. (Rollmann Tony) 461, 475
Роммель Э. (Rommel Erwin) 216
Ронсак Ш. (Ronsac Charles) 376, 377
Ростоу Д. (Rostow Eugen) 333, 573
Ростоу У. (Rostow Walt) 333, 573
Ротшильд Р. (Rothschild Robert) 498
Рошет В. (Rochet Waldeck) 300
Роу Э. (Roy Etienne) 303, 342
Рузвельт Ф.Д. (Roosevelt Franklin Delano) 24, 88, 125, 135, 137–141, 144–147, 153–156, 160–161, 181–182, 185–187, 189–206, 208–227, 234–241, 242, 252–253, 260, 262, 265, 267–269, 308–309, 327, 358, 444, 572, 582, 644
Рюд Ф. (Rude Francois) 305
Рюмор М. (Rumor Mariano) 548, 602, 624, 638
Рюэфф Ж. (Rueff Jacques) 473, 531
Савари Д. (Savary Daniel) 523
Сальтер А. (Salter Arthur) 11, 13, 16, 57–59, 61, 63, 68, 71, 74–75, 81, 83–85, 97, 107, 109, 111, 114, 127, 129, 166, 168, 189, 379
Сарага Г. (Saragat Giuseppe) 525, 548
Светленд Д. (Swatland Donald) 124
Сейду Ф. (Seydoux Francois) 407
Сент-Экзюпери А. де (Saint-Exupery Antoine de) 238
Серван-Шрайбер Ж.-Ж. (Servan-Schreiber Jean-Jacques) 503
Сесил Р. (Cecil Robert) 73, 83, 87, 89, 94
Симон Д. (Simon John) 157
Сови А. (Sauvy Alfred) 278, 285, 297
Солиньяк А. де (Solignac Antoine de) 36
Спаак П.-А. (Spaak Paul-Henri) 446, 470, 494, 496, 498, 499, 516, 523
Спаак Ф. (Spaak Fernand) 475
Спиренбург Д. (Spierenburg Dirk) 398–399, 402, 403, 405–406, 459, 499
Спирс Э. (Spears Edward) 22, 25, 173
Сталин И.В. 208, 262, 275, 309, 325
Стеттиниус Э. (Stettinius Edward) 275

- Стиккер Ду (Stikker Du) 454, 469
Стимсон Г. (Stimson Henri) 185, 187, 205, 212, 263, 268
Стоун Ш. (Stone Shepard) 573
Стэнли А. (Stanley Albert) 70, 73
Стюарт М. (Stewart Michael) 609
Сун Ят-Сен (Sun Yat-Sen) 129–132
Сустелль Ж. (Soustelle Jacques) 448
Суэтэнс М. (Suetens Maximilien) 399, 402, 405, 407
Сфорза К. (Sforza Carlo) 377
- Тавиани П.Э. (Taviani Paolo Emilio) 399, 403
Тардые А. (Tardieu Andre) 97
Тафт У.Г. (Taft William Howard) 186
Тейтжен П.-А. (Teitgen Pierre-Henri) 335, 471
Тесье Г. (Teissier Gaston) 298, 394, 397
Тиксье А. (Tixier Adrien) 249
Тинберген Я. (Tinbergen Jan) 479
Тиндеманс Л. (Tindemans Leo) 549, 638
Томас А. (Thomas Albert) 114
Томлинсон У. (Tomlinson William) 331–332, 466–467
Торез М. (Thorez Maurice) 313
Торп Д. (Thorpe Jeremy) 607–609
Трибуле Р. (Triboulet Raymond) 523
Триффен Р. (Triffin Robert) 505, 528
Троцкий Л.Д. 444
Трумэн Г. (Truman Harry) 279, 309, 325–326, 330, 377, 644
- Уийр С. (Weir Cecil) 465–466
Уилки В. (Willkie Wendell) 200
Уилсон О. (Wilson Horace) 15–16, 31, 154, 159, 168
Уинсон Ф. (Vinson Frederick) 309
Ульман М. (Ullmann Marc) 592
Уолкер Э. (Walker Elisha) 117, 122–125
Ури П. (Uri Pierre) 321–322, 343–344, 349, 367, 373, 375, 378, 385, 396–398, 409–410, 4213, 433, 461–463, 478, 498–499, 505, 516, 521, 523, 528, 564
- Фанфани А. (Fanfani Amintore) 508, 517
Фийю М. (Fillioux Maurice) 82
Филип А. (Philip Andre) 242, 244–245, 249, 300, 347
Финэ П. (Finet Paul) 460
Фокке К. (Focke Katharina) 620, 623
Фонтен А. (Fontaine Andre) 546
Фонтен Ф. (Fontaine Francois) 375, 456, 462
Фор М. (Faure Maurice) 514, 516, 521–523, 549
Фор Э. (Faure Edgar) 452, 497, 515
Форманн Ж. (Fohrmann Jean) 508
Фосдик Р. (Fosdick Raymond) 90
Фош Ф. (Foch Ferdinand) 63–64
Фрайтаг В. (Freitag Walter) 482, 502–503, 517, 549
Франклин-Буйон А. (Franklin-Bouillon Henri) 72
Франкфуртер Ф. (Frankfurter Felix) 184–185, 193, 201, 222–223, 239, 333, 373

- Франсуа-Понсе А. (Francois-Roncet Andre) 335, 373, 381
Франсуа-Понсе Ж. (Francois-Roncet Jean) 515
Франциск (Francois I) 121
Фрашон Б. (Frachon Benoit) 300, 314
Френе А. (Frenay Henri) 259
Фримэн О. (Freeman Orville) 572
Фурастие Ж. (Fourastie Jean) 278, 285, 297, 340–341
Фурлер Г. (Furler Hans) 517
Фуше К. (Fouchet Christian) 542–543, 628
- Ха**
Хаинеман Г. (Heinemann Gustav) 422
Халл К. (Hull Cordell) 223, 225
Хальштейн В. (Hallstein Walter) 335, 393, 399–401, 402, 405, 407–408, 422, 426, 434, 459, 469, 522–523, 525, 5402, 550, 563, 575, 593–598, 609
Харви О. (Harvey Oliver) 387
Хауз Э.М. (House Edward M.) 81, 88, 111
Хит Э. (Heath Edward) 514, 560–564, 608, 612–615, 622–626, 629–633, 637
Хьюманс П. (Hymans Paul) 100
Холл Р. (Hall Robert) 343, 345
Хопкинс Х. (Hopkins Harry) 88, 187, 191, 194, 199–202, 208, 211–213, 215, 221–223, 225, 252, 257, 262–263, 309, 373
Хуттер Р. (Hutter Roger) 475
- Чан** (Chang) 131–132
Чан Кайши (Chang Kai-Chek) 128, 131–132
- Чемберлен Н. (Chamberlain Neville) 9, 11, 15–16, 147, 150–151, 154–155, 159, 163, 168, 215
Черчилль У. (Churchill Winston) 12–13, 15–26, 31, 163, 166–168, 177–178, 180–181, 189, 191–192, 194, 198–199, 201–202, 208, 211–215, 217, 225, 239, 262, 335, 347, 379, 389, 414, 442, 503–504
Чэн (Cheng) 132–133
- Ша**
Шамах (Chamah) 47
Шастене А. (Chastenet Antoine) 475
Шатель И. (Chatel Yves) 218
Шахт Н. (Schacht Hjalmar) 119
Швейцер П.-П. (Schweitzer Pierre-Paul) 527
Шеель У. (Scheel Walter) 512, 638
Шейсон К. (Cheysson Claude) 617
Шервуд Р. (Sherwood Robert) 186, 194
Шетцель Р. (Schetzel Robert) 573
Шиллинг В.-Д. (Schilling Wolf-Dietrich) 623, 624
Шлезингер А. (Schlesinger Arthur) 542
Шмидт Г. (Schmidt Helmut) 512, 549, 605, 631–634
Шмуц Я.-К. (Smuts Jaap-Christian) 89
Шредер Г. (Schroeder Gerhard) 580
Шпеер А. (Speer Albert) 213
Штраус Ф.И. (Strauss Franz Josef) 518
Штретер Г. (Straeter Heinrich) 502, 549

Шуман Р. (Schuman Robert) 322,
334–335, 350, 352–353, 360,
368–381, 383, 396, 400–403, 405,
408, 410, 412–422, 424–432,
435–438, 443, 448–455, 469–470,
485, 495, 498, 500, 552, 553, 559,
579, 592, 638
Шуманн М. (Schumann Maurice)
544

Эзра Д. (Ezra Derek) 466
Эйзенхауэр Д. Д. (Eisenhower
Dwight D.) 120, 217–219, 224,
226, 237–241, 248, 252, 264, 268,
326, 419, 429, 440–442, 467,
518–520

Экарди М. (Aicardi Maurice) 296,
304
Эннесси М. (Hennessy Maurice) 37
Эррио Э. (Herriot Edouard)
26–30
Эрхард Л. (Erhard Ludwig) 405,
430, 496, 518, 554–556, 579–580,
592
Эттли К. (Attlee Clement) 23,
343, 377–379, 384, 388
Эттори Ш. (Ettori Charles) 232
Этцель Ф. (Etzel Franz) 459–460,
476, 478–480, 497, 520, 522
Янгер К. (Younger Kenneth) 377,
387

Оглавление

Часть первая

СИЛА ТЕРПИТ ПОРАЖЕНИЕ

Глава 1. Перед лицом опасности.

Тотальное единство (1940)

- 8 Пределы сотрудничества
13 Единый парламент, единая армия
24 Последняя попытка в Бордо

Глава 2. Детство в Коньяке

- 32 Город, открытый миру
41 Дальние путешествия
47 1914 год. Вивиани: «Вы должны попытаться...»

Глава 3. Общее действие (1914–1918)

- 54 Межсоюзническая *Исполнительная комиссия*
63 Беспощадная подводная война
69 Пул транспортных перевозок
78 Мир, основанный на организации

Глава 4. Лига наций (1919–1923)

- 86 Рождение надежды
91 «В свете общих интересов...»
95 Силезия и Саарская область: общий интерес
104 Австрия: акция солидарности
108 Мир, основанный на равенстве

Глава 5. От города Коньяк до Польши, от Калифорнии до Китая (1923–1938)

- 113 Возвращение в Коньяк
117 Злотый и лев

123	Банкир из Сан-Франциско
126	Инвестиции в Китае
	Глава 6. Оружие для Союзников (1938–1940)
135	С миссией у Рузвельта
146	Франко-британский Совет
155	Рузвельт: самолеты для Европы
162	Последняя попытка
169	Продолжать борьбу
	Глава 7. «Программа во имя победы» (Вашингтон, 1940–1943)
180	Люди на службе свободе
192	Арсенал для демократий
205	Подавляющее превосходство
	Глава 8. Единство французов во время войны (Алжир, 1943)
217	Политическая миссия
226	Восстановить законы Республики
239	Де Голль и Жиро
246	Французский Комитет национального Освобождения

Часть вторая ВРЕМЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ

	Глава 9. Возвращение к миру (1945)
262	Временное правительство признано
269	Придумать мир
	Глава 10. Франция модернизируется (1946)
284	Метод
305	Непрерывность усилия
	Глава 11. Европа в поисках своего пути (1947–1949)
324	План Маршалла
332	Пределы национальных возможностей
341	Лондон не отвечает
348	Германия приходит в движение
	Глава 12. Действовать решительно, реально, немедленно... (1949–1950)
355	Тупики
369	Выход

	Глава 13. Конференция, посвященная плану Шумана (1950)
391	Придумать
401	Построить
	Глава 14. Рождение двух договоров (1951)
412	Оборона: единая армия
430	Экономика: общие правила
	Глава 15. Объединение за работой (1952–1955)
457	Пионеры ЕОУС
484	Великое испытание. Начать с начала
	Глава 16. Комитет борьбы за Соединенные Штаты Европы (1955–1957)
500	Моральная сила и политическая власть
514	Евратом и Общий рынок
	Глава 17. Политическое объединение (1960–1962)
532	В сторону конфедерации
545	Комитет занимает позицию
	Глава 18. Великобритания и Сообщество (1961–1963)
552	Англия необходима Европе
564	Первая кандидатура, первое вето
	Глава 19. Европа и Соединенные Штаты (1962–1964)
570	Партнерство
584	Кризисы и отлив
	Глава 20. Время терпения (1964–1972)
590	Застой
604	Обстановка меняется
	Глава 21. Европейский Совет (1972–1975)
618	У истоков власти
629	Начало европейской власти
635	Корни Сообщества
	Приложение
647	Резолюция глав государств и правительств...
649	Именной указатель

Жан Монне
РЕАЛЬНОСТЬ И ПОЛИТИКА
Мемуары

Серия «Культура политика философия»

Художественное оформление серии *Ф. Домогацкого*

Ответственный за выпуск *О. Разуменко*

Редакторы *Г. Амелин, С. Наджафова*

Корректор *Н. Мышкова*

Компьютерная верстка *О. Козак*

ЛР № 00972 от 14.02.2000 г.

Подписано в печать 06.12.2000. Формат 84×108/32.

Бумага офсетная. Гарнитура Petersburg. Печать офсетная.

Печ. л. 20,75. Тираж 3000 экз. Заказ № 545.

Московская школа политических исследований.
121854, ГСП-2, Большая Никитская ул., 44-2, комн. 22.

e-mail: mmps@co.ru

<http://www.mmps.ru>

Отпечатано с готовых диапозитивов в Московской типографии № 6

Министерства РФ по делам печати,

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций

109008, Москва, Южнопортовая ул., 24

ISBN 5-93895-009-0



9 785938 950092 >